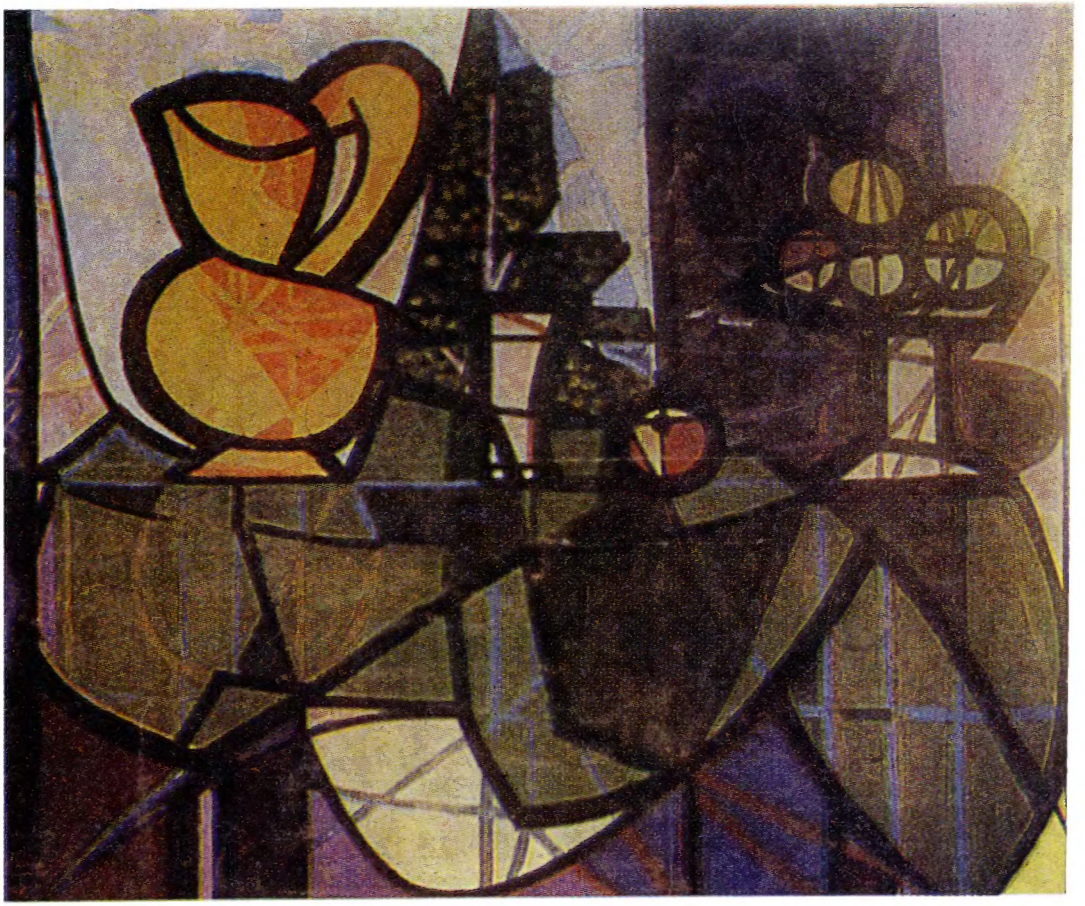
ISSN 0130 – 6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

10. 1981



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

10 октябрь 1981

Содержание

Из поэзии ГДР

ЭРИХ АРЕНДТ. ФОЛЬКЕР БРАУН *(Переводы с немецкого В. Вебера, В. Куприянова, Г. Ратгауза, Е. Колесова)* 3

МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ — Рассказы *(Перевод с французского Г. Ерофеевой)* 9

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА — Лопе де Агирре, Князь Свободы *(Роман. Окончание. Перевод с испанского Л. Синянской)* 31

ПИТЕР УСТИНОВ — Крамнэгел *(Роман. Окончание. Перевод с английского Ю. Зараховича)* 106

Литературное наследие

В пути. Из китайской поэзии *(Перевод с китайского и комментарий Л. Эйдлина)* 166

Критика

К 100-летию со дня рождения Лу Синя

Л. ДЕЛЮСИН — Великий китайский писатель и его время *(Перечитывая классику)* 176

Н. РЖЕВСКАЯ — Заметки о современной французской новелле *(А. Дотель, М. Турнье, Ф. Саган, П. Саватье)* 184

Вопрошающие раздумья Андре Мальро

АНДРЕ МАЛЬРО — Бренный человек и литература *(Фрагменты книги. Перевод с французского И. Кузнецовой)* 189

Л. ЗОНИНА — Память-мифотворец 193

Публицистика

Ответственность за жизнь *(Из выступлений зарубежных гостей VII съезда писателей СССР)* 201

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — Свидетели обвинения. Описание «Бильд» продолжается *(Перевод с немецкого Н. Федоровой)* 206

Документальная проза

ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ — Делать фильм *(Продолжение. Перевод с итальянского Ф. М. Двин)* 216

Антирубрика

ТОМАС МИЭН — Il talento mysterioso. Ничего личного *(Рассказы. Перевод с английского Аркадия Гаврилова)* 242

ДОРОТИ ПАРКЕР — Но тот, что справа... *(Перевод с английского Евгении Шварц)* 247

Наши гости

Н. Киямова — Дороти Лайвси (Канада) 249

Среди книг

Издано в СССР

И. Ростовцева — Под небом, полным птиц ✦ Роман Белоусов — Камоэнс — принц поэтов ✦ Б. Николаев — Прошлое и надежды 251

Издано за рубежом

С. Митина — Лев выйдет на автостраду ✦ М. Сергеев — Последний урок Франца Кина ✦ Т. Ротенберг — Размышляя о будущем 256

Советская литература за рубежом 183, 261

Из месяца в месяц 262

К 100-летию со дня рождения ***ПАБЛО ПИКАССО (1881—1981)***

На 1-й странице обложки: ***Натюрморт. 1923 г.***

На 4-й странице обложки: ***Натюрморт с головой черного быка. 1938 г.***

© «Иностранная литература», 1981.

Из поэзии ГДР

С немецкого

ЭРИХ АРЕНДТ

Карибская ночь

Месяц,
зеленый и тонкий,
как лист,
над морем Карибским плывет —
отчужденный, безмолвный.

В полумраке под ним
кактусов привиденья
в мертвое небо
с мольбой простирают,
как тени, тощие руки.

Черные девушки
спят
на оголенной земле.
Разрушаются
стены хижин.
Девушкам снятся сны,
и, как в детстве когда-то,
руки их в забытьи
тянутся в темноту.

Ядовитый песок
стены хижин сечет.
Жар его дуновенья
въедается
в почву звезд.

Свинцовый простор
обступает остров,
недвижим,
как и тысячу лет назад.

На вершине холма
у освещенных луной
нефтяных цистерн
Дона Мадуро,
хозяина острова и авиатрасс,
всю ночь напролет
беспокойно
с горсткой риса в желудке
в одиночестве
бродит мулат.

Из его простодушных глаз,
словно из глаз собаки,
вечность сама
глядит
на Карибское море.
Он охраняет стальные пузатые
баки,

полные нефти, добытой
из горячей утробы земли.

ЭРИХ АРЕНДТ — ERICH ARENDT (род в 1903 г.).

Немецкий поэт (ГДР), лауреат Национальной премии и других литературных премий. Печатается с 1926 г. Автор многих книг стихов, в том числе «Альбатрос в ночи» («Trug doch die Nacht den Albatros», 1951), «Баллада о горном ветре» («Bergwindballade. Gedichte des spanischen Freiheitskampfes», 1952), «Толу́. Стихи из Колумбии» («Tolú. Gedichte aus Kolumbien», 1956), «Песнь семи островов» («Gesang der sieben Inseln», 1957), «Оды полета» («Flug-Oden», 1959), «Эгейский архипелаг» («Ägäis», 1967), «Огненный стебель» («Feuerhalm», 1973), «Память и образ» («Memento und Bild», 1976). Стихи Э. Арендта в русском переводе печатались в периодике, в антологиях поэзии ГДР. Предлагаемые стихи печатаются по собранию избранных стихотворений Э. Арендта «Стихотворения за пятьдесят лет» («Gedichte aus fünf Jahrzehnten», Rostok, Hinstorff Verlag, 1968) и войдут в антологию «Из современной поэзии ГДР», готовящуюся в издательстве «Прогресс».

В нефтяных испареньях
задыхаются ночь и звезды.
Нежные легкие
девушек
съедает дыханье мазута.
Гавань все больше и больше
набухает тяжелой нефтью.
Но стоит на холме мулат
с глазами невинной твари,
крепко держит ружье в руках.

Сражаются люди
на ста морях
за нефть
Дона Мадуро,
как за великое дело,
ради которого
стоит пожертвовать жизнью.

А вверху отчужденно
проплывает по небу
месяц, зеленый и тонкий,
как лист.

Перевод В. ВЕБЕРА

Жатва

Сжато
рыжее лето,
под гнетом солнца
лежит его торс.

Осиянно и
омрачено морем:
под облаками на смуглых
склонах холма жницы
вяжут снопы, скирдуют
строптивые полчища,
набивают небо
летучей мякиной
звезд.
Сон, тяжелый,
как твердь,
опускает веки на остров.
Жернова
дней и ночей: по кромке
побережья звучит
каменистая песня.
Желтый прибой зерна
без конца.

Наполнены зрелостью лета,
набухшие, как вымена,
выпуклые мешки
заселяют амбары.

Светом
вздыхает земля!
Улыбка
будет стоять недели,
мерцая в безветренном небе,—
дракон
золотой.

Перевод В. КУПРИЯНОВА

Ода X

Час
решимости — близок!
Ты, погруженный в раздумья,
плывешь
звездным путем,
что временем строго отмерен.
В земной тени твоих крыл
дрожит от света,
от бури в сердце
тело израненной родины.

А за тобой... в дуновении мрака
даль .. Шелковистый лист
цветка в малом пространстве:
вот удел человека.
Где-то (память веков!)
Великая встала стена.

А справа —
как трепет сердца в живом лесу,
пророчески высятся скалы.

Если бы ты
с закатным облаком плыл,
ты на заре. когда древней загадкой
русло Нила блеснет,
возложил бы руки
на грудь богини,
что рождена луной. Или
ты, всю жизнь клонивший
голову пред красотой,
пожелаешь,
чтобы тебя озарил ее свет,
что ныне дремлет
у врат дельфийских, мечтая
в своей пустыне бесплодной

о девственном море очей. Или
хотел бы коснуться твой рот
бронзовой песни, блеснувшей
в дымном тумане над Сеной,
и губы твои поцелуют
непреложную
розу Свободы!

Нагое небо!
Все стало близким, и все
надо начать сначала!

В паденье
пламезарных глубин
камню внимай
и — ночью объятым — корням!
Будь летучим, бессонное слово!
Все едино и
цельно, как горный кряж
в час полудня:
вершины, владычицы времени,
и природы персты
нам возвещают:

всеразрушитель
и всесозидатель — один:
ты, потрясатель Земли,
сын ее — Человек.

Перевод Г. РАТГАУЗА

ФОЛЬКЕР БРАУН

Представление

Это больше не тайна:
Мы уже не позволим себя провести.
Мы уже не сидим с тупо выпученными глазами.
Мы уже не ликуем при виде пыточных камер.
Мы больше не станем платить за дикие игры
великих мира сего —

ФОЛЬКЕР БРАУН — VOLKER BRAUN (род. в 1939 г.).

Немецкий писатель — поэт, прозаик, драматург (ГДР). Лауреат ряда литературных премий. Был рабочим типографии, затем изучал философию в Лейпцигском университете. Начал печататься с 1962 г. и приобрел известность своими поэтическими сборниками «Мой дерзкий вызов» («Provokation für mich», 1965), «Мы, а не они» («Wir und nicht sie», 1970), «Против симметричного мира» («Gegen die symmetrische Welt», 1974). Автор пьес «Откатчики» («Die Kipper», 1962), «Хинце и Кунце» («Hinze und Kunze», 1973), «Тинка» («Tinka», 1975), «Просто по-немецки» («Simplex Deutsch», 1980), цикла повестей «Беззаботная жизнь Каста» («Das ungezwungene Leben Kasts», 1972—1979) и др. В русском переводе стихи Ф. Брауна печатались в периодике, в том числе в «Иностранной литературе», а также в антологиях.

Публикуемые стихи взяты из сборников «Мы, а не они» («Wir und nicht sie», 1970) и «Тренировка прямой походки» («Training des aufrechten Ganges», Halle Leipzig, Mitteldeutscher Verlag, 1979) и войдут в антологию «Из современной поэзии ГДР», готовящуюся в издательстве «Прогресс».

Убиение тел или хотя бы душ.
На ярко сияющей арене
Объявляется массовый выход:
Идут репетиции всюду уже безо всякой
страховки

На улицах, кафедрах и в концертных залах.
(Только банджо пока вне игры.)
Установлены подзорные трубы,
Чтобы выявить вовремя знамения времени.
Суфлеры не видят себе применения
И вежливо вертят слово во рту.
Здесь любая речь откровенна — мы играем
не пьесу,
А собственную жизнь. Невозможна замена.
(Банджо ждет своего часа.)
Понятна, как призыв, легка, как одеянье,
Которое любому по плечу, здесь нами готовится премьера—
Свобода.

Что остается

Рано утром мы снова в цехах, мы включаем
Остывшие за ночь моторы, струится конвейер
Пластиковой рекой, нивы держат шаг по земле
ровным строем.
Перед нашим величием никнут все канцелярии.
Мы врабатываемся в созидание свободного
общества.
Вот ее берег: мы вступаем на горизонт.
Пейзажи, как листья, пристали к нашим
подошвам,
Горсть посева тает в глазах еще до паденья
на пашню,
Пока земля, что для всех, не услышит всех,
Рука застывает, как взгляд перед поблекшим
идеалом.
Говорим мы: время пришло! Говорим: начинается только.
Мы себе не сулим златые горы. Мы сулим себе
златые горы.
Располагаемся мы, как дома, на упругом
дрожащем
трамплине.
Мы теснимся на старте, *ликуя, словно у цели.*
Говорим мы: пусть так и останется. Говорим:
ничего
не останется так.
Ничего, кроме одного. Так сияя приходит
рассвет.
Исчезают в полдень границы и взрывают сырое
пространство.

Мы собираем силы для следующего прыжка.
Рано утром в цехах, на полях, и нам остается
Вечно борьба: и останется время народа.

Процесс Галилея

Галилей, босые затекшие ноги
На горячем полу в церкви Святой Девы,
Где не так давно промолчал сожженный, он же
В этот ранний час в городе Риме
Выглядел так, словно Земля недвижна
И только он единственный может
Сейчас ее сдвинуть одним своим словом, и,
зная это,

Он равен богу, огромный и уже ненужный.
И он ушел сутуло на свет улиц под грузом
Своего тяжкого тела, такой великий предатель,
Что слишком многие будут показывать на него пальцем.

Джордано Бруно

Трудно найти ключ к своедумцу.
Не помогает демонстрация инструментов пыток:
Он их описывал.
Он настаивает на своей враждебной точке
зрения,

Что Земля вращается.
Допрашивающие своим ушам не верят.
В застенке он агитирует монахов,
Как будто они не знают, где обитель бога.

Пытки не помогают: он поет — аллилуйя.
Как быть с таким? Ад его не примет,
Сжечь — единственный выход, но это не ново.

Перевод В. КУПРИЯНОВА

Ступени

Я понимаю все. Живу на свете,
Работаю и ем. Но вот на чем
Мой разум спотыкается, а я
Не вижу выхода. Дыхание мое
Неровно, и неровен шаг за шагом,
И, чтобы не споткнуться, не ударить
Ни в грязь лицом, ни духом не упасть,
Чтоб разобраться, а не разбирать,
Я сел. Сижу. Гляжу себе с улыбкой
На публику, что около меня
С неловкой хитростью толчется. Что за черт

Все путается у меня в ногах
На полдороге в завтра? Все, что знал
Вчера, пора забыть сегодня. Вот
Ступени. Забросали пропасть
Отходами войны, а небеса
Свернули, точно выцветшее знамя.
Ступени в почве, чуждой и знакомой,
Ведут на небо или в подпол? Человек
Велик иль мал, парит или ползет
На трудовом посту? Рабочий день
Великий план наносит на бумагу
Иль заполняет брюхо, но не мозг:
Кто как работает. Рука и голова
Не более чем плоти отчуждение,
Надорванной почином иль авралом,
Словами и делами. Зав и раб
Сосуществуют. Я не возражаю
Против горбов, ушей и языков,
Что выросли в ступенчатом навозе.
Я на ухмылки власти не в обиде:
Я принимаю это и живу.
Работаю и ем, верша свой труд,
Замешивая замыслы на мысли,
Свой труд тысячелетний до предела,
Положенного со времен далеких
Забытых предков, проклиная втайне
Круговорот ступеней, на которых
Наш легкий дух стены не прошибет.
Я все сказал.

Перевод Е. КОЛЕСОВА

Как нож отточена правда

Мое слово скользит по лезвию.
Шаг в сторону: пропасть. Как пляска
На канате, не стеснена моя воля: высокое
Искусство выдержки. Подстерегает незримо
Гибельная ошибка: неуверенный
Шаг!

Перевод В. КУПРИЯНОВА

■

МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ

Рассказы

■

Перевод с французского Г. **ЕРОФЕЕВОЙ**

Зона отдыха «Ландыши»

— Пьер, пора вставать!

Пьер спит крепко, как спят в двадцать лет, слепо положась на бдительность матери. Уж его-то старушка — при ее бессоннице и нервах — ни за что не проспит. Он круто поворачивается к стене, как бы ограждая свой сон могучей спиной и бритым затылком. Мать, глядя на него, вспоминает о том, как совсем недавно по утрам она будила его спозаранку и отправляла в деревенскую школу. Кажется, он снова глубоко заснул, но мать к нему больше не пристает. Она знает, что ночь для него кончилась, начался день, и день этот неумолимо потечет по своему графику.

Через четверть часа Пьер выходит на кухню, и мать наливает ему густое какао в большую цветастую кружку. Он сидит, уставясь на темный четырехугольник окна.

— Еще темно,— говорит он,— но день все же прибавился. Через час можно выключать фары.

Она уже пятнадцать лет не покидала Булле-ле-Тру, кажется, размечталась.

— Да, весна на носу. Там, на юге, абрикосовые деревья уже, наверное, в цвету.

— Какой же это юг! Сейчас мы дальше Лиона не ездим. И какие абрикосовые деревья на автостраде... Да если б и были, где у нас время на них любоваться.

Он встает и только из уважения к матери — по крестьянскому обычаю мужчина посуды не моет — споласкивает кружку под краном.

— Когда вернешься?

— Как всегда. Послезавтра вечером. До Лиона и обратно, ну и ночевка в тачке вместе со стариком Гастоном.

— Как всегда,— бормочет она про себя.— Никак не привыкну. А тебе, видно, нравится...

Он пожимает плечами.

© Éditions Gallimard, 1978.

МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ — MICHEL TOURNIER (род. в 1924 г.).

Французский писатель, член Гонкуровской академии. Его первый роман «Пятница, или Круги Тихого океана» («Vendredi ou les Limbes du Pacifique») появился в 1967 году, был удостоен Гран-при Французской академии и принес автору широкую известность. За роман «Лесной царь» («Le roi des Aulnes», 1970) ему была присуждена Гонкуровская премия. В последующие годы выходили романы М. Турнье «Метеоры» («Les météores», 1975), «Гаспар, Мельхиор и Валтасар» («Gaspard, Melchior et Balthazar», 1980), книга эссе «Ключи и замочные скважины («Des clefs et des serrures», 1978) и другие произведения.

Мы знакомим читателей с творчеством Мишеля Турнье, публикуя рассказы из сборника «Глухарь» («Le coq de bruyère». Paris, Gallimard, 1978).

— А как же!

Внушительный силуэт мощного тягача с прицепом выделялся на посветлевшем востоке. Пьер медленно обошел машину — и так каждое утро: встав с постели, он всякий раз радовался своей огромной игрушке. Он ни за что не признался бы матери в том, что с удовольствием даже спал бы в машине. Хорошо бы, а то, как ни запирай тачку, все равно не защитишь — могут и напасть, и сделать пробоину, и ограбить. Да и ее-то со всем грузом увести можно, и такое, как ни странно, случалось.

На этот раз, правда, все оказалось в порядке, только надо было срочно мыть машину. Пьер приставил лесенку к радиатору и принялся промывать ветровое стекло. Ветровое стекло — это же витрина машины. Все на худой конец пусть остается грязным и пыльным, но уж ветровое стекло должно сверкать безукоризненной чистотой.

Затем, чуть не с набожным благоговением, он опустился на колени перед фарами и стал их протирать. Он дул на стекла и протирал их белой тряпкой с тем тщанием и нежностью, с какими мать обтирает личико ребенка. Потом, водворив лесенку на место, за бортом машины, он залез в кабину, плюхнулся на сиденье и нажал на стартер.

В Булонь-Бийанкур на углу набережной Пуэн-дю-Жур и улицы Сены стоит старый осевший жилой дом, на облупившемся фасаде которого резко выделяется новенькое кафе, разместившееся на нижнем этаже, сверкающее неоновыми огнями, хромированной стойкой и разноцветными игральными автоматами. Гастон живет в комнатушке на шестом этаже. Но он уже стоит наготове перед кафе, и Пьер лишь на мгновенье останавливается, чтобы забрать напарника.

— Порядок, дружище?

— Порядок.

У Гастона все отлажено, как по нотам. Обычно минуты три он сидит неподвижно. Затем начинает выгружать вещи из вещевого мешка, лежащего на сиденье между ним и Пьером; он раскладывает по местам термос, переносной холодильник, судки, мешки и пакеты с проворностью, выдающей давнюю привычку. Гастон невысок, тщедушен и уже не молод, он рассудителен и спокоен. Чувствуется, что в нем крепко сидит печальная мудрость неудачника, с детства привыкшего противостоять ударам окружающего мира, от которого — уж это-то он давно усвоил по собственному опыту — добра не жди. Разложив все как полагается, он начинает переодеваться. Меняет ботинки на войлочные туфли, пиджак — на свитер с высоким воротом, берет — на шерстяной шлем; он умудряется даже снять брюки — трудная операция, если учесть, что места мало, а под ногами — неустойчивое дно кабины.

Пьеру незачем поворачиваться к Гастону, он и так видит все его манипуляции. Устремив взгляд на забитые машинами улицы, ведущие к бульварному кольцу, он краем глаза следит за знакомой операцией справа.

— Выходит, не успел одеться, сразу снова раздеваешься, а?

Гастон не удостаивает его ответом.

— Может, лучше так бы и выходить на улицу в ночной рубашке? Заодно бы, чтоб побыстрее, а?

Гастон меж тем взобрался на спинку сиденья. В тот момент, когда загорается зеленый свет и машина трогается, он спокойно опрокидывается на спальное место, оборудованное позади сидений. В последний раз слышен его голос:

— Разбудишь меня, когда придумаешь, что бы спросить поумней.

Через пять минут тягач уже катит по внешнему кольцу, несмотря на ранний час основательно загруженному транспортом. Для Пьера это лишь прелюдия. Грузовики профессиональных водителей пока

почти тонут в потоке таких же тяжелых машин, стремительно несущихся вперед, роскошных автомобилей буржуа и скромных — трудящихся. Надо дождаться, когда транспорт поредеет после съездов на Рунжис, Орли, Лонжюмо и Корбей-Эссонн и потом у дороги на Фонтенбло, чтобы вырваться наконец через контрольный пункт Флёри-Мерожис, где берут с машин плату, на широкую ленту бетона.

Когда он остановился у кассы позади четырех других тяжелых грузовиков, чтобы рассчитаться за проезд, он был счастлив вдвойне. Он не только сам вел машину, но вдобавок Гастон заснул и не мешал ему выехать на автостраду А-6. Он степенно подал свою карточку контролеру, взял ее обратно и выжал сцепление, чтобы выехать на гладкий белый путь, ведущий к сердцу Франции.

Залив дополна бак на заправочной станции в Жуаньи — так тоже повелось с давних пор,— он на полной скорости домчался до съездов на Пуйи-ан-Оксуа и затем, притормозив, направил машину к зоне отдыха «Ландыши», чтобы позавтракать, как обычно, в 8 часов утра. Стоило грузовику остановиться в буковой рощице, как Гастон вынырнул сзади и стал собирать все необходимое к завтраку. Так тоже было издавна заведено.

Пьер спрыгнул на землю. В тесном комбинезоне из синего нейлона и в мокасинах он был похож на спортсмена. Он и вправду сделал несколько гимнастических упражнений, как бы побоксировал невидимого противника, и пробежался — легко и свободно. Когда, разгоряченный и запыхавшийся, он вернулся обратно, Гастон уже почти облачился в повседневную одежду. И на одном из столиков, установленных в зоне, он принялся степенно раскладывать воистину королевский завтрак: кофе, горячее молоко, рогалики, сливочное масло, варенье и мед.

— Ценю я в тебе,— сказал ему Пьер,— твое понимание комфорта. Ты будто таскаешь с собой не то квартиру своей матушки, не то гостиницу первой категории.

— Поживи с мое,— ответил Гастон, тоненькой струйкой вливая мед в надрезанный рогалик.— Тридцать лет по утрам я всегда пропускал перед работой стаканчик белого вина. Белое шарантское вино — и все. А потом вдруг понял, что у меня есть желудок и почки. И тут же завязал. Ни вина, ни табака. Кофе с молоком — будьте любезны. С гренками и с апельсиновым желе. Как для бабусь в «Клариджe» [1]. И скажу тебе еще кое-что...

Он прервал свою речь и откусил кусочек рогалика. Пьер уселся с ним рядом.

— Да, так что же?

— Вот подумываю, не отказаться ли мне и от кофе с молоком — он тоже не так-то легко переваривается — и не перейти ли на чай с лимоном. Но чай с лимоном — это уж последнее дело!

— Ну, тогда почему бы тебе не есть по утрам вдобавок и яичницу с беконом, как англичане?

— Ну уж нет! Ни в коем случае! На завтрак — соленое! Ты понимаешь, завтрак — это... ну как тебе сказать? Это же что-то приятное, милое, даже родное. Ну да, родное! Завтрак возвращает человека к детству. Ведь новый день не сулит ничего приятного. Поэтому и надо проглотить чего-нибудь бодрящего, вкусного, чтобы совсем проснуться. А значит — только горячее, сладкое и ничего более.

— А как насчет твоего фланелевого набрюшного пояса?

— Ну вот, видишь! Тоже родное! Ты учуял тут связь или брякнул так?

— Нет, ничего не учуял.

— А детские пеленки! Мой фланелевый пояс — это же возврат к пеленкам.

---

[1] Парижский отель, где по традиции останавливаются англичане.

— Ты что, издеваешься? Может, докатишься до бутылочки с соской?

— Старина, взгляни на меня и намотай на ус. У меня перед тобой по крайней мере одно преимущество. Я уже был в твоем возрасте, и никто, даже сам господь бог, не может у меня этого отнять. А ты вот не можешь с уверенностью сказать, что когда-нибудь доживешь до моего.

— Ну, знаешь ли, разговоры о возрасте мне ни к чему. По-моему, если родился дураком, возраст тут ни при чем, это уж на всю жизнь.

— Не скажи. Глупость тоже разная бывает. И делают глупости тоже все в одном возрасте. Потом вроде остепеняются.

— И какой же это возраст, по-твоему?

— Для кого как.

— А для меня, к примеру, не двадцать один?

— Почему именно двадцать один?

— Да потому, что мне именно двадцать один.

Гастон взглянул на него насмешливо, потягивая кофе.

— Вот как стали мы с тобой ездить, все смотрю я на тебя и гадаю, какую глупость ты можешь выкинуть.

— И не отгадал, так как я не курю и стаканчиков белого винца не пропускаю.

— Да, но надо, понимаешь, отличать большие глупости от малых. Табак и сухое вино — это пустяки. Они могут загнать человека в могилу, но не так-то скоро.

— А большие глупости загоняют с маху?

— Вот именно. Я в твоем возрасте... нет, пожалуй, я был еще помоложе, мне, кажется, стукнуло восемнадцать, когда я подался в Сопротивление.

— И это была большая глупость?

— Огромная! Я не понимал опасности. Ну, да мне повезло. А вот мой закадычный друг там и остался. Арестовали, угнали, так и пропал. Зачем все это? Чего ради? Вот уже тридцать лет, как я себя спрашиваю.

— Ну, уж это-то мне не грозит,— заметил Пьер.

— Что верно, то верно.

— Значит, ты все гадаешь, какую глупость я выкину, но пока не отгадал.

— Нет, пока что не отгадал. Но я ее все же предвижу...

Через два дня в тот же утренний час грузовик Пьера и Гастона вновь появился на контрольном пункте Флёри-Мерожис. На этот раз баранку крутил Гастон, и Пьер, праздно сидя справа от него, как всегда, слегка досадовал, что начинает день в роли пассажира. Он ни за что на свете не подал бы вида, что испытывает такое нелепое чувство, и даже себе едва в нем признавался, но настроение было все же слегка подпорчено.

— Привет, Бебер! Сегодня снова на посту?

И что за манера у Гастона якшаться с этой странной, таинственной и презираемой расой контролеров на пунктах, где взимают плату за проезд! В глазах Пьера официальный выезд на автостраду был торжественной церемонией, которую нельзя портить пустой болтовней.

— Ага,— пояснил служащий.— Подменил Тьено, он у сестры на свадьбе гуляет.

— А... вот оно что,— заключил Гастон,— значит, в пятницу мы тебя не увидим.

— Выходит, нет. Заступит Тьено.

— Ну что ж, до следующей недели.

— До следующей. Счастливо доехать.

Напарник передал Пьеру карточку для оплаты. Гастон степенно переходил со скорости на скорость и зря на газ не жал. Ощущение стремительного движения огромной машины и утренний восход, обещавший прекрасный день, создавали великолепное настроение. Удобно устроившись на сиденье, Пьер крутил в руках карточку.

— Знаешь, никак не могу понять этих парней, просиживающих штаны в кассах. Они вроде бы и тут и нет.

Гастон понял, что Пьер пустился в разглагольствования, докапываться до смысла которых он не собирался.

— Как это понять — «и тут и нет»?

— Ну, на автостраде! Торчат у въезда, и все! А вечером кончают работу, садятся на велосипед с мотором и катят к себе на ферму. А как же автострада?

— При чем тут автострада? — раздраженно спросил Гастон.

— А, черт, да ты попробуй усечь! Ты что, не чувствуешь, как что-то меняется, когда ты пересекаешь контрольный пункт и получаешь на руки талон для оплаты? Ты же выезжаешь на прямую ленту бетона: чистота, скорость, и гляди в оба — иначе тебе несдобровать! Ты в другом мире! Это автострада, понял? И ты сам на автостраде!

Гастон упорно не хотел его понимать.

— Да что автострада — тяни лямку, и все. И больше тебе скажу: по мне, она чересчур однообразная. Особенно на этакой тачке. В молодости-то и я бы не прочь промчаться по ней на «масерати», выжимая до двухсот в час. А тащиться, когда тебе на зад сорок тонн навесили, на обычных дорогах — оно повеселей, там хоть переезды и быстро попадаются.

— Ясно,— согласился Пьер,— на «масерати» по двести в час — это здорово. Представляешь, я уже пробовал.

— Ты-то? Двести в час на «масерати» по автостраде?

— Ну нет, не на «масерати», конечно. На старом «крайслере», знаешь, на том, который Бернар отремонтировал. Мы выжимали до ста восьмидесяти.

— Ну это, знаешь ли, разница.

— Из-за двадцати километров торговаться будешь?

— Да я не торгуюсь, просто говорю: это разница.

— Пускай, но вот что я тебе скажу: все равно я нашу тачку предпочитаю.

— Это почему же?

— Потому что на «масерати»...

— Не на «масерати», а на отремонтированном «крайслере»...

— Один черт. На них зарываешься носом в землю. Ты не выше других. А наша машина высокая, и ты выше всех.

— А тебе надо быть выше всех?

— Я люблю автостраду, хочу все видеть. Вон глянь-ка на ту линию, что к горизонту уходит! Ведь здорово, а? Когда по земле на брюхе ползешь, такого не увидишь.

Гастон снисходительно покачал головой.

— В общем, знаешь, тебе бы водить самолет. Вот и будешь выше всех!

Пьер возмутился:

— Ни черта ты не понял или смеешься надо мной! При чем тут самолет? Это вон какая высь. А тут ты на автостраде. Ты с ней связан. С нее не сходишь.

В это утро весеннее солнце расцветило зону отдыха «Ландыши» такими радужными красками, что автострада по сравнению с ней казалась преисподней из сплошного бетона и грохота. Гастон надумал чистить кабину и под ироническим взглядом Пьера, вышедшего поразмять ноги, разложил тряпки, щетки, метелки и порошки.

— Я высчитал, что провожу в кабине бóльшую часть жизни. Поэтому пусть она будет чистая,— объяснял он как бы сам себе.

Пьер отошел от машины к свежей зелени подлеска. Чем дальше удалялся он в чащу весенних деревьев, тем слабее доносился с дороги гул машин. Его охватило странное чувство, похожее на умиление, которого он прежде не испытывал или, может, испытал много лет назад, когда впервые подошел к колыбели маленькой сестренки. В молодой листве звучал птичий гомон, в траве стрекотали кузнечики. Пьер дышал полной грудью, словно вынырнул на свежий воздух после длинного душного туннеля.

Вдруг он остановился. Перед ним невдалеке открылась прелестная картина. На траве сидит светловолосая девушка в розовом платье. Она не видит его. Все ее внимание обращено на коров, мирно пасущихся на лугу. Пьеру очень хочется ее разглядеть, с ней поболтать. Он подходит ближе. Но вот он вынужден остановиться. Перед ним ограда. Мрачная решетка почти лагерного типа с изогнутым верхом под стальной колючей проволокой. Пьер неотторжим от автострады. Даже в зоне отдыха сойти с нее нельзя. Далекий гул машин напоминает ему об этом. И все равно он стоит как завороженный, вцепившись пальцами в решетку, устремив взгляд к светлому пятну у ствола тутового дерева. Наконец до него долетает знакомый сигнал. Гастон потерял терпение. Пьер возвращается. Он с трудом отрывает взгляд от очаровавшей его картины и возвращается к реальной жизни, к своему тягачу с прицепом, к автостраде.

Машину ведет Гастон. Он еще весь в мыслях о завершенной генеральной уборке.

— Теперь все же почище,— с удовлетворением замечает он.

Пьер молчит. Он отсутствует. Он остался у решетки, которой отгорожена зона «Ландыши». Он блаженно улыбается, словно в чистом небе над ним парят невидимые ангелы.

— Ты что-то затих. Ни слова не промолвишь,— наконец удивляется Гастон.

— Я? Так, ничего. А что тебе хочется услышать?

— Да так, сам не знаю.

Стряхнув с себя оцепенение, Пьер пытается вернуться к действительности.

— Ну вот,— говорит он наконец со вздохом,— уже и весна!

Отделенный от тягача прицеп стоял на подпорках. Пока рабочие разгружали его, тягачу можно было покинуть лионские склады.

— Трейлер тем и хорош,— с удовлетворением отметил Гастон за рулем,— что катай себе на тягаче куда хочешь, пока идет разгрузка. И тогда — ну чем не тачка, на которой разъезжают буржуи.

— Да, только вот иногда хорошо бы каждому по тягачу,— возразил ему Пьер.

— Это еще зачем? Отколоться хочешь?

— Да нет, я так, я о тебе забочусь. Ведь пора уже в самообслужку, а я знаю, что ты этого дела не любишь. А на персональной тачке закатился бы ты в кабачок к матушке Марод, а у нее тушеное мясо — такого нигде не найдешь!

— Да что говорить, с тобой надо жрать наспех, как на пожаре, а уж обстановочка там — точно у зубного врача.

— Зато в самообслужках быстро и чисто. И какой выбор!

Они заняли очередь и постепенно продвигались, подталкивая свои подносы по гладкой поверхности стойки вдоль выставленных тарелок с едой. Насупленный вид Гастона показывал, что это ему не по нутру. Пьер выбрал салат из свежих овощей и жареное мясо. Гастон — паштет по-деревенски и рубец. Стали искать свободные места.

— Видал, какой выбор? — ликовал Пьер.— И ни минуты не ждешь.

Но, разглядев еду на тарелке Гастона, он удивился.

— Что это у тебя?

— В общем-то это рубец,— осмотрительно ответил Гастон.

— Как и полагается в Лионе?

— Да, только остывать ему не полагается, а здесь ведь остынет.

— Не надо было брать,— сказал Пьер и добавил, указывая на свои овощи: — Уж это не остынет.

Гастон пожал плечами.

— Из-за твоей хваленой быстроты придется начинать не с закуски, а с горячего. Иначе рубец весь покроется застывшим жиром. А холодный рубец есть нельзя. Нель-зя! Запомни, и пора понять, что со мной ты зря времени не потерял бы. Ведь я почему не против немного обождать в маленьком бистро? Можно, пока суд да дело, распить с парнями по стаканчику вина. Зато уж сама хозяйка подаст тебе хорошо протушившееся мясное блюдо, горячее, как ему и полагается. Это — насчет быстроты. А насчет вкуса, так лучше и не говорить. Не знаю, почему они в самообслужках не кладут никаких специй. Взять, к примеру, рубец: в него надо положить лук, чеснок, тмин, лавровый лист, гвоздику и много перца. Он должен быть очень горячий и острый. А тут попробуй — чем не отварная вермишель для сидящих на бессолевой диете?

— Так брал бы другое. Можно же выбрать.

— Выбрать? Ладно, раз уж ты о выборе! Вот что я тебе скажу: чем меньше в ресторане выбор, тем лучше. Если тебе предлагают семьдесят пять блюд, можешь отчаливать: все ни к черту не годятся. Хорошая кухарка вкладывает душу только в одно блюдо — фирменное.

— Ну ладно, выпей-ка лучше кока-колы, авось успокоишься!

— Кока-колу с рубцом!

— С тобой не договоришься. Ты же мне десять минут толкуешь о том, что это не рубец.

Ели молча, каждый думал о своем. В конце концов Пьер сказал:

— Вот видишь, у нас взгляды расходятся. Я явно предпочитаю Шестую автостраду, а ты, должно быть, хотел бы по-прежнему ездить по Седьмому шоссе.

Хорошая погода, казалось, наступила всерьез и надолго. Зона отдыха «Ландыши», как никогда, соответствовала своему названию. Гастон улегся неподалеку от машины и, посасывая травинку, разглядывал небо сквозь нежные ветви осины. Пьер поскорей направился в глубь зоны. Ухватившись пальцами за решетку, он внимательно осмотрел луг. Какая жалость! Коровы паслись, как всегда, но пастушки не оказалось. Он постоял немного в нерешительности и стал оправляться.

— Чего стесняться-то!

Слева из-под куста раздался молодой голосок с легким бургундским акцентом. Пьер поскорей застегнул брюки.

— Здесь решетку не зря поставили. Чтобы грязь не проникала. Или как ее — загрязненность!

Пьер попытался свести воедино два образа: тот, далекий, слегка идеализированный, вот уже десять дней не выходивший у него из головы, и этот вполне конкретный образ стоявшей перед ним девушки. Она представлялась ему выше и стройней, а главное, не такой юной. Эта же была еще сущий подросток; в мордашке, усеянной веснушками и не знакомой с косметикой, проглядывало что-то деревенское. И он тут же решил, что так она нравится ему еще больше.

— Вы часто здесь бываете?

От смущения он не нашел других слов.

— Иногда. И вы тоже, кажется. Я узнала ваш грузовик.

Пауза полнилась весенними шорохами.

— Как здесь тихо, хотя и близко от автострады. Зона отдыха «Ландыши». Почему она так называется? Тут ландыши растут?

— Раньше росли,— поправила девушка.— Здесь был лес, и весною полным-полно ландышей. Когда построили автостраду, леса не стало. Его автострада съела. Прямо как землетрясение! Ну и ландышам, ясное дело, где же расти?

Снова пауза. Она села на землю, прислонясь плечом к решетке.

— Мы проезжаем здесь дважды в неделю,— сказал Пьер.— Только второй раз едем обратно в Париж. Тогда стоим по другую сторону автострады. Чтобы дойти сюда, надо пересечь обе полосы автострады. Это опасно, да и запрещено. А у вас ферма в этих краях?

— Да, у родителей. В Люзиньи. Люзиньи-сюр-Уш. Пятьсот метров отсюда, а то и меньше. Но брат в город переехал. Электриком работает в Боне. Не желает, говорит, в земле ковыряться. Вот и неизвестно, что с фермой будет, когда отец работать не сможет.

— Понятно, прогресс,— подтвердил Пьер.

Ветер тихо прошелестел в ветвях. Послышался сигнал трейлера.

— Мне пора,— сказал Пьер.— Надеюсь, до скорой встречи.

Девушка поднялась.

— До свиданья!

Пьер бросился бежать, но тут же вернулся.

— Как вас зовут?

— Маринетт. А вас?

— Пьер.

Спустя некоторое время Гастон заметил, что у его напарника явно изменились интересы. Пьера вдруг стали занимать женатые люди.

— Вот думаю,— говорил он,— как живут женатые парни. Всю неделю в дороге. Ну, а дома ясно — больше всего спать хочется. Тут уж не до прогулок на машине. А бабенка, конечно, думает, что ее забросили.

Помолчав, он спрашивал:

— Ты вроде был женат?

— Да, был когда-то,— бесстрастно подтвердил Гастон.

— Ну и что?

— Что, что... по моему примеру поступила.

— Как это, по твоему примеру?

— Да так. Я всегда бегал, ну и она сбежала.

— Но ты же возвращался.

— А она — нет. Сошлась с парнем из бакалейной лавки. Этот небось на месте сидел.

И, немного подумав, он закончил свою речь довольно грозно:

— В общем, понимаешь, автострада и женщины несовместимы.

Гастону и Пьеру полагалось мыть машину по очереди. Так принято, когда работаешь с напарником. Но почти всегда мойку машины брал на себя Пьер, а Гастон пропускал свою очередь с философским спокойствием. У них были явно разные понятия об эстетике и гигиене, как личной, так и в отношении орудий труда.

В этот день Гастон праздно сидел в кабине, а Пьер мыл кузов, направив на него грохочущую струю, заглушавшую редкие замечания, которыми они обменивались через открытое окно.

— Может, уж хватит с тебя?

— Чего это хватит?

— Лосьона для рук. Думаешь, ты в институте красоты?

Вместо ответа Пьер перекрыл воду и вынул из ведра губку, с которой ручьями стекала вода.

— Как мы стали работать вместе, я сразу понял, что куколки, разные амулетики, картинки, которые ребята вешают в тачках, тебе не по нутру,— снова начал Гастон.

— Что верно, то верно,— подтвердил Пьер.— Я считаю, машину это не украшает.

— А что ж, по-твоему, ее украшает?

— Все, что ей нужно, что с ней связано, служит делу. Все, что подходит к автостраде. А зачем, чтоб что-то болталось, тряслось, качалось, зачем побрякушки всякие?

— Но признай, я ведь сразу все снял, даже ту красотку на коньках с голыми ляжками, что была на радиаторе.

— Ну, ее-то мог бы оставить,— сказал Пьер и снова взял в руки шланг.

— Ну и ну,— удивился Гастон.— Мсье что-то смягчается? Небось весна действует. Может, разрисуешь кузов цветочками?

Пьер не расслышал его слов из-за шума струи, хлеставшей по металлу.

— Что-что насчет кузова?

— Я говорю, разрисуй-ка ты кузов цветочками. Ландышами, что ли.

Струя устремилась Гастону в лицо, но тот поскорей поднял стекло.

В тот же день на их обычной остановке в зоне «Ландыши» произошел случай, не столько позабавивший, сколько обеспокоивший Гастона.

Полагая, что Гастон заснул на своем спальном месте, Пьер открыл заднюю дверцу в прицепе и вытащил оттуда небольшую металлическую лесенку, которой они пользовались, чтоб взбираться на крышу. Затем направился в глубь зоны отдыха. Иногда событиями вершит, вероятно, злой гений. Очевидно, последовавшая сцена просматривалась с проезжей части шоссе, которое в этом месте широко изгибалось. Факт тот, что двое полицейских из дорожной полиции явились на своих мотоциклах как раз в тот момент, когда Пьер, приставив лесенку к столбу решетки, начал по ней взбираться. Они подошли и приказали ему спуститься. Вмешался Гастон. Объяснение было бурное. Один из полицейских, разместив весь свой бюрократический арсенал на крыле машины, принялся что-то строчить, пока Гастон водворял лестницу на прежнее место. Затем полицейские, оседлав свои мотоциклы, отбыли, как два посланца судьбы, и машина снова двинулась в сторону Лиона. Напарники долго молчали, наконец Пьер, сидевший за рулем, заговорил первым:

— Видишь деревню? Каждый раз, как еду мимо, я думаю про родные края. Приземистая церквушка и сгрудившиеся вокруг домики, совсем как в Парлин под Пюи-де-ля-Шо. Вот уж где вправду самый глухой угол Оверни. Одни коровы да угольщики. Лет двадцать назад люди жили вместе со скотиной. В глубине коровы, слева — свинарник и свиньи, справа — насест для птицы, правда, с наружным отверстием, чтобы птица могла выходить. У окна стоял стол, за ним ели, а по бокам — две большие кровати, и там все семейство спало. Тут уж не пропадало зимой ни капли тепла. Но зато дух какой, когда входишь с улицы. Прямо в нос шибало!

— Но сам-то ты такого не видел, молод еще,— возразил Гастон.

— Не видел, но я там родился. Я, как бы тебе сказать, впитал это с молоком матери, и иногда мне даже не верится, что я оттуда выбрался. Например, пол. Он там земляной. Ни тебе плиток, ни досок. Зато и ног вытирать не надо. Что земля в полях, налипшая на подметки, что в доме: все чавкает под ногами. Вот я и ценю больше всего в нашей работе, что можно работать в мокасинах на мягкой подошве. Но в нашей деревне не все было плохо. К примеру, мы топили дровами, готовили на дровах еду. Что ни говори, оно получше газа и электричества, которые мы завели попозже, когда моя старушка овдовела и поселилась в Буллэ. От дров тепло живое. А какие елки были у нас на рождество...

Гастон наконец не выдержал и спросил:

— К чему ты мне все это расписываешь?

— К чему? Не знаю. Так просто, к слову пришлось...

— Послушай-ка, что я тебе скажу. Насчет лестницы. Ты думаешь, тебе просто захотелось потискать Маринетт. Ан нет. Тут было другое. Тебе перво-наперво захотелось удрать с автострады и вернуться в свою Парлин под Пюи или как там ее!

— Да ну тебя, разве ты можешь понять!

— Думаешь, раз я родился в Пантене [1], я не могу понять, как ты тоскуешь по земле?

— А шут его знает. Думаешь, я сам хоть что-нибудь понимаю? Нет, ей-богу, иногда жизнь бывает чересчур уж сложна.

.

— А в субботу вечером вы на танцы когда-нибудь ходите?

Пьер бы с удовольствием подсел к Маринетт и просто молча побыл с нею рядом, но эта загородка, эта решетка, в которую он вцепился пальцами, разделяет их, и поэтому надо говорить, говорить слова.

— Иногда,— отвечает уклончиво Маринетт.— Но это далеко. В Люзиньи танцев никогда не бывает. Все ездят в Бон. Мои родители не очень-то любят меня одну отпускать. Требуют, чтобы со мной ездила дочка соседей. Жанетт — девушка серьезная. Когда я с ней, они спокойны.

Пьер размечтался вслух:

— Вот я как-нибудь в субботу заеду за вами в Люзиньи. Поедем вместе в Бон. И Жанетт возьмем, раз уж так нужно.

— Это на сорокатонке? — удивилась практичная Маринетт.

— Зачем? У меня мотоцикл, триста пятидесятый.

— Втроем на мотоцикле не очень удобно.

Последовало тягостное молчание. Пьер сначала решил, что она не горит желанием пойти с ним на танцы. Но, может, наоборот, ей так хочется с ним пойти, что она сразу взвесила все препятствия.

— Но ведь можно и здесь танцевать,— вдруг сказала Маринетт, словно сделала внезапное открытие.

Пьер не понял.

— Здесь?

— Ну да, у меня есть маленький транзистор,— сказала она, наклонилась и извлекла из высокой травы приемник.

— Как же, а решетка?

— Есть танцы, которые танцуют порознь. Джерк, например.

Она включила транзистор. Оттуда полилась довольно медленная нежная музыка.

— Это джерк? — спросил Пьер.

— Нет, скорее вальс. Ну что, попробуем?

И не дождавшись ответа, держа приемник в вытянутой руке, она принялась кружиться на месте под завороженным взглядом Пьера.

— Ну, а вы что ж не танцуете?

Сначала неловко, потом все более и более уверенно он стал следовать за ее движениями.

Придя искать своего напарника, глухого ко всем его призывам, Гастон остановился как вкопанный, за тридцать метров увидев странную и грустную сцену — парень и девушка в расцвете молодости, разделенные колючей проволокой, танцевали венский вальс.

Когда они снова тронулись в путь, за руль сел Гастон. Пьер протянул руку к приемнику. И тут же раздался вальс Маринетт. Пьер откинулся назад, погружаясь в счастливые мечты. Ему вдруг показалось, что пробегавший мимо пейзаж поразительно соответствует

[1] Парижский пригород.

музыке, точно глубокое родство связывало цветущую Бургундию и императорскую Вену времен Штрауса. Перед взглядом проплывали чередой красивые старинные особняки благородных пропорций, мягкие очертания холмов, нежная зелень лугов.

— Чудно́, до чего же здесь красиво,— сказал он наконец.— Десятки раз проезжал и не замечал.

— Это все из-за музыки,— пояснил Гастон.— Как в кино. Если хорошо подобрать музыку, впечатление намного больше.

— А тут еще ветровое стекло,— добавил Пьер.

— Ветровое стекло? При чем это тут?

— Ну да, ветровое стекло. За ним пейзаж, как в рамке под стеклом.

— Значит, по-твоему, ветровое стекло для того и сделано, чтобы пейзаж был в рамке?

— В общем-то да. А что? Через него пейзаж еще красивее. Почему — непонятно.

Он немного подумал и добавил:

— Нет, знаю почему...

— Ну давай выкладывай. Почему же за ветровым стеклом пейзаж красивей?

— В детстве я очень любил ездить в город и рассматривать витрины. Особенно перед рождеством. Все предметы в витрине были красиво разложены на бархате среди гирлянд и сосновых веток. Через стекло их не достать. Но как только я входил в магазин и просил что-нибудь вынуть с витрины, сразу все делалось хуже. Загадочность пропадала, понимаешь. Вот и пейзаж за ветровым стеклом — как на витрине. Красиво, а потрогать нельзя. Может, потому и красивее.

— Значит,— заключил Гастон,— по-твоему, выходит — на автостраде прекрасные вещи, но только для глаз. А руки тянуть к ним нечего. Руки прочь, трогать запрещено!

Гастон замолчал. Ему хотелось еще что-то добавить, закончить свою мысль, но он колебался. Не хотел обижать своего напарника Пьера, такого молодого и такого нескладного. Наконец он все же решился.

— Только вот что,— сказал он приглушенным голосом.— С автострады не дотянешься не только до пейзажа. До девушек тоже. Пейзаж за ветровым стеклом, девушки — за оградой, все — на витрине. Руки прочь, трогать запрещено! Вот что такое автострада.

Пьер не шелохнулся. Его безучастность вывела Гастона из себя. Он взорвался.

— Ну что, неправда, а, Пьеро? — выкрикнул он.

Пьер вздрогнул и посмотрел на него отсутствующим взглядом.

Огромный неподвижный силуэт машины вырисовывался на фоне сверкающего звездами неба. Слабый свет освещал кабину. Гастон, в ночном облачении, но с очками в стальной оправе на носу, был погружен в чтение романа. Пьер, лежавший на спальном месте, стал уже беспокоиться, почему тот так долго не спит.

— Ты что там делаешь? — спросил он сонным голосом.

— Ты же видишь — читаю.

— Что ты читаешь?

— Раз ты меня спрашиваешь, а я отвечаю — я уже не читаю. Все. Уж что-нибудь одно. Но до этого я читал роман. Называется «Венера песков».

— «Венера песков»?

— Да, «Венера песков».

— Это про что?

— Дело происходит в пустыне. В Тассилин-Аджере. Это вроде бы к югу от Сахары. Тут про погонщиков верблюдов. Они бредут по пустыне с верблюдами, нагруженными разным товаром.

— Ну и как, интересно?

— Как ни странно, немного похоже на нас.

— Почему это?

— Да бредут эти погонщики со своими верблюдами по песку день напролет. Перевозят товары из одного места в другое. Вроде как нынешние водители грузовиков — только в прежние времена. Или, наоборот, мы с тобой — вроде погонщиков верблюдов, только в наши дни. Замени верблюдов грузовиками, а пустыню — автострадой, вот и вся разница.

— Да ну,— удивился Пьер.

Но Гастон, увлеченный своим рассказом, продолжал:

— Ну а в пустыне есть оазисы. И в этих оазисах погонщики останавливаются на привал. А там — родники, пальмы и девушки, которые их ждут. Отсюда и название романа «Венера песков». Есть там в одном оазисе сногсшибательная девица. Погонщики, ясное дело, мечтают о ней. Да вот, послушай-ка:

«Молодой всадник сошел со своего белого мехари,— так они верблюдов своих называли,— и стал разыскивать под сенью пальмовой рощи Айшу,— это так зовут ту девицу.— Он долго не мог ее найти, ибо она спряталась за колодцем и оттуда наблюдала за молодым человеком, слегка раздвинув складки покрывала, которым было закрыто ее лицо. Наконец он заметил ее силуэт сквозь ветви розового тамариска. Увидев, как он приближается, она встала, ибо женщине не пристало сидя говорить с мужчиной». Видишь, в этих странах сохранилось понятие о почтении.

«— Айша,— сказал он,— восемь дней скитался я в скалах Тассилин-Аджера, но каждый раз, когда я прикрывал глаза от палящего солнца, передо мной возникало твое нежное личико. Айша, цветок Сахели, вспоминала ли ты обо мне хоть бы раз за все это время?

Девушка приоткрыла покрывало; блеснул лиловый, томный взгляд и ослепительная белизна улыбки.

— О Ахмед, сын Дахмани,— произнесла она,— так говоришь ты сегодня. Но завтра с первыми проблесками зари ты поднимешь своего белого мехари и удалишься к северу и ни разу не обернешься назад. О, я уверена, ты больше любишь своего верблюда и пустыню, чем меня!»

— Ну, что ты на это скажешь?

Пьер повернулся на бок. Гастон услышал глубокий вздох, в котором ему почудилось имя «Маринетт».

Они приближались к зоне отдыха «Ландыши». За рулем сидел Пьер. Сзади на спальном месте дремал Гастон.

Машина направилась по дороге, ведущей в зону отдыха.

— Я сойду на минуточку,— объявил Пьер.

— Я останусь в машине,— раздалось в ответ со спального места.

Пьер пошел в глубь рощи. Пасмурная погода приглушила краски и птичьи голоса. В воздухе повисло тяжелое ожидание чего-то мрачного, грозного. Пьер подошел к ограде. Ни коров, ни пастушки не было видно. Разочарованный, он постоял с минуту, вцепившись пальцами в решетку. Позвать Маринетт? Нет, не стоит. Там явно не было никого, потому-то и померкли все краски. Внезапно, словно его кто подтолкнул, Пьер повернул назад и быстро зашагал к машине. Он сел на место, и машина тронулась.

— Что-то слишком уж быстро,— раздалось со спального места.

Машина рванула вперед по дороге к автостраде и, не задержавшись ни минуты, выехала на нее. Мчавшийся как метеор «порш» едва успел вырулить влево и возмущенно просигналил фарами. С силой давя на акселератор и виртуозно переходя со скорости на скорость, Пьер выжимал максимум возможного из того, на что был

способен трейлер, к сожалению нагруженный доверху. Вот и съезд на Бон. Машина сошла на него со скоростью ветра. Из-за сидений вынырнула голова оторопевшего Гастона в шлеме.

— Ты что там вытворяешь? Спятил?

— Люзиньи, Люзиньи-сюр-Уш,— проговорил Пьер сквозь зубы.— Мне надо заехать.

— Знаешь, во что нам это обойдется? Тебе-то на все наплевать. Но когда мы доберемся сегодня вечером до Лиона? Мало с тебя той истории с лестницей? Думаешь, можно еще какой-нибудь номер себе позволить?

— Только небольшой крюк всего-то. Ну, полчасика, прошу тебя!

— Полчасика! Как бы не так!

Машина остановилась перед контрольным пунктом. Пьер протянул контролеру карточку.

— Люзиньи, Люзиньи-сюр-Уш? Знаешь, где это?

Человек неопределенно махнул рукой и что-то произнес неразборчиво.

— Что?

Снова жест, еще более неясный, и неопределенные звуки.

— Ладно, поехали! — заключил Пьер, и машина тронулась.

— Выходит, ты даже не знаешь, куда едешь,— сказал ему Гастон.

— Люзиньи, Люзиньи-сюр-Уш. Ясно или нет? Тут пятьсот метров всего, Маринетт говорила.

Проехав еще немного, машина останавливается около старушки, которая держит в одной руке зонтик, в другой — корзину. Та в испуге отскакивает в сторону.

— Мадам, скажите, пожалуйста, как проехать в Люзиньи?

Старуха приближается и, сунув зонтик под мышку, прикладывает ладонь к уху, растопырив веером пальцы.

— В какой магазин? О каком магазине вы говорите?

— Да нет. Люзиньи, Люзиньи-сюр-Уш.

— Провизию для ужина? Так поезжайте в бакалейную лавку!

Гастон считает необходимым вмешаться и, высунувшись из-за плеча Пьера, четко выговаривает:

— Нет, мадам. Мы ищем Люзиньи. Люзиньи-сюр-Уш.

Старуха ухмыляется.

— Сыро уж? Да, действительно сыро, здесь очень сыро.

— О черт! — бормочет Пьер и включает сцепление.

Трейлер проезжает на небольшой скорости еще около километра и останавливается, когда со стороны Гастона показывается кто-то. Человек погоняет корову. Гастон обращается к нему с тем же вопросом. Тот, даже не остановившись и не произнеся ни слова, указывает рукой вправо.

— Надо повернуть направо,— говорит Гастон.

Тяжелый трейлер с трудом разворачивается, въезжая на узкое шоссе. Навстречу едет парень на крупной рабочей кобыле, вместо седла у нее прилажен мешок с картошкой.

— Скажи, паренек, ты знаешь, где Люзиньи, Люзиньи-сюр-Уш?

Парень смотрит на него тупым взглядом.

— Ну что, знаешь или нет, где Люзиньи?

Тот все молчит. Тут лошадь вытягивает шею, отыскивает огромную желтую торбу с сеном и разражается радостным ржанием. Словно заразясь этим взрывом радости, парень заливается безумным смехом.

— Оставь его,— советует Гастон.— Ты же видишь — слабоумный.

— Ну что за проклятый край! — вырывается у Пьера.— Сговорились они, что ли?

Они подъезжают к перекрестку, где шоссе пересекает проселочная дорога. Там стоит столб, однако планки с названием почему-то нет. Пьер выскакивает на обочину и исследует траву вокруг столба.

Наконец он находит позеленевшую планку с надписями, на которой обозначено несколько деревень, в том числе и Люзиньи.

— Ну видишь, до Люзиньи три километра,— торжествует он.

— Да, но ты же говорил пятьсот метров,— напоминает Гастон.

— Значит, мы заблудились.

Он поворачивает сотрясающуюся машину на проселочную дорогу.

— Неужто ты собираешься ехать по такой дороге? — восклицает Гастон.

— А почему бы и нет? Смотри, катится как по маслу.

Машина продвигается, раскачиваясь, как корабль. Ветви царапают по бокам, хлещут по ветровому стеклу.

— Это тебе не выезд из замка,— кряхтит Гастон.

— Горя бояться — счастья не видать!

— И бояться нечего — все заранее ясно. Ну-ка взгляни, что там впереди.

Свернув на повороте, они и в самом деле видят перед собой трактор с повозкой, которая загораживает всю дорогу. И грузовик и трактор останавливаются. Пьер сходит и о чем-то долго переговаривается с трактористом. Затем снова садится рядом с Гастоном.

— Он говорит, чуть подальше можно разъехаться. Он назад подаст.

Начинаются сложные маневры. Трейлер понемногу продвигается вперед и наступает на трактор, а тому мешает отступать повозка. Кое-как в самом деле доезжают до места, где дорога чуть пошире. Трейлер прижимается вправо. Трактор пытается его объехать, но повозка не проходит. Трейлер подает на несколько метров назад, потом снова вперед, еще забирает правее. Путь для повозки расчищен, но огромная машина опасно накренилась. Пьер прибавляет газ. Но мотор ревет понапрасну. Правые колеса увязли в траве и вязкой земле.

— Так и есть! Застряли,— констатирует с мрачным удовлетворением Гастон.

— Не бойся, я все предусмотрел.

— Что ты предусмотрел?

— Черт побери, а трактор на что? Он нас и вытянет!

Пьер выходит из кабины, и Гастон смотрит, как он ведет переговоры с трактористом. Тот отрицательно машет рукой. Пьер достает бумажник. Не помогает. Наконец трактор трогается с места, и повозка объезжает трейлер. Гастон спрыгивает на землю и бежит за трактором.

— Нам надо в Люзиньи. Люзиньи-сюр-Уш! Скажите, это где?

Тракторист машет рукой в ту сторону, куда сам едет. Гастон уныло бредет к Пьеру, тот роется в кабине, ищет трос.

— Прекрасная новость,— говорит ему Гастон.— Надо поворачивать.

Но до этого дело пока не дошло. Размотав трос, Пьер залезает под радиатор, чтобы прикрепить его к лебедке. Затем, держа в руках другой конец троса, идет поискать, к чему бы привязать трос. В нерешительности останавливается перед деревом, потом перед другим и наконец выбирает старинное распятие на перекрестке шоссе с грунтовой дорогой. Обмотав цоколь тросом, он залезает в кабину. Мотор лебедки гудит, трос медленно раскручивается на камнях, а затем натягивается и дрожит. Пьер останавливает мотор, словно собирая все силы для решительного удара. Потом снова включает лебедку, согнувшись над рулем так, точно это он сам будет тащить машину с обочины. Гастон следит за операцией чуть позади кабины. Он знает, что если стальной трос порвется, то может скосить и того, кто стоит на его пути. Машина дрогнула, потом медленно сдвинулась с вязкой почвы. Уставя взгляд в землю, Пьер следил, как машина медленно,

метр за метром, продвигалась вперед. Гастон увидел первый, как распятие вдруг коварно накренилось и сразу же повалилось в траву именно в тот момент, когда четыре колеса прицепа наконец выбрались на шоссе.

— А распятие! Видал, что ты наделал?

Радуясь, что все хорошо кончилось, Пьер только пожал плечами.

— Вот увидишь, в конце концов мы попадем за решетку.

— Если бы тот тип с трактором нам помог, такого б не получилось.

— Это уж ты жандармам рассказывай!

Машина опять затряслась по ухабам.

— Местность, конечно, красивая, но не забудь, нам разворачиваться.

— Ничего, куда-нибудь да приедем.

И действительно, они проехали еще с километр и оказались на площади небольшого поселка. Там была бакалейная лавка с буфетом, лавка москательных и аптекарских товаров, ряды ржавых столбов поддерживали свернутый брезент над пустым рынком, а в глубине стоял памятник погибшим: солдат шел в атаку, сжимая винтовку со штыком, а под сапогом солдата лежала остроконечная каска. Место не слишком удобное, чтобы разворачиваться, но выбирать не приходилось. Гастон сошел с машины, чтобы руководить операцией. Надо было направить тягач в переулок, шедший под уклон, а затем подать машину назад и взять левее. Беда заключалась в том, что переулок был чересчур узкий. Оставалось подать трейлер как можно дальше назад, до самого памятника погибшим.

Гастон бегал от хвоста прицепа к окну кабины и руководил действиями Пьера:

— Прямо, вперед!.. Еще... Стоп... Теперь правее... Назад... Стоп... Забирай влево... Вперед...

Тесно ужасно. Нет пешеходов, стало быть зрителей, но от этого только больше неловкость, которую испытывают оба водителя с самого начала опасной затеи. Куда их занесло? Только бы отсюда выбраться...

Самое трудное впереди, ибо бампер тягача почти касается витрины москательной лавки, а задняя часть прицепа прямо угрожает памятнику погибшим. Но Гастон начеку. Он кричит, бегает, суетится. Бедный Гастон, он так боится неприятных сюрпризов, боится лишний раз пальцем шевельнуть, а вот ведь влип сегодня в историю.

Машину больше нельзя продвинуть вперед ни на полвершка, не разбив витрины, в которой разложены мази для растирания на случай простуды, разные настойки и пояса, предохраняющие от ревматизма. Пьер резко тормозит и подает машину назад. Ему почему-то кажется, что Гастон слишком осторожничает, не позволяя ему сделать несколько сантиметров, которые сейчас так необходимы. Вечно надо бороться с Гастоном! Он подает назад. До него долетает далекий, но отчетливый голос Гастона:

— Давай! Осторожно. Еще. Тише. Стоп. Вот так.

Но Пьер уверен, что есть наверняка еще метр. Тот самый метр, который ему так нужен. Поэтому он продолжает подавать назад. У Гастона отчаянный голос:

— Стоп! Остановись! Остановись же ты, бога ради!

Скрежет, глухой удар. Пьер наконец останавливается и соскакивает на землю.

У солдата, который обеими руками сжимал винтовку со штыком, теперь нет ни штыка, ни рук. Но он защищался доблестно, свидетель тому — большая царапина на металле прицепа. Гастон наклоняется и собирает бронзовые осколки.

— Ну вот, теперь он безрукий,— говорит Пьер.— Что же — инвалид войны, чем плохо?

Гастон пожимает плечами.

— На этот раз придется идти в жандармерию. Не миновать. А насчет твоей проклятой деревеньки на Уше на сегодня хватит.

Формальности заняли около двух часов, и, когда они вышли из жандармерии, уже стемнело. Гастон заметил, что Пьер — мрачный, решительный, словно во власти бешенства,— даже не спросил у жандармов, где Люзиньи. Как они со своим сорокатонным прицепом оказались в поселке? Когда при составлении протокола им задали этот вопрос, они сослались на то, что им срочно понадобилось заменить какую-то деталь, они искали гараж, который им указали,— словом, бездна недоразумений.

Теперь оставалось только возвратиться на автостраду. За руль сел Гастон. Пьер по-прежнему мрачно молчал. Они проехали около двух километров, и тут взрыв петарды заглушил шум мотора.

— Ну что там еще? — всполошился Гастон.

— Ничего,— пробурчал Пьер,— это не мотор.

Поехали дальше. И вот белый слепящий свет перерезал дорогу. Гастон остановился.

— Подожди,— сказал Пьер.— Сойду взгляну.

Он выскочил из кабины. На дороге догорал бенгальский огонь. Пьер собирался взобраться на место, но тут раздался оглушительный звук трубы, и группа танцующих в масках окружила Пьера, потрясая факелами. Кое у кого в руках были дудки, у других — трубы. Пьер отбивался, вырывался из шутовского хоровода. Его засыпали конфетти, человек в костюме Пьеро опутал его серпантином, розовая поросячья маска выпустила ему в лицо длинный бумажный язык.

— Да отстаньте вы от меня, сумасшедшие!

Под ногами у Пьера взорвалась петарда. Он схватил розового поросенка за шиворот и ударил кулаком прямо в рыло, и оно прогнулось и смялось от удара. Остальные поспешили поросенку на выручку, Пьеру подставили подножку, и он упал. Гастон вылез из кабины с электрическим фонарем. Он заорал:

— Да прекратите вы, придурки! Нам не до шуток. Мы тут знаем жандармов. Вот сейчас их позовем!

Гвалт затих. Парни снимают маски, и под ними обнаруживаются веселые лица принарядившихся деревенских ребят. У них трехцветные кокарды и ленточки новобранцев.

— Ну чего вы? Забрили нас, вот мы и дурачимся! Только и всего!

— А вы-то чего тут не видали среди ночи со своей тачкой? На новую квартиру переезжаете или как?

Они крутят пальцами около виска и хохочут.

— А что? Может, они и переезжают.

Пьер потирает поясницу. Гастон поскорей толкает его к машине и запихивает в кабину, пока дело снова не приняло серьезный оборот.

На автостраде, опять за рулем, он краем глаза все поглядывает на застывшее лицо напарника, упрямый профиль в слепящем свете фар редких встречных автомашин.

— Знаешь,— наконец говорит он.— Я что-то уж и не верю, что есть на свете твой Люзиньи. Может, твоя Маринетт тебя просто надула.

— Вполне возможно, что никакого Люзиньи нет,— помолчав немного, отвечает Пьер.— Но только уж Маринетт никак не могла меня надуть.

— Хорошо, если она тебя не надула, объясни, почему она назвала несуществующую деревню.

Снова молчание. И потом Гастон услышал в ответ нечто, поверг-шее его в замешательство:

— Может, и самой-то Маринетт тоже нет на свете. Нет, и все. И вполне нормально, если несуществующая девушка живет в несуществующей деревне, верно?

Назавтра, еще засветло, машина, направлявшаяся в Париж, подъехала к зоне отдыха «Ландыши». За рулем сидел Пьер. Он был угрюм, как и накануне, и почти все время молчал, лишь изредка бормотал проклятья. Гастон, примостившись в своем уголке, глядел на него с беспокойством. Их обогнал автобус и перешел на правую линию прямо у них перед носом. Пьер взорвался:

— Черт побери! Туристы! Болтается по дорогам всякая шваль. А если вдруг авария, конечно, грузовик окажется виноват! Нет чтоб на поезде поехать — и веселитесь себе на здоровье весь отпуск!

Гастон повернул голову. Их изо всех сил пыталась обогнать малолитражка.

— А эта божья коровка туда же! Да еще баба за рулем. Ну чего ради ей обязательно рваться вперед, ведь еле-еле плетется.

К изумлению Гастона, Пьер все же сбавил скорость, и малолитражка обогнала их без труда. Проезжая мимо, женщина за рулем благодарно помахала Пьеру рукой.

— Очень уж ты любезен,— съязвил Гастон, пока Пьер притормаживал,— но после вчерашних приключений у нас лишнего времени нет.— И тут он заметил, что Пьер, продолжая сбавлять газ, включил правую мигалку и направился к обочине. Увидев по другую сторону автострады зону отдыха «Ландыши», Гастон все понял.

— Ну нет, черт побери, не вздумай приниматься за вчерашнее.

Не проронив ни слова, Пьер соскакивает на землю. Пересечь обе полосы автострады, по которым двумя непрерывными встречными потоками бешено мчатся машины,— дело весьма сложное. Пьер не колеблется ни секунды. Ослеп он, что ли?

— Пьер, да ты спятил! Осторожней, черт побери!

«Мерседес» громко, негодующе сигналит и чуть не сбивает Пьера. Но Пьер мчится дальше, добегает до перил, разделяющих полосы автострады. Перескакивает через перила, бросается наперерез пути из Парижа в Прованс. Перед самым носом у него пролетает огромный грузовик, Пьеру приходится остановиться. Но вот снова отчаянный рывок, чудом он не попадает под «ситроен-ДС». Еще рывок. И тут его настигает удар, и второй, он падает, но не успевает коснуться земли и от нового страшного удара летит вверх... «Машины играли им вроде как с футбольным мячом»,— объяснял позднее Гастон. Скрежет шин по асфальту, рев клаксонов. Пробка...

Гастон добегает до Пьера первым. С помощью трех других водителей несет его к машине. Голова у Пьера вся в крови, безвольно болтается из стороны в сторону. Гастон осторожно ее поправляет. Смотрит Пьеру в глаза с грустью и нежностью. И тогда губы Пьера слегка шевелятся. Он пытается что-то сказать. Бормочет что-то невнятное. Потом вдруг выговаривает — медленно, членораздельно.

— Автострада...— шепчет он.— Автострада... Видишь, Гастон, как с ней свяжешься... от нее не уйдешь.

Немного позже тягач с прицепом, который ведет Гастон, снова пускается в путь. Перед ним — «скорая помощь» с вращающейся «мигалкой». Вот она берет вправо и выходит на съезд в Бон. Трейлер Гастона обгоняет ее, держа путь на Париж. «Скорая помощь» замедляет ход, проезжая через контрольный пункт и мимо указателя, на котором потерявший сознание Пьер уже не может прочесть: «Люзиньи-сюр-Уш — 500 м».

Да пребудет радость со мною

Рождественская сказка

Можно ли стать всемирно известным пианистом с такой фамилией, как Лангет? Назвав своего сына Рафаилом и отдав его таким образом под покровительство одноименного архангела, самого воздушного и сладкогласного, папаша и мамаша Лангет, видимо, сами того не сознавая, сразу бросили вызов судьбе. А ребенок действительно не замедлил проявить способности и восприимчивость, оправдывающие любые надежды. Его усадили за рояль, как только он смог держаться на табурете. Успехи мальчика поражали. Светловолосый, голубоглазый, аристократически бледный, ребенок был поистине Рафаил и ничуть не Лангет. В десять лет он прослыл вундеркиндом, и устроители светских вечеров домогались его участия. Дамы млели от восторга, когда он, словно под синей сенью крыл незримого архангела, склонял над клавишами прозрачное тонкое лицо и воссылал к небу, подобно мистической песне любви, звуки хорала Иоганна Себастьяна Баха «Да пребудет радость со мною».

Но ребенок дорого расплачивался за мгновения успеха. Каждый год множил часы его ежедневных упражнений. В двенадцать лет он работал по шесть часов в день и нередко завидовал мальчикам, которых судьба не наградила ни талантом, ни гениальностью, ни видами на блестящую карьеру. Дело доходило до слез, когда стояла погожая пора и, неумолимо прикованный к инструменту, он слышал с улицы крики резвящихся товарищей.

Ему исполнилось шестнадцать лет. Талант его расцвел необычайно. Он был гордостью Парижской консерватории. Но зато юность, пришедшая на смену детства, не пожелала оставить и следа от прежнего ангельского лика. Можно подумать, что злая фея Зрелость, коснувшись своей волшебной палочкой, решила во что бы то ни стало разрушить прежний ангельский образ. Скуластое, неправильное лицо, выпученные глаза, выпирающий подбородок, толстые стекла очков (из-за стремительно прогрессирующей близорукости) — все это было бы полбеды, если бы не испуганное выражение, не сходившее с лица и способное скорее вызвать смех, чем настроить на мечтательный лад. Во всяком случае, что касается внешности, Лангет теперь полностью вытеснил Рафаила.

Бенедикта Приёр была моложе его на два года, но не обращала никакого внимания на эти немилости судьбы. Ученица той же консерватории, Бенедикта видела в Рафаиле лишь многообещающего виртуоза. Впрочем, она тоже жила целиком в мире музыки, и родители их с недоумением спрашивали себя: неужели отношения между двумя детьми так и не перейдут границ экстатической близости, которая рождалась во время игры в четыре руки на фортепьяно.

Кончив консерваторию первым учеником и выйдя из нее моложе своих однокашников, Рафаил стал подыскивать уроки, чтобы обеспечить себе скромное существование. К тому времени они с Бенедиктой были уже помолвлены, но свадьбу откладывали до лучших времен. Да и зачем спешить? Кроме любви, музыки да разве что самого необходимого, им ничего не было нужно; это были годы безоблачного счастья. Когда они самозабвенно играли друг для друга, Рафаил в упоении счастья и признательности завершал игру все тем же хоралом Баха «Да пребудет радость со мною».

Это была не только дань уважения величайшему композитору, но и страстная молитва к богу, чтобы он сохранил столь чистый и пламенный союз. Потому и звуки, вылетавшие из-под его рук, порождали поистине неземную радость, как бы благословение творца своему творению.

Но судьбе было угодно подвергнуть испытанию эту прекрасную безмятежность. У Рафаила был друг, который тоже кончил консерваторию и теперь зарабатывал себе на хлеб, аккомпанируя в ночном кабачке какому-то певцу. Он был скрипач и полагал, что репутация его не пострадает от нескольких аккордов на стареньком пианино, сопровождающих нелепые куплеты, которые распевал на авансцене певец. Так вот, этот скрипач Анри Дюрье, готовясь к первому турне по провинции, предложил Рафаилу подменить его на месяц, дабы не потерять столь выгодного заработка.

Рафаил колебался. Для него было пыткой даже просто просидеть часа два в плохо проветренном помещении, слушая глупейшие шансонетки. А проводить там целые вечера и, более того, прикасаться к инструменту в такой мерзкой обстановке! Гонорар за один вечер, равный плате за добрую дюжину частных уроков, не возмещал такого кощунства.

Он хотел отказаться, но, к огромному его удивлению, Бенедикта попросила его все хорошенько взвесить. Они помолвлены уже очень давно. Выступления Рафаила-вундеркинда с годами забылись, и непонятно, сколько еще придется ждать, пока к нему придет известность. Всего несколько вечеров — и у них появятся средства, необходимые для создания семейного очага. Неужели это непомерная жертва? Как может Рафаил откладывать свадьбу из соображений, благородных бесспорно, но не имеющих никакого отношения к искусству? Он согласился.

Аккомпанировать надо было певцу по фамилии Биток, внешность которого полностью соответствовала фамилии. Толстый, дряблый, обрюзгший, он перекатывался с одного конца сцены в другой и плаксиво распевал о несчастьях и бедах, которыми его без устали наказывала судьба. Комизм куплетов целиком строился на простом наблюдении: если вам сильно не повезло однажды, к вам проявят внимание, если невезение повторилось — пожалеют, но если ваши беды исчисляются десятками, над вами будут потешаться. Итак, достаточно выглядеть толстым и несчастным, чтоб публика встречала тебя взрывами смеха.

В первый же вечер Рафаил познал цену этого смеха. Садизм, злоба и издевательство цинично смешались в нем. Откровенные признания Битока о несчастьях метили ниже пояса и доводили зрителей до озверения. Милых буржуа — не лучше и не хуже других — он силой своего комизма превращал в отъявленный сброд. Все его «номера» опирались на свойство злобы — заражать, на свойство низости — передаваться. В раскатах хохота, сотрясавших стены маленького зальца, Рафаилу чудился смех самого дьявола, его торжествующий хохот, в котором мешались ненависть, трусость и глупость.

И вот этой-то пакости ему предстояло аккомпанировать и — мало того — оттенять ее, расцвечивать и заострять. И потом — с помощью священного инструмента, на котором он играл хоралы самого Иоганна Себастьяна Баха? Все детство и юность он знал зло лишь в его негативной форме — лености, скуки, уныния и безразличия. И теперь впервые столкнулся со злом настоящим, выставляемым напоказ в гримасах и завываниях подлого Битока, прямым соучастником которого он выступал.

Каково же было его удивление, когда однажды вечером, отправляясь на очередную пытку, он увидел, что в афише, вывешенной на дверях кафе-театра, под фамилией Битока было подклеено добавление: «На рояле аккомпанирует Лангет».

Он ворвался в кабинет директора. Тот принял его с распростертыми объятиями. Да, конечно, он счел нужным включить его имя в афишу. Этого требует справедливость. Его игра на рояле была замечена всеми зрителями и немало способствовала успеху номера — уже изрядно затасканного — бедняги Битока. И как фамилии хорошо сочетаются — Биток и Лангет. Трудно вообразить более удачное сочетание,

похоже на смешную шутку. Ну конечно же, плату ему повысят. И притом значительно!

Рафаил вошел к директору протестовать, а вышел, рассыпаясь в благодарностях и проклиная себя за робкий нрав и слабость.

Вечером он рассказал обо всем Бенедикте. Отнюдь не разделяя его негодования, она поздравила его с успехом и порадовалась прибавке. В конце концов все и затеяли-то ради выгоды — значит, можно только радоваться, что она оказалась больше! Рафаил почувствовал себя жертвой общего заговора.

Отношение к нему Битока, напротив, заметно ухудшилось. До сих пор он обходился с ним по-отечески снисходительно: Рафаил был аккомпаниатором, то есть играл второстепенную, полезную, но бесславную роль, которая требовала лишь самоотречения и такта. А теперь вдруг он привлек внимание публики, ему предназначалась часть аплодисментов, и даже сам директор вынужден был это заметить. «Умерь свое рвение, старина, умерь...» — говорил он без вины виноватому Рафаилу.

Положение, вероятно, стало бы безысходным, не вернись вовремя Дюрье. Рафаил снова взялся с облегчением за уроки, с сознанием выполненного долга и памятью об опыте, вдвойне поучительном от того, что он был так неприятен. Спустя некоторое время он женился на Бенедикте.

Женитьба мало изменила жизнь Рафаила, внеся в нее, однако, чувство ответственности, доселе ему неизвестное. Ему приходилось разделять заботы своей молодой жены, которая с трудом «сводила концы с концами», тем более что нужно было ежемесячно вносить плату за квартиру, автомобиль, телевизор и стиральную машину, приобретенные в кредит. Отныне они чаще всего проводили вечера, согнувшись над расчетами, а не приобщаясь к чистой красоте баховского хорала.

Однажды Рафаил вернулся домой немного позже обычного и застал Бенедикту в большом волнении из-за недавнего гостя. Директор кафе приходил повидаться с ним, но, не застав его, познакомил со своими предложениями Бенедикту. Нет, речь вовсе не о том, чтобы снова аккомпанировать жалкому Битоку, которому, кстати, в следующем сезоне не возобновят ангажемента. Но, может, Рафаил согласился бы кое-что исполнять на рояле между комическими номерами. Это будет приятным разнообразием. Публика, несомненно, с удовольствием передохнет от приступов хохота, слушая спокойную, прекрасную музыку.

Рафаил отказался наотрез. Он никогда больше не спустится в зловонный вертеп, где страдал целый месяц. Он уже познал зло до самых глубин, и именно в своей родной области — в музыке и на сцене. С него довольно, больше он там ничему не научится.

Бенедикта переждала бурю. Но в последующие дни исподволь возвращалась к предмету. Ведь то, что ему предлагают, не имеет ничего общего с несчастным Битоком. Он будет играть сам и то, что пожелает. В конце концов ему же предлагают выступить в его собственной роли — в роли пианиста. Ну да, это очень скромное начало, но когда-то же надо начинать! Ведь выбора нет, правда?

Она возвращалась к этому разговору терпеливо, неустанно. И одновременно кое-что предпринимала, чтобы сменить жилье. Она мечтала о просторной старинной квартире в хорошем квартале. Но для улучшения жизненных условий требуются жертвы.

Ему пришлось принести себя в жертву и подписать на шесть месяцев контракт, с тем что его можно будет расторгнуть при условии, если неустойку заплатит тот, кто явится инициатором расторжения.

В первый же вечер он понял, в какую попался ловушку. Публика еще содрогалась от смеха после предыдущего номера — танго, которое исполняли карлик и женщина огромного роста, когда Рафаил по-

явился на сцене. Черный куцый костюм, чопорный, испуганный вид, лицо семинариста, застывшее от страха, толстые стекла очков — все было словно нарочно рассчитано для комического номера. Его встретили взрывом смеха. К несчастью, и табурет у рояля оказался ему низок. Он стал крутить сиденье, чтобы его поднять, но от волнения открутил совсем и стоял перед публикой, держа сиденье табурета, как оторванную шляпку у гриба. Прикрепить сиденье в нормальной обстановке можно за несколько секунд, но, оторопев от вспышек фотографов и окончательно растерявшись, он в довершение несчастья уронил очки и ничего не видел. И когда в поисках очков он принялся на четвереньках шарить по сцене, публика пришла в неистовый восторг. Потом он долго возился с двумя частями табурета, пока, наконец, не сел за пианино с трясущимися руками, сам не свой. Что он играл в тот вечер? Он не помнил. Каждый раз, когда он прикасался к клавишам, раздавался новый взрыв смеха. Взмокнув от пота, умирая от стыда, он едва добрался до кулис.

Директор стиснул его в своих объятиях.

— Дорогой Лангет! — воскликнул он.— Вы прекрасны, слышите, прек-рас-ны. Вы — просто гвоздь сезона. У вас удивительный дар импровизации. Так владеть собой! Стоит вам появиться на сцене, и публика смеется. Первый аккорд — и буря восторга. Кстати, я пригласил представителей прессы. Успех обеспечен.

Бенедикта скромно улыбалась и держалась в тени, пока Рафаила осыпали комплиментами. Рафаил потянулся к ней, как утопающий к соломинке. Он смотрел на нее с мольбой. Она же была непоколебима, радостна и светла, маленькая Бенедикта Приёр, начиная с этого вечера — Бенедикта Лангет, жена знаменитого комика-музыканта. Возможно, к тому же она думала о ставшей теперь доступной новой просторной квартире.

Газеты и в самом деле писали о блестящем успехе. Говорили о новом Бестере Китоне. Восславляли обезьянью наружность Лангета, предельную неуклюжесть, комическую манеру игры на рояле. И повсюду воспроизводили ту фотографию, на которой он на четвереньках ищет очки между двух частей разъятого табурета.

Переехали на новую квартиру. Делами Лангета теперь ведал импресарио. Сделали фильм с участием Лангета. Потом еще. После третьего фильма они переехали уже в особняк на авеню Мадрид в Нейи.

Однажды их посетил Анри Дюрье. Пришел поздравить товарища с необыкновенным успехом. Робко посматривал на золоченые панели, хрустальные люстры, картины мастеров. Вторая скрипка в муниципальном оркестре Алансона — он был ошарашен этим великолепием. Правда, и ему грех жаловаться. Хоть не надо бренчать на пианино в кабаках — это главное! Он бы уже не мог так позорить свое искусство, заявил он твердо.

Они вдвоем вспоминали годы в консерватории, надежды и разочарования, упорство, которое потребовалось, чтобы найти призвание. Дюрье не принес скрипки. Но Рафаил играл на рояле Моцарта, Бетховена и Шопена.

— Каким бы ты стал блестящим пианистом! — воскликнул Дюрье.— Правда, тебе были уготованы иные лавры. Каждому свое.

Критики не раз поминали Грока [1], говоря о Лангете, и уверяли, что в его лице легендарный Рыжий наконец-то признал бы достойного преемника.

В самом деле, Лангет дебютировал накануне рождества на арене цирка Урбино. Долго искали, кто бы мог подавать ему нужные реплики в маске белого клоуна. После ряда неудачных проб, ко всеобщему

[1] Грок (наст. имя Адриан Веттах, 1880—1959) — прославленный швейцарский клоун-музыкант.

удивлению, свои услуги предложила Бенедикта. Почему бы нет? Тесный вышитый жилет, короткие штанишки, лицо, измалеванное известкой, жирная черная бровь, изогнутая на лбу в знак насмешки и вопроса, икры в тугих шелковых чулках, серебряные лодочки на ногах, громкий повелительный голос — о, маленькая Бенедикта Приёр творила чудеса и прекрасно оттеняла талант известного клоуна, музыканта-эксцентрика Лангета.

Сам же Лангет, с лысиной из розового картона, с фальшивым носом в виде красной свеклы, утопая в широчайшем фраке с целлулоидной манишкой, болтавшейся на шее, в брюках, штопором ниспадавших на огромные башмаки, изображал пианиста-неудачника, невежду и честолюбца, решившего дать фортепьянный концерт. Но из его одежды, из табурета, а пуще всего из рояля летели самые невероятные звуки. Каждое прикосновение к клавишам оборачивалось трюком или катастрофой: били струи воды, поднимались клубы дыма, вырывались непристойные звуки, словно кто-то пукает, рыгает, пищит, а со скамей неслись каскады с треха, перекрывая эту буффонаду. Оглушенному криками толпы Лангету иногда вспоминался несчастный Биток, который, конечно, никогда не опускался так низко. Правда, его выручала близорукость: из-за грима он не мог надеть очки и почти ничего не видел — только огромные цветные разводы. И если тысячи палачей терзали его звериным смехом, он хотя бы не видел их.

Что же, номер с проклятым роялем так и был задуман? Или в тот вечер под сводами цирка Урбино произошло чудо? Предусматривалось, что в финале, после комического исполнения какой-то мелодии, на глазах у несчастного Лангета взорвется рояль и на арену хлынет поток ветчин, тортов, сосисок, кровяных колбас. Но оттуда вырвалось нечто иное...

Клоун вдруг застыл, и дикий смех замер. В наступившей мертвой тишине он стал играть. С поразительной мягкостью, вдумчиво и самозабвенно играл он «Да пребудет радость со мною», тот самый хорал Иоганна Себастьяна Баха, который вселял в него такие надежды в консерваторские годы. И разбитый цирковой рояль, годный лишь для трюкачества, вдруг чудом подчинился его пальцам, и божественная мелодия полилась к темной вершине купола, где мерцали веревочные лестницы и трапеции. И после адского хохота неземная радость, нежная и одухотворенная, снизошла на публику.

За последней нотой последовало длительное молчание, будто хорал еще продолжался в ином мире. И тут в муаровых разводах своей близорукости музыкант-клоун увидел, как поднимается крышка рояля. Нет, это не был подготовленный трюк. Из рояля не вырвался поток колбасных изделий. Рояль раскрывался медленно, как огромный темный цветок, и оттуда вставал прекрасный ангел со светящимися крыльями, его ангел-хранитель, архангел Рафаил, который не захотел, чтобы пианист окончательно превратился в кусок мяса.

■

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА

ЛОПЕ ДЕ АГИРРЕ, КНЯЗЬ СВОБОДЫ

РОМАН

Перевод с испанского Л. СИНЯНСКОЙ

Тиран умер, и справедливо было приступить к раздаче должностей тем, кто предавал его смерти. Дон Фернандо де Гусман уже провозглашен генералом и предводителем нашего похода, как было назначено заговорщиками. Лопе де Агирре сам превратился из уполномоченного по делам усопших в начальника штаба, хвала богу, ибо, не будь я с тобой рядом, никогда бы ты ничего не добился, кроме собственной погибели, спесивый и непредусмотрительный дон Фернандо. Начальником стражи отныне будет дон Хуан Алонсо де Ла Бандера в награду за ту ярость, с какой он вонзил свою шпагу в грудь губернатора. Алонсо де Монтойя будет капитаном кавалерии, Лоренсо Сальдуендо, Кристобаль Эрнандес и Мигель Серрано де Касерес будут командовать пехотой, Алонсо де Вильена будет генерал-лейтенантом, мулат Педро де Мирандо — главным альгвасилом, а Педро Эрнандес — главным казначеем, и таким образом каждый из нас, мятежников, пришедших в шатер Педро де Урсуа предать его смерти, оказался при должности, кроме канарца Хуана Варгаса, который в суматохе был тяжело ранен и теперь лежит в гамаке, поправляется. Что касается тебя, Мартин Перес де Сарондо, тоже не получившего вознаграждения, но для меня самого доверенного и самого многообещающего из всех мараньонцев, то прошу, потерпи немного, и должностей этих у тебя будет сколько угодно.

— Главное для нашего дела, мой славный генерал дон Фернандо, постараться, чтобы все участники нашего похода чувствовали удовлетворение от того, что тиран предан смерти, и чтобы ни у кого не возникло ни желания, ни возможности смыть с себя пролитую вчера кровь, которая так обильно оросила все наше маленькое войско. Сделаем же участниками этого славного подвига — убиения губернатора — всех, кто сокрушается, что не внес своей лепты в это дело. Распределим власть и командные посты среди солдат, если нужно, придумаем новые должности, а те, кто не захочет разделить с нами честь и славу нашего мятежа, выкажет замешательство или станет ломаться пред лицом нашей щедрости, выроют себе могилу рядом с Педро де Урсуа.

— Давайте сделаем пехотным командиром старого Хуана Нуньеса де Гевару, его седины внушают уважение, а его видения в точности предсказали насильственный конец губернатора, сделаем командиром и Педро Антонио Галеаса, человека, охочего до всяких авантюр и открытий. Сделаем капитаном-интендантом Алонсо Энрике де Орельяну и морским капитаном лоцмана Себастьяна Гомеса, а адмиралом Мигеля Бондадо. Главным судьей нашего войска сделаем Диего де Балькасара, который, говорят, отдал свое состояние на

Окончание. Начало см. в № 9.

поддержание нашего дела, и к тому же, говорят, вице-король Уртадо де Мендоса оказывал ему честь — играл с ним в карты.

Все приняли назначения с великой осторожностью и смирением, кроме упомянутого Диего де Балькасара, который на церемонии вручения жезла высшего правосудия сказал во всеуслышание: «Принимаю жезл от имени короля Филиппа, нашего государя, и никого иного», другими словами, сие означало, что он имеет совершенно определенное намерение перейти на сторону короля, как только завидит такую возможность, если, конечно, я, Лопе де Агирре, не окажусь поблизости и не помешаю ему.

Через два дня в лагерь возвратился Санчо Писарро, который по указанию губернатора Урсуа уходил с семью десятками стрелков на поиски дорог и продовольствия. Мы боялись, как бы он не затеял против нас войну в этой дикой сельве, тогда дьявол прибрал бы и нас, и их. Но Санчо Писарро повел себя весьма проницательно и осторожно, выслушал о событиях, происшедших в лагере, безо всякого изумления или, во всяком случае, никак не проявил его. Санчо Писарро с удовлетворением принял предложенную нами должность старшего сержанта, поблагодарил нас смиренно и скромно — чтоб тебе было пусто! — не верю я твоим словам, Санчо Писарро, ты самый опасный и хитрый из вассалов короля Филиппа, участвующих в этом походе, это говорю я, Лопе де Агирре, а я чую своих врагов, как бы они ни прятались, и никогда не ошибаюсь.

И тотчас же в лагере начала прорастать ядовитая трава, которая всегда была позором и погибелью всех перуанских мятежей. Мы совершили преступление против королевской власти, мы предали смерти губернатора, поставленного самим королем, и теперь нас одолевает безрассудное желание получить от короля прощение, от короля, который безо всякого отрубит нам головы, как только эти головы окажутся в его королевской власти. Вот он, пожалуйста, дон Фернандо де Гусман, главный вождь нашего бесстыдства, вот они, дон Хуан Алонсо де Ла Бандера и дон Алонсо де Монтойя, ожесточеннее всех напавшие на губернатора и собственными руками вонзившие в него шпаги, все они теперь ищут извиняющих обстоятельств, чтобы король простил их за преступление, которому, слава богу, нет прощения. Наш генерал-лейтенант, наш начальник стражи, наш капитан кавалерии бегают, мечутся, подыскивают слова для покаянного письма, которое собираются составлять, они благосклонно приняли бакалавра Педрариаса де Альместо, который возвратился в лагерь, предпочтя оказаться за решеткой, нежели умереть от голода в сельве, Педрариас де Альместо начинает переписывать своим красивым писарским почерком дурацкую грамоту такого смысла: «Составлено в селении Мокомоко провинции Мачифаро второго дня января месяца одна тысяча пятьсот семьдесят первого года в присутствии писца и свидетелей...» Остальная часть документа — неудачная попытка раболепного раскаяния: мы убили губернатора только за то, что он проявлял леность и небрежение на службе вашего королевского величества, за то, что не открывал земель, обещанных именем вашего королевского величества, смерть губернатора была необходимой, чтобы предотвратить бунт отчаявшихся солдат против вашего королевского величества, его смерть послужит приумножению славы и могущества вашего королевского величества, да здравствует святейшая задница вашего королевского величества!

Когда грамота Педрариаса де Альместо была дописана, мы, офицеры и боевые командиры, выстраиваемся, с нетерпением ожидая своей очереди подписать ее. Первым, в соответствии с высшим постом и занимаемой должностью, подписывает наш предводитель генерал дон Фернандо де Гусман, и, честное слово, его витиеватый рос-

черк не нарушает совершенства писанины Педрариаса. Вторым полагается расписаться мне, начальнику штаба, но я подписываюсь не «Лопе де Агирре, начальник штаба», как все ожидали, а «Лопе де Агирре, изменник», а сам, не мигая, смотрю на Ла Бандеру и Монтойю и громко, твердым голосом читаю свою подпись и дополнение к ней, четыре этих слова вызывают глухой ропот сдерживаемых страстей, и я делаю вывод, что настал момент сказать всю правду.

— Какое безумие и глупость, мараньонцы, воображать, будто сообщение, придуманное и состряпанное нами самими, снимет с нас вину за то, что мы убили губернатора короля, у которого имелись подписанные королем полномочия, указы с королевскими печатями и который представлял персону короля? Почему вас смущает, что я, подписываясь, назвал себя изменником, если для короны, которой эта грамота адресована, все мы — не кто иные, как изменники и предатели, мы не двенадцать апостолов, которые отделались от тирана с целью послужить королю, а двенадцать иуд, которые предали смерти слугу короля за то, что он мешал нашим честолюбивым помыслам. Все мы — дерзкие и отважные изменники, и никакая покаянная грамота не спасет нас от кровожадного гнева, который короли Испании вынашивают как драгоценное наследие предков. И даже в том невероятном случае, если мы в будущем откроем новые земли и в нашем бедственном положении найдем все-таки Эльдорадо и Омагуас из чистого золота, если сумеем водрузить над бескрайними просторами флаг его величества, даже и тогда нам все равно не уйти от веревки, ибо первый же бакалавр, вице-король, рехидор или монах, который придет из Испании на эти земли, начнет с того, что вздернет нас на виселице. Нет, командиры и офицеры, наше спасение не в том, чтобы писать униженные письма, которые никого не обманут, а в том, чтобы как можно дороже продать наши мятежные жизни, возвратиться в Перу не за помилованием, которого нам не дождаться, а за друзьями, такими же недовольными, как и мы, за тысячами обиженных, которые никогда не получают должного вознаграждения за свою службу, за тысячами перуанцев, оскорбленных дурным обращением вице-королей и судейских чиновников. Возвратиться в Перу, соединиться с этими людьми на нашей земле и защищать эту землю от недругов, какими бы могущественными и непобедимыми они ни казались издали,— вот что нужно нам всем.

В первый раз говорил я столь дерзко и откровенно, люди затаились в молчании, слышен был только шум реки и сельвы, наконец тишину нарушил генерал-лейтенант Алонсо де Вильена, чей ум проявился, еще когда отец Энао лишил его причастия. Он сказал так:

— Я согласен полностью и подтверждаю все, что сказал наш начальник штаба Лопе де Агирре, ибо поступать иначе означало бы по доброй воле, как бессловесные ягнята, отправиться на бойню вице-короля.

Но был один, который не согласился с моим мнением, он вскочил, словно его ударили, словечко «изменник» ужалило его, как оса в затылок. Благородный и щепетильный в вопросах чести дворянин Хуан Алонсо де Ла Бандера, третий по важности человек в нашем лагере и начальник стражи, коего некоторые солдаты не совсем точно называют Бахвалом, заговорил так:

— Я полон негодования и возражаю против слова «изменник», которым начальник штаба Лопе де Агирре со странной легкостью нарек каждого из нас. Я настаиваю, что предание смерти Педро де Урсуа и его заместителя Хуана де Варгаса не было изменой королю, но актом верности ему, поскольку оба эти представителя власти проявляли небрежение в выполнении миссии, порученной им государем Испании и состоявшей в том, чтобы открывать и завоевывать земли, а вовсе не в том, чтобы пускать по ветру средства, которые вице-король маркиз де Каньете передал ему для удовлетворения наших

насущных нужд. Я утверждаю, что никогда в жизни не совершал предательства, и не потерплю, чтобы кто бы то ни было возводил на меня столь гнусную напраслину. Пусть кто-нибудь скажет, что я изменник, и я, не сходя с этого места, отвечу, что он лжец, и стану драться с ним насмерть.

Эту угрозу Бахвал произнес, не взглянув на меня, вцепившись в рукоятку шпаги, которой он смертельно ранил Педро де Урсуа, он был похож на святого Георгия, до крайности возмущенного и воинственного. Я поспешил обнажить свою шпагу, и тотчас же это самое проделали стоящие рядом со мной Мартин Перес де Сарондо и Педро де Мунгиа, не говоря уж об Антоне Льамосо, острие его шпаги оказалось в двух пальцах от ребер моего недруга. Пришлось вмешаться нашему свежеиспеченному губернатору дону Фернандо де Гусману, к счастью для нас обоих, к счастью для всех нас, потому что и у Ла Бандеры хватало сторонников среди командиров, так что этот спор, без сомнения, вполне мог превратиться в преждевременное смертоубийство.

— Возьмите себя в руки, друзья мои,— сказал дон Фернандо, вставая между Ла Бандерой и мной.— У нас с вами одна на всех судьба и опасности, в недобрый час стали бы мы подвергать риску свои жизни, ссориться между собой.

Подобные же примиряющие доводы высказали Лоренсо Сальдуендо и Кристобаль Эрнандес, при этом они так настаивали и убеждали, что я в конце концов спрятал свою шпагу в ножны, а Ла Бандера своей так и не вытаскивал. Совсем другим тоном, не то что раньше, Ла Бандера сказал:

— Пусть ваши милости делают, что считают нужным, я поступлю, как все, ибо не боюсь принять смерть от короля ни за то, что мы сделали, ни за то, что сделаем в будущем, добавлю только, что шея моя так же годится для виселицы, как и шея любого из ваших милостей.

На этом собрание разошлось, так и не придав законной силы документу, ибо под злосчастной грамотой свои подписи поставили только двое: Фернандо де Гусман, губернатор, и Лопе де Агирре, изменник.

И снова, побросав дома, разбегаются индейцы от оскорблений и бесчинств, которые творят наши солдаты, одна из двух оставшихся у нас плоскодонок тонет перед самым селением Мокомоко. Дон Фернандо де Гусман приказывает тронуться вниз по реке, искать места, не столь суровые и заброшенные. На плоскодонке с двадцатью пятью нашими лошадьми плывет адмирал Мигель Бонадо и еще три человека, мы же, все остальные, следуем за ними по берегу диковинной процессией. Слуги-индейцы усадили в гамаки и на каноэ женщин и больных, если больной — индеец, он добровольно остается на месте, чтобы умереть спокойно. Иногда нам путь заступают зеленые трясины, зловонные болота, кишащие безобразными жабами и гнилыми грибами, в которых нога увязает по колено. Временами берег суживается, круто обрываясь вниз. Тогда мы углубляемся в заросли и продираемся сквозь непролазный кустарник, по диким скалам, пока снова не выйдем на берег. Впереди солдаты с мачете прорубают нам путь. Неожиданно кроны величавых деревьев над нами смыкаются еще плотнее, и в яркий полдень мы оказываемся в темноте, словно ночью. Индеец, который несет в гамаке мою дочку Эльвиру,— старик неопределенного возраста, одаренный природной мудростью, его рассказы забавляют мою дочку, веселят ее. Индейца зовут Хуан Пискокомайок, так нарекли его в Ламбайеке за то, что он охотился на куропаток и оленей, он довольно свободно говорит на нашем языке, его научил священник-миссионер, и

я не понимаю причин, побудивших его отправиться в этот поход, где все остальные индейцы гораздо невежественнее его. Хуан Пискокомайок различает и знает, как называются тысячи деревьев, растущих в этой сельве, самой бескрайней на свете. Хуан Пискокомайок рассказывает моей дочке Эльвире, что в этих лесах есть огромные муравьи, умирая, они превращаются в растения, чуя смерть, ползут к вершине дерева, их мертвые тельца начинают сперва дышать, как живые лианы, а потом становятся теми волокнистыми шнурами, из которых плетут корзины и которыми связывают стволы деревьев в плоты. А еще, дочка Эльвира, живет в этих чащах темная бабочка, которая впивается своими лапками, словно крючьями, в ствол растения и сидит так, пока эти лапки не превратятся в корни, а крылья — в огромные листья, и это уже не бабочка, а ветка или цветок. Дочка моя Эльвира слушает истории Хуана Пискокомайока и восхищается, она верит в них и правильно делает, ибо они куда более истинны, чем история о сокровищах Омагуаса и Эльдорадо.

Таким образом мы идем два дня и выходим к брошенному индейскому селению, где решаем разбить лагерь. Плоскодонка с лошадьми проплыла двадцать лиг, мы по земле, обходя болота, обрывы и кустарник, проделали гораздо больше. У нас умерло два индейца, не от голода, а от усталости, и еще двое отравились, наевшись горькой юкки. Лучшее средство от голода и усталости — воля, не дающая голоду и усталости прикончить тебя, это говорю я, ковыляющий со всем своим оружием на горбу.

От всей флотилии, четыре месяца назад отчалившей из Санта-Крус-де-Капоковара, осталась одна плоскодонка, на которой плывут наши лошади. Не сохранился прежним и боевой дух нашего похода, ибо губернатор Педро де Урсуа уже мертв и похоронен, а мы, мараньонцы, уже знаем, что царство Омагуас — пустая выдумка.

— Избавь нас, господи, от того, чтобы и дальше тащиться убогой толпой за ошметками этой безобразной и дурно построенной плоскодонки, молим тебя, господи, лиши нас последнего судна, просим волю божью принудить нас построить настоящие корабли, здешняя природа великодушно поможет нам, столько тут великолепных деревьев,— говорю я вполголоса.

На рассвете следующего дня плоскодонка с лошадьми и навозом оказалась продырявленной. Мартин Перес де Сарондо, Хуан де Агирре и Хоанес де Итуррага в полночь выполнили задание, пробуравили ее доски острым шилом. Пред лицом этого полезного бедствия я счел необходимым попросить дона Фернандо собрать весь лагерь и позволил себе обратиться к нему со следующими словами:

— Офицеры и солдаты, мои мараньонцы, объявляю вам, что отсюда мы начнем новый поход, у которого не будет иной цели, кроме справедливости и свободы, наречем же это селение селением Бригантин, ибо в нем мы останемся до тех пор, пока не обзаведемся кораблями, способными по морю вынести нас к Перу. Давайте же строить корабли, с которыми мы спасем свою жизнь и завоюем славу.

Пришлось забить двадцать пять наших лошадей, поскольку в эту часть сельвы не забредают звери, на которых можно охотиться, а в эти воды не заплывает рыба. Оголодавшие солдаты едят отвратительных черных птиц, которые питаются падалью. Пользуясь властью начальника штаба, я взял в свои руки строительство бригантин, в юности мне не случалось видеть, как строят корабли, поскольку Оньяте не морской порт, однако любой баск мечтает построить хотя бы одно судно, прежде чем умрет. Под начало себе я взял того самого путаника Хуана Корсо, который строил корабли дону Педро де Урсуа в Санта-Крус-де-Капоковаре: слушайте хорошенько, мастер Хуан Корсо, эти корабли не должны растрескаться, как те, первые, эти бригантины должны быть крепкими и прочными и не долж-

ны тонуть, я не забавляюсь ни с какой доньей Инес, я знаю одно — следить, чтобы работа кипела, тот, кто как следует попотеет на строительстве, на ужин получит конину, тот, кто будет работать спустя рукава, будет жевать пресные лепешки и тощий портулак, взбодритесь, мараньонцы, дубы и каобы валятся под топорами наших лесорубов, наши пилы и молотки заглушают звенящую сельву, плотники-негры работают с песнями, индейцы тащат из лесу замечательные кедровые мачты, лошадиные подковы превращаются в гвозди и шурупы, из лошадиных шкур мы делаем кузнечные мехи и навесы, огонь кузницы освещает ночи этого мрачного селения, земля сочится черной патокой, которой наши конопатчики смолят доски, женщины шьют и стряпают для работающих мужчин, ни дождь, ни солнце не прерывают трудов, прямые стволы уже становятся мачтами и траверсами, и вот уже на песчаном берегу поднимается корабельный корпус, взбодритесь, мараньонцы, да здравствует свобода!

■

Тебя Филипп король испанский объявляю моим врагом в пятьдесят раз большим врагом чем мертвый Педро де Урсуа в сто раз большим чем бахвал Хуан Алонсо де Ла Бандера и чем все твои вассалы которые должны умереть дабы мы на их костях построили нашу свободу тебе Филипп говорю и утверждаю что ты король Испании недостоин ни короны ни трона ты король потому лишь что родился сыном августейшего императора Карла и унаследовал от него самую великую империю на свете Филипп чье могущество и слава взросли на голоде и лишениях конкистадоров пришедших в Индийские земли открывать страны тебе в услужение заселять селения тебе на выгоду закабалять индейцев тебе на корысть Филипп внушающий страх и почитаемый государями и епископами взлелеянный в шелках и бархате обученный и наставленный в монастырях и библиотеках осыпаемый лестью коленопреклоненных маркизов и павших ниц графов Филипп печальный и мрачный плачущий в часовнях и склепах плачущий в одиночку о своем сыне который родился уродом и вырос озлобленным Филипп скрывающий свои страсти под личиной умеренности и осторожности разъедаемый изнутри черным отчаянием Филипп профессор уловок и лжи моя грудь полнится смертельной ненавистью к тебе ибо ты несправедлив к народам которыми дурно правишь и жесток к конкистадорам которые добыли тебе столько сокровищ ты не вознаграждаешь их деяния не сострадаешь их бедам Филипп посылающий в Новый Свет вершить правосудие от своего имени бездушных вице-королей скаредных судей развратных монахов испанский король пускающий на ветер богатства добытые потом и кровью твоих солдат бездарный в торговле и в войнах которые приведут к окончательному раззору Испанию тебя Филипп могущественного короля я презираю и бросаю тебе вызов отсюда из этого убогого захолустья на реке Амазонке мы двести пятьдесят мараньонцев а ты государь владеющий огромными армиями и флотом монарх имеющий в своем распоряжении пушки и генералов нас всего двести пятьдесят заросших и обовшивевших мараньонцев но если бы кто-нибудь спросил нас в нашем бедственном положении что мы собираемся делать завтра я без колебаний ответил бы победить испанского короля тебе должен казаться безумием и бредом мой вызов на столь неравный бой тебе неведомо что каждый мараньонец стоит

двух сотен обычных солдат тебе неведомо что нашему войску станут прибывать бойцы оружие и корабли на следующий же день после каждой нашей победы тебе неведомо что все мы решили умереть за это дело неведомо что дух наших павших никогда не будет побежден телами живых трусов мы не боимся смерти нас не страшит что клещами или кнутом с нас спустят шкуру что на страшных кострах засмердит паленой человечиной наше мясо что привязанные к коням будут волочиться и подскакивать на камнях наши кости что нас четвертуют отсекут наш мозг от шеи и что наши головы покатятся из-под топора ни дерево на котором нас повесят ни копье которым пропорют наши груди ни кинжал который пронзит нам сердце ни пуля аркебуза которая убьет нас наповал ничто не страшит нас двести пятьдесят мараньонцев которые собираются освободить Перу из твоих королевских когтей героический и славный испанский король которому я твой ничтожный вассал возвещаю победы и удачи в твоих войнах с Европой и молю господа бога чтобы ты уничтожил и победил непогрешимого Папу римского самого злонамеренного и дурного из всех правителей молю Пресвятую Деву чтобы ты разбил наголову англичан и французов и чтобы потом тебе в знак покаяния не надо было жениться на сварливых королевах или принцессах молю чудотворца святого Себастьяна чтобы ты снова завоевал Германию но не занес бы в Испанию их заразных болезней и безобразных пороков молю апостола святого Иакова чтобы ты полонил всех турок на земле и принудил бы их строить церкви и соборы но так же молю и святого Михаила-архангела чтобы был ты побежден и посрамлен нашими авантюристами-мараньонцами в наказание за твою несправедливость славный испанский король Ваше католическое и святейшее королевское Величество и быть бы тебе простым негодяем и распутником кабы несчастливая звезда Испании не предначертала тебе стать ее королем.

— Педро де Мунгиа, мой верный соратник с того дня, как ты позвал меня в Чаркас убивать генерала Педро де Инохосу, товарищ, который вместе со мной страдал от несправедливых притеснений маршала Альварадо, как и я, подневольный солдат в сражениях против мятежного Эрнандеса Хирона, мой близкий друг, с которым мы делили печальное одиночество в Куско, тебе, Педро де Мунгиа, испытываю я необходимость поверить, сколь велики мои честолюбивые замыслы и каковы на самом деле цели, ибо они заключаются не в том, чтобы завоевать Перу и оставить в неприкосновенности священное иго испанской монархии, но простираются дальше, к тому, чтобы отчленить Перу от Испании и превратить в свободную страну под свободными звездами. А коли мечтаем мы свершить столь великое дело, то непременно следует нам избавиться от всех человеческих слабостей, быть твердыми пред лицом собственных страданий и еще тверже — пред страданиями наших врагов. Всем известно, что я, Лопе де Агирре,— глубоко верующий христианин, уважающий и почитающий священные установления нашей святой католической римской матери-церкви, и тем не менее полагаю, что среди ее предписаний есть одно, кое невозможно выполнять, ежели мы на самом деле собираемся победить испанского короля, и с божьей помощью победим. Я уже говорил тебе и еще раз повторяю, верный мой мараньонец Педро де Мунгиа, что я люблю господа более всего на свете, никогда не поминаю его имени всуе, каждое воскресенье хожу к мессе, хотя

служит их бессовестный отец Энао; что почитал я отца своего в Оньяте, хотя проклятый старик был невыносимым; что не влекут меня ни любовные забавы, ни прелюбодеяние, ибо плоть моя успокоилась после смерти жены моей Круспы; что в жизни я не украл чужого и не искушался желанием украсть, ибо не деньги и не имущество та мечта, что будоражит мое воображение; я не возвожу ни на кого напраслины, но виню моих врагов, бросая им в лицо горькие истины, не алкаю я ни чужого добра, ни жены ближнего, а жажду я славы, и эта жажда моя не запрещена божественными заповедями. Если ты хорошенько сосчитаешь, мой терпеливый друг Педро де Мунгиа, то выйдет, что я набожно почитаю девять из десяти написанных на скрижалях рукой Иеговы заповедей, которые получил Моисей на горе Синай, и только одной я не подчиняюсь, как не подчинился ей сам Моисей, когда истребил врагов народа своего язвами и кораблекрушениями. Попросим же господа как добрые христиане, брат мой Педро де Мунгиа, чтобы он простил нам забвение этой единственной заповеди, пятой, гласящей: не убий — ибо ежели в том трудном положении, в коем мы теперь находимся, не поспешим мы уничтожить врагов наших, то подвергнем себя риску быть ими уничтоженными.

Первым перешел в лучший мир храбрейший капитан Гарсиа де Арсе, преданный любимец покойного губернатора Педро де Урсуа, верный оруженосец в его авантюрах в Панаме и Санта-Марте, ближайший помощник в деле истребления беглых негров царька Байамо, Гарсиа де Арсе, стрелок изумительной меткости, суровый боец, что уничтожил более сорока индейцев на одном только открытом им островке Амазонки. Гарсиа де Арсе после смерти губернатора загрустил и впал в меланхолию, строго порицал солдат, когда те дурным словом поминали неудачливого вождя, я предупреждаю ваше превосходительство, генерал дон Фернандо де Гусман, что этот Гарсиа де Арсе спит и видит, как бы отомстить за своего покойного покровителя, Гарсиа де Арсе, без сомнения, человек ловкий и решительный, в лагере у него найдутся сторонники, позвольте, ваше превосходительство генерал дон Фернандо де Гусман, чтобы негр Эрнандо Мандинга по моему приказанию придушил его гарротой.

В конце концов дон Фернандо де Гусман склонился к моим доводам. Что касается раба Эрнандо Мандинги, это было единственное, что я взял при разделе имущества генерала Педро де Урсуа, остальные поделили между собой одежду и оружие, Алонсо де Монтойя прибрал шкатулку с драгоценностями, а я предпочел Эрнандо Мандингу, здорового и сметливого негра, которому я посулил свободу после нашей победы. Эрнандо Мандинга и еще несколько рабов набрасываются на Гарсиа де Арсе, когда тот выходит из хижины, объявляют ему, что он приговорен к смерти, видавший виды капитан не теряет самообладания, даже почувствовав на шее веревку, твердым голосом просит дать ему исповедаться, я удовлетворяю его просьбу, ибо понимаю, что не поможет ему в ином мире полученное от монаха отпущение, ему, за одну ночь зверски уничтожившему более сорока индейцев.

Вторым сторонником испанского короля, которому выпало умереть в селении Бригантин, был дон Диего де Балькасар, главный судья лагеря, который, принимая жезл и должность, высокомерно и нагло заявил, что принимает их во имя короля Филиппа и никого более, самое благоразумное было действовать без промедления, пока не заговорила совестливость не обвыкшего еще дона Фернандо, дон Фернандо станет приводить доводы, что Балькасар был доверенным слугою вице-короля Уратадо де Мендосы, что Балькасар отдал большую часть своего состояния на снаряжение похода в Омагуас, и, кто его знает, еще какую чушь. Не посвящая ни во что дона Фернандо, сделали так,

что Эрнандо Мандинга и еще один негр пошли к Балькасару, Антон Льамосо следовал за ними с обнаженной шпагой для придания большей торжественности этой казни, услыхав, какая ему выпала участь, Балькасар не повел себя по-благородному, как Гарсиа де Арсе, но вырвался из рук своих палачей и бросился бежать, громко вопя: «Да здравствует король! Да здравствует король! На помощь, ваше превосходительство дон Фернандо, меня хотят убить!» Антон Льамосо с неграми гнались за ним среди ночи, насмерть перепуганный беглец свалился с обрыва, он был голым, как его застали в хижине, к тому же Антон Льамосо успел его ранить, через три дня вышедший на охоту солдат увидел его там, забившегося в кустарник, дон Диего де Балькасар вернулся в лагерь весь в крови и синяках, так что смотреть жалко, бедняга страдал и безутешно плакал, дон Фернандо принял его в своем шатре, пообещал ему защиту, в жизни не забуду, как он раболепно вопил: «Да здравствует король!» — надеясь таким образом спасти жизнь, бежал в темноту голый и перепуганный с криком: «Да здравствует король!» Какая жалость, что король не врачует ран, не дарует жизни, уж ваша-то милость должна бы это знать.

Смерти, последовавшие за этими, надо отнести не на счет Лопе де Агирре, а на твой, Инес де Атьенса, чья метисская красота распаляет всех мужчин в лагере, я неточен, есть у нас двое, на которых без толку тратишь ты свои чары, и первый — генерал Фернандо де Гусман, наш губернатор, нет у дона Фернандо иного чувственного влечения кроме как к пончикам из юкки, которые ему прямо в гамак аккуратно носит служанка Мария де Монтемайор, наложница Лоренсо Сальдуендо (рецепт Марии де Монтемайор: приготовляется густое пюре из вареной юкки и яиц любой птицы, лучше, конечно, куриных, из него катаются шарики, обжариваются в растительном масле или животном жире, затем шарики обильно поливаются пчелиным медом и посыпаются молотой корицей, подаются горячими); ты, Инес де Атьенса, пришла к дону Фернандо де Гусману в его шатер, в тот вечер ты была красива как никогда, дон Фернандо серьезно оглядел тебя и спросил в высшей степени учтиво, не с жалобой ли ты на пищу, которую тебе дают, или на хижину, в которой тебя поселили, с каким потрясающим достоинством говорил с тобой этот сын одного из двадцати четырех знатных людей Севильи! Пословица гласит: бог даст язву, бог даст и лечение.

Не поддается твоим чарам и начальник штаба Лопе де Агирре, которого ты ненавидишь всей душой, Лопе де Агирре, хромой, грубо отесанный, одноглазый, беззубый, смотрит на тебя пристально, будто хочет прочитать твои мысли, а то день за днем и вовсе на тебя не глядит, может, он догадывается о твоих тайных помыслах, Инес де Атьенса.

Ты ни на миг не перестаешь оплакивать смерть Педро де Урсуа, ты плачешь сухими глазами, сжав кулаки, он был самым горячим и самым нежным твоим любовником, кровь сладко закипает в тебе, когда ночью в постели снятся тебе его ласки, ты поклялась над трупом его христианским богом и богами своей матери отомстить тем, кто лишил его жизни, ты — самая красивая женщина в Перу, и нет у тебя иного оружия кроме твоей красоты, все мужчины в лагере, кроме Фернандо де Гусмана и Лопе де Агирре, отдали бы руку на отсечение за одну ночь с тобою; начальник стражи Хуан Алонсо де Ла Бандера выслеживает тебя и загоняет как охотничий пес, у пехотного капитана Лоренсо Сальдуендо, когда он сталкивается с тобой на улице, похоть брызжет из глаз, главный альгвасил Педро де Миранда часами караулит перед твоей хижиной, главный казначей Педро де Эрнандес что ни день несет к твоим дверям мольбы и подарки.

Не было у тебя выхода, ты сдалась домогательствам Хуана Алонсо де Ла Бандеры, бедная моя Инес де Атьенса, Хуан Алонсо де Ла

Бандера проскальзывает к тебе в хижину, едва падает ночь, раздевается и ложится голый рядом с тобою, ты закрываешь глаза, чтобы его не видеть, отсутствующая и онемевшая, позволяешь ему овладеть тобою, а сама думаешь о крови, струившейся из вен Педро де Урсуа, чтобы тело твое не чувствовало ничего, кроме злобы, и ты яростно ненавидишь Хуана Алонсо де Ла Бандеру, когда он в последнем содрогании хрюкает «любимая».

В одну из ночей ты рассказываешь Хуану Алонсо де Ла Бандере, как за спиной у него тебя донимают и не дают проходу: главный альгвасил Педро де Миранда надоел своими приставаниями, мерзкий мулат входит ко мне, когда ему заблагорассудится и без предупреждения, все время намекает, что настанут лучшие времена и что он сделает меня королевой лагеря, а то грозится, что возьмет силой, если я по доброй воле ему не отдамся; главный казначей Педро де Эрнандес задарил меня фруктами и ожерельями, осыпает оскорблениями и клеветой дона Фернандо и вашу милость, чуть не плача умоляет меня спать с ним. Хуан Алонсо де Ла Бандера вышел из твоей хижины, весь пылая от ревности.

Вот почему справедливо сказать, что последние смерти, приключившиеся в лагере, должно отнести не на счет Лопе де Агирре, а на твой, сладкая моя Инес де Атьенса. Хуан Алонсо де Ла Бандера поспешил в шатер к генералу Гусману и раскрыл ему заговор, который плели мулат Педро де Миранда и санлукинец Педро де Эрнандес: эти предатели замышляют лишить жизни ваше превосходительство, я умоляю ваше превосходительство, генерал Гусман, покарать их гарротой, начальник штаба Лопе де Агирре не имел возражений, и в то же утро на одной и той же сейбе были повешены два твоих воздыхателя, на груди у каждого висела дощечка, гласившая: «Надумали бунтовать». Хуан Лопес Серратос и Хуан Лопес де Айяла (два мараньонца, очень дружные с Лопе де Агирре) заняли должности судьи и казначея, которые освободили покойники, Хуан Алонсо де Ла Бандера той же ночью пришел к тебе в хижину, едва держась на ногах от любви и лопаясь от похоти. Из двенадцати, что предавали смерти губернатора Педро де Урсуа, десять еще живы, несчастная моя Инес де Атьенса.

■

Для тебя, генерал-лейтенант Хуан Алонсо де Ла Бандера, раздувшегося от спеси и, как павлин, распускающего хвост, для тебя самое главное удовольствие — прилюдно показать, что ты любовник доньи Инес, а не просто спать с ней потихоньку, донья Инес разжигает твое тщеславие, словно кузнечными мехами раздувает твое честолюбие, донья Инес науськивает тебя на дона Фернандо де Гусмана, может, потому, что мечтает снова стать первой дамой, донья Инес подстрекает тебя и против меня, потому что меня ненавидит, иногда она окидывает меня таким взглядом, будто снимает мерку с моего коротенького трупа.

Тобой, Хуан Алонсо де Ла Бандера, поднявшим оружие на губернатора Педро де Урсуа, руководило не мятежное сердце, а желание обладать прелестями доньи Инес, которыми тешил себя губернатор, ты, Хуан Алонсо де Ла Бандера, не успев убить королевского губернатора, поспешил с уверениями, что поступил так из верности королю, которого предал, ты, Хуан Алонсо де Ла Бандера,— мой смертельный и главный враг, и, к несчастью твоему, я не забываю об этом ни днем, ни ночью.

Если я все время ношу при себе все оружие, хожу в кольчуге, с аркебузом и копьем наготове, если ночами я покидаю хижину, скрываюсь и бодрствую, точно лис, в зарослях, если Мартин Перес де Саррондо и Антон Льамосо, словно чуткие журавли, стерегут каждое

движение твое и твоих сообщников, то все это потому, что как шила в мешке не утаить тебе твоего намерения убить меня, а я не о такой смерти мечтаю. Мне рассказывали солдаты из твоего окружения и духи из иного мира, а они — самые ловкие мои шпионы, как ты прибегал к дону Фернандо де Гусману, запугивал его моими якобы кознями и просил повесить меня на дереве, и те же самые духи рассказали мне, как он тебе ответил: «Раньше чем убить Лопе де Агирре, который всегда был мне добрым другом, вам придется убить меня и выбросить мое сердце в реку»,— клянусь честью, на этот раз он поступил замечательно, как настоящий сеньор.

Одного я не могу вытерпеть, Хуан Алонсо де Ла Бандера,— того, что ты хочешь присвоить мои полномочия начальника штаба, ибо твое положение генерал-лейтенанта ниже моего; ты послал Санчо Писарро с двадцатью людьми за реку искать продовольствие, не спросив моего мнения и не получив моего согласия; ты отправил Алонсо де Монтойю с еще двадцатью людьми искать селения и убивать индейцев, а я об этом распоряжении даже не знал. Я таковой дерзости не потерплю, Хуан Алонсо де Ла Бандера, и, беру небеса в свидетели, ты мне за это заплатишь.

Генерал дон Фернандо де Гусман поставлен перед жестким выбором, он мнется и колеблется, смакуя пончики из юкки, не знает, какая из двух опасностей страшнее. Дон Фернандо догадывается, что ты, завистливый и необузданный толедец, ходишь-обдумываешь, как отнять у него власть и жизнь, как самому стать единовластным вождем. Дон Фернандо чувствует, что и я таю темные намерения, но какие именно, понять не может. Мое изощренное чутье подсказывает мне, что в конце концов чаша весов склонится в твою пользу, ибо страх передо мною у него в настоящий момент гораздо меньше, чем перед тобой.

— Знайте, ваше превосходительство, мой генерал и друг дон Фернандо де Гусман, не в моих желаниях чинить вашему превосходительству неудовольствия или заботы. Я предстал пред лицо вашего превосходительства, движимый долгом известить вас о том, что генерал Хуан Алонсо де Ла Бандера взял самовольно на себя мои полномочия начальника штаба. Однако же, прибыв сюда и найдя ваше превосходительство озабоченным, я поменял свои намерения и об одном лишь учтиво прошу ваше превосходительство — освободите меня от должности начальника штаба, каковая для моего немолодого возраста и слабых сил непомерна, и назначьте меня капитаном кавалерии, ибо заниматься этими благородными животными всегда было моим любимым делом, правда, в лагере не осталось лошадей, поскольку мы их съели. Сделайте, ваше превосходительство, начальником штаба Хуана Алонсо де Ла Бандеру, который так этого желает, он такой смелый и такой шустрый, он наверняка будет прислушиваться к моим советам. Избавьте меня, ваше превосходительство, от досады и неудобств, кои несет с собой всякая командная должность, с куда большей радостью отдамся я заботам о дочке моей Эльвире, она для меня — все золото мира, ибо, хотя она и метиска, я ее люблю всем сердцем, к тому же костям моим нужен отдых, сколько ночей я уже не сплю.

Дон Фернандо благосклонно выслушал мое предложение, оно освобождало его от многих трудностей, и назначил тебя, Хуан Алонсо де Ла Бандера, начальником штаба, сверх того, что ты уже есть генерал-лейтенант, ты так раздулся от величия и спеси, что тебе в зад и булавки не воткнешь, стал дурно обращаться с солдатами, осыпать их криками и бранью, и они снова между собой называют тебя Бахвалом, и так ты о себе возомнил, что упустил счастливый случай лишить меня жизни, а ныне уже поздно, не послушался ты благих со-

ветов, которые наверняка нашептывала тебе донья Инес под простынями: почему ты не придушишь гарротой этого проклятого хромого злобника? Правду сказать, я и во сне смотрел в оба, и в то время как ты против себя людей восстанавливал, число моих друзей росло: Педро де Мунгиа, Мартин Перес де Сарондо, Хуан де Агирре, Николас де Сосайя, Педро де Арана, Диего Санчес Бильбао, Хуан Ласкано, Хуан Луис де Артьяга, Мартин де Иньигес, Хоанес де Итуррага, Энрикес де Орельяна, Диего Тирадо, Алонсо Родригес, Антон Льамосо и немало других непобедимых моих мараньонцев,— правильно предупреждала тебя твоя красивая наложница, что я проклятый хромой злобник.

Благоразумные должностные перестановки, на которые пошел губернатор дон Фернандо, не уняли его тайных опасений, а, напротив, лишь увеличили. Хуан Алонсо де Ла Бандера стал еще наглее и опаснее после того, как губернатор дал ему в руки такую власть. В то же время генерал Гусман подозревает, что я, Лопе де Агирре, не удовольствуюсь должностью капитана при почивших лошадях, после того как был строителем двух настоящих кораблей и начальником штаба со всей полнотой власти. Весь в сомнениях, он великодушно приходит навестить меня ко мне в хижину.

— Хочу, чтобы вы знали, мой отважный и храбрый капитан Лопе де Агирре, еще до того, как мы вернемся в Перу, вам будет возвращена ваша должность, от которой я вас освободил противу собственного желания, я был вынужден согласиться с вашим решением из соображений здравого смысла и надежности, коими вы всегда отличались.

Три дня спустя он снова заходит ко мне и застает меня за делом — я точу кинжал о белый камень, который Антон Льамосо достал мне из реки.

— Когда мы снова окажемся в Перу, бесстрашный капитан Лопе де Агирре, а настанет день, когда мы возвратимся туда с победой, так вот, хорошо было бы укрепить наши дружеские узы, поскольку мы с вами оба — главные вершители этого славного дела. Предлагаю вам от души, давайте нынче же сговоримся о браке между вашей дочкою Эльвирой и моим братом Мартином де Гусманом, он холост и живет в Сиудад-де-лос-Рейесе. Мартин среди нас, севильских Гусманов, самый младший, к тому же он хорош собою и одарен многими добродетелями.

Я даю ему понять, что рад и доволен, благодарю за честь, которую он оказывает моей дочери-метиске и мне, скромному солдату-баску, хотя, если хорошенько поразмыслить, то род Агирре из Оньяте будет подревнее рода Гусманов из Севильи. Дочке моей Эльвире всего шестнадцать лет, а может и пятнадцать, мне еще и мысли такой не являлось, чтобы отдавать ее замуж, однако я говорю дону Фернандо, что большим даром, чем эта свадьба, он и не мог бы меня одарить.

В воскресенье под вечер дон Фернандо приходит к нам снова, на этот раз — к моей дочке Эльвире, приходит с богатыми подарками, с шелком да бархатом, вчера еще они принадлежали губернатору Урсуа, теперь из них Торральба сошьет моей дочке красивую нарядную юбку, такую юбку не стыдно будет надеть невесте Мартина де Гусмана.

— Вам известно о моем предложении, красавица, справить в Перу вашу свадьбу с моим братом Мартином де Гусманом, он от вас, лишь увидит, без ума будет, а как узнает о вашей скромности и душевной доброте — и вовсе голову потеряет. Ваш отец Лопе де Агирре сказал мне и еще раз подтвердил, что вы с радостью ответили согласием на мою просьбу, и вот я пришел к вам сказать: отныне буду

считать вас свояченицей, и все в лагере станут называть вас доньей Эльвирой.

С большой учтивостью он поцеловал ее в лоб, дочка моя Эльвира глядела на него, загородясь боязливой и недоверчивой улыбкой, я же сказал себе: Лопе де Агирре, настал час без обиняков поговорить с начальником стражи Лоренсо Сальдуендо.

Этот Лоренсо Сальдуендо, с которым я хочу вступить в союз,— еще один негодяй, к тому же из худородных, на его счет я не обманываюсь. Колдовские чары доньи Инес лишили его рассудка, едва он увидел ее в первый раз, но Хуан Алонсо де Ла Бандера обскакал его и завладел красавицей, вот он и затаил злобу, как побитый пес. Лоренсо Сальдуендо в поход захватил наложницу, Марию де Монтемайор, которую таскает за собой с самого Трухильо, она умеет жарить самые вкусные пончики во всем Новом Свете, бедняжка невезучая, он выбросит ее в реку в тот день, когда добьется расположения доньи Инес. Случись такое, говорю я себе, найдутся солдаты, которые по-рыцарски вытащат из воды эту пухленькую Марию де Монтемайор, которая так славно жарит пончики, и приютят ее на своем ложе.

Любострастие и ревность не дают покоя Лоренсо Сальдуендо. Я полагаю его развратником, который во сне и наяву думает об одном распутстве и мерзостях, с какими только шлюхами он не путался и в грязных свинарниках, и в публичных домах, кровь у него вся сгнила от дурных болезней, когда он прибыл в Куско посланником от Педро де Урсуа, первым делом спросил, куда податься плоть свою успокоить. Ну, держись, Лоренсо Сальдуендо! Все прежние прихоти твоего необузданного вожделения и беспутства рассыпались в прах пред желанием заполучить донью Инес с ее темными глазами, широкими бедрами метиски, ее маленькими круглыми грудями. Ты подыхал от зависти ночами, представляя ее, обнаженную, в объятиях Педро де Урсуа, ты подыхаешь от злости, представляя ее теперь, обнаженную, в объятиях Хуана Алонсо де Ла Бандеры, за любовь доньи Инес ты помог мне убить одного, за любовь доньи Инес ты поможешь мне убить и другого.

— Выслушайте меня внимательно, ваша милость, капитан Лоренсо Сальдуендо, я принес очень важные вести. Дело в том, что начальник штаба Хуан Алонсо де Ла Бандера совсем очумел от спеси и замышляет в своем предательском сердце сбросить и убить дона Фернандо де Гусмана, убить вашу милость, поскольку всегда боялся, как бы ваша милость не отняла у него донью Инес, убить меня, так как я ему смертельный враг, и еще майора Гонсало Дуарте, дворецкого губернатора, в наказание за великое доверие, какое тот питает к нему.

Мне не приходится тратить больше слов и уверений. Сильнее всех моих доводов его мечта увидеть Хуана Алонсо де Ла Бандеру на земле со шпагой в груди, а потом найти забившуюся в уголок хижины донью Инес. Дворецкий Гонсало Дуарте, услыхав от меня, что ему готовят виселицу, сразу же переходит на нашу сторону и без промедления ведет нас в шатер к дону Фернандо де Гусману, а там Лоренсо Сальдуендо выступает обвинителем:

— Да хранит вас бог, сеньор губернатор, мы пришли сообщить вашему превосходительству, что готовится бунт, затевает его начальник штаба Хуан Алонсо де Ла Бандера, и об этом позоре знают уже многие солдаты в лагере, ибо предатель не скрывает своих гнусных намерений. Вместе с шестерыми злодеями, среди которых и мерзкий убийца Кристобаль Эрнандес, коему он посулил свою должность, намеревается он нынче на рассвете захватить лагерь, зверски убить ваше превосходительство и вашего дворецкого майора Гонса-

ло Дуарте, присутствующего здесь, а нас с капитаном Лопе де Агирре без исповеди вздернуть на виселице. Велите, ваше превосходительство, без задержки покарать подстрекателя гнусной подлости, офицеры и солдаты узнают о том с великой радостью, они по горло сыты его бесчинствами и притеснениями.

Поскольку генерал дон Фернандо молчал и никак не мог решиться, я, дабы рассеять его сомнения, обратился к нему со следующими словами:

— Позвольте, ваше превосходительство, мне унять властолюбие наглеца Ла Бандеры, я применю к нему наилучшее средство из всех, изобретенных на этом свете.

Услыхав мою просьбу, дон Фернандо, хорошо знавший твердость моего духа, перестал колебаться и дал нам соизволение делать то, что найдем нужным.

В воскресенье на масленицу дон Фернандо де Гусман пригласил к себе в шатер играть в карты генерал-лейтенанта Хуана Алонсо де Ла Бандеру, капитана пехоты Кристобаля Эрнандеса, старшего сержанта Санчо Писарро и командора Хуана Гутьерреса де Гевару. Хуану Алонсо де Ла Бандере, господи спаси, в картах везло не меньше, чем в любви. В тот последний трагический миг его жизни карта ему шла как нарочно, на руках у него была верная игра, и он рассчитывал заполучить добрую пригоршню эскудо, но тут вмешалась судьба-злодейка.

Секретарь дона Фернандо де Гусмана, бакалавр по имени Гонсало де Гираль, вбежал, задыхаясь, и подал нам знак. Мы с Лоренсо Сальдуендо заранее отобрали десяток бравых солдат из тех, у кого был особый зуб на Хуана Алонсо де Ла Бандеру. И вот все мы, вооруженные штыками, шпагами, аркебузами, неожиданно появляемся в шатре губернатора дона Фернандо, а дверь нам заблаговременно открыл дворецкий Гонсало Дуарте.

Лоренсо Сальдуендо отдает приказ, и все аркебузы разом стреляют. Хуан Алонсо де Ла Бандера не успел со стула подняться, пуля пробила ему правое плечо, шпага Лоренсо Сальдуендо прикончила его, вонзившись в сердце, четыре карты упали на окровавленный стол, тот, кто при жизни был бравым красавцем и бахвалом, согнулся в три погибели, и рухнувшее тело заструило кровью сразу из многих ран.

Кристобаль Эрнандес, раненный легко — мы не собирались его убивать, он просто попался нам под горячую руку,— успел добраться до двери и сломя голову помчался к реке. Но Кристобаля Эрнандеса как раз больше всех-то и ненавидели в лагере, ему не могли простить ни его нынешнего самодурства, ни прошлых бесчинств, он насиловал женщин в городе Гуанкавилке, мучил несчастных индейцев чиригуанов в Ла-Плате, Хуан Алонсо де Ла Бандера имел в мыслях назначить его начальником штаба, вот тогда бы половине из нас несдобровать в лапах у этого кровожадного шакала, но он бежит в ужасе и бросается вниз головой в реку, хочет уйти от неминуемой смерти. Каждый раз, как показывалась над водой голова, чтобы хватить воздуху или прося исповеди, на нее обрушивался град камней и пуль, пока одна пуля не попала ему прямо в лоб, и тут все высыпали на берег посмотреть, как река понесет его мертвое тело.

На этот раз, Инес де Атьенса, ты не льешь горьких слез, не молишь разрешить тебе похоронить труп любовника. Прямая как сосна, застыла ты у дверей своей хижины, черные волосы упали на смуглые плечи, ты стоишь и смотришь, как проносят мимо кровавое месиво, которое вчера еще бахвалилось и было Хуаном Алонсо де Ла Бандерой. Из двенадцати, пришедших первого января убить дона Педро де Урсуа, восемь еще остаются в живых, неутешная моя Инес де Атьенса.

Дон Алонсо де Ла Бандера, столь же преданный донье Инес де Атьенсе, сколь и королю Филиппу, был мертв, я заступил место начальника штаба, судьба моя сменила гнев на милость, дон Фернандо де Гусман уже не может шагу ступить без моих советов, я его будущий родственник, его первый капитан, самый главный его любимец. Вопрос вопросов, говорю я себе, до каких высот способен подняться этот наш избранник дон Фернандо, ибо честолюбия ему не занимать и осанки хватает. Да будет угодно богу, чтобы сохранил он оба эти качества до конца нашей затеи, в таком случае в анналах истории ему уготовано место, подобное тому, какое занимает Помпей, который был самым великим человеком на всем белом свете до того рокового дня, когда Юлий Цезарь победил его и уменьшил в размерах.

Прислушиваясь к моим рассуждениям и принимая во внимание мои советы, дон Фернандо де Гусман созвал на площади селения два собрания, которые навсегда и бесповоротно изменили цель нашего похода. На первом он скромно спросил у офицеров и солдат, угодно ли им, чтобы он, дон Фернандо де Гусман, оставался на посту, который он занимал с той ночи, когда мы предали справедливой смерти губернатора Урсуа. На том собрании дон Фернандо был как никогда красноречив и великолепен. «По приказу начальника штаба и распоряжению губернатора...» — такими словами началось чтение указа, на площади толпились офицеры и солдаты, а также местные жители, включая индейцев и женщин, разбуженных на рассвете тревожным гулом барабанов. Дон Фернандо с секирой в руках вышел из своего шатра, мы, десять самых верных его слуг, следовали за ним.

«Благородные рыцари, сеньоры, друзья мои»,— начал он свою торжественную речь, которая вся до последнего слова была выслушана в молчании и со вниманием. Он сказал, что ему неприятно было бы занимать должность, которую он занимает, если это хоть кому-то не по душе. Сказал, что губернатором он стал не по собственному желанию, но был поднят на эту высоту волею отважных капитанов, однако же он останется на ней и будет доволен лишь в том случае, если получит всеобщее одобрение. «Я собрал вас, друзья мои, чтобы публично сложить с себя сии полномочия, равно как и с офицеров, сопровождающих меня, и дабы вы свободно возложили их на то лицо, которое сами изберете и назовете губернатором». Проговорив это, он в знак своего отречения вонзил в землю секиру, которую держал, и скрестил руки на груди словно античный жрец.

Всех растрогал великодушный поступок дона Фернандо, я счел себя обязанным ответить ему от имени всего лагеря и от всего сердца попросил его снова стать нашим генералом и вождем, сказал, что мы готовы отдать жизнь, следуя за ним и ему повинуясь. Я еще не кончил говорить, как уже раздались в разных концах площади горячие здравицы дону Фернандо, и так, не встретив возражений, он был провозглашен губернатором, и отец Энао благословил его на латыни со всеми церемониями.

Второе собрание получилось еще торжественнее первого, поскольку на нем приносили присягу и ставили подписи, и все так разгорячились, что решили идти войной на Перу, война эта неизбежно выльется в бунт против судей и королевских наместников, и против тебя, Филипп, король испанский. Мартин Перес де Сарондо говорит, что не все офицеры и солдаты в лагере склонны к таким крайностям, некоторые, как ядом, отравлены почтением к монархии и символам королевской власти, а есть и такие, что грезят об одних только сокровищах Омагуаса, в поход они вышли за золотом, а не за почестями, и душой они больше скупцы, чем воители.

— Который путь выберем: станем захватывать земли для короля или пойдем на Перу, потрудимся для свободы простых людей? — спрашивает дон Фернандо всех собравшихся на наш зов. — Пусть каждый из вас скажет, что думает, без боязни, и я верно буду следовать решению большинства.

— Советую вам, храбрые мараньонцы, как старый солдат, повидавший на своем веку немало,— говорю я, Лопе де Агирре,— в сей решающий момент выбрать сражение за Перу и не искать больше для короля и его управителей золотых городов, ибо все это — ложь и выдумки. Бог свидетель, в Перу мы найдем славу и могущество, а те, кому любо богатство,— и богатство. Вот какой мы должны сделать выбор, а не стоять на коленях перед тем или иным королем, который, не слушая доводов, отрубит нам головы, ибо никогда не простит того, что мы предали смерти его губернатора Педро де Урсуа.

Отец Энао в епископском облачении служил службу у алтаря, воздвигнутого посреди площади. После слов «ite misa est» [1] и благословения дон Фернандо предложил нам всем принести присягу пред лицом господа и собственной совестью:

«Клянемся господу и пресвятой деве Марии, матери божьей, и святым апостолам, и священному алтарю, что будем помогать друг другу и способствовать, и все будем согласными в войне, которой собираемся пойти на королевство Перу, и что промеж нас не будет смутных и противоречивых суждений по ходу ее ведения; лучше умрем мы в сей войне, помогая друг другу, нежели любовные или родственные узы или соображения преданности задержат нас или остановят; и всегда на всю войну генералом у нас будет дон Фернандо де Гусман, и мы будем ему повиноваться и делать все, что прикажут он и его командиры, под страхом преступить клятву, совершить бесчестие и навлечь на себя позор».

И снова дон Фернандо проявил чудеса великодушия:

— Если кто-то из вас предпочитает не идти войной на Перу, а продолжать открывать новые земли, я позволю им это, и пусть они выберут себе вождя, какого пожелают. А тех, кто захочет еще какое-то время оставаться с нами, я охотно доставлю на остров Маргарита, и не причиню им зла, и не покараю их. Величайшее мое желание и забота, чтобы клятву дали и поставили подпись лишь те, кто по доброй воле желает участвовать в этой войне.

Отец Энао, лживый монах, да гореть ему в адском огне, у алтаря принимал присягу. Первым принес ее сам дон Фернандо, офицеры и солдаты один за другим последовали за ним, клали руку на священный алтарь, потом на молитвенник, торжественно гремели барабаны, плакали женщины, стоя в дверях своих хижин, я смотрел-всматривался в лица каждого, кто подходил ставить подпись: Санчо Писарро прикрыл глаза, чтобы не видеть, как его собственная рука нарушала верность королю Филиппу, командору Хуану де Геваре не удалось скрыть своего нежелания, Педро Алонсо Каско остался на коленях, где стоял, чтобы не приносить присягу; Хуан де Кабаньас открыто признался, что не станет присягать, Антон же Льамосо, напротив, хотел расписаться два раза, мы, двести пятьдесят мараньонцев, обязались пред алтарем Иисуса Христа и поклялись положить все силы, а если понадобится и жизнь, но завоевать для Перу свободу.

Говорю тебе, король Филипп, история с удивлением и восторгом поведает о том, что произошло в селении Бригантин, провинция Мачифаро, в дни, последовавшие за мартом месяцем года тысяча пятьсот шестьдесят первого. Мы, двести пятьдесят мараньонцев, отчаявшиеся, застрявшие в сельве у самой многоводной и страшной реки

[1] Ступайте, месса окончена *(лат.)*.

на свете, истерзаны бескормицей и болезнями, изранены и залатаны, как одежды на нищем, с немногими аркебузами и кинжалами и всего двумя судами, построенными нашими же руками, но нам не занимать духу и желания отречься от тебя и пойти на тебя войною, сиятельнейший король, самый неблагодарный и высокомерный из суверенов, рожденных земною женщиной.

Чтобы пойти войной на Перу под справедливым предлогом и чтобы размах нашей измены короне и родине принял такие размеры, которые не позволят завтра никому из нас повернуть назад, нам необходимо отказаться от подданства тебе, твоей короне и скипетру, отказаться от Испании, поскольку она — твоя родина и твое владение. Мы — солдаты Индийских земель, неудачливые вассалы, которых ты, король Филипп, точно так же, как вчера это делал отец твой, Карл, непосильным трудом сводишь в могилу и лишаешь законных наград, а уместно вспомнить, что в баскских землях этих причин достаточно, чтобы выйти из-под власти сеньора. Все мятежи в Перу, уж я-то знаю: и мятеж Гонсало Писарро, и Себастьяна де Кастильи, и Франсиско Эрнандеса Хирона — потерпели поражение потому, что ни один из этих людей не осмелился потрясти основы вассальной зависимости, все они побоялись бросить вызов и выставить своего короля против монарха Испании, поднять свой флаг, отречься от испанского флага.

Я, Лопе де Агирре, охромел и обгорел, защищая твои привилегии в сражениях с мятежным Франсиско Эрнандесом Хироном, я состарился и потерял зубы в силу естественных законов природы, мне не хватает молодости и осанки, которые должны быть у короля новой родины. Ничего, мы сделаем принцем Тьерра-Фирме, Перу и Чили нашего генерала дона Фернандо де Гусмана, он благороден и осанист, щедр и горд, а придя в Перу, мы возведем его на королевский трон и вырвем у тебя владения, которые по справедливости тебе не принадлежат. Больше божеских и человеческих прав царствовать в Перу у нас, конкистадоров и первопроходцев Нового Света, чем было их у гота Атаульфо на царствование в Испании, а кто теперь оспаривает права того удачливого победителя? И я говорю громко окружающим меня мараньонцам:

— *Нам необходимо выйти из-под власти Испанского королевства, где мы родились, отказаться от подданства королю Филиппу, его сеньору и властелину. Нам надо признать нашим принцем и сеньором дона Фернандо де Гусмана и повиноваться ему, придя же в Перу, мы возведем его на королевский трон.*

И заключаю следующим образом:

— *Итак, я кладу начало и говорю, что отныне выхожу из-под власти Испанского королевства, подданным которого был; если имеются у меня какие-либо права, поскольку родители мои родились на землях Испанского королевства и суть вассалы короля дона Филиппа, то я отказываюсь от этих прав и не признаю более дона Филиппа моим королем и сеньором. Я не знаю его и знать не хочу, не желаю признавать его господином и повиноваться ему. Пользуясь полной свободой, я выбираю впредь своим принцем, королем и сеньором дона Фернандо де Гусмана, я клянусь и обязуюсь быть ему верным вассалом и умереть, защищая его как своего сеньора и короля. В знак и доказательство признания и должного повиновения я поцелую ему руку вместе со всеми, кто хочет подтвердить и одобрить сказанное мною и избрать принцем и королем дона Фернандо де Гусмана, ибо кто этого не сделает, ясно докажет, что хотение его не совпадает с его словами и клятвами.*

Мараньонцы восторженно приняли мою речь и последовали за мной, и все мы направились в шатер к генералу Фернандо де Гусману, ставшему с того дня его превосходительством доном Фернандо, нашей волей законным принцем и королем, единственным владыкой

Перу и всей Тьерра-Фирме, посвященным в сан голосами двухсот пятидесяти мараньонцев, которые вырвали сегодня у тебя, король Филипп, самую великую драгоценность твоей короны, самый чудесный кусок твоей империи.

Должен признаться, что достоинство и сановитость дона Фернандо де Гусмана намного превзошли все мои ожидания. Он не позволил целовать ему руку, когда мы гурьбой ввалились в шатер, чтобы рассказать все по порядку, как мы провозгласили его нашим принцем, он просто крепко обнял нас всех, и слезы умиления навернулись ему на глаза. Но он дрожал от удовольствия всякий раз, когда кто-нибудь из нас называл его вашим превосходительством или принцем, и уж совсем таял, когда отец Энао, всегда безудержный в лести, пытался явно преждевременно величать его «ваше величество».

Дон Фернандо превратил свой походный шатер в импровизированный королевский дворец, пожаловал дворянское звание Хуану Гомесу и Педро Гутьерресу, которые дома у себя, в Толедо и в Вальядолиде, были погонщиками мулов, и назначил трапезничим Алонсо де Вильену, который в прежние времена был свинопасом и вырос в Сиудад-де-лос-Рейесе, не говоря уж о пажах и камергерах или старшем поваре, которым стала Мария де Монтемайор в благодарность за то, что умела жарить такие знатные пончики из юкки. Я говорю об этом весело, но без малейшей насмешки, ибо считаю дона Фернандо настоящим принцем и не сомневаюсь, что вскоре он станет королем одной из самых великих империй на земле, а посему у него довольно причин, чтобы править в свое удовольствие и тешить роскошью собственную гордыню.

Принц дон Фернандо щедро сулит награды и жалованья, которые в должное время выдадут из королевской казны Перу в соответствии с записью, сделанной его собственной мудрой рукой: «Я, дон Фернандо де Гусман, божьей милостью принц Тьерра-Фирме, Перу и Чили, жалую капитана Диего де Тираду двенадцатью тысячами песо в награду за выдающиеся заслуги в прошлом и в настоящем».

Другие просят у его превосходительства во владение земли и асьенды в разных концах Перу, о плодородии или богатствах которых они прослышали, а есть и такие сластолюбцы и бесстыдники, что, подстрекаемые дьяволом, хотят, чтобы принц декретом и грамотой пожаловал им право на плотские утехи с женщиной, о которой давно мечтают.

— Со всем долженствующим почтением прошу у вашего превосходительства соизволения и права, когда настанет время, любиться с доньей Каталиной Родригес, ныне она замужем за Родриго де Падильей, владельцем энкомьенды в Арекипе, но своим жарким нравом более подходит мне, нежели ему.

— Со всем смирением молю ваше превосходительство дозволить отнять у отца-наставника Серафина Сепеды, священника из Гуаманги, силой, если понадобится, наложницу, ее зовут Лусинда Рохас, она недавно прибыла в Новый Свет, у нее высокая грудь, мне будет от нее много удовольствия.

Осаждаемый со всех сторон, осмотрительный принц дает туманные обещания, добрый сердцем, он изобретает все новые уловки, дабы беспокойные его вассалы угомонились во власти иллюзий и надежд.

Принц дон Фернандо в крайней нужде призвал меня на совет. Я являюсь к нему в сопровождении своего верного товарища Педро де Мунгиа и не менее верного адъютанта Мартина Переса де Саррондо; этот последний после долгих и упорных моих просьб назначен старшим сержантом лагеря вместо лукавого Санчо Писарро (а Сан-

чо Писарро, таким образом, перешел с понижением на должность командира нашей химерической, давно съеденной конницы, и я теперь глаз с него не спускаю). Дон Фернандо принимает нас, сидя за столом, только что накрытым двумя услужливыми и манерными пажами, принц ужинает один при свечах, горящих в большом канделябре.

— Я позвал вас,— говорит он с изящной непринужденностью,— потому что вы, мой уважаемый начальник штаба, день и ночь говорите о том, что мы вернемся с победой в Перу, и хотя я слепо верю в ваш светлый гений и знаю, что вы обладаете подлинным военным опытом, я хотел бы из ваших уст услышать, продумали ли вы и выбрали ли, какими водными и наземными путями мы пойдем, какие военные хитрости используем, какие силы поднимем против вице-королей и судей, против того войска, которое, без сомнения, пошлет на нас король Филипп Второй.

— Меня восхищает,— говорю я ему,— радение и осторожность вашего превосходительства, я счастлив, что вы просите доложить мои планы и предложения. Ваше превосходительство может быть уверено — я не безумец и не маньяк. Хотя, возможно, кто-то и назовет невиданным безумием то, что двести пятьдесят мараньонцев, застрявших в болотах на краю земли, смеют именовать себя завоевателями Перу, освободителями Индийских земель и создателями нового и свободного королевства. Однако ежели ваше превосходительство со вниманием выслушает меня, то увидит, что составленный мною план нашего похода на Перу с целью победить управителей и генералов испанского короля — не бредни сумасшедшего, но плод здравых размышлений.

— Итак, излагайте, я весь внимание,— говорит дон Фернандо.

— Первая наша забота,— говорю я ему,— достроить две бригантины — мы затратили на них уже немало времени — и отправиться вниз по реке к морю-океану, но прежде надо избавиться от нескольких предателей, которые есть еще у нас и затаились. Я утверждаю, что эта река непременно вольется в море-океан, то не выдумки мои и догадки, но открытие, сделанное Франсиско Орельяной (совместно с монахом по имени Карвахаль, у того была одна пламенная страсть — женская грудь, вот он и сочинил сказочку про амазонок, которых никогда не было, но их выдуманным именем назвали эту многоводнейшую из рек, вместо того чтобы звать ее Мараньоном, как следовало на самом деле). Простите мне, ваше превосходительство, небольшое отступление, и вернемся к тому моменту, когда наши бригантины «Сантьяго» и «Виктория» выйдут в море-океан и возьмут курс на остров Маргарита, самое пригодное место для наших целей, ибо он находится достаточно близко, жители его имеют миролюбивый нрав, а земля щедра, так что пищи у нас будет вволю.

— На острове Маргарита нас не ждут,— говорю я ему,— и, бог свидетель, благодаря этому мы овладеем островом с большой легкостью. Поручите, ваше превосходительство, это дело полностью мне, и я справлюсь с ним шутя. Мы возьмем остров Маргарита и будем управлять им всего три дня — столько нам понадобится, чтобы запастись водой и продовольствием, захватить корабли, что стоят на якоре у его берегов, и пополнить свое войско десятками и сотнями новых добровольцев, которые захотят пойти с нами сражаться за свободу.

Следующей ступенью нашего похода,— говорю я ему,— будет Номбре-де-Дьос, куда мы отправимся тотчас же и где нас тоже никто не ждет, это второй по значению порт, ибо на его улицах скрещиваются все пути, по которым попадают солдаты из Испании в Перу и по которым золото перекочевывает из Перу в Испанию. Мы нападем на Номбре-де-Дьос после того, как захватим земли по берегам реки Саор, которую я прекрасно знаю, ибо не раз плавал по ней.

Из Номбре-де-Дьоса,— говорю я ему,— мы отправимся в Панаму через горы Капира, там в отрогах мы оставим засаду — пятьдесят стрелков,— чтобы они прикрывали нас с тыла и охраняли дороги. Битва за Панаму будет главной нашей битвой, и мы выиграем ее, в водах этого порта родится наш флот, и из этих вод мы отправимся в Перу выполнять предначертание нашей геройской судьбы.

Взяв власть в Панаме,— говорю я ему,— мы будем тверды и непреклонны с приспешниками короля Филиппа, их там великое множество, и они тщеславны, нужно раздавить их прежде, чем они захотят подняться против нас. И вот тогда король Филипп узнает, что война наша не на жизнь, а на смерть, как и сама Испания воевала всегда только на смерть против любого мятежника.

В провинции Панама,— говорю я ему,— мы соберем боевое войско, которому суждено будет освободить Перу и Чили. Давно известно, что в горах Панамы и отрогах Дарьена прячется от королевского правосудия немало солдат, они сойдут с гор и вольются в наше войско. Точно так же присоединятся к нам и более двух тысяч беглых негров, скрывающихся в тех же самых горах, они воспылают к нам благодарностью, когда узнают, что это мы казнили генерала Педро де Урсуа, того самого, что так подло предал их, ударом в спину прикончил их вожаков и увез в кандалах чересчур доверчивого короля Байамо.

В порту Панама,— говорю я ему,— мы возьмем те суда, которые нам нужны, а остальные сожжем, дабы никто не мог впоследствии воспользоваться ими против нас, мы построим одну или две трехмачтовые галеры и на их палубах установим наши пушки. Будьте уверены, ваше превосходительство, из Панамы отчалит флот не менее чем в два десятка судов с тремя тысячами воинов на борту, хорошо снаряженных аркебузами, порохом, не считая галеры с артиллерией, это войско будет в десять раз многочисленнее, чем войско Писарро и Эрнандеса Хирона, когда они поднялись против наместников и судей, наше войско ко всему прочему будет сражаться не с кличем «Да здравствует король Испании», но провозгласит: «Смерть королю Испании!» и «Да здравствует наш настоящий король — дон Фернандо!»

Принц прекрасно понял, что я в здравом уме и твердом рассудке, поднялся, растроганный, со своего места и со слезами на глазах обнял меня так, словно я был ему сыном, а вернее сказать, отцом.

■

В это время из уст в уста стала передаваться странная весть: у меня, Лопе де Агирре, внутри сидит крошечный дьяволенок, который повинуется мне как верный слуга и сообщает обо всем тайном, что творится в лагере, и в особенности о кознях, которые плетут против моей особы. Дьяволенка этого зовут Мандрагора, он как облачко, никто его не видит, в полночь Мандрагора вьется-крутится по хижинам, подслушивает, о чем шепчутся, и все передает мне, Мандрагора вездесущ, ибо (по свидетельству священных книг) демоны могут находиться везде, как и бог; мы с Мандрагорой подписали (кровью из моего левого мизинца) соглашение, в силу которого он будет предупреждать меня обо всех опасностях, меня подстерегающих, и обо всех изменах, зреющих в лагере, а я за то в мой смертный час вручу ему мою душу. Недурное дельце, поскольку продал я душу, которую ничего, кроме ада, не ждет, к тому же, я полагаю, бог бесконечно милосерден и в последний момент (после нескольких веков адского пламени и мучений) он простит всех приговоренных гореть вечно, прощение это распространится и на сатану с падшими ангелами, и ад вовсе исчезнет, об этом писал святой Иероним, и то же самое говорит Мандрагора, чтобы утешить меня и самому успокоиться. Мандрагора

говорит мне также, что зло никогда не принимало телесного обличья, да еще с рогами, как то живописуют художники, но представляет собой невидимую субстанцию, коренящуюся в людских душах, и именно там оно ведет свои сражения с богом, я не вступаю в теологические споры с Мандрагорой, ибо его дьявольское положение обязывает его разбираться в этих материях лучше, чем разбираюсь я.

По истечении трех месяцев пребывания на суше, о чем будет записано в истории Нового Света золотыми буквами, ибо тут мы поклялись биться за свободу, мы отчалили от поселения Бригантин. На «Сантьяго» и «Виктории», которые строились под моей командой и неусыпным наблюдением, еще нет палуб, но суда достаточно вместительны и хороши на ходу, всем нам тут хватит места на струганых досках, вот пройдем реку, оснастим их как следует, и они сменят свой неказистый вид на благородную и мужественную морскую осанку. Я отдаю приказ держаться левее, и мы идем, прижимаясь к песчаному необитаемому берегу, все равно более для нас полезному, полагаю я, чем зеленые заросли правого берега, за которыми таятся призраки обманной страны Омагуас.

Через три дня плавания, во время которого во избежание искушений мы все время жались к левому берегу, мы замечаем скромное индейское селение, жители, едва завидев в отдалении наши корабли, тотчас же покидают его. Мы выходим на берег поискать маис и рыбу, в спешке брошенные индейцами, и вспоминаем, что нынче начинается страстная неделя; мы решаем сделать привал на семь дней, чтобы, как положено людям верующим, отпраздновать пасху. Отец Энао взгромоздится на какой-нибудь камень и произнесет взволнованную проповедь о страстях господних и будет притворно плакать, когда дойдет до того места, где ему надевают терновый венец; в святой четверг женщины из лесу принесут цветов, чтобы сплести украшения для святых даров, а в пасхальное воскресенье два наших колокола вразнобой отзвонят аллилуйю.

В этом покинутом селении нашел свою смерть Перо Алонсо Каско, который вчера еще был главным альгвасилом и преданнейшим другом неудачливого губернатора Педро де Урсуа и никак не мог скрыть своей горькой печали. Этот Перо Алонсо Каско — человек донельзя верующий и набожный, знает по-латыни все четыре молитвы и литании, он остался стоять на коленях, бормоча «Отче наш», когда всех позвали клясться в верности дону Фернандо де Гусману; сегодня, в святую среду, два моих мараньонца-баска пришли рассказать мне, что Перо Алонсо Каско выкрикивал на латыни грозные слова и что это никакие не христианские молитвы, а языческие стихи. Этот самый Перо Алонсо Каско разговаривал с солдатом Хуаном де Вильаторо, но вдруг остановился, схватил себя за бороду и воскликнул громко:

Audaces
fortuna
juvat,
timidosque
repelit,—

а это, как я узнал от моего дяди Хулиана де Араоса еще в Оньяте, на испанском языке означает, что удача помогает смелым и презирает трусов. Против кого же ты собираешься обратить свою смелость, Перо Алонсо Каско? Конечно же против начальника штаба Лопе де Агирре. И я приказываю безо всяких казнить тебя гарротой, и не впрок тебе то, что принц дон Фернандо в порыве великодушия решает отменить мой приговор, когда прибывают его посланцы, чтобы спасти твою жизнь, Эрнандо Мандинга и Бенито Майомба уже успевают сделать свое дело, и труп твой лежит на циновке, а на груди — дощечка с надписью: «За разговорчики», я хотел добавить: «*Sic transit*

gloria mundi»[1], чтобы потягаться с тобой в латыни, но такая надпись по размерам намного превзошла бы твое тело.

Перо Алонсо Каско похоронили, пасха прошла, и мы продолжили путь, а через семь дней снова вышли к селению, гораздо больших размеров, чем прежнее; здесь довольно просторная гавань, местные индейцы вежливы и приветливы, хотя, как и все они, пьяницы и разбойники. В пол-лиге от селения виднеется хороший корабельный лес. Я велю встать на якорь и достраивать бригантины, настилать палубы. Пользуясь своей властью начальника штаба, я разделил всех людей на три части: на берегу поднимется главный шатер дона Фернандо, где разместится принц с особо приближенными офицерами и прислугой; чуть выше по течению, там, где будут достраиваться корабли, остановлюсь я с семью десятками моих самых проверенных мараньонцев; а еще выше по течению, то будет нашей северной стороной, встанет лагерем остальное наше войско. При таком предусмотрительном расположении те, что находятся ниже по течению, не смогут соединиться с теми, что стоят выше, без того, чтобы мы, вставшие посередине, их не заметили.

И тем не менее я был так неотрывно занят доделкой бригантин (следил, какие деревья валят, понукал плотников, выдавал продукты женщинам-стряпухам, бранил ленивых негров, подносивших доски для будущих палуб), что проглядел, как надо мной нависла смертельная опасность. Первым знак тревоги подал мне Мандрагора, мой неусыпный сторож, мой личный дух:

— Вчера вечером принц дон Фернандо у себя в шатре собрал совет, на который были приглашены все офицеры, кроме тебя, Лопе де Агирре, невзирая на то что ты начальник штаба. О чем толковали на том совете? Почему собрались за твоей спиной? Зачем принц избегает тебя, словно ты ему враг?

Второе предупреждение услышал я из уст офицера-баска Николаса де Сосайи, он настоящий мараньонец и мне друг:

— Уже два совещания собирал принц дон Фернандо без тебя. Мой кум капитан Педро Алонсо де Галеас, который все видел своими глазами, говорит, что принц уже раскаивается в том, что был предан смерти губернатор Урсуа, что мы отказались от испанского подданства, и в том, что он принял корону. Так раскаивается, что плакал настоящими слезами, всхлипывал и похож был больше на француженку, которую побил муж, чем на испанского воина. Вот так откровенно рассказал мне все мой кум капитан Педро Алонсо де Галеас.

— Самый подлый из всех,— прошептал мне Мандрагора, как только Николас де Сосайа попрощался и ушел,— ненадежный принц дон Фернандо, шут гороховый, монашеская задница, тебе обязан он всем, чем был и что он есть, а заплатил за все гнусной трусостью. Сравнить его можно с одним только отцом Энао (которого в аду мы ждем с большим нетерпением), он воспользовался обрядом священного покаяния и подстрекает принца к кощунственной каре — отрубить тебе голову.

За Сосайей и Мандрагорой последовал капитан Педро Алонсо де Галеас, явился собственной персоной и рассказал мне слово в слово, о чем говорилось на таинственных совещаниях у дона Фернандо де Гусмана:

— Лоренсо Сальдуендо и отец Энао насмерть стояли, что тебя надо убить тут же, ни минуты не медля. Тогда Алонсо де Монтойя заметил, что безрассудно было бы открыто искушать твой гнев и гнев верных тебе семи десятков мараньонцев. Доводы Монтойи убедили генерала дона Фернандо, и они решили дождаться ночи, когда наши бригантины отплывут и ты будешь беспечно и крепко спать на палубе «Сантьяго», вот тогда они и заколют тебя кинжалами.

[1] Так проходит слава мирская *(лат.)*.

Страшное негодование вызывают в душе у меня неблагодарность дона Фернандо и мрачная картина ожидающей меня смерти. В полночь, лежа в гамаке, в присутствии единственного свидетеля — Мандрагоры — я поношу их и осыпаю проклятьями:

«Мерзкие изменники, хотите запятнать дерьмом знамя свободы? Сукины дети, спите и видите, как бы снова надеть на шею позорное ярмо короля Филиппа? Будь благословен сатана! Раньше я с вами разделаюсь, раньше я вас всех предам смерти!»

Мандрагора пляшет и притоптывает у меня внутри; хоть он и знает, что душа моя невозвратно погибла, ему нравится наблюдать, как смертные грехи у меня накапливаются.

Палубы настланы, и люди грузят на суда оружие и продовольствие, Мандрагора предсказывает, что сейчас, накануне отплытия, выплеснется ненависть, случится самое страшное и кровавое и многие из тех, кто замышлял покуситься на мою жизнь, найдут собственную смерть.

Я хожу, наблюдаю, чтобы на бригантины грузили только самое необходимое, и тут появляются два негра с матрацами, подушками и женскими сундуками на плечах, они хотят подняться на корабль и погрузить вещи в трюм. Я спрашиваю, кто послал их с тюками, кто отдал такой приказ, и они отвечают, что выполняют приказание начальника стражи Лоренсо Сальдуендо; тогда я заворачиваю их обратно со всем их смехотворным барахлом.

В первом тюке — ложе доньи Инес де Атьенсы, самой красивой женщины Перу, во втором — постель другой наложницы Лоренсо Сальдуендо, той самой Марии Монтемайор, что жарит пончики; Сальдуендо не отказался от нее, сойдясь с доньей Инес, он решил тешиться с обеими по очереди. Не начальник стражи, а осел-производитель, похотливый петух, вместо того чтобы бдеть с саблей наголо, охранять генерала, он топчет ночами сразу двух кур!

Как низко ты пала, бедная моя Инес де Атьенса, Хуану Алонсо де Ла Бандере ты досталась от Педро де Урсуа, от Хуана Алонсо де Ла Бандеры ты перешла к Лоренсо Сальдуендо, а завтра перейдешь еще к кому-нибудь, точно ты военная добыча или собачка подзаборная. Этот Лоренсо Сальдуендо — самый грязный и самый мерзкий из всех.

В лагере есть солдат, который кружит вокруг тебя, глаз с тебя не спускает, его зовут Николас де Сосайя, он из приверженцев Лопе де Агирре, он безобразный и скрюченный, словно смоковница, ты однажды обернулась поглядеть на него, и он весь задрожал с ног до головы, другой раз, когда ты взглянула на него, он стал бормотать что-то и заикаться, и, если в третий раз ты на него глянешь, он падет к твоим ногам, точно раб.

Солдат-мараньонец Николас де Сосайя ищет Лопе де Агирре и докладывает ему о деле огромной важности:

— Начальник стражи Лоренсо Сальдуендо от ярости на тебя, начальника штаба Лопе де Агирре, ослеп, он так рассвирепел, что не мог сдержать угроз. Наглядный пример его бесстыдства: только что, когда вернулись в хижину тюки с постелями его наложниц, Лоренсо Сальдуендо вышел из себя и закричал в присутствии женщин: «Горько скорблю, что человек моего возраста и положения вынужден просить одолжений у выскочки вроде Лопе де Агирре. Ничего, с этим псом или без него, но отплывем, а там без него обойдемся, скоро избавимся от его наглости и глупости».

— Так и сказал? — спрашиваю я.

— Так и сказал,— отвечает Сосайя.

Мандрагора, мой чуткий дух, снова тихонько советует мне не терять больше ни минуты. «Не забывай, что на совещаниях, где решалось, как и когда убить тебя, Сальдуендо выказал жестокую злобу. Теперь Сальдуендо после оскорблений, которые ты нанес тюфя-

кам его наложниц, будет просить у генерала дона Фернандо твоей головы тотчас же, не ожидая намеченного срока. Он уже бежит в шатер к дону Фернандо умолять его»,— говорит Мандрагора.

Во главе самых отважных из своих семидесяти мараньонцев я выхожу против Сальдуендо. Мы не застаем его в хижине, он уже умчался в шатер к принцу молить приблизить час моей смерти, Мандрагора не ошибся в своем пророчестве. Мы прерываем злонамеренный разговор градом ударов шпагами и кинжалами, и все — по телу Лоренсо Сальдуендо. Принц дон Фернандо кричит: «Не убивайте его! Приказываю, не убивайте! Умоляю, не убивайте»,— а сам бегает из угла в угол. Кровь Лоренсо де Сальдуендо сочится из более чем пятидесяти ран, он не успевает даже попросить об исповеди, в мгновение короче петушиного крика вручает он свою душу Люциферу.

Лопе де Агирре понял, что за всей той злобой и предательствами, за всеми теми распрями, что кончались кровью и смертью, всегда стояла ты, моя прекрасная и непреклонная Инес де Атьенса, Лопе де Агирре догадывается, что ты не остановишься до тех пор, пока в живых будет хоть один из двенадцати, убивавших дона Педро де Урсуа. Для Лопе де Агирре ясно, зачем ты отдавала свое несравненное тело двум мерзавцам, к которым испытывала отвращение. Лопе де Агирре предвидит, что следующим твоим хозяином, следующим твоим рабом, следующим твоим инструментом будет Николас де Сосайя, не гнусный холуй короля Филиппа, как прежние, но храбрый и мятежный мараньонец. Лопе де Агирре зовет Антона Льамосо и Франсиско Карьона и отдает им приказание:

— Идите и убейте донью Инес де Атьенсу!

Ты спокойно сидишь в хижине, расчесываешь свои черные волосы, скорбная и прекрасная Инес де Атьенса, и ждешь сообщений об ужасных событиях, которые должны произойти нынче. Вот откроется дверь, войдет солдат-мараньонец Николас де Сосайя и скажет взволнованно: «Убили начальника стражи Лоренсо Сальдуендо» или: «Убили принца дона Фернандо де Гусмана!», а может: «Убили начальника штаба Лопе де Агирре!» — любая из трех этих смертей доставит тебе радость, все трое участвовали в том низком заговоре против Педро де Урсуа. Инкские боги твоей матери предвещали, что прольется кровь Лоренсо Сальдуендо, инкские боги никогда не ошибаются в пророчествах, придет к тебе в хижину солдат-мараньонец Николас де Сосайя, сообщит тебе о жестоком преступлении и останется спать с тобою.

Но дверь отворяется, и появляется не Николас де Сосайя, а два самых свирепых злодея из всех, какие есть у начальника штаба Лопе де Агирре,— Антон Льамосо и Франсиско Каррион, прямо с порога они набрасываются на тебя, выталкивают из хижины и сквозь колючий кустарник, по острым каменьям волокут в сельву твое тело, несчастливая моя Инес де Атьенса.

Под сенью дерева, чей ствол темен, как твои глаза, они вонзают в тебя кинжалы и копья, твоя кровь душиста, как апельсиновый цвет, и ала, словно маки. Ты, Инес де Атьенса, дочь Честан Ксефкуин, бывшей наложницей принца Уаскара, дочь капитана Бласа де Атьенсы, бывшего солдатом Васко Нуньеса де Бальбоа,— ты, Инес де Атьенса, не молишь о милосердии и не унижаешь себя плачем. Единственный стон вырывается у тебя в предсмертной агонии.

Когда приходят рабыни предать тебя погребению, на каменистой земле, заросшей кустарником, они находят мертвое тело, самое прекрасное, какое когда-либо видела эта сельва, твои черные глаза все еще пылают гневом, точно горящие светильники, твои густые черные волосы неутешным трауром покрывают терновник, я люблю тебя, мертвая моя Инес де Атьенса.

Первым предупредил меня об опасности Мандрагора, мой маленький демон, вскоре пришли с сообщением солдат-мараньонец Николас де Сосайя и хитрый капитан Педро Алонсо Галеас, и вот уже на пороге Гонсало де Гираль и Алонсо де Вильена, они рассказывают мне слово в слово все, что говорили на последних совещаниях у принца, где обсуждалось, как и когда убить меня. Гираль и Вильена, капитан и дворецкий дона Фернандо, предчувствуют, что борьба решится в мою пользу, и шаг этот совершают, дабы избежать рокового конца, который подстерегает всех моих врагов, мне безразлично, что ими движет, я встречаю их с распростертыми объятиями и нахожу для них место в своем сердце.

Горько упрекнув меня за справедливую казнь, которой я предал Лоренсо Сальдуендо и прекрасную донью Инес («Я не позволю вам, сеньор начальник штаба, впредь вершить бесчинства и беззаконие без моего ведома...»), и выслушав мой возмущенный ответ («Ступайте, ваше превосходительство, жарьте пончики, я больше не верю ни одному вашему слову, и нет у меня почтения к лживым севильцам, которые ведут двойную игру»), принц повелел отплывать назавтра с рассветом. Весть эту мне приносит капитан Мигель де Серрано и громким голосом передает следующее распоряжение:

— Его превосходительство принц приказывает вашей милости тотчас же явиться к нему в шатер на совещание офицеров...

— Передайте, ваша милость, его превосходительству принцу, что я не приду. На другие совещания, где отдавались распоряжения, о которых я не знаю, меня не приглашали. Сказать правду, капитан Серрано, все так сложилось, что нам не до разговоров.

Тут уж никого не обмануть, дон Фернандо со своими приспешниками вознамерились избавиться от меня, лишить меня жизни, я верю, семьдесят преданных мне мараньонцев не допустят такой подлости, я со своими людьми занимаю позиции посередине, в нескольких шагах от того места, где стоят на якоре бригантины, на эти бригантины я уже велел погрузить военное снаряжение и боеприпасы, оба судна покачиваются на воде, привязанные крепкими канатами к двум огромным деревьям, что растут перед моей хижиной. А принц стоит ниже по течению, его от нас отделяет широкая заводь, перебраться через которую можно только на каноэ. Выше по течению находятся Алонсо де Монтойя и Мигель де Боведо с несколькими солдатами и сколькими-то индейцами из прислуги.

Алонсо де Монтойя с Мигелем де Боведо совсем под рукой, моя звезда склоняет меня начать вершить правосудие с них. Ночь такая темная, хоть глаз выколи, во главе двадцати хорошо вооруженных мараньонцев я шагаю к хижине, где сидят за ужином и беседуют оба офицера: завтра утром бригантины поднимут якоря, через десять часов плаванья мы убьем Лопе де Агирре, убьем так, как ты придумал, Алонсо де Монтойя. Ты, адмирал Мигель де Боведа, будешь командовать кораблем, Лопе де Агирре будет спать на палубе «Сантьяго», неожиданно появятся два холуя принца дона Фернандо и распорют ему сердце кинжалами, Лопе де Агирре проснется, захлебываясь кровью, и тут же испустит дух, не успев вскрикнуть. Монтойя с Боведо сидят, обсуждают свои темные делишки, и тут появляются десять разъяренных мараньонцев, оба предателя не успевают с места подняться, как их изуродованные сотней ножевых ран тела оседают наземь, Алонсо де Монтойя отсрочил мою смерть до того дня, когда «Сантьяго» тронется вниз по Мараньону, адмирал Мигель де Боведо должен был указывать путь и повести тот смертный корабль, но господь отказал им в этом.

— А теперь черед принца,— говорю я Мартину Пересу де Сар-

рондо, который ни на шаг не отходит от меня в трудные моменты.— Пошли!

— Ночь такая темная,— отзывается он,— что силуэтов не различишь, не то что лиц. Как бы нам не перебить друг дружку, когда кинемся на шатер дона Фернандо.

Я согласен с его доводами и говорю:

— Мы переждем ночь на бригантинах. Если до принца каким-то образом дойдет весть о случившемся в верхнем лагере и офицеры принца решат напасть на нас, чтобы сквитаться, мы даже боя принимать не будем, а просто перережем канаты и оставим дона Фернандо со всем его двором на милость сельвы.

Но ничего подозрительного не обнаруживается, ни один смельчак не решается пересечь черные воды заводи, доложить принцу о том, как умерли Алонсо де Монтойя и Мигель де Боведо, наши часовые слышат одни только неумолчные, устрашающие звуки сельвы. Едва забрезжило утро, мы, шестьдесят мараньонцев, безмолвно переплываем заводь.

— Ты, Николас де Сосайя, с четырьмя своими солдатами пойдете убивать дворецкого Гонсало Дуарте! Ты, Диего де Трухильо, со своими пятью помощниками без промедления посчитаетесь с капитаном Мигелем де Серрано! Ты, Диего Санчес де Бильбао, схватишь и умертвишь Балтасара де Тоскано, самого опасного из всех этих мерзавцев! — такие распоряжения отдаю я плывущим на других каноэ.

— Что касается вас, Мартин Перес де Сарондо и Хуан де Агирре, на вас возлагаю я предание смерти принца дона Фернандо, постарайтесь, чтобы осторожность и ловкость не подвели вас, а если подведут, ты, Антон Льамосо, будешь рядом и поможешь довести дело до конца,— говорю я троим, плывущим со мною.

Первая хижина, проступающая пред нами в свете утра,— та, в которой спит отец Энао, лживый, исподличавшийся монах, он служил торжественные службы в честь и во славу губернатора Урсуа, а потом их же — в честь его смерти, Мандрагора говорил мне, что отец Энао показал себя самым страстным инквизитором на тех совещаниях, где решено было убить меня, он больше всех ратовал за то, чтобы «выпустить кишки из этого змия (меня-то), как выпустил их святой Михаил-архангел из сатаны». У солдата Алонсо Наварро и другого, по имени Чавес, особый зуб на монаха, он грозил им отлучением, если они не выполнят епитимьи и не отдадут исповеднику (ему, отцу Энао) свиньи, ими выращенной, эти самые Наварро и Чавес умоляли меня дозволить им препроводить преподобного в ад, и я дозволяю им это с полным моим удовольствием, хвала господу. Алонсо Наварро стремительно кидается в часовенку, где спит отец Энао, и, не отвлекаясь на то, чтобы разбудить его, пронзает ему шпагой брюхо с такой яростью, что шпага проходит насквозь, словно через бурдюк с вином, монах, стоя на краю могилы, начинает вопить, сквернословить и изрыгать проклятья, чем его преподобие усугубляет погибель своей души, каковая, по мнению Мандрагоры, и так безвозвратно погублена.

Принц дон Фернандо просыпается от звуков наших шагов, голосов и бряцающего оружия, в одной рубашке выглядывает из шатра — как мало осталось от горделивого достоинства принца, сейчас это просто севильец из тех, что дрожат, как овечий хвост, почуяв близость смерти; узнав меня, он говорит, глядя перепуганными глазами:

— Что такое, отец мой?

— Успокойтесь, ваше превосходительство,— отвечаю я ему жестко,— мы пришли примерно наказать трех военачальников, которые замышляли бунт. Когда генерал не умеет и не может защитить собственной жизни, это должен сделать начальник штаба.

И, не задерживаясь более, я вхожу в шатер, где мои мараньонцы исправно выполняют свои обязанности. Гонсало Дуарте, Мигель Сер-

рано и Балтасар Тоскано падают под градом ударов кинжалами и шпагами, правда, на троих напало пятнадцать, зато все трое были подлыми негодяями и иной участи не заслуживали.

Я не хочу видеть, как будет умирать принц дон Фернандо, из-за перегородки я слышу залп аркебузов, что разрядили ему прямо в грудь Мартин Перес де Сарондо и Хуан де Агирре, когда же я приковылял, чтобы убедиться, что ему не повезло, он был уже непоправимо мертв, удар кинжалом, который нанес ему Антон Льамосо, был лишней и запоздалой карой. Из семи смертей того рокового дня огорчение мне доставило лишь невезение дона Фернандо, который при жизни был таким видным мужчиной, не случайно последние слова его были «отец мой», так он назвал меня, ибо я любил его как сына, я возвел его в генералы, в предводители нашего похода, в принцы Перу и Чили, неблагодарнейший сын мой, в награду ты замышлял мою смерть и собирался бросить наше знамя свободы под ноги ненавистному королю Филиппу, мы продолжим войну без тебя, незадачливый сын мой, ничего не перенявший от своего отца.

Солнце встало ясное и чистое, ужасные вести разнеслись по лагерю, некоторые, робкие духом, в страхе разбежались по лесам, более двадцати солдат-мараньонцев отправились вылавливать беглецов, в полдень все сгрудились на площади, что в нескольких саженях от бригантин, семь десятков моих мараньонцев, вооруженных до зубов, окружили их со всех сторон, и я обратился к толпе:

— Прошу не волноваться, на войне случаются неприятности; до сих пор мы занимались ребячеством, потому что юноша стоял во главе, теперь начинается настоящая война, но некому повести нас; единственно, чего я хочу,— видеть ваши милости в полном благополучии и преподнести вам Перу, а там уж делите его сами, как вам вздумается. Дайте мне волю, и я сделаю так, что в Перу будут править и распоряжаться мараньонцы, и ни один из ваших милостей не останется без должности и будет властвовать над другими людьми, ибо не на кого мне больше положиться, кроме как на ваши милости. Будьте мне добрыми друзьями, и я сделаю так, что из Мараньона выйдут новые готы и станут владеть и править Перу как те, что правят Испанией.

— Да здравствует наш генерал и предводитель Лопе де Агирре! — кричит Мартин Перес де Сарондо.

— Да здравствует решительный вождь непобедимых мараньонцев! — добавляет мой верный товарищ Педро де Мунгиа, титул вождя радует меня, я приму его и буду ставить под своей подписью.

— Я буду вашим генералом и вождем, говорю я всем, кто меня таковым провозглашает, и я поведу против короля Филиппа жестокую войну, какой не собирался затевать Педро де Урсуа, потому что был по натуре своей раб, а не мятежник, я поведу упорную войну, на какую не способен был Фернандо де Гусман, потому что был юношей нерешительным и слабым. Итак, начинаем войну, мои мараньонцы. Единственное мое желание и приказ, чтобы никто больше не шушукался и не секретничал, ибо мы теперь все будем жить в безопасности, с заговорами и бунтами покончено.

И сразу же, как хороший генерал, я приступаю к раздаче должностей; присваивая чины, я отдаю предпочтение людям плебейского происхождения перед теми, у кого в жилах течет благородная кровь. Мартина Переса де Сарондо я делаю начальником штаба, Николаса де Сосайю — начальником стражи. Хуан Гомес, бывший конопатчиком, будет у меня адмиралом, Хуан Гонсалес, плотник,— старшим сержантом. Что касается Хуана Иньигеса де Гевары, чванливого командора ордена Святого Хуана, всегда подтянутого и в черном с ног до головы, бывшего великим другом и советчиком дона Фернандо, то

у него я отбираю должность и отдаю ее трианцу [1] Диего де Трухильо; и высокомерный Хуан Альварес де Серрато отдаст свой чин солдату Франсиско Карьону, метису, женатому на индеанке. Диего Тирадо я делаю капитаном кавалерии, он храбр в боях, и мне нужно его расположение. А Санчо Писарро оставляю на должности, которую он занимал, хотя Мандрагора нашептал мне, что тот плетет-затевает интриги, потерпи немного, мой добрый Мандрагора, придет время, мы подрежем ему когти.

Через два дня после столь серьезных событий мы отчаливаем от селения, лагерные злоязычники мрачно окрестили его Бойней, наши бригантины плывут по течению или на веслах, потому что у них еще нет мачт и парусов, мы их достроим где-нибудь ниже по течению. Держась все время левого берега, мы встречаем на пути несколько индейских поселений, четыре десятка моих людей ходили на разведку, и среди них — страшный врун, бакалавр и летописец Франсиско Васкес, этот самый Франсиско Васкес возвращается на корабль и клянется, что местные индейцы — людоеды, Франсиско Васкес говорит, что от наших аркебузов индейцы разбежались, бросив огромные котлы, в которых варилась человечина, Франсиско Васкес видел в котле детскую ножку и безволосую стариковскую голову с открытыми глазами, другой бакалавр, не глупее его, Педрариас де Альместо, еле слышно замечает, что все это выдумки самого Франсиско Васкеса, и правды в них не более, чем в историях об амазонках с тремя грудями и сказочных сокровищах Омагуаса, и еще Педрариас говорит, что варились в котлах всего-навсего ящерицы, называемые игуанами, у которых глаза точь-в-точь как у грустного человека.

Наконец, мы находим открытый берег, который потом надо будет назвать берегом Оснастки, потому что тут мы оснастим наши корабли всем, чего им не хватало для того, чтобы должным образом выйти в море. Пятнадцать дней подряд мы работаем не покладая рук, из гамаков и рыболовных сетей местных жителей плетем снасти для бригантин, из солдатских полотняных простынь и хлопчатых одеял наших индейцев-прислужников шьем паруса, упругие стволы горных деревьев превращаются в наших руках в мачты и реи, индейцы в спешке бросили много сушеной рыбы, маиса, варево из игуан и юкки, Мария де Арриола говорит — изысканнейшее блюдо, но дочка моя Эльвира не хочет даже попробовать.

С болью душевной пришлось мне отдать приказ казнить нескольких человек, которые безо всякой причины и повода вступили в вероломный заговор против меня, эти подлые простолюдины шушукались и секретничали, составляли план, как прирезать меня кинжалами, я только в лицо им взглянул, как сразу догадался об их тайных намерениях, потом два преданных негра, сообщающие мне обо всем происходящем в лагере, подтвердили — так оно и было.

Первым для острастки был наказан солдат, не то немец, не то фламандец, по имени Бернардино Верде, не то Монтеверде, это имя он взял вместо своего путаного немецкого, коего ни один христианин выговорить не мог, лицо у него, да и мысли, наверное, были лютеранские, но эти его отклонения от нашей матери-церкви беспокоили меня куда меньше, чем его наглость и недовольство, этот Монтеверде вечно бормотал что-то на своем языке, забывал выполнять мои приказания, притворяясь, будто не очень понял, пришлось кинжалу Антона Льямосо потрудиться, чтобы в ином мире он научился понимать по-нашему.

После того богу угодно было помочь мне раскрыть заговор, который затевали капитан Диего де Трухильо со старшим сержантом Хуаном Гонсалесом, эти господа мерзавцы собирались отрубить мне

[1] Житель Трианы, предместья Севильи.

голову и бежать вверх по реке на нашей бригантине «Сантьяго», обоим им дал я высокие чины, после того как они славно поработали, убивая принца дона Фернандо, а чем отплатили мне? — преступными кознями против моей жизни, куда ни глянь, со всех сторон окружают и угрожают мне предатели, иногда сдается, что слышу я не голос Мандрагоры, но голос собственного сердца, который прикинулся духом Мандрагорой, чтобы раскрывать грозящие мне опасности, я приказываю казнить гарротой Диего де Трухильо и Хуана Гонсалеса, а заодно и Хуана де Кабаньаса, потому что был он секретарем губернатора Урсуа и впоследствии не стал приносить присягу нашему мятежу, а на меня всегда смотрел с вековечной злобой в глазах.

Следующим покойником стал командор Хуан Иньигес де Гевара, наши бригантины с мачтами и под парусами плыли торжественно вниз по реке, командор Хуан Иньигес де Гевара, ханжа-святоша, стоял на коленях на палубе, читал без конца «Верую», во сне ему являлись призраки и люди из другого мира, один преданный негр донес мне, что старый командор замешан в заговоре Хуана Гонсалеса и Диего де Трухильо, Мараньон нес нас в сумерках под дождем и нависшими тучами, почтенный командор всматривался в далекий берег, прислонясь к борту «Сантьяго», весь в черном, он почти не виден был в темноте, я сказал Антону Льамосо, чтобы он воздал по заслугам старому предателю, а сам ушел.

Немного времени спустя умерли Хуан Паломо и Педро Гутьеррес, их погубила дерзость. То было время, когда мы плыли довольно стесненно, столько было народу на двух бригантинах: две сотни, а то и больше испанцев, два десятка негров и сто голов прислуги, не считая тех, кто плыл на пирогах за нами следом и которым волей-неволей придется перебраться на бригантины, как только мы выйдем в море. Ввиду этого я решаю оставить где-нибудь прислугу, другими словами, индейцев, которые сопровождают нас от самого Санта-Крус-де-Капоковара, уж они-то договорятся, найдут общий язык со своими братьями по крови, обитающими в этих местах. Рано утром подходят ко мне солдаты Хуан Паломо и Педро Гутьеррес, подходят и просят отменить мой же приказ, ссылаясь на то, что людоеды, населяющие здешние леса, съедят без промедления наших беспомощных индейцев, Мандрагора нашептывает мне, что ими движет не христианское милосердие, но боязнь лишиться общества двух резвушек-индеаночек, беременных от них, они с ними спали и доставляли им удовольствие, я отвечаю просителям, что разговорчики про людоедов — выдумки болтунов, говорю им также, что выходить в море с лишними людьми на борту не следует, могут потонуть все, Хуан Паломо и Педро Гутьеррес смиренно отступают, но к ночи начинают угрожающе перешептываться: «Лопе де Агирре поубивал многих наших друзей и теперь хочет бросить здесь нашу прислугу, сделаем же то, что должно сделать». А сделать должно вот что: казнить гарротой их обоих. Хуан Паломо, с веревкой на шее, просит вместо смертной казни оставить его тут вместе с прислугой, он обязуется наставить их в истинном христовом учении, по правде же, никогда ранее не выказывал он призвания к отшельничеству и сейчас одного только хочет — тешиться со своей индеанкой на воле, не спасет его притворство от справедливой казни.

В эти же дни еще один вручил богу свою душу, но на этот раз обошлось без моего посредничества, речь идет о незадачливом отце Портильо, несчастный священник умирал уже несколько месяцев и все никак не решался испустить дух, все время бредил, иногда поминал четыре тысячи песо, которые украл у него губернатор Урсуа, силой затащивший его, хнычущего, в поход, труп отца Портильо — жалкий мешочек с костями, горькое разочарование испытали рыбы, когда мы выкинули его в воду.

И еще одна смерть приключилась во время плаванья по Мараньону — умер индеец, которого мы взяли в плен в одну из вылазок, солдат Гонсало Серрато отобрал у индейца стрелу и знаками спросил, не отравлена ли она, пленник тоже знаками ответил, что нет, тогда Серрато наконечником стрелы сделал царапину на левой ноге индейца, из царапины пошла кровь, индеец оставался бесстрастным — ни слова, ни жеста, а на следующее утро его нашли мертвым, отравленным собственною стрелой, Лопе де Агирре говорит и утверждает, что ему не нравится убивать индейцев, как это было в обычае у Гарсиа де Арсе, Лопе де Агирре добавляет, что уж совсем не по нраву ему убивать негров, как убивал их в Панаме тщеславный Педро де Урсуа, вместо того чтобы убивать негров, я дам им всем свободу в день, когда мы одержим победу, куда достойнее убивать испанских капитанов, дурных и раболепных вассалов твоих, король Филипп, коего хранит господь.

Неожиданно спокойное и широкое течение Мараньона начинает щетиниться маленькими островками, большими островами, двумя тысячами разных островов, небо содрогается, сотрясенное глубинными бурями, рокочущими громами, слепящими молниями, вода спадает так низко, что бригантины едва не садятся на песчаные отмели. Слушайте, мараньонцы! Издалека идет-надвигается безмерный вал морского прибоя, гора соленой воды обрушивается на речной ток, вливается в ее пресноводную безбрежность, бригантины крутятся точно бешеные, сталкиваются на стремнинах, пироги подкидывает кверху и швыряет с высоты в хаос разъяренной пены, вынырнувшие было острова вновь исчезают под нахлынувшим морем, море отчаянно набрасывается, норовя во что бы то ни стало пробиться в могучую и свирепую реку, грохот столкнувшихся вод катится по зеленой пропасти сельвы, заглушая верещание сотен тысяч птиц, крики гребцов, погребаемых круговертью вод, но река смиряет яростный наскок, перекатывает через водяную стену, вставшую у нее на пути, и катит дальше, к морю, в котором она умрет, а тот ясный мир, упирающийся в воздушный свод, и есть море, тот тигриный рык, бьющийся о скалистый берег, и есть море, тот бескрайний голубой ковер, расстеленный под ногами у бога, и есть море, «Сантьяго» и «Виктория» впадают в сверкающее лоно моря-океана, неказистый, старый, хромой и обгоревший солдат на капитанском мостике «Сантьяго» приподнимается на цыпочках и страшным голосом командует: «Курс на остров Маргарита!» — потом ковыляет на корму, ветер треплет седые патлы, а он, оборотившись к безмерным просторам, кричит: «Я — Лопе де Агирре, скиталец! Я — гнев божий! Я — твердый вождь непобедимых мараньонцев! Я — Князь Свободы!».

ЛОПЕ ДЕ АГИРРЕ — СКИТАЛЕЦ

Через семнадцать дней плаванья по морю с бригантин увидели берега острова Маргарита, то было двадцатого июля одна тысяча пятьсот шестьдесят первого года, до того дня погода была хорошей и благоприятствовала плаванью, но вблизи острова вдруг поднялась такая буря, что бригантины потеряли друг друга из виду. Может быть, Лопе де Агирре не стал приставать у Пуэбло-де-ла-Мара потому, что это было единственное укрепление на острове, а может, так случилось по вине лоцманов Хуана Гомеса и Хуана де Вальядареса, которые были один — конопатчиком, а другой — простым матросом на высоком посту, во всяком случае, обе бригантины причалили не у южной оконечности острова, на которую они взяли курс, а гораздо севернее.

«Сантьяго», пройдя по разбушевавшимся волнам, причаливает к берегу, который индейцы гуайкеры называют Парагуаче. Парагуаче — синяя бухта, окруженная зелеными невысокими холмами, неожиданно совсем близко прокукарекал петух. «Петух!» — кричит Эльвира, много месяцев уже скитальцы не слыхали родного петушиного крика.

«Виктория», которой командует начальник штаба Мартин Перес де Саррондо, бросает якорь в Банда-дель-Норте, севернее Парагуаче, сразу за мысом, всего в двух лигах, если идти по суше. Весть о появлении двух странных кораблей облетела остров из конца в конец. Священник Педро де Контрерас клялся и божился, что это пираты, потрошители домов, насилующие женщин,— господи защити! — но пирога индейцев, подошедшая к самому борту «Сантьяго», обнаружила, что на судне — честные испанские мореплаватели и командует ими хромой и невзрачный старик. Лопе де Агирре, для которого уловки и хитрости были самым действенным военным оружием, спрятал солдат с копьями и аркебузами под палубой, а на виду оставил только женщин и больных. Вслед за индейцами к кораблю приблизились двое белых жителей Парагуаче, один из них весьма разговорчивый, назвавшийся Гаспаром Родригесом, поднялся на борт, Лопе де Агирре принял его в высшей степени любезно и красочно изложил печальную историю, которую сам выдумал: «Вот что осталось от нас, вышедших из Перу завоевывать новые поселения под власть короля. Наш генерал и предводитель, отважнейший Педро де Урсуа, умер от лихорадки на суровой реке Амазонке. После той беды солдаты провозгласили меня, Лопе де Агирре, своим вождем, с тем чтобы я вывел их к какому-нибудь хорошему порту. Мы едва живы от голода, усталости и болезней, мы не стоим на ногах. Прежде чем отправиться дальше, к Номбре-де-Дьосу, мы должны запастись продовольствием и лекарствами, за которые хорошо заплатим, ибо у нас осталось еще немало денег и имущества, взятого с собой из Перу. Позвольте, ваша милость, преподнести вам в подарок этот карминный плащ с золотым галуном, перстень с изумрудами и серебряную чашу, сделанную в Потоси».

Гаспар Родригес вернулся на берег очарованный и раструбил всем о щедрости незадачливых перуанцев, жители, побуждаемые одни — милосердием, а другие — алчностью, спустились с холмов, нагруженные продовольствием, свежезабитыми барашками, ощипанными курами, мешками с кукурузой и юккой, корзинами с фруктами, кувшинами с вином,— ни дать ни взять благочестивые пастухи, направляющиеся в Вифлеем.

Помощник губернатора Хуан Сармьенто де Вильяндрандо пришел в этот мир под счастливым знаком. Ему не хватало шести месяцев до тридцати лет, а он уже получил высшую должность на Маргарите, причем стоило ему это немногих забот весьма приятного свойства — всего-навсего жениться на внучке судьи Марсело Вильялобоса, близкого друга короля Карла V. Сей августейший император отдал Вильялобосу в дар остров жемчугов, о чем была сделана соответствующая запись, Вильялобос получил остров в пожизненное владение и с правом передавать его своим потомкам. Таким образом, дочь судьи Вильялобоса донья Альдонса Манрике получила его по наследству и преподнесла в качестве прекрасного подарка своей дочери Марселе и дону Хуану Сармьенто де Вильяндрандо в день бракосочетания, ознаменовавшего их любовь.

Они поженились три месяца назад, и донья Марсела уже беременна, у нее родится мальчик, сын, который до конца своих дней будет губернатором, самым деятельным и осмотрительным из всех, каких знал остров Маргарита за свою историю, эти розовые мечтания

роятся в голове у помощника губернатора, лежащего в белом гамаке меж двух деревьев, как вдруг в городе Эспириту-Санто появляются два земледельца, они приносят необычайную весть, и перед доном Хуаном де Вильяндрандо замаячили надежды, которые давно уже не давали ему покоя: быть не только мужем доньи Марселы Вильялобос, но вдабовок стать могущественным владельцем несметных богатств.

— В Парагуаче встала на якорь одна бригантина, а в Банда-дель-Норте — другая, на них более сотни голодных и немощных людей, они вышли из Перу по приказу вице-короля, прошли самые большие реки во вселенной, они просят помощи у вашего превосходительства, говорят, что тотчас же отправятся дальше, они нашли страну Омагуас, которая много богаче самого Эльдорадо, сундуки у них набиты золотом и серебром.

Дон Хуан де Вильяндрандо выскакивает из гамака и велит скорее позвать алькальда Мануэля Родригеса де Сильву, рехидора Андреса де Саламанку и главного альгвасила Косме де Леона, чтобы вместе с ними изыскать способ во имя человеколюбия помочь несчастным скитальцам. В ту же ночь они оседлали коней, губернатор Вильяндрандо сел на своего самого лучшего, белого, по кличке Лусеро, и отправились по дороге на север, торопясь добраться до Парагуаче с первыми лучами зари.

Когда они скакали через селения, к ним присоединились несколько местных жителей и любопытствующих, а когда кавалькада добралась до песчаного морского побережья, в ней было уже более двадцати всадников, Лопе де Агирре специально сошел с «Сантьяго» на берег и почтительно встретил их, поцеловал руку губернатору и преклонил колена, выказывая таким образом не только уважение, но повиновение и смиренность.

— Встаньте,— естественно и любезно сказал дон Хуан де Вильяндрандо,— я знаю, что вы предводитель похода, и мы отнесемся к вам со всем уважением, которого ваше положение достойно. Мы готовы оказать всяческую необходимую вам помощь и поддержку.

— До самого смертного часа мы будем благодарны вам за вашу доброту,— ответил Лопе де Агирре, в то время как его солдаты помогали прибывшим спешиться, а затем отвели лошадей подальше и привязали их к деревьям.

Лопе де Агирре был так красноречив, что совершенно очаровал молодого губернатора, он живо описывал реку Мараньон и найденные ими чудесные сокровища страны Омагуас и закончил свою речь просьбой разрешить его солдатам, не сдавая своих аркебузов и пик, спуститься на берег, чтобы совершить кое-какой торговый обмен с почтенными местными жителями, губернатор с удовольствием ответил ему согласием, тогда Лопе де Агирре снова поднялся на «Сантьяго» сообщить приятную новость, и тотчас же на палубе появились все солдаты, прятавшиеся в трюмах, они выскочили в кольчугах и с оружием в руках, салютный залп из аркебузов вспугнул птиц и заставил заколотиться сердце губернатора и его спутников.

Лопе де Агирре сошел с корабля на берег, на этот раз за ним следовали пятьдесят хорошо вооруженных мараньонцев, и произнес он уже не медоточивые, но следующие слова:

— Сеньоры, мы пришли из Перу и вернемся в Перу, но вернемся в Перу войною, скажу вам между прочим, что в наши намерения не входит служить королю, ибо король Испании такой же человек, как любой из нас, и заслуг у него не больше, чем у нас, а сил он потратил несравненно меньше. Поскольку мы не можем положиться на ваши милости, у нас нет никаких оснований доверять вам, мы приказываем вам сложить оружие и сдаться в плен, и полоненными будете оставаться до тех пор, пока мы не сделаем надлежащих приготовлений и не двинемся дальше.

— Что это значит? — воскликнул перепуганный губернатор.

Никогда еще уши его не слыхали столь кощунственных речей, в ребра ему упирались наконечники пяти пик, в голову целились два аркебуза, другие были нацелены на его товарищей, все до одного проворно сдали оружие, Диего де Тирадо вскочил на горячего гнедого коня алькальда Родригеса де Сильвы, точно так же завладели двумя серыми кобылицами баск Николас де Сосайя и метис Франсиско Каррион, Лопе де Агирре, не торопясь, сел верхом на белого губернаторского коня, никогда еще не сидел на Лусеро столь ловкий, столь одержимый, столь дьяволоподобный всадник.

Как не похоже было на радостный отъезд губернатора из города Эспириту-Санто его плачевное возвращение! Генерал Лопе де Агирре благородно предложил губернатору взять его к себе на круп Лусеро, губернатор оскорбленно отказался, сочтя это предложение издевательством, он отказывался на протяжении первой лиги пути, на середине второй лиги ноги у него начали опухать и высокомерие сгорело на солнце, он согласился сесть на круп коня, но постарался при этом держаться подальше от всадника, которого презирал и коснуться которого было ему противно, в таком жалком положении въехал он в столицу и таким увидала его огорченная донья Марселита.

Начальник штаба Мартин Перес де Сарондо, присоединившийся к людям Лопе де Агирре на выезде из Парагуаче, возглавляет процессию всадников, въезжающих победно и торжественно под вечер двадцать второго июля, дня святой Магдалены, в город Эспириту-Санто, всадники палят в воздух из аркебузов и кричат на виду у оцепеневших и онемевших в дверях своих домов горожан: «Да здравствует принц Лопе де Агирре, вождь непобедимых мараньонцев! Да здравствует свобода!»

Меры, которые принял Лопе де Агирре, захватив власть на острове Маргарита, не были ни бессмысленны, ни жестоки, как о том рассказывали вашей милости. Первым делом он заключил губернатора Вильяндрандо и других пленников в крепость Пуэбло-де-ла-Мар — каменное сооружение, открытое всем ветрам, с оконцами и венчавшей его зубчатой башней. Пленники без оков и кандальных цепей свободно расхаживали по двору, а по истечении трех дней им всем было разрешено вернуться домой.

С добрым намерением стереть все символы и следы имперского владычества на острове Лопе де Агирре повелел топорами разбить круглый деревянный помост на городской площади, где именем короля вздергивали на виселицу людей, затем приказал разбить дверь помещения королевской казны, конфисковал золотые монеты и сжег хранившиеся в казне книги, в которых велись королевские счета, а также все платежные ведомости и записи, история острова начиналась сызнова.

В целях предотвращения смуты и бунтов Лопе де Агирре издал следующий приказ: *«Его высокопревосходительство Лопе де Агирре, Гнев Божий, Князь Свободы, принц королевства Тьерра-Фирме и Чили со всеми провинциями, в них входящими, великий и могучий вождь мараньонцев, повелевает, чтобы под страхом смерти все население, все живущие и находящиеся на острове принесли и сдали его превосходительству все имеющееся у них оружие, которым они владеют в целях защиты или нападения, и под страхом смерти повелевает он собраться в городе всем находящимся за его пределами, а тем, что находятся в городе, не выходить из города без его разрешения и повеления, ибо так ему угодно».* В этот же самый день он

приказал всем каноэ, пирогам и другим суденышкам, плававшим вдоль берегов, пришвартоваться в гавани и велел тщательно их охранять, чтобы ни на одном из них никому не удалось сообщить на большую землю о том, что происходит на острове.

Желая пополнить ряды мараньонцев отважными и ловкими людьми, Лопе де Агирре произносил речи и приводил многочисленные доводы, приглашая местных жителей под свои знамена. Он не хотел набирать солдат силой, ему нужны были добровольцы, которые вместе с ним пошли бы войною на Перу, дабы покарать злодеев судей и рехидоров. В результате таких усилий пятьдесят местных жителей, в большинстве молодых, хотя троим из них перевалило за сорок, записались в ряды Лопе де Агирре, который в их глазах был поборником свободы.

Лопе де Агирре с жаром занялся снабжением армии, он обязал богатых жителей острова сдавать скот и продовольствие на прокорм его войска; заставил этих же богачей разместить у себя в домах и содержать солдат-мараньонцев и велел им сделать опись всех вин и съестных припасов, хранящихся в подвалах.

А поскольку островитян, трудившихся на полях и разводивших скот, правители и торговцы постоянно обманывали и обирали, Лопе де Агирре повелел поднять цены на их продукты и больше платить им за труды; за курицу, которая раньше стоила два реала, теперь должны были платить три, барашек, прежде продававшийся за четыре реала, ныне продавался за шесть; точно так же и в таких же размерах поднялись в цене коровы и телята, маис и фрукты.

И наконец, Лопе де Агирре постарался защитить честь порядочных женщин. Начиная доньей Марселой, супругой губернатора, и кончая не менее добродетельными супругами слуги Хуана Родригеса и плотника Педро Переса, все женщины с почетом принимались в том самом доме, где жила дочка Эльвира, дочь вождя. Лопе де Агирре без колебаний применял смертную казнь, если какой-либо солдат осмеливался дотронуться рукою (против воли жертвы) до тела порядочной женщины.

Основываясь на этих столь различных обстоятельствах, мы и сказали выше, что правление Лопе де Агирре на острове Маргарита не было ни жестоким, ни бессмысленным, как о том рассказывали вашей милости мстительные монахи и дурные летописцы [1].

[1] Романист, написавший все свои предыдущие книги на основании собственного опыта или свидетельств очевидцев, столкнулся на этот раз с почти непреодолимым препятствием: на земле не осталось ни одного современника XVI века, которого можно было бы расспросить. Романист смиренно обратился за материалами в библиотеки и архивы вопреки сложившейся у него манере работать, вопреки личным склонностям. Об этом злосчастном Лопе де Агирре, которого автор выбрал героем своего повествования, написаны сотни томов, и их необходимо было прочитать, проанализировать и оценить. С незнакомым ему дотоле терпением романист просмотрел произведения ста восьмидесяти восьми различных авторов (не слишком различавшихся, ибо, как правило, они почти дословно переписывали друг друга), среди них были летописцы Индий, авторы воспоминаний, историки, эссеисты, психиатры, моралисты, рассказчики, поэты, драматурги и т. д. и т. п., которые в той или иной форме занимались историей Лопе де Агирре, его приключениями и смертью. В конце этой книги не будет списка из ста восьмидесяти восьми имен предшественников романиста, ибо так заведено в мире, что мы, романисты, не обязаны ни перед кем отчитываться библиографией.

Романисту хотелось бы только отметить то непреклонное отвращение, с которым почти все эти авторы писали о вожде мараньонцев. Достаточно наугад взять некоторые их суждения о нем, относящиеся к самым различным эпохам и противоположным литературным жанрам, чтобы понять, какую великую злобу пробудил Лопе де Агирре в их перьях:

«человек, не признающий ни религии, ни закона, повинующийся лишь собственным непреодолимым прихотям и инстинктам гиены»;

«тиран, какого не видел свет»;

«лукавый, тщеславный, неверный и лживый, он редко говорил правду и не держал слова»;

«то было не человеческое существо, но сущее исчадие ада»;

«порочный, сластолюбивый, прожорливый, дурной христианин и к тому же лютеранский еретик или того хуже»;

Того, что случилось потом, не ожидали ни я, ни ваша милость, Лопе де Агирре был покинут и предан другом, которому доверял больше всех, в которого больше всех верил, и с этого момента душа вождя стала еще чернее, еще недоверчивее. Педро де Мунгиа был моим самым близким товарищем, моим братом в радостях и печалях издавна, со времен незабываемого восстания дона Себастьяна де Кастильи в Чаркасе, вместе ходили мы убивать генерала Педро Инохосу, вместе получали прощение на условиях, что будем сражаться против мятежа Франсиско Эрнандеса Хирона, вместе были в битве при Чукинге, где я был ранен в ногу и охромел навсегда, вместе вернулись

«нет порока, которого бы он не имел»;

«подобный ягуару, невротичный богохульник, безбожник, жестокий, безудержный»;

«неуравновешенное и кровожадное существо, заслужившее лишь позор на века»;

«хитрый и жестокий хищник, зорко подкарауливающий добычу»;

«предатель, который доброго слова не сказал ни о боге, ни о святых, ни о людях, ни о друге, ни о недруге ни о себе самом»;

«и душа и тело его будут вечно пребывать в адских мучениях»;

«ни о чем не печалился, вечно полон был дьявольской ярости и всякую жалость ненавидел»;

«убивал людей без вины и причины, себе на забаву и в удовольствие»;

«более жестокий, чем Нерон и Ирод»;

«самый дурной человек от Иудиных дней и поныне»;

«жизнь его была сплетением невиданных жестокостей, которые перо отказывается описать и в которые разум отказывается верить»;

«его слова, его обращение, его поведение были подобием ада»;

«если бы перо могло описать всю его безрассудную жестокость, не нашлось бы сердца, способного выстрадать сие, не хватило бы слез оплакать содеянное, столь велики были оскорбления, грабежи и зверства, которые совершил сей хищник»;

«в веках пребудет память о варварской жестокости этого хищника среди людей»;

«наглядный пример умственных нарушений»;

«нельзя даже назвать жестоким этого маленького гомункула, хилого и хромого, ибо существо его было одержимо дьяволом бешенства и сам он не отвечал за свои поступки»;

«хитрый и погрязший в интригах, насквозь фальшивый, импульсивный и жестокий, способный на зверства»;

«извращенный тиран, великий предатель, когда некого было убивать, убил собственную дочь».

Этого довольно. Биографы и интерпретаторы Лопе де Агирре словно сговорились подобрать для него такой арсенал брани и оскорблений, что добились своего и превратили его в олицетворение величайшей человеческой несправедливости.

Однако был в XIX веке один известный писатель, политик и воин, который видел в Лопе де Агирре не только человека, убивавшего людей, но главным образом отметил его как предвозвестника независимости Америки. Этого почитателя идей Лопе де Агирре звали Симон Боливар, а нам, венесуэльцам, он известен под прозванием Освободитель.

Симон Боливар несколько раз упоминает дерзость вождя мараньонцев, не с тем, однако, чтобы заклеймить ее как преступное безумие, но восторгаясь дерзостью его восстания против испанской монархии. Освободитель велел одному из своих адъютантов вечером 18 сентября 1821 года переписать от слова до слова письмо-вызов, которое Лопе де Агирре написал Филиппу II из Венесуэлы в 1561 году, и незамедлительно опубликовать его в газете «Коррео насьональ», выходившей в городе Маракаибо, которую издавал доктор Мариано Талавера, журналист-клерикал, настолько опутанный предрассудками, что осмелился не выполнить приказа генерала Боливара, во всяком случае, к такому заключению можно прийти, поскольку знаменитое письмо так и не появилось в «Коррео насьональ». Однако в архивах того времени имеется сообщение полковника Франсиско Дельгадо, командующего и интенданта армии Республики Колумбия, датированное 29 сентября 1821 года, в Маракаибо, в котором он уведомляет военного министра о том, что получил копию письма Агирре, посланную генералом Боливаром, и отдал распоряжение о публикации. Документ же об отказе от испанского подданства, подписанный Агирре и его мараньонцами в амазонской сельве, Освободитель квалифицирует как «первый акт независимости Америки».

И более того, Лопе де Агирре. По счастливому определению истории, другой сын верных баскских вассалов, как и ты, через двести пятьдесят восемь лет пойдет тем же путем, каким шел ты, перед тем, как тебя убили в Баркисемето и отрубили тебе голову. Не такой ты безумец, Лопе де Агирре, как утверждали те, что порочили тебя. Симон Боливар, как мечтал о том ты, преодолеет Андские вершины во главе своих мятежных и бесстрашных солдат, раз и другой разобьет королевские войска в долинах Нового королевства Гранада, и дойдет с победой до Перу, и, как мечтал о том ты, навсегда выбросит из Индий правителей и министров испанского короля, которого в то время звали уже не Филиппом II, а Фердинандом VII. *(Примечание автора.)*

в одиночество Куско, вместе отправились в поход Педро де Урсуа на завоевание сокровищ Омагуаса, вместе встретили страшные события, уготованные нам судьбой на реке Мараньон. Я назначил тебя начальником моей стражи, освободив от этой должности Николаса де Сосайю, который когда-то хотел быть, но так и не стал любовником доньи Инес де Атьенсы. Кому же как не тебе, Педро де Мунгиа, в самый опасный и решающий миг мог доверить я, Лопе де Агирре, наиболее важные и тайные поручения?

Трое местных жителей, которые теперь зорко и ретиво служат у мараньонцев, прибыли в крепость к Лопе де Агирре с сообщением чрезвычайной важности:

— В здешних водах есть два корабля, на которые вашему превосходительству легко наложить руку. Первый принадлежит купцу Гонсало Пласуэле, которого ваше превосходительство заключило в тюрьму за то, что он отказался говорить, где находится его корабль. Пресвятая дева — покровительница Валье явила чудо, указав нам, что корабль спрятан в бухте, в пол-лиге к северу от Пунта-де-Пьедры.

— А другой?

— Другой корабль будто нарочно приспособлен к планам и намерениям вашего превосходительства. На нем есть пушка и малые кулеврины, он хорош на ходу, а сейчас стоит на якоре у берегов Маракапаны, это на большой земле, но отсюда недалеко, сразу за соляными копями Арайи. Командует этим кораблем монах Франсиско Монтесинос, дьявольское отродье, глава ордена доминиканцев целой провинции, который отбыл с острова Маргарита в намерении обратить в христианство индейцев Гуайяны, но застрял в Маракапане. На корабле у монаха тридцать человек, но от них мало проку, потому как о войне они не помышляют и к ней не готовы.

Корабль, оснащенный пушками и кулевринами, в руках у какого-то монаха! Именно об этом мечтал Лопе де Агирре, именно это было ему нужно. Две бригантины, на которых они добрались до острова Маргарита, так истрепались, так износились в дороге, что он велел разобрать их и сжечь. В его распоряжении оставались всего-навсего три малых суденышка, которые он отнял у местных купцов, и одно судно средних размеров, принадлежавшее губернатору Вильяндрандо, которое плотники еще только достраивали. Корабль с пушками под командою монаха стоит на якоре всего в нескольких лигах от него! Лопе де Агирре спешно велит позвать Педро де Мунгиа.

— Выбери себе два десятка лучших солдат, проводником возьми негра Альфонсо де Ньеблу, он верный слуга и хорошо знает местность. Ступай прямо в Пунта-де-Пьедру, захвати корабль Гонсало Пласуэлы и весь товар с корабля пришли мне с португальцем Кустодио Эрнандесом, который пойдет вместе с тобой. Сам же с остальными людьми отправляйся в Маракапану, где стоит корабль монаха. Не вступай в сражение, но застань врасплох и одолей хитростью этих простаков, завладей кораблем, расскажи им небывалую историю наших приключений на реке Амазонке, распиши им индейцев-людоедов, амазонок с тремя грудями и золотой ночной горшок принца Куарики, а как только монах Монтесинос зазевается, убей его без лишних размышлений, остальное же будет проще простого и сплошным удовольствием, труп монаха выкинь в море и возвращайся без промедления в порт Момпатаре на корабле, оснащенном артиллерией. Поторапливайся, Мунгиа!

Педро де Мунгиа отобрал двадцать человек, и прежде всех — хересца Родриго Гутьерреса, который приходился ему кумом. Они вышли из Пуэбло-де-ла-Мара на большой пироге, которая в случае надобности могла вместить тридцать пять человек, и взяли курс на северо-восток. Шесть матросов, охранявших корабль Гонсало Пласуэлы, сдались при первом же залпе двадцати аркебузов. Педро де Мунгиа занял корабль и на пирогах отослал Лопе де Агирре все, что было

в корабельных трюмах, а было там несколько арроб соленой рыбы и лепешки из касабе. Измена пришла позднее.

— Друг мой и кум Родриго Гутьеррес,— сказал Педро де Мунгиа вполголоса, они сидели на корме, солнце начинало освещать спокойные воды, корабль Гонсало Пласуэлы направлялся в Маракапану,— много раз думал я, что вся эта наша затея на службе у Лопе де Агирре кончится не чем иным, как провалом и погибелью. Все тираны, восставшие в Индийских землях против короля, кончали жизнь виселицей или гарротой, даже такие могущественные, как Писарро, или жестокие, как Карвахаль, или великодушные, как Эрнандес Хирон.

— Ты полностью прав,— помолчав немного, ответил Родриго Гутьеррес, не поднимая глаз, ибо всегда смотрел в землю.

Педро де Мунгиа удовольствовался и таким согласием кума и пошел дальше в своем вероломстве. Он поговорил о том же с солдатами Антоном Пересом и Андресом Диасом, и те выказали полное расположение следовать его повелениям, должно быть, почуяв возможность спасти свои уже ничего не стоившие жизни. А если младший лейтенант Хуан Мартин, которому Лопе де Агирре поручил лично убить монаха Монтесиноса, попытается оказать сопротивление, не останется другого выхода, как утихомирить его кинжалом.

Никто не воспротивился позорному делу Педро де Мунгиа, даже младший лейтенант Хуан Мартин. Подняв белые флаги, они причалили к побережью Маракапаны, как им и советовал Лопе де Агирре, однако не затем, чтобы напасть под маской дружелюбия, но для того, чтобы, забыв стыд, перейти на сторону короля Филиппа. В доказательство искренности своих намерений и повиновения они сдали аркебузы, кольчуги и шпаги доминиканскому монаху по имени Альваро де Кастро, который так перепугался, что намочил сутану. Когда появился сам глава доминиканского ордена провинции, они сделали ему полный доклад о походе, начатом в Перу губернатором Педро де Урсуа, о восстании Лопе де Агирре на земле Мачифаро, о смертях, которые приключились вслед за тем, возложив всю вину за пролитую кровь на злодея вождя мараньонцев, Педро де Мунгиа называл Лопе де Агирре не иначе как «жестоким тираном», «жесточайшим тираном», «стократно жестоким тираном».

Глава ордена чрезвычайно обеспокоился, услыхав ужасы, о которых сообщили ему Педро де Мунгиа с приспешниками, страх объял всю Маракапану, более ста человек с аркебузами и копьями поднялись на вооруженный корабль главы доминиканцев и отправились вырывать Маргариту из лап лютого зверя, хотя кровавые преступления, о которых рассказывал Педро де Мунгиа, способны были остудить и самые горячие головы.

Лопе де Агирре вначале решил, что Педро де Мунгиа не возвращается потому, что его схватили и повесили люди доминиканского главы. Он так верил своему начальнику стражи, что не закрадывалось даже подозрения. В довершение бед злоязыкий Мандрагора, его личный дух, был нем как могила. Лопе де Агирре собрал своих капитанов и сказал им в великом гневе и раздражении:

— Если окажется правдой, что мой верный капитан и друг Педро де Мунгиа умер от грязных рук гнусного монаха, то, клянусь вам, за то расплатятся все монахи вселенной, ибо кровь сотни монастырей стоит меньше крови одного солдата-мараньонца. Я найду тебя, Франсиско Монтесинос, монах-преступник, я отыщу тебя, где бы ты ни спрятался, живьем сдеру с тебя мерзкую шкуру и сделаю из нее барабан.

Тяжкая скорбь по поводу предполагаемой смерти Педро де Мунгиа сменилась адской яростью, когда проводник-негр Альфонсо де Ньебла, единственный из шестнадцати посланных не захотевший перейти на сторону короля Кастилии, бежал из Маракапаны и на каноэ добрался до крепости с роковыми вестями:

— Начальник стражи Педро де Мунгиа перешел на службу к его величеству, корабль отца-доминиканца плывет сюда, но не затем, чтобы сдаться вашему превосходительству, а чтобы дать жестокое сражение, у них огненные снаряды, пушки и двести аркебузов, Педро де Мунгиа, ставший пособником и адъютантом монаха, плывет вместе с ними.

Начальник стражи Педро де Мунгиа перешел на службу к его величеству! Никогда еще не испытывал я такого жестокого удара, даже в минуты, когда двести неправедных плетей раздирали мне спину на площади Потоси, даже когда полумертвым рухнул я в битве при Чукинге, даже когда суровые беды принудили меня убить такую красавицу, донью Инес де Атьенсу. Начальник стражи Педро де Мунгиа перешел на службу к его величеству, и измена эта означает, что теперь в руках у моих врагов все мои планы и намерения и я уже не смогу внезапно атаковать Номбре-де-Дьос, захватить провинцию Панама, пополнить наши ряды беглыми неграми, сколотить армию в три тысячи человек, завладеть галерами и пушками, напасть на Перу с большим и непобедимым флотом и под знаменем свободы одолеть короля Испании, все обратилось в дым и несбыточную мечту. Будь проклят ты, сукин сын Мандрагора, что не дал мне предвестья об измене, в день моей смерти ты унесешь мою душу в ад, но в этот час измены и вероломства я вышвыриваю тебя из моего тела, тупой дух, я тебя проклинаю и изрыгаю. Я пролью кровь, и она потечет по долинам острова Маргарита, кровь твоих развратных монахов и злонамеренных правителей, король Филипп, и не будет такой беды, что поколебала бы мой мятежный дух до самой моей смерти, пусть даже меня покинут и предадут все мои военачальники, мои мараньонцы, мои дети!

Первый раз в жизни видела дочка Эльвира его в таком безумии, в первый раз увидела она его таким старым, это был уже не могучий вождь мараньонцев, не Князь Свободы — дряхлый, безумный, глубоко несчастный солдат выкрикивал непонятное во дворе крепости. И тогда дочка Эльвира подошла к нему и сказала дотоле неслыханное: «Отец, поцелуйте меня».

■

Лопе де Агирре владел островом Маргарита сорок дней и за это время отдал приказ о двадцати пяти казнях, которые впоследствии осуждались и порицались учеными и писателями. В списке, составленном его недругами, смерти эти приведены в следующем порядке:

1. *Смерть Диего де Балькасара.*

Перед тем как бросить якорь в водах Парагуаче, жестокий тиран отдал приказ казнить гарротой капитана Диего де Балькасара, и бесчеловечное приказание было исполнено двумя неграми по имени Франсиско и Хорхе, которые выполняли роль

— Чинопочитание и низкопоклонство Диего де Балькасара перед монархами и судьями — отвратительно,— говорит Лопе де Агирре.— В городе Сиудад-де-лос-Рейесе он играл в карты с вице-королем Уртадо де Мендосой и сам раболепно похвалялся такой привилегией. Никогда не забуду, как нескладно поступил этот Диего де Балькасар, когда после смерти губернатора Урсуа его назначили главным судьей, а он во всеуслышание сказал: «Принимаю жезл от имени короля Филиппа, нашего государя, и никого иного». Я тогда же хотел наказать его за оскорбление, но мерзавец ускользнул от правосудия, спрятался за спиною принца Фернандо и кричал при этом без стеснения: «Да здравствует король! Да здравствует король!» Здесь, у берегов Маргариты, настал его последний час, не потащим мы дальше за собою, к тому же против воли, этого матерого холуя и поклонника королевской задницы.

2. *Смерть Гонсало Гираля де Фуэнтеса.*

Не успел испустить дух Диего де Балькасар, как жестокий тиран приказал удушить другого офицера, по имени Гонсало Гираль де Фуэнтес, который в свое время был великим другом принца дона Фернандо и, невзирая на то, предостерег однажды Лопе де Агирре от готовящихся против него козней. Напоминание о той услуге не помогло, ему даже не дали исповедаться, веревка, затянутая на шее, оборвалась и

— Действительно,— говорит Лопе де Агирре,— этот Гонсало Гираль был одним из тех, кто предупредил меня о заговоре принца дона Фернандо и его покойных военачальников против меня. Кому измена в радость, тому изменник, в тягость, гласит пословица. Услыхав приговор, Гонсало Гираль побелел и упрекнул меня в грехе неблагодарности. Дело в том, ответил я ему, что по глазам твоим видно, что продашь ты меня так же, как продал мне дона Фернандо. Что же касается веревки, клянусь вашей милости, оборвалась она потому, что Гираль де Фуэнтес сопротивлялся, вместо того чтобы смириться и умереть как подобает солдату.

3. *Смерть Санчо Писарро.*

В самый день прибытия в Парагуаче послал жестокий тиран одного солдата из своего лагеря по имени Марти Родригес с проводником индейцем гуайкери наземным путем в Банда-дель-Норте, где стояла на якоре бригантина Мартина Переса де Сарондо. Солдат Мартин Родригес должен был передать краткое поручение: «Без промедления, ваша милость, выходите к нам, а по дороге предайте смерти капитана Санчо Писарро». Кровожадный начальник штаба Мартин Перес де Сарондо с превеликим удовольствием выполнил

— Проклятый Санчо Писарро,— говорит Лопе де Агирре,— засел у меня в мозгу с самого начала похода. Посудите сами, ваша милость, этот Санчо Писарро был любимым и уважаемым офицером у генерала Педро де Урсуа и у Хуана Алонсо де Ла Бандеры, оба доверяли ему самые рискованные задания, Санчо Писарро, лукавый трухильец, умел скрывать свои намерения, Санчо Писарро, порочный хитрец, в критический момент мог без колебаний выпалить из аркебуза в грудь своему недругу,— дай господи, чтобы этого недруга не звали Лопе де Агирре! — необходимо было схватить его за руку, помешать подобной беде приключиться.

4. *Смерть Алонсо Энрикеса де Орельяны.*

Через два дня после высадки на Маргарите жестокий тиран отдал приказ повесить на площади города Эспириту-Санто капитана-интенданта Алонсо Энрикеса де Орельяну, поскольку ему сказали, что этот Орельяна в день прибытия напился пьяным и принялся кричать, славить победу. Казнь свершили в полночь, не позволив виновному

— В распоряжении и под охраной капитана Алонсо Энрикеса де Орельяны находились все боеприпасы и огнестрельное оружие нашего лагеря,— говорит Лопе де Агирре.— Представьте себе, ваша милость, в самый день высадки в городе Эспириту-Санто, не зная еще, остались ли на острове приверженцы губернатора и не выступят ли они против нас, чтобы отбить губернатора, этот капитан Алонсо Энрикес де Орельяна уходит со своего поста в крепости, забирается в местную таверну и пьет до тех пор, пока его не выволакивают оттуда в бесчувственном состоянии. Негр Эрнандо Мандинга, который помогал класть его на носилки и который никогда не лжет и не распространяет клеветы, свидетельствует, что Орельяна в пьяном бреду грозился взбунтоваться, подобную похвальбу слышал от него и бакалавр Гонсало де Суньига, но никому об этом не сказал. Я велел без промедления вздернуть на виселицу шумливого капитана-интенданта Алонсо Энрикеса де Орельяну и воспользовался случаем с повышением назначить на эту должность самого верного моего друга Антона

Льамосо, который, несмотря на всю свою преданность, выше сержанта еще не поднялся.

5 и 6. Смерти Хуана де Вильяторо и Педро Санчеса де Кастильо.

Два дня спустя из лагеря жестокого тирана бежали пятеро солдат, а именно: Гонсало де Суньига, Франсиско Васкес, Педрариас де Альместо, Хуан де Вильяторо и Педро Санчес де Кастильо. Генерал Лопе де Агирре, ревевший и бушевавший как тигр, велел позвать губернатора Вильяндрандо с его алькальдами и пригрозил, что, если не найдутся беглецы, он убьет их самих. Перепуганный губернатор и устрашенные алькальды отдали приказание прочесать все дома и горы на острове, но поймать пятерых бежавших мараньонцев, и так велико было проявленное усердие, что в конце концов нашли Кастильо и Вильяторо и привели их в кандалах, а еще раньше добровольно сдался Педрариас де Альместо, у которого была широкая рана на ноге, Суньига же и Васкес так и не были найдены. Жестокий тиран велел повесить на одном дереве обоих — Кастильо и Вильяторо. И неожиданно для всех помиловал Педрариаса де

— Будь прокляты все бакалавры на свете! — говорит Лопе де Агирре.— Ваша милость прекрасно знает, что все мятежи в Новом Свете терпели поражение потому, что трусы и клятвопреступники переходили на сторону короля. Кордовец Хуан де Вильяторо и Педро Санчес де Кастильо родом из Бадахоса были повешены ночью, тотчас же после поимки, а Педрариаса де Альместо я освободил от наказания по причине, о которой скажу позднее или вообще никогда не скажу.

7. Смерть Хоанеса де Итурриаги.

На десятый день своего пребывания на острове жестокий тиран распорядился убить капитана Хоанеса де Итурриагу, который был его любимым другом и земляком, и все в лагере уважали его за душевные качества. Капитан Итурриага сидел ужинал, пил вино в обществе других мараньонцев, как вдруг вошел начальник штаба Мартин Перес де Саррондо с десятью своими подручными и на глазах у всех застрелил его из аркебуза, сказав, что делает это по приказу генерала Лопе де Агирре. На следующее утро, похоже, жестокий тиран сожалел о совершенном преступлении, ибо повелел предать земле капитана Хоанеса де Итурриагу с большими почестями, и отец Педро де Контрерас торжественно отслужил

— Ни в этой казни и ни в какой другой я ничуть не раскаиваюсь,— говорит Лопе де Агирре.— Теперь я понимаю, что в ошибке моей был повинен злодей Мартин Перес де Саррондо, мой начальник штаба, который завидовал тому, что все в лагере любили отважного баска, капитана Хоанеса де Итурриагу. Я тогда был в отчаянии, что все не возвращался Педро де Мунгиа, отправившийся на захват корабля монаха Монтесиноса, и я начал бояться, что он не вернется вообще. В дурной час пришел ко мне начальник штаба с наветом на капитана, злоба ослепила меня, и я поверил его словам. А когда в голове у меня прояснилось, было поздно. Немного полегчало от того, что похоронили капитана Хоанеса де Итурриагу с почестями, которых он заслуживал. Погребальная процессия вышла из крепости, более часа пробыла в церкви и завершила церемонию на кладбище. Впереди монахи и регенты несли крест, четыре человека, верхом на мулах, глухо били в литавры, им отзывались расстроенным гулом тамбурины и бубны, посреди процессии шел я, Лопе де Агирре, удрученный и в трауре, в знак траура по земле волочились знамена, церковные колокола печально звонили, рожки и свирели надрывались в похоронном плаче, алтари были затянуты черным крепом, отец Контрерас протянул requiem aeternum[1], но капитан Хоанес де Итурриага был мертв и не мог видеть и принять почестей, которые ему воздавали.

[1] Вечный покой *(лат.)*.

8, 9, 10, 11 и 12. *Смерти Хуана де Вильяндрандо, Мануэля Родригеса де Сильвы, Косме де Леона, Педро де Касереса и Хуана Родригеса.*

Жестокий тиран был еще вне себя от гнева, в который привело его бегство Педро де Мунгиа, и разъярен мыслью о приближении корабля монаха Монтесиноса, который уже видели в лиге от Пунта-де-Пьедры, с сотней стрелков из аркебузов и тьмою вооруженных стрелами индейцев на борту, не говоря уж о пушках и кулевринах. Прежде чем выйти с ними на бой, жестокий тиран приказал казнить самого губернатора Хуана де Вильяндрандо, алькальда Мануэля Родригеса де Сильву, главного альгвасила Косме де Леона, рехидора Педро де Касереса и слугу Хуана Родригеса, которые содержались пленниками в крепости Пуэбло-де-ла-Мар. Однажды в понедельник он велел вывести их из темных камер в подземелье, не снимая кандальных цепей, и пообещал, что им будет сохранена жизнь: «Можете поверить мне, сеньоры, что даже если монах Монтесинос приведет с собой самое большое во всем Новом Свете войско и будет биться со мной и в этом бою погибнут все мои товарищи, даже в этом случае никому из вас не грозит опасность и никто из вас не лишится жизни». Услыхав такие слова, пленники воспрянули духом, но злокозненный тиран и не думал выполнять своего обещания. Едва их снова развели по камерам, как пришел тот самый безжалостный Франсиско Каррион, что предавал смерти донью Инес де Атьенсу в мараньонской сельве, Франсиско Каррион сказал несчастным пленникам, чтобы они скорее поручали душу богу, потому что сейчас они умрут и нет времени звать отца-исповедника, губернатор Вильяндрандо горько сетовал, ссылался на то, что генерал Лопе де Агирре всего несколько минут назад клялся и давал честное слово, что сохранит им жизнь, остальные четверо злополучных пленников только жалобно охали, но злодей Франсиско Каррион не захотел слушать их доводов. Узнав, что его приговор приведен в исполнение, жестокий тиран безмерно обрадовался и велел похоронить пятерых покойников в двух вырытых в углу крепости ямах. Но перед тем как закопать их, он собрал всех своих солдат у циновки, где лежали бренные останки пятерых казненных, и произнес следующую чудовищную речь: «*Смотрите, мараньонцы, что вы наделали! За плечами у вас зло и беды, которые чинили вы на реке Мараньон, где убили вашего губернатора Педро де Урсуа, и его помощника Хуана де Варгаса, и еще многих других, где вы провозгласили принцем и клялись в верности дону Фернандо де Гусману, и ставили под присягой свои имена, а ныне убит на острове здешний губернатор с алькальдом и судьями, вот они, смотрите! Пусть теперь каждый из вас позаботится о себе хорошенько и сражается за свою жизнь, ибо нигде в мире не сможете более вы жить в безопасности без меня после того, как совершили столько преступлений. И пусть никто не говорит: «Я этого не делал!» или: «Я этого не видел!» — ибо я — всего-навсего человек и ничего подобного не мог совершить, если бы не ваши*

— В жизни не слышал более лживой и обманной истории, чем та, которую вашей милости рассказали,— говорит Лопе де Агирре.— С этим губернатором Вильяндрандо и его алькальдами я раз и другой обратился в высшей степени милостиво; совсем недолго подержал их в плену и выпустил на свободу, отпустил домой и попросил их по-доброму помогать мне править на острове, попросил их дружбы, и они обещали и поклялись. Ай-ай-ай, через три дня мои шпионы донесли, что губернатор со своими алькальдами пытаются меня провести: я приказал, чтобы собрали и тщательно охраняли все пироги индейцев аруаков, которые приплыли на остров торговать, губернатор же Вильяндрандо и его главный альгвасил Косме де Леон вместо того, чтобы выполнять мою волю, посоветовали индейцам аруакам разойтись по

домам со своими пирогами и сплетнями; тогда я велел снова бросить их в тюрьму и заковать в кандалы. Потом я еще раз дал слово сохранить им жизнь, да, так было, но вслед за тем пришел ко мне солдат-португалец Гонсало де Эрнандес и рассказал о новых затеях вероломных обманщиков; губернатор с его дружками не смирились духом в тюрьме — дьявол их побери! — а позволили себе отправить гонцов на корабль монаха Монтесиноса. «Сойдите, ваша милость, на берег, сразитесь с этими тиранами и уничтожьте их»,— говорилось в том послании. Вот тогда терпение мое сменилось гневом, и я отдал их в руки капитана Франсиско Карриона, дабы он свершил правосудие, ибо я не на праздник вышел с цветами и песнями, но на смертный бой с королем Испании и его управителями. История, которую выслушала ваша милость, правдива лишь в том, что я собрал солдат перед трупами пяти казненных и сказал солдатам, что ни один мараньонец никогда уже не сможет повернуть назад или перейти на сторону врага, ибо никогда им не получить прощения за их преступления, которые в равной мере и мои. Судьба их отныне, даже проживи они тысячу лет,— сражаться вместе со мной до смертного часа.

13. *Смерть Мартина Переса де Сарондо.*

Казнив гарротой губернатора с его алькальдами и судьями, жестокий тиран отбыл в Пунта-де-Пьедру с восемьюдесятью пятью стрелками в намерении дать бой и победить монаха Монтесиноса, взять живьем Педро де Мунгиа и казнить его злой казнью. Старшим и главою города Эспириту-Санто он оставил начальника штаба Мартина Переса де Сарондо, который в честь такого события той же ночью закатил пир. Под открытым небом были зажарены три тучных теленка, в глотки было опрокинуто несколько арроб вина, не смолкали трубы и барабаны, а в непристойных куплетах намекалось на задницу доминиканского главы. Жестокий тиран не нашел и следов упомянутого монаха вблизи Пунта-де-Пьедры, поскольку корабль успел поднять паруса и направиться к Пуэбло-де-ла-Мару (оба искали друг друга, да разминулись); тогда Лопе де Агирре поспешно повернул назад и воротился в город Эспириту-Санто, где никто его так скоро не ждал. Неподалеку от города он встретил пехотного капитана Кристобаля Гарсиа, который сообщил ему скверные вести: начальник штаба Мартин Перес де Сарондо сверх меры развеселился на празднике и, хлебнув лишнего, говорил странные вещи, которые обнаруживали его темные намерения; он говорил, что во Франции не карают за преступления против Испании; сказал, что если в силу каких-либо обстоятельств не стало бы старого Лопе де Агирре, то у них есть Мартин Перес де Сарондо, чтобы заменить генерала мараньонцев; Кристобаль Гарсиа понял, что начальник штаба затевает бунт, собирается убить Лопе де Агирре и удрать на кораблях во Францию. Кристобаль Гарсиа был простым конопатчиком, которого Лопе де Агирре возвел в капитаны, всем, чем он стал, обязан он Лопе де Агирре и потому пришел предупредить его об опасности. Услыхав такое, жестокий тиран порешил убить Мартина Переса де Сарондо и, возвратившись в крепость, велел доставить к нему начальника штаба; он попросил одного солдата юного возраста по имени Николас де Чавес встать в дверях и, как только начальник штаба ступит за порог, выстрелить ему в спину из аркебуза, и юноша с гордостью выполнил

— Тысячи смертей и еще столько же заслужил Мартин Перес де Сарондо,— говорит Лопе де Агирре.— Никогда бы король не простил его, никогда не простит его бог на том свете; готовил мне мерзкую измену, но и она не помогла бы ему получить прощения у короля или бога,— слава небу! — моей погибели хотят, о ней радеют люди, которых я считал самыми верными, которых награждал и привечал: мой начальник стражи Педро де Мунгиа, мой начальник штаба Мартин Перес де Сарондо; теперь я жду предательства от Антона Льамосо,

это мне подсказывает сердце, и глаза мои убедятся: ну что, Антон Льамосо, вы тоже хотите убить своего брата, хотите запятнать честь вашего отца?

Последние слова Лопе де Агирре проговорил громко, глядя в лицо Антону Льамосо, который стоял тут же. Словно палящий луч упал с небес и воспламенил немудрящего Антона Льамосо. Выпучив глаза, он грохнулся на колени подле растерзанного трупа начальника штаба и так ответил на оскорбления вождя:

— Славный генерал Лопе де Агирре, Князь Свободы, брат и отец мой, клянусь костями всех моих дедов и прадедов, что никогда мне и в голову не забредало гнусной мысли пренебречь твоей властью и твоими правами. Превыше имени бога и всех святых почитаю я твое высокочтимое имя, отец мой. Будь навеки проклята и да горит в адском огне веки вечные душа подлого Мартина Переса де Сарондо, который затевал против тебя измену и преступления. Я напьюсь его крови, я высосу его мозги и сердце!

И, подтверждая свои слова действием, он кинулся на мертвое тело и хлебнул крови, струившейся из рассеченного горла, а потом губами присосался к мозгам, вылезавшим из разбитого черепа.

— Хватит! — закричал Лопе де Агирре.

14. *Смерть Мартина Диаса де Альмендариса.*

В лагере у жестокого тирана был дворянин по имени Мартин Диас де Альмендарис, двоюродный брат покойного губернатора Педро де Урсуа, которому жестокий тиран сохранил жизнь, но тот был у него вроде пленника. Под конец он дал ему разрешение остаться на острове Маргарита, если он пожелает, после того как мятежные корабли отправятся в дальнейшее плаванье. Но неожиданно жестокий тиран сменил милость на гнев и послал Франсиско Карриона с четырьмя палачами к Мартину Диасу де Альмендарису, и те предали

— Мартин Диас де Альмендарис не мог быть мне другом,— говорит Лопе де Агирре,— ибо между нами пролегла кровь его двоюродного брата. Ваша милость должна знать, что хороший генерал не оставляет врагов у себя за спиной. По этой причине я велел его убить.

15 и 16. *Смерти Хуана де Санхуана и Алонсо Паредеса де Риверы.*

Корабль монаха Монтесиноса кружил у берегов острова Маргарита, то делая вид, будто собирается высадить стрелков и дать бой, то давая понять, что примет на борт тех солдат, которых жестокий тиран держал у себя против воли и которые попытались бы уйти от него. Однажды, когда корабль находился вблизи берега, на берегу в зарослях обнаружили двух прятавшихся солдат-мараньонцев, Хуана де Санхуана и Алонсо Паредеса де Риверу. Жестокий тиран обвинил их в том, что они ждали случая бежать на корабль к монаху, и велел повесить их на

— А как еще следует поступать с теми, кто норовит перейти на сторону врага? — говорит Лопе де Агирре.— Может быть, вы знаете, ваша милость?

17 и 18. *Смерти Хаиме Домингеса и Мигеля де Лоаисы.*

Из двенадцати бунтовщиков, которые на далекой земле Мачифаро пришли убивать губернатора дона Педро де Урсуа, только трое или четверо остаются в живых, моя покойная Инес де Атьенса. Один из них — Алонсо де Вильена, который прежде был трапезничим принца дона Фернандо, а ныне является генерал-лейтенантом жестокого тирана и непременным участником всех его злодейств и преступлений. Алонсо де Вильена начинает предчувствовать провал безумной затеи Лопе де Агирре, Алонсо де Вильена придумывает-измышляет, как облегчить свою вину, защитить себя от королевского правосудия, Алонсо де Вильена распускает слух, что, мол, он собирался восстать

против тирана, разумеется, негры-палачи идут схватить его, но Алонсо де Вильена уже успел улизнуть и спрятаться в надежном месте. Жестокому тирану не удалось учинить расправы над Алонсо де Вильеной, пришлось довольствоваться двумя его сподвижниками: первый, по имени Хаиме Домингес, пал от семи кинжальных ран, нанесенных Хуаном де Агирре, дворецким и родственником тирана; второго звали Мигелем де Лоаисой, и он был удушен

— За изменами Педро де Мунгиа и Мартина Переса де Саррондо последовали другие, как подсказывало мне сердце,— говорит Лопе де Агирре.— Не знаю, достигла ли ушей вашей милости весть о том, как капитан Педро Алонсо Галеас попросил меня дать ему ненадолго горячего коня, принадлежавшего ранее губернатору Вильяндрандо, как я неосторожно дал ему коня, как он пошел на хитрость и сделал вид, будто конь понес, и, скрывшись из виду, доскакал до берега, а там на заранее приготовленной для него пироге индейцев гуайкери перебрался на большую землю. Сукин сын Алонсо де Вильена убежал из города и оставил с носом своих товарищей. Много еще измен начертано на звездах; может, я останусь совсем один без поддержки и помощи в мой последний час, но и тогда рука моя не устанет биться с сильными мира сего и карать подлецов, в том клянусь господу нашему богу.

19. *Смерть Аны де Рохас.*

Самой бесчеловечной из всех казней, совершенных жестоким тираном на острове Маргарита, была — боже мой! — казнь доньи Аны де Рохас, прекраснейшей и знатнейшей дамы города Эспириту-Санто, которую поэты должны воспеть как «ясное сияние дня». Один коварный островитянин рассказал тирану, что бунтарь Алонсо де Вильена, до того как сбежал, частенько бывал в доме упомянутой дамы, что именно там ковались планы убийства тирана, донья Ана присутствовала при этих разговорах и выказывала свое одобрение. Благородная дама была тотчас же брошена в тюрьму, а поскольку она сопротивлялась тому, чтобы на нее надевали кандалы, оскорбленная тем, что тюремщики могут увидеть и притронуться к ее прекрасным ногам, жестокий тиран разгневался и повелел вытащить ее из тюрьмы и казнить гарротой. Дьявольское сердце жестокого тирана не тронули мольбы отца Контрераса и многих в высшей степени добродетельных дам, которые пришли молить его о милосердии. Донья Ана де Рохас была повешена на городской площади, и солдаты стреляли из аркебузов по ее красивому трупу, который раскачивался

— На самом деле, белокурая и голубоглазая донья Ана де Рохас была очень красива, хотя и не так, как донья Инес де Атьенса, господи спаси! — говорит Лопе де Агирре.— Этот проклятый ангелочек задумал убить меня, вообразив себя новой Юдифью, как сама призналась у виселицы, а меня — ненавистным Олоферном, поработившим ее отчизну. Побуждаемая злым умыслом, донья Ана пригласила меня откушать в ее доме и угостила вкуснейшими на вид пирожными, внутри которых было столько яду, что хватило бы отравить целое войско, и, без всякого сомнения, я бы умер, если бы не был вовремя предупрежден (двумя ее черными рабами) о ловушке, подстроенной мне нежной и хрупкой дамой. Что же касается разговоров о том, что мои мараньонцы будто бы стреляли по трупу доньи Аны де Рохас, поверьте, ваша милость, это сплошные выдумки моих недругов, монахов, что хотят выставить меня перед всем светом более свирепым и злым, чем я есть. Никогда бы не позволил я зазря тратить порох и пули, стрелять в беззащитный труп женщины.

20 и 21. *Смерти Диего Гомеса де Ампуэро и отца Франсиско де Саламанки.*

Донью Ану похоронили на местном кладбище, и тут жестокий тиран узнал, что супруг прекрасной висельницы, благородный дво-

рянин по имени Диего Гомес де Ампуэро, безутешно оплакивает ее смерть. Этот Диего Гомес де Ампуэро по причине старости и недугов давно уже не в силах был наслаждаться телом своей супруги, хотя, судя по всему, прежде времени зря не терял, ибо успел зачать в ее лоне восьмерых детей. Ныне же Диего Гомес де Ампуэро находился в имении, в пол-лиге от города, поправляя собственное здоровье, ибо ничего другого ему уже не оставалось; жестокий тиран узнал о слезах, которые безостановочно лил вдовец, оплакивая свою жену, и решил успокоить его — лишить жизни. И с этой целью послал он некоего Бартоломе Санчеса Паниагуа, главного альгвасила лагеря, севильца столь дурных наклонностей, что до того, как отправиться в Индии, он занимался кражей христианских детей по андалузским деревням и продавал их маврам. Этот свирепый палач в сопровождении двух альгвасилов явился в поместье к Диего Гомесу де Ампуэро и объявил, что они пришли казнить его, на что благородный дворянин ответил: «Доньи Аны нет, и мне жизнь не в радость» — и попросил одного — позволить ему пригласить священника для исповеди. Паниагуа дал согласие на то, чтобы пришел монах Франсиско де Саламанка из ордена доминиканцев и без лишних слов задушил гарротой обоих, сперва

— Наш главный альгвасил Бартоломе Санчес Паниагуа возвратился в крепость в страхе и растерянности от того, что превысил свои полномочия,— говорит Лопе де Агирре.— Генерал Агирре, сказал он мне, я пришел просить прощения у вашего превосходительства за то, что убил монаха, который в вашем приказе не значился, но глупый монах сверлил меня таким гневным взглядом, будто я сатана. Не печалься о содеянном, мой добрый Паниагуа, ответил я ему, но если желаешь получить полное мое прощение тотчас же, ступай скорее, отыщи другого монаха по имени Франсиско де Тордесильас из того же ордена, он как раз вчера исповедовал меня и наотрез отказался отпустить мне грехи. Да поторапливайся, Паниагуа, чтобы твоими стараниями оба монаха в братском единении одновременно попали на небо.

22. *Смерть отца Франсиско де Тордесильаса.*

Главный альгвасил Бартоломе Санчес Паниагуа пришел к монаху Франсиско де Тордесильасу из ордена доминиканцев, чтобы убить его, и застал монаха молящимся на коленях перед алтарем великой чудотворицы пресвятой девы — покровительницы Валье. Хитрый Паниагуа выволок монаха из церкви, чтобы не совершать святотатства, и втолкнул его

— Монахи — дело особое,— говорит Лопе де Агирре.— Уверяю вас, ваша милость, я почитаю и выполняю все установления святой матери римской церкви и глубоко верую в заветы господа, но проклинаю и ненавижу монахов всей силой своего христианского сердца, а сила эта недюжинная. Разврат, творимый монахами в этих землях, столь велик, что ни одному из них, слава богу, не удастся уйти от адского пламени. В Индийские земли пришли они не души спасать, но заниматься торговыми делишками, копить бренные богатства без меры, по дешевке, за тридцать сребреников, продавать церковное таинство, тешить похоть свою с нестарыми женщинами, которые заодно служат им кухарками, задаром и немилосердно пользоваться трудом доставшихся им индейцев. Монахи, живущие здесь, в Новом Свете, враги бедных, они жадны до власти, они обжоры и сластолюбцы, скупцы и лентяи, развратники и завистники. А гордыни-то у них — святый боже! — больше, чем у самого сатаны. У этого Франсиско де Тордесильаса, который только что умер от руки главного альгвасила Бартоломе Санчеса Паниагуа, а перед смертью напоказ выставил себя мучеником, гордыни было больше, чем у кого-либо, и был он из них самым подлым. Раскаиваешься ты, что предал смерти дона Педро де Урсуа и еще других на реке Амазонке? — спро-

сил он меня посреди исповеди. Да, раскаиваюсь, ответил я ему. Раскаиваешься ты, что лишил жизни губернатора этого острова, его алькальдов и судей? — спросил он меня. Да, раскаиваюсь, снова ответил я. А раскаиваешься ты, что восстал с оружием на своего законного короля, славного Филиппа Испанского, коего хранит бог? — спросил он меня под конец. А вот в этом, последнем, я совсем не раскаиваюсь и ничуть не сожалею, поскольку это не грех, ответил я ему. И он не отпустил мне грехов, сказав, что в глазах господа бунт против короля — вина еще более тяжкая, нежели убийство ближнего. Ну, теперь-то ты мертв, во веки веков, монах Франсиско де Тордесильас!

23. *Смерть Симона де Соморростро.*

Симоном де Соморростро звали старика лет пятидесяти, который прибыл в крепость в рядах островитян, записавшихся добровольно в войско мараньонцев. «Я буду служить вашему превосходительству, пока не увижу вас владыкою Перу, или отдам жизнь за это дело»,— так сказал Симон де Соморростро, и жестокий тиран принял его в добрый час и выдал ему копье, одежду и кольчугу, какие полагались солдату. Однако по прошествии пятидесяти дней этот Симон де Соморростро раскаялся в своем безрассудном поступке и предстал перед Лопе де Агирре, прося разрешения покинуть войско и вернуться к себе домой жить, как жил раньше. Жестокий тиран велел позвать своих негров Франсиско и Хорхе и сказал им: «Этот человек говорит, что он слишком стар и устал от войны, отведите же его в надежное место, где бы королевское правосудие не достало его, где бы его не беспокоили островитяне, не пекло бы солнце и не мучил дождь». Негры правильно поняли злонамеренные слова жестокого тирана, взяли Симона де Соморростро и на первом же попавшемся дереве

— Никто не просил Симона де Соморростро, который вовсе не был так стар, как говорил, никто не просил его идти к нам на службу,— говорит Лопе де Агирре.— Он пришел к нам по доброй воле, а уйти ему присоветовала его трусость. Я не виноват, что он предпочел умереть висельником на дереве, а не воином в битве против короля.

24. *Смерть Аны де Чавес.*

Тогда же, перед самым отплытием к Тьерра-Фирме, жестокий тиран приказал казнить одну несчастную женщину, жительницу острова, которую звали Ана де Чавес. Ее обвинили в том, что она дала приют солдату, бежавшему ранее из крепости, что не донесла на него, а помогла беглецу спрятаться в таком месте, где его так и не нашли. И хотя женщина эта клялась всеми святыми, что не знала ничего ни о каком побеге и что никого не укрывала, жестокий тиран не поверил ее словам и велел повесить ее на

— Эту ведьму из ведьм звали Ана де Чавес, или Мария де Чавес, или Исабель де Чавес, но местный люд знал ее просто как Чавес, и никто не верил, будто у нее был муж, как положено по христианскому закону. Все в городе Эспириту-Санто шептались и перешептывались, что привечала она у себя в доме молодых людей не затем, чтобы молитвы читать, но чтобы забавляться с ними. Я никогда не позволял моим солдатам чинить насилие или бесчестье над женщинами, я их оберегаю и защищаю от всякого зла. Честных женщин я глубоко почитаю, а к шлюхам и потаскушкам вроде той, что звалась Чавес, я отношусь без уважения и наказываю их за пороки и мерзость, как они того заслуживают.

25. *Смерть Алонсо Родригеса.*

Все уже погрузились на только что достроенный корабль, принадлежавший губернатору Вильяндрандо, и на три судна, отобранных у местных купцов, когда жестокий тиран совершил на острове Маргарита последнюю казнь, на этот раз жертвою стал его верный друг

адмирал Алонсо Родригес. На морском берегу оставались только генерал Лопе де Агирре с шестью своими капитанами, и тут подошел к ним адмирал Алонсо Родригес и сказал, что корабли перегружены и надо выгрузить на берег трех людей и одного мула, которого вождь мараньонцев очень ценил. Тиран возразил, что эти животные будут очень нужны на Тьерра-Фирме, но Алонсо Родригес ответил, что в Борбурате они найдут скота сколько им понадобится. Лопе де Агирре повернулся к нему спиной и направился к пироге, которая должна была доставить его на борт корабля, но незадачливый Алонсо Родригес, не предполагая, что это будет стоить ему жизни, догнал жестокого тирана и посоветовал ему отступить немного назад, чтобы не намокнуть от набегающих волн. Не успел он это сказать, как глаза жестокого тирана налились гневом, и он шпагой что было сил ударил адмирала по левой руке и рассек ее до кости. На минуту Лопе де Агирре раскаялся в своей невыдержанности и велел хирургу залечить рану, но потом, подумав еще немного, приказал палачам прикончить адмирала, сказав, что теперь этот Алонсо Родригес навсегда станет ему врагом, а он не намерен таскать за собою врагов в собственном

— Глазам моим предстал раскинувшийся над всем морем призрак измены, совершенной Педро де Мунгиа, он закрывал мне путь, и в эту минуту подходит адмирал Алонсо, дважды надоедает мне и перечит, да простит его бог! — говорит Лопе де Агирре.— Напоследок должен вам сказать, ваша милость, что те двадцать пять казней, о которых я и впрямь отдал приказ на острове Маргарита, я бы с превеликим удовольствием обменял на одну-единственную, такую желанную — казнь изменника Педро де Мунгиа, но воля божья не дала мне этой радости.

■

Корабль монаха Франсиско Монтесиноса оборотился призраком и кружил у берегов острова мрачным вороном, что разнес бы по всем портам тайные намерения Лопе де Агирре, злым демоном, что разрушил бы все его надежды на славу и свободу. Чего бы только не дал вождь мараньонцев за то, чтобы сойтись с монахом в решающей битве; он мог в ней погибнуть, но это его не страшило, ибо он мог в ней и победить, мог отбить у главы доминиканцев его оснащенный пушками корабль и покарать должным образом за измену Педро де Мунгиа!

Однако битвы с проклятым монахом так и не произошло. Вначале корабль появился в водах неподалеку от Пунта-де-Пьедраса; Лопе де Агирре с шестью десятками пехотинцев и двадцатью пятью всадниками спешно вышли ему навстречу; но корабль успел повернуть в сторону Пуэбло-де-ла-Мара. Лопе де Агирре вернулся в Пуэбло-де-ла-Мар и стал поджидать монаха; его глухое нетерпение было вознаграждено, когда однажды, во вторник на рассвете, он увидал его на горизонте, королевские флаги развевались на марсе, королевские вымпелы украшали нос и корму. Лопе де Агирре подошел к самой крепости со своими ста пятьюдесятью стрелками; десять солдат волокли пять бронзовых фальконетов, кавалерия растянулась по берегу боевым строем. Люди Лопе де Агирре тоже несли знамена и стяги, но они не горели имперскими цветами Испании, они были обожжены черным и красным — символическими цветами мятежа, две красные шпаги скрещивались на черном поле, женщины острова шили их ожесточенно и с любовью, теперь же мараньонцы развернули их под клич: «Да здравствует Князь Свободы!».

Нет, сражения так и не было. Сто пятьдесят стрелков Лопе де Агирре в виде вызова грянули в воздух ружейный залп; монах спустил на воду четыре пироги, которые, похоже, собирались причалить

к берегу, но потом остановились на почтительном расстоянии, где их нельзя было достать ни из аркебузов, ни из фальконетов, и выстрелы корабельных кулеврин тоже не доставали берега. Неожиданно монах Монтесинос послал вперед одну пирогу под белым флагом мира (в пироге находились двадцать метких стрелков, запаливших уже шнуры своих аркебузов), но Лопе де Агирре был не из тех, кого можно обвести вокруг пальца, он встретил посланцев градом пуль и заставил отступить. Вслед за тем обе стороны потеряли час в пустой перестрелке, пули не долетали до цели, уходили в воду. Долетала только брань, оскорбления, крепкие испанские словечки, которые костей не ломают:

— Изменники! Иуды!
— Трусы! Юбочники!
— Рабы тирана!
— Лакеи монаха!
— Сукины дети!
— Недоноски!
— Лютеране! Канны!
— Вонючки! Рогоносцы!
— Дерьмо поганое!
— Свиньи! Сводники!
— Грязные козлы!
— Бандиты! Кастраты!

Грязная брань — и ничего более! Лопе де Агирре, убедившись и уверившись, что солдаты доминиканца никогда не сойдут на берег сразиться с ним и что его собственные солдаты тоже никогда на корабль не взойдут, тихо вернулся в крепость и там продиктовал каллиграфу Педрариасу де Альместо письмо к «чрезвычайно великолепному и в высшей степени преподобному сеньору монаху Франсиско Монтесиносу, главе доминиканского ордена провинции», еретический и грубый язык которого заставил благочестивого генерала ордена доминиканцев многократно осенять себя крестным знамением:

«Мы полагаем, что живы волей божию, ибо река, море и голод всечасно угрожали нам смертию, а посему те, кто будет биться с нами, да разумеют, что будут биться с духами умерших... Солдаты вашего преподобия называют нас изменниками, их должно покарать, дабы они такого не говорили, ибо напасть на дона Филиппа, короля Кастилии, одни щедрые и великие духом способны... Однако же хотелось нам всем быть вместе и чтобы ваше преподобие было нашим патриархом, ибо тот, кто ничем не лучше других, вовсе ничего не стоит».

«Cesar o nihil» [1] — таков был девиз Лопе де Агирре, и в конце письма он начертал его еще раз.

Получив письмо от тирана и ответив на него вежливо и здраво: «Именем бога прошу вашу милость перестать чинить зло на острове и уважать честь храмов и женщин,— монах Франсиско Монтесинос решил самолично отправиться в аудьенсию [2] Санто-Доминго сообщить о бесчинствах, которые творились на острове Маргарита. В Санто-Доминго он прибыл на корабле в сопровождении Педро де Мунгиа и еще восьмерых своих соратников, а шестеро других перебежавших к нему мараньонцев остались в Маракапане. Рассказы монаха были так страшны и в искренность его слов настолько поверили, что президент аудьенсии Сепеда срочно созвал судей, крепость стала готовиться к обороне, вытащили артиллерию, достали со складов боеприпасы, в каждом квартале создавались свои стрелковые группы и соединения. Один судья на корабле отбыл в Кабо-де-ла-Велу, Санта-Марту, на

[1] Цезарь или ничто *(искаж. лат.)*.
[2] Высшая судебная инстанция, занимавшаяся, в частности, разбором апелляций.

Маргариту, в Картахену и Номбре-де-Дьос; другой, на другом корабле, направился к островам Пуэрто-Рико, Ямайке и Кубе; они везли с собою совершенно одинаковые письма для губернаторов этих земель: «Извещаем ваше превосходительство о том, что на острове Маргарита появилось чудовище по имени Лопе де Агирре, которое намерено навязать нам жесточайшую и кровопролитнейшую из войн».

— Он пойдет на Номбре-де-Дьос и никуда больше, ибо через Номбре-де-Дьос лежит его путь в Перу,— говорил Педро де Мунгиа с полной уверенностью.

В Номбре-де-Дьосе так серьезно готовились к обороне, что можно было подумать, будто ожидается нападение флота самого Сулеймана Великолепного. Во главе всего войска был поставлен капитан Хуан де Уманья, его заместителем назначили капитана Франсиско Лосано, который по этому случаю пришел из Верагуа со всеми своими людьми; соорудили бастионы с переходами, укрепленными песком и камнями, переплетенными проволокой; четыре пушки дулами уставились в сторону моря; за каждым земляным укреплением укрывался капитан с двадцатью пятью солдатами; более шестисот вооруженных людей встали на защиту города, не считая восьмисот негров, которые запаслись острыми мачете. Дни шли за днями, за вином и игральными костями смелость разгоралась в хвастунах: «Я один управлюсь, выпущу кишки из этого хромоногого нищего, возомнившего себя тираном», «Глаза мои увидят тебя продырявленным как решето, чтоб-тебе-лопнуть-Лопе». И так продолжалось до тех пор, пока, выбрав ночь потемнее, капитан Хуан де Уманья, обеспокоенный и встревоженный этими похвальбами, заглушавшими страхи и опасения, велел поднять ложную тревогу: колокола били набат, два десятка стрелков дали нестройный ружейный залп, спящие в ужасе повскакали с постелей, женщины кричали: «Пречистая Дева Мария» и «Господи, защити меня!» — с десяток хвастунов попрятались в кухнях и отхожих местах; «Лопе де Агирре идет!», «Идет бесчеловечный мараньонец!», «Идет жестокий тиран казнить нас гарротой!»

— Какая жалость, что Лопе де Агирре все не идет,— сказал капитан Хуан де Уманья.

А между тем аудьенсия в Санто-Доминго собрала флот, который должен был сразиться с тираном, где бы он ни находился, и разгромить его. Адмиралом должен был стать Хуан де Охеда, у которого была слава дерзкого воина. Без сомнения, это был могучий флот, он состоял из четырех кораблей с тысячью вооруженных людей, не говоря уж о пушках и божьем благословении, а также чрезвычайно полезных помилованных грамотах для изменников, которые захотят перейти на их сторону: «*Настоящим даем власть и право нашим королевским именем прощать и миловать всех людей и солдат, кои переходят к нам на службу, каковы бы ни были преступления, измены и бунты, тирании и убийства ими учинены в то время, пока они находились под началом тирана. Я, Король*».

Могучему флоту понадобилось бы несколько недель, чтобы выйти в море. И если бы с помощью небес он в конце концов все-таки отчалил, то несчастный тиран Лопе де Агирре к тому времени уже был бы мертв.

Вождь мараньонцев вынужден был изменить все свои военные планы. Когда корабль главы доминиканцев исчез с горизонта, для Лопе де Агирре стало совершенно ясно, куда он направился. Изменник Педро де Мунгиа донесет губернаторам и судьям короля о моем плане неожиданного нападения на Номбре-де-Дьос и Панаму, а оттуда — на Перу. Все порты этого моря будут бодрствовать днем и ночью с оружием наготове, а Номбре-де-Дьос — более, чем остальные.

— Мы не пойдем в Номбре-де-Дьос, мы нападем на побережье Борбурата, менее других охраняемое,— обращается Лопе де Агирре к Диего Тирадо, Николасу де Сосайе и Хуану де Агирре, онемевшим от удивления. — Мы продвинемся в глубь губернаторства Венесуэла, дадим сражение и одержим победу, казним в Эль-Токуйо губернатора Кольадо, потом перевалим через Анды и выйдем в Новую Гранаду, чтобы разделаться там со сторонниками короля, которые выступят нам навстречу, а затем через Попайан и Кито победителями триумфально войдем в Перу и уж там в решающем бою одолеем короля Испании, завоюем свободу для Чили и Чаркаса, Перу и Кито, Новой Гранады, Венесуэлы и Панамы.

Он был похож на лунатика, этот человечек, предрекавший невозможные подвиги, но так уж повелось, что грубые мараньонцы верили в его мечтания.

— Я не боюсь королевских войск, пусть они дрожат от страха при звуке наших имен,— говорит Лопе де Агирре. — А вот измен я боюсь, они опаснее любого боевого оружия; боюсь позорного прощения, которое сегодня король дает, а завтра отбирает, король нарушит свое слово, как нарушил его, когда велел повесить Мартина Роблеса, Томаса Васкеса, Алонсо Диаса, Хуана де Пьедраиту и многих других. Вы, мараньонцы, пошедшие за мною, отказавшиеся от испанского подданства и предавшие смерти нескольких управителей короля, вы не получите прощения никогда. Правда, дети мои?

Совсем немного оставалось до отплытия, когда Лопе де Агирре рассказали о том, что на острове с воинственными намерениями появился вождь-метис по имени Франсиско Фахардо, уроженец острова Маргарита. Этот Франсиско Фахардо был сыном испанского дворянина Франсиско де Фахардо и доньи Исабель из семьи потомственных касиков, внучки касика Чараймы и двоюродной сестры касика Найгуаты. Его отец, славный Фахардо, получив по распоряжению доньи Альдонсы Манрике должность помощника губернатора острова, воспользовался своим положением и стал грабить индейцев гуайкери, дурно обращаться с ними, продавать в рабство. А донья Исабель из семьи потомственных касиков так была влюблена в своего мужа, что никогда ему не перечила, даже видя, какие беды чинит он людям ее расы.

Вот что рассказали Лопе де Агирре местные жители. И еще они рассказали, что сын губернатора и доньи Исабель (тот самый Франсиско Фахардо, что высадился вчера на острове с шестью десятками испанцев и двумя сотнями индейцев в поисках тирана Агирре, которого он собирается схватить и убить), этот Франсиско Фахардо — мужественный и рассудительный юноша в расцвете талантов, обладает приятной наружностью, смелостью и силой, которую уже испытали его враги, и все эти свои достоинства он целиком и полностью отдал на службу королю Испании. Начинал Фахардо мирно и спокойно, ходил от холма к холму, уговаривая индейцев идти в вассалы к королю Филиппу, красноречиво изъяснялся на языках индейцев куманагота и гуайкери, благодаря его проповедям многие, прежде воинственно настроенные, оставили свои маканы [1] и взялись обрабатывать землю бок о бок с конкистадорами. Но когда белые капитаны принялись унижать и избивать местных жителей, насиловать индеанок, которые сопротивлялись их ухаживаниям, и когда касик по имени Пайсана взбунтовался против насильников и захотел отомстить за нанесенные обиды вот тогда метис Франсиско Фахардо ничтоже сумняшеся вступил в союз с угнетателями. Его преданность короне дошла до такой крайности, что он захватил в плен касика Пайсану, даже не приняв во внимание, что тот поднял белый флаг, и вздернул его на виселице рядом с десятью сопровождавшими касика индейцами из племени каракас.

[1] Древнее оружие индейцев, похожее на мачете, из твердого дерева или камня.

Лопе де Агирре резко рассмеялся. Выходило так, что отважнейший воин Франсиско Фахардо, сын и внук индейских касиков, жестоко бьется за то, чтобы отдать в зависимость королю братьев по крови. В то время как я, Лопе де Агирре, солдат и баск, на мое счастье, благородного происхождения, отказался от испанского подданства и отдаю жизнь за свободу тех, кто родился в Индийских землях. Лопе де Агирре казнил невесть сколько испанских капитанов за то, что они не хотели отречься от своего короля; Франсиско Фахардо казнил невесть сколько воинов-индейцев за то, что они восстали против королевского ига; Лопе де Агирре и Франсиско Фахардо — не из одного теста, правда, дети мои?

Обдумав все как следует, Лопе де Агирре написал письмо к Франсиско Фахардо, прося его и убеждая оставить лагерь короля и присоединиться к мараньонцам. «Мне сообщили об отваге и мужестве, присущей вашей милости, и я знаю, что упомянутые достоинства ваша милость отдает на защиту дела короля, вашего сеньора, сие меня смущает и печалит. Ваша милость гордится тем, что его мать — внучка индейского касика, ваша милость говорит, что нежно любит свой народ, как же в таком случае может ваша милость служить тем, кто несет рабство, мучения и смерть братьям по крови? Капитаны и правители короля, властвующие на землях Венесуэлы, вырывают у живых индейцев внутренности и скармливают их своим псам, привязывают пленников-индейцев к деревьям и сжигают их заживо, закапывают их в песок по шею и оставляют умирать от жажды, привязывают к конским хвостам, и кони волокут за собой по земле их тела, прожигают им руки и ноги расплавленным свинцом, четвертуют их и сажают на кол с немыслимой яростью, все то своими глазами видела ваша милость, в вашем присутствии такое творил злодей эстремадурец Хуан Родригес Суарес. Я приглашаю вашу милость под наше знамя сражаться вместе против испанского короля за свободу индейцев, негров и всех людей, живущих в этой части света. Искренне от всей души предлагаю вашей милости должность начальника штаба, на должность сию никто не назначен с того времени, как Мартин Перес де Саррондо замыслил предать меня и мне пришлось примерно его покарать. Переходите, ваша милость, на нашу, мараньонскую сторону, вы будете у нас почитаемы, станете начальником штаба, и хватит, ваша милость, тратить свои таланты и доблести на тех, кто вас презирает и вам завидует, кто только и ждет удобного момента, чтобы отрубить голову вашей милости, избавиться от метиса, который им ненавистен».

Возмущенный Франсиско Фахардо ответил, что не принимает и даже слушать не желает никаких предложений из уст тирана, «никакого понятия,— говорил дальше Фахардо,— нет у того, кто сомневается в моей верности королю, нашему сеньору, я вызываю вашу милость, сеньор тиран, давайте сойдемся пешими или верхами, чтобы решить наш спор с копьем в руке».

Лопе де Агирре не обратил внимания на хвастливые угрозы сына индейских касиков. Он заперся с солдатами в крепости, а потом вывел их потайным ходом прямо на морской берег, совершил там свое последнее преступление на острове, о котором уже рассказывалось,— казнил адмирала Алонсо Родригеса, потом все погрузились на четыре корабля и взяли курс на Борбурату. За вычетом тех, кто перешел к королю вместе с Педро де Мунгиа, и тех, что сбежали после, у Лопе де Агирре оставалось сто пятьдесят мараньонцев. Кроме того, он вез с собой две сотни индейцев и индеанок прислуги, восемь черных рабов, несколько лошадей, шесть артиллерийских орудий и столько оружия и боеприпасов, сколько смог захватить. И еще отправился с ним против собственной воли, хотя и было дано обещание сделать его епископом Перу, лиценциат Педро де Контрерас, священник и викарий острова Маргарита.

Матрос по имени Педро Барбудо, с кандалами на ногах, плывет лоцманом на самом большом и новом корабле, на том же корабле, где плывет и Лопе де Агирре. На остальных трех кораблях маленькой флотилии нет компасов (тиран не позволил иметь компас) — при свете дня они без труда следуют за судном Лопе де Агирре, ночью они идут, ориентируясь на фонарь, который зажигается на корме капитанского корабля. До Борбураты всего два дня пути, сказали им в Пуэбло-де-ла-Маре те, кто уже плавал туда. И вот прошло четыре дня и четыре ночи, а корабли все дремлют в невыносимом штиле, море кажется огромной лагуной без волн и пенных гребешков, черт бы тебя побрал, подлый сукин сын! Сначала Лопе де Агирре подумал, что это безветрие — ловушка, в которую заманил его лоцман, чтобы сбить с пути, и чуть было не убил этого самого лоцмана, но потом понял, что на то была божья воля, и тогда он обратился прямо ко всевышнему:

— Я, боже благословенный, твой самый преданный раб, я — меч, посланный твоей божественной волей покарать гнусных подлецов, и я не заслуживаю столь дурного обращения. Король Филипп — воплощение дьявола, Люцифер в обличии монарха, покровитель развратных монахов и погрязших в пороках правителей; а я — гнев божий, посланник и исполнитель твоей ярости, не лиши меня твоей защиты в этой войне не на жизнь, а на смерть со злобным испанским королем.

Боже всемогущий, коли хочешь ты мне сделать добро, делай его теперь, а вечную славу оставь своим святым, ибо они тебе служат на небе, а мне моя слава, господи, нужна в этом мире. На небесах столько подлецов и бакалавров, что я не хочу в этот рай, а адского пламени и смерти я не боюсь, и не господь руководит моей верой в твое святое имя, но мое отвращение к еретикам, отрицающим твое существование, и к фарисеям, что грешат, прикрываясь, как щитом, твоей священной религией. В этой войне, которую веду я с королем доном Филиппом, скажи мне без околичностей, боже милосердный: на чьей стороне ты?

Несколько мараньонцев слушали его, полумертвые от изумления, другие хором поддерживали его в богохульстве, отец Контрерас, высунувшись из трюма, бормотал дрожащим голосом «Ave Maria». Иегова неожиданно изменил свои планы, подул попутный ветер, и на восьмой день плаванья на горизонте проступили очертания Борбураты.

Белеют пески, белеют солончаки, белеет морская пена, дробясь о скалы,— то берег Борбурата. В полулиге от берега находится селение Нуэстра-Сеньора-де-ла-Консепсьон — первая остановка на пути, который, если захочет господь, приведет их в Валенсию, Баркисимето, Эль-Токуйо, Мериду, Попайян, Кито, Перу. Местные жители и власти, предупрежденные монахом Монтесиносом о появлении Лопе де Агирре на острове Маргарита, покинули свои дома, едва завидели вдали четыре корабля, которые, без сомнения, были кораблями жестокого тирана. Мараньонцы высадились на берег, воткнули в морской песок шпагу и крест — символы своего владычества, и вошли в селение, покинутое жителями. Навстречу им вышел лишь оборванный и заросший человек, который оказался Франсиско Мартином, одним из тех солдат, что вместе с Педро де Мунгиа перешел на сторону главы доминиканцев, а потом решил остаться в Борбурате, когда корабль монаха встал тут на якоре.

— Педро де Мунгиа с Родриго Гутьерресом обманули меня лживыми словами и безоружного сдали людям короля, я — верный и нас-

тоящий мараньонец и хочу вернуться к вам,— сказал Франсиско Мартин.

Растроганный Лопе де Агирре обнял его, радушно принял обратно в лагерь, выдал ему одежду и оружие и послал искать трех других сбежавших мараньонцев, бродивших где-то в округе. Франсиско Мартин проблуждал два дня в зарослях лиан и чертополоха, но товарищей своих не нашел и вернулся в селение, так и не вручив им дружественного послания, написанного Лопе де Агирре.

А между тем жестокий тиран совершил свою первую казнь в Тьерра-Фирме, приказав убить португальца Антона Фариа. Этот Фариа пытался бежать, его поймали, когда он был уже в лиге от лагеря. Он сказал для очистки совести, будто хотел своими глазами убедиться, что они и в самом деле добрались до Тьерра-Фирме, а не вынесены морем опять к какому-нибудь острову. Лопе де Агирре приказал повесить португальца на самом высоком дереве, чтобы, вознесясь на такую высоту, он разрешил терзавшие его сомнения.

После этого Лопе де Агирре приказал десяти солдатам пойти и поджечь корабли, на которых они пришли с острова Маргарита, и местное судно, стоявшее у берега. Было около шести вечера, и пламя, охватившее корабли, сливалось с пламеневшим закатом.

— Смотрите, мои мараньонцы, как горят наши деревянные корабли и как вместе с ними сгорают все надежды повернуть назад, если кто-то из вас такие надежды таил,— сказал громко Лопе де Агирре. — Теперь нам не остается другого пути, как сражаться с оружием в руках и пасть в этой битве или победить наших врагов и завоевать Перу, поднять в Сиудад-де-лос-Рейесе, городе королей, наши красно-черные знамена свободы. За нами — море, пустынное и глубокое, а точнее сказать, за нами — ничего, пропасть. Впереди же простираются долины и возвышаются горы, которые мы должны одолеть, впереди нас ждут сражения с вассалами короля, от которых мы не станем уклоняться. Смотрите, мои мараньонцы, в пепел превратились наши корабли, и погасший огонь раз и навсегда обрек нас на то, чтобы сражаться и победить.

Лопе де Агирре провел в Борбурате восемнадцать дней, стараясь раздобыть лошадей, которые повезут боеприпасы и продовольствие. Мараньонцы обшарили пастбища и поместья и набрали всего два десятка тощих и диких молодых кобылиц. К счастью, сам Лопе де Агирре умел объезжать лошадей, это было его профессией, и мог других научить ухищрениям ремесла.

Несколько солдат, отправившихся по тропам и тропкам на поиски скота или охотившихся за кроликами и голубями, вернулись, изранив ноги об острия, которые наподобие капканов расставили люди короля в зарослях. Увидев их, хромающих, в крови, а некоторые были ранены довольно серьезно, потому что острия копий были смазаны ядом, Лопе де Агирре пришел в страшную ярость, собрал всех на площади и сказал:

— Люди убивали друг друга во всех краях земли и во все времена, мои мараньонцы, при этом скрывая и умалчивая причины, побуждавшие их убивать, но наш случай не такой. Я, Лопе де Агирре, мало ценящий собственную жизнь, публично и открыто объявляю войну не на жизнь, а на смерть королю Кастилии, нашему смертельному врагу.

Затем он издал указ, который торжественно возвестили на улицах Борбураты — под звуки трубы и барабанов глашатай выкрикивал на все четыре стороны: «Я, Лопе де Агирре, гнев божий, могучий вождь непобедимых мараньонцев, Князь Свободы, даю обет вести жестокую войну огнем и мечом против короля Кастилии и его васса-

лов; всякий испанец, который не станет сражаться за наше дело, будет наказан без права помилования как изменник и расстрелян из аркебузов; все слуги короля будут преданы смерти даже в том случае, если ведут себя смирно».

Никто не может объяснить, зачем и почему воздержался Лопе де Агирре и не применил свой только что выпущенный указ в тот же вечер, когда солдаты привели к нему пленниками алькальда Борбураты Бенито де Чавеса и его зятя, главного альгвасила Хулиана де Мендосу, которых они нашли спрятавшимися в селении неподалеку. Жестокий тиран безо всякого отпустил их на свободу, попросив лишь торжественно, чтобы они по мере сил помогли ему без промедления отправиться дальше на юг.

Однако не столь великодушно поступил Лопе де Агирре, когда ему в руки попался некий Педро Нуньес, бывший, по слухам, скаредным ростовщиком, который на свою беду попытался обмануть вождя мараньонцев. На первый раз между воином и торговцем состоялся такой разговор:

— Ваша милость знает, почему при появлении наших кораблей из Борбураты убежали жители?

— Они убежали из великого страха перед вашим превосходительством.

— А знает ваша милость, на чем основывается их страх?

— Он основывается на тех ужасах, которые рассказывают о вашем превосходительстве по всей Тьерра-Фирме, сеньор генерал.

— А знает ваша милость, в каких преступлениях обвиняют меня в этих россказнях?

— Сказать по правде, не знаю, сеньор генерал.

— Сказать по правде, ваша милость знает, и я советую вашей милости четко и ясно рассказать все, ежели ваша милость хоть немного дорожит своей жизнью.

— Клянусь вашему превосходительству пресвятой девой, что я ничего не знаю, сеньор генерал.

— Если ваша милость будет откровенна со мной, то, даю слово, с вашей милостью ничего дурного не случится.

— Я принимаю обещание, данное вашим превосходительством, и скажу то, что знаю, а известно мне лишь, что ваше превосходительство и всех, кто с вами, называют жестокими тиранами и лютеранами, сеньор генерал.

— Это я-то лютеранин, я, который желал бы видеть на виселице всех Мартинов Лютеров, какие есть на свете? Это я-то лютеранин, который готов принять мученичество во имя заветов господа? Ваша милость глупа и безумна сверх всякой меры, ежели отваживается повторять подобные выдумки. Слава господу, я не разобью вашей милости голову собственными руками только потому, что не хочу нарушать данного слова.

Три дня спустя солдат-мараньонец раскопал в прихожей кувшин с оливками, а под оливками оказались десять золотых эскудо. На этот раз торговец Педро Нуньес сам, без зова, пришел в дом, где стоял Лопе де Агирре.

— Я законный хозяин того кувшина и прошу вернуть мне, как мое имущество, все, что тот кувшин содержит, сеньор генерал.

— Зачем ваша милость делала вид, будто в кувшине одни оливки, в то время как на самом деле под оливки ваша милость засунула золотые монеты?

— Я поступил так, чтобы спасти золото, которое у меня захотели бы отобрать, сеньор генерал.

— Зачем ваша милость сказала солдату, что горлышко кувшина заварено смолою, в то время как оно было заделано гипсом?

— На этот вопрос я не знаю, как ответить, и на коленях прошу у вашего превосходительства прощенья.

— Сатана меня побери! Ваша милость солгала, поклявшись, будто люди считают нас лютеранами, солгала, называя маслинами золотые эскудо, солгала, говоря о гипсе, что это смола, ваша милость — самый подлый лжец из всех, виденных мною. Удушить его гарротой!

И его удушили, не дав исповедаться.

— Прежде чем покинуть Борбурату, мне пришлось казнить солдата по имени Диего Перес за то, что он был слишком мягок для войны, за то, что был бесполезен и никчемен, а главное потому, что я угадал его тайное намерение бежать,— говорит Лопе де Агирре.— Позавчера пришел ко мне отец Контрерас со списком больных, которые, по его словам, не могут следовать с нами дальше, ибо горят в лихорадке и не держатся на ногах, и солдаты эти — некий Паредес, затем Хименес, потом Маркина и Диего Перес; я дал разрешение всем четверым остаться для лечения в Борбурате. На следующий день часов в шесть утра я выехал из дому на недавно объезженной кобылице и неподалеку от селения наткнулся на Диего Переса, он сидел на берегу ручья и смотрелся в воду, эдакий новоявленный Нарцисс. Что ты тут делаешь, Перес, выходит, ты не так болен, как говорил? Нет, мне очень худо, сеньор генерал, ответил он притворно-жалобным голосом. Выслушав его, я вернулся в лагерь и послал главного альгвасила Бартоломе Паниагуа с двумя неграми схватить Диего Переса и повесить на сейбе, там он и вылечился от болезни, которой у него не было.

И еще две смерти приключились в лагере накануне нашего отбытия в Валенсию,— говорит Лопе де Агирре.— Первым расстался с жизнью Франсиско Мартин, мараньонец, возвратившийся к нам после того, как вместе с Педро де Мунгиа перешел на сторону короля, его заколол кинжалом мой дворецкий Хуан де Агирре, который не поверил в рассказанную тем странную историю (Хуан де Агирре выкопал откуда-то доказательство — собственноручно Франсиско Мартином написанные слова: «Лопе де Агирре — величайший изменник и самый жестокий человек из всех, когда-либо рожденных женщиной»). Второй жертвой стал солдат Антон Гарсиа, которого убил другой солдат по имени Франсиско Арана случайным выстрелом из аркебуза, хотя, по мнению некоторых, он стрелял умышленно, потому как явно имел на него зуб. Ни одной из этих двух смертей я не задумывал и никакого участия не принимал, хотя и воздержался от наказания виновных, поскольку мараньонцам Хуану де Агирре и Франсиско Аране я больше всех доверяю и возлагаю на них самые большие надежды.

Лошади уже были нагружены боеприпасами и продовольствием. Лопе де Агирре, при всем своем оружии, отдавал приказ отправляться, как вдруг подошел Франсиско Каррион и сообщил новость, услыхав которую вождь мараньонцев содрогнулся от ярости.

— Из лагеря бежали два солдата!

Бежали Педрариас де Альместо и Диего де Аларкон, да спалит их злая молния! Педрариас де Альместо уже бегал однажды на острове Маргарита, и Лопе де Агирре проявил тогда безмерное великодушие и не лишил его жизни. Педрариас де Альместо — каллиграф с изящным и четким почерком, он уже начал переписывать письмо к королю Филиппу II, которое Лопе де Агирре диктовал ему по ночам при свете глиняного светильника.

Все думали, что Лопе де Агирре отложит отъезд и займется поисками беглецов — так он был разгневан. Но жестокому тирану

пришла в голову уловка дьявольской хитрости. Он велел привести алькальда Бенито де Чавеса и его зятя, главного альгвасила Хулиана де Мендосу, вместе с их добродетельными супругами, которые сидели себе дома, ни о чем не зная, не ведая, и обратился к ним в таком духе:

— Мне придется увезти с собой в Перу вашу дочь и вашу жену, сеньор алькальд, к тому же, сеньор главный альгвасил, я вижу, дочь сеньора алькальда — супруга вашей милости. Вы знаете здешние места лучше, чем кто бы то ни было, и сумеете найти Педрариаса де Альместо и Диего де Аларкона, где бы они ни схоронились. Обещаю, что доставлю вам ваших женщин в полной сохранности и передам их из рук в руки живыми и здоровыми в тот самый день и в том самом месте, куда вы приведете моих пропавших солдат,— и, не ожидая ответа затосковавших супругов, дал приказ отправляться на Валенсию.

Дочка Эльвира, Мария де Арриола, Хуана Торральба и две дамы из Борбураты возглавляли процессию.

Как тяжек был тот переход от Борбураты до Валенсии, за каждой горой вставала новая, выше прежней, растения, что попадались на пути, были корявые и в колючках, солнце безжалостно пекло камни, иссохшую землю и головы путников, у лошадей подгибались ноги под тяжестью груза и от жары. Лопе де Агирре шагал в стальной кольчуге, на голове — железный шлем, у пояса — кинжал и шпага, правая рука сжимала аркебуз, низенький, согнувшийся, он ходил вдоль растянувшегося войска, чутко следил за боевым духом людей, помогал уставшему, падавшему с ног, своими руками вытаскивал застрявших лошадей, взваливал себе на плечи куда больше, чем мог нести. Вперед, мои мараньонцы! Выше голову, дочка Эльвира, скоро должна быть река, должна быть тень!

— Когда взбирались на гору, в тело мое вошла адская хворь,— говорит Лопе де Агирре.— Сперва я почувствовал ужасную тоску, она давила мне на сердце, словно предвещая, что дочка моя Эльвира умрет среди этих гор и ущелий, под ногами мне виделись красные и желтые пятна, которых там не было, лоб пылал как раскаленная жаровня, глаза закипали слезами, а что было потом, и вовсе не помню.

— Он жаловался, что грудь разрывает боль,— говорит дочка Эльвира.— Индейцы несли его в гамаке, Торральба из знамен сшила полог, чтобы прикрыть от солнца, которое жгло ему глаза, он вдруг стал звать смерть, кричать: «Я — князь могил» — и просил солдат убить его: «Антон Льамосо, приказываю тебе, убей меня!» Антон Льамосо клал ему на лоб платки, смоченные речной водой, и отец забылся таким глубоким сном, что мне подумалось, он умер.

Десять дней стояли мараньонцы лагерем перед Валенсией, и за десять дней ничего не случилось (если не считать, что повешен был солдат Гонсало Пагадор, который пошел искать дынное дерево папайю и вышел за границу, обозначенную генералом Агирре, переходить которую воспрещалось), на одиннадцатый день они увидели приближавшегося дона Хулиана де Мендосу, главного альгвасила Борбураты, в сопровождении четырех солдат и цепочки вооруженных стрелами индейцев, которые вели двух пленников в кандалах и позорных хомутах, то были беглецы Педрариас де Альместо и Диего де Аларкон. У Педрариаса де Альместо на шее виднелась глубокая, беспрерывно кровоточившая рана.

Хулиан де Мендоса привез жестокому тирану письмо от алькальда Борбураты, в котором говорилось: «Могущественнейшему сеньору Лопе де Агирре, принцу Перу и Южного моря». Письмо было исполнено учтивости и повиновения: «...с зятем моим, Хулианом де

Мендосой, посылаю вашему превосходительству бежавших изменников», «любовью к богу заклинаю ваше превосходительство вернуть мне жену и дочь».

Педрариас де Альместо, несмотря на свою в деле доказанную смелость любивший поговорить и прихвастнуть, принялся рассказывать старым товарищам о пережитых приключениях:

— Бежав из Борбураты, мы с Диего де Аларконом спрятались в густых зарослях и не выходили из чащи до тех пор, пока не убедились, что Лопе де Агирре удалился на две или три лиги от селения. Тогда мы безмерно возблагодарили господа, ибо сочли себя спасенными, и побежали прямо в церковь с криком: «Все, кто есть в селении, выходите, станем служить королю, мы пришли затем, чтобы поднять знамя короля, нашего сеньора!» Каково же было наше отчаяние, когда навстречу нам вышел алькальд со своими слугами, и вместо того чтобы встретить нас как блудных сыновей, они закричали оскорбительные слова: «Вы арестованы, изменники! Да здравствует генерал Лопе де Агирре!».

Мне удалось шпагой отразить их нападение,— продолжал Педрариас свой рассказ,— и снова убежать в горы, но Аларкона схватили и заковали в кандалы, правда, я тоже недолго гулял на свободе, голод загнал меня обратно в селение, а там подручные алькальда поймали меня и заковали вместе с Аларконом для того, нам сказали, чтобы потом обменять на двух женщин, которых генерал Агирре увез с собою.

На середине пути между Борбуратой и Валенсией,— не останавливаясь, продолжает Педрариас,— я хотел бежать от своих тюремщиков, но Аларкон отказался идти со мной, со слезами на глазах он сказал, что лучше умрет по-христиански, чем станет подвергать себя подобному риску. Видя такое, я бросился наземь и поклялся божьим именем, что не сделаю дальше ни шагу, поскольку знал наверняка, что генерал Агирре меня убьет, так пусть же лучше убьют эти, по крайней мере сокращу себе путь, столь тяжкий. Я противился и умолял, я так упорно не желал подниматься на ноги, что Дон Хулиан де Мендоса принялся точить о камень свою шпагу, решив отрубить мне голову, о чем я и просил. «Читай «Credo», потому что сейчас ты умрешь»,— сказал он мне, и я принялся молиться так: «Верую во всемогущего бога-отца и равным образом верую, что вы великий изменник и Понтий Пилат»,— на что дон Хулиан так обиделся, что схватил меня за бороду и хотел было перерезать мне глотку, но шпага оказалась не такой острой, как он думал, и он не убил меня, а только ранил, вот она рана, на шее. Всю ночь я истекал кровью, словно недорезанный петух, а с зарею пришли дон Хулиан и четверо его солдат и стали умолять меня подняться и следовать дальше, в конце концов они меня уговорили, и вот я пришел, чтобы генерал Агирре прикончил меня.

В этот самый момент подошел Лопе де Агирре и обратился к пленникам:

— Что же вы, глупцы, наделали? Я пообещал натянуть ваши шкуры на барабаны и сейчас исполню свое обещание; посмотрим, воскресит ли вас король дон Филипп, которому вы побежали служить; но, сказать правду, он еще не воскресил и первого покойника.

— Сеньор генерал,— ответил Педрариас,— я перешел к королю, а алькальд его величества схватил меня и отправил к вам. Клянусь богом, если вы даруете мне жизнь, я буду служить лучше, чем кто бы то ни было, и не будет тирана более жестокого, чем я, и не пощажу ни одного алькальда, ни одного слуги короля, которые так славно с тем обращаются, кто к ним возвращается.

Лопе де Агирре смотрел на него пристально, не мигая, и старался понять, было ли правдой то, что сказал Педрариас. Может, он все-таки поверил в искренность его слов, а может, вспомнил, что Пед-

рариас был его писцом и не окончил еще письма к королю Филиппу, которое он ему диктовал, или, может, повлияли какие-то другие причины, никому не известные, но только, помолчав немного, жестокий тиран сказал, ко всеобщему изумлению:

— Как-то в одной книге по истории мне довелось прочесть о том, что произошло с великолепным и справедливым римским императором, к которому привели двух преступников, обвиняемых в одинаковом преступлении. Поглядев им внимательно в глаза, император увидел, что первый вполне доволен тем, что совершил, в то время как второй отдал бы душу, лишь бы такого никогда не делать, и потому он простил второго, а первого велел бросить на арену львам. Вот и я хочу в эту трудную минуту воспользоваться своей властью и повелеваю Педрариасу де Альместо жить дальше на земле, а Диего де Аларкону исповедаться, ибо настал его последний час.

Услыхав смертный приговор, Франсиско Каррион с четырьмя палачами схватили Диего де Аларкона; но перед тем как убить, его провели по улицам селения и глашатай выкрикивал: «Этот приговор вынес Лопе де Агирре, твердый вождь мараньонского народа. Этого человека за служение королю Кастилии приказано четвертовать. Умел натворить — умей заплатить».

А тебя не казнили, вечный счастливчик Педрариас де Альместо. Только шесть раз кольнули кинжалом в рану, но ты излечился так скоро, что к концу четвертого дня уже сидел с пером в руке, переписывал своим красивым почерком письмо, которое Лопе де Агирре, скиталец, составил к королю Филиппу, сыну непобедимого Карла. Письмо, содержание которого (как сказано в «Истории Венесуэлы») является ярчайшим свидетельством неотесанности его грубой натуры и полно оскорблений, продиктованных наглостью и бесстыдством, присущими этому мерзкому животному.

«Я твердо разумею, превосходительнейший Король и сеньор, что для меня и моих мараньонцев ты таковым не был, но был жесток и неблагодарен к своим столь добрым слугам, каковых нашел в нас... Не будучи в силах сносить далее жестокость твоих судей, вице-королей и управителей, я со своими товарищами, чьи имена назову ниже, вышел из подчинения тебе, отказался от подданства своей страны, коей является Испания, дабы с сих земель пойти против тебя жесточайшей войной, какую мы только в силах повести и вынести... Поверь, Король и сеньор, к этому вынудили нас твои правители, чинившие нам досаду и неправедные кары, коих мы более сносить не могли, ибо для ради детей своих и слуг они отнимали и присваивали нашу славу, наши жизни, нашу честь... Я получил две раны в правую ногу и охромел в битве при Чукинге под началом маршала Алонсо де Альварадо, воевавшего по твоему зову и призыву Франсиско Эрнандеса Хирона, который восстал против тебя, как восстали я и мои товарищи, и мы не смиримся до смерти, ибо на сих землях собственными глазами увидали, сколь ты жесток, сколь неверен и обманен в словах, здесь обещаниям твоим верят менее, нежели книгам Мартина Лютера. Смотри, смотри, испанский король, не будь столь жесток и неблагодарен к своим вассалам. Тем, что отец твой и ты беззаботны в испанских королевствах, обязаны вы вассалам, кои кровью своей и трудами добыли вам столько владений в здешних землях... Смотри, Король и сеньор, одним своим королевским титулом с сих земель, где сам ты не ратоборствовал, ты ничего не взыщешь, ежели не станешь вознаграждать первым делом тех, кто трудился тут в поте лица... Известно мне, что немногие короли отправляются в ад, ибо вас числом мало, а были бы вы многи числом, никто из вас не попал бы на небо, я полагаю вас хуже сатаны, столь обуреваемы вы жаждою власти, ненасытством и голодом, кои утоляете кровью человеческой...

И потому, Король и сеньор, торжественно божьим именем клянусь тебе: я и мои двести стрелков-мараньонцев, конкистадоров, благородных людей, не оставят вживе ни одного твоего управителя... Я и мои товарищи за правду нашу решили умереть, и тому, как и другим былым делам, ты, редкостный король, причиною, ибо не соболезнуешь трудам вассалов своих, не желаешь видеть, сколь многим обязан им... Клянусь тебе, Король и сеньор, христианской верою, что ежели ты не пресечешь зла на сей земле, то небо покарает тебя, говорю тебе, дабы ведал ты правду, хотя я и мои товарищи не ждем и не хотим от тебя милосердия... И потому, прославленный Король, мы не просим у тебя милостей ни в Кордове, ни в Вальядолиде и нигде в Испании, твоей вотчине, но сострадай сердцем и напитай бедных и усталых плодами и прибытком сей земли и смотри, Король и сеньор, бог для всех один, как одна для всех справедливость и награда, рай и ад... Божьей милостью мы сами с оружием в руках добудем то, что нам задолжали, ибо нам отказали в том, что по праву наше... Сын верных твоих вассалов из баскских земель, я, мятежный до самой смерти из-за твоей неблагодарности, Лопе де Агирре, скиталец».

■

Вождь мараньонцев выполнил данное слово — возвратил алькальду Борбураты жену и дочь; женщины, возликовав душою, пустились в путь в сопровождении главного альгвасила Хулиана де Мендосы, но перед тем со слезами и поцелуями простились с дочкой Эльвирой. Что касается письма к королю Филиппу, то Лопе де Агирре решил послать его с отцом Педро де Контрерасом, которого вел за собой пленником с острова Маргарита, потому что давно задумал поручить ему это дело.

— Я разрешаю вам вернуться в ваш приход, отец Контрерас, с условием, что вы поклянетесь мне святым таинством доставить это письмо в собственные руки королю дону Филиппу II.

Отцу Контрерасу показалась чрезмерной клятва, которой от него требовали, он постарался от нее уклониться, говоря, что дает слово доставить письмо королю — «слово мое крепкое и надежное, сеньор генерал».

— Одного вашего слова мало,— сказал Лопе де Агирре.— Клянитесь мне святым таинством, а то я не отпущу вас на свободу.

Тогда отец Контрерас поклялся святым причастием, другого выхода не было, и Лопе де Агирре вместе с ним отпустил лоцмана Барбудо, чтобы тот сопровождал священника и помог бы ему добраться до королевской аудьенсии в Санто-Доминго.

А между тем кровавая слава жестокого тирана успела распространиться по всему губернаторству Венесуэла, по Новому королевству Гранада, облетела Перу и Чаркас и достигла Чили. Число казненных жестоким тираном гарротой перевалило за тысячу, стоило ему увидеть монаха, как он тотчас же хватал его за сутану и — голова с плеч, даже мальчикам-служкам не удавалось уйти от его гнева, а женщин голыми он привязывал к лошадиным хвостам. Аттила в Галлии не чинил таких бесчинств, Нерон в Риме не пролил столько христианской крови, то был не человеческий дух, но исчадие ада, он смердел серой и дохлыми летучими мышами, а копыта он прятал в башмаках.

Доном Пабло Кольядо, губернатором Венесуэлы, овладел неизбывный страх. Лиценциат Пабло Кольядо получил степень бакалавра в Саламанке, собирался пойти в монахи, но любовь одной астурийки помешала его призванию, он женился на ней и отправился в Индийские земли, полезные связи и личные достоинства помогли ему возвыситься до поста губернатора, который он занимает. Однажды в воскресенье он выходит из церкви после мессы, и ему сообщают

важную весть: злобный тиран, называющий себя Лопе де Агирре, высадился в Борбурате. Господи, не оставь меня! Борбурата — побережье, отгороженное горами; выступать против тирана с малым числом вооруженных людей и безо всякой артиллерии немыслимо. Потом ко мне приходят и говорят, что тиран взял Валенсию, что направляется в нашу сторону, что он намерен во что бы то ни стало сразиться со мною, взять меня в плен, отрубить мне голову. А я тут, в Эль-Токуйо, мучаюсь от геморроя, даже за столом не могу сидеть, не то что верхом на лошади. Я все мечтал отправиться в Куикас, залечить эту хворь, климат там мягкий и воды целебные, как бальзам. Потом прошел слух, что тиран под черными развернутыми знаменами приближается к Баркисимето, а с ним две сотни мараньонцев, отпетых негодяев, и два десятка негров, что затягивают на шеях гарроту. Святая Эулалия, защити!

Военный стиль губернатора Кольадо — плод невиданной в истории войн осторожности.

— Когда меня известят, что тиран вошел в Баркисимето, мы снимемся с места, жены и дочери — впереди, за ними — все остальные; тиран — в Баркисимето, мы — в Эль-Токуйо; тиран — в Эль-Токуйо, мы — в Умокаро; тиран — в Умокаро, мы — в Караче; тиран — в Караче, мы — в Трухильо; словом, кратчайшей дорогой к королю.

Надо было появиться в губернаторском доме капитану Гутьерре де ла Пенье, храброму воину, чтобы дон Пабло Кольадо немного опомнился от растерянности. Гутьерре де ла Пенья был рехидором в Коро, губернатором острова Маргарита и губернатором Венесуэлы до того, как им стал Кольадо. Замученный геморроем лиценциат, разом забыв все, что их разделяло, принял его так:

— Добро пожаловать, капитан Гутьерре де ла Пенья, назначаю вас генералом нашего гарнизона; вашей отважной шпаге доверяем мы сразиться с изменником Лопе де Агирре и победить его.

— Сеньор губернатор Венесуэлы, я с удовольствием воспользуюсь случаем, который предоставляет мне ваше превосходительство, чтобы с оружием в руках послужить его величеству королю,— ответил Гутьерре де ла Пенья безо всякого страха.

Губернатор Кольадо тотчас же велел вызвать капитана Диего Гарсиа де Паредеса, с которым тоже был не в ладах, и тот, удаленный от дел, жил в городе Куикас: приходите, ваша милость, защищать дело короля в столь тяжелых обстоятельствах. Через три дня Гарсиа де Паредес прибыл в стольный город Эль-Токуйо, и его сразу назначили начальником штаба, вознесли выше некуда, потому что на должность генерала уже был поспешно поставлен Гутьерре де ла Пенья.

Третьим капитаном, откликнувшимся на зов дона Пабло Кольадо, был Педро Браво де Молина, главный альгвасил Мериды, он прибыл в Эль-Токуйо с четырьмя десятками всадников, вооруженных копьями и кожаными щитами. Считая тех, кого удалось собрать в Эль-Токуйо губернатору Кольадо и Гутьерре де ла Пенье, и тех, кого привели с собой Гарсиа де Паредес из Куикаса и Браво де Молина из Мериды, королевское войско состояло из двухсот солдат, и почти все они были на лошадях.

Можно было бы набрать и больше, ваша милость, не сомневайтесь, но имя Лопе де Агирре объяло умы страхом и ужасом. Жители Валенсии, к примеру, с приближением тирана ушли в тростники, что растут на берегу озера Такаригуа, население Баркисимето попряталось в непроходимой сельве и ущельях, и в Эль-Токуйо все снялись с места, женщины впереди, и со всем своим скарбом отправились искать надежного убежища. В Мериде несколько солдат, записавшихся в войско к Педро Браво, захотели вернуться домой, как только узнали, что их отправляют сражаться с жестоким тираном.

— Тех, кто не хотел идти по доброй воле, я привел насильно,— вынужден был сказать Педро Браво, чтобы пресечь недовольство.

Клянусь вашей милости честью, что страх, который внушал Лопе де Агирре своим противникам, был орудием куда более грозным, чем все его мараньонское войско, и примером тому — страх, овладевший губернатором Пабло Кольадо, которого злые языки окрестили за то Пабло Говнядо.

Вести о принимаемых противником мерах своевременно доходили до ушей жестокого тирана благодаря сообщениям, которые посылал алькальд Борбураты дон Бенито де Чавес, ставший ему другом с того дня, как Лопе де Агирре благородно возвратил его жену и дочь. Вождь мараньонцев, потеряв покой от гнева и жажды славы, вышел навстречу судьбе, которая ожидала его в Баркисимето. Начинался октябрь (этот месяц, согласно пророчеству Мандрагоры, личного духа, которого он некогда носил в себе, должен был стать месяцем его смерти); генерал Лопе де Агирре приказал барабанщикам дать сигнал к выступлению.

Но пред тем, как выйти из Валенсии, он обратился к солдатам с пространной торжественной речью:

— Ну, солдаты, в дорогу, да не вздумайте свернуть с пути, смотрите, я вас насквозь вижу и знаю, что у кого на сердце; смотрите, я знаю, что за люди живут в Перу, они мастера потихоньку подложить свинью; смотрите, я знаю, вы спите и видите, как бы убить меня или бросить в беде, я знаю, вы хотите моей кровью искупить сотворенное вами зло, смотрите, все камни Перу залиты кровью капитанов, которых вы убили и кинули в трудную минуту, у вас это в обычае, сперва натворить дел, попользоваться, а потом бежать — спасаться, искупать содеянное кровью несчастных капитанов, которых вы всегда обводите вокруг пальца. Поторопитесь убить меня, не то я опережу; того, кто захочет мной поужинать, придется мне съесть в обед! И не забудьте — вы все, вместе взятые, не имеете права убить меня, а я вправе убить вас всех. Вы что, забыли, что убивали принца и губернаторов, алькальдов, монахов, священников, командоров и женщин, забыли, что грабили, потрошили, изничтожали напропалую? Забыли, что мы ведем войну не на жизнь, а на смерть и что самое меньшее, что они у вас отрубят, это ухо? Не знаете разве, что без меня вам нет жизни и никуда вам не уйти, нигде не спрятаться на всем белом свете; и разве вы не хотите стать людьми порядочными, чтобы никто не мог причинить вам зла и чтобы Перу и все остальное стало вашим? Черт меня подери, мараньонцы, если бог даст нам здоровья, никто из вас не будет обойден и каждый станет в Перу командиром над другими людьми, и я сделаю так, что все королевства Перу будут управляться мараньонским людом, подобно тому как готы пришли в Испанию и стали властвовать над нею [1]. Что ж, теперь мы из страха смерти не станем брать того, что совершенно очевидно наше и что для нас приготовила наша судьба? Смотрите, в храмах Куско все индейские ведуны как один твердят, что с гор, из земель неведомых должны прийти люди, которые станут владыками Перу, и те люди — мы, мараньонцы. Я это доподлинно знаю.

Через три дня мараньонское войско подошло к хижинам, ютившимся вокруг копей, где добывали золото; место это называлось долиной Чируа, а на полях трудились рабы. Еще в дороге Лопе де Агирре сказал:

— Хотел бы я встретить этих негров, что работают на копях Чируа, я бы дал им свободу, как дал ее тем двум десяткам негров, что идут с нами, кто знает, может, та сотня негров из Чируа тоже при-

[1] Вестготы появились на землях Пиренейского полуострова в 414 году. Закончилось вестготское господство в Испании в 713 году.

соединится к нам и пойдет войной на короля, что их презирает, и хозяев, что держат их в цепях.

Как же стало ему не по себе, когда он увидел, что копи брошены, кирки и палки валяются на земле, куры заперты в курятниках, маис — в амбарах, но ни одной живой души во всей округе, надсмотрщики сбежали, уведя с собой черных рабов.

— В королевствах Перу, которыми мы станем управлять,— сказал Лопе де Агирре,— несчастные, что теперь стонут в рабстве, будут свободными, сама жизнь и справедливость велят нам освободить их, я готов отстаивать свободу рабов точно так же, как собственную жизнь и жизнь своей дочери.

Нагрузившись свиньями, курами и маисом, мараньонцы продолжали путь к своему поражению, упрямо шагая к затянутому тучами горизонту. Неожиданно начался страшный ливень, как при всемирном потопе, молнии готовы были распороть нутро небес, громы барабанили в сердце гор и заставляли дрожать от страха дочку Эльвиру, дорога вся покрылась озерцами и ручьями, груженые лошади увязали в грязи и скользили по склону, шеломы стали будто свинцовыми; наступил вечер, а ливень не унимался, пришла ночь, а лило по-прежнему, одна лошадь, испугавшись молнии, сорвалась в пропасть, и тут послышался голос Лопе де Агирре, он словно бросал вызов:

— Ты думаешь, господи, что ливень остановит меня, что я не пойду на Перу и не переверну все? Ошибаешься, со мной этого не случится!

Страшный раскат грома, какого еще не бывало, прогрохотал в ответ на такое богохульство. Но дурной христианин не смирился пред суровостью небес, а, напротив, возвысил голос:

— И если сама природа восстает против наших намерений, то мы сразимся с природой и заставим ее повиноваться!

Словно от колдовского заклятья, буря утихла. Пока бушевал ливень, еще в темноте, мараньонцы взобрались на гору, теперь же занималось чистое серое утро, и внизу под ногами простиралась зеленая мирная долина, то была Валье-де-лас-Дамас.

— Вперед, мараньонцы! — крикнул Лопе де Агирре и, чертыхаясь, первым заковылял вниз.

Капитан Педро Алонсо Галеас, тот мараньонец, что на острове Маргарита убежал от Лопе де Агирре, придумав такую уловку: каждый день на горячем коне отъезжал все дальше и дальше от лагеря — помните, ваша милость? — так вот, этот капитан Педро Алонсо Галеас превратился в еще более опасного противника Лопе де Агирре, чем изменник Педро де Мунгиа. Ибо Педро де Мунгиа передал правителям короля все военные планы и намерения вождя мараньонцев, а Педро Алонсо Галеас сообщил достоверные сведения о людях и об оружии, которые были у Лопе де Агирре, и о подлинном духе войска. Педро Алонсо Галеас первым прибыл в Борбурату на каноэ метиса — королевского слуги по имени Франсиско Фахардо — и доставил тревожные сообщения королевским властям. Оттуда он отправился в Баркисимето, где его появление было подобно манне небесной, ибо он вернул покой многим смущенным душам.

— У жестокого тирана всего сто пятьдесят человек, из них шестьдесят, не более, верны ему беззаветно, остальные же должны перейти на сторону его величества, едва представится такая возможность, этого злобного бунтовщика вовсе не нужно атаковать, достаточно подпустить поближе и выждать, пока робкие духом мараньонцы перейдут к нам.

В предсказании Педро Алонсо Галеаса не было ничего необычайного, именно так заканчивались все восстания в Новом Свете, так закончилось восстание Гонсало Писарро, и восстание Себастьяна де

Кастильи, и Эрнандеса Хирона, после первого же поражения бунтовщики бросались за помилованием, оставив вождя наедине с его знаменем, и тогда палачи хватали вождя и отсекали ему голову; и Лопе де Агирре не минула бы такая судьба.

Педро Алонсо Галеас не был шпионом жестокого тирана, как многие поначалу подозревали, он оказался настоящим перебежчиком, давшим полезные и ценные сведения. Это сразу же понял генерал Гутьерре де ла Пенья и восстановил его в звании капитана, которое ему в свое время, еще до начала похода в Омагуас, присвоил губернатор Педро де Урсуа, затем генерал послал его в Эль-Токуйо за доном Пабло Кольадо, который писал жалостные письма и никак не желал ехать в Баркисимето: «У меня весь рот в язвах от жара, что охватил все тело и сжигает, геморрой вконец меня извел, я вынужден завтра выехать в Трухильо, здесь земля слишком холодна, для здоровья вредно». Педро Алонсо Галеасу пришлось перехватить губернатора на полпути в Трухильо, успокоить его страх перед войском жестокого тирана, значительно преувеличенным его же воображением, в конце концов жар и геморрой стали меньше донимать слабодушного губернатора, и он согласился ехать в Баркисимето вместе с Педро Браво де Молиной и четырьмя десятками его всадников.

В Баркисимето все командование собралось на совет в то самое время, когда Лопе де Агирре через Валье-де-лас-Дамас направился прямо к городу.

— У жестокого тирана сто пятьдесят вооруженных аркебузами стрелков, наше войско насчитывает сто восемьдесят всадников, вражеские стрелки могут превратить каждый дом города в бастион и успешно стрелять оттуда, я предлагаю вывести кавалерию из города,— сказал начальник штаба Гарсиа де Паредес.

Генерал-капитан Гутьерре де ла Пенья и генерал-лейтенант Педро Браво де Молина полагали, что старый вояка прав, и приняли решение отступить из города, захватив оружие с боеприпасами и продовольствие, и занять позиции в пол-лиге от города, в ущелье, где протекала река.

Вождь мараньонцев вступил в брошенный город Баркисимето двадцать второго октября, в авангарде шли сорок стрелков с аркебузами наготове, за ними несли знамена: черные, окаймленные золотом, с двумя скрещенными окровавленными шпагами; трубы и барабаны звучали угрожающе и победно, в небо то и дело возносились здравицы: «Да здравствует могучий вождь непобедимых мараньонцев! Да здравствует Князь Свободы!» Всадники Гутьерре де ла Пеньи слушали их с вершины холма. Заметив всадников, Лопе де Агирре развернул свое войско боевым строем; тогда королевские солдаты вернулись в свое укрытие и стали ждать в пещерах над рекою, когда люди жестокого тирана начнут переходить на их сторону, как пообещал им Педро Алонсо Галеас.

Жестокий тиран разместился в огромном доме, занимавшем целый квартал, окруженном высокой зубчатой кирпичной стеной, который капитан Дамиан де Барриос построил себе для жилья. У дома был такой воинственный вид, что солдаты назвали его крепостью, так они и величали его до конца случившейся там трагедии.

Лучший из покоев Лопе де Агирре отдал дочке Эльвире, свой гамак он повесил в коридоре, соединявшем комнаты Антона Льамосо и Хуана де Агирре, расставил часовых в дверях и на стене меж зубцов и отдал город солдатам на разграбление — но осторожно, мараньонцы, строго блюдите честь женщин (если встретите хоть одну) и уважайте святые церкви и алтари.

Однако ничего достойного разграбления в городе не осталось, дома стояли пустые, все, включая паралитиков и страдающих грыжей, ушли вместе с солдатами, продовольствия тоже не было, если не считать полдюжины визгливых поросят и нескольких связок чес-

нока, зато повсюду в изобилии на столах и на полу лежали помилованные грамоты, оставленные слугами губернатора: «Все — и солдаты и население,— кто перейдет к нам на службу, будут прощены, какие бы жестокости и убийства они ни чинили, находясь под началом тирана»; было и еще одно письмо, подписанное доном Пабло де Кольадо и губернатором и обращенное к Лопе де Агирре, которое гласило: «Возвратитесь, ваша милость, на службу к королю, а я стану посредником и обращусь к милосердию его величества».

Письмо и грамоты были принесены к Лопе де Агирре. Антон Льамосо взял у него из рук одну грамоту и сказал, сопровождая слова непристойным жестом:

— Смотри, ничтожный губернатор Кольадо, как мы, мараньонцы, поступаем с вашими обманными грамотами: подтираемся ими!

Но Лопе де Агирре знал,— чтоб тебе пусто было! — знал, что не все его люди намерены, подобно грубому и неотесанному Антону Льамосо, подтереться этими грамотами, «в которых за красивой видимостью и приятством таился сильный яд». А потому он собрал всех во дворе крепости и сказал такие слова:

— Слушайте, мараньонцы. Я, как человек в таких делах опытный, хочу разуверить вас по поводу обещаний, которые дает губернатор в этих грамотах. Должен вам напомнить, что совершенные вами жестокости и убийства превосходят и числом и свирепостью все, что было совершено в Испании и в Индийских землях всеми, кто восставал против королевской власти; справедливейший из королей не мог бы простить вас, а уж этот дважды лиценциат Пабло Кольадо и подавно; даже если бы король захотел вас простить и простил бы, родственники и друзья убитых станут преследовать вас и постараются лишить вас жизни. И предсказываю: если вы меня бросите и перейдете к королю, то меня ждет одна смерть, а вас ожидают три тысячи всевозможных смертей и изничтожений; постараемся же продать наши жизни подороже, мараньонцы, и сделаем то, что нам следует сделать, ибо идем мы, скитальцы, на землю Перу, где все принадлежит нам по праву, и на земле Перу каждый будет вознагражден за свои труды.

Сказав эти слова, он повелел поджечь несколько домов, в которых королевские солдаты, пойдя на штурм, могли бы укрепиться. «Постарайтесь, чтобы огонь не перекинулся на церковь!» — прокричал он громко, но дома были крыты соломой, и церковь — тоже, а потому от одной случайно залетевшей искры она вспыхнула словно фитиль, и тогда жестокий тиран приказал скорее спасать-вытаскивать из огня изображения святых и церковную утварь. Гутьерре де ла Пенья в свою очередь велел сжечь те немногие дома, которые уцелели от первого пожара, чтобы мараньонцы не смогли воспользоваться ими, и таким образом после двух пожаров в Баркисимето остались только четыре стены, за которыми укрылся Лопе де Агирре со своими людьми.

Вождь мараньонцев велел позвать писца Педрариаса де Альместо, пригласил его сесть за обеденный стол Дамиана де Барриоса и продиктовал ему ответ на письмо губернатора Пабло Кольадо. Лопе де Агирре никогда не оставлял без ответа писем и ни за что не желал нарушать правила в этом случае, который был последним.

«Письмо вашей милости я получил и премного благодарствую за посулы и предложения, которые в нем даются, хотя мне и в настоящем моем положении, и мертвецом, и после смерти ненавистно королевское прощение и ваше милосердие, тем более что все ваши помилования и прощения — до первого дождика... Ваша милость говорит, что положит тысячу жизней во имя служения его величеству, пусть ваша милость получше хранит одну, свою собственную, ибо, ежели она сгинет, король ее не воскресит. Ваша милость очень правильно поступает, что служит королю; оттого, что потеет такой высо-

кородный сеньор, безо всяких трудов королю удается и дальше пить пот бедняков... Будь прокляты люди — низкие и высокие, и рождением и ростом,— ибо они вместо того, чтобы перебить всех бакалавров, дают им путаться под ногами, а от этих бакалавров столько зла... Ваша милость развязала войну, а теперь держитесь, мы зададим вам работку, потому что жить мы большого желания не имеем... Да хранит и приумножает достоинства вашей замечательной милости господь наш бог, как того ваша милость желает».

■

Прошло три дня и три ночи, и ни один солдат не пал в бою, ни один не был ранен. Шпионы и лазутчики обеих сторон наталкивались друг на друга в густых зарослях и ночной темени и разбегались, не затевая боя, или издали стреляли друг в друга наугад. (Два вида боевых средств определяли главные победы испанцев при завоевании Индий — аркебуз и лошадь; на этот раз у мараньонцев Лопе де Агирре были аркебузы, в распоряжении королевского войска были лошади. Два других могучих оружия были страх и измена; Лопе де Агирре использовал панический страх сторонников короля перед ним, пользовавшимся славой злобного тирана; сторонники же короля пожинали плоды измены, расцветавшей в лагере Лопе де Агирре словно ядовитый цветок.) И в том и в другом войске были солдаты отчаянной смелости; в числе королевских офицеров были Гутьерре де ла Пенья, Гарсиа де Паредес, Педро Браво де Молина, Педро Алонсо Галеас, Эрнандо Серрада, Педро Гавилья, Гарсиа Валеро, Франсиско Инфанте, Гомес де Сильва и сам губернатор дон Пабло Кольадо, который чудесным образом излечился от своего кровоточащего недуга и теперь молил судьбу, чтобы его война с тираном разрешилась «небывалой битвой». На стороне мараньонцев были Лопе де Агирре, Диего де Тирадо, Хуан де Агирре, Николас де Сосайя, адмирал Хуан Гомес, генуэзец Хуан Херонимо де Эспиндола, старый Блас Гутьеррес, Кристобаль Гарсиа, Кустодио Эрнандес, Бартоломе Паниагуа, Франсиско Каррион, Антон Льамосо, Эрнандо Мандинга, который был уже не черным рабом, но храбрым и верным сержантом, и многие другие. Но прошло три дня, а королевская кавалерия все не нападала на крепость, и мятежные стрелки тоже не выходили, чтобы вызвать на бой врагов. И вот сегодня на рассвете — черт подери! — на сторону короля перешли три солдата: Хуан де Талавера, Педро Герреро и Хуан Ранхель; они попросили разрешения напоить коней в реке и перекинулись к королю, а потом появились все трое на крутом речном берегу и издалека стали кричать, подбивать остальных мараньонцев последовать их дурному примеру. Ты, Лопе де Агирре, сразу понял, что сидеть и дальше в крепости означает рисковать и другие, столь же трусливые изменники, могут побежать за помилованием, обещанным в грамотах губернатора Кольадо. Вождь мараньонцев приказал капитану стражи Николасу де Сосайе и пехотному капитану Кристобалю Гарсиа напасть неожиданно с шестью десятками стрелков на лагерь противника, а если им не повезет и они не сумеют разбить врага, то пусть займут соседнюю рощицу, такую густую, что коням в нее не пробраться. Так они и поступили, а через некоторое время Лопе де Агирре с остальными людьми вышел из крепости и присоединился к своим товарищам, укрывшимся в зарослях на склоне. Пробил, наконец, час одержать победу или сложить голову в бою, Лопе де Агирре, мятежник, выкованный на перуанской наковальне, воин, раненный в долине Чукинга, генерал и предводитель непобедимых мараньонцев, в эту решающую минуту ты должен доказать, что ты, рожденный в законе баскский отпрыск,— достойный соперник свирепого Михаила-архангела, карающая рука гнева божьего. Вечную славу принесет тебе победа над знаменитым

королем Филиппом, представленным здесь его сторонниками, ничем особо не выдающимися. Вперед, мараньонцы! Цельтесь этим простолюдинам прямо в грудь и в лоб! (Пули мараньонцев жалили землю или пролетали над головами врагов.) Что такое, мараньонцы? Почему вы палите по звездам? (Стрелков было более сотни, но ни одна пуля не попала в королевского всадника, ни одна не задела лошадиного крупа.) И тут случилась неслыханная беда. Капитан кавалерии Диего де Тирадо, бывший одним из самых близких и ценимых твоих друзей, настоящий и верный мараньонец с ожесточенным сердцем, капитан Диего де Тирадо обратился в позорное бегство, можно было подумать, что лошадь под ним понесла, капитан Диего де Тирадо перешел в лагерь его величества в разгар боя, и в эту минуту, Лопе де Агирре, ты уже знал наверняка, что дело твое проиграно и смерть твоя близка. Капитан Диего де Тирадо первым высаживается на острове Маргарита, капитан Диего де Тирадо разоружает губернатора Вильяндрандо, капитан Диего де Тирадо вскакивает на рыжего коня алькальда Родригеса де Сильвы, капитан Диего де Тирадо во весь опор скачет по улицам города Эспириту-Санто с криком: «Да здравствует генерал Лопе де Агирре, Князь Свободы!» — капитан Диего де Тирадо заботливо сопровождает меня во всех случаях, когда мне приходится карать и наказывать. «Если этот Диего де Тирадо мне верен, весь мир будет моим»,— так говорил я каждое утро. И этот капитан Диего де Тирадо переходит в лагерь его величества в разгар боя, а через полчаса я вижу его в ущелье верхом на коне губернатора Кольадо, и он кричит: «Эй, друзья, переходите под знамена короля, король милостив!» (А пули мараньонцев по-прежнему роют землю или зарываются в облака; у королевских солдат не более пяти аркебузов, но они уже ранили двоих наших и попали в лоб черной кобыле, на которой сидит Лопе де Агирре, и она свалилась замертво.) И ты, Лопе де Агирре, видя, что смерть близка и неминуча, ты поднимаешься на ноги из-под рухнувшей лошади и снова кричишь: «По ним, мараньонцы! Не по звездам палите, а по врагам! Я бы один сразился и победил этих бездарей, но разве победишь с изменниками!»

Лопе де Агирре уже знает, что проигран его первый и последний бой с королем Испании, он велит подобрать двух раненых солдат и приказывает всем отступать в крепость. С помощью Николаса де Сосайи, Кристобаля Гарсиа, Хуана де Агирре и Антона Льамосо он понукает мараньонцев криками, угрозами, шпагой — «В крепость, мараньонцы, смерть королю!» — насильно, тычками загоняет их в огромный дом Дамиана де Барриоса — «Смерть королю, мараньонцы, смерть королю!» — и своими руками Лопе де Агирре запирает тяжелые двери.

(Коридор в доме Дамиана де Барриоса, превращенном в крепость. В обоих концах коридора висит по гамаку. Посреди коридора стоят и оживленно разговаривают офицеры-мараньонцы. В глубине — широкая дверь на улицу, слева — другая дверь, в комнату к дочке Эльвире; справа — третья, ведущая во внутренние покои.)

Хуан де Агирре. Жестокий удар для него — переход Диего де Тирадо на сторону короля. Такой ярости у него в глазах я не видел со времен измены Педро де Мунгиа.

Николас де Сосайя. В какую новую думу он погружен? *(Указывает на левую дверь.)* Уже давно вошел в эту дверь и не выходит.

Хуан Гомес. Думается мне, сон и усталость свалили его наконец. Знаете, сколько он не спал?

Антон Льамосо. Лопе де Агирре такой человек, что может не спать, не отдыхать и не есть.

Педрариас де Альместо. Больше месяца не спит. Говорит, зачем спать, мол, выспится после смерти.

Кристобаль Гарсиа. Он хром и ростом не вышел, а сил у него как у великана. В гору идет, нагруженный оружием и поклажей, как ни в чем не бывало.

Эрнандо Мандинга. Ни пуль не боится, ни острой шпаги, ни короля, ни смерти, ни ада. Внутри у него сидит его личный демон и дух и никогда его не покидает.

Херонимо де Эспиндола. Все, что вы говорите, чистая правда, и однако же сила и могущество его духа не спасут нас от неминуемой погибели, мы заперты в мрачном доме, окружены вражеской кавалерией, поедаем собак и мулов, чтобы не умереть с голоду, как скупцы, считаем по каплям воду, чтобы не умереть от жажды, и ждем завтрашнего дня, в котором ничего, кроме виселицы и адских мучений, нас не ожидает.

Антон Льамосо. Пока князь Лопе де Агирре жив, пока вождь Лопе де Агирре думает, а генерал Лопе де Агирре сражается, мы не пропадем, друзья мои. Он найдет способ вытащить нас из этой пропасти, он обратит в бегство осаждающих нас врагов и приведет нас в Перу, где мы будем владычествовать, где получим справедливую награду за наши труды.

(*В начале речи Антона Льамосо из двери слева выходит Лопе де Агирре и останавливается, ожидая, пока тот закончит.*)

Лопе де Агирре. Измены норовят отнять у нас победу, только грязные измены в прошлом, настоящем и будущем. Разве может сравниться с нами, мараньонцами, этот полумертвый от страха губернатор, эти старые капитаны с жалкими пятью аркебузами и сотня солдат, которые недавно еще в лучшем случае пасли овец или коров, а теперь вооружились ржавыми шпагами? Разве могут они сравниться с нами, мараньонцами, неустрашимым освободительным войском? Черт подери, да разве было бы им чем похвастаться, если бы не помогли им изменники? (*Вынимает из внутреннего кармана лист бумаги.*) Я составил список тех, кто предаст нас завтра, это те, кто, притворяясь больными, уклоняются от боя, те, кто, грустные и вялые, слоняются по углам, кто отводит глаза, стоит мне на них взглянуть, те, кто вечерами вместо того, чтобы играть в кости, молятся, словно монастырские монахи; я чую запах дерьма, коим смердят замыслившие измену. Всем сердцем я желаю, капитаны, не дать свершить вероломство этим пятидесяти ничтожным людишкам. Я предлагаю как можно скорее предать их смерти, пусть нас останется всего сто, но это будет сотня твердых мараньонцев, решивших сражаться до последней капли крови за торжество справедливости. А потом предлагаю вам, капитаны, с этой яростной и непобедимой сотней вернуться к морю, раз невозможно добраться до Перу через долины и горы. Вернуться к морю, завладеть кораблем и неожиданно напасть на Картахену или на какой-либо другой порт, где нас никто не ждет. (*Пауза.*) К подобным мерам, мараньонцы, склоняет меня мое понимание дела, вот список тех, которые должны умереть, чтобы избавить нас от своего вероломства, а самим спастись от того, чтобы стать участниками действа под названием Измена.

Хуан Гомес. Клянусь телом господним, сеньор генерал! Если бы при выходе из Валенсии ваше превосходительство убило не троих беглецов, а три десятка, наверняка народ надумал бы перейти к королю намного раньше. Поверьте мне, ваше превосходительство, я буду с вами во всех ваших делах и готов стать лоцманом на корабле, о котором вы говорили.

(*Все капитаны, кроме Антона Льамосо, с неудовольствием и несогласием смотрят на адмирала Хуана Гомеса.*)

Николас де Сосайя. Убить еще пятьдесят человек, сеньор генерал, не будет ли это бесполезной и ненужной жестокостью?

Кустодио Эрнандес. Этой кровью мы так усугубим нашу вину,

что даже могущество господне не способно будет спасти нас от виселицы.

Кристобаль Гарсиа. Кто может поручиться, что под горячую руку не попадут невиновные? Подумайте, вчера только капитан Диего де Тирадо пользовался славой решительнейшего из мараньонцев, и это наше суждение не помешало ему перейти на сторону короля. И наоборот, есть такие, кого мы считали робкими, а они проявили мужество и верность.

Лопе де Агирре. Вы колеблетесь и полны неуверенности потому, что в глубине сердец таите пустую надежду уйти от крушения, вы надеетесь, что король простит вам жестокости и зло, которые вы творили на реке Мараньон и на острове Маргарита. Напрасные мечты, с божьей помощью вы все кончите на виселице или будете четвертованы, как и я. И если теперь мы оказались в беде, то виною тому слабые и...

Херонимо де Эспиндола. Виною тому все мы и в первую голову ваше превосходительство, сеньор генерал. Я полагаю, что на острове Маргарита нам следовало оставить всех, кто хотел там остаться, а не тащить их за собой против воли, ибо именно этих, силой принуждаемых идти с нами, теперь ваше превосходительство предлагает убить.

Лопе де Агирре. Сеньоры капитаны, с того дня, как вы возвели меня в генералы и предводители этого похода — черт меня побери! — в первый раз вы несогласны со мной. Что с вами, Роберто де Сосайо? Вас напугала близость смерти, Кристобаль Гарсиа? Что же касается вас, Херонимо де Эспиндола, дерзнувшего говорить со мной нагло и бесстыдно, то уверяю, я не позволял еще ни одному человеку обращаться со мной подобным образом и в наказание за дерзость приговариваю вас к смерти.

(Никто не двинулся с места, чтобы привести в исполнение приговор. Один Антон Льамосо хотел было схватиться за рукоятку шпаги, но остальные капитаны взглядом остановили его. Лопе де Агирре в замешательстве идет к двери слева. Неожиданно оборачивается и резко командует.)

Лопе де Агирре. Капитан-интендант Антон Льамосо, займитесь подготовкой к отбытию в Борбурату, велите, ваша милость, грузить оружие на повозки, снаряжать лошадей и скажите всем, чтобы приготовились и построились до того, как займется утренняя заря! Капитан пехоты Франсиско Каррион, приказываю вашей милости вместе с главным альгвасилом Бартоломе Паниагуа и сержантом Эрнандо Мандингой разоружить пятьдесят подозрительных, которые значатся в этом списке, и содержать их безоружными под строгим надзором!

(Антон Льамосо, Франсиско Каррион, Бартоломе Паниагуа и Эрнандо Мандинга выходят.)

Лопе де Агирре (*оставшимся офицерам*). Мы еще повоюем, мараньонцы. Пока человек полон решимости и намерений не пропасть, он не пропадет. Мы отправимся к морю завтра на рассвете, пока враг еще и понятия не имеет о наших планах. Позднее Гутьерре де ла Пенья пойдет в погоню за ними со своей кавалерией, а мы в горах будем ждать их в засаде и сметем своими аркебузами. А потом из табунов, пасущихся по долинам, наберем себе коней и боевая сотня прошедших огонь и воду мараньонцев войдет в Борбурату. Захватим корабли, которые стоят там на якоре, немедля возьмем курс на юго-запад и нападем на Санта-Марту или Картахену, вернемся к нашему первоначальному проекту — в Перу через Панаму, как это сделали Альмагро и Писарро. Верьте, капитаны, в Лопе де Агирре, твердого вождя непобедимых мараньонцев!

Голос часового (*с высокой зубчатой стены*). Всадники короля подходят, приближаются к стене, их все больше. Из ущелья, занятого

врагами, показались два воина, судя по всему, это начальник штаба и генерал-лейтенант.

Лопе де Агирре (*отбирает у одного из капитанов аркебуз*). Да здравствует сатана, я стреляю лучше, чем все мои слепые стрелки, и сейчас докажу вам это!

(*Хочет выйти в дверь, ведущую на улицу. Останавливается при виде солдат, вваливающихся толпою из внутренних покоев дома.*)

Первый солдат. Ваше превосходительство, сеньор генерал, у нас отобрали аркебузы и копья и собираются безоружными вести к морю как же мы пойдем, беззащитные, через горы, никчемные и бесполезные, что же, мы должны положиться на милость противника? Может, ваше превосходительство хочет, чтобы нас всех перебили?

Второй солдат. Верните, ваше превосходительство, нам оружие, не хотим мы идти точно овцы на бойню.

Солдаты (*все вместе*). Верните нам наше оружие!

Лопе де Агирре (*выхватывает кинжал и приставляет его острием себе к груди*). Пусть этим кинжалом мне вырежут сердце, если я когда-нибудь пролью кровь солдата-мараньонца или обойдусь с ним неподобающим образом. Клянусь всевышним, клянусь почитаемым и преславным господом, что впредь буду делать лишь то, что повелят ваши милости. Проиграем мы эту войну или выиграем, но будет так как хотят все, а не я один.

Солдаты (*все вместе*). Верните нам оружие!

Лопе де Агирре (*на глазах стареет и сгорбливается по мере того, как капитаны и солдаты теряют почтение и страх перед ним*). Да, были казни, дети мои, но поймите, я делал это ради общего блага, для вашей же безопасности. А теперь — клятвою, которою поклялся только что, и любовью к богу — заклинаю вас: не дайте победить нас этим пожирателям лепешек. И если вы задумали перейти к королю, то перейдите на его сторону, когда мы доберемся до Перу, и тогда я умру на славной земле Перу, и кости мои будут покоиться на земле, ради которой я столько потрудился и за которую пал.

Солдаты (*все вместе*). Верните нам оружие!

(*Лопе де Агирре берет из рук вошедших Антона Льамосо и Франсиско Карриона аркебузы, копья и шпаги и раздает — одному за другим — солдатам.*)

Лопе де Агирре. Бери, сын мой, свой аркебуз! Вот тебе, сын мой, твоя алебарда! Простите, ошибся — отобрал оружие. С этим оружием мы победим короля Филиппа. Еще не поздно, дети мои.

Голос часового (*с высокой зубчатой стены*). Из ущелья боевым строем скачут вражеские всадники!

(*За стенами крепости слышны выстрелы, звуки боевых труб и барабанов.*)

Лопе де Агирре (*с яростным напором*). Умрем здесь, мараньонцы, защищая честь, как свирепые львы. Нам уже не уйти к морю и не захватить корабля. Давайте же умрем здесь, как должно умирать мятежникам. Антон Льамосо, прикажите расседлать лошадей, разгрузить повозки, и пусть моя дочка Эльвира не садится на коня. (*Коридор наполняется выходящими из внутренних покоев дома солдатами с аркебузами, шпагами и копьями, у некоторых в руках нет ничего.*) Смерть королю, мараньонцы! Капитан Херонимо де Эспиндола, выйдите, ваша милость, с десятью людьми, схватитесь с врагом!

(*Херонимо де Эспиндола отбирает десять стрелков и выходит с ними на улицу. Слышны выстрелы.*)

Голос Диего де Тирадо (*из-за стены*). Переходите к королю, король милостив!

Лопе де Агирре. Слышали, мараньонцы? То голоса Диего де Тирадо и Педро Алонсо Галеаса, то голоса изменников, они предлагают вам продать солдатскую честь. Не слушайте их, мараньонцы, измена хуже и страшнее смерти.

(За стенами дома звучат трубы и барабаны. Потом наступает тишина, ее нарушает голос Херонимо де Эспиндолы.)

Голос Херонимо де Эспиндолы *(из-за стены)*. Это говорю я, мараньонцы, ваш капитан Херонимо де Эспиндола, я тоже принял помилование короля. Не губите свои жизни, она у каждого в этом мире одна. Смерть жестокому тирану Лопе де Агирре! Переходите к королю, мараньонцы, если вы уйдете от тирана, вам все простится! Это говорю я, Херонимо де Эспиндола, ваш капитан и товарищ.

Лопе де Агирре. Эспиндола? И ты, Эспиндола? Ты, генуэзец, клявшийся язвами Христа, что будешь мне верен до самой смерти? Ах подлец, ах бесчестный мерзавец, негодяй! *(Мрачный, расхаживает по коридору из конца в конец; из-за стены доносятся крики и выстрелы. Неожиданно Лопе де Агирре останавливается и с горечью говорит.)* Катитесь вы все, вместе с королем, к черту! *(В гневе указывает на дверь.)* Я сказал, катитесь все, вместе с королем, к черту!

Первый солдат *(торопливо выходит через дверь на улицу)*. Да здравствует король! Да здравствует король, который милует!

Еще два солдата *(выходя следом за первым)*. Да здравствует король! Да здравствует король!

Лопе де Агирре. А чего ждет ваша милость, Николас де Сосайя, почему вы не бросаете меня, как другие? Какие сомнения удерживают вашу милость, капитан Хуан де Агирре? Переходите, ваши милости, к королю, милосердие его величества не знает границ! И ваши милости тоже, Хуан Гомес, Франсиско Каррион, Эрнандо Мандинга, Антон Льамосо! Пусть со мной не останется ни одного мараньонца!

Николас де Сосайя *(выходя)*. Да здравствует король Филипп II!

Хуан де Агирре *(выходя за ним следом)*. Смерть тирану Лопе де Агирре!

(Все остальные в беспорядке, толкаясь, выкрикивая здравицы королю, выходят, один только Антон Льамосо стоит, не двигаясь, в углу. Последним собирается выйти Педрариас де Альместо, до того спокойно наблюдавший за происходившим.)

Лопе де Агирре *(жестом останавливает его)*. Прошу вашу милость, сеньор Педрариас де Альместо, погодите немного. Я не хочу умереть, пока не скажу вашей милости того, что должен сказать.

Педрариас де Альместо. Мне, сеньор генерал?

Лопе де Агирре. Да, сеньор Педрариас де Альместо, вашей милости. Вы прекрасно знаете, что я трижды даровал жизнь вашей милости, и знаете, что все полагали, будто поступил я так из-за писем, которые диктовал, а ваша милость переписывала их своим красивым каллиграфическим почерком. Но причина тому, клянусь, была другая. С лихвою было оснований трижды казнить вашу милость, ибо вы со шпагой в руке хотели защитить губернатора Педро де Урсуа, пытались бежать от нас на острове Маргарита и повторили такую попытку в Борбурате. Яснее ясного, что в поход с нами вы шли не по желанию, а против воли и всегда были не искренним мараньонцем, а вассалом врага моего, короля Филиппа II.

Педрариас де Альместо. И несмотря на то ваше превосходительство трижды даровало мне жизнь. Клянусь небом, я не понимаю!..

Лопе де Агирре. Я трижды помиловал вашу милость, бог свидетель, не за красивый почерк, но потому, что вы единственный человек в мире, способный защитить мою дочку Эльвиру от насилия и бесчестья, которые принесет ей победа врагов. Настанут страшные времена, все мараньонцы умрут от гарроты или на виселице, одна только ваша милость сумеет доказать на суде, что всегда была верным слугою короля, что дважды пыталась вернуться обратно и против желания оставалась на стороне тирана. Я полагаю вашу милость человеком образованным, с благородным сердцем. И если ваша милость возьмет мою дочку Эльвиру под защиту, ни один злодей не осмелится

к ней притронуться. Я смиренно молю вас и, если надо, встану на колени, спасите мою дочь от насилия и не дайте ей стать утехой солдатни. Сделает это ваша милость за то, что ей трижды была дарована жизнь?

Педрариас де Альместо. Нет, я не сделаю этого, генерал Лопе де Агирре, я не сделаю этого, и бог меня поймет. Ваше превосходительство трижды помиловало меня, без всякого сомнения, для того, чтобы трижды не лишать меня жизни. Три раза я обязан вам жизнью, потому что три раза вы чуть было не предали меня смерти, мы в расчете, сеньор генерал! Мне нельзя брать под защиту дочку вашего превосходительства, потому что завтра мне придется доказывать свою невиновность перед судьями, которые, возможно, с ожесточением вынесут мне смертный приговор, и я не смогу смягчить их, если на моем попечении останется самое дорогое, что было в жизни у порочного тирана. Прощай, Лопе де Агирре, будь ты проклят!

(Не спеша идет к двери. Антон Льамосо выхватывает кинжал и собирается убить Педрариаса де Альместо.)

Лопе де Агирре. Не надо, Антон Льамосо, пусть идет. Я дарую ему жизнь в четвертый раз.

Педрариас де Альместо (*выходя*). Да здравствует король! Да здравствует славный Филипп II, мой король и сеньор!

Лопе де Агирре. Вот и остались мы одни, Антон Льамосо, ждать смерти. Не забывай, ты еще можешь уйти от виселицы, надо только выбежать в эту дверь с криком: «Смерть жестокому тирану Лопе де Агирре!» (*Пауза.*) Ступай и ты в лагерь короля, Антон Льамосо, приказываю тебе!

Антон Льамосо. Я не пойду, генерал Лопе де Агирре, брат Лопе де Агирре. Я был тебе другом при жизни, и никто не помешает мне быть тебе другом в смертный час. Я умру рядом с тобой, Лопе де Агирре, я буду с тобою до той минуты, когда топоры короля изрубят нас на куски.

Лопе де Агирре. А когда нас изрубят на куски, наши души вместе отправятся в преисподнюю, сын мой. Но скажу тебе, адское пламя не должно нас слишком страшить, мы будем там вместе с Александром Македонским, с Цезарем, с мудрецами Греции, а это для нас большая честь и великая слава. И теперь, перед смертью, я сетую только на бога — как сетовал сын его на кресте,— за то, что он оставил меня. Ты, Антон Льамосо, как никто другой, знаешь, что с материнским молоком впитал я католическую веру, что я кротко и смиренно жил с любовью христовой в сердце и чтил все заветы, кроме одного — запрещающего убивать, ибо разве можно воевать, не убивая, а мне сам господь велел быть воином и с копьем в руке доказать, чего я стою. Я убеждал моих солдат делать на земле то, что им велит сердце, и не бояться ада, ибо, рассуждая здраво, я думал, что одной веры в бога довольно, чтобы попасть на небо. Я верил в безграничную справедливость господню, которая заставит его быть с нами в нашей борьбе против короля Филиппа и его правителей, являющих собой образцы неправедности и порока. Теперь же я понимаю, пресвятая дева — покровительница Арансасу, что вечный отец принял сторону испанского короля и с небес шлет мне погибель. Пожелай того божья воля, надменные и сильные мира сего были бы сражены, а слабые и униженные победили. Когда же я в конце концов с трудом понял, что сие не в божьей воле, то приготовился вручить дьяволу свою душу и тело, свои руки и ноги, все свои члены. И не страшит меня, пока я жив, что душа моя уже горит в адском пламени. Не стать ворону чернее собственных крыльев, и мне не избавиться от проклятья, но есть у меня одно утешение — слава об ужасах, мною сотворенных, навсегда останется в людской памяти. (*Говорит тише.*) Спасайся, сын мой, переходи к королю. (*Снова громко.*) Капитан Антон Льамосо, это мой приказ!

Антон Льамосо. В первый раз я не повинуюсь приказу вашего превосходительства, генерал Агирре. (*Говорит тише.*) Я принял решение умереть рядом с тобою, Лопе де Агирре, и, бог свидетель, пришла пора выполнить его.

(Из-за стены доносятся выстрелы и крики.)

Лопе де Агирре. Раз выпало мне потерпеть поражение и умереть на земле Венесуэлы, а, видно, так оно сейчас и будет, то хочу сказать, что не верю ни в учение Иисуса Христа, ни Магомета, ни Мартина Лютера, не верю в языческих богов, а верю только в одно, что человек рождается на земле затем лишь, чтобы родиться и умереть, и нет у него ни будущего, ни прошлого. (*Снова слышатся выстрелы.*) Я не боюсь короля, не боюсь смерти и ада. И только от одного содрогаюсь я в страхе и ужасе — от мысли, что станет с моей дочкой Эльвирой. Словно молот, бьются в мозгу слова Екклесиаста: «Дочь заставляет отца бодрствовать, ибо заботы о ней лишают его сна из страха, что будет запятнана ее непорочность». Скоро я умру, скоро мы умрем, друг мой Антон Льамосо, и не найдется шпаги, не найдется руки, которая бы защитила ее, когда толпою ворвутся сюда бесчестные негодяи, чтобы изнасильничать дочь жестокого тирана. (*Почти со слезами.*) Изнасильничать мою дочку, Антон Льамосо. (*Берет себя в руки, поднимает с пола аркебуз, идет к двери слева, приоткрывает ее и кричит громовым голосом.*) Эльвира! (*Пауза.*) Эльвира!

(Выходит дочка Эльвира, за ней — две ее прислужницы, Мария де Арриола и Хуана Торральба, все три выходят на середину коридора. Лопе де Агирре поджигает шнур аркебуза.)

Лопе де Агирре. Дочка, возьми распятие и поручи себя богу, сейчас я убью тебя.

Хуана Торральба (*обезумев*). Не делайте этого, сеньор, ради господа, умоляю, не делайте. Дочка Эльвира невинна и чиста, точно белая лилия. Не убивайте ее, сеньор, дьявол попутал вас, толкает на страшное, злое дело.

Лопе де Агирре. У дьявола, из его когтей хочу я смертью вырвать мою дочку. Хуана Торральба. В эту дверь войдут палачи короля Филиппа, войдут, сгорая от желания обесчестить ее, как всегда бесчестили дочерей побежденных мятежников. Одежду на ней раздерут в лоскутья, у нас на глазах надругаются над ее девичьим телом, и станет она шлюхой у моих врагов, дочка Лопе де Агирре — шлюха! Моя дочка Эльвира — подстилка солдатни! (*Пауза.*) Вручи себя господу, дочка, сейчас я тебя убью.

Мария де Арриола. Сжальтесь, сеньор! Не бойтесь за ее честь, мы позаботимся о дочке Эльвире. Она уйдет в монастырь и посвятит себя господу нашему Иисусу Христу. Сжальтесь, сеньор!

(Лопе де Агирре наводит аркебуз на дочку Эльвиру, Хуана Торральба бежит к нему, хочет своим телом заслонить Эльвиру, хватается за аркебуз, пытается отнять его у Лопе де Агирре, Лопе де Агирре выпускает из рук аркебуз и вынимает из-за пояса кинжал.)

Лопе де Агирре. Отойдите, проклятые женщины, если не хотите, чтобы я начал с вас! Оставьте меня, бегите, как сбежали все мараньонцы а не послушаетесь — я пролью вашу кровь.

(С кинжалом в руке подступает к женщинам. Мария де Арриола и Хуана Торральба в ужасе выбегают через дверь на улицу. Дочка Эльвира стоит неподвижно, как стояла, посреди коридора, и Антон Льамосо тоже не шелохнулся в своем углу.)

Эльвира. Отец! (*Лопе де Агирре подходит к ней и дважды погружает ей в грудь кинжал. Кровь проступает на корсаже и юбке из желтого атласа. Эльвира падает на колени у ног убивающего ее отца.*) Хватит, отец, довольно!

Лопе де Агирре (*раздирающим душу голосом*). Надо еще раз, только один раз, дочка.

(Наносит ей третий удар. Эльвира умирает у него на руках. За стенами дома слышатся выстрелы, крики становятся громче.)

Голоса солдат (*из-за стены*). Да здравствует Филипп II, наш король и сеньор!

Лопе де Агирре. Да здравствует Лопе де Агирре, мятежник до самой смерти, Князь Свободы!

(В дверь с улицы толпою вваливаются мараньонцы, перешедшие на сторону короля: Педро Алонсо Галеас, Диего Тирадо, Педрариас де Альместо, Хуан де Чавес, Кристобаль Галиндо, Кустодио Эрнандес. За ними входят люди короля: начальник штаба Гарсиа де Паредес, капитан Педро Браво де Молина, Эрнандо Серрада, Франсиско Инфанте и еще много других. Все вооружены — аркебузами, шпагами, копьями, алебардами, пиками, кинжалами.)

Франсиско Ледесма (*родом из Саламанки, он кует шпаги в городе Эль-Токуйо, но сам толком и носить ее не умеет; указывает на Лопе де Агирре.)* Этот старик, этот недоросток и есть знаменитый тиран Лопе де Агирре? Кого все так боятся? Это и есть посланец сатаны, кровожадный убийца губернаторов и монахов? Клянусь, если бы мне привелось с ним схватиться, я бы ему показал, я бы изрубил его на куски!

Лопе де Агирре (*глядя на него с величайшим презрением*). Вон отсюда, человеческое отребье! Десять и двадцать таких дураков против меня одного — и я бы разделался с вами, да не шпагой, а пинками!

(Ледесма в страхе отступает.)

Гарсиа де Паредес (*положив руку на рукоятку шпаги, приближается к трупу Эльвиры*). Меня не так ужасает, Лопе де Агирре, ваш бунт против короля, нашего сеньора, и все те злодейства, которые вы творили, как убийство этой невинной, почти ребенка.

Лопе де Агирре. Сеньор начальник штаба, я сделал это потому, что она моя дочь и я мог это сделать.

Гарсиа де Паредес. Стократно вы заслуживаете, чтобы по королевскому суду вам отрубили голову.

Лопе де Агирре. Чтобы мне отрубили голову? Ваше превосходительство полагает, что если мне отрубят голову, или меня четвертуют, или бросят мои останки псам на съедение, то я уйду из людской памяти? Неужели ваше превосходительство не догадывается, что рассказы о моих злодействах и подвигах разнесутся по всей земле и дойдут до девятого неба? Неужели вашему превосходительству непонятно, что король Филипп II останется в истории как тиран, а Лопе де Агирре назовут Князем Свободы?

Гарсиа де Паредес. Клянусь богом, такой дерзости я не потерплю! (*Выхватывает шпагу.*) Вы вынуждаете меня убить вас сию минуту, Лопе де Агирре.

Лопе де Агирре. Сеньор начальник штаба, дайте мне трехдневный срок, положенный по закону, чтобы выслушать меня, не убивайте меня сразу, я хочу в полном сознании сделать важные заявления. Перед смертью я хочу рассказать, сколько раскаявшихся мараньонцев и кто именно был верен королю Кастилии; я должен открыть также, кому из них надоело убивать губернаторов и монахов, жечь и губить селения, разорять королевскую казну. Я должен раскрыть обман тех, кто думает, будто все их преступления, все их дела будут прощены, едва они во весь опор побегут в лагерь короля. Я должен назвать имена...

(Пока он говорит, мараньонцы-перебежчики наводят на него свои аркебузы, запаливают фитили. Когда он произносит «я должен назвать имена», один из них, по имени Хуан де Чавес, стреляет в него, пуля задевает руку.)

Лопе де Агирре (*покачнувшись, прислоняется к стоящей у него за спиной походной кровати*). Плохо стреляешь, подлый изменник!

(Другой мараньонец, Кристобаль Галиндо, стреляет и попадает вождю прямо в грудь.)

Лопе де Агирре. Вот это выстрел, сукин сын!

(Подносит руку к сердцу, падает на кровать, умирает. В наступившей тишине Кустодио Эрнандес приближается к телу Лопе де Агирре и отсекает голову. И держа за пегие волосы отрубленную кровоточащую голову, выходит через дверь на улицу. Остальные во главе с Гарсиа Паредесом следуют за ним.)

Педрариас де Альместо (*выходя последним*). Да здравствует король, тиран мертв!

(Антон Льамосо по-прежнему неподвижно стоит в углу. Когда все, так и не заметив его, выходят, Антон Льамосо приближается к телам отца и дочери, смотрит на них долгим, печальным взглядом, потом осеняет их крестным знамением и, словно тень, проскальзывает в дверь, ведущую внутрь дома.)

■

После смерти на глаза тебе пала такая темень словно тебя погребли в бездонном провале ночи черные горы из угля и агата давили на мозг студеные круги мрака вкруг твоего тела точно мертвые змеи великая немота объяла тебя будто туман из липкого белесого мха более века пробыл ты в этом бесцветном сне и вдруг тебя пробудил почти солнечно-яркий свет молнии гремучий раскат грома разодрал пучки твоих нервов в грохоте катаклизма раскололись скалы скрывавшие твое щуплое тело и бедная душа покатилась по ощетинившимся пропастям и синим плоскогорьям через пустыни пропоротые воем свирепых волчиц и рыком загнанных львов ты вышел к реке несущей черную пену и лохматый гигант-перевозчик повез тебя на другой берег изрыгая проклятья шлепая веслами по воде обдавая тебя брызгами тины воздух вокруг вонял тошнотворно словно ты с головой окунулся в жижу испражнений и гнили ты достиг берега где бесчисленные стервятники подстерегали твои потроха рой черно-зеленых мух вился над тобой тысячи червей липкими волосатыми кольцами обвивали ноги и забирались к тебе внутрь ты спустился в долину и трава в ней курилась бесприютным одиночеством болью заползавший в сердце издали донесся галоп скачущего табуна то были полулюди-полукони они окружили тебя поднялись на дыбы и один обхватил тебя мускулистыми передними ногами и подвел к могучему потоку из огня и крови.— В его кипящих волнах я буду стонать века! — Ты Лопе де Агирре мятежник и после смерти ты отбивался стараясь уйти от позорного наказания и всякий раз когда ты вырывался кентавры лягали тебя копытами и ранили стрелами стадо хрюкающих чертей вонзило тебе в грудь гарпуны и столкнуло тебя в обжигающую лимфу и заставило снова наглотаться отвратительной сладковатой запекшейся крови тот кто божьим судом низринут в круги ада не должен стараться выйти из бездны всякий входящий в адские двери оставляет надежду мучения там вечны и вечна скорбь и слезы богач что на земле при жизни одевался в пурпур не получил от Авраама и капли воды чтобы остудить горящий пламенем язык и не позволили ему даже на единый миг вернуться на землю предупредить своих братьев что им уготованы тысячи мучений если они не изменят своей греховной жизни никому не выйти из адской пропасти Лопе де Агирре.— Ошибаетесь

ваша милость! — Я выхожу оттуда в людской памяти что не дает мне умереть я приплываю по морям к острову Маргарита я скачу на белом коне от самого горизонта я возвещаю рассвет сыпля с облаков барабанной дробью я в глухую полночь печатаю хромоногие следы на песке крылья альбатросов это ножи заточенные моими руками чтобы рассечь свет свист бури это мой голос бросающий мараньонцам боевой клич отблеск далеких скал это я сам гнев божий сжимающий в правой руке отсеченную голову прекрасной доньи Аны де Рохас рыбаки в своих лодках поворачиваются ко мне спиной преклоняют колена и бормочут молитвы: Спаси господи нас от всякого зла! — Я выхожу в степь за Баркисимето и безо всякой надежды ищу печальную тень моей дочки Эльвиры мой призрак блуждает по зарослям где прежде был дом Дамиана де Барриоса а ныне густой кустарник кишащий летучими мышами и змеями свалка где закапывают павших коз и ослов из их грубых костей восстаю я ночами когда луна идет на ущерб волосы мои словно факел негасимый ветрами ноги мои как блуждающие огни что идут по жнивью и его не сжигают рядом со мной ковыляет белая сука и принимается выть всякий раз как где-нибудь в хижине заплачет ребенок за мною следом тарахтит повозка смерти запряженная конским скелетом в вышине безутешно звонит колокол один без колокольни в руках моих колышется черное знамя меченное красными языками живой человек что хоть раз отважится взглянуть мне в глаза навек потеряет память я ухожу и опять возвращаюсь на развалины дома Дамиана де Барриоса мои хриплые стоны раздирают шкуру ночи ничего не осталось от моей дочки Эльвиры только память о том как кровь проступала на желтом атласном корсаже.

■

ПИТЕР УСТИНОВ

Крамнэгел

РОМАН

Перевод с английского Ю. ЗАРАХОВИЧА

13

Лицо у Крамнэгела постепенно зажило, и он сидел сейчас напротив Энгуса Певерелл-Проктора в очень современного стиля кабинете, выполненном из местных строительных материалов. Певерелл-Проктор был неисправимым идеалистом с застывшей на губах ангельской улыбкой, лишь подчеркивавшей завораживающую мягкость его зеленых глаз, которые, словно застойные лужи, тускло поблескивали под высоким мостиком бровей. Голоском тоненьким, как у эльфа, он вышептывал слова, руки же его были крепко стиснуты, точно двое любовников. Он был не просто человек, а человек с призванием и целью в жизни.

— Лайберн,— мурлыкал он,— не похож ни на один исправительный дом в мире... По правде говоря, мне вообще хочется видеть в нем нечто большее, чем исправительный дом,— дом для размышлений, дом переориентации, прачечную души... Я надеюсь, что вам будет здесь хорошо. Вы прибыли несколько поздно, чтобы помочь в сооружении церкви, но я надеюсь, что вы не откажетесь потрудиться, когда мы начнем рыть котлованы для бассейна. У нас часто устраиваются лекции, концерты и театральные представления, и участие в них, разумеется, является обязательным. Но этим и исчерпываются все наши обязательные дела.— Он сверился с лежавшим на столе листочком.— Завтра Уайтчепельский квартет исполняет три последних квартета Бетховена. Во вторник генерал-майор сэр Гордон Маквикарий читает лекцию на тему: «Цейлон — а что дальше?», а в пятницу мы начинаем репетировать пьесу «Как важно быть серьезным». Не думаю, чтобы остались свободные роли, но теперь, когда у нас появились вы, мы можем изменить свои планы и поставить потом «Окаменевший лес»[1]. Мы давно уже хотели осуществить эту постановку, но не было никого, кто действительно подходил бы на роль гангстера.

Крамнэгел едва верил своим ушам, а несколько минут спустя он и глазам своим не поверил. Большинство заключенных, рассматривавших его — кто надувшись, а кто с веселым любопытством,— показались ему либо ненормальными, либо весьма и весьма странными. Во время беседы с мистером Певерелл-Проктором он в основном молчал, настолько неожиданным оказался ее тон, как и вся изысканная атмосфера. У Крамнэгела возникло странное чувство, что его перевели по ошибке в дом для престарелых. Хотя среди заключенных попадалось много молодых людей, все они казались беспомощными и ущербными.

Первоначально дела вдруг снова чуть было не приняли дурной оборот, когда Крамнэгелу показали его комнату (в Лайберне помещения для заключенных назывались комнатами, а не камерами), которую он должен был делить с негром-барабанщиком, попавшимся на марихуане. Крамнэгел против его общества не возражал, поскольку негров-наркоманов знал хорошо, но барабанщик оказался расистом до мозга костей. Он прикидывался сторонником «черных пантер» и требовал называть себя не Мидкрофтом Артурсом, а Мустафой Абдулом.

— Уберите отсюда этого легаша! — вопил он.— Мустафа Абдул ни с каким таким белым легашом жить не станет.

— Ты мне мозги не пыли! — завопил Крамнэгел в ответ Абдулу, который на самом деле был родом с Тринидада, где вел относительно счастливое, хотя и бедное существо-

[1] Пьеса известного американского драматурга Роберта Шервуда.

Окончание. Начало см. в № 8, 9.

вание, но жаждал найти повод жаловаться на что-то, и который в качестве первого шага по пути к мелкому мученичеству решил выдавать себя за американца.— Ты меня знать не знаешь, даже разглядеть меня своими треклятыми зенками толком не успел, так что не имеешь никакого права на меня орать!

— А мне и не нужно знать легаша-янки, чтоб иметь о нем представление,— продолжал глумиться над ним Мустафа.— Что я, Чикаго не помню? Литлл-Рока? Или Бирмингема в Алабаме?

— Еще только вякни, и Лайберн тоже на всю жизнь запомнишь — останется от тебя одно пятно на полу.

Мустафа начал заводить глаза вверх, как изрядно выпивший человек, его желтоватые белки, уже затянутые катарактой, дергались в такт притоптывавшим ногам, высовывавшемуся языку и конвульсиям. Вскоре на губах его выступила пена, и он затряс плечами, будто пытаясь сбросить с них невидимый, но прижимавший его к земле тяжелый груз. Весь дрожа и дергаясь, он бормотал что-то ритмичное на непонятном щелкающем наречии.

— Что это ты тут за чертовщину развел? — несколько нервно спросил Крамнэгел.

— Порчу на тебя навожу,— пропел Мустафа и отбежал в сторону, весь дергаясь.

Смерив соседа взглядом, Крамнэгел понял, что тот сейчас доведет себя до невменяемого состояния, и резко рванул дверь.

— Эй! — крикнул он двум длинноволосым надзирателям, которые жевали что-то в конце коридора.— Этот тип на меня порчу наводит. Мне это не нравится. Уберите его отсюда — или его, или меня. Здесь и без порчи невесело, так что она мне совсем ни к чему.

— О боже мой, опять он за свое,— отвечал тщедушный надзиратель, прерывая на полуслове разговор с коллегой и подходя к Крамнэгелу.— Он это делает каждый раз, как к нему кого подселяют. На самом-то деле его проклятия ровно ничего не значат, а потом, когда с ним познакомишься поближе, ведет он себя очень дружелюбно.

— Я вовсе не намерен с ним близко знакомиться. У него изо рта идет пена, я с такими людьми связываться не хочу. Пойдите к этому длинному, который со мной беседовал, и скажите ему, чтобы меня перевели в другую камеру, ладно?

Надзиратель постучал ладонью по двери, пытаясь вывести Мустафу из транса.

— Что вы там делаете? Снова плохо себя ведете? Мистеру Энгусу это не понравится. Вот скажу ему, он у вас гитару отберет, ей-богу отберет!

Но все уговоры были явно ни к чему. Мустафа стих, перегнулся пополам и застыл.

— Нет, разговаривать с ним без толку,— сказал отчаявшийся надзиратель.— Придется звать доктора О'Тула. Ну, пошли к мистеру Энгусу.

Крамнэгела отвели в другую «комнату», где представили новому сожителю, лысому толстяку, развалившемуся в постели, хотя было лишь пять часов дня. Подле кровати на аккуратной тумбочке, покрытой ситцем, стоял манекен головы, на котором покоился рыжеватый парик.

— Что вы здесь делаете, лежебока? — спросил надзиратель.

— Меня что-то стало знобить, и я сказал себе: «В постель, старина, в постель, это единственное для тебя место».

— Вы обращались к доктору О'Тулу?

— Ну его, вашего доктора, у него дурной глаз.

— Что за чушь вы мелете!

— Ну, так руки у него холодные.— Лежавшего на кровати человека передернуло.

— Познакомьтесь с мистером Крамнэгелом, вашим новым соседом. Мистер Крамнэгел — мистер Ливингстон.

К чему мистер Ливингстон добавил:

— Надо полагать.

— Привет,— сказал Крамнэгел, изучая своего нового соседа.

Надзиратель вышел за дверь. Крамнэгел подошел к окну и посмотрел на распаханное поле, расстилавшееся вдаль до еле видной ограды. Решеток на окне не было.

— Я читал о вас.

Крамнэгел обернулся к Ливингстону.

— О, вот как?

— Странно, что вас прислали сюда. Вы ведь, в конце концов, убили человека, не так ли? А здесь заведение не для буйных, о нет, совсем нет. Что же — мне, значит, бояться вас?

— С какой стати вам меня бояться? Не выходите за рамки, и мы с вами прекрасно поладим. Вы здесь за что?

— Растление малолетних.

— Серьезно? Вы, значит, и есть один из этих психов, которые подкарауливают девочек?

— Меня наблюдает доктор О'Тул. Но как грязно вы меня оскорбили! При чем здесь девочки?.. Меня зовут Корал. Ни на какие другие имена я не отзываюсь. Корал или Королева-мать. Некоторым так больше нравится. Наверное, потому, что я здесь уже давно и помогал советами многим молодым людям, с которыми меня сводила судьба.

— Ну, ладно, ладно, будь по-твоему: Корал так Корал. Меня зовут Барт. И если ты не хочешь, чтоб я звал тебя Чарли, не думай звать меня Беатрисой.

Говоря по правде, Крамнэгел очень быстро свыкся с присутствием Корал, который, как оказалось, изрядно любил поспать и был совершенно безобидным существом.

Днем Крамнэгел трудился на строительстве церкви, где пригодилось его умение класть кирпичи и где его подвиги на поприще топора и пилы вызывали восторженное одобрение, поскольку многие боялись повредить себе на работе руки. Вскоре он уже стал десятником и даже начал давать указания надзирателям и архитектору (сидевшему в тюрьме за уклонение от уплаты налогов), что́ и как можно сделать лучше и как добиться большей жесткости конструкций. Мистер Певерелл-Проктор следил за строительством из своего окна, на глаза его навертывались слезы восторга, а перед мысленным взором уже вставал бесконечный шпиль, пронзающий небесную твердь подобно игле огромного шприца, до отказа наполненного сывороткой веры, и он дивился чуду. Он был одним из тех немногих, кто еще сохранил умение дивиться чуду, а временами даже восхищаться им. Крамнэгел рисовался его воображению гладиатором, ослепленным потоком яркого света в момент своей победы на арене, последовавшим за этим светом и пришедшим не на высоты морального триумфа, но во мрак катакомб, чтобы там его могучие и страшные руки научились служить добру.

В удовольствии, которое доставляло Крамнэгелу участие в строительстве, не было ничего мистического, и то, что сооружал он церковь, не имело для него никакого символического значения. Значение имело то, что он снова руководил, снова стоял во главе, снова мог рычать на подчиненных, быть веселым, покладистым и в то же время весьма опасным начальником и мог порисоваться перед публикой.

Но вот обязательное посещение, например, концертов камерной музыки пришлось ему по душе куда меньше. В музыке Бетховена он не обнаружил четкого ритма, а оркестр из четырех струнных инструментов показался ему явным разбазариванием средств. За те же деньги можно было нанять четыре трубы да три контрабаса с ударником и получить двойную отдачу. За весь концерт под одно только скерцо и можно было прищелкнуть пальцами, но даже эта невинная попытка принять участие в концерте вызвала негодующие взгляды и возмущенное шиканье со стороны тех меломанов, которые знали, как глубоко ценит красоту мистер Энгус. Публика проявила еще большее возмущение, когда Крамнэгел попытался заговорить с соседом во время исполнения одной из медленных частей, и немало очей было возведено к небу, когда он вдруг спросил: «Господи Иисусе, что же это за музыка такая, что и поговорить нельзя?»

Певерелл-Проктор снисходительно улыбнулся, глядя на своего огромного медведя, своего огромного доброго гиганта, бредущего горной тропой к прекрасному.

Лекция о Цейлоне, прочитанная отставным генералом, оказалась менее занудной, чем Бетховен, в основном потому, что сопровождалась демонстрацией диапозитивов, так что глаз хоть на чем-то мог отдохнуть, не утомляясь созерцанием четырех человек, дергавшихся без конца на сцене. Вообще-то Крамнэгел всегда считал Цейлон островным придатком Африки, а не Индии, путая его, надо полагать, с Мадагаскаром, о котором он что-то слышал, но понятия не имел, где этот остров находится; кроме того, Цейлон или нечто похожее ассоциировалось в его памяти с одним приключенческим фильмом, где Хэмфри Богарт играл главную роль. Генерал оказался человеком педантичным и информировал своих слушателей о том, что на санскрите остров назывался Сингала Двайп, что большинство греков и некоторые римляне называли его Тапробана и что арабы звали его Серендиб. Генерал говорил медленно, с большими паузами, как бы давая слушателям записать эти ценнейшие сведения. Он показал им собственной работы диапозитивы с видами Коломбо, но снимал он обычно с такого расстояния и с такой выдержкой, что Коломбо можно было легко выдать за Колумбус, штат Огайо.

Крамнэгела милосердно не включили в состав исполнителей пьесы «Как важно быть серьезным», но в виде любезности он отрывался от руководства строительной командой, забегал на репетиции и наблюдал за тем, как Корал готовится к предстоящему триумфу в роли леди Брэкнелл — роли, к исполнению которой он был подготовлен самой природой, не обладая, пожалуй, лишь некоторой мужеподобностью и энергией, присущими этому образу.

Создавалось впечатление, что великий эксперимент мистера Певерелл-Проктора осуществляется вполне успешно, во всяком случае если иметь в виду определенную категорию заключенных. Однако Лайберн, безусловно, все еще трудно было представить себе в качестве подходящего места для закоренелых преступников, сохранивших контакты с преступным миром на воле. Крамнэгел поэтому рассматривался как подопытный кролик (и, как выяснилось позже, совершенно ошибочно), и мистер Певерелл-Проктор видел подтверждение правоты дела всей своей жизни в том, что убийца — следовательно, отпетый и от природы испорченный головорез — оказался наиболее энергичным и старательным рабочим из всех заключенных, да еще проявлявшим наибольшее чувство ответственности. Начальник тюрьмы обходил свои владения, осиянный благочестивыми мыслями.

В Лондоне же сэр Невилл принял у себя главного инспектора уголовной полиции Пьютри и был приятно удивлен, но и немало шокирован тем, что Пьютри с одобрением отнесся к его преступному плану освобождения страны от человека, которого она не могла судить, но могла лишь наказывать.

— Не предложи эту мысль вы, сэр Невилл, рано или поздно я бы предложил ее сам,— сказал Пьютри.

Будучи новичком-правонарушителем, сэр Невилл не переставал поражаться тому, сколь склонен человек к преступным действиям, и после беседы с Белпером и Пьютри спросил себя, не ошибался ли он всю жизнь в своих оценках рода человеческого, не прошел ли он все ступени своей карьеры с шорами на глазах, побуждавшими его считать себя непорочнее прочих. Высшие принципы морали просто бесчеловечны. В этом и состоит их величайший недостаток, который начинает проявляться, стоит применить их к людям.

— Да,— устало продолжал Пьютри,— тогда, сгоряча, мы все пришли к твердому убеждению, что Крамнэгел обучил Гарри Мазерса изготовлению бомбы и горючей смеси, чтобы таким путем отомстить британскому правосудию, но сейчас, тщательно все обдумав, мы поняли, что, по всей вероятности, абсолютно неверно оценили ситуацию. Гарри ведь только ломает комедию, а на самом деле это — хитрющий старый негодяй. Крамнэгел же по части оценки людей — не особый мастак. Он, наверное, просто предавался романтическим воспоминаниям, рассказывал Гарри чудеса и всякие страсти о подвигах гангстеров у себя на родине — он ведь предельно патриотичен, если речь идет о чем-то американском, в том числе и о преступности, наш Крамнэгел, а старик Гарри все, наверное, мотал себе на ус, надеясь вырваться вперед и оставить своих престарелых коллег-одиночек за флагом. Так что переводить Крамнэгела в тюрьму максимально строгого режима мы не имели никакого права. В результате же этого перевода произошло невероятно печальное событие: в новой тюрьме его жестоко избили за то, что в нем взыграли инстинкты полицейского, а потом чуть не убили сами заключенные. Любопытно, что здесь явно виден почерк мальтийцев, а не налетчиков, которым он помешал бежать, но в преступном мире случаются таинственные союзы, как и в любви, а предателей никто не любит. Крамнэгел же просто забыл, какой на нем наряд. А теперь нам следует избавиться от него. Я на сто процентов согласен с вами, сэр Невилл. Теперь согласен, хотя и не соглашался раньше. Мы должны избавиться от него, пока не случилось что-нибудь еще и пока этот здоровенный чурбан не остался на нашей совести до конца наших дней.

— Из Лайберна трудно бежать?

— Насколько я знаю Крамнэгела, жизнь в Лайберне ненадолго придется ему по вкусу. Там ведь содержат одну шушеру, сопляков и извращенцев, да мелких жуликов, уклоняющихся от уплаты налогов, а начальник — редкая зануда.

— И всего лишь двадцать миль до Ливерпуля.

— Вот именно. Мы установим наблюдение за Лайберном. Я съезжу и побеседую с местной полицией. Что бы ни случилось, все контакты должны оставаться устными, ни слова из наших разговоров не должно фиксироваться на бумаге.

— Разумеется. Что бы ни случилось, мы не имеем права подвергать риску министра

внутренних дел, впутывать его в эту историю,— лицемерно сказал сэр Невилл, пряча от Пьютри глаза.

— Это резонно,— согласился Пьютри, столь же лицемерно пряча глаза от сэра Невилла.

И все же дни шли, а Крамнэгел по-прежнему оставался в тюрьме — он подгонял рабов на строительстве храма, давал советы относительно исполнения роли леди Брэкнелл, речи которой он находил малопонятными, побронзовел от загара и был в отличной физической форме. От Эди по-прежнему ни слова.

Дело в том, что после провала кампании Эди впала в прострацию, много пила и целыми днями не вылезала из домашнего халата. Волнующие и героические дни остались позади, а вокруг шумел и гудел Город, занятый другими делами, ищущий новых и лучших судеб. Последней каплей для Эди оказалось назначение на пост начальника полиции Ала Карбайда. Это событие было отпраздновано пышным обедом в Бизоньем зале отеля «Гейтуэй Шератон», на который Эди, очевидно, забыли пригласить.

Вернувшись в свой кабинет, кабинет Крамнэгела, переделанный теперь по вкусу нового хозяина — под американский колониальный стиль с изображением старинного оружия на белых стенах,— Ал обнаружил в приемной Эди, одетую во все черное, с черной вуалью и всеми положенными атрибутами траура.

— Эди,— сказал он, нервно улыбаясь. Ему почему-то показалось, что она пришла убить его. Обычно женщины именно так и одеваются, когда собираются стрелять в мужчин. Но никаких резких движений не последовало, и из черной перчатки не выглянуло вдруг пугающее рыло револьверчика с перламутровой ручкой.

— Я пришла поздравить тебя, Ал,— сказала сдавленным голосом Эди.

Видно было, что она плакала.

— О, спасибо, дорогая!

— А заодно и напомнить себе, как выглядит дерьмо.

— Послушай, Эди,— холодно улыбнулся Ал,— как ты можешь так разговаривать со мной, Алом Карбайдом, твоим старинным приятелем?

— С тех пор как я вернулась домой, ты и пальцем не шевельнул, даже по телефону ни разу не позвонил. Разве так ведут себя старинные приятели?

— Но, Эди, милая, ты ведь должна понять, в каком сложном положении я очутился, ты же понимаешь, правда? Барт, к несчастью, здорово влип. Ты вернулась домой и организовала такую кампанию, просто диву даешься, хотел бы я заслужить такую верность,— но я ведь не мог поддерживать ее официально! Я посылал деньги — честное слово, посылал, у меня даже квитанция сохранилась,— но я же нахожусь на службе у городских властей, как и Барт в свое время. Я не могу участвовать в кампаниях.

— Кампаниях! При чем здесь кампании! Просто позвонить ты не мог? Просто сказать: «Эди, девочка, я на твоей стороне»? Да вообще ничего не говорить, кроме: «Это я, Ал, помнишь меня?»

— Конечно, милая, конечно, но у меня своих неприятностей был вагон. Не таких, конечно, как у тебя, но все же...

В приемной начальника полиции, намереваясь поздравить Ала с назначением, собиралась всякая мелкая сошка, не приглашенная на банкет. Они заходили в дверь с поздравлениями на устах и тут же осекались при виде миссис Крамнэгел.

— Послушай, Эди, а не поужинать ли нам сегодня? Я заеду за тобой пораньше, в полседьмого, чтобы мы успели съездить в «Серебряную шпору» или куда-нибудь еще за пределы штата,— мягко предложил Карбайд.

— Разве ты не собираешься отпраздновать свой успех с Эвелин?

— Эвелин и я... стали друг другу чужими. Как я уже сказал, у всех у нас свои проблемы... Не такие, конечно, как у тебя, но за неимением других...

Ровно в шесть тридцать у обочины тротуара возле дома Эди затормозил большой двухместный лилово-зеленый «олдсмобил», и из него вышел Ал в летнем, устричного цвета, костюме с пуговицами из крокодиловой кожи. Вместо безутешной вдовы, атаковавшей его днем, Ал увидел перед собой тщательно прибранную хитрую бабенку, которая открыто и с вызовом, распушив хвост и развернув знамена, демонстрировала свое женское естество. Они отправились в «Серебряную шпору» — заведение на восемьдесят процентов бутафорское и на остальные двадцать гастрономическое, с интерьером под

«настоящий американский стиль», с официантами, одетыми под Буффало Билла[1], и колючими, как подковные гвозди, официантками. Усевшись, они развернули меню размером со страницу «Нью-Йорк таймс», в котором гигантскими буквами были проставлены названия всего лишь нескольких блюд, и с удовольствием заказали коктейли, причем Ал немного порисовался, указывая, насколько они должны быть сухими, как их надо смешивать и как подавать. Эди же с невольным восхищением рассматривала этого требовательного самца в действии.

Сидя за столиком, полускрытым в призывной тьме, лишь чуть-чуть рассеиваемой единственным источником света — еле мерцающей жаровней,— окутанные тихой музыкой, лившейся им в уши, они завели серьезный разговор, и Эди впервые за долгое время ощутила близкое присутствие живого полнокровного мужчины, в высшей степени привлекательного, откровенного и доступного.

— Что произошло у вас с Эвелин? — спросила Эди.— О вас же всегда говорили как об идеальной паре?

— Что происходит между мужчиной и женщиной? — сказал Ал, морща бровь в неубедительной демонстрации глубокомыслия, чересчур быстро сменившейся чересчур бойкой улыбкой.— В один прекрасный день вдруг нет больше тайны... Остались одни ответы, а вопросов больше нет... Все выдохлись, пожалуй...

— По твоей вине?

— Да... и нет.

— Но все-таки?

— Да. Я ничего не могу с собой поделать, Эди, я человек в сексуальном отношении чрезвычайно активный. Многие мне завидуют, но здесь не одно лишь развлечение... Стоит мне только поглядеть на женщину — не обязательно даже на хорошенькую,— как мне хочется лечь с ней в постель... Надеюсь, я не шокирую тебя?

— Да что ты! Это дело естественное,— солгала Эди, покраснев до корней волос.

— Бог ты мой, да если б Эвелин считала это естественным, мы, может, до сих пор были бы вместе. Но она относилась к этому совсем по-другому, ревновала, как тигрица, а сама все время жаловалась, что я ее извожу, грязно ругаюсь, что от нее мне нужно только одно, а ее духовных качеств я не замечаю, но какого же черта... Я ей и сказал, что за духовным я хожу в церковь.

— Может, ты просто ее напугал? — предположила Эди, поигрывая вилкой и проявляя глубочайшее сочувствие к подруге, на что женщина способна лишь тогда, когда знает уже наверняка, что подруге из несчастья не выбраться.

— Это после семи-то лет супружества?

— Женщины меняются. И намного больше, чем мужчины,— вздохнула Эди.— И стареют быстрее.

Ал мгновенно, как птица на лету, переменил курс:

— Почему же ты-то не стареешь?

Эди прикусила губу, чтобы сдержать улыбку или вскрик.

— Я? Мои лучшие дни уже позади. Четверо полицейских! Да знаешь ли ты, что это такое?

— Кому же знать, как не мне? А вот знаешь ли ты, что для всей нашей полиции ты — все равно что счастливый талисман? А для меня... для меня ты намного больше... всегда была больше... Живая женщина из плоти и крови... с сердцем... с телом... с чувствами и желаниями... И все это досталось здоровенному жлобу, даже не способному по достоинству оценить тебя...

— Не говори плохо об отсутствующих, которые не могут защитить себя,— с трудом выдохнула Эди, сглотнув слюну, чтобы смочить горло.

Ал пошел со своей козырной карты:

— Может, прямо к десерту перейдем?

— К десерту? — эхом отозвалась Эди и окинула его откровенным взглядом: посмотрела на глаза, сначала на один, затем на второй, затем, прищурившись, на оба сразу, затем перевела взгляд на рот.

— Поедем домой.

Они потянулись друг к другу, но он вдруг отшатнулся.

— В чем дело? — спросила она, проявляя простодушное преклонение перед рекламными киноликами.— У меня изо рта дурно пахнет?

[1] Буффало Билл — прозвище Уильяма Фредерика Коди (1846—1917), героя американского фронтира — разведчика федеральных войск во время Гражданской войны, охотника и актера, ставшего известным персонажем американского фольклора.

— Не здесь,— отвечал Ал, пытаясь закрыться ладонью.

— В чем дело?

— Ред Лейфсон...

Ал уловил в полутьме блеск металла, и сейчас инвалидная коляска уже подвозила своего улыбающегося пассажира к их столику.

— О, что мы здесь видим? Накануне вступления в должность будущий начальник полиции Алан Кармай Карбайд пересек границу штата, чтобы отужинать с женой своего смещенного предшественника! Как прикажете понимать эту встречу — служебное дело, личное или попросту красивый жест?

— Право, Ред, такие вопросы... Эди очень расстроена — вы же знаете... Ей-богу, это самое меньшее, что я мог сделать...

— Значит, спишем все на красивый жест, а? — сказал Ред, царапая что-то в своем блокноте, и продолжил с усмешкой: — Надеюсь, вы не станете обещать, что вырвали бы мне ноги, если бы они у меня были, и не станете, подобно своему предшественнику на вашем высоком посту, разукрашивать мою машину штрафными квитанциями?

— Мне незачем это делать, Ред, поскольку я верю в вашу личную порядочность.

— Серьезно? Ну, тогда вы один такой оригинал на весь город. Нет, правда, зачем вам понадобилось перевозить даму через границу штата? В этом, надеюсь, нет никакого тайного умысла?

— Мне просто нравится здешняя кухня.

— Что же вы заказали?

— Что это такое, Ред, черт возьми?

— Всего лишь любопытство гурмана, Ал. Я тоже люблю это заведеньице — оно стоит того. Я люблю атмосферу американизма. Не знаю даже, как объяснить... В ней есть цельность... Она наша, как...

— Как яблочный пирог?

— Точно. И вам здесь нравится больше, чем где-либо в городе?

— Как и всем людям, Ред, мне нравится разнообразие.

Ред взглянул на Эди и улыбнулся.

— Оно и видно,— сказал он.

— Ты просто грязная, подлая тварь, самый гнусный, мелкий червячишка из всех, которые копошатся в помоях,— прошипела Эди.

— Ага. Наконец хоть что-то, пригодное для цитирования,— лихорадочно зачиркал карандашом Ред.

— Эди! — попытался урезонить ее Ал.— Она просто не в себе. Нервное напряжение...

— При чем тут нервное напряжение! Меня просто тошнит от этого калеки, прикрывающегося своими увечьями! Интересно, как это ты остался без ног? Да я знаю как! В детстве упал со стула, когда подсматривал в замочную скважину, что творится в спальне. Как насчет этого, процитируешь?

— Конечно, конечно,— бросил посеревший от злости Ред, поспешно отъезжая. Только вот такая баба и могла его пронять.

Когда он удалился, Ал сказал:

— Лучше бы ты не делала этого, Эди, но я очень рад, что ты так поступила. Пошли, я отвезу тебя домой.

Они ехали, включив магнитофон, изливавший потоки сладкой музыки, и Эди чувствовала себя желанной женщиной, к которой мужчина проявлял свои чувства удивительно тонко. Она то и дело бросала украдкой взгляд на застывшее лицо и уставившиеся на дорогу светло-голубые глаза, на привлекательные складки вокруг чувственного рта и думала о том, как будут ей завидовать все женщины, осуществись ее дикая мечта, как будут все размышлять о том, что же в ней есть такого, что позволило ей добиться своего.

Машина подъехала к ее дому. Однако Ал и не подумал выскочить из кабины и открыть ей дверцу. Подождав минуту, она открыла ее сама и вышла на тротуар, изрядно рассердившись и в то же время понимая, что глупо было предаваться подобным фантазиям. Но что же еще остается по мере того, как прибавляются годы? Одни лишь фантазии...

— Не зайдешь выпить на прощание?

Может быть, его тронет отчаяние этой последней попытки?

— Конечно, зайду,— ответил Ал.— Только вот машину поставлю.

— Оставь ее прямо здесь.

— Нет, здесь нельзя.

— Почему нельзя? Это ведь мой участок.

— Потому и нельзя, что твой. Я теперь начальник полиции,— пояснил он, и Эди не могла не услышать в его голосе вульгарного самодовольства.— Где-то здесь рыщет Ред Лейфсон... иди в дом.

Эди повиновалась. Как только она закрыла за собой входную дверь, ей сразу подумалось, что она делает большую глупость, приглашая к себе в дом известнейшего в городе бабника. Но подумала Эди об этом скорее для очистки совести. Поставив пластинку с музыкой под настроение, она притушила свет и зажгла палочку благовоний. Потом закрыла входную дверь на засов и пошла в свою комнату.

Неожиданный рев телевизора, заглушивший поставленную ею пластинку, заставил ее вздрогнуть.

— Налей себе выпить,— крикнула она.

Не отвечая, Ал последовал ее совету и развалился в кресле Крамнэгела, вперившись в телевизор. Шел старый фильм о похождениях Чарли Чана на Гавайях. Но как только Ал начал понимать суть интриги, вошла Эди, облаченная в свое прозрачное одеяние, с мундштучком а-ля Мата Хари в руке, и спросила:

— Секс, кто желает?

Ал залился хохотом.

— Над чем ты смеешься? — возмутилась она.

— В жизни не видел такого! Ух ты! — И он испустил боевой клич ковбоя из родео.

По старой привычке Ал проснулся в половине седьмого утра. Эди, к его удивлению, уже не спала и смотрела на него серыми, печальными и прячущими тревогу глазами.

— Привет,— сказал он.— Как я сюда попал?

— Ох, Ал,— пробормотала она разбитым голосом.— Я думала о Барте.

— Барт, конечно, отстрелялся,— ответил Ал, стараясь выразиться помягче.

— Это зло.

— Что зло?

— Зло сейчас говорить о Барте «отстрелялся»...

— А и черт с ним,— прорычал Ал.— Ну ладно, тогда я скажу «обделался», как и хотел сказать с самого начала.

— В его случае даже это слово лучше, чем «отстрелялся». Бедный Барт. В тюрьме, на чужбине, за тысячи миль от нас...

— Это намного уменьшает возможность его возвращения домой прямо сейчас...

— Я никогда не жила по-настоящему, пока не встретила тебя...

— Держу пари, что ты всем так говоришь.

— Я говорю совершенно искренне, Ал. О боже, какой ужас!

— Ужас?

— Я чувствую, что влюбляюсь в тебя, Ал.

— Постой, постой,— Ал даже сел.— Мы же с тобой едва знакомы.

— Я знала тебя много лет... Не зная тебя настоящего...— продекламировала она нараспев.

— Это еще что значит, черт побери? Послушай, Эди, не надо строить иллюзий. Я этого не стою. Я превращу твою жизнь в сплошную муку.

— Может, мука с тобой лучше, чем счастье с другим?

— Что-что?

— Барт,— сказала она печально.— Жлоб несчастный.

— Вот это и есть демократия,— объявил Ал.— Ты пришла, наконец, к точке зрения большинства.

— Ты всегда так считал?

— Всегда.

— С самого начала?

— С самого начала.

Наступило молчание.

— Я приготовлю тебе завтрак.

— Не беспокойся,— ответил Ал.— Перехвачу что-нибудь по дороге.

— Но мне хочется приготовить тебе завтрак,— настаивала она.

— Я не могу столько ждать,— сказал он, надевая часы.

— Да что с тобой, Ал? — воскликнула она.— Всего ведь половина седьмого.

— Сначала я должен заехать домой,— терпеливо пояснил он,— и лечь в постель, чтобы миссис Макалистер подумала, что я в ней спал. Потом мне нужно принять душ, чтобы пол был мокрый. Короче говоря, надо создать впечатление, что я ночевал дома.

— О боже, и так приходится маскироваться полицейскому при каждом прелюбодеянии?

— Не смей произносить это слово! — скомандовал Ал, поспешно крестясь, и крадучись подошел к окну.

Когда он посмотрел через щель в жалюзи на улицу, Эди включила свет.

— Выключи немедленно! — завопил он, кулем рухнув на пол.

Эди расхохоталась. Было что-то неотразимо забавное в том, как одетый в одни лишь наручные часы начальник полиции лежал под подоконником и выкрикивал приказания.

— Почему? — спросила она.

— Выключи, черт бы тебя побрал! — прошептал он угрожающе.

Напевая «Сумерки в Турции», Эди начала изображать танец живота, постепенно приближаясь к окну и к своему скрючившемуся на полу владыке.

— Да выключи же ты его, ради бога! — взмолился он.— На улице стоит красный автомобиль, которого там не было, когда мы ложились в постель, а в нем кто-то сидит.

Эди нагнулась, посмотрела через щель в жалюзи. Человек, о котором говорил Ал, стоял у машины и смотрел прямо на нее; Эди медленно отошла к тумбочке близ кровати и выключила стоявшую на ней лампу.

— Вряд ли кто-нибудь сумеет с улицы рассмотреть, что происходит в комнате.

— Знаешь что,— ответил Ал, ползя к ней по-пластунски, как идущий в атаку пехотинец времен первой мировой войны,— если человек захочет рассмотреть, то рассмотрит все, как надо, это я тебе говорю. Все зависит от того, сколько за это платят.

— А, все равно, это совсем не тот, о ком ты подумал. Он же стоит у машины. А теперь зашагал взад-вперед.

Ал уже был сыт по горло ее глупостями.

— Черт возьми, Эди, если я захочу взять под наблюдение какой-нибудь бордель, я же не буду сам торчать на тротуаре, верно? Нет, я поставлю полицейского. И все другие боссы тоже так делают. Ред ведь не станет сидеть всю ночь у тебя под дверью в своей инвалидной коляске, а? Зачем ему это нужно, когда он может послать на задание начинающего репортера?

Зазвенел дверной звонок.

Оба замерли.

— Не открывай,— прошипел Ал.

— А если это телеграмма от мамочки? — прошептала Эди.

— Ага... телеграмма... или Барт вернулся... А может, президент Соединенных Штатов к тебе с визитом,— также шепотом ответил Ал.— В полседьмого утра.

— Но если что-то случилось с мамочкой?..

— То все равно уже поздно беспокоиться. Да и вообще с ней ведь ничего *не должно было* случиться, так что же беспокоиться?

— Я себе в жизни не прощу...

— Посмотри, тот тип еще у машины? — взмолился Ал.

Эди прильнула к щели в жалюзи.

— Нет...

— Значит, тот, что звонит сейчас в дверь, и есть тот, который стоял у машины.

— А может, и кто другой.

— О, конечно, людей на улице сейчас полно, выбирай любого.

Снова зазвенел звонок.

Ал принял решение.

— Другой выход есть? — спросил он, натягивая трусы.

— Через кухню.

— Откликнись на звонок, задержи его разговором, пока я не оденусь и не смоюсь отсюда к чертям.

— Когда мы снова увидимся?

— Нашла время спрашивать! Репортер Реда Лейфсона ломится в дверь, а она тут разводит сантименты! Ладно, ладно, я тебе позвоню.

— Нет, Ал, ты не имеешь права просто так уйти из моей жизни.

— Но я же сказал — позвоню.

— Я тебе не верю.

— Как ты можешь, детка! — притворился оскорбленным Ал.

— Поклянись!

— Клянусь!

— Клянись головой твоей матери!

— Клянусь.

— Головой твоей матери?

— Откуда ты эту клятву выкопала?

Снова и очень настойчиво зазвенел звонок.

— Клянусь, клянусь головой моей матери,— прошептал он, и они на цыпочках вышли в холл.

Пока Ал быстро и бесшумно одевался, Эди посмотрела в замочную скважину и, кивнув Алу, спросила хрипло:

— Кто там?

— Э-э-э... Мы ищем начальника полиции Карбайда, миссис Крамнэгел,— ответил голос.— Можно мне войти?

— Кто вы такой? Вы из полицейского управления?

— Не совсем... Мы... мы помогаем полиции.

— Помогаете полиции? Неужели наша полиция стала настолько беспомощной, что ей приходится помогать?

— Видите ли, в городе произошло очень серьезное вооруженное ограбление. Все ищут мистера Карбайда.

— Почему бы вам не заехать к нему домой?

— Миссис Карбайд заявила, что его не было дома всю ночь.

Разинув рот, Эди бросила разъяренный взгляд на уже почти одетого Карбайда, тот лишь раздраженно пожал плечами.

— Что вы сказали? — спросил голос за дверью.

— Я ничего не говорила вообще,— отрезала Эди.— Вы еще не сказали мне, кто вы такой.

— Я — Батч Креновиц, из газеты.

— Из персонала Реда Лейфсона?

После минутной заминки голос ответил:

— Ну да, иногда я и с ним работаю. Нам, значит, сообщили, что вас видели с мистером Карбайдом за ужином в «Серебряной шпоре», вот мы и подумали, что вы, может, знаете, где он сейчас.

— А я вот не знаю,— ответила она резко.— Но хотела бы знать, какое вы имеете право стучать по ночам в дверь к чужим людям.

— Да я и не стал бы стучаться, сударыня, не увидь я у вас света, а так я решил, что вы уже встали.

Застегнув молнию на брюках, Ал попытался поцеловать Эди на прощание, но она оттолкнула его. Он было посмотрел на нее волком, но сдержался и пошел на цыпочках в кухню, завязывая на ходу галстук.

— Я что-то не расслышал ваших последних слов,— заявил голос.

— А я ничего и не говорила,— отрезала Эди.— По-моему, вам пора убраться отсюда и оставить меня в покое.— Тут она вдруг вспомнила, что должна задержать репортера как можно дольше.— То, что я ужинала с мистером Карбайдом, лишь воздает честь прекрасному человеку...

— Это кому же? Миссис Карбайд?

— С вашего позволения, я говорю о *мистере* Карбайде! — пролаяла Эди.— После всего, что случилось, мистер Карбайд не хотел, чтобы я чувствовала себя одиноко и скверно в тот день, когда его назначили начальником полиции... Поэтому он и пригласил меня поужинать.

— За пределами штата?

— Он пригласил меня поужинать,— Эди уже вошла в форму и выплевывала ядовитые слова с привычной ядовитой интонацией и в привычном темпе.— Я приняла приглашение. Некоторое время спустя он сказал мне: «Эди, это было чудесно, но теперь мне пора возвращаться к Эвелин». Он отвез меня домой, а затем...

— В таком случае вы расстались буквально несколько минут назад, потому что его дома еще не было.

Слова репортера прервал злобный собачий лай.

— О, вот теперь мне пора! — весело воскликнул репортер.— Да, и еще: для американки вы очень хорошо исполняете танец живота, миссис Крамнэгел.

Прислушиваясь к лаю собак, Эди внезапно улыбнулась. Она совсем забыла предупредить Ала о доберман-пинчерах, которых держал на дворе ее сосед. Для этого не было ни времени, ни возможности. Поспешно бросившись в кухню, она поглядела в открытую дверь и заметила человека в плаще, мелькнувшего во дворике и скрывшегося из виду. Как раз в этот момент солнце вырвалось из туч и величественно засияло, пролив свет и тепло на блестящую от росы траву и подрагивающие листья и ослепив Эди. Она закрыла глаза и радостно пила непривычный воздух раннего утра. Эди надеялась, что собаки, которых хозяин уже усмирил, успели все-таки вцепиться в костлявый зад Ала. Он вполне заслужил такое наказание, этот обманщик со всеми его печальными разговорами об одиночестве, этот раб своих желаний. Эди тихо притворила дверь, отгораживаясь от внешнего мира, но даже не стала запирать ее. Она любила его. Сейчас, оставшись одна, Эди была абсолютно в этом уверена. И даже если он в настоящий момент ее не любит, Реду Лейфсону не составит, наверное, труда убедить его в обратном. Хорошо было жить, да еще в краю Свободы.

14

Разочарованию сэра Невилла не было предела. Нет, это просто невероятно: прошло уже больше трех недель, а все сообщения из Лайберна говорили о довольном, успокоившемся человеке, с головой ушедшем в тонкости создания церкви, обреченной на тошнотворное уродство беспредельной вульгарностью проектировавшего ее архитектора и чувством тупого символизма, обуревавшим душу вдохновителя ее строительства, которому вся жизнь представлялась лишь битвой меж солнечным светом и полуночным мраком с заведомо неизбежной победой света. Согласно получаемым сообщениям, Крамнэгела иногда посылали и в поле — сажать картошку, шпинат и капусту. С сельскохозяйственных работ великан возвращался в свой добровольный плен лишь с наступлением ночи. Он брел устало, но весь так и сиял от сознания, что хорошо потрудился, и светился ангельским благочестием.

— Я больше не способен понять этого человека,— стонал сэр Невилл.— По его милости самые святые порывы души выглядят как жалкие потуги ханжи-фарисея казаться самому себе порядочным. О, как я жалею о том, что он своими выстрелами проложил себе дорогу в мою жизнь, как я желал бы, чтобы этого никогда не случилось! Как бы я желал, чтобы у него хватило порядочности избавить меня от этого! Как бы я желал... Но что толку в желаниях?

— Я тут размышлял кое о чем,— заметил Билл.

— И что же вы надумали?

— Если человек способен помочь тюремным властям сорвать побег, да еще при этом и без всякой задней мысли, то есть не имея намерения к ним подлизаться, а действуя исключительно под влиянием душевного порыва, то уместно предположить, что как раз тюрьма без решеток и пробудит в нем чувство чести. То есть раз ему доверяют, он не может злоупотребить оказанным доверием.

— Ну вот, теперь вы заставляете меня терзаться и страдать.

— Почему же?

— Потому, что я не могу не оценить абсолютную точность ваших умозаключений.— Сэр Невилл беспомощно водил пером по промокашке.— Итак, по-вашему,— снова заговорил он,— подстрекнуть его к побегу может лишь возвращение в обычную тюрьму с решетками?

— Но нет гарантии, что и это поможет,— ответил Билл.

— То есть либо мафия, либо бешеные мальтийцы разорвут его на части?

— Либо он выбьется в начальники тюрьмы.

— Вы всегда были оптимистом,— невольно улыбнулся сэр Невилл.

— Я вообще не думаю, что мы можем с уверенностью ставить на возможность его побега. Ставить на это — значит принимать решение, возлагая при этом всю ответственность опять же на него самого.

— Иначе говоря, это значит принять решение чисто по-британски, прийти к компромиссу. Но компромисс ведь вполне может принести практические плоды, потому что никто не ожидает ничего подобного от такого столпа морали, как я.

— Но получите ли вы достаточное удовлетворение, позволив ему бежать, если считаете себя обязанным внести весомый вклад в обретение им свободы?

— При чем здесь удовлетворение? — резко отмахнулся сэр Невилл.— Надеюсь, я еще не превратился в старую бабу, нуждающуюся в ежедневной порции удовлетворения. Благодарю покорно, но я для этого слишком большой прагматик. Я всего лишь хочу избавиться от него. Я хочу, чтобы он вышел из-под моей юрисдикции; и не потому, что наши законы плохи или хороши, а потому, что он сделал их беспомощными. Я даже не питаю к нему сочувствия, я просто глубоко обеспокоен. Весь ужас не только его положения, но и нашего я осознал в тот момент, когда в зале суда его разобрал смех. Я вдруг внезапно увидел всех нас его глазами и почувствовал, что я смешон. А почему? Очень просто — потому, что в тот момент я и был смешон. Как и все остальные.

— Да, но когда его здесь уже не будет,— стоял на своем Билл,— не начнете ли вы думать, что мы должны были изыскать законную возможность освободить его?

— О боже,— вздохнул сэр Невилл.— Дожить бы еще до того дня, когда его здесь уже не будет. Нет, Билл. Мы ведь тщательно изучили все, как говорится, пути и возможности и не упустили ни одной мелочи. И никакого законного, конституционного способа избавиться от него мы не нашли. Тот странный американец, мистер Элбертс, как раз сказал мне тогда за обедом, проходившим в атмосфере сдержанной истерии, что даже самые блестящие конституции устаревают со временем и с непредсказуемым развитием прогресса. Прибытие в Англию начальника полиции американского города с револьвером за пазухой и есть один из непредсказуемых шагов этого самого прогресса, а если наш гость окажется лишь первой ласточкой и вслед за ним на наши берега хлынут его сотоварищи и начнут шататься по пивным, отправляя на тот свет стариков-шотландцев, то нет никакого сомнения в том, что по прошествии должного времени будет создан и соответствующий механизм для решения подобных вопросов — ведь наша юридическая система бредет вперед от прецедента к прецеденту, как человек, переходящий реку вброд, ступает с камня на камень. Но сейчас это пока еще случай беспрецедентный, и несчастному правосудию с его завязанными глазами не отличить Крамнэгела от заурядного профессионального убийцы. Потому-то я и не испытываю особого подвижнического желания изменить закон. Гораздо легче изменить место пребывания Крамнэгела.

— Легче ли?

Подумав немного, сэр Невилл наморщил нос.

— *Должно* быть легче, Билл.

Пьютри тоже немало поразила отличная репутация, заработанная Крамнэгелом в Лайберне.

— Ведь Лайберн — это просто рассадник разврата,— пояснял он сэру Невиллу.— Но я не думаю, что начальник полиции мог оказаться, как это принято называть, «латентным гомиком». Такие грешки обычно водятся за начальниками генштаба, римскими императорами и тому подобной публикой, но ни о чем подобном среди высших полицейских чинов я не слыхал. Если же дело не в этом, то нельзя не прийти к иному выводу, кроме того, что американская полиция дошла до состояния глубочайшего упадка. Чтобы человек даже не попытался совершить побег — это уж совсем предосудительно, особенно если с ним обращаются не столько как с преступником, сколько как с военнопленным. Нет, я этого не понимаю. И, будь у меня такие подчиненные, я бы им не доверял. В любом случае мы не можем следить за Лайберном вечно. Местная полиция недовольна нашим вмешательством в их дела, а мои люди скучают.

Как раз вечером того дня, когда Пьютри ослабил бдительность, вечером, когда чудесный солнечный день с хрустальной ясностью переходил в безмятежную ночь, Крамнэгел, придя ужинать, получил письмо. Этим днем он славно потрудился, устанавливая над алтарем уродливейший цветной витраж, изображавший то ли сотворение мира, то ли что-то в этом роде.

Щедро намазав на хлеб маргарин, Крамнэгел развернул письмо. И почти сразу же погрузился в чтение, забыв обо всем на свете. Дочитав до конца, он принялся читать письмо сначала, водя по каждой строчке пальцем, чтобы не пропустить ни слова. Затем сложил письмо, сунул в карман и машинально принялся снова за ужин. На лице его не отразилось ничего, но участия в застольной беседе он не принимал. Мозг его лихорадочно работал. Он вполне мог понять, что одиночество и шаткость

положения оказались для Эди непосильными — если она ему изменяла, то он не желал об этом знать; если ей так лучше, если она счастлива, ну и ладно, он ничего не имеет «против», он даже «за». Но развестись с ним сейчас, когда он оказался в беде,— это уже низость. Мало того: из всех мужчин во всем проклятом мире ей обязательно понадобилось выбрать именно этого сморчка Карбайда, этого ханжу, читающего ему нравоучения о борьбе с преступностью. Нет, это уж и впрямь слишком. Последняя соломинка переломила спину верблюда да еще как — вместе с горбом. Ярость, закипевшая в душе Крамнэгела, ослепляла его. В тот вечер должна была состояться премьера «Как важно быть серьезным». Он обещал Корал помочь с гримом. Выйдя из столовой, Крамнэгел побрел по коридору в уборную. Там в это время не было никого. Оставшись один, Крамнэгел больше не в силах был сдерживаться. Он завыл и забился о стену, пока его не остановило острое чувство боли. Лицо его задрожало, и по нему потекли крупные горькие слезы, он вскоре почувствовал во рту их солоноватый привкус. Опершись о переборку между туалетными кабинками, он горько рыдал. Наконец, рыдания его стихли, и хотя из легких его еще вырывались всхлипывания, он уже обрел способность думать.

Надо выбираться отсюда. Но не сейчас. Не сегодня вечером. Пожалуй, лучше бежать среди бела дня. Надо действовать по обстановке. Использовать фактор внезапности. Завтра работ на строительстве церкви нет, завтра предстоит идти на эти чертовы огороды. «Оттуда и смоюсь. Но сегодня надо приготовиться. Деньги, паспорт, все такое прочее. Что прочее, сам толком не знаю, но что-то быть должно. Прочее бывает всегда, только в большинстве случаев о нем забывают».

Теперь, когда у Крамнэгела появились зачатки плана, его охватило чувство животного благополучия, которого он давно не испытывал. Чувство было такое, как будто у него прорвался нарыв и наступило облегчение. Недоразумения, в которые он все время попадал, уже казались забытыми кошмарами прошлого. Ушли в прошлое его угрюмость, его благочестие — все личины, которые он нацепил на себя для самозащиты, были сброшены, и из-под них вновь выглянуло его старое свирепое «я». Он даже поблагодарил за это Эди и Карбайда: своими неосмотрительными действиями они заставили его очнуться и спасли от полной капитуляции. Думал он теперь лишь об одном — сладости мести. Если никто еще не говорил раньше, что месть сладка, думал он, то это должно быть сказано сейчас.

— Ты сегодня что-то больно веселый,— заметил Корал, уже в гриме леди Брэкнелл.— Уж не потому ли, что видишь, как я нервничаю?

— Что же тут удивительного, что нервничаешь,— ответил Крамнэгел.— Бог ты мой, у тебя же большая роль, да еще с такими вычурными словами. Вот и нервничаешь, конечно.

Перед началом спектакля Крамнэгел проводил Корал за кулисы и подбодрил его напоследок. Он наткнулся там на мистера Бэрджесса, работника тюремной администрации, отвечавшего за театральные постановки: под его руководством Крамнэгел должен был готовить роль гангстера в пьесе «Окаменевший лес».

— А, Крамнэгел,— сказал мистер Бэрджесс,— вы-то мне и нужны.

— Слушаю, сэр?

— Я попросил костюмеров прислать вместе с костюмами для этой пьесы пару костюмов для нашей следующей постановки, чтобы вы могли заблаговременно их прикинуть на себя. Вы ведь человек нестандартно больших размеров, поэтому вам надо подогнать костюм заранее, чтобы не создавать паники в последний момент.

— Да, хорошая мысль. А где эти костюмы, сэр?

— Где-то здесь, среди декораций.

— Вы хотите, чтобы я их примерил прямо сейчас?

— Нет, не сейчас. До начала спектакля осталось всего десять минут.

— Но я быстро.

— Нет, не стоит.

Вот черт! Окинув взглядом ворох одежды, Крамнэгел приметил три еще не распакованных коробки.

На премьеру, казалось, собралась вся тюрьма. Мистер Певерелл-Проктор отыскал Крамнэгела.

— Я только что снова был в церкви и просто глаз не мог оторвать от витража. Воистину славное дело. Как вы себя чувствуете после столь одухотворенного труда?

— Отлично, начальник... сэр... Просто отлично, такой чувствую душевный подъем.

— Да... да...— понимающе сказал начальник.

— Вот только брюхом время от времени маюсь.

Мистер Певерелл-Проктор, казалось, несколько удивился такому обороту беседы.

— Вам следует обратиться к доктору.

— С вашего позволения, зайду, сэр, если это будет продолжаться. Странно, ей-богу, всю жизнь у меня желудок работал как часы — а тут на тебе!

— Да, странно,— согласился начальник тюрьмы, думая совершенно о другом.

— Прямо судорогами схватывает.

— Что ж, надеюсь, что пьеса вам понравится,— заканчивая беседу, сказал начальник тюрьмы.

Пьесу Крамнэгел нашел несмешной и донельзя занудной, но даже придись она ему по вкусу, ему все равно было бы не до смеха. Выждав момент, когда почти все участники спектакля были на сцене, он встал, схватился за живот и пошел к выходу, постаравшись обратить на себя внимание мистера Певерелл-Проктора и продемонстрировать ему свои муки. Выйдя на воздух, он кинулся за кулисы. Со сцены доносились скучные реплики. Он услышал голос Корал: «Саквояж?» — после чего почему-то раздался взрыв смеха. Войдя в пустую артистическую уборную, Крамнэгел лихорадочно вскрыл картонку с костюмами и обнаружил в ней наряд священника. Священник явно был никзорослый. Положив сутану на место, он вскрыл следующую коробку. Там лежал жемчужно-серый костюм с широкими лацканами, рубашка и яркий цветастый галстук фасона двадцатых годов. Полный гангстерский наряд. Крамнэгел поспешно скатал костюм в узел, закрыл коробку, вышел во двор и побежал к уборным.

Запершись в уборной, он разделся до белья и натянул костюм. Костюм оказался велик. Тогда он снова переоделся в тюремную одежду и вернулся в свою комнату. Подняв матрац, он расстелил под ним украденный костюм, затем снова вышел во двор. Если б знать, сколько будет длиться эта проклятая пьеса...

— Что вы здесь делаете, Крамнэгел?

— Да вот живот схватило...

— Уборные в противоположной стороне.

— Я хотел прилечь немного. Плохо себя чувствую. Слабость какая-то.

— Вы ведь знаете, что посещение пьесы обязательно для всех, да? Если вам уже лучше, то я бы на вашем месте вернулся в зал.

— Да был я там. Начальник знает, что я вышел, я ему сказал.

— А, вот что? А как пьеса?

— Дерьмо собачье.

— Да ну?

— Зато Корал забавляется, как никогда в жизни.

— Ну и хорошо. А то всю неделю прямо как не в себе.

Как только надзиратель скрылся из виду, Крамнэгел метнулся к административному блоку, стараясь держаться в тени. Вокруг никого не было видно. К этому времени Крамнэгел уже хорошо изучил расположение тюрьмы и полагал, что знает, где что хранится. С облегчением вздохнув, он вошел из залитого светом коридора в темный кабинет начальника тюрьмы. В соседней комнате, где работали секретарши, должно находиться нечто вроде досье. Он огляделся по сторонам. Со стены на него снисходительно смотрела королева. Она, казалось, одобряла его действия. Он молча прошел в соседнюю комнату. Там даже сейфа не было. Слава богу, что в этом заведении все основывалось на доверии. «Верить в бога — значит доверять ближнему своему» — гласил девиз этой вонючей дыры, но по-латыни, разумеется, а для Крамнэгела было все равно, что латынь, что китайская грамота.

Он открыл ящик и нашел свое дело под буквой «К». К каждой карточке были прикреплены ключ и номер личного шкафчика. Открыв трясущимися руками шкафчик под номером 317, он увидел знакомый зеленый паспорт. С паспортной фотографии на него глядел более молодой, более энергичный Крамнэгел, человек с честным и решительным лицом, не познавший еще унижений и трагедии. Да, трагедии! Глаза живого Крамнэгела подернулись влагой от жалости к самому себе. Он достал из шкафчика деньги — почти тысячу долларов, которые были тогда при нем. Затем дос-

тал ключи и документы. Поколебавшись немного и ощутив острое чувство боли, он все же решил оставить свой револьвер на месте, почти как визитную карточку на память. Затем он запер шкафчик, снова прошел по коридору через административный блок и уже собрался было вынырнуть во двор, когда увидел валившую из театра толпу. Спектакль закончился. Теперь придется врать Корал, изображать восторг. Выйти из дверей административного здания, пока во дворе находились надзиратели и заключенные, он не смел — как же он объяснит, зачем он тут? В коридоре послышались голоса. Тяжело дыша, он прижался к стене. Как будет ужасно, если ему не повезет именно теперь, когда все шло так удачно. Толпа рассеивалась. Скоро во дворе никого не останется. Наконец он осмелился чуть-чуть приоткрыть дверь, выбрался наружу и замер. Потом осторожно двинулся вперед.

— А, вот он где! — раздался голос надзирателя. — О господи, ну и заставили же вы нас поволноваться!

Крамнэгел инстинктивно схватился за живот.

— Ой, как мне плохо,— простонал он.

— Все в порядке, сэр,— кричал надзиратель. — Он здесь. Говорит, что ему плохо.

Медленно подошли начальник тюрьмы и несколько надзирателей.

Мистер Певерелл-Проктор грустно улыбнулся.

— Боже мой, Крамнэгел! Как я мог сомневаться в вас... Но я и не думал, что вы способны совершить побег после всех наших общих трудов по строительству храма господня. Разве может святой Христофор [1], говорил я себе, бросить младенца в воду на середине пути? Вы оправдали мое доверие. Благодарю вас за это. Но вы пропустили великолепное зрелище! Какое наслаждение нам всегда доставляет Оскар! И как хорошо ему было бы в Лайберне! — Он вздохнул. — Но в его времена Лайберна еще не существовало, и Оскару Уайльду пришлось сидеть в Рединге, не так ли? — В его голосе зазвучали более начальственные нотки, вероятно потому, что в воздухе чувствовалась вечерняя прохлада. — Возьмите завтра больничный, Крамнэгел. Спокойной вам ночи.

— Вы слышали? — спросил надзиратель.

— Конечно.

— Это приказ.

Некоторые люди всегда — в силу своей профессии — делают все не так. Теперь придется менять планы. Но он уже изъял ключ из кабинета начальника и наряд гангстера из костюмерной. Держась на всякий случай за живот, Крамнэгел побрел в свою комнату, где, уже надувшись, его ждал Корал.

— Тебя не было в зале, когда дали занавес.

— Но то, что я успел посмотреть, мне очень понравилось, Корал, просто очень.

— Но до конца ты ведь не досидел. Тебя не было видно в зале, когда мы раскланивались.

— У меня живот схватило.

Крамнэгелу уже надоели эти игры. Корал сумел влезть в его жизнь, поскольку судьба свела их под одной крышей, и в их отношениях установилась ворчливая, почти домашняя атмосфера. Теперь же, когда Крамнэгел решил бежать, все это бесконечное перешучивание со стареющим гомосексуалистом, постоянно требующим к себе внимания, выглядело нелепо и неестественно.

— Начальник сказал мне, что, по его мнению, ты был просто великолепен, Корал.

— Начальник? Ты, значит, к ним подлизываться стал?

— Слушай, иди ты... стараешься сделать приятное, а он...

— Сам виноват. Ты ведь обещал мне, что будешь аплодировать, а сам ушел.

— Ну, ладно, ладно, ты заткнул за пояс и Сару Бернар, и Кэти Хэпберн, и Минни Маус, а помоги тебе чуток природа, так ты бы и Микки Мауса перещеголял.

Корал со свистом вдохнул воздух и надулся; эти слова Крамнэгела оказались последними, которыми им суждено было обменяться.

Оба легли спать молча, после того как каждый с подчеркнутой любезностью предоставил другому возможность первым воспользоваться умывальником, чтобы избежать необходимости разговаривать. В темноте Крамнэгел настороженно прислуши

[1] Ссылка на легенду о святом Христофоре, покровителе путников и мореплавателей.

вался к движениям соседа — тот долго ворочался в постели, все еще возбужденный спектаклем, вновь переживая каждый момент его. Наконец он заснул. Крамнэгел же занялся расчетами. Бежать следовало около полуночи. До Ливерпуля двадцать миль. Делая четыре мили в час, он достигнет района гавани часов в пять утра, ну, скажем, в половине шестого. А тревогу и погоню поднимут не раньше шести. Да, двигаться придется быстро. Он выполз из кровати и соскользнул на пол. Оделся как можно тише. Тюремную одежду сложил под простынями и в качестве злого прощального жеста снял с манекена парик соседа, взъерошил его и положил на подушку, прикрыв пододеяльником так, чтобы волосы только чуть-чуть торчали. Было просто здорово снова надеть рубашку с воротничком и галстуком, было здорово снова иметь в кармане свой паспорт и почти тысячу долларов наличными, да еще немного в дорожных чеках. Тихонько открыв дверь, он осторожно, с ботинками в руках, прошел по коридору и вышел во двор.

Самый удобный маршрут пролегал мимо строительной площадки церкви, а потом через невысокую стену и прямо в распаханное поле. Вокруг не было видно ни души. Крамнэгел вошел в здание церкви, перелез через груду мусора, вышел через недостроенную ризницу, прислонился к стене, чтобы надеть башмаки, и, пыхтя, принялся натягивать их на пятки. Он постарел и отяжелел. Прикинув на глаз высоту стены, он подпрыгнул, но до верха не достал. Обтерев ладони о брюки, он виновато огляделся по сторонам, испытывая чувство неловкости из-за неудачи первой попытки. Крамнэгел отошел назад и разбежался снова. Бежал он легко, неторопливо, воображая себя знаменитым прыгуном с шестом, но приземлился, увы, не по ту сторону перекладины. Что за идиотизм — не суметь убежать из тюрьмы без решеток только потому, что он не может одолеть такую низкую стену! Отчаяние, охватившее Крамнэгела, заставило его предпринять еще одну попытку и разбежаться энергичнее, чем раньше. На этот раз вцепился в стену, чтобы не упасть. Но и подняться он не смог, а просто повис на стене, пытаясь отдышаться. Неожиданным движением, рассчитанным на то, чтобы захватить стену врасплох, он зацепился одной рукой за верх и медленно потянул вверх по шероховатой поверхности левую ногу. Последним усилием он взвалил свое тело на стену и замер, уронив голову на шероховатый бетон. Появись сейчас у стены собаки, он сдался бы без малейшего сопротивления. Но вскоре инстинкт самосохранения взял верх. Крамнэгел перекинул свое изнывающее от боли тело на другую сторону и мешком сполз вниз. И вот он уже брел по взрыхленному чернозему поля.

Ориентируясь по дорожным указателям, Крамнэгел определил направление на Ливерпуль и через некоторое время вышел на шоссе. Он, разумеется, предпочел бы проселочные дороги этому огромному открытому шоссе, где одинокий пешеход всегда привлекает к себе внимание, и рассудил, что если идти против движения транспорта, то вряд ли кому из водителей придет в голову подобрать его. Нужно как можно быстрее добраться до гавани — там он легко затеряется в вечной суете морского порта; бредущий же по ночному шоссе человек в голубой рубашке с белым галстуком, на котором охорашивается павлин, и в пропахшем нафталином добротном, с широкими лацканами, деловом костюме серо-стального цвета не может не привлечь к себе внимание. Неожиданно рядом остановилась машина. Крамнэгел замер, схваченный светом фар. Полиция.

— И куда же это вы, по-вашему, направляетесь? — поинтересовался голос с типично ланкаширским акцентом.

— Слышь, парни, я в Ливерпуль иду или нет?

— Никак янки?

— Натурально. Хлебнул, понимаешь, и... Тьфу ты, ну и надрался же я! Слышь, а куда это меня занесло, черт возьми? И куда подевалась эта рыженькая?

Из полицейской машины донесся добродушный смех.

— Вы хоть помните, в какой вы стране?

— Ну, это-то я знаю. Не, не подсказывайте, я сам вспомню... Соединенное Королевство? — напрягшись, предположил он.

— Откуда вы? С военно-воздушной базы в Шиддингтоне?

— Не-а, я моряк... радист с американского корабля... О господи, забыл, как называется моя треклятая коробка!

— Не «Титаник» случаем? — предположил один из полицейских, вызвав дружный хохот остальных.

— Гм...

— Пока до гавани доедем, вспомните?

— Доедем?

— Влезайте в машину, мы вас подбросим к границе портового района. Дальше не можем — не наш участок.

Они ехали, и рация без умолку трещала, передавая сведения о мелких кражах и подозрительных бродягах. Глядя на минутную стрелку, двигавшуюся по кругу, Крамнэгел все больше и больше нервничал. Он то и дело представлял себе, как эта старая кляча Корал встает среди ночи, чтобы сходить в сортир, обнаруживает пропажу парика и закатывает истерику. С него вполне станется перебудить всю тюрьму из-за своего паршивого парика. Такого, правда, до сих пор не бывало, но Крамнэгел рассердился от мысли, что Корал может это сделать. Нос его вдруг нервно дернулся, почуяв заливший кабину запах камфоры. Крамнэгел сунул руки в карманы пиджака, чего не удосужился сделать раньше, и обнаружил, что они набиты маленькими шариками.

— Откуда это так разит нафталином? — спросил водитель.

— Э... э... От меня, наверно,— ответил Крамнэгел.

— Что, любите этот запашок?

Ишь остряк нашелся! В Крамнэгеле уже зашевелился призрак полицейского начальника, готового облаять сопляка-водителя и рявкнуть на него: какого, мол, черта он вылезает со всякими замечаниями, достаточно непонятными, чтобы быть оскорбительными?

— Я провожу большую часть жизни в море, юноша,— отвечал Крамнэгел с достоинством, в котором прозвучала нотация.— А выходной костюм у меня один, вот мне, значит, и приходится за ним следить. А в Китайских морях моль — что твоя летучая мышь, так и жрет все, зараза.

— В Китайских морях? — спросил третий полицейский. — А я думал, вы туда больше не ходите.

— Когда я говорю «Китайские моря», я, значит, имею в виду воды вокруг Тайваня, ясно? — прорычал Крамнэгел.

Тем временем рация продолжала монотонно бормотать, сообщая о мелких кражах, подозрительных бродягах, попытках ограбления со взломом и даже о попытке изнасилования. Проведя по лбу рукой, Крамнэгел смахнул несколько капель холодного пота и понял, что ему страшно. О боже, ну дай человеку хоть один шанс. Он просто не может допустить, чтобы его схватили прямо в полицейской машине, когда по рации поступит сигнал о его побеге. Ничего себе история получится, курам на смех. «Да вы знаете, где его взяли?» — уже слышал он издевательский вопрос. «Крамнэгела? Это *Крамнэгела* так поймали? Да не может быть... Не может... Что? Даже не ФБР, а англичашки? Анг-ли-чаш-ки?»

— Выпустите меня! — прорычал он.

— Мы же еще не доехали,— удивился водитель.

Взяв себя в руки, Крамнэгел мирно сказал:

— Счас блевану.

Резко взвизгнули тормоза, громче, чем в любом гангстерском фильме. Выбравшись наружу, Крамнэгел перегнулся пополам и закашлялся, схватившись за горло.

— Подождать вас? — окликнул его водитель.

Отрицательно махнув рукой, Кремнэгел рухнул на колени. Так, хорош. Главное — не переигрывать. Он снова поднялся на ноги и глубоко вздохнул. А то еще переборщишь, чего доброго, да и угодишь в больницу. Он услышал, как отъехала машина. От разыгранного спектакля у него действительно так схватило живот, что он скорчился, а на глазах выступили слезы.

— О боже! — сказал он.

Первые неуверенные и робкие лучи рассвета уже пробивались оранжевыми пятнами сквозь низко нависшее серое небо, когда остроконечные черно-белые гангстерские башмаки Крамнэгела ступили на сырые булыжники мрачной территории ливерпульских доков. Туфли эти были созданы для гладких паркетов бальных залов и будуаров, а не для скользкой и неровной мостовой, и Крамнэгел совсем сбил себе ноги. Он принялся высматривать подходящий корабль. Судить о том, насколько корабль ему подходит, он мог лишь на глаз — в надежде, что новичкам всегда везет. Крамнэгел, как и следовало ожидать от человека его склада, принялся высматривать американский

флаг, как высматривает шпиль знакомой колокольни почтовый голубь. Но американский флаг он нашел лишь над одним судном — огромным кораблем, по виду военным транспортом, на борту которого красовалась надпись «Генерал Огастас Б. Сэвидж». Вряд ли подходящее судно для беглеца — Крамнэгелу оно представилось скорее гигантским плавучим патрульным автомобилем.

Чем быстрее светало, тем больше Крамнэгел нервничал. Однако его успокаивало то безразличие, с каким люди, находившиеся в доках в эти утренние часы, проходили мимо друг друга. В обычное время Крамнэгел счел бы такое к себе отношение проявлением враждебности. Но сейчас он был за это благодарен.

Повернувшись во сне на другой бок, Корал открыл один глаз и тут же снова зажмурился. Какие-то мысли промелькнули в его не проснувшемся еще мозгу, да так быстро, что лоб невольно нахмурился. Глаз раскрылся снова, вслед за ним второй. Привыкая к полутьме, он посмотрел на подставку для своего парика. Подставка была такой же гладкой и блестящей, как и его собственный череп. Он сел на кровати, охваченный внезапным приступом паники. Исчезли его волосы! Он перевел взгляд на кровать Крамнэгела. На подушке торчал хохолок, но тело странным образом съежилось. Корал тихонько поднялся с постели, словно увидев что-то сверхъестественное, резким движением сорвал с кровати соседа одеяло и завопил.

Несколько минут спустя мистер Певерелл-Проктор уже говорил по телефону с полицией, а затем, получив в Скотланд-Ярде номер, связался с Пьютри, который согласился, что случившееся достойно сожаления.

— Далеко не уйдет,— услышал Пьютри собственный голос и немедленно набрал номер сэра Невилла. — Надеюсь, что не разбудил вас, сэр Невилл. Дело в том, что Крамнэгел смылся, дал деру.

— Слава богу! — вскричал сэр Невилл.

— Я считал нужным поставить вас в известность, но не думаю, что нам следует проявлять такой энтузиазм.

— Но почему?

— Мало ли кто может нас услышать.

— Кому есть дело до Крамнэгела? — заметил сэр Невилл.

— Полиции,— весьма раздраженно ответил Пьютри.

— Неужели вы хотите сказать, что у нас прибегают к подобным методам?

— Ну, мало ли что бывает иногда, одна линия подключается к другой...— пробормотал Пьютри.

— Что ж, в таком случае спасибо вам за трагические новости,— весело ответил сэр Невилл. — Так лучше?

— Не стоит благодарности. Я немедленно еду на службу, только вот побреюсь.

События развивались со скоростью, превзошедшей худшие предположения Пьютри. Приехав в новое здание Скотланд-Ярда, он обнаружил, что его сотрудники настроены весьма оптимистично, поскольку экипаж полицейской машины сообщил, что подвозил человека, приметы которого совпадали с приметами Крамнэгела, и этот человек совершенно явно направлялся в гавань. Пьютри раскурил трубку, чтобы избежать необходимости высказывать какое-либо мнение, и, спрятав лицо в клубах сизого дыма, принялся ругать про себя Крамнэгела. С таким везением и такой сноровкой его наверняка арестуют, когда он обратится к постовому с просьбой сказать, который час,— причем обратится вовсе не затем, чтобы действительно узнать время, а просто из потребности в человеческом общении.

Однако в этот момент Крамнэгел уже находился на борту грузового парохода «Агнес Ставромихалис», имевшего обыкновение шляться вокруг света подобно нищему бродяге, перевозя среди прочих грузов из одного порта в другой грязь и ржавчину. У его флага было что-то общее со звездно-полосатым полотнищем, поэтому душа Крамнэгела откликнулась на изображенный на нем символ, хотя на флаге красовалась всего одна звезда вместо привычного гордого созвездия. О порте приписки корабля — Монровии [1] — Крамнэгел никогда и слыхом не слыхал, но решил, что он, должно быть, находится в Техасе, поскольку у штата Техас на флаге одна звезда. Вот ведь суки, даже свой собственный флаг заимели! И он окончательно запутался, узнав, что командует кораблем грек по имени Фемистокл Макарезос.

[1] Столица Либерии.

— Звучит вроде по-шотландски.

— Разве я похож на шотландца? — дружелюбно спросил капитан, буравя Крамнэгела маленькими, как две смородинки, глазками, разделенными тонким, как лезвие бритвы, длинным носом.

— Ну уж цену-то вы заломили точно как шотландец, это я вам верно говорю. Сколько, значит, вы хотите?

— Пятьсот долларов — наличными.

— Да вы отдаете себе отчет, что просите?

— А вы сравните эту цену со стоимостью каюты обычного рейсового лайнера.

— Где я, по-вашему, достану нужные документы?

— На берегу. Мы отплываем только через два часа,— непринужденно ответил капитан.

Колеблясь, Крамнэгел облизал губы. Макарезос улыбнулся.

— Что, некогда сбегать за ними? — спросил он.— Все ясно. Итак, я избавляю вас от ненужной суеты, излагая вам факты, как они есть. Вам нужно лишь довериться мне. Идет?

Крамнэгел снова заерзал, похлопывая себя по карманам.

— Ну, ладно,— сказал капитан, как бы предлагая положить конец шуткам и перейти на серьезный тон.— Взвесьте сами преимущества и недостатки ситуации. У вас есть причина убраться из Англии, у меня есть возможность вас вывезти. Удобной кровати, чистой воды, съедобной пищи — этого я вам предложить не могу. Это вам может предложить рейсовый океанский лайнер. Но если у вас нет желания проходить таможенный досмотр, то лучше плыть со мной. И прошу я за это всего-навсего пятьсот долларов да еще, может, немного нетрудной работы.

— Работы? Я, значит, должен вам выложить половину косой, да еще и работать сверх этого?

— Совсем немножко.— Многозначительно пожав плечами и подняв вверх брови, капитан сумел придать своим словам оттенок иронии.— Палубу подраить, посудку помыть, здесь вытереть, там подтереть — вас от этого не убудет. Я бы и сам этим занимался, да только я ведь капитан, а это не способствует укреплению авторитета капитана в глазах команды.

— А как насчет профсоюзов? — упрямо спросил Крамнэгел.

— На этом корабле профсоюза нет.

— Нет? — откликнулся возмущенным и неверящим эхом Крамнэгел.

— Похоже, вы не привыкли плавать на не охваченных профсоюзами кораблях,— холодно заметил Макарезос.— В таком случае, если работа на корабле, где нет профсоюзной организации, вам не по душе... другими словами, если вы смутьян, ищите себе другой корабль.

Крамнэгел мгновенно обдумал положение. И почему он вечно проявляет благочестие там, где не надо? Какое безумие заставило его ринуться через тюремный двор, подобно атакующей кавалерии, чтобы ввязаться в драку с бегущим из тюрьмы заключенным? Почему, черт возьми, из него все время лезет полицейский? Какое там — полицейский! Патриот, а не просто полицейский, патриот с возвышенным образом мысли, с чистым образом жизни, богобоязненный миссионер, действующий от имени всего человечества... И что прикажете делать такому чудесному человеку, если он попал в столь грязный мир?

— В гробу я их видал, эти ваши профсоюзы,— буркнул он, пытаясь развеять впечатление о себе как о смутьяне.

Капитан улыбнулся:

— Я выразился не совсем точно, сказав, что мы не охвачены профсоюзом.

— То есть как?

— Мы принадлежим к профсоюзам Либерии,— продолжал капитан.

— Это еще что за чертовщина?

— Не имею ни малейшего представления,— отвечал капитан.— Итак, что же вы решили?

— Вы идете в Галвестон, штат Техас?

— Верно.

— И просите пятьсот колов.

Не успел капитан ответить, как в каюту ввалился какой-то азиат и пробурчал что-то на непонятном восточном языке. Поскольку европейскому уху в каждом восточном

языке слышится сигнал тревоги, Крамнэгел не мог понять, звучала ли тревога в интонациях вошедшего или в его словах. Капитан же все понял и повернулся к Крамнэгелу.

— Полиция уже здесь,— кратко пояснил он.— Все ясно. Тысяча долларов.

— Тысяча...

— Я готов проявить благородство — семьсот пятьдесят. Будьте благоразумны. Мне ведь надо что-то дать и команде. Они знают, что вы здесь.

— Ах ты, грязная...

— В таком случае будьте любезны следовать за мной.— И капитан резко бросил что-то односложное матросу-азиату. Перед мысленным взором Крамнэгела промелькнула стена, на которой он совсем недавно лежал, и это последнее унижение перетянуло чашу весов.

— Согласен,— прошипел он.— Семьсот пятьдесят.

Выставив матроса за порог, капитан запер дверь, вскочил на свое вращающееся кресло и снял с потолка гнилую деревянную панель, местами покрашенную светло-голубой краской, чтобы скрыть наиболее безнадежно прогнившие куски.

— Лезьте туда,— приказал он.

— Туда? — простонал Крамнэгел.— Да мне в жизни не влезть.

— Я вас подпихну. Слышите голоса? Это полиция.

Крамнэгел мужественно взобрался на шаткое кресло и собрался с силами, чтобы залезть в дыру, однако это казалось ему столь же невозможным, как если бы парашютисту предложили вернуться обратно в люк самолета после того, как он выпрыгнул из него.

— Неужели у вас нет другого места?

— Не тратьте зря драгоценного времени. Мне приходится думать не только о вас, но и о своей репутации. Ну, живо, раз, два — пошел!

Крамнэгел словно заново пережил все то, что происходило с ним у стены тюрьмы, но на этот раз в присутствии свидетеля. Он повис было в воздухе, потом задергался и лишь спустя некоторое время с облегчением разлегся на деревянных балках.

— Эй, откуда это такой вонью несет?

— Из камбуза.

Сначала Крамнэгела окружала лишь тишина и смесь дурных запахов. Затем он услышал голоса и сквозь многочисленные щели увидел синие фуражки полицейских и среди них один шлем, верхушка которого чуть не царапала потолок. Полицейские осматривали каюту, затем один из них постучал фонариком по потолку.

— А там, наверху, что?

— О, это просто декоративные панели, а за ними — металлический каркас. Там всего-то места, чтобы засунуть какие-нибудь тряпки да банку с краской. Сигарету? — быстро предложил капитан.

— На службе не курим.

— Это египетские. Возьмите домой. Очень приятно выкурить такую после обеда.

— Большое спасибо.

Угостившись сигаретами, полицейские пошли обыскивать другие помещения. Крамнэгелу казалось, что он лежит в своем убежище уже несколько часов. Когда глаза его привыкли к темноте, он увидел две точечки света, немигающие и очень близко одна к другой расположенные. Потом они неторопливо приблизились к нему и оказались глазами крысы — крысы, до того насытившейся содержимым кладовой, что ее ноги с трудом несли массивное колышущееся туловище.

— А ну, кыш отсюда! — прошипел Крамнэгел, вдруг приревновавший к ней свое крохотное убежище.— Кыш, кыш, катись в свою нору! — Крамнэгел пытался напугать крысу, но без шума и так, чтобы все осталось только между ними. Однако производимые им звуки соответствовали, видимо, словам доверия и ласки на крысином языке, поскольку громадная тварь лишь придвинулась ближе, радостно и озорно посапывая. Крамнэгела передернуло от ужаса, он почувствовал, как волосы у него встают дыбом. Но грохот якорных цепей отвлек крысу от активного продолжения нового знакомства, она отвернулась от Крамнэгела и улеглась, чтобы восстановить силы, похожая на огромную бежевую подушечку для иголок. Грохот цепей сопровождался выкриками матросов, плеском воды и стонами пытающихся включиться механизмов. Затем приливная волна выхлопных газов от дизелей облаком окутала и Крамнэгела и крысу, которая поспешно удалилась в темноту, что-то ворча высоким, скрипучим голосом диккенсовского персонажа.

Крамнэгел увидел, что капитан вернулся в каюту, и постучал по незакрепленной панели.

— Мне уже можно спускаться? — осторожно спросил он.

Капитан с усмешкой посмотрел вверх.

— А в чем дело? Разве вам не нравятся ваши покои?

— Мои покои? — Крамнэгел отодвинул панель.— Это мои покои? — спросил он гневно.— За семьсот пятьдесят долларов это мои покои?

— Вполне могли бы быть вашими, если бы вы не пожаловались.

Ну и тип! И шутки у него какие-то дурацкие.

— А вы знаете, что у вас здесь водится крыса?

— И не одна. Вы какую видели? Такую здоровущую?

— Вы что, хотите мне сказать, что они у вас вместо домашних животных?

— Не совсем. Вы слышали когда-нибудь о том, что русские называют сосуществованием? Вот и у нас так — мы сосуществуем с крысами, крысы сосуществуют с нами. Вооруженный нейтралитет. Так какую вы видели — здоровущую?

— Пожалуй, ее можно назвать здоровущей, а уж дородной — точно.

— Это Электра — мать, бабушка, любовница и тетка. Если вы сумели с ней поладить, вас это характеризует с хорошей стороны. А теперь постарайтесь поладить и со мной. Я спас вас от полиции. Как насчет моего вознаграждения?

Крамнэгел встал вполоборота к капитану, чтобы сосчитать свои деньги. С превеликим сожалением он расстался с семьюстами шестьюдесятью долларами.

— Вы должны мне десять долларов,— сказал он.

— А вы обязаны мне свободой,— улыбнулся в ответ капитан.

— Если, по-вашему, десять долларов такой пустяк,— вскричал Крамнэгел,— то давайте мне назад двадцатку, тогда я буду должен вам десять долларов.

— Хорошо, я должен вам десять долларов,— пропел капитан.— А теперь сидите здесь и не высовывайте носа. Мне нужно идти на мостик, чтобы вывести эту мышеловку в открытое море, где у моих дурней будет меньше шансов в кого-нибудь врезаться.

— Мышеловку? — переспросил Крамнэгел.

— И огнеопасное сооружение к тому же. Официально зарегистрировано как непригодное для плавания. Толщина корпуса в некоторых местах достигает лишь одной восьмой дюйма. Двигатель барахлит. Могу продолжать до бесконечности. Плавать умеете?

— Нет, не умею,— не сказал, а почти проорал Крамнэгел, но капитан уже поднимался по трапу на мостик. «Ни хрена себе чувство юмора, в жизни такого не встречал».

В Лондоне Пьютри покинул Скотланд-Ярд, где царила атмосфера оптимизма, и отправился к сэру Невиллу.

— Правда, самая лучшая новость — это отсутствие новостей? — спросил его сэр Невилл.

— Полностью с вами согласен, но на самом деле отсутствие новостей не является отсутствием новостей, коль скоро каждую минуту мы рискуем узнать новости. Если полиция не схватит его при первом досмотре кораблей в порту, то она снова прочешет все корабли пресловутым частым гребнем, обращая особое внимание на суда, держащие курс на США.

— Вам известно, откуда пошло выражение «прочесать частым гребнем»? — спросил сэр Невилл.

— При всем уважении к вам, сэр Невилл, я не считаю, что сейчас подходящий момент читать мне лекции,— отрезал Пьютри.

— Я сам этого не знаю,— объявил сэр Невилл,— поэтому я у вас и спросил.— Главный прокурор сегодня был в самом мальчишеском, самом задиристом настроении.

Подняв телефонную трубку, Пьютри заказал разговор с Ливерпулем.

— Что вы намерены предпринять? — спросил Билл Стоккард.

Пьютри чуть улыбнулся Биллу, но не сэру Невиллу.

— Намерен рискнуть,— ответил он.

— Разумно ли это? — спросил сэр Невилл.

Пьютри не ответил. От необходимости отвечать его избавил телефонный звонок.

— Алло, пожалуйста, инспектора уголовной полиции Голэма. Пьютри, из Скотланд-Ярда.— Потом, после минутной паузы: — Алло, Брюс? Как там с Крамнэгелом, не

повезло еще? Ну и ничего удивительного. Его взяли в Стаффорде... Что? Очень просто: сел рано утром на поезд в Ливерпуле... Да, поезд пришел в Стаффорд минут двенадцать назад... Мы взяли его... Что?.. Ну, вполне естественно, что, находясь столь близко от порта, преступник, особенно преступник, хорошо знакомый с методами работы полиции, подумает, что полиция непременно бросится искать его в порту... Да нет, это абсолютно не моя заслуга, Брюс... Часто аплодисменты срывает тот, кто забил гол, хотя на самом деле заслужил их тот, кто дал ему пас... Такова жизнь...— Он медленно повесил трубку.

— Это риск,— объявил сэр Невилл, как бы классифицируя явление, с которым столкнулся впервые в жизни.

— Как вы будете выкручиваться, если начнется расследование? — поинтересовался Билл.

— Я еще не решил, потому и сказал, что это риск. По части подготовки я успел лишь познакомиться с железнодорожным расписанием. У меня просто физически не было времени продумать подробно все возможные последствия.

— Вы можете все отрицать,— несколько напряженным голосом предложил Билл.

— Это, конечно, был бы самый жестокий и некоторым образом самый безопасный выход из положения. Мне, как говорится, пришлось бы до известной степени злоупотребить авторитетом занимаемой должности: слово Голэма против моего. Либо можно было подождать полчаса и заявить, что произошла ошибка. Так, конечно, намного опаснее, поскольку в таком случае придется изобретать целую цепь воображаемых событий и придерживаться изобретенной версии. Но это глупый путь, бессмысленный. Идти по нему — только напрашиваться на неприятности.

— И именно по нему вы, без сомнения, и пойдете,— заметил сэр Невилл.

— Пожалуй, да,— вздохнул Пьютри.

— Вы могли бы довериться Голэму,— предложил Билл.— Так же, как доверились экипажу патрульной машины.

— Впоследствии. Впоследствии — да. Это единственный способ поставить точку. Заговорщикам всегда лестно быть посвященными во что-то, чего не знают другие.

Зазвонил телефон. Сэр Невилл взял трубку. Выражение его лица изменилось.

— Министр внутренних дел,— доверительно сообщил он своим сообщникам, прикрыв трубку рукой. В предвкушении разговора с министром к нему вернулись и энергия, и невинное выражение лица, и игривость.— Доброе утро, сэр,— сказал он в трубку.— Да, для этого времени года — безусловно...— Он помрачнел.— О, вы имеете в виду специальный выпуск вечерних газет, не так ли? Нет, я никак не мог, я всего лишь несколько минут назад услышал об этом сам... О да, я думаю, нет никакого сомнения в том, что он будет пойман... Это верно, да, в самом деле, он никогда не проявлял прыти, которой можно было бы ожидать от человека в его положении... нет...— Сэр Невилл снова замолк, внимательно и сосредоточенно слушая голос в трубке, затем глаза его загорелись боевым огнем. Наконец он заговорил четко и ехидно: — У меня сложилось впечатление, господин министр, что я выполнял ваши указания. Не только скрупулезнейшим образом, но также и в том духе, в каком они были отданы... Я никогда бы не поднял этого вопроса, но коль скоро вы снова к нему возвращаетесь, я могу лишь сказать, что доведись мне давать в суде показания под присягой, мне пришлось бы признать, что это вы предложили поместить Крамнэгела в тюрьму без решеток и тем самым подтолкнуть его к побегу... Шутка? Ваше слово против моего? Очень странно, что вы заговорили об этом... Я не имею ни малейшего желания впадать в мелодраму, поверьте мне, господин министр, я обладаю иммунитетом против всяческих мелодрам; в любом случае я скоро ухожу в отставку и, если на то пошло, могу легко поддаться искушению взяться за мемуары... Что же до вашего слова против моего, то я — королевский адвокат, а вы — политический деятель... Нет, я не испытываю абсолютно никакого страха перед возможными последствиями... Что? Я совершенно спокоен, уверяю вас... Забыть об этом разговоре?.. Только в том случае, если я сохраню за собой право вспомнить о нем в случае необходимости... В нашей профессии никто, по всей видимости, не может знать, что произойдет дальше... Простите?.. Риск?..— Он подмигнул Пьютри и Стоккарду.— Удачный выбор слова, смею заметить... Риск? А что такое риск, как не образ действий, разумный сам по себе, но не учитывающий предрассудков и глупости других людей... Недальновидность? Возможно...— Голос его зазвучал очень холодно и безжалостно. Было очевидно, что сэр Невилл беспредельно наслаждался этим разговором. Выслушивая сомнения, увертки и увиливания своего собеседника, он с каждой секундой все больше и больше брал над

ним верх своим многозначительным и напряженным молчанием. Наконец он соизволил заговорить: — Господин министр, каждый день вам, наверное, приходится принимать тысячи решений по различным вопросам. Если каждое из них вызывает у вас впоследствии подобные угрызения и потребность в самокопании, то позвольте покорнейше посоветовать вам, пока не поздно, подыскать себе какую-нибудь иную работу, более соответствующую вашим блестящим способностям. Возможно, премьер-министр сочтет уместным перевести вас в министерство иностранных дел. Безусловно, развитие отношений с иностранными государствами не требует столь высоких этических критериев, как те, которые вы привносите в деятельность министерства внутренних дел, зато ваша склонность к шантажу может при удаче принести стране великую славу, а в худшем случае может быть заглажена ловким переводчиком... Наглость? Прошу прощения. Каждый феникс нуждается в пламени, чтобы потом восстать из пепла. Я бесконечно признателен вам, сэр, за то, что вы обеспечили меня им. Так или иначе, вы ведь дали мне определенные инструкции, которые я выполнил в полную меру своих способностей. Я передал ваши пожелания новому Скотланд-Ярду и уверен, что миссия, которую вы на нас возложили, в скором времени будет успешно выполнена в лучших традициях... Алло, алло... Он бросил трубку,— свирепо улыбнулся сэр Невилл. И, помолчав, добавил: — Теперь мы настоящие заговорщики.

— Зачем вы зашли так далеко? — спросил Пьютри.

— Не так уж далеко я зашел,— ответил сэр Невилл.— Я всего лишь ускорил свою отставку.

— Напротив. Вы для Белпера гораздо опаснее вне министерства, а не внутри его. Свобода вам заказана, если случится какая-нибудь неприятность,— сказал Билл.

— Какая может случиться неприятность? — спросил сэр Невилл.

— Теперь Крамнэгел уже на пути к своим, и дай им всем бог здоровья.

— Мусор благополучно заметен под ковер,— мягко заметил Билл.— Его не видно, но это вовсе не значит, что он исчез навсегда. Спросите миссис Шекспир.

15

Путешествие на борту «Агнес Ставромихалис» не было особенно примечательным с точки зрения морских приключений, поскольку царившая на корабле атмосфера скорее заставляла вспомнить сырые чердаки Достоевского, чем капитанские мостики Джозефа Конрада или паруса Мелвилла. Если бы ржавый корпус судна не раскачивался, отчего Крамнэгела все время тошнило, он и не заметил бы, что находится в море. Еще хуже было то, что любой встречный корабль двигался, казалось, с безмятежной грацией лебедя, в то время как гордость Либерии задыхалась, вздрагивала, изрыгала клубы черного дыма, повисавшие в воздухе в разных направлениях, как ветви японской вишни, и еле передвигалась. Первый день прошел почти без всяких событий. К борту корабля подошла моторная лодка и доставила несколько чемоданов, а в обед случился эпилептический припадок у кока Сон И., как раз когда он подавал суп. Крамнэгел мгновенно принял командование на себя: засунул китайцу в рот тряпку для мытья посуды, скрутил его и, прижав к полу, как бешеную собаку, держал до окончания приступа. И только тут обнаружил, что, пока он демонстрировал свои познания, почерпнутые на курсах по оказанию первой помощи, остальные съели его обед.

— Надеюсь, вы очень горды собой! — завопил он. Все, как один, кивнули, давая понять, что так оно и есть.

— Они не говорят по-английски,— объяснил капитан.

— Слушайте, а что доставили на борт те чернявые ребята в лодке? — спросил Крамнэгел.

— Я помогаю всем, а не только беглым каторжникам,— последовал любезный ответ.

— Опиум, да? Или героин?

— Можете вернуть деньги за проезд и даже еще заработать, если пронесете часть этого добра.

— Через что пронесу?

— Через американскую таможню.

Крамнэгел глубоко вздохнул. Все восстало в нем, все его моральные принципы возмутились, душа бурлила, как кипящий котел. Он даже почувствовал, как горят его щеки от благородного негодования.

— Сколько? — Он услышал, как задрожал его голос, произнося слова, глубоко противные душе.

— Потом поговорим.

На второй день путешествия Али Бен Ибрагим пырнул ножом Сервеса, матроса с Мальдивских островов. Мотивы ссоры остались неясными, поскольку языков друг друга они не знали, но матросы восточного происхождения были убеждены, что Али Бен Ибрагим заподозрил в своей жертве еврея. Али Бена Ибрагима пришлось заковать в кандалы, и Крамнэгел оказался единственным человеком на борту, который был способен с этим справиться.

— Я уже начинаю спрашивать себя, что бы мы делали без вас,— рассмеялся капитан во время второго несъедобного ужина.

— Как вы, черт возьми, можете есть это дерьмо?

— Уж не умеете ли вы стряпать, а?

— Лучше, во всяком случае, чем ваш кок.

— Может, возьметесь за камбуз? Тогда этого припадочного китаёзу можно будет вышвырнуть за борт.

— Вы что, серьезно?

— Да. Их ведь почти восемьсот миллионов, его никто и не хватится.

Крамнэгел хмыкнул.

— Не нравятся мне ваши шутки,— сказал он.

— Это еще почему? Вы что, никогда никого не убивали?

— Убивал, конечно. Слушайте, я убил двоих, а может и больше, но хвастаться тут нечем. Это, позвольте вам сообщить, дело нехитрое. Куда более нехитрое, чем оставить им жизнь.

— Мне нравится ваше отношение к делу,— сказал капитан.— Вы, оказывается, вовсе не такая скотина, какой кажетесь.

— Чем вы занимаетесь? — неожиданно спросил Крамнэгел.— Такой человек, как вы, мог бы заработать кучу денег в районе борделей любого городишка средней руки. Зачем вам наживать себе язву, служа капитаном на вонючей консервной банке?

Капитан задумчиво улыбнулся.

— Здесь я хозяин. А в городе? Компромиссы, компромиссы, проценты, взятки, грязь, грязь. И вечно все надо помнить. Кто сколько получает. Да кому это все нужно? А потом — итальянцы. Сицилийцы. Куда ни плюнь. Все только для своих. Это же просто безнравственно — своя лавочка для дядей, тетей, кузенов, братьев. В море все по-другому.— Он усмехнулся торжествующе и высокомерно.— Пусть только какой-нибудь сицилиец сунет сюда свою грязную рожу. Здесь монополия для греков. Сюда я могу пустить дядей и тетей и пустил бы, если бы мог им доверять. К сожалению, они тоже греки.

— Мэр нашего города, он тоже грек.

— Да? Молодец парень, молодец. А чем вы занимаетесь? Чем зарабатываете себе на жизнь? Просто удивительно, что вас с такой силищей не взяли в полицию.

Крамнэгел почувствовал, что его так и распирает от сознания своей силы и власти, но тут же вновь обретенное умение быть двуличным взяло верх.

— Да я и мертвый бы к этим свиньям не пошел,— прочувствованно произнес он.

— Вот это мне по душе.— Капитан прищурил глаза, как бы оценивая и взвешивая личность собеседника.— А знаете, мы бы с вами могли войти в весьма долгосрочные отношения.

— Какие же?

— Я перевожу наркотики. А вы будете проносить их через таможню и распространять.

— Доход пополам?

Капитан от души расхохотался.

— Что у вас на уме? — спросил Крамнэгел.

— В конце концов, это ведь мое дело,— ответил капитан.— И я принимаю вас в него.

— Принимаете за сколько?

— Сколько платит актер агенту? Беру вас за десять процентов с выручки.

— Десять процентов выручки за девяносто процентов риска? Идите вы...

Третий день в море прошел без происшествий, если не считать того, что глухонемой матрос с Тринидада по имени Икабод Бейнс пырнул ножом старшего помощника, уроженца Брунея, и капитан предложил Крамнэгелу пятнадцать процентов вместо десяти.

— Не пойдет.

На четвертый день кончились кандалы, да и стена, к которой людей приковывали, прогнила настолько, что рухнула, и всех нарушителей дисциплины пришлось освободить.

— Почему бы вам не набрать англоязычную команду, которой хоть управлять можно? — спросил Крамнэгел, сделав минутный перерыв: он распиливал кандалы, в которые был закован Икабод Бейнс.

— Вы меня что, за дурака держите? Единственный экипаж, который устраивает меня в моем деле, это люди, не способные общаться между собой. Ясно? Самый лучший матрос — глухонемой, но природа не так уж на них щедра. Я-то знаю, что делаю, поверьте, а моим хозяевам абсолютно безразлично, что и как я делаю, лишь бы я доставлял то, что положено.

— И что же вам положено доставлять?

— По-разному бывает. В основном смешанные грузы, все, что не берут другие. Перевожу дряхлых коней из Галвестона на корриды в Испанию. Взрывчатку. Всякую всячину.

— Беглых каторжников, крыс и наркотики,— добавил Крамнэгел, отходя.

— Это вы сами сказали,— с довольным видом расхохотался капитан.

К концу второй недели Крамнэгел выглядел так, будто он провел в море большую часть своей жизни. Кожа его побронзовела, вследствие чего глаза стали казаться более светлыми. Постоянная же работа на свежем воздухе придала его поведению живость — правда, скорее звериную, нежели одухотворенную. Его власть над кораблем была неоспоримой, но в силу характера и склада ума он властвовал над кораблем отнюдь не от собственного имени, а всего лишь представляя своего достойного всяческого осуждения хозяина, который сидел на мостике, накачиваясь смесью из сладкого вермута, узо и рецины и распевая под неуверенный аккомпанемент надтреснутой мандолины меланхолические песни, которые греки позаимствовали у турок, хотя никогда в этом не сознаются.

И вот, в один прекрасный день сернистая дымка, обернутая в кокон видимой невооруженным глазом грязи, возвестила о близости цивилизации, а очень скоро вслед за тем показались и нефтяные вышки — ненасытные костлявые куры, беспрерывно клюющие землю. Глубоко, всей грудью вдохнув грязный воздух, Крамнэгел просто расплылся от чувства радости и благодарности. Всего лишь семьсот миль на автобусе, и он — дома. В то же время ему стало окончательно ясно, в чем его долг.

Новый, внешний Крамнэгел сумел адаптироваться ко стольким невероятным внешним факторам и обстоятельствам, что внутренний, настоящий Крамнэгел даже задумывался временами, не подтачивает ли все это вынужденное лицедейство его истинный характер. Спокойствия ради он мирно жил в одной комнате со старым гомосексуалистом и играл роль закоренелого преступника в обществе капитана — этой современной пародии на Улисса. Желая приветить престарелого английского уголовника и потрафить ему, он пристальным, внимательным взглядом обозрел темные от запекшейся крови горизонты американской преступности и поведал незадачливому грабителю банков обо всем увиденном. Он заставил молодых полицейских в патрульной машине ломать себе голову над тем, что им делать с пьяным матросом. Он бродил по шоссе английского севера в остроносых туфлях чикагского гангстера и вошел в литературную историю автобиографическими очерками, которых он сам не только не писал, но и не читал, но за которые получил деньги,— и если это не слава, то что же еще?

И все же настоящий Крамнэгел ничуть не изменился. Во всяком случае, так он думал, когда открыл бумажник и посмотрел на удостоверение начальника полиции, покоившееся в своем целлофановом домике,— теплое, трепещущее и живое. У него в руках все еще была власть, которой он мог козырнуть, была возможность грозить арестом всем за пределами того круга людей, которые знали, что этот паршивец Карбайд... Но он тут же придушил эту мысль в зародыше — прежде чем она успела родиться — и решил, что документ, который он держал в руках, и есть реальность. Все же осталь-

ное — не более чем дурной сон, о котором можно будет забыть, как только станут известны настоящие факты. Факты! В воображении он видел себя сидящим на багажнике открытого белого автомобиля; он широко ухмылялся, а вокруг него, как конфетти, кружились обрывки телетайпных лент. Из окна высовывалась заплаканная Эди, а Карбайда с позором изгоняли из города. Крамнэгел принял решение.

Когда «Агнес Ставромихалис», хромая, вползла в гавань Галвестона, Крамнэгел поднялся по трапу на мостик, откуда мутноглазый капитан отдавал команды машинному отделению, и полунельсоном прижал его к полу.

— Какого черта? — хрипло прорычал грек.— Нашел подходящее время!

Ни один из находившихся на мостике двух моряков и не подумал прийти на помощь капитану, поскольку оба уже успели испытать на себе «веселый нрав» Крамнэгела и без кандалов, и в кандалах.

— Верни мне мои семьсот пятьдесят долларов.

— Шутить изволите?

— Я и не думаю шутить,— сказал Крамнэгел, усиливая захват.

— По-твоему, это честно? Мы же договорились.

— Полагаю, что я более чем отработал свой проезд, капитан. Да и потом, если уж я пронесу тот чемоданчик через таможню...

— Да отпусти же ты меня, сукин сын! Сейчас ведь на борт прибудет лоцман.

— И мы попросим его выступить арбитром в нашем споре, да?

— Ладно, ладно, согласен! — закричал капитан, заметив, что корабль уже сносит приливом.

— Ну, раз мы договорились, то с тебя тысяча долларов, идет?

— Ты, сукин...

— Сын,— договорил тихо Крамнэгел.— Иди за деньгами. Прямо сейчас. А не то пополам разорву.

— Дай мне сначала команду отдать.

— Не пойдет,— нажал посильнее Крамнэгел.

— Право руля! — завопил капитан.

Но никто не шелохнулся.

Он повторил команду по-китайски.

— Ну, ладно, проиграл, так проиграл. Пошли,— сказал он. Курчавые волосы его взмокли и растрепались по лбу.

Крамнэгел последовал за капитаном в каюту.

Грек молча отсчитал ему тысячу долларов.

— В нашем деле для тебя места нет,— сказал он тихо, но злобно.— Нет, потому что ты человек бесчестный. Наш бизнес построен на доверии. А я тебе не доверяю.

— Мягко говоря, я тебе тоже,— сказал Крамнэгел.

— Мы заключили с тобой сделку. А ты меня обманул. Ты обманщик, любезный. Обманщик.

Крамнэгел невольно покраснел. Его больно задело именно то, что капитан выразился так просто и ясно, без каких-либо эпитетов.

— Неправда,— неуверенно ответил он. И добавил: — Ну ладно, если ты так переживаешь, я верну тебе две с половиной сотни.

— Я не приму их.

— Это еще почему? — рявкнул Крамнэгел, ища, как обычно, опору в силе.

— Надо решить раз и навсегда, хочешь ты быть честным или бесчестным,— сказал капитан. В словах его прозвучала убежденность порочного, но умного человека.— А приняв решение и определившись, надо уже играть по правилам. Конечно, можно немного и сжульничать, когда отвернется судья — так в каждой игре заведено: лови удачу,— но перебегать из одной команды в другую не позволяется. И никто этого не потерпит.

— Ну, ладно, я был неправ. Бери свои две с половиной.

— Нет. И убирайся отсюда.

— А как же насчет чемоданчика?

— Ты думаешь, я теперь доверю тебе добра на полмиллиона? Тогда ты не сумасшедший даже, а просто дурак.

— Ну что ж, ты, значит, высказался, а я, значит, принял решение!— выкрикнул Крамнэгел.

— Прочь с дороги, иначе мы потеряем корабль.

— Нет!

Капитан ударил Крамнэгела в солнечное сплетение, а затем, когда огромный детина, задохнувшись, согнулся пополам, вышиб из него дух апперкотом. Падая на пол, Крамнэгел сломал подвернувшийся стул. Когда Крамнэгел пришел в себя, то увидел, что сидит в каюте и ощупывает рот пальцем, пытаясь найти повреждение. А капитан вернулся на мостик, принял на борт лоцмана и мастерски пришвартовал «Агнес Ставромихалис» к пирсу.

Готовясь сойти на берег, Крамнэгел испытывал чувство горькой обиды на капитана, испортившего ему возвращение домой, но эта обида на самом деле лишь прикрывала еще более глубокую рану. Крамнэгел пришел в ужас, обнаружив такую силу в человеке, настолько в себе уверенном, что он даже не испытывал необходимости эту силу демонстрировать. О боже, да если бы их отношения не дошли до такой точки, он, Крамнэгел, так и не узнал бы никогда, как аккуратно и точно умеет бить этот человек. Хорошо обладать умением причинить боль своему более сильному врагу, да еще с таким коварством, но насколько же лучше уметь скрывать это умение, уметь хранить такую тайну, хотя как же, наверное, напрягаются мускулы и сжимаются кулаки даже во время самого невинного спора.

Ища выхода из унизительного положения, в котором он очутился, Крамнэгел испытывал все большее и большее возмущение этим ленивым головорезом, который сумел так ловко использовать его в своих целях.

Крамнэгел вспомнил, как по-рабски трудился, словно дрессированная горилла, которую хозяин заставляет выполнять всякую черную работу, чтобы самому не пачкать рук. Но кто вышибал дух из припадочного кока-китайца во время предыдущих рейсов? Кто держал в повиновении и в узде дикарей-матросов? Не иначе как сам капитан. Так, значит, они боялись не тяжелых кулаков Крамнэгела, а еще более страшной, более утонченной опасности, все время маячившей на мостике? Так он, значит, всего лишь был хозяйским надсмотрщиком, на которого хозяин свалил всю грязную и опасную работу? И все задарма, да еще несправедливо выжав из него семьсот пятьдесят долларов! Кровь его вскипела от благородного негодования, а смущение быстро загладилось с помощью тех приемов, которые люди обычно используют, дабы перевести испытанное ими унижение в благородный гнев. В словах капитана Крамнэгел усмотрел лишь одну мысль, с которой он не мог полностью не согласиться: если человек выбрал себе команду, он должен оставаться в ней, а не перебегать на другую сторону. На свете, слава богу, существует такая вещь, как верность, и чертов грек скоро, к своему огорчению, в этом убедится. Крамнэгел с облегчением пересчитал свою тысячу долларов. Может, грек и сохранил свое достоинство, на какой ценой? Ценой двухсот пятидесяти долларов. Но разве у настоящего достоинства может быть цена? Конечно нет, решил Крамнэгел, убирая тысячу долларов в карман.

Таможенники терялись в догадках, не в силах взять в толк, что это за птица в засаленном костюме фасона сорокалетней давности спускается с корабля по сходням. Так могли позволить себе одеваться лишь азиаты и левантийцы. Моды путешествуют медленно, и в последнем их крике где-нибудь в Карачи, Порт-Морсби или Сидоне могла только сейчас отозваться первая волна чикагского стиля тридцатых годов, но Крамнэгел был странен именно своей честной веснушчатой физиономией, возвышавшейся над всей этой приталенной утонченностью и черно-белыми башмаками, выглядывавшими из-под широченных брюк подобно носам далматинцев, высовывающимся из-под пологов палаток.

— Вы гражданин США? — спросил таможенник.

— А то нет. Слушайте, приятель, кто у вас здесь за старшего?

— За старшего? А зачем он вам?

— Это его дело и мое.

— Может, вы мне пока что расскажете, что приобрели за границей?

Окинув таможенника взглядом, Крамнэгел полез за бумажником и достал свое удостоверение.

Как и следовало ожидать, таможенник даже присвистнул.

— Откуда взялся хороший человек на этой коробке?

— Хороший, значит? — усмехнулся Крамнэгел.— Это секрет. А как бы мне повидаться с вашим начальником?

— С начальником? Враз устрою.

Начальником таможни оказался медлительный скептик, убежденный в том, что в этой жизни каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок предъявляют таможне меньше, чем могли бы предъявить. Звали его Руалд Ф. Бенедиктссон.

— Чем могу служить, начальник Крамнэгел? — спросил он.— Помимо досмотра вашего багажа?

— Нету у меня никакого багажа,— ответил Крамнэгел.

— Нет? Это довольно подозрительно, не правда ли?

— Будем считать, что я путешествую налегке,— сказал Крамнэгел тоном достаточно таинственным, чтобы мистер Бенедиктссон сразу же почувствовал желание извиниться.

— Так чем же я могу служить?

— Видите ли, я выполняю специальное задание... по линии ФБР...

— Можно было не говорить, я и так догадался,— лаконично ответил начальник таможни.

— Ну и отлично. Вот почему я путешествовал на борту...

— Я понял,— перебил Бенедиктсон.— Давайте ближе к делу. Чем могу служить?

— Мне хотелось бы обойтись без лишних расспросов.

— Разве я вас о чем-нибудь спрашиваю?

— Я имею в виду — потом. А сейчас просто пропустите меня через таможню. Мне надо представить отчет.

— Валяйте.

— На борту этого корабля на полмиллиона героина.

— Намек понял. Райан, проведите его через иммиграционную службу, да смотрите, чтобы его там не задерживали.

— Спасибо.

— Службу знаем.

Крамнэгел купил новый костюм и еще кое-что из одежды, а на другой день, сидя в автобусе, с ревом мчавшемся по шоссе в Атланту и затем в Город, прочитал в газете об аресте капитана Макарезоса.

Утром следующего дня автобус въехал в Город. Со все большим и большим волнением смотрел Крамнэгел на расстилавшуюся за окном территорию знакомых пастбищ. Погода была ни плохая, ни хорошая, поскольку истинный цвет неба был надежно скрыт продуктами труда рук человеческих. С уверенностью можно было сказать лишь то, что не идет дождь. Когда автобус вплыл на стоянку, Крамнэгел ощутил великую радость и сознание одержанной победы от того, что добрался до родных мест. И только сойдя с автобуса, он понял, что эта радость была уместной, пока Город еще оставался точкой на карте или названием на дорожном знаке, но сейчас, когда он уже физически оказался здесь, ему некуда было податься. Ночевать в гостинице, находясь в родном Городе, казалось просто немыслимым, но ничего другого не оставалось. У него больше не было Эди. Не было и телевизора. Не было даже банки пива со льда.

С минутку покипев, он взял себя в руки. Он не хотел, да ему и не было нужды вызывать своим видом жалость. Он вернулся, чтобы драться, и, заимствуя привычное выражение этой разнесчастной шлюхи Эди: когда он дрался, то дрался, чтобы победить. То, что он платежеспособен, поможет ему гордо и высоко держать голову в этот трудный момент, решил он. Естественно, первым делом надо взять такси и поехать в банк, чтобы выяснить свое финансовое положение. Крамнэгел махнул рукой проезжавшей мимо машине. Таксист жестом показал, что уже закончил работу, и поехал дальше. Да, черт возьми, не те стали порядочки при Але Карбайде, подумал он. Шофер второго такси вообще, казалось, не обратил на него никакого внимания, поэтому Крамнэгел шагнул на мостовую прямо перед машиной. Автомобиль дернулся в сторону, и таксист выкрикнул ругательство, на которое Крамнэгел с готовностью ответил. Услышав ответ, таксист затормозил. Крамнэгел подобрался и поддернул брюки. Таксист выскочил из кабины, рыча от ярости. Они шли

друг на друга, словно персонажи в заурядном вестерне. Но вдруг таксист замер как вкопанный и широко раскрыл рот. Крамнэгел тоже остановился.

— Начальник Крамнэгел,— пробормотал таксист.

— Ну? — откликнулся Крамнэгел грозно.

— Что ну? Вам-то уж следовало бы знать, что занятое такси не останавливают.

— Занятое? — Заглянув в машину, Крамнэгел увидел даму с пурпурными волосами, злобно уставившуюся на него сквозь усыпанные фальшивыми бриллиантами очки.

— Прошу прощения, мэм,— промямлил он.

Таксист с растущим отвращением покачал головой.

— Дерьмо,— сказал он беззлобно и сплюнул на дорогу.

Крамнэгел медленно вернулся на тротуар, окинув неприязненным взглядом собравшуюся там кучку людей.

— В чем дело? — задал он им чисто риторический вопрос, и люди рассеялись, размышляя о том, в чем же действительно дело.

Наконец он остановил такси, за рулем которого сидел молодой негр.

— Куда, мистер?

— «Пайонир энд Мерчантс бэнк».

— Это где?

— На полдороге в Понтекорво.

— Понтекорво — а я и не знал, что там есть банк.

— Раз говорю, значит, есть.

Было совершенно ясно, что таксист и понятия о Крамнэгеле не имел.

— Вы здесь в городе впервые? — спросил он.

— Я еду в банк, о котором ты в жизни не слыхал, почему же ты думаешь, что я впервые попал в этот город? — прорычал Крамнэгел.

— Да не знаю я, просто показалось что-то. У меня такое бывает, да еще как сильно! Иной раз я даже секу, когда человек вот-вот откинет копыта. Я ему даже могу сказать — что бы ты ни делал, куда бы ни попер, где бы ни прятался, все одно скоро загнешься.

— Ну, поговорили, и хватит,— сказал Крамнэгел. Его нервозность вызвала у водителя смех — раскатистый, громкий, мелодичный африканский смех, который действовал Крамнэгелу на нервы.— Что тут такого смешного? — спросил он.

— Э, не, вы-то не загнетесь, пока еще нет.— Внезапно таксист посерьезнел и окинул отражение Крамнэгела в зеркале взглядом ясновидца.— Но из-за вас тут понаделается делов, да каких!

— Я же сказал — хватит!

— И, значит, вы здесь в городе не впервой?

— Я был в отъезде.

— Все сходится,— спокойно сказал таксист, останавливаясь у банка.

Расплачиваясь, Крамнэгел старался избежать его взгляда, но ему это не удалось. Когда их глаза встретились, Крамнэгел почувствовал, что выдает мысли, которых еще толком не осознал сам.

— Попомните мои слова,— сказал на прощание негр.

Войдя в банк, Крамнэгел увидел управляющего, Лейтема Ходника, который, сидя за столом, беседовал с клиентом.

Крамнэгел, улыбаясь, ждал, пока его узнают. Когда девушка-служащая осведомилась, что ему угодно, он попросил ее передать мистеру Ходнику, что в банк пришел мистер Крамнэгел. Девушка выполнила его просьбу. Ходник удивленно поднял глаза. Затем, отделавшись от клиента, жестом попросил Крамнэгела подойти.

На лице его застыло озабоченное выражение — нечто среднее между соболезнованием и поздравлением.

— Давно моя твою не видела,— сказал он осторожно.

— Я только что провел почти месяц на борту корабля, набитого китаёзами,— небрежно бросил Крамнэгел,— так что вполне могу обойтись без ломаного английского.

— А! Где же вы были, Барт? То есть я знаю, где вы были. Расскажите обо всем.

По крайней мере, расскажите хоть то, что хотите рассказать.— Ну, можно ли проявить больше такта?

— Все это уже быльем поросло,— величественно ответил Крамнэгел.

— Вас выпустили? Выпустили, наконец?

— Нет. Я сам ушел.

— Сам ушел?

— Да вот взбрело в голову уйти. Соскучился по дому.— Крамнэгел улыбнулся, видя, что привел собеседника в замешательство.— Давайте потолкуем кое о чем другом,— предложил он.— Как обстоят мои дела?

— Ваши дела? — переспросил Ходник.

— Финансовые дела.

— Финансовые?

— Я что, невнятно говорю или как?

— Но, Барт, когда Эди и вы... разошлись... она перевела свой вклад отсюда в другое место.

— Что она сделала? — встрепенулся Крамнэгел.

— У вас же был общий счет, как вам известно. Так что после развода она перевела все деньги в «Американ нэчурал гэс».

Крамнэгел сердито посмотрел на него.

— Вот каково доверять женщинам,— медленно проговорил он.

— Что ж, такое может случиться и когда доверяешь мужчине. Насколько я понимаю, у нее теперь общий счет с ее супру... с началь... с мистером Карбайдом.

— Общий счет с мистером Карбайдом? Это правда?

— Так я полагаю.

— Но вы же знаете, что это были мои деньги?

— Это уж не мое дело — знать, кому из владельцев общего счета принадлежат какие деньги,— взмолился мистер Ходник, ожидая неминуемой бури.

— Это были деньги, которые я заработал. Которые я скопил. У нее же за душой не было ни цента, когда мы поженились. Она за всю свою жизнь ни цента не заработала, черт ее раздери!

— А я этого и не знал,— отвечал мистер Ходник, как будто слыша нечто чрезвычайно интересное, да еще впервые в жизни.

— А теперь она забрала мои деньги — сбережения всей моей жизни — и отдала их этому вонючке Карбайду в приданое.

— Мистер Карбайд мне и самому никогда особенно не нравился,— заявил мистер Ходник, которого начала бить самая настоящая дрожь.

— Но там ведь были и другие деньги. Деньги, которые я заработал, когда уехал отсюда.

— Да, я помню, как я был удивлен. Сказать вам, на какую сумму...

— Сумму я знаю. Я хочу их получить. Я хочу все получить! — внезапно заорал он, привлекая к себе внимание.

— Послушайте, Барт, мы же с вами не первый день знакомы...— начал урезонивать его Ходник.

— А при чем здесь это, черт возьми? — спросил Крамнэгел.

Теперь он снова был спокоен, но в спокойствии его угадывалась буря.

— Хотите позвонить Эди по моему телефону? — предложил мистер Ходник.

Крамнэгел хитро улыбнулся.

— Вы сейчас сами ей позвоните по своему телефону,— сказал он.

— Что? Я? Но что же я ей скажу? — спросил оцепеневший от страха Ходник.

— Скажете ей... скажете...— Сверившись с листочком, извлеченным из бумажника, Крамнэгел быстро подсчитал.— Скажете ей, что она должна мне восемьдесят шесть тысяч долларов сорок центов, из которых я разрешаю ей удержать деньги на хозяйство, считая со дня моего ареста по день, когда она подала на развод, но к полученной сумме требую добавить две с половиной тысячи фунтов стерлингов по курсу два доллара сорок центов за фунт — точно высчитаем потом. Вот что вы ей скажете.

— Да я этого всего и не запомню,— взмолился мистер Ходник.

— Скажете ей, чтоб гнала немедленно пятьдесят тысяч долларов, а на остальное я ей выставлю счет.

Мистер Ходник нервно набрал номер. Веки его глаз дергались, а пальцы беззвучно барабанили по колену.

— Алло, миссис Карбайд? Ее нет дома? — спросил он с надеждой.— О,— сказал он упавшим голосом.— Это вы, Эди, а я вас не узнал. Это говорит Лейт Ходник, помните такого? Давно моя твою... да. Чему вы обязаны удовольствием?.. Скажите, а начальник Карбайд, ваш муж то есть, дома? Нет! Нет! Я с вами хочу говорить, а не с ним. Что со мной случилось? Хороший вопрос... Слушайте...— Мистер Ходник в поисках вдохновения взглянул на хмурое лицо Крамнэгела, но обнаружил в нем больше угрозы, чем поддержки.— Эди,— сказал он.— Барт вернулся.— На другом конце провода возникла ощутимая пауза.— О, он в полном порядке. Загорелый, выглядит на миллион долларов, что подводит меня к главной причине моего звонка. Помните, когда вы переводили деньги отсюда в другой банк, я вам сказал, что́ может произойти, когда Барт вернется домой? Ну, я не думаю, что есть смысл так подробно вспоминать кто из нас что говорил, Эди. Он здесь, и это факт, и он в своем праве. Вы подадите в суд? Но на кого, Эди? Лояльность по отношению к кому? Нет, я не понимаю вас, моя дорогая.

Крамнэгел вырвал у него трубку.

— Эди? — закричал он в телефон.— Это я, Большой Барт. Я вернулся, и ты должна мне деньги. Я хочу получить их обратно, и никаких гвоздей, иначе кому-то сильно не поздоровится, и этот кто-то буду не я, ясно? Ну, я с тобой обойдусь по-хорошему. На первый раз мне хватит пятидесяти тысяч.. Пятидесяти тысяч,— подчеркнул он.— да, а не пяти. Ты мне доставишь их сегодня вечером к шести часам. Что, в шесть еще недостаточно темно? Хорошо, в семь. На спортивной площадке средней школы имени Милларда Филлмора [1] у моста Абеляра [2]. Куда мы с тобой ходили на свиданки. И чтоб ты была на месте и с деньгами, а не то... Говорю тебе при свидетеле. У меня все.— Он бросил трубку на рычаг.

— Барт,— робко попросил Ходник,— только не рубите с плеча. Никогда.

— А чего мне не рубить с плеча, Лейт? — резко спросил Крамнэгел.— Разве закон не на моей стороне?

16

Место, куда когда-то ходили на свидания Барт и Эди, возможно, не было самым идеальным для романа, но имело свои практические преимущества. Прежде всего нет мест более пустынных, чем школы по ночам, а особенно школьные спортивные площадки. Эта площадка была расположена довольно высоко над Платонической рекой — потоком грязной пенящейся воды, извивавшимся под рядом широких и высоких мостов, размеры которых более чем льстили ядовитому ручью цвета глины, протекавшему столь глубоко под ними. Панораму бедных районов, гетто и массивных домов характерной для города архитектуры выгодно оттеняла огромная свалка, разрывавшая монотонную гладь круто спускавшихся к воде берегов, как разрывают монотонную гладь травы цветы, а в тех редких случаях, когда солнце ухитрялось пробиться сквозь тусклый туман промышленных отходов пивные банки и серебряные обертки вспыхивали в его лучах подобно фальшивым драгоценностям в поддельной короне. Помимо своей поэтичности это место обладало еще и тем преимуществом, что дорога здесь превращалась в тупик, упиравшийся в сетчатое ограждение спортивной площадки, что позволяло не без удобств предаваться любовным утехам в поставленных на стоянку машинах.

В семь часов вечера Крамнэгел стоял у площадки и ждал, как в былые времена с той только разницей, что он не держал за спиной цветов и отлично знал, что сказать. В десять минут восьмого он начал кипеть и греметь металлической сеткой, ограждавшей спортивную площадку; в четверть же восьмого его охватило настроение более философское, и он начал воображать тысячи причин, по которым Эди могла задержаться. Около двадцати минут восьмого его ослепили фары автомобиля, который, казалось, осторожно подкрадывался к нему. Он неожиданно почувствовал себя очень уязвимым, полицейская выучка вечно побуждала его опасаться ловушки. Он осторожно пошел вперед. Машина остановилась, и он подошел к ней. Повинуясь нажатию кнопки, стекло опустилось, Крамнэгел наклонился и заглянул в окно.

— Привет,— сказала Эди.

[1] Миллард Филлмор — тринадцатый президент США (1850—1853).

[2] Пьер Абеляр (1079—1142) — французский философ, богослов и поэт.

— Привет,— сказал Крамнэгел.— Вылезай.

— Может, лучше ты ко мне залезешь?

Он почувствовал раздражение, но не мог не согласиться с тем, что так будет удобнее, и попытался открыть дверцу.

— Сейчас отопру,— сказала Эди после того, как он подергал за ручку.

Вот ведь сука! Теперь он легко открыл дверцу и уселся на сиденье.

— Что, новая машина? — спросил он.

— Это его. Ала...

— Кадиллак «Эльдорадо». Похоже, что полицейские стали лучше жить.— Он принюхался.— Какими это духами пользуется Ал? И разве ему не нужна его машина?

— Ну, ладно, ладно, это моя машина. Мне тут внезапно привалило.

— Привалило? Мои гонорары к тебе привалили, да? — взорвался Крамнэгел.

— И вовсе не твои гонорары. У меня тетя умерла.

— Что-то не помню, чтобы у тебя была тетя.

— Ну, может, и твои гонорары, не знаю.— Теперь настала ее очередь взорваться: — А на кой тебе черт твои гонорары? Ты их в жизни не получал.

— Ну так я написал историю моей жизни! — завопил он.— И мне за нее заплатили! А у тебя потом не хватило ни любви, ни верности, не хватило ничего! У тебя их не больше, чем у плюшевой собаки! Ты ведь думала, что я там останусь на всю жизнь, да? Ты убедила себя, что я никогда оттуда не выйду, да? И поддалась на хитрые речи этого Карбайда, этого подонка паршивого!

— Не говори мне о нем,— прошипела Эди.

Крамнэгел искренне опешил, сохраняя, однако, боевую готовность. Что она еще такое удумала?

— О Барт, я так несчастна,— только и выговорила Эди, а потом разразилась рыданиями.

— Я никогда тебя не спрашивал, с кем ты спала. Я знаю, что у нас с тобой не бог весть как здорово получалось... Может, я был не очень... Не знаю. Я ведь очень хорошо к тебе относился, Эди. Я простил бы тебе все на свете, ей-богу, и твои измены тоже, но почему именно Ал Карбайд? Господи, почему именно Ал Карбайд?

— Я не знаю, почему именно Ал Карбайд! — истерично завопила она.— Он бьет меня! Он садист! И вечно шляется по ночам! О боже, как, должно быть, доставалось Эвелин! А стоит лишь его спросить, где он был,— бац! Левой в скулу, или правой в глаз, или ремнем для правки бритвы по заднице!

Крамнэгел вдруг заметил, что она очень хитро обходит главную цель их встречи. Но он слишком хорошо знал Эди, чтобы позволить ей увильнуть.

— Где они? — тихо спросил он.

Эди впилась в него взглядом сверкающих глаз. Среди ресниц уже гнездились слезы, подобно каплям дождя, застрявшим в листве после весеннего ливня.

— Ты ведь так и не перестал быть моим, ты ведь знаешь это, знаешь, правда?

— И разделяю эту честь с Четом Козловски и добрым десятком других... Где же мои деньги?

— У меня их нет.

Крамнэгел смерил ее ледяным взглядом.

— Ты и вправду считаешь, что Ал тебя лупит по-настоящему?

— Ты не посмеешь. Я ведь тебя знаю.

— Я тоже думал, что знал тебя, Эди. Тот я, которого знаешь ты, как раз и думал, что знал тебя. Но теперь ни ты меня, ни я тебя, наверно, не знаем. Мне нужны мои деньги, Эди. А ты мне не нужна, поверь. Карбайду, я думаю, повезло, но мне, пожалуй, повезло чуток больше. Вот так. Выкладывай. А потом я оставлю тебя в покое, пока не подсчитаю *все*, что ты действительно мне должна.

— У меня нет денег.

Крамнэгел смотрел на нее, переводя взгляд с одного ее глаза на другой в поисках ненасильственного решения проблемы. Драться с женщинами он терпеть не мог, разве только в целях самозащиты, столкновение же с капитаном Макарезосом сделало его нерешительным вдвойне. Эди тоже вперила в него взгляд, а потом обезоруживающе улыбнулась.

— Да, пожалуй, ты права,— нехотя пробормотал он.— Нет у меня настроения тебя бить.

— Вот-вот, я Алу так и сказала,— благодарно ответила Эди.— Если человек не может получить то, чего хочет, не прибегая к силе, значит, он этого и не стоит.

— Как же мы все-таки договариваемся? — спросил Крамнэгел.

— Поцелуй меня.

— Обойдешься.

— Ты ведь хочешь получить свои деньги, разве нет?

— Будем считать, что мне некогда.

— Ну, в память о былых временах?

Наступила пауза. Эди вполголоса, подражая манере самых хриплых исполнителей блюзов, начала напевать: «Забыть ли старую любовь... та-та... та-та... та-та...».

Он поцеловал ее в ухо — в основном для того, чтобы она перестала петь..

— Вот видите, дорогой сэр, что делает с человеком доброта? — ехидно сказала она и достала из сумочки чек.

Крамнэгел взглянул на сумму, и у него отвисла челюсть.

— Это еще что такое, черт возьми? — проревел он. — Две тысячи долларов?

— Правда, Барт, не могу же я отдать тебе все сразу,— взмолилась она. — Этот мерзавец проверяет чековую книжку каждую неделю, ей-богу, и мне вообще лучше не жить на белом свете, если он узнает.

— Но это ведь *мои* деньги, Эди!

— Я знаю, что они твои, Барт. И ты знаешь, что они твои. Но ты попробуй скажи ему!

— И скажу. Прямо сейчас поеду к нему и скажу.

— Барт, Барт, пожалуйста, прошу тебя. Дай мне время. Если удастся все это выдать за какие-нибудь мои причуды, он меня пару раз отлупит, но я полностью рассчитаюсь с тобой, только дай мне немного времени.

— Ты хочешь сказать, что нам придется встречаться здесь каждый вечер до следующего года и ты будешь выдавать мне по паре долларов в день на прожитье? Мне нужен капитал, Эди! Капитал! Мне, может, захочется его во что-нибудь вложить. Я, может, собственное дело заведу!

— Две тысячи долларов — это тебе не пара долларов,— горячо ответила она и взглянула на часы. — О боже мой, мне пора. Но я тебе вот что скажу. Приходи сюда завтра в семь, я, может, больше привезу. Пять косых, а то и десять. Ты уж позволь мне самой решить сколько.

— Нет, Эди, этот твой метод не пройдет, потому как я рассержусь. По-настоящему рассержусь.

— Ты мне всегда очень нравишься сердитый,— небрежно сказала она, включая мотор. — А теперь я поеду, не то он прицепится с вопросами.

— Через день-другой ему самому придется отвечать на них, Эди,— заявил Крамнэгел, открывая дверцу.

— Я люблю тебя, Большой Барт,— сказала Эди и врезалась задним бампером в фонарный столб. Пытаясь развернуть свой огромный белый автомобиль, она чуть не сбила Крамнэгела, а пытаясь объехать его, смела несколько мусорных ящиков, скопившихся из-за забастовки местных мусорщиков.

«Одно слово — бабы»,— подумал Крамнэгел, следя за тем, как машина, набрав скорость, понеслась не по той стороне дороги.

Он провел ночь в гостинице «Уэлли фордж транзиентс» — неприметном здании, состоявшем, казалось, из одних пожарных лестниц, а к семи часам вечера на следующий день снова стоял на месте романтических свиданий. Поскольку забастовка еще не кончилась, мусорные баки, сбитые машиной Эди, так и лежали на прежнем месте. Слегка моросил дождь — легкий туман висел в воздухе, как вуаль, и незаметно пропитывал одежду.

У Крамнэгела было вдоволь времени, чтобы обо всем подумать. Чек он сдал в свой банк вместе с дорожными чеками, но оставил при себе деньги, вырванные у капитана Макарезоса. С Эди на этот раз он решил быть пожестче. Корень всех его бед — в его собственном благородстве, решил Крамнэгел, из-за чего он и страдает все время. Живя среди жулья, надо самому быть еще большим жульем, более проницательным, и, прежде всего, надо быстрее преуспевать.

Вот скоро он окончательно переменится, и пусть тогда общество поостережется. Если разобраться, капитан Макарезос многому его научил. Что да, то да. Мир разде-

лен на две команды — на «плохих» и «хороших», но, как и в футболе, некоторые игроки не подходят своим командам по темпераменту и так же неуместны в них, как, скажем, протестант, играющий за католический университет Тернового венца. В таком случае только и остается, что перебежать на другую половину поля! Крамнэгел считал, что всю жизнь был в команде «хороших», даже когда общество все перепутало и пыталось напялить на него не ту спортивную форму, но раз его верность не оценили по достоинству, то он найдет себе место там, где его оценят.

Появление «кадиллака» нарушило ход его мыслей. Крамнэгел взглянул на часы. Ровно семь. Странно. Эди никогда не отличалась точностью. Крамнэгел не пошел навстречу машине, но впился настороженным взглядом в туман, где появились огни второго автомобиля. Красная мигалка на его крыше не горела, но Крамнэгел сразу узнал полицейский автомобиль. Дело плохо.

Подъехав прямо к Крамнэгелу, «кадиллак» ослепил его светом фар и чуть не вмял в забор из металлической сетки. Крамнэгел шагнул к дверце и увидел за рулем Ала Карбайда. Сидевшая рядом с Карбайдом Эди отвернулась, пряча лицо.

— Что это значит? — спросил Крамнэгел.

— Ты арестован, Барт,— ответил Карбайд.

— Арестован? За что?

— Сам я тебя забирать не буду. За мной едет дежурный автомобиль. А я спешу на ужин.

— Может, все-таки выйдешь из машины? — сказал Крамнэгел.

Прежде чем Ал успел ответить, раздался голос из темноты:

— С возвращеньицем, начальник!

— Это кто еще там?

— Марв Армстронг.

— Привет, Марв!

Ал Карбайд выпрыгнул из машины.

— Я вовсе не приказывал тебе ехать лично,— резко сказал он Армстронгу. — Я лишь приказал, чтобы дежурная машина сопровождала машину миссис Карбайд.

— А я решил поехать сам, начальник,— непринужденно ответил Армстронг. — Вы мне не приказывали не ехать.

— Ну, ладно,— Ал Карбайд был явно не в духе. — Взять его.

— Ты не считаешь, что должен мне кое-что объяснить? — спросил Крамнэгел.— И разве так я тебя учил производить арест?

— Это ты обязан мне кое-что объяснить, Барт. Ты — осужденный преступник и, согласно законам штата, должен был зарегистрироваться в полиции по прибытии. А ты этого не сделал.

— Этот закон не распространяется на приговоры, вынесенные иностранным судом, Ал, и тебе прекрасно это известно. Вот уж не думал, что ты настолько глуп.

— Да, не распространяется, но англичане могут потребовать твоей выдачи, и в таком случае мы обязаны знать твое местонахождение, чтобы отправить тебя обратно, если они решат, что ты должен отбыть свой срок до конца там.

Одна только мысль об этом вызвала у Крамнэгела внезапный приступ тошноты.

— И еще, Барт. Я не желаю, чтобы ты болтался по городу и угрожал моей жене.

— Я никогда не угрожал Эди.

— Ты заявил, что изобьешь ее, если она не даст тебе денег.

— Разве я ее избил? Я тебя бил, Эди?

Мгновенно ожившая Эди приподняла край юбки:

— Смотри, что со мной сделал этот подлец...

— Заткнись! — приказал ей Ал на тот случай, если она имела в виду его.

— Это мои деньги! — заорал Крамнэгел.

— Суд, который слушал дело о разводе, такого решения не выносил. Если ты хочешь получить хоть цент из денег Эди, опротестуй решение суда.

— Ах ты грязная скотина! Ты что, не знаешь, что это сбережения всей моей жизни?

— Ты мне угрожаешь?

— Ладно, Барт, пошли,— тихо, но убедительно сказал Армстронг. — Ничего хорошего ты не добьешься, если попытаешься решить все прямо на улице. Я здесь нахожусь только в качестве свидетеля, ты ведь это понимаешь, правда? И мне не

хотелось бы ни видеть, ни слышать ничего такого, что потом скомпрометировало бы кого-либо. И так уж хватит, верно? Так что пошли, парень, со мной, мы устроим тебе адвоката и прокрутим всю процедуру в управлении, ты же понимаешь.

Крамнэгел, оказавшись в дружелюбном объятии стиснувших его рук Армстронга, сделал довольно вялую попытку броситься на Карбайда; из глубины «кадиллака» леди Макбет наблюдала за происходящим широко раскрытыми глазами.

— Пошли, Барт.

— Как мне известно, ты сумел угрозами, насилием и вымогательством получить у миссис Карбайд чек на две тысячи долларов,— холодно сказал Ал.

Тут уж Крамнэгел ринулся на него всерьез, но Армстронг мужественно удержал его.

— Ну что ж, попробуй только получить по нему деньги,— продолжал Карбайд.— И если ты не оставишь миссис Карбайд в покое, я предъявлю тебе обвинения по всем статьям, начиная с бродяжничества и кончая вымогательством. Ты видел, как он пытался напасть на меня,— сказал Карбайд Армстронгу.

— Хотите, чтобы я его отпустил, да?— довольно неожиданно спросил Армстронг.— Чтобы прямо сразу можно было пришить ему обвинение в нападении на должностное лицо?

Карбайд почувствовал себя так, будто его ударили ножом в спину, а Крамнэгел мгновенно понял, что слова Армстронга предназначались ему. Он сразу же затих и перестал вырываться. Армстронг отпустил его.

— Ладно, Марв, пошли,— сказал Крамнэгел, глядя в землю.

— Желаю хорошо поужинать. Спокойной ночи, Эди!— выкрикнул Армстронг.

Когда Армстронг и Крамнэгел скрылись в темноте, Ал чуть не взорвался от приступа холодной ярости. Вены на его виске вздулись так, что рельефно выделялись в тусклом свете уличного фонаря.

— Садись в машину, Ал, промокнешь,— позвала его Эди.

Ал отошел от машины на несколько шагов.

— Ты хочешь, чтобы я села за руль, милый?

Ал вернулся в машину, сел на свое место, взглянул на жену и ударил ее по голове. Теперь он уже снова полностью владел собой.

— Что я такого сделала?!— взвизгнула Эди.

— Ничего особенного, но на кой ляд эта сволочь Армстронг приперся сюда сам, когда я приказал просто выслать дежурного... Нарочно приехал, разумеется. Далеко метит, мерзавец.

Эди улыбнулась дьявольской улыбкой.

— Вам, полицейским начальникам, вечно не везет ни с женами, ни с заместителями. Подумать только, сколько неприятностей у Барта из-за тебя... И из-за меня. Ну, ей-богу, он заслуживает того, чтобы дать ему вздохнуть спокойно. Жены и заместители... Так трудно всегда от них отделываться...

Ал, в нарушение всех правил дорожного движения, развернул машину в обратную сторону, отчаянно нажимая на клаксон.

— Куда мы едем?— встревоженно спросила Эди.

— Домой. Я не хочу есть.

— Зато я хочу.

Но они поехали домой.

Тем временем в полицейской машине Армстронг рассказал Крамнэгелу все последние новости. Наступала пора выборов в местные органы власти, и мэр Калогеро вновь выставил свою кандидатуру, хотя и был привлечен к суду по обвинению в вымогательстве. И чем больше его имя связывали с подозрительными элементами, тем прочнее становились его политические позиции. Всевозможные бесстрашные журналисты или, вернее, журналисты, которые писали так, как будто были бесстрашными, атаковали мафию, но никогда не называли имен, и каждое их выступление до такой степени дышало духом истинной демократии в действии, что не могло не рассеять сомнений читателей. Люди стали более тертыми, но оставались такими же легковерными, как всегда. Они больше не раскисали перед разряженным политиканом, пощипывающим струны народных инструментов, или спустившимся на десять минут в неглубокую угольную шахту, или целующим детей, отчаянно пытающихся увернуться

от этой чести. Но достаточно было подкупленному аналитику общественного мнения объявить, что в ходе избирательной кампании мэр оставил за флагом своих соперников, чтобы очень многие поверили этому, даже если отдельные личности и высказывались против него. Поскольку подобных опросов проводилось пять или шесть, а выводы их не отличались друг от друга, очень трудно было сказать, кто состоит на содержании мафии, а кто — нет. На одних догадках, разумеется, далеко не уедешь, но Армстронг полагал, что организация, помпезно именуемая Институтом народного мнения, которая постоянно подчеркивала успехи мэра Калогеро, целиком и полностью существует за счет преступного мира. Одним из ее директоров был Милт Роттердам.

— Ал не пытался перебить мафии хребет? — поинтересовался Крамнэгел.

— Если между нами, то Ал оказывает им всяческую помощь,— ответил Армстронг.

— Кто же тогда выдвинул обвинения в вымогательстве?

— Тут уж никуда нельзя было деться — до того все далеко зашло, что шила в мешке не утаить. По-моему, даже эти ребята сами поощряют обвинения против себя — уверен, что суд их всех обелит и оправдает.

— Ты что, смеешься?

— Нисколько. Все знают, что мафия существует. Но никто не поминает, что она спокойно может выйти из зала суда чище чистого.

— Кто же судья?

— Уэйербэк.

— Ясно. До того ясно, что блевать хочется,— сказал Крамнэгел.

— Еще бы. И все же, знаешь, Барт, я никогда толком об этом не задумывался, пока не стал заместителем начальника полиции.

— В том-то и дело, Марв. Никто об этом не думает. — И он с чувством вины вспомнил о том обеде с Алом. Гнев снова охватил его. Лицемер проклятый, мистер Карбайд-двуличный! Как он тогда распинался, что Город-де надо очистить от скверны! Крестоносец, да и только. А что он сделал, когда ему представилась возможность действовать? Отхватил себе кусок поганого пирога пожирнее, вот и все.

— Что же вы, черт вас возьми, собираетесь теперь делать со мной? — спросил Крамнэгел.

— А, пустая формальность,— вздохнул Армстронг.— Как ты сам понимаешь, не я все это затеял. Ал пронюхал о твоем возвращении дня два назад...

— Дня два назад? — встрепенулся Крамнэгел. — Как же он мог узнать? Я ведь и до Города еще не добрался.

— Не знаю,— пожал плечами Армстронг. — Днем у него было совещание с мэром. Когда он вышел оттуда, он отвел меня в сторону и сказал, что-де Крамнэгел вернулся. Но больше ничего не говорил.

— И все?

— И все. Но он вроде очень был обеспокоен. У него ведь это всегда по венам видно.

— Да уж, эти чертовы вены.

Немного помявшись, Армстронг добавил, что, вернувшись тогда к себе в управление, Карбайд сразу же заказал разговор с Вашингтоном.

— Он, значит, решил сообщить англичанам,— сказал Крамнэгел. — Через госдепартамент или через ФБР. Думаешь, ему удалось? — осмелился спросить он.

— Найди себе хорошего адвоката, и, даже если англичане сделают все возможное, чтобы тебя вернуть, дело о выдаче можно тянуть годами.

— Это точно,— согласился Крамнэгел. — Надо признать, что лучшая в мире американская система правосудия никогда не закроет ни одного дела так, чтобы его нельзя было потом открыть снова.

— Процесс можно тянуть до бесконечности — точнее, пока есть чем платить.

— Это верно.

— Есть у тебя на примете хороший адвокат? — спросил Марв.

— Нет.

И вдруг Крамнэгел весь расцвел от радости.

— Мервин Шпиндельман.

— Он сдерет с тебя сто десять процентов всех твоих доходов за последующие пятьдесят лет.

Крамнэгел заколебался.

— Пожалуй, верно. — Он задумался. — Но я помню, как он говорил, что бывают дела, за которые он берется не ради денег, а ради славы.

— Защита бывшего начальника полиции в деле о выдаче иностранному государству и о возвращении денег? — скептически спросил Марв. — Разве на таком деле он себе славу наживет? Нет, чтобы Шпиндельман заинтересовался тобой бесплатно, надо сделать что-то действительно из ряда вон выходящее — пришить кого или еще что.

— Как, опять? Слушай, мне этих убийств на всю жизнь хватит.

— Тогда не обращайся к Шпиндельману.

Как раз в это время автомобиль огибал гигантскую бетонную чашу, которой раньше на этом месте не было.

— Что за... Эге, да никак это...

— Вот именно, стадион «Макдональд Шнитцлер».

— Построили его наконец?

— Ага, за четыре месяца и шесть дней. Журнал «Форчун» считает, что это национальный рекорд. Строительство велось с применением сборных пластмассовых панелей, подвергнутых обработке электроимпульсами или чем-то в этом роде, черт его знает... В общем, как ни крути, а строительство обошлось на шестнадцать миллионов долларов дороже, чем предполагалось, хотя его и завершили на месяц раньше срока. Над тем, куда уплыли денежки, можешь особенно голову не ломать. Это ведь бездоходная корпорация.

— Стадион уже открыт?

— Будет торжественно открыт вечером в пятницу — большое событие в жизни Города. Команда университета Тернового венца против «Апачей Великих озер». Сам достопочтенный Дарвуд Х. Макалпин, губернатор штата, откроет игру.

— И кто будет присутствовать?

— Все.

— Ух ты, хорошо бы и мне там побывать.

Марв Армстронг окинул Крамнэгела очень серьезным взглядом: они уже находились неподалеку от полицейского управления.

— Почему бы тебе не уехать куда-нибудь ненадолго? В Колорадо-Спрингс или еще куда.

— С какой такой стати? — удивился Крамнэгел.— Разве мы не в свободной стране?

— В свободной, конечно,— ответил Армстронг,— но я не отвечаю за то, что может сделать Ал. А он может повести себя очень погано, Барт. Я не доверяю этому типу, когда он психует. Знаешь, не нравится мне, что творится в нашем Городе, да и во всей стране, если уж на то пошло...

— И поэтому я должен уехать в Колорадо-Спрингс? — тихо спросил Крамнэгел, когда машина уже остановилась у подъезда полицейского управления.— Я думал, что если людям не нравится то, что происходит в их Городе или во всей стране, то они обязаны навести порядок. Меня всегда учили, что это и есть демократия, меня всегда учили, что Город принадлежит нам... Да в общем-то и вся страна тоже. Именно это и делает жизнь прекрасной... И значительной...

— О господи,— вздохнул Марв,— на одних этих красивых чувствах и словах далеко не уедешь, Барт. Вот ты мог кое-что сделать, когда имел власть. Ну, и сделал ты что-нибудь? Сделал?

Вот оно как все оборачивается. Крамнэгел зафыркал, чувствуя одновременно и вину, и раздражение.

— Конечно, я мог кое-что сделать. Я мог покончить с собой. Устроить себе харрикэри или как там оно называется. Каждый полицейский начальник разрывается между тем, что он думал раньше, до вступления в должность, и тем, что он обнаружил, когда в должность вступил. Ведь это он, начальник, оказался на ринге, а не его заместитель. Заместитель? Заместитель сидит себе спокойно, поглаживая сложенное полотенце, и надеется, что настанет минута бросить его начальнику... Мне вот приходилось мириться с Алом Карбайдом... Каждый раз, стоило мне лишь глянуть в свой угол, я знал, что там сидит человек, который меня ненавидит, который надеется, что меня побьют, надеется, что я сдамся... В общем, мне приходилось с ним мириться, и он добился своего — повезло мерзавцу. А теперь Алу Карбайду приходится мириться с Марвом Армстронгом. Не так-то все это легко, Марв. Не так-то легко.

— Я знаю, что все это нелегко, Барт. Поэтому и предложил тебе уехать в Колорадо-Спрингс. О господи боже, да не обязательно именно туда...

— Не обязательно ехать никуда,— коротко ответил Барт, открывая дверцу.— Давай кончать с этим дерьмом.

Несмотря на всю браваду, Крамнэгелу было мучительно больно входить в здание управления не его начальником, а в ином качестве. В вестибюле больше не встречались люди в странных одеяниях. Там царила атмосфера скуки, официальности и беспокойства.

— Патруля из «раввинов» больше нет? — спросил Крамнэгел.

Марв покачал головой.

— И что же теперь происходит?

— Пробивают раввинам головы.

— Всё как обычно?

— Вот именно.

— Понятно.

Крамнэгел показал, что живет в гостинице «Уэлли фордж транзиентс», в номере 1140, и дал подписку о невыезде из города без уведомления полиции. Не уведомив полицию, он не мог поехать даже в Колорадо-Спрингс. У него взяли отпечатки пальцев. В полицейском управлении и так, разумеется, были отпечатки его пальцев, но не в том досье. Его сфотографировали. Он сохранил потрясающую выдержку и достоинство, на прощание пожал Марву руку, сумев не разрыдаться, но как только вышел в холодную, неприветливую ночь, слезы отчаяния хлынули градом, ослепляя его. О боже, сделай что-нибудь, заставь меня забыть об этом кошмаре! Оглянувшись по сторонам, он решил, что за ним следят. Это было уже слишком! Он пошел вперед, и тот человек тоже пошел вперед. Он остановился, и тот человек остановился тоже. Стало быть, Ал Карбайд решил вести грязную игру? Отлично. Хоть этим теперь можно занять голову.

17

Это была самая длинная ночь в жизни Крамнэгела, длиннее даже, чем первая его ночь в тюрьме. Находясь здесь, он чувствовал себя странно уязвимым, потому что возле самого окна проходила пожарная лестница, а шпингалет был наглухо замазан белой краской и, видно, никогда не открывался вообще. Покрытый густым слоем пыли старый кондиционер, который Крамнэгел попытался включить, вертя заржавевшие ручки, лишь выдал слабый запах жженой резины, дернувшись и громыхнув, после чего замер. Включив древний переносной телевизор, установленный на трехногом столике с трубчатыми ножками, Крамнэгел увидел, что две программы он принимает в тройном изображении, а остальные не принимает вообще. Тем не менее Крамнэгел уселся на стул и вперился в экран, надеясь отвлечься от своих несчастий, но ничего не мог разобрать. Не находя себе места, он встал со стула и подошел к окну. Неоновые огни реклам, игравшие бело-красными бликами на кружевных занавесках и полуспущенных шторах, будоражили его воображение. Ему чудились какие-то тени на пожарной лестнице, да к тому же чем, в самом деле, прикажете дышать, если кондиционер не работает, а окно заперто. Однако не успел он прикоснуться к окну, как оно открылось само собой. Выглянув на улицу, он увидел двух людей, стоявших на противоположной стороне — совсем как в гангстерских фильмах. Вообще-то было еще не очень поздно, эти двое стояли у торгующего всю ночь супермаркета, так что почему бы им там и не стоять? Это же свободная страна, верно? Во всяком случае, все без устали так твердят. У них есть полное право там стоять, а у полицейского есть полное право спросить их, зачем они там стоят, а у них есть полное право возмутиться тем, что полицейский их об этом спрашивает, а у полицейского есть полное право предложить им «не возникать», а у них есть полное право возмутиться тем, что им велят «не возникать», а у полицейского есть полное право заявить, что если они не перестанут «возникать», то придется пройти, а у них есть полное право считать, что им угрожают, и осуществить право граждан на самозащиту, а у полицейского есть полное право достать свой револьвер быстрее их, если ему покажется, что они полезли за оружием, и уложить их наповал, сначала, разумеется, сделав безуспешную попытку их ранить. В том-то и состоит демократия, и большая честь вернуться в ее лоно, чего бы это ни стоило. По крайней мере, у человека есть хоть шанс подраться. Да, что верно, то верно. И все же что делают там эти двое? Они ведь даже

не разговаривают. Стоят себе, как манекены в портновской лавке, одно ясно — это не полиция.

Сидевшему на подоконнике Крамнэгелу вскоре наскучило следить за ними. Ему все время что-то мерещилось, но сколько он ни вертел головой, он так ничего и не обнаружил. Ясное дело, нервы.

Погрузившись в раздумье, он попытался организовать свои мысли, придать им какой-то конструктивный ход, действительно «продумать все до конца», но ничего не получалось. Слишком глубоко погрузился он в хаос и уже не мог определить своих врагов, таившихся в руинах прежде столь упорядоченного существования. Армстронг был ему другом, в этом он был уверен. Он всегда хорошо относился к Армстронгу и продвигал его по службе, так ведь? Хотя напоминать сейчас об этом было некому, разве только самому себе. Но что это за игру ведет Эди, помимо, разумеется, извечной женской игры? Неужели Ал действительно поверил, что Крамнэгел жестоко с ней обошелся, или это просто предлог? Действовали ли они заодно или каждый за себя и друг против друга? И откуда пронюхал о его возвращении мэр? Что он, такая важная птица? В светской колонке, что ли, о его приезде написали? У них есть корреспондент в Галвестоне?

И, помимо всего прочего, откуда такая враждебность к нему? Господи боже, или это не Америка, где сбережения человека святы, а чувство собственного достоинства — его право от рождения? И что это за суд, который заочно лишает человека накопленных за всю жизнь денег только потому, что его как чужака упекли в тюрьму за тридевять земель по заведомо сфабрикованному обвинению? Нет, нужно обзавестись хорошим адвокатом. И все же разве не оставалась до сих пор Америка последней в мире страной, где человек вправе все делать для себя сам, страной с великим духовным наследием пионеров, страной, где человек вбивал в землю заявочный столб и защищал собственной кровью и свою заявку, и женщин, и детей в своем фургоне? И кому нужен адвокат, если простому, говорящему простым человеческим языком человеку смелости не занимать, если он может высоко держать голову, громко, вслух высказывать все как есть — по-мужски. Рокфеллеры не спихивали на адвокатов то, что могли делать сами, потому и нажили свои капиталы. Адвокаты расплодились вместе с городами и с растущим чувством страха. В каком-то смысле они даже были явлением антиамериканским, хотя и сумели втереться в самую сердцевину американского образа жизни. Вот и наступил век посредника.

Крамнэгел решил удивить их всех. Ведь получил же он от благодарного Города памятный адрес (надо бы напомнить Эди, чтобы вернула его). И он был весьма высокопоставленной личностью, попавшей в трудный переплет. Он пойдет к мэру и изложит свое дело прямиком. «У меня ведь всегда были довольно хорошие отношения с мэром Калогеро,— подумалось Крамнэгелу.— Ну, не то чтобы очень хорошие... Но довольно хорошие».

Он выглянул в окно. Те двое все еще стояли на месте. Один из них переминался с ноги на ногу. Да, они не какие-нибудь призраки, они всамделишные. Что же им, черт их раздери, еще там делать, как не следить за ним? Да, сказал себе Крамнэгел, впредь, что бы ни случилось, он больше никогда ничего не передумает и не будет менять решений. Нерешительность производит впечатление слабости. Хорошие люди есть хорошие люди, а плохие есть плохие, и вместе они не...[1] Ясно? Он отошел от окна, чтобы дать своему внутреннему «я» повнимательнее вслушаться в эти рассуждения.

Через некоторое время он снова выглянул в окно и увидел, что те двое исчезли. Символично! Даже дышаться стало как-то легче. Он пристроился в кресле поспать, но телевизор не выключил. На экране не было изображения, лишь бился, как сердечная мышца, маленький световой пульс. Закрыв глаза, Крамнэгел погрузился в тяжелый, без сновидений сон, но то и дело просыпался, потому что в комнате становилось слишком тихо, а тишина вызывала беспокойство. Когда небо посветлело, сон его стал спокойнее. Человеку, который спит один, забившись в нору, днем спать не так страшно.

Проснулся Крамнэгел раньше, чем ожидал, и решил отправиться прямо к мэру. Позавтракав в закусочной, он сел около половины девятого в такси и поехал к зданию муниципалитета. По дороге он все озирался по сторонам, выясняя, нет ли за ним слежки, но в общем-то он мало сейчас об этом беспокоился, так как наметил план действий на

[1] Перефразировка строк Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе они не пойдут».

ближайшее будущее. Поднявшись на шестой этаж, он обнаружил за столом секретарши незнакомую девушку.

— Привет,— сказал он,— а где мисс Шопенгауэр?

— Она вышла замуж и уволилась. А меня зовут Миртл Коллирис.

— Гречанка?

— Греческого происхождения. Из Коринфа. Мама из Спарты. А вы тоже со старой родины?

— Нет. Что — Большой человек у себя?

— Это вы его так называете? Сейчас спрошу. Как вас представить?

— Начальник... Мистер Крамнэгел то есть.

— Будьте добры, пожалуйста, по буквам.

Крамнэгел нехотя продиктовал ей свою фамилию по буквам. Да, многое здесь изменилось, пока его не было. Секретарша-гречанка оказалась настолько неквалифицированной, что, даже заставив его трижды сказать фамилию по буквам, не могла потом прочесть то, что сама же записала. В конце концов ему пришлось самому прорычать свое имя в аппарат внутренней связи. Мэр сразу же и, казалось, с некоторым облегчением предложил ему зайти. Крамнэгел, приободрившись, постучал в дверь. Войдя в комнату, он, однако, был несколько изумлен тем, что его разговор с мэром будет происходить при свидетелях. В кабинете находились Милт Роттердам, Джо Тортони и судья Уэйербэк. Все они дружелюбно улыбались.

— Ну, как поживает наш каторжничек? — спросил мэр.

Все остальные захмыкали. Это у него шутки такие или что?

— Я вроде вам помешал, парни? — сказал Крамнэгел, переводя взгляд с одного на другого.

— Не переоценивайте собственную значимость, Барт,— ответил мэр. В его манере говорить и держаться было нечто неописуемо уродливое.— Находитесь вы здесь или за дверью, не имеет ровно никакого значения, и я хочу, чтобы вы это знали.

Прежде чем Крамнэгел нашелся с ответом, зазвонил телефон. Мэр поднял трубку.

— Вас просит мистер Шиллигер,— сообщила мисс Коллирис.

— Соединяйте.— В предвкушении разговора мэр дружелюбно улыбнулся. Когда секретарша соединила его с Бутсом Шиллигером, мэр заговорил, пересыпая свою речь такими ругательствами, что казалось, беседа ведется условным кодом. Крамнэгел нахмурился. Это еще что такое? Сидит здесь, весь ухоженный, наманикюренный, хорошо одетый, и так грязно выражается. Грязно? Даже не то что грязно, а грязнее некуда!

— А, да, конечно, только что явился,— сказал мэр, глядя на Крамнэгела и не удосужившись выругаться — из уважения, надо полагать, к столь выдающемуся гостю.— Да, я ему скажу... Да господь с вами... Подумаешь, кто он такой? Так, никто, пустое место... Плевка не стоит...— Затем ругань возобновилась и не прекращалась до самого конца этой содержательной беседы.

— Я никогда не слышал, чтобы вы так грязно выражались, мэр,— заметил Крамнэгел, когда мэр положил трубку.— Что это на вас накатило?

— Что, я вас шокировал? — поинтересовался мэр, поправляя галстук с монограммой, вытканной готическими буквами.

— Да нет, меня шокировать не так-то легко, но вроде бы человек два года подряд получал звание «Лучший отец штата»...

— Включите-ка музыку, Милт,— перебил его мэр. Когда комнату залили размороженные звуки консервированной музыки, мэр включил стоявший у него на столе крохотный японский телевизор на транзисторах, и на миниатюрном экране забегали зверьки из какого-то мультфильма.

— Вы что, собрались здесь телевизор смотреть? — спросил окончательно обескураженный Крамнэгел.

— Наклонитесь поближе,— приказал мэр.

Крамнэгел повиновался.

— Вы спрашивали, почему я так грязно ругался? Вам, вероятно, известно, что мне предъявлено обвинение в вымогательстве. И у меня есть все основания полагать, что мой телефон прослушивает ФБР... А я не желаю, чтобы пленки с записями моих разговоров прокручивали по национальному телевидению или во время расследования в сенате, ясно? Они там ничего, кроме повизгивания, не услышат. Вот почему я грязно выражаюсь, а вовсе не потому, что грязно думаю. При своих детях я так не выражаюсь никогда.

— Ясно,— сказал Крамнэгел,— здорово придумали.

Тортони и Роттердам тоже наклонились поближе, чтобы лучше слышать разговор, но судья Уэйербэк держался в стороне, как бы подчеркивая, что оказался в этой зловещей комнате лишь в силу какой-то таинственной причины и ничего не властен изменить.

— Вы, значит, считаете, что я здорово придумал,— сказал мэр.— На чьей же вы стороне, Барт?

Ну вот, опять начинается. Крамнэгел насупился. Удивительно, как все только об одном и спрашивают.

— Почему вы спросили об этом, мэр?

— Это ведь вы предупреждали меня, что Ал Карбайд жаждет разгромить организованную преступность, помните? — Мэр сделал звук погромче и быстро обежал глазами комнату.— Имена всякие называли...

— Да, конечно, припоминаю кое-что,— согласился Крамнэгел.

— Ну что ж, я всего лишь хочу сообщить вам, что лучшего начальника полиции, чем Ал Карбайд, в нашем городе не было. Спокойный, толковый, достойный человек, не суется в чужие дела, и я благодарю бога за тот день, когда он вступил в должность.

Тортони и Роттердам кивнули в знак согласия и посмотрели на Уэйербэка, который тоже вынужден был проявить свое отношение к обсуждаемому вопросу. Крамнэгел почувствовал, как в нем поднимается волна холодного гнева, но на этот раз он был уверен, что безупречно владеет собой.

— Очень рад это слышать,— сказал он,— поскольку всему, что он умеет, Ал научился у меня.

— Не в том дело, кто чему научился, а в том, кто что из себя представляет,— прорычал мэр.— Ал — не ослиная задница. Докончить фразу можете сами, Барт.

— Только за этим вы меня и позвали? — Крамнэгел поднялся со своего места.

— Я вас не звал. С какой стати мне было звать вас? Вы пришли сюда по своей воле. Я проявил по отношению к вам любезность, больше ничего. Да, я проявил любезность, Барт, но на этом все. Вам нужна работа? Очень жаль, Барт, но для такого кретина, как вы, в нашем городе работы нет.

Тортони и Роттердам согласно кивнули.

— Не убавите ли вы звук в телевизоре? Я бы хотел, чтобы ФБР услышало то, что я вам сейчас скажу, Калогеро,— громко и отчетливо промолвил Крамнэгел.

Тортони и Роттердам порозовели от восторга, и даже Уэйербэк повернулся и посмотрел на него.

— То, что вы спелись с Карбайдом, вполне естественно. Он обвиняет вас в вымогательстве и выглядит праведником божьим, а к тому времени, как судья Уэйербэк вас обелит, все будут уверены, что ваша шайка — щедрейшая благотворительная организация после Международного Красного Креста.

— А вы имеете представление о том, сколько мы каждый год даем на благотворительность? — проревел Калогеро, а Тортони поспешно усилил звуки расконсервированных скрипок.

— Жалкую долю того, что вы должны были платить в качестве налогов. Это ведь воровство по-американски — дать, чтобы утаить, сколько ты сумел огрести! — проревел в ответ Крамнэгел.— А сколько вы прикарманили на строительстве стадиона, если это не секрет фирмы?

— Стадион, к вашему сведению, является бездоходной организацией! — заорал Калогеро.

— Естественно. Я потому и понял, что здесь дело нечисто.

— Убирайтесь вон! Хотя нет, подождите! — добавил Калогеро, понизив голос, и сделал жест рукой. Тортони убавил звук.— Я настойчиво рекомендую вам покинуть город,— рассудительным тоном произнес Калогеро.

— На каком основании?

— Ну, скажем, на основании здравого смысла.

— Это, то есть как?

— Почему бы вам не вернуться в Европу, Барт? Она ведь, кажется, пришлась вам по вкусу.

— Это вы шутите или всерьез?

— Только в следующий раз на вашем месте я бы отправился на борту обычного пассажирского лайнера. Это, конечно, дороже грузового парохода, но много удобнее. Да и искушений меньше...

Крамнэгел чуть улыбнулся. Слова мэра произвели на него впечатление. Да, греков продавать нельзя.

— Что ж, теперь ясно.

— Наконец-то.

— Да, мафия работает быстрее, чем светская хроника, скажу я вам.

— Ни те, ни другие не заинтересованы в вас как в личности, Барт. Что же до меня, то я не привык тратить время на идиотов, которые суются не в свое дело. Да и мелких воришек не люблю. И неблагодарных людей тоже. А когда все эти качества соединяются в одном человеке, то я нахожу, что от него смердит. У меня, видите ли, есть совесть и весьма высокие принципы. Мои дети гордятся мною. А вы можете сказать то же самое о себе?

— Детей у меня нет, но я вам скажу вот что...

— Вы можете идти, Барт.

— Я уйду, не беспокойтесь. Я просто хочу, чтоб вы знали: я вас не боюсь, никого из вас не боюсь.

— Вам же хуже,— пожал плечами Калогеро.

— И вы зря назвали меня кретином.

— Это уж мое дело.

— Я люблю наш Город... И я помню слова, которые вы говорили на обеде в мою честь, это были прекрасные слова, и они шли от самого сердца и были правдой.— Крамнэгел почувствовал, как, несмотря на всю его решимость, глаза его наполняются слезами.— И вот что я вам скажу: я ненавижу вас за то, что вы делаете с нашим Городом... Ненавижу.

Дернув за узел галстука, Калогеро распустил его и заговорил с суровым достоинством:

— А что я делаю с нашим Городом? Да знаете ли вы, что мы заняли третье место в стране по количеству пожертвований на душу населения на войну в Юго-Восточной Азии? А по весу собранных книг и журналов — второе. И я, по-вашему, должен прятать лицо от стыда, потому что вы ненавидите меня за то, что я делаю с нашим Городом?

— При чем здесь эта проклятая война? Разве мы о ней говорим? Мы говорим о Городе!

— Наша страна воюет,— заявил Калогеро.— Значит, воюет и наш Город.

С улицы донесся шум. Шум, который возникает, когда тысячи людей идут по улицам.

— Вот вам ваша война,— сказал Крамнэгел.— Прямо как по заказу. Я вас оставляю, а вы воюйте на здоровье. Большой привет!

Мэр бросился к окну.

— Выключите музыку. И телевизор. Эти длинноволосые сукины дети из университетов штата и Тернового венца! Вот дерьмо! На сегодня никаких демонстраций не было разрешено. Ну, они у меня допрыгаются! Пусть только что-нибудь выкинут — и я сразу обращусь к Дарвуду за полицией штата.

— Прекрасно! Оставляю вас воевать с детишками. Не хочу портить вам удовольствие,— бросил Крамнэгел у двери.

— Когда моя страна ведет войну с внешним врагом, я не должен спрашивать, кто мой враг и почему он мой враг, я должен лишь помочь сокрушить врага,— заявил Калогеро голосом, дрожавшим от праведного гнева.

Роттердам кивнул, а Тортони машинально вскочил со стула. Только Уэйербэк неловко заерзал в кресле.

— Прекрасная мысль,— зло сказал Крамнэгел.— И очень удобно, когда можешь найти внешнего врага так близко.

Он вышел из кабинета и спустился по лестнице в вестибюль.

Положение его определилось, и ему сразу стало легче. Вокруг него водоворотом крутились толпы участников марша протеста, и в этом водовороте поблескивали на солнце пластмассовые шлемы людей Ала Карбайда из подразделений по разгону демонстраций — они пытались предугадать, куда хлынет масса студентов, чтобы не дать ей сбить себя с позиций. Появилось несколько конных полицейских — кони нервно вздрагивали, чуя нарастающее напряжение.

К удовольствию Крамнэгела, появление у окна кабинета мэра Калогеро было встречено громким свистом. Мэр повернул голову, глянул вверх и, увидев на крыше

у флагштока студента, крикнул, чтобы тот убирался к чертовой матери. Раздался очередной взрыв иронических комментариев и одобрительных восклицаний, за которыми последовали победные возгласы, когда на флагштоке развернулся и заполоскался на ветру флаг Северного Вьетнама.

Поскольку Крамнэгел никаких других флагов, кроме американского, не знал, он принял сей подрывной символ, взвившийся над городской ратушей, за знамя университета Тернового венца и возрадовался при мысли о том, что мэру не очень-то удается взять верх над своим внешним врагом в этой войне.

Не желая быть втянутым в происходящее, он стал отодвигаться по стенке от эпицентра событий — можно ведь наблюдать демонстрацию и издалека, с другой стороны площади. Но вдруг, перекрывая шум толпы, до него донесся небесный звук храмовых колокольчиков, и, обернувшись, он увидел группу буддистов, которые медленно и задумчиво брели в его сторону, меряя каждый свой шаг так, как будто он подводил их все ближе и ближе к вечной истине. В его мозгу сразу всплыли странные, но почему-то запомнившиеся ему слова Арни Брагтера о дарованном этим людям «божественном озарении».

Возглавлял этот мерный, сопровождаемый песнопениями марш человек огромного роста, голова у него была небольшая, обритая наголо, но на ней еще проглядывали корни волос; переносица была вымазана краской, а в выражении лица соединялись доброта, юмор и самоосуждение; это выражение резко контрастировало с его могучим телом, явно предназначенным природой для содержимого менее возвышенного, но более бурного и агрессивного.

— Не купите ли благовония, чем окажете помощь нашему храму? — обратился он к Крамнэгелу.

— Чего-чего?

— Благовонные палочки,— пояснил буддист голосом, звучащим как тихое журчание воды.— У нас есть жасминовые благовония, сандаловые и олеандровые, но, честно говоря, пахнут они все одинаково.

— У меня и дома-то нет,— ответил Крамнэгел, позволив прорваться в свой голос оттенку горечи.— Какие уж там благовония...

Стайка улыбающихся и звенящих колокольчиками девушек окружила его.

— Помолитесь вместе с нами в нашем храме. Это наш единственный дом,— объяснил гигант, в глазах которого застыло выражение чудовищной доброты.

— Вы что, буддисты будете? — спросил Крамнэгел.

— Мы принадлежим к секте Колодца бесконечных раздумий,— ответила одна из девушек.

— Ну да, помню, я вас частенько выставлял с автостоянок и всяких прочих мест. Я ведь был начальником полиции этого сумасшедшего города.

— Мы никогда не спрашиваем людей, кем они были, мы спрашиваем только, кем они хотят быть,— нараспев произнес гигант и промурлыкал коротенький гимн, подхваченный остальными. Крамнэгел тут же принял почтительную позу. Он питал глубочайшее уважение к верованиям других. А как же — в свободной стране нельзя иначе.

— Вы-то сами, юноша, смахиваете на морского пехотинца,— заметил он.

— Все это уже в прошлом,— улыбнулся гигант.— А теперь я обрел смысл жизни, и все, что было раньше, ушло, как болезнь.

— Но все же — для справки — вы служили в морской пехоте?

— Справок нет, есть только истина.

Буддисты пропели еще несколько строк гимна и снова зазвонили в колокольчики.

— Я был во Вьетнаме,— пояснил гигант, чтобы утешить Крамнэгела.— Нам говорили, что мы отправились туда с напалмом и ракетами, чтобы учить, но я вернулся оттуда, научившись сам, научившись любви и нужде... Я прозрел духовно. Христианство было хорошо до поры до времени, но оно продалось, изгадилось, стало дешевкой и превратилось в орудие ненависти.

— Продалось?

— Всегда ведь присутствовал священник, чтобы похоронить мертвых и проводить на бойню новую партию живых. Один и тот же священник всегда делал и то и другое, причем одними и теми же словами и с тем же лицемерием перед властями предержащими, козыряя своим авторитетом от имени Всевышнего и готовя нас к судному дню — величайшему военно-полевому трибуналу. Не напоминайте мне обо всем этом.—

Он ожесточенно взмахнул колокольчиком, и мирная песнь вырвалась из глоток молчавших доселе людей, и те принялись воспевать жизнь, подобно любовникам.

К этому тихому мадригалу вдруг присоединился разноголосый, бьющий по слуху рев многих голосов, скрипучий, резкий и безжалостный. Через площадь покатилась волна строительных рабочих — хулиганья в спецовках и в металлических касках, размахивавшего американскими флагами. Увидев перед собой студентов, они с марша перешли на бег — зловещий медленный бег, напоминавший атаку пехоты в какой-то давно забытой войне. Их лица были лицами людей, не приемлющих ни доводов, ни возражений. Эти лица дышали самодовольством лабораторных крыс, обученных без раздумий и колебаний вбегать в дверку, на которой намалеваны звезды и полосы. Им чужды были сомнения, а потому чужда и человечность. Последний оплот реакции всегда состоит из унтеров, а не из офицеров. Когда офицеры уже давно признали и поняли неотвратимость перемен, вызванных к жизни солидарностью рода человеческого, унтеры все еще цепляются за старый мир, поклоняются шаманам и раскрашенным идолам, оставаясь жертвами своего воинствующего рабского сознания, выкрикивают лозунги, не задумываясь ни над словами, ни над их содержанием. И вот они здесь, вот они несутся во всю прыть, раскрасневшиеся от радостного сознания, что они — в деле, опьяненные ненавистью к бесконечности человеческой мысли и души, лежащей за пределами их разумения.

Крамнэгел и буддисты оказались как раз перед атакующей толпой. Неподалеку стоял заслон из полицейских, но ничто больше не преграждало нападавшим дорогу к студентам-демонстрантам.

— «Я не боюсь...» — запел гигант, и остальные подхватили песню. Первая волна пронеслась мимо них: внимание нападающих было всецело поглощено студентами и оскорблявшим их чувства флагом, который развевался над ратушей. На секунду показалось, что нападение вообще минует буддистов. Однако за первой волной медленно приближался плотный клин воинственно настроенных людей, среди которых мелькали армейские ветераны в форменных фуражках, но в штатских костюмах. Эта последняя волна захватила Крамнэгела и буддистов и понесла их к студентам, а вместе с ними и наряд полиции.

— Почему вы не на фронте, не в Индокитае? — обращаясь к гиганту, с ненавистью, раздувая ноздри, завопил джентльмен в форменной фуражке, на которой было написано «Окинава».

Буддисты запели самый мирный свой гимн.

— Вперед, ребята! — завопил Окинава, не желая нападать на буддистов в одиночку.

— Они-то хоть по крайней мере честные! — заорал еще кто-то.— Сами в желтое оделись! [1] — Эти слова были встречены взрывом хохота.

Крамнэгел нахмурился — он вдруг вспомнил многочисленные библейские истории, в нем взыграла мораль воскресной школы.

Окинава ударил буддиста, но тот лишь улыбнулся в ответ.

— А ну, прекрати! — выкрикнул Крамнэгел, твердо решивший встать на сторону Христа.

— А ты кто еще такой?

— Слышал, что тебе говорят? Прекрати! Этот парень не хочет воевать, и ты не имеешь права заставлять его.

— Ты в этом уверен? — издевательски спросил Окинава, нанося буддисту очередной удар.

Крамнэгел сгреб Окинаву за ворот, захватив рубашку, галстук и лацканы пиджака в свой огромный веснушчатый кулак.

— Отпусти! — затрясся Окинава.

Один из строительных рабочих с размаху ударил Крамнэгела по голове своей металлической каской, Крамнэгел рухнул на землю. Затем они бросились на гиганта.

Крамнэгел, шатаясь, поднялся на ноги, из разбитой головы текла кровь. Он крикнул полицейским, сдерживавшим нескольких неистовых джентльменов в форменных фуражках:

— А ну, ребята, давай сюда!

Полицейские посмотрели в его сторону, но никто и с места не сдвинулся.

---

[1] Yellow по-английски означает и «желтый» и «трусливый».

— Да вы что, идиоты, оглохли?

Крамнэгел начал протискиваться к ним сквозь толпу.

— Вам что, так приказали, да? — завопил он прямо в лицо ближайшему полицейскому.— Помните меня, нет? Начальник полиции Крамнэгел! Если вы сейчас же не разгоните эту сволочь, я из вас кишки вместе с дерьмом выпущу!

Полицейским было явно не по себе, но с места они не двигались.

— Что, никогда не слышали слова «долг»? — продолжал орать Крамнэгел.— Или Карбайд уже перестал поминать его? Да мне сегодня просто стыдно, что я — американец... Стыдно!

Один из полицейских беспомощно пожал плечами.

— Что, что ты сказал? — крикнул Крамнэгел, прижимая ухо к пластмассовому шлему.

— Пожалуйста...

— «Пожалуйста»! — с отвращением повторил Крамнэгел и повернулся к гиганту. Гиганта уже не было, была кучка ожесточенных людей в фуражках и шлемах, которые яростно топтали что-то, лежавшее на земле. Ослепленный яростью, Крамнэгел ринулся в толпу. На земле лежал гигант, растоптанный, бездыханный. Одна из девушек, пытавшаяся защитить его, лежала рядом. Толпа вела себя как племя дикарей-охотников, упивающихся победой и опьяненных кровью; ноздри людей раздувались от первобытного запаха убийства, и все чувства напряглись в жажде уничтожения. В воздухе пахло радостью побоища, звучал торжествующий смех, жестокий и неумолимый, смех, заменяющий слезы. Лица были ужасны, на них не отражалось ничего, кроме смеси абсурдных, непристойных и отвратительных инстинктов. Все разумное было поглощено чудовищной отрыжкой подсознания. С упрямством, порожденным отчаянием, Крамнэгел снова сгреб Окинаву. Он ненавидел это лицо, а фуражка просто оскорбляла его взор. Он уставился в истеричные, пустые, несчастные глаза своего противника, как бы пытаясь понять, что же превращает человека в жалкого, тоскливо-одинокого моралиста от замочной скважины, оскверняющего своим уродством все и вся вокруг и при этом считающего, что он оказывает обществу услугу. Крамнэгел сорвал с него фуражку и швырнул ее подальше, в бушующие волны человеческого моря.

— Это же моя фуражка! — завопил Окинава так, будто его кастрировали.

— А это,— рассудительно ответил Крамнэгел,— твое рыло! — И с этими словами ударил его так жестоко и злобно, что тот исчез в джунглях топчущихся ног и утративших владельцев вещей. Гиганту уже было не помочь, но Крамнэгел дрался так, как никогда в жизни — даже в тюрьме схватка не доставила ему такой радости. Там он просто спасал свою шкуру, выпутываясь из недоразумения, здесь же он выступал единственным представителем света, чести, благородства. Он знал, что делал, и поэтому чувство радости и сознание справедливости сопровождали каждый его удар. Но силы тьмы, увы, превосходили его силы. Неожиданно в дело вмешалась полиция. И вовремя: Крамнэгел уже еле стоял на ногах. Пытаясь удержаться, он повис на каком-то рабочем, который не мог отцепиться от него, чтобы сбить его наземь.

— Встань и дерись! — хрипло и заунывно кричал рабочий. Крамнэгел расхохотался, прижимая его к себе, как партнера на танцплощадке. Он смеялся над собственной хитростью и над растерянностью противника. Но огонь схватки уже догорал.

Толпа издала громовой рев, затем площадь, словно мантией, окутало тишиной.

— «О, зришь ли ты... в лучах зари...» [1] — вырвался из тысячи глоток единодушный рев.

Одним полузакрытым глазом (второй уже не открывался вообще) Крамнэгел успел заметить, что оскорблявший чувства патриотов флаг Северного Вьетнама уже заменен восстановленным на своем законном месте звездно-полосатым полотнищем, а на крыше ратуши, прижав к груди желтые каски, стоит небольшая группа строительных рабочих.

Один за другим стоявшие в толпе полицейские в чистеньких, незапятнанных побоищем мундирах снимали свои пластмассовые шлемы и, прижав их к груди, пылко включались в исполнение гимна.

Закрыв свой зрячий глаз, Крамнэгел успел пробормотать, прежде чем потерял сознание:

— Ну, теперь уж меня ничем не удивишь...

---

[1] Начальные слова «Звездного знамени» — национального гимна США.

Когда Крамнэгел открыл глаза, все вокруг было белым-бело. Запах лекарств убедил его, что до встречи с Создателем еще далеко. А жаль. Ему казалось, что как раз сейчас он и был бы наилучшим образом подготовлен к такой встрече. А ведь это не каждый день бывает. Гордый тем, что сумел подумать о столь важных вещах в такой момент, он попытался шевельнуться. Но тут ему стало не до смеха. Чувствовал он себя намного хуже, чем даже после избиения в тюрьме. Он огляделся по сторонам, пытаясь не шевелить забинтованной головой, и увидел наблюдавшего за ним человека в штатском. С трудом сосредоточив взгляд, он узнал Армстронга, державшего в руке какой-то конверт.

— Это ты, Марв,— сказал он не без горечи. Он был очень зол на полицию.

— Здравствуй, Барт.

— Что это у тебя в руке, ордер на арест?

— Билеты.

— Билеты? Не понимаю.

— Билеты на самолет... В Колорадо-Спрингс.

Вот ведь сентиментальный сукин сын. Но золотое сердце, и как раз там, где надо.

— Почему именно в Колорадо-Спрингс, скажи на милость? Что там такого хорошего?

— Просто я знаю это место, Барт, вот и все. И оно мне нравится. И тебе, я думаю, понравится немножко там пожить.

Крамнэгел попытался состроить гримасу, но ему стало очень больно, да и нервам, управляющим мышцами его лица, было не до гримас.

— Так это что?... Хорошее местечко для пенсионеров... гольф по расписанию, карты, телевизор...

— Да нет же, нет! — закричал Марв.— Просто чудесное место с замечательным климатом. Я ведь сам туда ездил, а не отца своего посылал.

— И кого я должен благодарить за это? Мэра?

— Билеты от имени всего полицейского управления...

— Включая Ала.

— За исключением мистера Карбайда.

Крамнэгел вздохнул.

— Очень мило со стороны ребят, Марв, но... Помнишь, что со мной случилось в тот единственный раз, когда я получил подарок от всего управления?

— Ты же не собираешься застрелить кого-нибудь в Колорадо-Спрингс?

— Нет,— задумчиво ответил Крамнэгел,— должен сознаться, что я скорее сделаю это, если останусь здесь.

— Вот и я о том же.

— И все же...

— Ну, не обязательно в Колорадо-Спрингс, Барт. Куда угодно, где тебе больше нравится, но уезжай ненадолго. Эти билеты можно обменять на любой другой рейс той же стоимости. Пожалуйста, Барт, это ненадолго ведь...

Крамнэгел подумал с минутку. Да, что ни говори, а в друзьях у него недостатка нет. И все же в поспешности этого предложения было нечто, вызывавшее беспокойство. Угрожала ли его жизни какая-то опасность, или Армстронга беспокоила его возможная реакция на ход событий? Он слегка нахмурился. У него был прекрасный нюх, и иногда этот нюх превращался в проницательность — это, конечно, когда он был в хорошей форме и ничем не удручен, а не когда он был усталый и взвинченный.

— Что там с этими буддистами, Марв? — внезапно спросил он.

Армстронг нервно заерзал на стуле и невольно отвел глаза в сторону. Крамнэгел, чутко на все реагирующий, посмотрел в ту же сторону и увидел, что соседняя кровать отгорожена ширмами.

— Что с тем огромным парнем? — стоял он на своем.— Ну, который Христос.

— Христос?

— Ну, тот здоровый детина, который все подставлял другую щеку.

— Да, шум, конечно, поднялся по этому поводу изрядный, Барт,— поколебавшись, сказал Армстронг.

— Шум, значит, поднялся?

— Что ж, могу тебе и сказать... Он умер.

Наступило долгое молчание.

Крамнэгел не сводил с Армстронга взгляда — безжалостного, страшного и торжественного.

— Ты ведь знаешь, кто убил его, Марв? Его убило полицейское управление.

Вот уж с этим Армстронг не мог согласиться.

— Ну, сейчас ты заходишь слишком далеко, Барт.

— Послушай, я ведь там был!

— Я знаю. Мы там тебя и нашли.

— Могли бы найти меня и раньше. И не дать им избить меня. И не дать им убить того огромного парня.

— Что ж, может, поэтому ребята так быстро и согласились скинуться тебе на билеты, когда я предложил. Им очень неловко, что так случилось.

— Неловко? Да они даже не узнали меня!

— Узнали, и еще как!

— Но у них был приказ... Я ведь не ошибся, нет?

Лицо Армстронга стало несчастным.

— Все мы выполняем приказы, Барт, ты же знаешь. Правда, не забыл еще? А мэр вызвал полицию штата. Они тут ранили пару студентов. Слава богу, не убили никого. Для одной уличной стычки и того парня хватит, но на нас накинулась вся пресса, все крупные телекомпании и газеты. На улице каждый второй прохожий — репортер с микрофоном. Но прежде, чем они успели опубликовать хоть строчку, городские власти уже обвинили их в предвзятости.

— Сдай билеты обратно в кассу, Марв, купи своей жене новую шляпку. Я никуда не поеду.

— Барт, ради бога, только не злись...

— С чего мне злиться? Мне дали семь лет тюрьмы за то, что я застрелил человека при самообороне, а здесь кучка шпаны в идиотских шапках забила насмерть беззащитного парня, и никто ничего им не сделает, потому что они ветераны и знают наизусть все четыре куплета «Звездного знамени». Ни хрена себе справедливость! — заревел Крамнэгел, разбрасывая простыни и пробуждая к жизни тяжелобольных на соседних койках.

— Нам просто необходимо выждать,— взмолился Армстронг, пытаясь привести в порядок простыни.— Выждать, пока мы займем достаточно влиятельное положение, чтобы суметь что-то сделать.

— Это я уже слышал. Все мы так говорим, пока карабкаемся наверх, но как заберемся и начнем ходить по канату, только о том и думаем, как бы не упасть, потому что выпасть из милости — штука очень болезненная. Ал Карбайд тоже любил красивые слова, пока не пробился наверх. А теперь он на все сто — человек мэра. Знаешь, кто мне сказал это? Калогеро, собственной персоной. Так что брось ты, Марв, если уж убивают, так пусть хотя бы тех, кого надо. Нечего тратить пули на невинных, когда виновные разгуливают себе как хотят, с полными карманами денег и кредитных карточек...

— Да, кстати, у меня для тебя новость,— перебил его Армстронг, пытаясь перевести разговор на другую тему.— Помнишь, ты просил узнать, как Ред Лейфсон потерял ноги? Я выяснил — он попал под трактор на ферме, когда ему было десять лет.

— Какое мне сейчас дело до его ног?

— Ты же меня просил, вот и все.

— Я помню, я, черт побери, все прекрасно помню. Кто отвечал за регулировку уличного движения в тот день, когда я улетал в Европу? Четырнадцатого мая? Не ты ли, Марв?

— Да так сразу и не скажу.

— А я скажу. Я даже это помню. У тебя на развилке шоссе образовалась черт знает какая пробка, а дежурного вертолета и близко не было.

— А, да, точно,— подтвердил Армстронг,— как раз в тот день у вертолета полетел сальник, и шесть машин врезались одна в другую. Двое погибло.

— У тебя тоже память ничего, только кому теперь до этого дело, кроме, может, родных тех двух погибших, да и они, наверное, совсем о другом думают. У людей короткая память, Марв, в том-то и беда. Всё они забывают и притворяются, что ничего не видят. У них на глазах человек истекает кровью, а они решают: пусть это расхле-

бывают власти — полиция, «скорая помощь», кто угодно... Зачем самим ввязываться? Это ведь может отнять время — не меньше, чем заседание в суде присяжных. Кому охота? Что ж,— теперь он говорил медленно и пугающе четко,— а мы должны сделать так, чтобы люди не забывали.

— И как же ты собираешься это сделать? — непринужденным тоном спросил Армстронг.

Крамнэгел смотрел на него своими жуткими глазами, жуткими оттого, что они по таинственной и неизъяснимой причине казались счастливыми.

— Тот буддист не имел никакого права обременять нас своей смертью, Марв. Но раз уж он умер, то мы обязаны воздвигнуть ему подобающий памятник.

Армстронг не мог отвести от Крамнэгела взгляда, а тот, чуть покачивая головой, вещал веско и убедительно — словно сама судьба.

— Еще один вопрос, Марв. Откуда вдруг взялись эти строительные рабочие? Что здесь такое большое строят? Этих сукиных детей набежало сотни четыре, а то и пять...

— Чтобы закончить стадион вовремя, организовали двойные смены...

— Чтобы успеть его завтра открыть?

— Ага.

— Вот видишь,— сказал Крамнэгел,— все сходится, как по нотам. Я и сам бы лучше не придумал. Значит, они прибежали с этого паршивого стадиона...

Армстронг не понимал, о чем говорит Крамнэгел, но ради сохранения душевного равновесия уточнить не стал. Он сунул билеты в карман и ушел, бросив с деланной легкостью на прощание: — До скорого, начальник.— Он отчаянно пытался думать о чем-нибудь другом.

Как только Крамнэгел убедился, что Армстронг действительно ушел, он шумно потребовал к себе доктора.

— Я хочу отсюда уйти,— заявил он.

— По-моему, вам еще рано уходить из больницы,— ответил доктор и начал объяснять, что в своем нынешнем состоянии Крамнэгел только будет обузой для общества — и в самом деле: левая рука его была забинтована, и он не мог ею пошевелить, а бинты на голове нависали над левым глазом подобно балдахину, что заставляло Крамнэгела горделиво откидывать голову, хотя подобная поза никак не вязалась с его характером.

— Ну и долго еще мне придется ходить в этих проклятых бинтах? — спросил он.

— Через пару дней посмотрим ваши травмы.

— Вот как?

Крамнэгел начал разбинтовывать левую руку.

— Не смейте этого делать! — приказал доктор.

— Хотите, чтобы я поднял хай?

Крамнэгел помнил, как заключенные стучали ложками по мискам, чтобы придать своим требованиям больше убедительности.

— Нет, я не хочу, чтобы вы поднимали хай,— весьма чопорно ответил доктор. Он впервые столкнулся с подобным пациентом и, чтобы не взорваться, тоже повел себя как ребенок.— Надеюсь, вы попадете под грузовик,— сказал он, выходя из палаты.— Под четырехосный.

Крамнэгел оказался намного слабее, чем предполагал; яркий солнечный свет и ошеломил, и ослепил его. Он оперся о перила, чтобы не упасть. Тяжело дыша, он глянул вверх и встретился со взглядом доктора, злорадно следившего за ним из окна. Этого было достаточно. Вся жизнь Крамнэгела, казалось, была сплошной цепью подвохов и побуждений, которые, разумеется, он воспринимал как вызов и которые толкали его от одного безрассудства к другому. Те, для кого существование — вечный бой, слишком глубоко ощущают упоение действием и потому не в состоянии обдумать последствия своих поступков. И им зачастую мнится, что человек, забивающий себе голову мыслями о последствиях, не способен жить полной жизнью. Тому, кто пьет лишь для того, чтобы напиться, безразличен тонкий вкус вина.

Пока доктор маячил в окне, Крамнэгел считал своим долгом идти четким и уверенным шагом. Согласно его своеобразным представлениям о чести, упасть он мог, но только не на глазах у тех, с кем имел дело. Он попытался остановить такси. Водитель сбавил ход, но затем снова нажал на газ, хотя был свободен и до конца смены было еще далеко. Есть в забинтованных людях нечто такое, что отпугивает водителей такси.

Крамнэгел добрел до перекрестка, опираясь время от времени на барьеры у магазинных витрин, чтобы сохранить равновесие. Наконец какой-то сердобольный водитель притормозил у тротуара.

— Вам помочь? — спросил водитель; лицом он походил на фермера, да и машина у него была типично фермерская — потрепанная, видавшая виды.

— Вам со мной не по пути,— ответил Крамнэгел.

— Откуда вам знать? Залезайте. Мне туда, куда вам. Нельзя же идти в таком состоянии. Что, небось прямо из больницы?

— Точно.

Крамнэгел втиснулся на переднее сиденье. Чувство облегчения боролось в его душе с чувством горечи. Не дай бог, этот человек вновь заставит его обрести веру в людей — ведь он только-только утвердился в мыслях о мести.

— Куда поедем?

Крамнэгел назвал адрес. Это был адрес Арни Браггера. Они ехали молча.

— Что с вами приключилось? — спросил наконец хозяин машины.

— Вы не поймете.

Фермер озадаченно улыбнулся.

— Как так?

— Ну, ввязался я...

— А...

Теперь дистанцию выдерживал фермер.

— Что ж, с каждым может случиться,— сказал он наконец.

— Вы правы как никогда,— откликнулся Крамнэгел.

Они подъехали к нужному дому.

— Больше не ввязывайтесь,— любезно сказал фермер.

— Это еще почему? — с воинственными нотками в голосе спросил Крамнэгел.

— Ну, если уж вы без этого не можете, то хоть отделайте своего противника сильнее, чем он вас.

— Постараюсь,— улыбнулся Крамнэгел.— Спасибо вам большое.

Он долго звонил в дверь Арни. Наконец дверь открыла прислуга-негритянка.

— Резиденция доктора Браггера.

— Он дома?

— Вы его пациент?

— Пока еще нет.

— Он в больнице, вернется поздно.

— Поздно? Как поздно?

— Часа через два.

— Я подожду.

— Но не в доме. Не велено.

— Я подожду здесь.

Негритянка захлопнула дверь и завозилась с дверной цепочкой.

Проснулся Крамнэгел оттого, что услышал, как Арни Браггер потихоньку пытается открыть собственную дверь.

— Привет, Арни.

— Кто здесь? — испуганно обернулся Арни Браггер.

— Барт Крамнэгел.

— Господи, да что с вами, Барт?

— Помяли меня.

— Помяли? Вы попали в аварию?

— Нет, сам.

— Сам?

— Я сам нарвался, чтоб меня помяли. Мне нужно с вами поговорить, Арни.

— Только не сейчас, Барт.

— Сейчас, Арни. Мне нужно потолковать с вами сейчас.

— Я должен ехать на ужин.

— Отмените его.

— Не могу, Барт, право же, не могу.

— Предупредите, что задержитесь.

— Поверьте мне, Барт...

Крамнэгел сгреб Арни за лацканы здоровой рукой. Вид у него, наверное, был устрашающий, потому что Арни сразу съежился; зародыш улыбки застыл на его помертвелых губах.

— Вы помните, что́ как-то раз сказали мне, Арни? — спросил Крамнэгел.— Надо же, я-то ведь все помню слово в слово. «...Я помогу вам только в том случае, если из общества выпадете вы»,— тихо произнес Крамнэгел, как бы читая слова самой священной из литаний, а затем, улыбаясь жестокой улыбкой хозяина положения, снова вперил в Арни взгляд.— Именно так вы тогда и сказали. Именно этими словами.

— Я не помню, Барт, право же, не помню.

Рука, державшая Арни за лацканы, сжалась в кулак.

— Ну-ка, скажи мне еще раз, что не помнишь. Скажи только хоть раз, ты, бесчестный сукин сын...

— Я помню, что вы приходили ко мне... Вот что, Барт... Нет смысла беседовать здесь. Пойдемте в гостиную, там удобнее...

— Вы это честно? Без дураков? Потому как предупреждаю вас, Арни: если вы решились воспользоваться тем, что я еле хожу, то я убью вас!

— Что сделаете? — рассмеялся Арни, он не мог даже вообразить себе, что такие вещи можно говорить всерьез.

— Я убью вас,— очень просто повторил Крамнэгел.— Вы что, не расслышали? Я ведь ездил в Англию на практику и теперь... Ну, знаете, как и всякое другое дело, теперь это превратилось в привычку.

Арни глубоко заглянул в его блуждающие глаза.

— Заходите,— сказал он, открывая дверь осторожным жестом человека, преисполненного решимости доказать сумасшедшему, что его не заманивают в ловушку.

Они прошли через холл в гостиную. Арни затворил за собой входную дверь, но запирать ее на засов на всякий случай не стал.

— Ладно, Барт, выкладывайте, что у вас, но только, пожалуйста, побыстрее. Сегодня Ассоциация ученых-психиатров дает свой ежегодный ужин, это очень важное событие, и я должен выступить с речью, которую будут транслировать по каналу, передающему образовательные телепрограммы по всей стране...

— Можете взять меня с собой в качестве подопытного кролика. Ей-богу, я ведь из них самый большой.

— Прошу вас, Барт.

— Ну, ладно,— неожиданно примирительно сказал Крамнэгел.— Я вам не помешаю ехать на ваш ужин. В конце концов, мне нужно совсем немного времени, чтобы испортить вам вечер.

— Что у вас на уме, Барт? — Арни сел на край кресла, сложив руки на груди и пытаясь держаться непринужденно.

— Что у меня на уме? — мрачно переспросил Крамнэгел, и Арни не сумел скрыть беспокойства, вызванного его тоном.— Это, знаете ли, хороший вопрос. На уме. Я ведь раньше никогда не задумывался над тем, что эти слова значат, просто произносил их, и все, но если задуматься, то смысл в них большой.

— Да... да, безусловно,— сказал Арни, тоже как будто одобряя эти слова.

Крамнэгел ласково посмотрел на него:

— «Я помогу вам, если из общества выпадете вы». Теперь вспомнили?

— Конечно. Да, теперь я вспоминаю,— коротко ответил Арни.

— Я так и думал.

— Но, знаете, Барт, я ведь всегда помог бы человеку в беде, даже если бы и не вспомнил, просто такой уж у меня характер.

— Ага, это я знаю. Ваш сын позаботился о том, чтобы именно таким вы и были,— повернул Крамнэгел нож в ране, и Арни вздрогнул и посмотрел на часы.— Ну вот,— медленно продолжал Крамнэгел,— так получилось, что я выпал из общества. И не по собственному, как вы понимаете, желанию. Меня просто, так сказать, вытолкнули, спихнули с края обрыва. И теперь мне нужна ваша помощь, Арни.

— Почему же вы не пришли ко мне в клинику...

— Потому что мне некогда, Арни, вот почему,— несколько повысил голос Крамнэгел.— Вы ведь знаете: я убил человека.

— Да, я читал об этом,— вздохнул Арни.

— Что ж, это был глупый поступок, верно?

— Да. Да, раз вы сами так говорите, раз все так повернулось...

Крамнэгел наклонился вперед, чтобы больше походить на заговорщика.

— Да, это было глупо. Но вы знаете — почему?

— Разумеется.

— Скажите мне — почему.

— Но... но это всегда глупо — убивать людей.— Арни не нравились подобные разговоры.

— Э, нет,— отвечал Крамнэгел тоном профессора, разочарованного ответом своего любимого ученика.— Само по себе убивать людей не глупо, глупо убивать людей без причины. У этих, значит, строительных рабочих и у этих паршивцев-ветеранов была причина убивать того буддиста — ненависть, обыкновенная ненависть. А у меня такой причины не было. И приговор мне дали заслуженный, потому как был я просто обормот и кретин. Я убил человека, которого даже и знать не знал. А сейчас я выяснил кое-что еще. За убийство того буддиста никого даже и не собираются арестовывать. Это раз. А убивала его целая толпа. Это два. Вот это и есть толковое убийство, Арни. Но у меня таких преимуществ нет. Я — один, сам по себе. Поэтому не приходится рассчитывать на помощь. У меня ведь нет ничего, кроме ненависти. Ненависти, которой я научился прямо здесь, в моем родном Городе.

Побледневший Арни больше уже не смотрел на часы.

— Барт,— сказал он,— еще не родился такой человек, которому рано или поздно не требуется помощь. И психиатрия медленно проникает в потемки человеческого разума...

— Весь этот треп я от вас уже слышал раньше,— грубо перебил его Крамнэгел,— вы мне даже говорили тогда, что я, видно, болен, потому как не хочу лететь тринадцатого числа. Так вот что я вам скажу: потемки человеческого разума меня не касаются и не интересуют, меня интересуют активные действия, таким уж я всегда был, таким и помру — но только не в газовой камере, а в открытом бою с оружием в руках. Только...— Он помолчал.— Только я пока не собираюсь помирать, мне еще кое-кого самому нужно сперва убить. А потом и пожить немножко.

— Убить? — безучастно спросил Арни.

— Убить. Завтра вечером. На открытии стадиона. Там ведь все будут, верно? И Эди, и Ал.

— Вы хотите убить Эди?

— С чего вы взяли, что я хочу убить Эди? Эту жалкую глупую сучонку? Я не намерен убивать людей, чтобы избавлять их от их собственных несчастий. Если они такие жалкие и несчастные, то, наверное, того и заслуживают, и кто я такой, чтобы класть их несчастьям конец? Что же до Карбайда, то я так мелкие счеты не свожу. С меня хватит того, что он схлопочет по первое число за плохую организацию охраны. Нет, сэр, если уж Крамнэгел берется убивать, то впредь он будет убивать людей на самом верху.

— На самом верху?

— Вот именно. Я не желаю тратить пули на всякую сволочь вроде Реда Лейфсона. Когда-нибудь он захлебнется собственным ядом и утонет в нем. Я не стану охотиться даже на такое жулье, как мэр Калогеро,— рано или поздно его прикончит либо Шиллигер, либо Роттердам, либо Тортони, либо какой-нибудь из подпольных синдикатов. Матч начинается ровно в восемь, так? Губернатор штата Дарвуд Х. Макалпин пожмет руки игрокам обеих команд и откроет памятную доску. Так вот, позвольте вам сообщить, что на свое место он уже не вернется. И матча ему не видать, потому как он умрет.

— О боже! — в ужасе вскричал Арни. — Но что он сделал вам плохого? Ал Карбайд — это я еще могу понять...

— Этот сукин сын вручил мне билеты для кругосветного путешествия, так ведь? — устрашающе напряженным голосом перебил его Крамнэгел.

Ход мыслей Крамнэгела внезапно открылся Арни, как вдруг открывается исследователю никому доселе не известный мир. Он лежал перед ним, ярко освещенный и четко видимый, и хотя в нем было слишком много деталей, чтобы усвоить их все сразу, в общих его очертаниях не могло быть никаких сомнений, а остальное легко угадывалось.

— Вы вините во всем его...

— А где он? Сидит в своем кабинете или скорее всего потягивает коктейли у своего домашнего бассейна, пока в Городе убивают не тех, кого нужно, и не на тех,

на кого нужно, сваливают вину. Я пристрелю этого мерзавца, Арни, а затем объявлю о временном помрачении ума. Вот здесь-то вы мне и понадобитесь.

Арни почувствовал, как к горлу подкатила тошнота.

— Я не советую вам действовать подобным образом, Барт, право, не советую.

— А я к вам не за советом пришел. Вы всегда охотно выручали людей, которые насиловали малолетних детей, выручали убийц-педерастов и всяких прочих психов. Теперь моя очередь. Я ведь вышал из общества, вы не забыли, Арни? И вы поможете мне избежать приговора за убийство — это все, чего я прошу. Вы и Шпиндельман.

— Шпиндельман? Да он никогда в жизни...

— Вы что, смеетесь? По-вашему, он откажется защищать начальника полиции, обвиняемого в убийстве губернатора штата? Да это ведь и есть одно из тех дел, за которые он берется не ради денег. Тут уж дело верное — вопрос его славы. Лучше не придумать — человек служил Городу верой и правдой почти что с тридцати лет; служил настолько хорошо, что Город устроил ему чествование, на котором ему вручили памятный адрес и билеты в кругосветное путешествие, да еще первым классом, а не каким-нибудь туристским или чартером. Так вот, с тем же самым человеком несправедливо обошлись за границей, он возвращается обратно и видит, что его любимый Город превратился в помойку, в вертеп, где процветают коррупция, насилие, взяточничество — дальше можете продолжать сами. Так как же он поступает? Да очень просто — он поступает честно, поступает по-настоящему, по-американски — причем, заметьте, только потому, что он против насилия, взяточничества и воровства: поскольку все от него отмахиваются, он убивает этого чертова губернатора, чтобы привлечь внимание ко всем этим безобразиям.

— Послушайте меня, Барт...

— Переведите все это на первосортный английский язык, и ваше дело в шляпе.

— Вы хотите подменить собой закон?

— А разве Иисус Христос спрашивал разрешения в муниципалитете, чтобы изгнать торгующих из храма? Нет, сэр, не спрашивал. Ему просто повезло, что тогда еще не было ружей.

— Барт! — настойчиво сказал Арни. — Вам нужно на время уехать отсюда.

— В Колорадо-Спрингс? Слышал уже. Не пойдет.

— Я могу положить вас в больницу.

— Это пожалуйста, но только послезавтра. С удовольствием у вас полечусь.

Арни решил попробовать иной подход:

— Я ведь понимаю, что вы все это говорите не всерьез, Барт. Не понимаю только, за что вы мстите мне. Это довольно жестоко с вашей стороны — у меня не такое уж здоровое сердце.— Он прикрыл его руками.— У меня был приступ, пока вы отсутствовали, врачи говорят, что мне не так уж много осталось жить.

Неожиданно для Арни Крамнэгел вскочил и затряс его, как тряпичную куклу.

— Ты добьешься моего оправдания, Арни. Ты и Шпиндельман. Вы оба добьетесь этого. А своему сердцу ты велишь подождать, пока не кончится мой процесс. Ты дал мне обещание, и ты его выполнишь, ясно? Ты скажешь, что я был не в своем уме, когда убивал губернатора, а потом я, значит, поправлюсь благодаря твоему лечению и твоим лекарствам. Это будет чудесное исцеление, одно из самых больших чудес в истории медицины. И оно прославит тебя. Тебя и Шпиндельмана. Ты только подумай об этом. Сакко и Ванцетти, Леб и Леопольд [1], а теперь — Крамнэгел. Если вам нужен продажный судья, найдите его... Вы же всех их знаете. Не мне вас учить. Сделайте так, я потом заплачу вам за это.

— Вы мне заплатите? Как?

— Я напишу книгу. Книгу о своей жизни. Можете рассматривать весь этот эпизод как начало рекламной кампании для моей книги. Мне-то самому и строчки написать не придется — я все выяснил еще в Англии. Я лишь продам свое имя, а все остальное за меня сделают. Я даже не читал своих чертовых мемуаров; все, что мне пришлось делать,— это просто жить своей жизнью. А потом по книге поставят фильм — и вот он я, во всех журналах, пожимаю руку актеру, исполняющему роль Большого Барта.

---

[1] Леб и Леопольд — известные гангстеры — похитители детей. Их процесс привлек всеобщее внимание в 20-х годах.

Арни хотел высмеять Крамнэгела, но ядовитое красноречие отказало ему. Ведь примеров подобного рода было множество. Кэрил Чессмен[1], скажем, продержался так долго, что читающая публика успела привыкнуть к нему и стала протестовать против беспричинной казни выдающегося литературного таланта. Так называемый сладкий аромат удачи уже щекотал ноздри Крамнэгела. А ведь если бы не эта двуличная Далила — Эди, он уже тратил бы свои гонорары.

Арни сделал последнюю попытку заговорить с позиции человеческого достоинства и прочих добродетелей, которую человек обычно занимает, когда остается наедине с собой.

— Барт,— сказал он,— я тоже вижу, какое безобразие творится вокруг...

— Но вы привыкли мириться с ним...

— Я вовсе не это хотел сказать, Барт. Я дал вам высказаться. А теперь будьте справедливы и дайте высказаться мне.

— Пожалуйста. Я только должен напомнить вам, что вы торопитесь на ужин, Арни. Вроде бы важное дело.

— Можно ли думать об ужине, когда человек в беде,— солгал Арни.

— Вы начинаете понимать мою точку зрения....

— Это всегда была и будет моя точка зрения. Это больше чем точка зрения, Барт, это принцип врачебной этики.

— Отлично звучит, Арни. Только не тратьте таких высоких слов на меня. Приберегите их для присяжных.

— Никаких присяжных не будет, Барт. По той причине, что не будет преступления. Все, что вы мне сейчас изложили, объясняется просто: вы несчастны, озлоблены и разочарованы. Я понимаю почему — и, поверьте мне, все это излечимо. Но зачем же вымещать наболевшее на стране, которая дала вам возможность стать тем, кем вы стали, и пачкать ее имя оскорбительными комментариями, которые вызовет ваш поступок? В нашей великой стране каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок имеют возможность выбора между честным поведением и преступлением, между прямой дорогой и кривой, между правильным образом действий и ошибочным. Это и есть цена и беда той свободы, которой мы наслаждаемся, и на каждом перекрестке мы должны останавливаться и вновь обдумывать свой выбор. Сейчас на таком перекрестке оказались вы. Ради бога, Барт, и ради всех нас не сделайте неверного выбора.

Крамнэгел окинул его взглядом, в котором жалость сочеталась с симпатией.

— Чушь собачья,— сказал он.

— Вы даже не считаете нужным удостоить меня возражением? Но разве вы не обязаны мне ответить?

— Чушь собачья,— повторил Крамнэгел.— Вот вам весь мой ответ. Вы пытаетесь поделить общество на плохих людей и хороших... Все вы так пытаетесь сделать, я знаю. Хотите я вам что-то скажу? Хорошие люди — они и есть плохие. Подумайте-ка над этим. Поразмыслите. Здесь-то и лежит корень ошибки. Нет у нас выбора. И демократии никакой тоже нет. Да, конечно, законом вертят люди — не те люди, какие нужно,— но это вовсе не значит, что мы свободны. Размахивайте американским флагом, и вам все сойдет с рук, даже убийство — я же сам видел. А вот оденьтесь буддистом, и черта лысого у вас будет шанс уцелеть. Чтобы разоблачить весь этот цирк, нужно второе пришествие Христа — пусть он только сюда сунется и попросит себе праведного суда... Да он, наверно, не раз уже возвращался, у него, наверно, уже в привычку вошло являться сюда, как у бродяги на пляже входит в привычку время от времени пробовать воду. Так вот что я вам скажу, Арни,— за эти две тысячи лет она ничуть не потеплела. Теперь отправляйтесь на свой ужин, а то опоздаете. Не забывайте, вы ведь человек хороший, а хорошие люди всегда точны. Я не хочу, чтоб были неприятности.

Теперь уже Арни пытался удержать его:

— Не валяйте дурака, Барт!

— Я не валяю дурака, Арни, я просто увидел все, как оно есть на самом деле.

---

[1] Убийца-маньяк, приговоренный в 50-х годах к смертной казни. При помощи юридического крючкотворства его адвокатам удалось оттянуть приведение смертного приговора в исполнение на 15 лет. За эти годы он заработал изрядную сумму своими «мемуарами».

Я возьму на себя грязную работу, а вы добьетесь моего оправдания, вы и Шпиндельман.

— А если не добьемся?

Крамнэгел пожал плечами:

— С тех пор как я вернулся, все только и пытаются заткнуть мне глотку. И мэр, и полиция, ну просто все. А вот если кого убьешь, то одно уж получишь точно — трибуну в суде, а там человеку только и остается, что говорить. Я-то могу сказать многое, потому как мне много есть чего сказать. Я могу сказать, что вы подстрекали меня убить губернатора, пообещав, что добьетесь моего оправдания, как вы добивались оправдания всем тем в прошлом, помните?

— Но это же неправда, Барт...

— Этому не обязательно быть правдой, чтобы запятнать вас. Неужели вы так еще и не поняли, как оно у нас делается, Арни? Проходит время — и люди уже не помнят, правда это или неправда, помнят только, что об этом были разговоры. И мне даже не придется особенно изощряться. Я могу просто швыряться грязью, и кое-что обязательно к вам прилипнет. Я могу, например, сказать, что в бытность свою начальником полиции застукал вас на гомосексуальной связи, но закрыл дело под нажимом вашего высокопоставленного партнера.

Арни покраснел от гнева.

— Я не гомосексуалист, и вам прекрасно это известно, Барт.

— Как я уже объяснял, вовсе не обязательно говорить правду, или до вас так ничего и не дошло? — заорал Крамнэгел.

— Вы не можете так поступить!

— Плохо вы меня знаете. Хорошие — они и есть на самом деле плохие, ясно? Я-то все понял. И я изложил вам факты по делу. А теперь приступайте к работе над ним.

— Я позвоню в полицию и сообщу им, что вы намерены убить губернатора! — завопил в ответ Арни в последнем отчаянном усилии перехватить инициативу.

— Им насчет покушений звонят каждые десять минут в любое время дня и ночи. Конечно, если вы намерены публично вступить в ряды психов, то это ваше дело, Арни. Как вы сами сказали, у каждого есть право выбора между прямой и кривой дорогами. Валяйте, осуществляйте свои конституционные права в качестве психа.

Крамнэгел сунул большой палец себе в ухо, с трудом пошевелил пальцами ладони, высунул язык, зловеще скосил глаза и был таков.

На этот раз Арни запер захлопнувшуюся за Крамнэгелом дверь на все запоры и в отчаянии зашагал из угла в угол, пытаясь собраться с мыслями. В этой части дома он остался один и хотел побыть в одиночестве. Общаться с кем бы то ни было он сейчас просто не мог. Он закрыл дверь комнаты и щедро налил себе виски. Усевшись за рабочий стол, он нашел номер телефона Мервина Шпиндельмана в гостинице в Цинциннати, где тот защищал жиголо, убившего шестидесятилетнюю наследницу фабриканта туалетной бумаги. Арни набрал номер. Служащие гостиницы не сразу нашли Шпиндельмана, и Арни от волнения начал говорить сам с собой. Наконец великий адвокат взял трубку, голос его звучал раздраженно, как будто сие вторжение обыденных забот оторвало Шпиндельмана от возвышенных размышлений.

Арни возбужденно рассказал обо всем, что случилось, но говорил так бессвязно, что вынужден был несколько раз начинать все сначала. Шпиндельман же отнесся ко всей этой истории с олимпийским спокойствием, чем привел его в бешенство.

— Я удивлен, Арни, что вы решили обратиться ко мне с такой ерундой,— сказал он. — Нет, нет, я вас вовсе не порицаю... Скорее наоборот, воздаю должное вашему золотому сердцу... И, поскольку золотые сердца, как правило, бывают простодушными, мне остается лишь сделать вывод, что вся эта история заставила вас утратить ясность мысли. Прежде всего, насколько мне известно, в вашей профессии принято считать, что те, кто громче всех обещает покончить с собой, реже всех это делают... Действуют обычно те, кто меньше всех говорит... Что? Ну, разумеется, из каждого правила есть исключения, в противном случае наше существование было бы еще скучнее, чем оно есть... Возьмусь ли я за это дело?.. Да ведь никакого дела нет, Арни... Но случись так, что подобное дело действительно возникнет, защищать подсудимого будет легче легкого... И мне, разумеется, было бы жаль, достанься оно кому-нибудь из наших блестящих собратьев в Вашингтоне или Калифорнии... Крамнэгел так

и сказал?... Это производит впечатление, Арни... он, видимо, многому научился в заключении... Так всегда и бывает... Некоторые из величайших творений человеческого разума были задуманы в монастырях, а некоторые из величайших идей родились в тюрьмах... Беда в том, что люди просто никак не могут оставить друг друга в покое... Но стоит им это сделать, и наступает рассвет.

— К чему вы все это говорите, черт возьми? — прорычал Арни.

— Что, беседа с Крамнэгелом действительно так повлияла на вас? — добродушно рассмеялся Шпиндельман.

— Сильнейшим образом! Я не преувеличиваю ни на йоту. Он в отчаянном состоянии. О господи, Мервин, у меня же есть некоторый опыт по этой части. Как вы думаете, следует мне предупредить губернатора?

— Есть люди, Арни, которые умеют останавливать понесших коней, остальные же делать этого не умеют. Когда за это берется тот, кто не умеет, дело всегда кончается бедой. Губернатор вам не поверит, но кто-нибудь обязательно услышит ваше предупреждение, и, случись самое худшее, вас вызовут на ковер за то, что вы не были достаточно убедительны.

— За то, что я не кричал громче, чем кричал. И я должен оставить все это на своей совести!

— Нет, Арни, отнюдь нет. Вы слишком умны, чтобы нести такой груз в одиночку, потому вы и поделили его со мной.

— Вас это обременяет?

— Ни в малейшей степени. Я не считаю, что жизнь губернатора имеет большую ценность, чем любая другая. Это редкий осел. И для моей совести его смерть — все равно что для слона комариный укус.

Наступило молчание.

— Ладно, Мервин, вы выиграли спор. Но что мне делать, если случится худшее?

— Когда этот матч, будь он неладен?

— Завтра в восемь вечера.

— В восемь вечера?

— Да, это вечерний матч.

— Вы, разумеется, пойдете?

— Меня туда и на аркане не затащишь. Как психиатр, я не переваривaю людских скоплений. Их вид заставляет меня утрачивать веру в индивидуума, без которой... вы понимаете.

— Ну и прекрасно. Крамнэгел сказал, когда он собирается совершить свой злодейский поступок?

— Он сказал, что губернатор должен обменяться рукопожатиями с игроками обеих команд, а затем открыть памятную доску, которая, как я полагаю, находится на краю поля. А затем, сказал он, губернатор уже не вернется на свое место, потому что будет мертв.

— Ясно. На рукопожатия, надо считать, уйдет минут десять. Губернатор, наверное, захочет задать игрокам несколько вопросов, услышать их ответы — этим исчерпываются его представления о поддержании отношений с общественностью,— так что дадим ему на все двенадцать минут, согласны?

— Согласен, будем считать восемь двенадцать.

— Затем его речь — ну, это минут пять, не больше. Одно в нем хорошо — не может долго говорить. Итак, получаем восемь семнадцать. В это время он уже будет подниматься обратно на свое место. Следовательно, трагедия может произойти где-то в восемь восемнадцать. Начнется суматоха. У вас на завтрашний вечер не назначено с кем-нибудь ужина, Арни?

— Нет.

— Я бы на вашем месте проехался часов в девять вокруг полицейского управления.

— Под каким предлогом?

— Да просто так, по дороге.

— А где будете вы?

— Я заеду по пути из аэропорта. Я прилетаю без четверти десять.

— Следовательно, вы ожидаете, что это произойдет?

— Надеюсь и молюсь, что нет,— серьезно сказал Шпиндельман. — Но в любом случае я еду домой мимо полицейского управления.

19

Огни прожекторов освещали поле стадиона подобно мощным лампам, освещающим гигантскую операционную, сосредоточиваясь на центре действия и скрывая в тени сидящих по сторонам зрителей. Обе команды выстроились друг против друга, кое-кто из игроков нервно переминался с ноги на ногу, и почти все беспрерывно жевали резинку. Монсеньор Фрэнсис Ксавьер О'Хэнрэхэнти, круглое лицо которого, похожее на голландский сыр, излучало благоволение к людям и подчеркивало своим выражением важность происходящего, представлял своих игроков улыбающемуся губернатору. От улыбки лицо губернатора покрылось густой сетью морщинок, и он стал похож на азиата. Как и подобает в подобных случаях, он беседовал со спортсменами так, словно каждый из них представлял для него огромный интерес, но он стоял слишком далеко, и слов его не было слышно. Время от времени в перекрестие оптического прицела попадало то его лицо, то шея, то грудь. Губернатор начал пожимать руки игрокам другой команды. Улыбка монсеньора теперь несколько поблекла, зато щеки губернатора раздулись от восторга. Он был само восхищение, олицетворение порядочного человека в глазах широкой публики. И вот, наконец, его подводят к внутренней стене стадиона, где часть бетонного выступа задрапирована флагом штата. Губернатор произносит короткую и весьма энергичную речь, отмеченную печатью того самого запинающегося красноречия, благодаря которому он приобрел стольких друзей, ибо оно характеризовало его как человека, в коем ясность ума сочеталась со множеством очаровательных недостатков. Понять, что он говорит, не мог никто, поскольку микрофоны были не в порядке и из громкоговорителей вырывался лишь оглушительный свист. Вот перерезали ленту, и полотнище флага соскользнуло, открыв памятную доску с барельефами мужчины и женщины — благотворителей, пожертвовавших деньги на строительство стадиона. Дирижирующие восторгами толпы девушки запрыгали вокруг, размахивая вычурными жезлами и полупристойно двигая коленками. Губернатор начал взбираться по ступенькам на свое место, повернувшись вполоборота к монсеньору и с явным интересом обсуждая с ним что-то. В перекрестии прицела вырисовывалась его голова, затем шея, затем спина. Волна дыма скрыла его.

На огромном лице монсеньора появилось выражение ужаса, и оно застыло в гримасе беззвучного душераздирающего вопля. Вниз по ступенькам катится кресло-коляска, в его поручни вцепился окаменевший от страха Ред Лейфсон. Ал Карбайд пытается подать сигнал, но из свистка не вырывается ни звука. «Это Барт! Барт!» — вцепилась ему в плечо Эди. Ал Карбайд стряхивает с себя ее руки жестом злодея из немого кино, и она падает наземь; сквозь штукатурку на ее лице пробивается гримаса гнева. Стоп-кадр. Крути сначала. Улучшенный вариант. Губернатор снова пожимает руки спортсменам. Крупным планом лицо Лейфсона, нашептывающего очередную порцию гадостей в свой микрофон; культи его ног закутаны пледом. Не перестает улыбаться монсеньор, беспредельно уверенный в том, что небеса благословят все его деяния, устремления и надежды. О господи, ну что за жвачные животные эти спортсмены! Стоит лишь прикрыть глаза, и можно подумать, что ты на фабрике — так шумно перемалывают жвачку их челюсти. Снова заговорил губернатор, изображая заинтересованность и энергично двигая челюстью; загорелая дубленая кожа, которой бесчисленные мужские лосьоны, а также туалетные воды с запахами деревьев, листвы и травы придают росистую свежесть. Снова церемония у затянутой флагом стены, снова хорошо подобранные слова, те же самые, наверно, слова звучат из динамиков так громко, что впору лопнуть барабанным перепонкам. Снова падает полотнище флага, открывая барельеф, снова девушки с коленками... Перекрестие прицела движется в такт сердцебиению. Не дышать... Так, хорошо... Губернатор и монсеньор поднимаются по ступенькам, их улыбки сменяются суровым выражением — не иначе как рассуждают о современной молодежи. Перекрестие прицела замирает над их головами, и вот их головы вплывают в зону огня. Губернатор заполняет собой весь прицел. Шея. Затылок. Снова палец нажимает на спусковой крючок, и снова губернатора окутывает облако дыма. На лице монсеньора вновь появляется агонизирующее выражение, только на этот раз по нему течет кровь. Кровь отменяется. Монсеньор глубоко признателен. Кровь на ком бы то ни было, кроме Христа, сын мой, является богохульством.

Ладно, ладно, я ведь не спорю, святой отец. Ал со своим онемевшим свистком. Эди, одетая под Клару Бау [1]. Ред Лейфсон — неожиданно за рулем гоночного автомобиля — слишком быстро срезает угол. Шины визжат, он прикрывает лицо рукой, машина вдребезги. Из-под обломков легко выбираются две ноги и уходят. Отставить. Снова все сначала. Губернатор улыбается обеим командам. Челюсти все жуют и жуют. Вопросы. Спортсмены уже начинают уставать — кому охота отвечать на них? Они ведь не интеллектуалы. Бегать им привычнее, чем говорить, и губернатор понимает это. Он улыбается все той же полной мужественности улыбкой. Теперь очередь флага. Несколько хорошо подобранных слов, несколько тысяч, несколько миллионов, да начинайте же, наконец, матч. Положение спасает звонок. Безжалостный трезвон. Что такое — воздушная тревога? «Они» напали? Русские, китайцы, «нехорошие» пришельцы с другой планеты, жаждущие покорить нас и плюющие на демократию? Губернатор смотрит в небо, прикрыв глаза ладонью. Внезапно его окружают генералы, жующие, подобно спортсменам, резинку. Что — время для нескольких хорошо подобранных бомб? О господи, да если этот трезвон не кончится, губернатор просто не сумеет подняться на трибуну навстречу своей смерти. Неужто никак нельзя его прекратить? Можно. Крамнэгел проснулся и выключил будильник.

Если не считать этого все время возвращающегося сна, Крамнэгел в общем спал спокойно. Хотя сновидение его по большей части было фантасмагорией, основывалось оно на том, что он обдумывал перед тем, как заснуть, и потому в нем все выглядело до странности четким. Крамнэгел затвердил свой план назубок, и сон представлял собой ряд вариаций на тему, застывшую в его подсознании подобно цементу. Крамнэгел был совершенно спокоен, потому что целиком и полностью отдавал себе отчет в своих действиях. Часы показывали восемь. Он встал, побрился, почистил зубы и принял душ, стараясь не замочить бинты на голове. Затем он оделся и пошел в закусочную на углу, где позавтракал оладьями с апельсиновым соком и кофе с пирожным. Кофе он выпил три чашки. Раны его все еще болели, но он уже свыкся с ними и приноровился двигаться так, чтобы ощущать как можно меньше боли.

Позавтракав, он взял такси и поехал в банк, где снял со счета все деньги, оставив лишь десять долларов. Это заинтриговало Ходника, но Крамнэгел уклонился от объяснений, а в ответ на вопрос о своих ранах сказал, что попал под такси. Покинув банк, он отправился в автомагазинчик и приобрел неприметный дешевый автомобиль. Уж если человек решил взяться за дело, то делать его надо со всей дотошностью и не забывать о психологии.

Подъехав на своей машине к ближайшему универмагу, он купил комбинезон из грубой ткани и желтую металлическую каску и переоделся в них в туалете бара, куда заехал из магазина выпить пива. Затем купил несколько легких сигар, а в канцелярском магазине Лимана приобрел последний имевшийся в продаже американский флажок. Да, да, сэр, на них сейчас чрезвычайно большой спрос, во всем городе не достать. Вот именно, сэр, в патриотические времена мы с вами живем. Реакция явно перешла в наступление.

Проехав в другую часть города, Крамнэгел поставил свою машину на стоянке, откуда пешком дошел до спортивного магазина братьев Ханибург, в окне которого был выставлен катамаран, и приобрел там набор клюшек для гольфа. У продавца, обслуживавшего его, сложилось впечатление, что покупатель приобретает клюшки безо всякого выбора, что, впрочем, было вполне естественно, ибо Крамнэгел никогда в жизни в гольф не играл. Закинув сумку с клюшками за спину, он направился в сомнительную лавчонку, специализирующуюся на торговле нацистскими знаками различия для юных ублюдков, играющих в Человеков и Сверхчеловеков, а также наборами украшенных свастикой кофейных ложечек, якобы принадлежавших когда-то Еве Браун, и прочими мрачными сувенирами подобного рода. Хозяин лавчонки, седой человечек с нездоровым цветом лица и скверными зубами, стоял за прилавком, наряженный в некоторые из лучших своих товаров. Он также предлагал вниманию покупателей большой выбор армейских револьверов, винтовок и даже противотанковую пушку, к которой, как он уверял, имелся комплект снарядов. По пятам за ним неотлучно следовала полицейская собака, обученная всяким хитрым трюкам, вроде, например, того, чтобы кусать заключенных, когда надзиратель выкрикнет их номера.

— Мне нужна винтовка с оптическим прицелом,— сказал Крамнэгел.

---

[1] Американская актриса времен немого кино.

— Почему бы вам не заказать ее по почте? — поинтересовался хозяин.

— Да мне она нужна только затем, чтобы попугать мерзавцев,— пробурчал Крамнэгел. — А после Кеннеди и всех этих других убийств я фирмам, торгующим по почте, больше не доверяю. Кто их знает, насколько они надежны.

— Верно, чертовски верно. А если хотите знать, то просто пугать мало. Убивать их надо. Убивать. Осточертел мне весь этот сентиментальный треп, что они, мол, всего-навсего дети. Национальные гвардейцы тоже дети. Хорошие, славные дети, не то что всякие там грязные красные жиды, которым подавай все преимущества американских граждан, а гражданской ответственности чтоб никакой. Убивать их надо, да так, чтоб прямо на глазах у родителей. Тогда б мы живо очистили страну, это я вам говорю. Верно, Вотан?

Обнажив два ряда желтых клыков, пес победно вскинул голову в ожидании дальнейших инструкций.

— Отличный у вас пес.

— Еще бы. Принадлежал когда-то генералу Гансу фон Кремпелю — не знаю, слыхали ли вы о нем,— его еще называли Красным Ангелом Минска.

— Как же, слышал,— сказал Крамнэгел, который на самом деле никогда такого имени не встречал и счел его странноватым для генерала.

— Но он, конечно, не продается.

— Я так и понял.

— Я вам покажу, что у меня есть,— сказал хозяин, которому поведение Крамнэгела пришлось по душе, и вынес три-четыре снайперских винтовки.

Крамнэгел выбрал одну из них — бельгийскую, украшенную филигранью,— потому что ее приятно было взять в руки и она хорошо вмещалась в сумку с клюшками. А также и потому, что она была в магазине единственной, к которой хозяин сумел найти патроны.

Ну и развелось же всяких психов, думал про себя Крамнэгел, возвращаясь к машине. Да если б его вонючий пес действительно принадлежал тому нацисту, ему сейчас было бы лет двадцать семь — двадцать восемь, и все же этот сумасшедший всерьез верит собственным словам: ему и в голову не пришло хоть немного поупражняться в арифметике.

Теперь Крамнэгелу оставалось сделать лишь две покупки. Он купил два сандвича со сливочным сыром и джемом и салат с курицей. Ему ведь предстояло долгое бдение, а взять еды будет негде. Затем он зашел в книжный магазин и долго копался в замусоленных книжках в бумажных переплетах. Словоохотливый хозяин лавки, на его счастье, куда-то ушел, а никто из продавцов не узнал забинтованного и одетого в рабочий комбинезон Крамнэгела, хотя, когда он шел по улице, некоторые из наиболее шумных членов так называемого «молчаливого большинства» приветствовали его воинственными криками.

После долгих раздумий Крамнэгел остановил свой выбор на двух книгах: «Мысли и поучения Будды» и «Горячие губки».

Вернувшись на стоянку, он сел в свою машину и поехал к стадиону. Было еще очень рано, поэтому контролеры в воротах не стояли. Он раскурил сигару. Зайдя в ворота, он наткнулся на двух строительных рабочих.

— Что это с тобой приключилось, приятель?

— А-а, избили меня,— невозмутимо отвечал Крамнэгел.

— Да, знаешь, вроде эти молокососы особенно и не сопротивлялись, но некоторые оказались большие мастаки драться.

— Да, пожалуй, мне просто не повезло. На каратиста нарвался.

Эти слова Крамнэгела вызвали взрыв смеха.

— Ты из донововановских ребят, что ли? — спросил один из рабочих.

— Угу,— ответил Крамнэгел.

— Отделение профсоюза девятнадцать ноль восемь?

— Оно самое.

— Так они же на другой стороне собираются, у восточной трибуны.

— Ну да?

— Эй, дружище, это же стадион, а не площадка для гольфа! — крикнул второй рабочий.

— А я завтра поиграть хочу! — крикнул Крамнэгел в ответ. — Но мою машину

уже столько раз взламывали, что я больше ничего в ней не оставляю, а то опять сопрут.

— Да, беда с дешевыми машинами.

— Зато с дорогими надо думать о запчастях и перепродаже,— сказал первый рабочий.

— Это уж точно. Не одно, так другое.

— Мы выступаем на университет через пять минут, приятель,— сказал рабочий Крамнэгелу.

— Спасибо за сообщение, а то я сам не знал. Я вот только схожу отолью.

— Не трать мочу здесь, приятель, прибереги для студентов! — крикнул ему кто-то, но Крамнэгел уже скрылся в одном из высоких бетонных проходов. Найдя туалет, он вошел в кабину и запер за собой дверь. Выбранная им кабина оказалась в туалете центральной. Встав на унитаз, он легко дотянулся до вентиляционного отверстия и, раздвинув пластинки, прикрывавшие его наподобие жалюзи, убедился, что отсюда, если смотреть под определенным углом, хорошо видна губернаторская ложа на противоположной стороне стадиона, а ствол винтовки вполне пролезает в отверстие. Оптический же прицел уже не проходил, но у Крамнэгела в запасе было несколько часов, чтобы приспособиться. Он мог даже вообще вынуть весь вентилятор из гнезда и обеспечить себе отличный сектор обстрела. Прежде чем приступить к работе, он съел сандвич и прочел две-три страницы мыслей Будды, которые столь не соответствовали его нынешнему настроению, что он мгновенно переключился на «Горячие губки», поведавшие ему о многих сексуальных развлечениях, которых он никогда не знал с Эди. Обе книги, вместе взятые, настроили его на печальный лад. Но, пожалуй, сейчас настало время не столько для раздумий, сколько для бездумного исполнения своего плана, и он решительно принялся извлекать вентилятор из стены. Часам к четырем все было готово. Открывшаяся Крамнэгелу картина поразительно напоминала его сон. Зарядив винтовку, он принялся ждать, подобно тому как охотник на крупную дичь поджидает редчайшую добычу — замерший, настороженный и беспредельно уверенный в себе.

Через четыре часа стемнело, и на поле выстроились игроки обеих команд — они, точно скаковые лошади, переминались в вечернем воздухе с ноги на ногу, ждали сигнала к началу игры и все до одного жевали резинку. Губернатор и монсеньор Фрэнсис Ксавьер О'Хэнрэхэнти обходили строй игроков. Монсеньор почти не улыбался — видимо, от сознания торжественности события. Не улыбался и губернатор — видимо, из-за предчувствия. Церемония открытия памятной доски прошла сдержанно и скромно, а речь губернатора вряд ли можно было назвать речью вообще — так, несколько бессвязных фраз, восхваляющих тех непостижимо богатых людей, которые могли подарить родному городу стадион. Затем губернатор начал подниматься в свою ложу, и перекрестие прицела легло на его спину как крест крестоносца.

На другое утро в Лондоне сэр Невилл спустился к завтраку в относительно неплохом настроении. Спал он хорошо, но раз или два просыпался по непонятной ему самому причине.

— Старость, миссис Шекспир,— доверительно пожаловался он. — Прежде чем человек засыпает вечным сном, он вообще начинает хуже спать.

— Я тоже так полагаю,— отвечала миссис Шекспир, скрываясь в кухне.

Сэр Невилл взял газету и принялся читать первую страницу. Когда миссис Шекспир вернулась из кухни с тостами, он сидел, неподвижно глядя перед собой, и только губы его шевелились, пытаясь что-то сказать. Он был бледный как смерть.

Не теряя времени на расспросы, миссис Шекспир бросилась в кухню, где рядом с телефоном всегда висел список самых необходимых телефонных номеров. В этот момент позвонили в дверь. Секунду поколебавшись, миссис Шекспир бросилась открывать. В квартиру вошел Билл Стоккард.

— Как он? — тревожно спросил Билл.

— Ах, сэр...

Было достаточно взглянуть на ее лицо. Билл быстро прошел в столовую.

— Что же случилось? — услышал он за своей спиной вопрос миссис Шекспир, но у него не было ни времени, ни желания удовлетворять ее любопытство.

Сэр Невилл посмотрел на Билла и, казалось, узнал его. Ему явно мучительно хотелось что-то сказать. Билл склонился к сэру Невиллу, чтобы тому не пришлось слишком напрягаться.

Сэр Невилл что-то пробормотал.

— Простите, сэр?..

Новая попытка; казалось, сэр Невилл нарочно с детским упрямством говорит так, чтобы нельзя было разобрать слов.

— Извините меня, но я ничего не могу понять,— с безжалостной откровенностью сказал Билл.

На этот раз сэр Невилл сделал над собой усилие. Он сделал его с трудом и болью, и когда он попытался что-то выговорить, из левого глаза его потекла струйка воды и капли заблестели на щеке.

— Давайте вызовем доктора, сэр Невилл, хорошо? Мы вас сразу поставим на ноги,— быстро сказал Билл, сам чувствуя вопиющую неискренность своих слов. — Вы нашли номер, миссис Шекспир?

Пока миссис Шекспир искала нужный номер, Билл подумал о том, что вызов доктора — это всего лишь уловка, проявление трусости, попытка переложить ответственность на чужие плечи. В прежние времена существовали заразные болезни, в нашем же от всех болезней привитом мире заразно смятение человеческой души, и символом этого смятения стало то, что стерлась грань между героями и злодеями. Может, ее никогда и не существовало, этой грани, может, герои и злодеи всегда были взаимозаменяемы, но сейчас, впервые за всю долгую историю человечества, находится все больше и больше людей, достаточно утонченных, чтобы постичь и принять эту истину, и, более того, способных ощущать душевную сумятицу, не испытывая потребности в прописных рецептах морали и не признавая ничьего суда, ни божеского, ни человеческого. И, быть может, вынужденные пуститься в плавание без компаса, слабые начинают прибегать к насилию лишь потому, что их охватывает паника. Паника, порожденная тем, что на их глазах мир знакомых моральных ценностей растворяется за кормой так же неумолимо, как садится солнце. Мысль о том, что таит эта еще не исследованная страна человеческой души, заставила Билла вздрогнуть, и он ухватился за теплые звуки привычных условностей подобно тому, как ребенок хватается за материнскую юбку.

— Алло, доктор Суэйтс?... Я звоню вам из квартиры сэра Невилла Нима... Боюсь, что не очень хорошо.

■

ЗАРАХОВИЧ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1946 г.).

Советский переводчик с английского. В его переводе опубликованы романы Р. Хайнлайна и И. Уоллеса, повести Скотта Момадея, Э. Ф. Рассела, Г. Голда, Д. Кэмпбелла, рассказы Вуди Аллена.

В пути

Из китайской поэзии

■

Перевод с китайского и комментарий Л. ЭЙДЛИНА

Эти стихотворения переводчик объединил названием «В пути». Дорога — одна из значительных тем китайской классической поэзии. В свою очередь тему дороги окружают, проникают в нее, привязаны к ней темы дружбы, встреч и расставаний, весенней грусти, осенней печали... А где же любовь? — в который раз спросит читатель. Любовь, ответим мы, не в представленном здесь самом распространенном поэтическом жанре ши, а в других стихотворных жанрах. И не стала она царицей китайской лирики. «Когда я в китайской поэзии увидел, как можно высшие проблемы жизни и ее философии решать без помощи пола, я понял великую правду»,— писал замечательный ценитель китайской поэзии В. М. Алексеев.

Итак, дорога, в которой по разным причинам находятся китайские поэты в разные времена. Сначала, в отдаленные века, это путь Цюй Юаня — сказочный в «Лисао» либо трагический, но так же мало реальный в стихотворении «Плачу по столице Ину». Дорога и в анонимных «Древних стихотворениях». Затем, через несколько столетий, пути свои опишет Тао Юаньмин, и пути эти будут дорогой, в которую он послан службой, но и метафорической дорогой жизни — от суеты к честной правде успокоения.

Прежде чем перейти непосредственно к текстам, переводчик должен напомнить, что при переводе старой китайской поэзии он как всегда опускает рифму (уже и не столь ощутимую в современном чтении иероглифов) в надежде возможно полнее воспроизвести слово китайского поэта и наиболее точно передать цезурное деление, междустрочный параллелизм и другие особенности китайского классического стихотворения.

ТАО ЮАНЬМИН (365—427)

Впервые исполняя должность советника полководца-чжэньцзюня, написал при проезде через Цюйэ

Я юные годы
провел в стороне от мира,
И радостью были
лишь цинь у меня да книги.

В одежде сермяжной
себя почитал счастливым
И бедность пустую
умел сносить безмятежно...

К пришедшему часу,
назначенному судьбою,
Упряжку поставил
для отдыха на дороге

И, кнут свой отбросив,
велел собрать меня утром,
И так я на время
покинул и сад и поле...

И в да́ли, и в да́ли
скользит челнок сиротливый,
И вьются, и вьются,
как нити, мысли о доме.

А путь мой от дома
кто скажет, что недалекий —
В подъемах и спусках
путь в тысячу ли и больше?

Глазам примелькались
чужие вода и суша
И памятны сердцу
озера мои и горы.

Взираю на тучи,
и птиц я стыжусь небесных.
К воде подхожу я
и рыб стесняюсь плывущих...

Стремление к правде
в моей душе изначала,
Так можно ли думать,
что тело меня не пустит?

Хотя я сегодня
покорствую измененьям,
Вернусь непременно
к заветной хижине Баня!

В третий месяц года исы в должности советника полководца-цзяньвэя посланный в столицу проезжаю через Цяньси

С тех пор, когда я
ступал по этой земле,
И годы и луны
скопились за много дней...

С утра допоздна
взгляд с гор не свожу и с вод.
В горах и на водах
все то же, что было встарь:

И реденький дождь
кропит здесь высокий лес,
И ветер чистейший
вознес крыла облаков.

И я восхищен
сохранностью всех вещей,
Величием духа,
что не умалилось в них.

А я-то, что я
скажу о себе самом?
С упорным стараньем
я службу свою несу.

И тело одно
как будто владеет мной,
Но первое чувство
не стало в груди иным.

И поле и сад
мне грезятся каждый день.
Как мог я однажды
надолго от них уйти?

Все в мыслях моих
обратно плывущий челн.
О, как неизменен
и в инее кипарис!

Оба стихотворения написаны одно за другим в самом начале V века, второе из них — о чем говорит заглавие — в 405 году. В них уже точно обозначены места, через которые проезжает поэт, но все остальное так зыбко, что у нас не остается впечатления полной реальности. Здесь скорее движение чувств поэта, отражение действительности в его душе, и все окутано той дымкой, которую мы бы назвали романтической, если бы разговор шел о европейской поэзии. Брошенная упряжка, оставленная на дороге и призванная обозначить собою прежний уединенный образ жизни, сиротливый или одинокий челн, скользящий в да́ли, а затем уже и обратный, о котором мечтает поэт,— тоже ведь больше символы, чем действительное средство передвижения.

В стихотворениях Тао Юаньмина — намеки, внутренние цитаты из конфуцианских классиков, которые для читателя-китайца равны прямым утверждениям. Например, то, что раскрыто переводчиком как «пустая бедность», идет от одного из учеников Конфуция, который часто бывал «пуст». В данном случае пустота — бедность, незаполненность житейскими благами. Хижина Баня есть хижина, воспетая ученым-историком и литератором Бань Гу (32—92). Так что и пустота и хижина Баня для соотечественников, в особенности современников Тао, так же понятны, как для нас гоголевская шинель, чеховский вишневый сад, щедринский премудрый пескарь.

Смысл стихотворений Тао Юаньмина — в преданности «хижине», которую он покинул. И в конце второго стихотворения кипарис под инеем тоже означает (при всех жизненных изменениях, вырывающих телесную оболочку поэта из родной ему атмосферы отстраненности от суетной жизни) постоянство чувств, неизменных, как неувядаемая зелень кипариса или сосны. Главное — скорее «домой, домой к себе» и как реальность возвращения, и как победа высокого чувства над слабым, поддающимся соблазнам телом. Все так, и нет здесь ничего, что не отвечало бы нашему собственному пониманию поэзии. Разве что особые обстоятельства, относящиеся к Китаю далеких времен. А чувства нам всечеловечески близки, вплоть до способа выражения их, к которому приходит поэт. И то, что озера и горы «памятны сердцу», обращает наш взор к батюшковской «памяти сердца», при всем том, что в представлении китайца сердце — не только вместилище чувств, но и мыслей.

Стихи Тао Юаньмина в дальнейшем ярко осветили собою поэзию танского государства (618—907). Поэты — чиновники, государственные деятели, правители областей, передвигающиеся по должностным своим обязанностям или по воле государя из одного конца страны в другой и тоскующие по «родимому саду», тянулись как к животворному источнику к ничем не замутненному творчеству Тао Юаньмина, чистому и по устремлениям, и по искренности и простоте. Он стал им опорой. И к простоте его они добавили ту конкретность, без которой в их тревожном мире и при их большом числе и частом общении уже нельзя было обойтись. И прибавили печаль, не оставлявшую их и в ра-

дости. Эта печаль скрашивала, эстетизировала нелегкое существование, и мытарствующий путник, имеющий лишь временное пристанище странник, поэтизируя свои несчастья, таким образом возвышали себя в собственных глазах до избранников судьбы, до вечных героев поэзии, которая одна, по их представлениям, призвана была исчерпывающе сказать о смысле краткого существования человека на земле.

ЧЖАН СЮЙ (нач. VIII века)

Плыву в лодке по Цинси ~ Чистой Реке

Путник, в лодке плывущий,
направляется далеко.

Вот приблизился вечер,
затянули песню гребцы...

Я, смеясь, обнимаю
в водах Чистой Реки луну:

Мне сиянием чистым
любоваться не надоест!

Персиковый поток

Неотчетлив, неясен летящий мостик,
застилаем туманом с поля...

Где скалистого острова западный берег,
я окликну рыбачью лодку:

Целый день осыпался отцветший персик,
лепестки плывут по теченью,

И осталось мне только спросить — пещера
на какой стороне потока?

В горах не отпускаю гостя

Свет гор и очарованье вещей
создают сиянье весны.

Зачем же при легкой тени уже
торопиться скорей домой?

Ведь даже и в самый погожий день
без единой капли дождя,

Когда в облака глубоко войдешь,
все равно промокнешь насквозь.

Весенняя прогулка. В ожидании дождя

Пора мне к беседке пойти и в ней
расставить чары с вином...

Над самой рекой облаков гряда —
и день в предвечерней мгле...

Восточный бы ветер я попросил
подуть и развеять дождь:

Хотя бы до завтра пусть погодит
врываться в расцветший сад!

Весенняя трава

Весенней травы там зелень и зелень
на тысячи ли вокруг,

Где в дальнем краю на закате солнца
я вижу странника дом

И знаю: за долгий, в морских скитаньях,
трехлетней разлуки срок

Не послан среди облаков ни разу
листочек один письма!

Ива

Эти светлые, светлые в дымке ветви,
подметая землю, свисают...

У стены, рядом с домом высоким ива
вся полна весеннею грустью.

Я хочу, чтобы вы вгляделись получше
в благородство ее и прелесть:

Их не меньше, чем в тех прославленных ивах,
Линхэдянь собой украшавших!

Восьмой век подарил китайской поэзии национальных гениев — Ли Бо и Ду Фу. Но кроме них был ряд поэтов, которых, не впадая в крайность, можно бы назвать великими, а уж выдающимися во всяком случае.

После творившего в первой половине VIII века Чжан Сюя осталось всего шесть стихотворений, каждое из которых дает повод для размышлений о танской поэзии. Разлука без утешающих писем; обращение к стихиям — ветру и дождю как к живым существам, что повторяется у более поздних стихотворцев; в прозрачной воде луна, сияние которой заставляет поэта нагибаться к ней, забывая, что она лишь отражение (так, по преданию, утонул Ли Бо). В «Персиковом потоке» Чжай Сюй, не ссылаясь на Тао Юаньмина (в «Персиковом источнике» которого рыбак, плывя мимо персиковой рощи, оставляет лодку у берега и через пещеру в горе попадает в страну счастливых людей), возвращается к обретшему новую популярность в танском Китае «Персиковому источнику» и явно выражает свое сомнение в достоверности поведанного Тао Юаньмином. И, наконец, ива, одно упоминание которой наводит на думы о расставании с другом: ему дарится на память ветка ивы. В следующем столетии Бо Цзюйи напишет:

Зелено-зеленого дерева ивы
краса, разящая сердце,

Как часто с людьми делила, бывало,
тоску и горечь разлуки.

Растет эта ива у самой заставы,
где проводы очень часты.

Поэтому сломаны длинные ветви,
в них меньше ветра весною.

Бо Цзюйи об участии ивы в весенней грусти сказал прямее, чем его предшественник. Любопытно, что Ярослав Ивашкевич, которому переводчик преподнес свою книгу, написал стихотворение, перелагающее и разъясняющее это четверостишие Бо Цзюйи. В переводе с польского Н. Астафьевой оно было опубликовано в четвертой книжке журнала «Иностранная литература» за 1979 год:

Как эта ива
за городскими стенами

каждый кто уходил
веточку отломил
на память

Не возвратились друзья
не отрастают ветки

как мало осталось
людей вокруг
и ветвей на иве

которую безжалостный ветер
так треплет

Это — очень поэтичное и очень европейское стихотворение, хотя Я. Ивашкевич пометил, что оно «из китайской поэзии». Оно слишком подробно излагает подразумеваемое и уточняет то, что должно бы остаться для домысливания читателю. По сравнению с китайским, оно однозначно: в нем грусть, в нем сострадание к людям и к иве, но нет в нем радости созерцания ивы, любования благородством ее и прелестью, как у Чжан Сюя, или красотой, которая печалит при воспоминании о разлуках, как у Бо Цзюйи.

Весна со светом гор, с очарованием вещей, то есть всей живой и мертвой природы (эти «вещи» и у Тао Юаньмина), несет с собою радости, но и печали. Жизни без печалей не бывает, радость же усиливается тенью печали. Восхитившийся ивой Чжан Сюй ищет способ доказать необычайность ее красоты и навеваемой ею грусти и обращается к «Истории Южной Ци», где рассказано об ивах, росших перед Дворцом Одухотворенности и Согласия — Линхэдянь. В конце V века ими любовался государь Уди, и поэт повторяет слова его об их благородстве и прелести.

Видное место среди танских поэтов первой половины VIII века занимает Мэн Хаожань. Он — следующий за Ли Бо, Ду Фу и Ван Вэем по силе и оригинальности своего таланта. А оригинальным в уже устоявшейся танской поэзии, когда в распоряжении стихотворца затверженные им наизусть с ученических лет десятки тем и поворотов и неисчислимое количество готовых выражений, образов, литературных и исторических реминисценций, быть оригинальным в таких условиях труднее всего. Поэтический мир «лумэньского отшельника» Мэн Хаожаня безусловно у́же, чем у его великих собратьев, но и он создал замечательные лирические стихотворения на тему тоски по родине на чужбине и о превратностях путешествия, которое в те времена содержало в себе не всегда преодолимые трудности.

МЭН ХАОЖАНЬ (689—740)

Поднялся на Ваньсуи́лоу — Башню Вечных Лет

На башню Ваньсуй — Вечных Лет — взошел я,
чтоб родину увидать.
И сразу меня о родине думы
охватывают сильней.

Гусей перелет под холодным небом
тревожит теперь до слез.
И крик обезьян при закатном солнце
мое оборвет нутро...

Приводят изгибы древней плотины
к студеной речной воде.
Поделены косо берег поодаль
и тополь сухой вблизи.

Сегодня нежданно мне повстречался
соратник мой, добрый друг,—
И радостно также домой отправить
письмом эти восемь строк!

На пути в столицу застигнут снегом

Здесь вдаль протянулась
дорога к Циньской столице.
Бескрайнее мрачно
здесь к вечеру года небо.

И в сумраке зимнем
конец луны и начало.
Нападавшим снегом
закрыты горы и реки.

Усталые гуси
пропавшую ищут отмель.
Без пищи вороны
кричат на пустынном поле.

И гость опечален —
напрасно он ждал приюта:
Нигде не увидел
он дыма людских селений!

Это всё атрибуты китайской классической поэзии — башня, на которую поднимается поэт, чтобы поглядеть в сторону родного края, и разносчики писем дикие гуси, летящие на зимовку либо обратно на север, и разрывающий душу плач обезьян. Но тут же и радость встречи с другом, заставляющая отступить печаль. Во втором стихотворении печали нет противодействия; в нем не та тягостная, не отпускающая поэта безнадежная печаль разлуки с отчизной, а печаль, вызванная муками странствий — непогодой в конце одного из зимних месяцев и отсутствием дыма, указывающего на живую жизнь вблизи, тоже многократно упоминаемого в танских стихах. О пути, тоже с неизменной грустью, но каждый по-своему, говорят Ван Вань, Ван Чанлин, Гао Ши.

ВАН ВАНЬ (693—751?)

Доезжаю до подножия горы Бэйгушань

Страннику путь
за зеленой горой пролег.
Лодка его
бирюзовой рекой плывет.

Ровен разлив —
и два берега далеки.
Ветер прямой —
и на глади парус один...

Солнце в морях
на исходе ночи взошло.
В водах весна
вдруг вторгается в старый год...

Письма родных
где в дороге меня найдут?
Стаи гусей,
возвращаясь, летят в Лоян!

ВАН ЧАНЛИН (698—757?)

Из «Пограничных напевов»

Коня напоив,
я осенней проехал водой.
Вода холодна,
да и ветер как острый нож.

Над ровным песком
еще свет не совсем померк,
И в сумерках бледных
Линьтао легко угадать.

Когда-то давно
здесь в боях у Великой стены,
Согласно молве,
был высокий проявлен дух...

Но в желтой пыли —
все, что древле, и все, что теперь.
Лишь белые кости
разбросаны по траве.

ГАО ШИ (700?—765)

Написал в канун Нового года

Гостиница. Холодно. Перед свечой
сижу один и не сплю.

Но в сердце у странника отчего
так невыносима боль?

О родине мне сегодня всю ночь
грустить от дома вдали:

Вискам, что под инеем, завтра к утру
еще один минет год!

И снова лодка, и снова гуси, которые на этот раз донесут весть о поэте в Лоян, родной город Ван Ваня. Весна — и гуси возвращаются на север, куда едет с юга поэт, остановившийся в дороге для отдыха. Он один среди разлившейся водной стихии, которая в поэзии, чтобы подчеркнуть неохватную ее ширь, может называться и морем. Всего десять стихотворений Ван Ваня содержится в «Полном собрании танских стихов», и это — самое знаменитое из них.

Путь Ван Чанлина на далекой окраине Китая вынуждает поэта задуматься над бренностью человеческой жизни. Все вокруг способствует этому — и холодная вода, в которой (по примеру народных песен и известного стихотворения поэта II—III веков Чэнь Линя) напоил он коня, и наступающий вечер, еще не успевший покрыть темнотою Линьтао, где в нынешней провинции Ганьсу начинается Великая стена, навеявшая воспоминание о древности и сравнение ее с современностью. Все прошло, и все пройдет...

Откровенно печально стихотворение Гао Ши, грустящего о родине за тысячу ли от нее. Читателю танской поэзии многое знакомо в этих стихах. И гостиница, приютившая путника, и неуютность ее, и огонь, и одиночество, и виски под инеем, и страх перед отнимающим годы временем! Виски под инеем есть, например, у великого собрата поэта — Ду Фу. Они появляются и намного позже в стихах Бо Цзюйи («Но растопить весне не удается Один лишь только иней на висках!»). У Бо Цзюйи же, да и не у него одного, тоже испуг перед обозначенной возрастом неумолимостью времени («И вдруг, встречая новый день, я лет своих пугаюсь: До сорока сегодня мне один лишь год остался!»).

К этим поэтам примыкает Цэнь Шэнь, находившийся в дружеских отношениях с Ван Чанлином, Ду Фу, Гао Ши.

ЦЭНЬ ШЭНЬ (715—770)

В лодке на юге Ба

На переправе
уже темнеть начинает.
Люд деревенский
за очередь к лодке спорит.

Колокол ближний
звучит в монастырском храме.
Дальних огней
свет зажегся в прибрежных селах.

Гуси в полете —
тоскую по письмам из дома.
Крик обезьян —
и обильней струятся слезы.

Челн одинокий,
и всюду бескрайняя осень...
Осень с луною...
Но больше нет сил об этом!

На западе, проезжая Вэйчжоу, увидел реку Вэй и подумал о Циньчуани

Вэй-река от Вэйчжоу
на восток стремит свои волны.

За какое же время
достигают они Юнчжоу?..

И к волнам я добавил
слез пролившихся два потока

И послал их с водою
к моему родимому саду.

Осенние думы

Кто может предвидеть,
как наступит расцвета вечер?

Сижу и смотрю я
на холодной листвы паденье...

А сам я не стану
и со сгнившей травой равняться:

В полях разлетаясь,
в светлячков она превратилась.

Весною в доме в горах

Лянский княжеский сад. Солнце перед закатом.
И за стаей стая ворон.

Сколько взгляду доступно — уныло, пусто
и не более трех жилищ.

Но не знают деревья в дворе заглохшем,
что здесь нет ни живой души,

И с приходом весны на них расцветают
те, старинных времен, цветы.

Встретил чиновника, едущего с поручением в столицу

Смотрю на восток, на родимый сад —
дорога теряется в далях.

Промокли оба моих рукава,
а слезы не утихают.

И вот наша встреча, но мы верхом,
у нас ни бумаги, ни кисти:

«Так пусть господин на словах передаст,
что всё у меня в порядке!»

Написал в пустыне

К западу я на коне спешу
чуть не на край небес.

С домом простившись, полной луны
видел я дважды круг.

Нынешней ночью не знаю сам,
где же найду ночлег:

Ровный на тысячи ли песок —
и ни дымка жилищ!

Напившись вина, проводил учителя Пэя

Вина напились —
и расстаться не стало сил,

Но лишь протрезвели —
и я проводил тебя

И видел, как ты
уезжал верхом на коне

И как поднимался
в надгорные облака.

Цэнь Шэнь известен стихами о боях на границах, о тяготах военных походов, о печали неизбежных в них расставаний с друзьями («За изгибом горы закружила дорога, уже не видно тебя. На глубоком снегу остаются напрасно коня твоего следы!»). У него много и наиболее частых в танской поэзии лирических стихотворений о предметах, обычных для нее — весне и осени, тоске по родине, горестях вечных странствий, непременном увядании после расцвета...

Цветут деревья в саду Лянского князя, второго сына ханьского государя Вэньди (II в. до н. э.). Цветут, как в те давние времена и такими же цветами, не догадываясь об отсутствии давно умерших людей, некогда населявших эти места. Как сказано было у Тао Юаньмина: «— Ты не знаешь,— спросил я дровосека, рубившего хворост,— Тех селений, в какие эти люди отсюда ушли? — Дровосек распрямился, поглядел на меня и ответил: — Эти умерли люди, их в живых уже нет никого...»

Мы можем найти следы предшественников и в других стихотворениях Цэнь Шэня. Его два потока слез не сродни ли двум потокам слез, пролитых Мэн Хаожанем и посылаемых друзьям «на западный берег морской» в стихотворении «Ночую в Тунлу на реке. Посылаю друзьям в Гуанлин»? Правда, Мэн Хаожань не говорит, как он это сделает, Цэнь Шэнь же добавляет потоки слез к волнам, бегущим к его родному дому. Он спрашивает о том, за какое время волны достигнут Юнчжоу. Вопрос, убеждающий нас в знании поэтом «европейской» истины, что в одну и ту же реку нельзя вступить дважды. Так же как Мэн Хаожань, опечален он тем, что в безлюдной пустыне не видит дыма жилищ.

Цэнь Шэнь был правителем Цзячжоу (части нынешней Сычуани) и стихотворение «В лодке на юге Ба» написал, по-видимому, в 770 году, последнем году его жизни, после ухода с должности, по дороге в Чанъань, то есть тогда, когда Мэн Хаожаня уже не было в живых и, значит, позднее всего того, что принадлежит последнему. Поразительное по силе отчаяния стихотворение это — в какой-то мере отклик на полное умиротворенности стихотворение Мэн Хаожаня «Ночью возвращаюсь в Лумэнь» («В горном храме колокол звонкий — померк уходящий день. У переправы перед затоном за лодки горячий спор. Люди идут песчаной дорогой в селения за рекой. С ними и я в лодку уселся, чтоб ехать к себе в Лумэнь...»), но оно близко по некоторым частностям и стихотворению того же Мэн Хаожаня «Поднялся на Ваньсуйлоу — Башню Вечных Лет», пронизанному тоскою и вместе с тем утишающей ее радостью. И печалящая осень, и одинокий челн тоже ведь имеют предшественников. Но смотреть на все эти

«заимствования» читателю надо спокойно, просто наслаждаясь (если оно ему нравится) стихотворением. Потому что поэт заимствует только у своего родного языка и черпает образы только из своей великой поэзии. Важно то, насколько хватило у поэта дарования, чтобы добавить свой мазок к написанной картине и дать собственный поворот даже известным обстоятельствам. Упрекать китайского поэта в использовании не отдельных иероглифических знаков, а готовых блоков их — все равно что упрекать нашего поэта в использовании русских слов или постоянных их сочетаний.

Можно бы еще обратить внимание читателя на четверостишие «Встретил чиновника, едущего с поручением в столицу». В нем очень ясно выражена сдерживаемая печаль танского стихотворения. Поэт уезжает все дальше на запад, и слезы о доме, о друзьях, о себе текут не прерываясь (китаец не стыдится мужских слез), и длинные рукава его халата промокли — так много слез вытер он ими. А противопоставление слез тому, что у него все спокойно, усиливает настроение печали в стихах.

Центром и главным содержанием нашего маленького собрания стихотворений явилась китайская поэзия первых трех четвертей VIII века. Мы ограничились в основном темой дороги и предварили танские стихи поэзией Тао Юаньмина. Завершаем же мы стихотворением одного из самых больших поэтов первой половины IX века — Ду Му.

ДУ МУ (803—852)

К дороге

Я окно растворил —
и остыла моя постель.
Лежа, глаз не сомкну:
вспоминаю Сяо и Сян...

Видам горных вершин
не настанет время стареть,
А людские сердца
день-деньской в суете хлопот...

В соснах ветра порыв —
то ли поздний, полночный дождь.
За завесой луна —
то ли иней, наполнивший дом...

На коне одному
хорошо бы поехать домой:
Над рекою как раз
апельсинами пахнуть должно!

Вот и постель Ду Му остывает, как в свое время — подушка и циновка Тао Юаньмина («Появляется ветер, влетает в комнаты дома, И подушку с циновкой он студит в полуночный час. В том, что воздух другой, чую смену времени года. Оттого, что не сплю, нескончаемость ночи узнал»). И так же как танские поэты за сто лет до него, тоскует он по южной родине, по рекам Сяо и Сян, соединяющимся друг с другом в нынешней Хунани. Так неужели не изменилась китайская поэзия к IX веку, когда творил Ду Му? Конечно изменилась. Наверное, она обогатилась образами, стала тоньше в выражении чувств, а может быть, и потеряла часть первозданной прямоты и трезвого взгляда на мир. Наверное и может быть. Потому что есть вынужденная приблизительность в наших оценках. Наиболее точный эстетический анализ далекой от нашего времени и наших пространств, очень сложной поэзии способен сделать скорее всего тот соотечественник китайских поэтов, который подготовлен к восприятию их творчества многолетним изучением конфуцианской и даосской классики и воспитан на чтении китайской поэзии в ее многовековом развитии. Мы в состоянии, однако, углубиться в танскую поэзию, восхититься ею и понять, что она прекрасна своею человечностью и представляет собою одно из великих достижений мировой литературы. Она озабочена человеческой судьбою, но и в печали жизнеутверждающа, сознавая свою ответственность перед людьми, так как в ней сосредоточилась философская мысль времени. Хотелось бы, чтобы подтверждение сказанному читатель (хотя и в переводе) нашел в содержании публикуемых стихотворений.

■

Критика

К 100-летию со дня рождения ЛУ СИНЯ

Л. ДЕЛЮСИН

ВЕЛИКИЙ КИТАЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ЕГО ВРЕМЯ

Перечитывая классику

Лу Синь (1881—1936) жил и творил в эпоху бурных социальных потрясений, совершавшихся в Китае. Ему было 18 лет, когда на севере страны поднялось народное движение против иностранной экспансии, подавленное объединенной армией восьми держав. Ему было 30 лет, когда Синьхайская революция сбросила иго маньчжурского господства и провозгласила создание Китайской республики. В 38 лет он был свидетелем и участником антиимпериалистического антифеодального «движения 4 мая», начало которого ознаменовалось состоявшейся в этот день демонстрацией пекинского студенчества. Он пережил бурное время национальной революции 1925—1927 годов, положившей конец господству генеральских клик, но не давшей стране ни национального единства, ни социального мира и демократии. В 30-е годы пятидесятилетний писатель с тревогой наблюдал за тем, как японская военщина наседает на Китай и опасность закабаления страны становится реальной угрозой.

Лу Синь не был безучастным, бесстрастным очевидцем событий. Еще в детские годы он начал задумываться о несправедливости, царящей в мире, о торжестве зла и обмана. На его глазах преследовали и казнили честных людей, отдававших свои молодые жизни за то, чтобы Поднебесная принадлежала не одному императору, а всему народу Китая. Его рано стало возмущать равнодушие толпы, с безразличным любопытством глазевшей на аресты и казни тех, кто жертвовал собой ради общего блага. Невежество и апатия, господство темных, суеверных представлений — борьбе с этими пороками соотечественников Лу Синь посвятил всю свою жизнь. Он рано пришел к убеждению, что, не преодолев их, Китай не сможет пойти по пути прогресса. Позднее в одной из заметок он писал о спящем человеке, которому досаждают комары и мухи, не давая ни минуты покоя. Можно отмахиваться от них, возмущаясь их укусами, можно примириться с ними, привыкнув к боли, которую они причиняют, но чтобы избавиться от них, надо проснуться, встать и начать двигаться.

Молодой Лу Синь, учившийся в Японии в медицинском институте, приходит к выводу: надо лечить не только тела, но и души людей, он принимает решение стать врачевателем духа — писателем, чтобы художественным словом будить народ, вытравлять из него рабское сознание. Литература, по его убеждению, была тем могучим средством, которое способно развить энергию народа, сообщить ему чувство достоинства и тем самым подготовить условия для социального прогресса и национального возрождения.

В эти годы под влиянием русской революции 1905—1907 годов в Китае усиливается освободительное движение, направленное против маньчжурской династии, правившей Китаем в течение двух с половиной веков. Китайские патриоты, выступая против маньчжурского господства, боролись за восстановление национального суверенитета, за сохранение целостности страны, оказавшейся под угрозой раздела между империалистическими державами.

Антиманьчжурское революционное движение, участником которого был Лу Синь, завершилось в 1912 году свержением Цинско-маньчжурской династии. Но надежды Лу Синя, как и многих других китайских просветителей, на быстрые перемены, на торжество справедливости и разума, не сбылись. Если до победы Синьхайской революции Лу Синь, по его словам, чувствовал себя рабом, то после свержения монархии у него появилось ощущение, что он стал жерт-

ДЕЛЮСИН ЛЕВ ПЕТРОВИЧ (род. в 1923 г.).

Советский историк-китаист, доктор исторических наук. Автор книг «Спор о социализме» (1970), «Аграрно-крестьянский вопрос в политике КПК» (1972) и ряда работ по новейшей истории и общественно-политической мысли Китая.

вой обмана — сделался «рабом рабов». Республика оказалась пустой вывеской. Во главе ее стояли монархисты, которые всеми силами старались стереть следы крови, пролитой революционерами. По мнению Лу Синя, разочарованного в результатах революции (у которой, как он писал, была голова тигра, а хвост змеи), борьбу надо было начинать сызнова, ибо Китай под жестоким господством новых правителей дошел до крайней стадии упадка и разложения.

Корень зла, считал Лу Синь, кроется в национальном характере китайцев, многие из которых продолжали тосковать по старым порядкам, вспоминать с симпатией и тоской о маньчжурских владыках. Лу Синю была ненавистна живучая рабская психология китайцев, тот традиционный порядок вещей, когда обольщенный власть имущими народ способен лишь на попытки «одурачить господина». Лу Синь писал, что в этом смысле между идеологией рабов и идеологией господ нет большого различия. Стремление прогнать императора перерастает в ходе борьбы в стремление сесть самому на императорский трон, с горечью заключал Лу Синь, листая страницы исторических летописей и наблюдая за событиями, происходившими после установления республики.

Позднее, в лучшем своем произведении «Подлинная история А-кью», он создает живой и правдивый образ обездоленного, забитого и презираемого труженика, который страдает от гнета и обид, но сам при удобном случае готов стать обидчиком еще более слабых. Отличие Лу Синя от других китайских писателей заключалось в том, что любовь к простым людям не застилала ему глаза, не мешала обращать внимание на слабости и недостатки национального характера китайцев.

Чтобы духовно воздействовать на соотечественников, надо постичь их истинные помыслы и желания, а сделать это трудно, поскольку Китай, по словам Лу Синя, страна безмолвная и душа китайца сокрыта за семью печатями. Трудности древнего литературного языка, его недоступность широким массам, а главное — господство темных суеверных представлений, варварских обычаев мешали китайцам выражать свои мысли и чувства, жить свободной, полнокровной жизнью.

Для всего творчества Лу Синя было характерно трезвое, объективное отношение к реальной жизни. Он был уверен, что только правда, какой бы неприятной и беспощадной она ни была, способна помочь коренной переделке китайского общества. Лу Синя часто упрекали за то, что он якобы не сумел отразить революционные возможности китайского крестьянства, за то, что он якобы слишком подчеркивал отсталость и невежество масс, косность и неподвижность всего китайского общества. Отвечая критикам, писатель отстаивал свое право изображать действительность такой, как она есть — иначе, считал он, нельзя понять характер действительности и найти средства для ее изменения. Льстивая ложь, говорил Лу Синь,— плохое лекарство, оно не способно принести исцеления ни человеку, ни обществу.

В «Подлинной истории А-кью» Лу Синь показал и то, насколько революционеры тех лет были далеки от народа, и то, насколько народ был далек от революционеров. Простые труженики, герои лусиневских рассказов, не представляли себе ни целей революции, ни ее содержания. Синьхайская революция осуществлялась без активного, сознательного участия народных масс. Их, по словам Лу Синя, «к революции не допустили». По морю пролитой народом крови к власти пришли его угнетатели. Лу Синь «предался разочарованию и унынию», подобно многим китайским интеллигентам, с отвращением взиравшим на новые порядки, мало чем отличавшиеся от старых.

«Революцию было легко осуществлять на первом этапе,— писал впоследствии Лу Синь,— когда она была направлена против маньчжур, в процессе дальнейших преобразований следовало бы искоренить собственные пороки, но этого сделать не пожелали, поэтому самое важное в дальнейшем— преобразовать национальный характер, в противном случае, будь это монархия,' республика или что-нибудь другое, меняется вывеска, а товар остается старым, негодным»[1]. «Самое мучительное в жизни,— замечал Лу Синь,— когда человек пробудился, но перед ним нет дороги, по которой он мог бы пойти» [2].

Осознать смысл и цели жизни помогло ему движение за новую культуру. Инициаторы этого движения исходили из того, что отсталость и зависимость Китая нельзя преодолеть, не порвав со старой традиционной культурой, с феодальной идеологией, с ее этическими нормами. Они выступали за смелое освоение передовых достижений западноевропейской науки. В отличие от западников старого толка, которые считали возможным перенимать лишь западную передовую технику, оставляя нетронутыми духовные основы китайской цивилизации, деятели движения за новую культуру требовали отказа от традиционной идеологии и даже культуры, как главного тормоза на пути китайцев к прогрессу.

В сентябре 1915 года в Пекине вышел первый номер журнала «Циннянь» («Молодежь»), впоследствии принявший название «Синь циннянь» («Новая молодежь»). С его страниц стали раздаваться смелые призывы покончить с конфуцианской феодально-монархической идеологией, со средневековой моралью. Главную причину сохранения деспотизма в Китае журнал видел в том, что китайское общество и после провозглашения республиканского правления продолжает жить старыми, монархическими идеями, что мышление китайцев продолжает оставаться рабски консервативным. Публицисты журнала «Синь циннянь» требовали разбить скорлупу национальной замкнутости, активно воспринимать культуру других стран.

Участники движения за новую культуру натолкнулись на сопротивление ревнителей

[1] Лу Синь. Собрание сочинений. М., 1956, т. 4, с. 44.
[2] Там же, т. 2, с. 94.

Л. ДЕЛЮСИН
ВЕЛИКИЙ КИТАЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ЕГО ВРЕМЯ

старого, которые утверждали, что критика конфуцианской идеологии, традиционных основ морали ведет к подрыву социальных устоев, к разложению общества, что, нападая на Конфуция и его учение, борцы за новую культуру изменяют национальным интересам, пытаются ввергнуть Китай в пучину дикости и варварства. Отвечая противникам, журнал «Синь циннянь» писал, что именно конфуцианству китайское общество обязано своим превращением «в фабрику по производству покорных рабов», что без избавления от его духовных оков китайцы не смогут стать людьми, способными самостоятельно мыслить и действовать, будут обречены на вечное отставание от других народов мира. Ли Дачжао (1888—1927), один из создателей коммунистической партии, называл Конфуция высохшим трупом тысячелетней давности, идолом монархического правления, объявлял его учение несовместимым с духом современной эпохи.

Поднятое журналом «Синь циннянь» знамя Науки и Демократии, решительность и бесстрашие, проявленные в борьбе против отжившей идеологии, культуры и морали, помогли многим представителям китайской молодежи и студенчества в выборе пути, подготовили условия для восприятия в стране идей научного социализма, в распространении которых сыграла решающую роль Великая Октябрьская социалистическая революция. Окончание первой мировой войны, победу стран Антанты над германским империализмом многие китайские интеллигенты расценили как победу права над насилием, добра над злом, как торжество разума и справедливости. Китайские патриоты ожидали, что собравшиеся в Париже представители великих держав покончат и с несправедливыми договорами, закабалявшими Китай. Однако Версальский мир 1919 года не оправдал этих надежд. Великие державы, уступая притязаниям Японии, передали ей германские права на провинцию Шаньдун. Этот акт вызвал в Китае всеобщий протест; 4 мая 1919 года пекинское студенчество вышло на площадь Тяньаньмынь с демонстрацией, протестуя против решений Парижской конференции.

Демонстрация 4 мая 1919 года дала название антиимпериалистическому, антифеодальному движению, ознаменовавшему новый этап в национально-освободительной борьбе китайского народа. Политическая борьба против империалистических держав, поправших суверенные права китайского народа, была одновременно и борьбой против феодальной идеологии, за новую культуру, литературу и искусство, за модернизацию Китая. Лу Синь занял видное место в рядах ее участников. Именно в это время его рассказы, проникнутые ненавистью к старым порядкам, один за другим появляются на страницах журнала «Синь циннянь».

Уже в первом рассказе «Записки сумасшедшего», опубликованном в мае 1918 года, Лу Синь рисует человека, не только не согласного со сложившимся порядком вещей, но и осмеливающегося высказать недовольство.

Героев своих рассказов — крестьян-бедняков, не сумевших сделать карьеру интеллигентов, неудачников или людей, преуспевших в жизни ценой отказа от идеалов и мечтаний молодости,— Лу Синь наделял чертами, общими для всех китайцев. (Не случайно в крестьянине А-кью пекинские чиновники и профессора узнавали себя и обижались за это на писателя.) В своей публицистике Лу Синь издевался над ревнителями старины, которые беспокоились об утрате «национального духа». Он указывал, что именно «национальный дух» и довел китайцев до того, что насущным стал вопрос о сохранении самой их жизни.

Уважение к народу, забота о его будущем, по мнению Лу Синя, вели к необходимости очистить, освободить «национальный дух» от всего того, что мешало людям нормально жить и налаживать добрые отношения с другими народами. Он высмеивал кичливость, хвастовство тех китайских интеллигентов, которые, основываясь на древнем происхождении китайской культуры, стремились доказать ее превосходство над культурой других наций; апологетов китайской цивилизации он сравнивал с Луной, которая к наблюдателям с Земли обращается лишь своей светлой стороной, скрывая темную. Достичь прогресса, не уставая повторял Лу Синь, можно лишь тогда, когда Китай проявит интерес не только к иностранной технике, но и к иностранным идеям. В Китае, писал он, сосуществуют одновременно несколько веков: лучина соседствует с с электролампой, рикша с самолетом, деревянные копья с пулеметом, а людоедские идеи с гуманизмом.

Призывая к освоению передовых идей других народов, прежде всего Советской России, Лу Синь выступал и за овладение духовным наследием, духовным богатством самой китайской нации. Вместе с тем он решительно отвергал лозунг «Посредством изучения традиционных канонов спасем нацию», отвлекавший народ от современных идей, от активного участия в общественно-политической жизни. «Поднимать на щит предков,— писал Лу Синь,— прием очень величественный, но я не верю, чтобы мы сшили себе новую куртку, не выстирав и не перелицевав старой»[1].

Лу Синь разоблачал лицемерие тех, кто на все лады доказывал превосходство духовной цивилизации Китая, умалчивая о том, что в стране из десяти человек девять неграмотны. Если в древнем Китае, иронизировал он, все обстояло прекрасно и сегодня беда лишь в том, что современники утратили достоинства своих предков, то можно ли говорить о необходимости реформ, об улучшении жизни?

В 1925 году, отвечая на вопрос столичной газеты о том, что бы он порекомендовал для чтения китайской молодежи, Лу Синь написал, что, читая книги китайских авторов, он чувствует отдаление от жизни. А чтение иностранных авторов сближает его с реальностью, будит желание работать. Китайские книги, по выражению Лу Синя, полны «оптимизма мертвецов», и хотя иностранные часто повествовали о тоске и грусти, но это были чувства живых людей. И Лу Синь советовал: «Меньше читать китайских книг, больше — иностранных» [2]. В этом совете звучала неудовлетворенность творчеством тех

[1] Лу Синь. Собрание сочинений, т. 2, с. 18.

[2] Лу Синь. Полное собрание сочинений. Пекин, 1957, т. 3, с. 9 (*на китайском языке.*)

китайских писателей, которые отворачивались от реальности, уходили от запросов жизни, от запросов молодежи.

Ответы Лу Синя вызвали злобное возмущение интеллигентов-националистов. В газетах стали печатать письма с требованиями изгнать Лу Синя из Китая, на него набросились с обвинениями в антипатриотизме. Но Лу Синя трудно было сломить. Противники пытались дискредитировать его в глазах общественности, и прежде всего подорвать его авторитет среди студенческой молодежи. О нем распускали лживые слухи, будто за свои статьи он получает гонорар в «московских рублях». Показательно, что, хотя Лу Синь не состоял ни в какой политической организации, не выступал со статьями и докладами на политические темы, реакционеры приписывали ему роль подстрекателя молодежи к бунтам и волнениям. Обвинения в политическом подстрекательстве были лживы, но враги не ошибались, видя в нем человека, чьи произведения рождали у молодежи недовольство, сеяли семена протеста, побуждали к активным действиям.

Отбиваясь от нападок противников, Лу Синь сам переходил в энергичную атаку. Он вновь и вновь отстаивал право писателя отражать великую правду жизни, не отворачиваясь от фактов, неприятных для глаз и ушей. Лу Синь зло высмеивал китайских интеллигентов, которые боялись трезво взглянуть на мрачные стороны жизни, утверждая, что в обществе все обстоит благополучно, никаких проблем не существует. «А поскольку все дела в полном порядке, то не надо и волноваться, можно спокойно попивать чай и видеть прекрасные сны»[1]. Повседневно обманывая себя и других, эти китайские писатели и деятели искусства создавали лживые, фальшивые произведения о том, как они славно живут. Лу Синь считал, что замалчивание пороков способствует их распространению, ибо «мерзость, прикрытая снаружи, продолжает внутри гнить и разлагаться»[2].

В начале 20-х годов в Китае нарастает волна революционного движения. На юге страны в провинции Гуандун Сунь Ятсен организовал революционное правительство и готовил базу для развертывания общенациональной борьбы против северных милитаристов, мешавших объединению страны, ее демократическому обновлению и освобождению от иностранной зависимости.

Учитывая опыт Октябрьской революции, Сунь Ятсен заново пересматривает политическую программу, реорганизует партию гоминьдан, которая стояла в то время на революционных позициях, устанавливает тесное сотрудничество с молодой Коммунистической партией Китая, с помощью советских командиров готовит военные кадры для революционной армии. Он объявляет войну пекинскому правительству милитаристов — прислужников империалистических держав. Южный Китай, где обосновалось правительство Сунь Ятсена, притягивает к себе взоры китайских патриотов-демократов. Под руководством Сунь Ятсена в Китае начался подъем национально-демократической революции, которая благодаря помощи Советского Союза обрела под собой новую почву.

В Пекине же, где жил тогда Лу Синь, реакционные генералы и продажные политиканы жестоко подавляли даже самое слабое проявление протеста, штыками и пулями преграждали путь к свободе. Мрак сгущался, и, казалось, просвета никогда не будет. Лу Синь с горечью наблюдал за тем, как отходят от активной деятельности его бывшие боевые товарищи. Позднее он писал о них: «Ученые круги Пекина прославились в прошлом как инициаторы движения 4 мая», но теперь все это ушло в область истории... Одни, «одержав победу, отступили со славой», другие — «приобрели положение», третьи — «пошли в гору». Итоги ожесточенных боев привели некоторых чуть ли не к убеждению, что «лишь поджогами и убийствами заслужишь амнистию и высокий пост»[1].

Сам Лу Синь тоже временами терял веру в будущее — слишком уж мрачной была окружающая его действительность. Он надеялся на успех революции, желая скорейшего краха антинародному режиму генеральских клик, но не очень верил в возможность быстрого и легкого успеха. По его словам, он в это время очутился на перепутье и, видя перед собой много дорог, не знал, какой же из них идти. Он отказывался давать определенные советы вопрошавшей его молодежи, хотя сам безбоязненно продолжал делать свое дело.

Некоторые пытались истолковать его позицию как призыв к спокойной жизни. Этого Лу Синь стерпеть не мог. С едкой иронией писал он о спокойной жизни в пекинской тюрьме нового типа, где и кормят досыта, где тепло, где царит покой и порядок, где не надо бояться ни пожара, ни бандитских грабежей. Единственное, чего там недостает, замечал Лу Синь, так это свободы. Но ведь этой свободы недоставало и вне тюремных стен. Студентам запрещали собираться, устраивать митинги, а когда они нарушали запрет, против них направляли вооруженных до зубов полицейских и солдат. И Лу Синь каждый раз с возмущением протестовал против актов насилия.

В эти же годы публицистика занимает все большее место в творчестве Лу Синя. Он охотно пишет и публикует мелкие заметки, фельетоны, ведет острую полемику с ретроградами и реакционерами. Формально он не примыкает ни к гоминьдану, ни к компартии. Лу Синь не выступает по вопросам программы единого национально-демократического фронта, который был создан под руководством Сунь Ятсена. Думается, что это объясняется не только полицейской цензурой пекинских властей и опасением возможных репрессий. Писатель вообще настороженно относился к лозунгам и программам. Он не забыл, что Синьхайская революция победила при поддержке консерва-

[1] Сборник «Избранные заметки Лу Синя». Составитель и редактор Цюй Цюбо, Шанхай, 1950, с. 53 (*на китайском языкке*).

[2] Лу Синь. П. с. с., т. 4, с. 89.

[1] Лу Синь. Собрание сочинений, т. 2, с. 238.

торов, которые и воспользовались плодами победы. Не был убежден он и в том, что революционерам удалось расшевелить народные массы. Он считал, что миллионы китайцев, без активного участия которых нечего было и думать о кардинальном преобразовании общества, еще не пробудились к сознательной политической жизни и не в состоянии решающим образом воздействовать на ход событий. Можно назвать такие мысли излишним скептицизмом, неверием в революционные потенции масс, но Лу Синь всегда считал себя реалистом, который в детстве, как он писал о себе, мечтал летать по небу, но жизнь приковала его к земле. Однако симпатии его неизменно были на стороне революции, на стороне народа.

Словно осуждая самого себя, Лу Синь досадует, что кругозор его так узок. «Только за год в одном Китае совершилась масса крупных событий, а многих из них я не касался, словно они прошли мимо меня». Писатель действительно не затрагивал в своих рассказах и статьях великих событий, происходивших в стране. Но его творчество тех лет выразительнейшим образом передает ту удушливую атмосферу, которая мешала людям жить и работать на огромной территории, где «даже воздух кажется мертвым». Национальную гордость — Великую китайскую стену — Лу Синь называл великой и проклятой, ибо она отделяла страну от света. Он не скрывал своего возмущения теми, кто мечтал ее сохранить, латая трещины новыми заплатами.

В его произведениях мы видим не романтических героев с винтовками в руках, не ораторов, выступавших на митингах с пламенными, зажигательными речами, но обыкновенных, незаметных людей, которые и в дни великих событий продолжают думать о чашке риса, об удовлетворении своих нужд.

Писателю трудно было найти свое место, определить свою роль в революционном процессе. Сам он был готов идти на жертвы во имя духовного возрождения и социального обновления родины, однако не считал себя вправе требовать жертв от молодежи. Он хорошо понимал, что преобразование Китая не может совершиться без пролития крови многих и многих людей, но в то же время был убежден, что расточительная трата человеческой крови сама по себе не приведет к коренным переменам. Лу Синь не поддерживал тех, кто легко посылал на кровавую битву смелых, но безоружных бойцов, кто готов был без надежды на успех, напрасно рисковать жизнью людей.

Перед Лу Синем неотступно вставал мучительный вопрос: как ускорить приближение утренней зари и что должен делать писатель, чтобы светлые лучи солнца скорее пробили толщу темных туч. Молодые поклонники обращались к нему с упреками, спрашивая, какая польза от литературы и нужно ли вообще искусство, если оно не принимает участия в развертывающейся борьбе. Писателя звали на передовые позиции, требовали, чтобы он не оставался сторонним наблюдателем. Лу Синю этот вопрос не казался столь простым, как его юным читателям. Временами ему представлялось, что в годы революции литература действительно вещь ненужная, заниматься ею могут лишь слабые люди.

Этот вопрос с особой остротой возник перед ним в революционном Гуанчжоу, куда он попал в январе 1927 года. 18 марта 1926 года пекинские коммунисты во главе с Ли Дачжао организовали студенческую демонстрацию протеста против реакционного правительства генерала Дуань Цижуя. Демонстранты требовали прекращения вмешательства империалистов во внутренние дела Китая, обличали китайских генералов, пресмыкавшихся перед иностранными державами. Дуань Цижуй жестоко расправился с демонстрантами — полицейские и солдаты стреляли в безоружных юношей и девушек, кололи их штыками, рубили саблями. Площадь Тяньаньмынь обагрилась кровью.

Лу Синь назвал этот день «самым черным днем за все время существования Республики». Он тяжело переживал гибель участников демонстрации, среди которых были его ученицы. Писатель гневно осудил пекинских палачей, которые пытались чернильной ложью прикрыть кровавые следы своего преступления. Пекинские власти обвинили Лу Синя в том, что он был одним из застрельщиков и организаторов студенческого выступления, жизнь его оказалась под угрозой, и он вынужден был бежать на юг из Пекина.

Лу Синь оказался в Гуанчжоу в то время, когда национально-революционная армия, обученная с помощью советских военных специалистов, уже выступила в поход против северных милитаристов. От писателя требовали, чтобы он сразу же включился в агитационную работу и тем самым содействовал революции. Ему предлагали темы для сочинений, пытались давать задания. Но Лу Синь шире смотрел на задачи писателя. Он считал, что произведения, написанные по заказу, не могут эффективно воздействовать на общественность. Произведение искусства, отвечал он своим советчикам, никогда не создается по заказу или ради выгоды, оно должно естественно исходить из сердца писателя, только тогда оно обретет художественную силу.

Выступая перед курсантами военной школы Вампу, Лу Синь сказал, что революции необходимы, иначе общество не будет знать прогресса. Однако, говоря о связи литературы и революции, писатель высказал мысль, что в эпоху революций литература умолкает. В предреволюционные годы она как может борется против зла и несправедливости, поднимает голос гнева, боли и отмщения. Но литература бессильна искоренить зло — этим занимаются массы, перешедшие к революционному действию. Народным массам в дни революции не до литературы, перед ними стоят более насущные задачи. А потому «...в эпоху великой революции литературе ничего не остается другого, как временно замолчать»[1]. Лу Синь сомневался в том, что революционные стихи способны напугать милитаристов — их можно прогнать только пушками. И потому, говорил Лу Синь: «Я предпочел бы слушать голос пушек, так как мне кажется, что голос пушек намного приятнее для слуха, чем голос литературы» [2].

---

[1] Лу Синь. П. с. с., т. 3, с. 315.
[2] Там же, с. 318.

Подобные настроения Лу Синя во многом объясняются тем, что, очутившись в самом очаге революционной борьбы, он не заметил особенных перемен в общественном климате. Лу Синь не скрывал своего опасения, что «колыбель революции может стать колыбелью контрреволюции». Как показал дальнейший ход истории Китая, опасения эти не были совсем беспочвенными.

В первой половине 1927 года Гуанчжоу, куда Лу Синь попал после того, как народно-революционная армия вышла в Северный поход, представлял собой город, где то и дело поднимали голову реакционеры. После смерти Сунь Ятсена реакционные элементы в гоминьдане активизировались. Основные силы революции переместились в Ухань, куда переехало революционное правительство. Социально-экономические требования рабочих города не удовлетворялись. В деревнях вокруг Гуанчжоу помещики, опираясь на военных, подавляли крестьянское движение. К этому времени в отношениях между гоминьданом и Коммунистической партией Китая образовалась трещина. Единый фронт терял свою прочность, а это ободряло противников революции, стремившихся не допустить радикальных преобразований. Напряженная, противоречивая обстановка заслоняла перспективу, вселяла отчаяние. Смятение чувств переживал в это время не один Лу Синь. Он всей душой сочувствовал революции, надеялся на ее победу, но то, что он видел и слышал в Гуанчжоу, подрывало его веру в возможность успеха: атмосфера интриг, подозрительности, недоверия друг к другу, в которой он очутился, в сущности, мало чем отличалась от пекинской.

Противоречивые чувства и мысли Лу Синя выражены в статьях-эссе и рассказах, вошедших в сборники «Блуждания» и «Дикие травы». В своеобразной форме, прибегая к языку намеков и аллегорий, автор делится своими мечтами и сомнениями, раскрывает свои сокровенные переживания, которые он не считает характерными лишь для себя одного. Из воспоминаний современников мы знаем, что безысходность, тоска и отчаяние, неверие в перемены к лучшему были свойственны тогда многим китайским интеллигентам, запутавшимся в паутине неразрешимых противоречий между мечтами о прекрасном будущем и реальной — серой и суровой — действительностью. Впоследствии Лу Синь признавал, что выраженные в книге «Дикие травы» настроения были «слишком упадочными».

В апреле — июле 1927 года произошел раскол между гоминьданом и компартией. После контрреволюционного переворота, произведенного в апреле 1927 года генералом Чан Кайши, в Китае снова полились реки крови, началась охота за коммунистами. И Лу Синь, который переселился в Шанхай, с болью читал о равнодушии, с каким толпы китайцев наблюдали за топором палача, отсекавшим головы коммунистам. В его памяти вставали сцены, которые он видел в детстве и юности, когда казнь революционеров являлась бесплатным зрелищем для толпы; с горечью писал он об этом пристрастии к кровавым зрелищам, издавна привитом китайцам.

В период торжества гоминьдановской реакции (конец 20-х — начало 30-х) Лу Синь почти все свое время посвящает публицистике. Именно тогда, когда наступило время глухой реакции, в нем с особой силой проявились качества бойца. Он остается верен себе и, несмотря на болезнь, продолжает бороться за новую литературу, такую, которая помогла бы народу не прекращать движения к правде, прогрессу. Вокруг писателя образуется кружок молодых друзей, которые видели в нем человека твердых убеждений, а не только своего литературного метра.

В годы гоминьдановской реакции в повседневных спорах с псевдореволюционерами ему пришлось отстаивать свое понимание долга революционного писателя, революционной литературы. Полемика, которую вел тогда Лу Синь с левацки настроенными писателями и критиками, зачастую выступавшими от имени Компартии Китая, сохранила свою актуальность и в наши дни.

Его книги запрещала гоминьдановская цензура, реакционные критики снова клеветнически заявляли, что он «отрабатывает рубли», черня китайское общество. В то же время леваки сочиняли басни о том, что он получает денежные подачки от гоминьдановского правительства. Из лагеря реакции его осыпали бранью, ругая за то, что он везде выискивает недостатки, а когда другие предлагают рецепты лечения болезней, он «одно лекарство считает слишком холодным, другое — слишком горячим; одно — слишком быстро действующим, а другое — слишком медленно действующим».

Одновременно псевдореволюционные писатели и критики донимали Лу Синя непомерными претензиями, требованиями более активно, «по-революционному» вторгаться в жизнь. Его обвиняли в том, что он укрылся от общества и вместо того, чтобы поднимать крупные проблемы, с головой ушел в мелкие, незначительные вопросы, играя роль всего-навсего наблюдателя, а не участника революции. Злобно нападая на Лу Синя, леваки пытались «образумить» его, сделать своим союзником, а если не удастся, ослабить его влияние на прогрессивно мыслящую молодежь. Лу Синь резко отвечал на эти наскоки. В полемике он не опускался до уровня противников, отстаивал свою честь и в то же время показывал, что скрывается под этой «революционной» оболочкой.

Проблема «литература на службе революции или революция на службе литературы» вызывала в начале 30-х годов острые споры среди китайских писателей, прогрессивных деятелей культуры и искусства. Лу Синь не мог оставаться в стороне от этих диспутов — ведь практически речь шла о роли литературы в революции. Достоинство писателя не позволяло ему отмалчиваться, когда на страницах журналов, слывших прогрессивными, его называли «феодальным отродьем», «врагом социализма», «фашистом», «развратителем и растлителем молодежи». Вся эта непристойная брань по

адресу писателя раздавалась не из лагеря консерваторов, ретроградов, с которыми Лу Синь вел борьбу еще в 20-е годы, а со стороны писателей, говоривших от имени революции, от имени марксизма-ленинизма, понятых и истолковываемых весьма примитивно.

Лу Синь не мог не принять вызова, тем более что речь шла не только об оскорблении его личной чести, речь шла о направлении новой китайской литературы, о понимании роли писателя в борьбе за новый Китай. Всю жизнь отдал Лу Синь за то, чтобы «безмолвный Китай» заговорил полным голосом. Но он хотел и добивался того, чтобы этот голос не был фальшивым. Лу Синь не верил в силу воздействия и в революционность тех писателей, которые не считаются с реальной жизнью. Он выступал против литераторов, не делавших различия между пропагандой и искусством, сводивших революционное творчество к описанию «кровавых дел». Тем, кто говорил, что книги надо писать кровью, он не без иронии отвечал: «Статьи пишутся чернилами, от крови остаются лишь кровавые следы, которые затем блекнут и пропадают» [1].

Лу Синь протестовал против примитивного подхода леваков-псевдореволюционеров к литературе. Он считал ошибочным и вредным вульгарный взгляд на художественное творчество этих критиков, выступавших от имени революции и марксизма. Не случайно писатель берется в это время за внимательное изучение марксистской теории литературы и искусства. Читает статьи Плеханова и Луначарского, проникается уверенностью в том, что его взгляды на социальную роль и назначение литературы ближе к марксизму, чем взгляды его противников. И приходит к выводу, что эти деятели подсовывают ему «в красной бумаге тухлое мясо».

Чтобы стать по-настоящему революционным писателем, говорил Лу Синь, мало испещрять бумагу иероглифами «кровь», «бей», «убивай». Он осуждал показную революционность писателей, которые в своих произведениях повторяли лозунги, пользовались ярлыками положительных и отрицательных героев, искажая сложную и противоречивую правду жизни. Жизненный опыт убедил Лу Синя, что многие из тех, кто кичился революционностью, столкнувшись с реальными трудностями, впадали в отчаянный пессимизм или же легко отдавали свое перо в услужение реакции.

Лу Синь был глубоко убежден, что тема и сюжет произведения могут быть самыми различными — не описание битв и сражений, митингов и демонстраций делает сочинение революционным.

«Основной вопрос,— подчеркивал он,— заключается в том, революционер писатель или нет. Если да, то о чем бы он ни писал, какой бы материал ни использовал, все написанное им будет революционной литературой. Из фонтана всегда бьет вода, а из кровеносных сосудов — кровь» [2].

Надменные леваки, «революционеры с генеральскими эполетами» внушали Лу Синю отвращение. Его отталкивал их высокомерно сектантский подход к литературному делу. Он стоял за объединение всех демократически настроенных китайских писателей во имя борьбы против реакционного гоминьдана и против надвигающейся на Китай японской агрессии.

Его особенно тревожило, что китайская общественность в это время усиленно обрабатывалась в националистическом духе и главным врагом китайцев объявлялась Советская Россия.

В 30-х годах над Китаем нависла реальная угроза японского вторжения. Националисты тешили себя иллюзией и обманывали народ заявлениями о том, что целью Японии является не Китай, а Россия. Японские солдаты уже попирали землю трех восточных провинций. Прежде чем выступить в поход на запад против России, восточные агрессоры всегда проглатывали куски китайской земли. Лу Синь активно боролся против националистического угара, которым пытались отравить китайскую молодежь гоминьдановские писатели-националисты. Он писал, что нечего питать иллюзии насчет равноправного сотрудничества китайцев и японцев, основанного на общей вражде к белой расе. Тем литераторам, которые изображали древнюю армию Батыя как образец дружбы и единства четырех желтых наций, выступивших в поход на белых, он напоминал, что это было «сотрудничество» хозяина и раба.

Настойчиво и последовательно проводил Лу Синь мысль о том, что антисоветская пропаганда, подогреваемая гоминьдановскими националистами, парализует волю китайцев, мешает им видеть настоящего врага — японских империалистов.

Советский Союз Лу Синь рассматривал как страну, созидающую новое общество. Он с негодованием осуждал клеветнические антисоветские измышления и приветствовал правдивую информацию о жизни советских людей.

Весной 1932 года в китайской печати появились сообщения, что западные страны готовят агрессию против Советского Союза; и в связи с этим усилилась антисоветская пропаганда. В статье «Нас больше не обмануть!» Лу Синь писал, что интересы китайского народа и интересы империализма и его приспешников прямо противоположны: «Мы против нападения на Советский Союз. Наоборот, мы должны ударить по нападающим на Советский Союз злодеям, какие бы сладкие речи они ни произносили, какой бы видимостью беспристрастия они ни украшали себя. Это и для нас самих будет путь жизни» [1].

Для Лу Синя, который с молодых лет проникся любовью к русской литературе, Советский Союз был и оставался другом, всегда откликавшимся на зов о помощи китайского народа. До конца дней своих он живо интересовался тем новым, что появлялось в советской литературе, поощрял переводы произведений советских писателей, считая это своим долгом гражданина.

В истории китайской литературы Лу Синь навсегда остался самым крупным писателем XX века — сердцем и совестью китайского народа.

[1] Лу Синь. П. с. с., т. 4, с. 17.
[2] Там же, т. 3, с. 408.

[1] Лу Синь. П. с. с., т. 4, с. 329.

Лу Синь как-то заметил, что надо умереть, или замолчать, или исчезнуть, чтобы снискать себе людской почет и уважение. Пример Конфуция, Будды, Христа свидетельствует о том, что живых пророков люди губят. Другое дело, когда великий человек умирает и превращается в окаменелость, тогда люди называют его великим и делают из него марионетку, которую они используют сообразно со своими интересами. Слова Лу Синя оказались пророческими.

В годы «культурной революции» в КНР хунвэйбины пытались поставить творчество Лу Синя на службу своим варварским целям, сделать его идейным союзником. С этой целью был изобретен миф о Лу Сине как ученике и почитателе Мао Цзэдуна, антисоветчике. Фальсификация Лу Синя в этот период достигла невиданных размеров, но исказить подлинный облик писателя оказалось нелегко. Его произведения, проникнутые любовью к своему народу, уважением к культуре других наций, и сегодня остаются эффективным противоядием антинародным идеям Мао Цзэдуна.

Сила воздействия Лу Синя на китайское общество в том, что он, как никто другой из китайских писателей, сумел в высокой художественной форме отразить неповторимые черты своего времени, показать положительные и слабые стороны национального характера своих соотечественников. Это удалось ему потому, что Лу Синь всегда оставался верен идеям гуманизма, демократии, социальной справедливости, потому, что он никогда не замыкался в тесной националистической скорлупе, воспринимая достижения прогрессивной философии, культуры и литературы других стран.

Во вступительной статье к новому изданию «Избранных произведений» Лу Синя Л. Эйдлин, объясняя значение его творчества, справедливо пишет, что созданная им литература «близка и доступна всем людям; впитав в себя мировую традицию, соединив в себе достижения национальные и западные, она по силе мысли и по средствам изображения поднялась до вершин реализма» [1]. Вот почему книги Лу Синя и сегодня зовут к социальному и духовному обновлению Китая, служат делу прогресса, развитию дружественных связей китайского народа с другими народами, и прежде всего с советским.

[1] Лу Синь. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1981, с. 28.

◆

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Роман Юрия Бондарева «Тишина» и повесть «Последние залпы». Издательство «Партиздат».

Публицистика Вениамина Каверина под общим названием «Собеседник». Издательство «Георги Бакалов».

Поэма Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Издательство «Народна култура».

«Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Издательство «Народна младеж».

ВЕНГРИЯ

«Москва и москвичи» Владимира Гиляровского. Издательство «Европа».

Повесть И. Грековой «Кафедра». То же издательство.

Роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Издательство «Магветё».

Роман Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю...». То же издательство.

ГДР

Стихи Николая Заболоцкого. Издательство «Фольк унд вельт».

«Ромен Роллан. Биография» Тамары Мотылевой. Издательство «Ауфбау».

Роман Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Издательство «Фольк унд вельт».

Повесть Василия Тендрякова «Тройка — семерка — туз». Издательство «Реклам».

Роман Ильи Эренбурга «Буря». Издательство «Фольк унд вельт».

ИТАЛИЯ

Сборник рассказов Исаака Бабеля под названием «Кровь и чернила». Издательство «Гарзанти».

Роман Юрия Трифонова «Старик». Издательство «Эдитори риюнити».

НИДЕРЛАНДЫ

Сборник стихотворений Анны Ахматовой. Издательство «Мёленхоф».

Повесть Осипа Мандельштама «Египетская марка». Издательство «Ван Орсхот».

Роман Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок». Издательство «Пегасус».

◆

Н. РЖЕВСКАЯ

ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ НОВЕЛЛЕ

А. Дотель, М. Турнье, Ф. Саган, П. Сабатье

Так уж повелось, что, размышляя о состоянии современной прозы в той или иной стране, мы чаще и охотнее всего обращаемся к роману как жанру наиболее репрезентативному и популярному. В этом есть, безусловно, свой резон, хотя порой именно в малых жанрах некоторые тенденции литературного развития выступают с наибольшей убедительностью и полнотой.

Одной из определяющих тенденций развития французской литературы минувшего десятилетия смело можно считать отказ от опытов экспериментального романа 50—60-х годов, которые привели к созданию элитарной прозы, ценимой лишь горсткой изощренных «знатоков», отказ от эксперимента как самоцели, стремление быть прочитанной и понятой, внимание к проблемам человеческой жизни, представляющим всеобщий интерес.

Быть может, именно этими устремлениями вызвано широкое обращение в 70-е годы к новелле, хранительнице литературной традиции. Ведь как ни один другой жанр новелла сохранила и донесла до наших дней ряд признаков, присущих ей искони и оставшихся неизменными, несмотря на прихоти литературной моды.

Предмет новеллы — всегда единичное: чья-то судьба, чаще всего эпизод в этой судьбе, но эпизод решающий, может быть даже кульминационный. Ограничение круга изображения диктует специфику новеллистической изобразительности: сжатость и лаконичность характеристик экспрессивность деталей, несущих большую смысловую нагрузку.

Конечно, трудно в последней четверти XX века говорить о незыблемости литературного жанра, когда история французской литературы последних десятилетий давала всевозможные примеры не только разрушения жанра, но и отказа от основных формообразующих элементов литературного произведения — персонажа, четко очерченного сюжета, хронологически организованного повествования.

Поэтому не следует думать, что современная новелла ничем не отличается от мопассановской или франсовской и что эстетические поиски, которыми ознаменовался XX век, не наложили на нее своего отпечатка. Однако, пытаясь осмыслить своеобразие французской новеллы 70-х годов, явно переживающей период расцвета, критика на первый план выдвигала «стремление писателей к правдивости, стремление вернуться к чувствам, краскам, запахам, стремление разделить с читателем его чувства и мысли» [1]. Критика отмечает, что сегодняшний читатель, уставший от формалистических изысков, «хочет установить доверительные отношения с автором, который заинтересовался бы его проблемами и комплексами, заинтересовался бы тем, насколько трудно ему жить в этом мире, в котором он работает, которому он подвластен, сам того не понимая до конца, в котором ему иногда удается помечтать. Читатель хочет, чтобы ему помогли разобраться в этом мире, где он чувствует себя то ребенком, то роботом. Он хочет, чтобы в нем развили склонность к воображению, чтобы его научили мечтать» [2].

На последние слова стоит, пожалуй, обратить особое внимание. В самом деле, большинству новелл 70-х годов, различных по тематике и по манере исполнения, принадлежащих и известным писателям и делающим в новеллистике первые шаги, присуще нечто общее: сходное отношение к изображаемому, и прежде всего к человеку.

Это отношение наиболее ярко выражено в словах Андре Дотеля, одного из ста-

[1] «La Quinzaine littéraire». 1977, № 261, p. 5.
[2] Там же.

РЖЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА.

Советский критик и литературовед, кандидат филологических наук, член Международной ассоциации литературных критиков (МАЛК). Автор статей о французской литературе XIX—XX веков и методологии современной критики.

рейших писателей современной Франции, рассказчика и романиста: «По правде говоря, в любой истории, сколь заурядна она бы ни была, есть какой-то чудесный миг, который трудно уловить, но который приводит события в движение» (сборник «Однажды вечером», 1977) [1].

Вот это стремление посмотреть на обыденное и повседневное как-то по-новому и увидеть в заурядном нечто выходящее за рамки ординарности представляется очень типичным для современной французской новеллы. Не культ повседневности, а иное к ней отношение, иной ракурс ее изображения. Современные французские новеллисты — будь то уже названный А. Дотель или признанный «король новеллы» Д. Буланже, будь то дебютанты в малом жанре: известные романисты Мишель Турнье, Поль Саватье или Франсуаза Саган — видят в человеке, ставшем предметом их изображения, нечто большее, чем он кажется на первый взгляд, они видят, что в душе каждого из их героев есть что-то сокровенное, заставляющее их тянуться к правде и красоте, позволяющее им подняться над повседневностью, порой порабощающей человека.

Так герой новеллы А. Дотеля «Дорога на Монреаль» ведет весьма размеренную жизнь, в которой все так основательно и хорошо налажено, что ничто, кажется, не может ее изменить. Женитьба на соседской дочери должна лишь упрочить его благополучие, достигнутое ценой немалых усилий. Но с этим Тьерри особенно не торопится: о чувствах здесь речи нет, поэтому днем раньше, днем позже — не все ли равно?

Но однажды, бросив взгляд в окно, Тьерри Шалейль увидел ослепительное синее небо, вдруг блеснувшее среди разорванных туч. Взволнованный красотой картины, внезапно открывшейся ему, Тьерри вышел на дорогу и заметил вдалеке фигуру женщины, видимо присевшей отдохнуть после долгого пути. Когда он подошел к ней, ему показалось, что эта женщина—соседская девочка Матильда Сельва, от которой он когда-то, когда они оба были еще почти детьми, не мог оторвать глаз. Потом она исчезла: ему стало известно, что она с семьей уехала в Канаду. Значит, она вернулась?

Эта встреча была тем «чудесным мигом», который перевернул жизнь Тьерри Шалейля. Он не может уже жить по-прежнему, он запускает дела, ищет эту женщину, пишет ей, делает ей предложение. Но в ответ получает только отказ. А затем узнает, что она уехала. Тогда, бросив все, он тоже покидает родные места.

Не нужно искать причины, породившие внезапно вспыхнувшее чувство Тьерри к Матильде Сельва. Кажется, они не важны и для самого Дотеля, которого занимает другое: он хочет показать, что в человеке всегда живет порыв к мечте, тяга к неведомому и что достаточно чудесного мгновения, чтобы этот порыв выплеснулся наружу. Талант Дотеля добр. Отчаявшийся, все потерявший Тьерри находит Матильду, и она уже не отвергает его. «Куда они направились? Что делали? Об этом не узнает никто». Подобная концовка характерна для новелл Дотеля. Ему не нужны подробности и правдоподобные детали. Ему важно, что его герои обретают счастье.

О том, что в человеке, кем бы он ни был и чем бы ни занимался, живет мечта о прекрасном, пишет в своих новеллах и Мишель Турнье, один из популярных, я бы даже сказала модных писателей сегодняшней Франции. Как и Дотель, Турнье — сторонник традиционной реалистической формы, с неодобрением относящийся к формальному экспериментаторству; но нарочито простая форма и прозрачной ясности язык Турнье сочетаются с восприятием и изображением окружающего, выделяющими писателя среди современных французских реалистов. Его романы обращают на себя внимание беспощадной жестокостью, а представление об окружающем мире и о человеке носит довольно мрачный характер. Иное дело новеллы Турнье (его новеллистический сборник «Глухарь» вышел в 1978 году [1]), в которых вдруг зазвучали теплые ноты, а отношение к изображаемому предстало в новом свете. Человек в рассказах Турнье характеризуется не только примитивными физиологическими потребностями, как это было в большинстве случаев в его романах,— его тоже влечет добро и красота, хотя достичь их ему гораздо труднее, чем героям Дотеля, потому что сам Турнье смотрит на мир очень скептически. В этом смысле особенно показательна новелла «Зона отдыха «Ландыши» [2], где за реалистическим изображением повседневной жизни явно просвечивает тезис, доказываемый с помощью образов-символов. Турнье создает атмосферу достоверности, рисуя шоферов-напарников, их размеренный, повседневный труд. Но в то же время автострада с ее непреложными законами, которых никто не может нарушить, выступает как символ общества, технического прогресса в капиталистическом мире: включив человека в свою систему, она уже не отпускает его, она враждебна ему (недаром Гастон воспринимает автостраду как «грохочущий бетонный ад», недаром между ней и «живым» миром, миром природы и красоты натянута проволочная изгородь). И когда Пьер, еще недавно не мысливший себя вне автострады и счастливый своим единением с ней (и работать на ней замечательно, и на окружающее так увлекательно смотреть через ветровое стекло), хочет вырваться и нарушает ее законы, она губит его.

Стоит обратить внимание на грустно-иронический финал новеллы: деревушка, в которую стремился попасть Пьер, была совсем рядом, но попадает он в нее искалеченным (может быть, даже мертвым?) на машине «скорой помощи». Так вполне реалистическая новелла Турнье оборачивает-

[1] André Dhôtel. Un soir. P., 1977.

[1] Michel Tournier. Le Coq de bruyère. P., 1978.

[2] Публикуется в этом номере «ИЛ».

Н. РЖЕВСКАЯ

ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ НОВЕЛЛЕ

ся и притчей (настолько уж демонстративно назидательны ее образы), притчей о человеке в современном мире. Этой же теме посвящена и одна из лучших новелл Турнье «Да пребудет радость со мною» [1]. Казалось бы, вполне традиционный сюжет — гибель художника в буржуазном обществе, которое профанирует его талант,— раскрывается у Турнье в несколько неожиданном ракурсе. Дошедший до предела падения несостоявшийся талантливый пианист усмиряет толпу, только что ревевшую от восторга и хохотавшую над его нелепыми и пошлыми трюками, божественными звуками баховского хорала, и толпа затихает, потрясенная настоящим искусством. Мир, искалечивший Рафаила, не сумел истребить в его душе преклонения перед прекрасным, которое помогло ему выстоять.

Правда, спасает Рафаила его ангел-хранитель. Не надо удивляться этому — ведь Турнье называет новеллу рождественской сказкой, хотя вспоминает об этом как будто лишь в самом конце, потому что его новелла — беспощадно правдивый рассказ о том, что делает с искусством «общество потребления». Значит, спасение художника возможно, с точки зрения Турнье, только в сказке? Быть может. Но в новелле оно происходит: красота и искусство торжествуют над пошлостью — и это главное. Что же до сказки, то Турнье не раз обращается к ней, чтобы просто, иногда не без нарочитой наивности, рассказать о жизни.

Рядом со сказками в сборнике «Глухарь» есть мрачные и беспощадно жестокие рассказы, но и в них вдруг вспыхивает огонек надежды на то, что тяга к добру и красоте непременно живет в душе каждого и нужны лишь определенные обстоятельства, чтобы они смогли проявить себя. В этом смысле примечательна новелла «Красный карлик» — рассказ об озлобленном и действительно жестоком человеке, сексуальном маньяке и убийце, который, пользуясь своим маленьким ростом и безобразной внешностью, придумывает цирковой номер и с огромным успехом выступает на арене. Но однажды разбогатевший и пользующийся популярностью карлик объявляет, что даст бесплатное представление, на которое будут допущены только дети. И вот, оставшись один на один с маленькими зрителями, которые не замечают его уродства, карлик плачет и смеется вместе с ними, счастливый своим единением с детьми, тем, что сумел принести им радость.

В новеллах Франсуазы Саган (ее первый сборник «Бархатные глаза» вышел в 1977 году [2], второй, «Музыка к спектаклям», — в 1981) нет ни того лиризма, который отличает повествование Дотеля, ни напряженного драматизма, свойственного прозе Турнье. Мир, к которому обращается Саган-новеллистка, хорошо нам знаком по ее романам. Это мир преуспевающих дельцов и скучающих аристократов, светских раутов и коктейлей, дорогих гостиниц и фешенебельных курортов. Здесь все элегантно и благопристойно, здесь все подчиняется раз и навсегда установленному порядку. Но в этом мире торжествующего благополучия, вызывающего у Ф. Саган иронической усмешку, ей удается рассмотреть и показать ощущение неблагополучия, внутреннего дискомфорта, которое испытывают ее герои.

Именно этот аспект видения объекта привлекает внимание к новеллам писательницы. Впрочем, я имею в виду лишь первый сборник, выгодно отличающийся от второго и проблематикой, и отношением к изображаемому. Саган рассказывает, как в жизни человека неизбежно наступает момент, когда он вдруг, по совершенно незначительному поводу, останавливает привычное течение событий, смотрит на себя со стороны и, переоценивая самого себя, совершает на первый взгляд необъяснимые и неожиданные поступки. Поступки, которые, однако, свидетельствуют о том, что не все человеческое умерло в его душе. Этот момент, в который происходит перемена, показан так, будто автор пользуется методом замедленной съемки, позволяющим наблюдать движение во всех его составляющих моментах.

В новелле «Пруд одиночества» этот прием выступает в наиболее обнаженном виде. Ее героиня, которая возвращается в Париж, проведя «очаровательный уик-энд у очаровательных друзей вместе со своим очаровательным любовником», вдруг испытывает необъяснимую потребность выйти из своего «фиата» и пешком пройтись по осеннему лесу. Ощущение полной удовлетворенности жизнью, душевного равновесия и покоя вдруг нарушается криком ворона, разорвавшим тишину. И она внезапно ощущает, что «в ней жила какая-то другая женщина, которую она не знала, по крайней мере, совсем не знала до сих пор». Этой женщине захотелось остаться в лесу, на берегу таинственного пруда, остаться, может быть, навсегда.

Конечно, этого не случилось: она «встала и покинула ствол дерева, на котором сидела, пруд, листья и жизнь. Она вернулась в Париж, на его диваны, в его бары, ко всему, что зовется существованием».

В этом рассказе автор прямо обращается к читателю и прямо называет вещи своими именами. В других случаях Саган сделает это менее заметно, с помощью легкой, однако ощутимой иронии.

Но проблема выбора между жизнью и существованием встает перед героями Саган почти всегда, хотя они далеко не всегда делают этот выбор.

Респектабельный англичанин из новеллы «Небо Италии» тяготится тем, что окружает его: людьми, с которыми он вынужден общаться, непременными партиями в теннис, пустыми разговорами. Все это кажется ему фальшивым и бессмысленным. А подлинное и человечное — это искреннее чувство простой итальянки, не нуждавшееся в словах, женщины, которая выходила его после ранения и полюбила. «Но не мог же он, воспитанник Итона, кончить свою жизнь простым крестьянином на итальянской равнине?». И он делает выбор в пользу существования.

[1] Публикуется в этом номере «ИЛ».

[2] Francoise Sagan. Les Yeux de soie. P., 1977. Musiques de scènes. P., 1981.

Перед Летицией Гаретт (новелла «Левое веко»), «неизменно прекрасной, недосягаемой и нежной», вообще, кажется, не возникает никаких проблем. Все просто, легко и ясно. Только надо вот расстаться с очередным любовником, который, конечно же, просто ей не пара, и она с этой целью отправляется из Парижа в Лион, где по заранее сочиненному сценарию разыграет сцену разрыва и исчезнет навсегда. Но досадная помеха в пути заставляет ее пересмотреть отношение и к себе, и к тому человеку, с которым она решила порвать: ей вдруг удается открыть для себя его подлинную человечность и неподдельность чувства к ней, скрывающиеся под неэлегантной внешностью.

Почти по той же схеме сделана новелла «Разрыв по-римски»: блестящий римский архитектор тоже решает порвать со своей любовницей-шведкой и заранее набрасывает план будущей драматической сцены. Но при совпадении сюжетных схем первая новелла выглядит как набросок ко второй. «Разрыв по-римски» — психологический этюд, в котором Саган, тщательно подбирая детали, показывает, как меняется настроение, психология, а затем и отношение к миру ее героя. Луиджи вдруг задается вопросом, почему он должен сделать то, что задумал, что он знает о женщине, которая была рядом с ним в течение двух лет, что такое на самом деле люди его круга, которых он считает своими друзьями. Примечательны образы, возникающие в новелле: друзья Луиджи, его «круг», без которого он не мыслил себя, вдруг представляются ему стаей шакалов и стервятников, притаившихся в ожидании добычи, а сама Саган сравнивает их с толпой собравшихся на корриду, которая, затаив дыхание, ждет кровопролития. Единственный человек среди этой толпы, жаждущей развлекаться любой ценой,— сдержанная, молчаливая Инга, раньше казавшаяся Луиджи всего лишь безупречно красивым манекеном. Во взгляде, который бросает ему эта женщина, столько неподдельного, искреннего чувства, что, кажется, одного этого взгляда достаточно, чтобы жизнь Луиджи обрела новый смысл.

С наибольшей остротой вопрос о подлинном и мнимом поставлен в новелле «Смерть в сандалиях». Уже с первых строк мы ощущаем ироническую усмешку Саган, рассказывающей о том, как безупречен ее герой. Впрочем, сам он в этом нисколько не сомневается, являясь живым воплощением уравновешенности, спокойствия и довольства собой, что, как в зеркале, отражается на его внешности. Но оказывается, что эта стабильность и благополучие очень непрочны и что Люку Хаммеру, как и другим персонажам сагановских новелл, достаточно лишь непредвиденного пустяка, чтобы вывести его из состояния этой самоуверенности. Здесь этот переход из одного состояния в другое происходит незаметно.

Люк с нежностью думает о жене, которая заботится о его внешности: «Благодаря ей у него и волосы не слишком длинные, и ногти не слишком короткие, все у него находится в состоянии великолепного равновесия. А может быть, у него просто мысли немного куцые? И эта фраза пронзила его». Она проникла в его душу как яд, и сознание своей никчемности отравило его. Хорошо налаженный механизм, которым была его жизнь, внезапно дал осечку, когда он, цветущий сорокалетний мужчина, вдруг задался вопросом, что он, собственно, такое. И, осознав свою ограниченность и заурядность, он сделал трагический выбор — выбрал не жизнь, как Луиджи, а смерть.

Конечно, степень проникновения Франсуазы Саган в психологию современного человека не везде одинакова, конечно, круг нравственных проблем, затрагиваемых ею, не слишком широк, но в изящных, иронических новеллах Саган звучит нота неподдельного интереса к человеку, уверенность в том, что надо лишь приглядеться к нему внимательнее — и тогда за банальной внешностью откроется что-то живое и неповторимое.

Подобная авторская позиция характерна и для новелл Поля Саватье. Известный сценарист и актер, опубликовавший несколько романов, Саватье выступил в 1979 году как новеллист. В его сборнике «Четверги Адриенны» [1] ощущается тесная связь с национальной традицией реалистической новеллы. Саватье придает большое значение сюжету, его новелла — непременно история с неожиданной и эффектной концовкой, ради которой она как будто и написана.

Вот человек, жаждущий одиночества как единственно приемлемого условия спокойного существования, который погибает именно потому, что остался один («Прогулка в одиночестве»), другой хочет спасти своих сограждан от гибели, но заподозрен в злоумышленных действиях и отправлен на гильотину («Уцелевший»); вдовец-пенсионер заводит романтическую переписку с незнакомкой и подумывает о том, чтобы соединить с ней жизнь, но вдруг понимает, что его избранница — недавно овдовевшая соседка, всегда вызывавшая у него неприязнь («Свидание в кафе де ла Пэ») — такова сюжетная канва, характерная для новелл Саватье, который ценит парадокс и широко пользуется им.

Но парадокс для писателя — не самоцель, он помогает ему раскрыть в человеке что-то неожиданное, достойное внимания. Мир Саватье — мир людей, ничем не примечательных, ведущих достаточно будничное существование. Но в этой обыденности Саватье умеет увидеть и показать живую человеческую душу, далеко не такую простую, как это может показаться на первый взгляд, неизменно тянущуюся к добру и красоте.

С грустной иронией рассказывает Саватье о том, как неожиданно становится счастливой Адриенна («Четверги Адриенны»): придумывая необыкновенные истории о своем покойном муже, она выдает

[1] Paul Savatier. Les Jeudis d'Adrienne. P., 1979.

Н. РЖЕВСКАЯ
ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ НОВЕЛЛЕ

свои давние мечты за действительность, потому что ее слушательница не может уличить ее; а поверив в реальность мечты, она обретает смысл жизни. Конечно, это чудачество, конечно, рассказы Адриенны очень напоминают клише из чувствительных романов — что из того? Важно, что она способна мечтать. Конечно, в поведении господина Б. («Прогулка в одиночестве»), ушедшего на пенсию и строившего прекрасные планы относительно того, как он будет проводить свободное время, есть некоторое чудачество. Но Саватье рисует этого чудака с сочувствием; он не желает, чтобы в его жизнь вмешивались любопытные обыватели, ему хочется побыть наедине со своими мыслями — это ведь так понятно. Однако, оказавшись в одиночестве, господин Б. погибает. Что это — парадокс ради парадокса или предостережение? Саватье дает возможность читателю сделать выбор.

В новелле «Крапива» этого выбора уже не дано. Старая деревенская учительница, прозванная за свой острый язык, за резкость и прямоту Крапивой, всю жизнь беззаветно учит чужих детей, выводит их в люди, требуя от их родителей денег на продолжение учения. Сама она живет одиноко, экономя каждый грош и отказывая себе во всем. После смерти мадемуазель Пьер выясняется, что у нее есть сын, на которого она фактически работала всю жизнь. Но Саватье и в этом рассказе верен своей манере, кончая его грустно-иронической нотой. Когда душеприказчики учительницы хотят разыскать ее сына и вручить ему завещанное состояние, скопленное ценой многолетних лишений, выясняется, что он давным-давно умер. Показывая бессмысленность жертв мадемуазель Пьер, автор вносит интонацию тепла и сочувствия в характеристику этой резкой и бескомпромиссно честной женщины. И давняя мысль о сложности человеческой натуры, раскрывающейся порой в неожиданных обстоятельствах, звучит в этой новелле по-новому и свежо.

О том, как сохранить человеческое в человеке, как жить в этом мире, рассказывает Саватье в новелле «Двоюродные сестры». С художественной точки зрения эта новелла слабее остальных, автору здесь изменяет умение организовать материал, она несколько растянута и излишне назидательна. Но сопоставление жизненного пути двух женщин, начинавших по-разному, а к концу жизни словно бы поменявшихся ролями и местами в ней, позволяет сделать единственно возможный вывод: не замкнутость в своем внутреннем мире, не сосредоточенность на частных проблемах собственного бытия, а открытость жизни, желание слиться с миром других, жажда нового — вот что делает человека счастливым, что дает смысл его существованию.

И еще об одном пишет Саватье — он пишет о роли искусства в жизни человека. Об искусстве возвышающем, облагораживающем, раскрывающем для него мир. Современные новеллисты охотно обращаются к этой теме. У Саватье она возникает в новелле «Лучик». Новелла сделана необычно — она вся строится в двух планах: жизнь Луизы Бюссе, описанная Саватье, и ее жизнь, перенесенная в книгу, автором которой является один из персонажей новеллы. Смешивая эти планы, Саватье не только использует остроумный литературный прием, но и хочет показать, что искусство помогает человеку осознать себя, до конца понять себя и свое место в жизни.

Читая рассказ о себе, Луиза не только испытывает радость узнавания, но и радость познания. Луиза верит литературе, как самой жизни, поэтому неточность, которую она обнаруживает в прочитанном, приводит ее в полное уныние, ибо для нее красота и правда неотделимы. Но Саватье все ставит на свои места: Луиза убеждается, что писатель не погрешил против правды жизни, и она счастлива, счастлива не потому, что польщено ее самолюбие (ведь она описана в книге!), а потому, что обрела веру в правду искусства. Конечно, взгляд Луизы Бюссе на искусство грешит известной наивностью и вызывает у самого Саватье мягкую улыбку. Но дело ведь не в этом, а в том, что писатель показывает, как тянется к прекрасному эта крестьянка, всю жизнь трудившаяся не покладая рук и, казалось бы, озабоченная только материальным благополучием.

Известная писательница Кристиан Барош одной из программных новелл своего сборника «Комнаты с видом на прошлое» (1978) [1] дала название «Что-то внутри». В этой почти детективной истории о том, как из Лувра хотели похитить пейзаж Констебля, Барош рассказывает о приобщении ребенка к тайнам живописи, к умению постигать прекрасное, внимательно и терпеливо вглядываясь в произведение, идя от поверхностного восприятия к более глубокому проникновению в него. Впрочем, для Барош, как и для многих других, сфера прекрасного не ограничивается искусством, она ищет его в жизни и человеке и учит этому своих читателей. Идея сама по себе не новая, и, возможно, не стоило бы останавливаться на ней специально, если бы не существовало в современной французской литературе тенденций сузить видение окружающего, либо сводя сложный внутренний мир личности к сфере подсознательного, либо гипертрофируя роль наиболее примитивных инстинктов, якобы управляющих поведением человека.

Но в последнее время мы все чаще убеждаемся в том, что писателей привлекает изображение человека не как объекта с одним измерением, а как живого, вечно изменяющегося и полного чудесных неожиданностей целого. Французская реалистическая новелла 70-х годов — наглядное тому подтверждение.

---

[1] Christiane Baroche. Les chambres avec vue sur le passé. P., 1978.

ВОПРОШАЮЩИЕ РАЗДУМЬЯ АНДРЕ МАЛЬРО

В этом году мог бы отметить свое восьмидесятилетие Андре Мальро (1901—1976), крупный французский писатель и общественный деятель. Известность Мальро стяжал своими романами «Победители» (1928), «Королевская дорога» (1930) и особенно «Удел человеческий» (1933), навеянными его пребыванием в Индокитае, участием в антиколониальной борьбе народов Юго-Восточной Азии. В «Уделе человеческом» Мальро первым в западноевропейской литературе создает тип революционера, преодолевающего индивидуализм и одиночество, обретающего смысл жизни в борьбе за общее дело.

В тридцатые годы Мальро — один из активных деятелей антифашистского движения, он выступает в защиту Тельмана и Димитрова, после франкистского путча едет в Испанию, сражается в рядах республиканской авиации. Его повесть «Годы презрения» (1935) и роман «Надежда» (1937) принадлежат к лучшим антифашистским книгам этого периода.

Участник Сопротивления, Андре Мальро становится после освобождения Франции от нацистских захватчиков другом и соратником генерала де Голля, который назначает его министром культуры (1959—1969).

В послевоенный период Андре Мальро переходит на консервативные позиции. Его интересы в это время сосредоточиваются на культурном строительстве — он создает народные дома культуры, заботится об охране исторических памятников, много делает для благоустройства музеев, театров. Проблемам культуры и искусства, философскому осмыслению роли искусства в истории человечества и в наши дни посвящены пространные эссе писателя — «Воображаемый музей» (1947), «Голоса безмолвия» (1951), «Метаморфоза богов» (1957), «Бренный человек и литература» (1977 — книга вышла уже посмертно) и другие.

В этом номере журнал публикует фрагменты из книги «Бренный человек и литература», которые дадут читателю представление о взглядах Мальро на искусство и литературу. Мы даем также статью Л. Зониной о жанровых особенностях мемуаров Мальро «Зеркало лимба» [1], связанных с его мировоззрением.

На русский язык переводились романы А. Мальро «Годы презрения» (1935, перев. И. Эренбурга) и «Надежда» (М., 1939, перев. И. Эрбург), а также фрагменты из книг «Голоса безмолвия» (в книге «Писатели Франции о литературе», М., 1978, перев. Л. Зониной), «Антимемуары» («Литературная газета», 1968, 28 февр.; «Неделя», 1968, 3 марта), «С Францией в сердце. Французские писатели и антифашистское Сопротивление 1939—1945» (М., 1973, перев. М. Ваксмахера), «Бренный человек и литература» («Вопросы литературы», 1979, № 1; перев. Л. Зониной).

[1] При жизни Мальро вышел в свет первый том «Зеркала лимба» — «Антимемуары» (1967), второй же — «Веревка и мыши» — выходил отдельными книгами: «Дубы, что срубают» (1971), «Лазарь» (1972), «Обсидиановая голова» (1974), «Недолгие гости» (1975). Согласно католической теологии, лимб — место пребывания душ праведников, не получивших крещения, так как они жили до пришествия Христа, и душ невинных младенцев, умерших до крещения. *(Прим. Л. Зониной).*

АНДРЕ МАЛЬРО

БРЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЛИТЕРАТУРА

Фрагменты книги

Творению искусства, живущему в веках, присуще особое, как бы двойное время: это время его творца и наше. Картина Рембрандта 1660 года, в отличие от какой-нибудь другой картины, написанной в том же году, не может быть замкнута ни в дате своего создания, ни в году 1975-м, когда мы ею восхищаемся. Современное произведение, если ему суждена долгая жизнь, тоже принадлежит этому двойному времени искусства: нашей эпохе и будущей...

Нельзя смешивать бессмертие произведения с метаморфозой, которую оно претерпевает. В чем гений Софокла, Фидия, Расина? В том, что было общим предметом восхищения всех веков? Но ведь каждый век восхищался разным! Строки Расина, которые помним наизусть мы, совсем не те, которые выбрал бы Буало, а средневековая скульптура воскресла для потомков как своего рода экспрессионизм. Метаморфозы, которые претерпевает произведение прошлого, различны, и обусловлены они влиянием нашего Воображаемого Музея. То, что мы видим во фризах Парфенона, там, безусловно, есть, это не фикция. Но видел ли их Фидий теми же глазами, что мы? Они говорили и языком своего творца, и тем, который чудился эпохе расцвета французского абсолютизма, и тем, который слышался XIX веку. Пикассо восхищался Гойей иначе, чем Бодлер, иначе, чем Виктор Гюго, иначе, чем сам Гойя. Мы восхищаемся романскими мадоннами, к которым паломники ходили на поклонение, как идолами; в прошлом веке ими отнюдь не восхищались; а те, кто их создавал, не восхищались ими: они им молились. И, разумеется, Софокл восхищался «Антигоной», но иначе, чем мы.

Немного найдется цивилизаций, которые бы так же мало, как наша, отдавали себе отчет в причинах своего восхищения...

...

Следует ли считать воображаемое миром вымысла, в котором меняется лишь программа представления и где сегодня дают «Фантомаса» вместо «Золушки»? Однако никто не верит в Фантомаса, как верили в святого Петра, и наоборот.

Средства массовой информации заселяют наше воображаемое сменяющими друг друга образами. Само собой разумеется, в средние века мир воображаемого был населен не менее плотно; но само собой разумеется и то, что современные образы приходят к нам домой благодаря газетам и телевидению, тогда как образы религиозные обретались в церкви. Самый сногсшибательный вымысел, показанный на самом широком экране, выглядит ребячеством по сравнению с тем, что находили верующие в местах паломничества или соборах, прежде всего потому, что этот современный вымысел — *игра*...

XIII век, равно как и век XX,— век образов, но эти образы полярно противоположны. Только отвернувшись от всего, что нам известно об эпохе Людовика Святого, можно уподобить религиозному кинематографу тот мир, где статуи, картины, витражи не копировали то, что изображали, а являлись *единственным* образным миром и одновременно самым мощным средством общения с потусторонним, общения, происходившего в освященном месте, где смертные сменяли друг друга перед витражом вечности. Как в Индии из-за обилия богов не допускалось ставить статуи земным владыкам, так и здесь главным объектом изображения было незримое: образы воплощали лишь его или то, что имело к нему отношение. Ключ к пониманию христианского Запада — это собор и витраж. Только образы вместе с богослужением, которому они были подчинены, вбирали в себя Истину великих глубин, и никакая повседневность не могла эту Истину замутить.

Век Просвещения свалит в одну кучу это воображаемое и волшебство, он отметет и то и другое как суеверие, уравняет сказочный мир фей и образы, несущие вечные ценности, в которых осознается жизнь и смерть. В средние века у каждого прихода был свой святой, у каждого крещеного человека — свой, у собора — богоматерь, и жизнь текла от таинства к таинству. Природа и потустороннее выстраивались в органичную иерархию. Образы здесь — воплощение того, чего не дано увидеть. Потустороннее говорит только через них: всем известны литургия, миракль. Но и образы говорят *только* о потустороннем и прежде всего о его рядовых посредниках: это святые угодники, иногда усопшие. Привычная для нас мысль о подражании в искусстве рисует нам такую эпоху храмов, которая знала религиозные образы *помимо* других. Каких других? Скульптор изображал не сельских овец, а библейских. Есть жизнь и вечность, мир бога и мир смертных, все остальное — прах. Что такое это множество образов, как не осязаемое присутствие мира бога в жизни человека?..

Возрождение не сменило средневековье механически, как сменяют друг друга в залах музея шедевры этих двух эпох... Сдвиг нигде не ощутим так ясно, как в отношении к античности. Я говорил, что Александр в романе, названном его именем [1], не являлся примером для подражания, ибо его образ оставался в области волшебного, чудесного. Следовательно, не назидательно. Когда Европа узнает Плутарха, она воскликнет: великолепно! Великолепное прежде не было в ходу. Назидательность могла иметь только форму святости. Мир был истинным (то есть религиозным, включая и дракона Георгия Победоносца, и чертей) или неистинным (то есть волшебным). Великие люди и боги Олимпа были чем-то фантастическим, как если бы они были

[1] Имеется в виду «Роман об Александре». средневековое произведение, повествующее о подвигах Александра Македонского. (*Здесь и далее прим. перев.*)

планетами, знаками зодиака. ...Великие Люди Плутарха — это назидание, причем назидание, идущее не от мира Христа. А раньше назидательность могла исходить только от него.

Раньше только религиозное воображаемое полагало себя истинным. Легенда, сказка, «романы» — все это относилось к области волшебного, следовательно, к игре. Даже Персеваль. Но теперь и римская история заявляет свои права на истинность: имеется в виду история, которая не сводится к последовательности событий или хронике и не относится к миру волшебного. ...Время, когда воображаемое Истины ослабело настолько, что люди смогли воспринять величие, сравнимое с величием святости, но не зависимое от бога, было решающим моментом в метаморфозе грезы — от «Кота в сапогах» к кинематографу...

Мир этого нового воображаемого не есть мир только искусства или только литературы — он охватывает и то и другое: без Плутарха, быть может, не было бы и Микеланджело, наверняка не было бы и Корнеля... Во французском классицизме Древняя История одержит победу над Историей Священной, несмотря на «Гофолию»[1]...

Мирское воображаемое достигнет высоты воображаемого религиозного лишь тогда, когда литература станет равна изобразительному искусству. Преемниками Микеланджело и Тициана будут не художники, но Шекспир, Монтеверди, Корнель. Чтобы Афродита могла соперничать с Богоматерью, а герой со святым, нужно было, чтобы Плутарх открыл право человека на величие. Но понадобилось также, чтобы возникли театральные залы эпохи расцвета французского абсолютизма — событие, породирующее, а позже и соперничающее с рождением собора.

Мы воспринимаем театр как ветвь литературы, средневековые статуи — как одну из школ ваяния. Разумеется, Аристотель требовал, чтобы трагедию можно было читать, и это достаточно часто повторяют. Разумеется, Шекспир, Корнель, Мольер чтили Сенеку, который писал свои трагедии для того, чтобы их читали, а не ставили. Однако это не мешало Шекспиру жалеть о распространении книгопечатания. Мы осознаем метаморфозу, переживаемую романской скульптурой, когда она перекочевывает из церкви в музей, но мы гораздо слабее осознаем метаморфозу, которую претерпевают Шекспир и Корнель, когда их *читают*,— прежде всего потому, что привыкли воображать пьесу поставленной. Корнель писал «Сида», как покупают билет куда-то, где совершаются чудеса, всяческие превращения, где происходит нечто нереальное, феерическое, безумное. Корнель превратит это в *собственно* театр.

В разные периоды человечество знало магические и в то же время привычные места, последнее из которых — арена корриды. С одной стороны, были Колизей с его гладиаторами и мучениками, Карнавал, Стадион, Праздник — если он сопровождался маскарадом, а он сопровождался им часто; с другой — античный театр, театр эпохи расцвета французского абсолютизма, опера, а еще раньше — собор. Здесь находит свое воплощение воображаемое, эти места закрепляют его за собой, создают свою публику. Трансформация поэзии после Шекспира, испанцев, Корнеля связана с рождением, а затем и блестящим подъемом театра. Разве отрыв «Макбета» и «Сида» от представления на сцене — акт не столь же радикальный, что и отрыв священного текста от богослужения? Никто не может читать текст литургической мессы, не соотнося его либо с культом, либо с литературой. Сказать, что мы читаем этот текст просто так, будет, очевидно, означать, что мы читаем его как текст литературный,— равно как и «хранить» религиозную скульптуру в музее означает перевести ее из мира веры в мир искусства. Всякое произведение, рожденное для места, представляющего ирреальное, претерпевает метаморфозу, если ирреальность этого места исчезает...

Чтение родилось не вопреки театру, а параллельно ему. Но «Комеди Франсэз», где ставились пьесы Дюма-сына, уже не играла ни в человеческом воображении, ни в общественной жизни той роли, что миланский театр «Ла Скала». Всякая революция в мире воображаемого, прежде чем выразиться в смене жанров, выражается в смене форм богослужения. Люди открыли, что можно молиться в одиночестве, они открывают, что можно мечтать в одиночестве, слушать книгу, как прежде молились богоматери из слоновой кости. От всех магических свойств зрительного зала остаются лишь свойства чисто светские, Пруст отметит их еще в Опере эпохи Наполеона III. Великая Игра человека и воображаемого, которая игралась в театре, в живописи, в церкви, ныне играется в романе...

Рассказывать истории было свойственно всем цивилизациям, в том числе и античности; но рассказы эти были устными, даже если существовала письменность. Сначала «романами» назывались истории, написанные на романских языках, чтобы их можно было читать вслух неграмотным слушателям. То, что *мы* называем романом, немыслимо без распространения чтения про себя. Писатель не сразу осознает свои права: как Боккаччо, как Маргарита Наваррская, он еще долго продолжает считать себя стенографом. Самоценность письменного повествования будет обнаружена много позже. Вряд ли королева Наварры сознавала, что она *рассказывает беседы* (а не воспроизводит их) так же, как она рассказывает о прерванном путешествии. А сколько лет все — в том числе и Мельес — считали кинематографию средством фотографирования спектакля...

Мир чтения про себя становится постепенно все более и более сложным, ибо вымысел не укладывается в правила, которые сам же пытается для себя установить: каких ухищрений потребовал пере-

[1] Трагедия Расина на библейский сюжет.

ход от «Великого Кира» [1] к «Новой Элоизе» или от «Новой Элоизы» к «Отцу Горио»! Речь идет не о том, чтобы рассказать новую историю или рассказать ее по-новому; речь идет об открытии романистом своей свободы, своей вездесущности, своего всеведения, самодостаточности своих произведений, которые не сводятся к историям и сказкам. Постепенно он откроет существование всего того, что в романе не есть рассказанная история.

Иллюзионизм в его наиболее полных и, главное, последних по времени проявлениях создает у нас впечатление реальности. Однако стоило, например, появиться звуковым фильмам, как мы осознали, что кино до сих пор было немо. Мы обнаруживаем сложную связь романов между собой, связь более тесную, чем между данным романом и рассказываемой в нем историей, отражающей наши поступки, чувства, самое «реальность». Как и в случае с экспонатами музея. Всякое повествование ближе стоит к предыдущим повествованиям, нежели к окружающему миру; и произведения самые несхожие, когда они собраны в музее или в библиотеке, собраны там не по принципу их соотношения с реальностью, а по принципу их соотношения между собой. Реальность сама по себе не обладает ни стилем, ни талантом...

Флобер жил со своей библиотекой, как Гюго с Жюльеттой Друэ [2]. Его библиотека — это то труды, которые он читает или перечитывает для работы над очередным произведением, то Олимп. И тогда речь идет уже не о том, чтобы найти справку в книге, но о том, чтобы вступить в диалог со сверхчеловечеством. Это не значит, что его гипнотизируют великие покойники. Его превосходные степени относятся скорее к произведениям, нежели к людям. Он не путает Фредерика Лемэтра [3] с Рюи Блазом [4], которым восхищается. Но... Классицисты намеренно сопоставляли свою библиотеку с уровнем цивилизации, которую представлял Расин, Флобер же невольно сопоставляет действительность с Сервантесом и Гомером.

Когда Флобер пишет «Саламбо», он не судит своих персонажей, которых даже и персонажами не назовешь,— он ждет от своей книги чреды поэтических минут, как он ждал их от видений первого «Искушения святого Антония» [5]. Где как не в истории искать чудесные мгновения!

Когда он грезит о галерах Клеопатры, он не сравнивает их с баржами Круассе: когда же он грезит о Сервантесе, то сравнивает с ним Шарля Бовари и не может ничего с собой поделать. Не всегда? Всегда. Олимп у него судья Ионвиля [6] Не столько даже романист, сколько мститель (за что он мстит?), этот великодушный человек, опьяненный восхищением, не может положить в основу своих современных образов ничего, кроме презрения. Повинный в создании аптекаря Омэ[5], он во имя справедливости создает Бурнисьена [1].

Работая над «Госпожой Бовари», Флобер с грустью записывает, что «нужно бы равно любить всех своих героев»; пройдут годы, и он с горечью напишет о своих будущих персонажах: «Я вываляю их всех в одной и той же грязи — я справедлив». Справедливость, которую натурализм счел беспристрастностью; такого рода беспристрастность весила немало в конфликте между натурализмом и романтизмом: натурализм предлагал мерить все человечество одной меркой, быть может и веря в то, что это возможно. Флобер же верил в это только тогда, когда писал романы из современной жизни. Легко ли создать подсотни персонажей без единого «положительного», причем почти не сознавая этого? Диалог со всем, что было написано до него, владеет Флобером до такой степени, что, начав со святого Антония, одержимого энциклопедией ересей, он кончает «святым Буваром» [2], одержимым библиотекой, которую он переписывает!.. Флобер — первый французский романист, ощутивший абсурдность человеческого удела, но двойственность этого удела обусловлена для него не смертью, а миром написанного, по отношению к которому этот удел смехотворен. В этом, по-моему, и кроется то, что Флобер называл искусством,— земля Обетованная, спасение.

Критика не только не заметила сарказма в «Мадам Бовари» и в «Воспитании чувств», но и, более того, этот последний роман стал для натурализма библией объективности. Можно еще отстаивать объективность «Госпожи Бовари». Мы не найдем здесь, даже у Омэ, никаких сокрушительных научных формулировок, достойных фразы: «Бувар не верил уже даже в материю». Но если сравнить «Воспитание чувств» с первым неопубликованным вариантом этого романа, написанным за десять лет до «Госпожи Бовари», мы увидим, чего Флобер ждал от своего стиля в романах из современной жизни и почему не мог ждать ничего другого.

Глубокое различие, существующее, несмотря на преемственность стиля, между «Госпожой Бовари» и «Саламбо», объясняется не только заменой прямых наблюдений археологией. Приподнятый слог — никто из последователей Флобера не смог в этом с ним сравниться — придает описанию будней Ионвиля саркастическую рельефность, подобную той, которую мычание коров придает любовному объяснению Эммы и Родольфа. Стиль опрокидывает прием: смехотворность возникает не от присутствия скотины, а от присутствия богов. Торжественная речь на Земледельческом съезде мямлится перед Шекспиром, перед всей внутренней библиотекой Флобера. ... За пределами всеобъемлющего абсурда лежит

[1] «Артамен, или Великий Кир» — произведение одной из крупнейших представительниц барочного романа Мадлен Скюдери (1607—1701).

[2] Жюльетта Друэ — французская актриса, чья жизнь начиная с 1833 года была связана с жизнью В. Гюго.

[3] Фредерик Лемэтр (1800—1876) — французский актер, исполнитель роли Рюи Блаза.

[4] Рюи Блаз — герой одноименной пьесы Виктора Гюго.

[5] Существуют три редакции «Искушения святого Антония» — 1849, 1856 и 1874 гг.

[6] Ионвиль — место действия романа «Госпожа Бовари».

[1] Омэ и Бурнисьен — персонажи романа «Госпожа Бовари». Первый представляет буржуазный позитивизм, второй — религию.

[2] Персонаж сатирического произведения Флобера «Бувар и Пекюше».

некая область спасения, единственно истинного в религиозном смысле слова. ...Какой еще писатель написал книгу о святом, в которой Христос появляется лишь затем, чтобы с ним раз и навсегда было покончено? Весь смысл мира сводится к чреде сцен «Святого Антония», чреде дней Фредерика Моро [1]. Дрейфу туч. *Существует* только молельня, книгохранилище. Все было бы просто, если бы Флобер писал всю жизнь одну «Саламбо», если бы он пошел за Теофилем Готье. Но Готье не написал ни «Бувара», ни таких писем. Леконт де Лилль тоже. Как превратить в оперного чеканщика, в горластого Челлини этого великого жреца искусства-за-неимением-лучшего? Дано ли этому гению ускользнуть из загадочного мира книг?

Он его пленник.

Настает день, когда слово «буржуа», означавшее для художников враг искусства, приобретает второй, параллельный смысл: враг народа, затем пролетариата. Отсюда и литература, в которой проклятые гении сообщают нищете величие, так что нищета предстает перед господином Прюдомом [2] во всей своей ужасающей серьезности. Но еще до того, как слово «буржуа» приняло сегодняшнее значение, еще до Коммуны Флобер уже перевел этот персонаж из области карикатуры в область мифа. ...Но как мифический размах не спасает Дон Жуана, когда он становится Дон Жуаном Мольера, так не спасает он и Буржуа, когда тот становится Буржуа из писем Флобера: здесь он обнаруживает единый характер своих разнообразных проявлений, и это — кто бы мог подумать? — ненависть к ценностям, сберегаемым в книгохранилище.

Ни одна внутренняя библиотека не бросала вызов реальности так последовательно, глубоко, хотя часто и невольно, как библиотека этого величайшего французского реалиста. ...Читатели всегда ощущали двойственность Флобера; к несчастью, ее слишком поспешно приписали смене декораций, в то время как она выражается отнюдь не в противопоставлении Эммы Бовари Саламбо, ничего не значащей статуэтке, но в противопоставлении Шарля Бовари мимолетному персонажу — доктору Ларивьеру [1], марионеток — их разочарованному создателю.

Романическое творчество рождается из дистанции, которая, как мы видели, отделяет роман от рассказываемой в нем истории; но надо еще увидеть, что именно здесь, в процессе писания, разворачивается диалог автора со своим воображением: сожаления, домысливание, свобода, не ограниченная никакими исполнителями, никаким устным пересказом, ничьей памятью. Есть лишь челнок, снующий между автором и персонажами, белое поле, где они рождаются, неотделимое от сознания романиста, что он обращается не к собеседнику и не к зрителю, а именно к читателю. Разве могли древние создать роман? Там, где античный голос заставляет стенать Эдипа, античное безмолвие не поднимается выше «Дафниса и Хлои».

Не отсутствие типографской машины или газет помешало античным авторам создать роман. И разумеется, не нехватка воображения — у них не было нашей библиотеки.

[1] Герой романа «Воспитание чувств».
[2] Персонаж Анри Монье (1799—1877), французского писателя и карикатуриста, самоуверенный, благоденствующий пошлый буржуа.

[1] Персонаж романа «Госпожа Бовари».

Перевод с французского И. КУЗНЕЦОВОЙ

■

Л. ЗОНИНА

ПАМЯТЬ-МИФОТВОРЕЦ

Уже Белинский заметил, что мемуары «составляют как бы последнюю грань в области романа, замыкая ее собой»[1]. В XX веке умножились и усложнились «пограничные инциденты», когда документ, автобиография, дневник, вторгаясь в пределы романа, притязают на художественность, а роман, принимая обличье документа, автобиографии, дневника, стремится тем самым усилить эффект жизненной достоверности. Об этом уже неоднократно писалось в нашей критике, причем разбирались такие далеко отстоящие друг от друга (географически и идейно) писатели, как Макс Фриш и Владимир Богомолов, Ганс Эрих Носсак и Альфред Андерш, Луи Арагон и Валентин Катаев. Своеобразное место среди этих произведе-

[1] В. Белинский. Полн. собр. соч. М., 1956, т. 10, с. 313.

ЗОНИНА ЛЕНИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

Советский критик, переводчик. Автор многих работ по современной французской литературе. В ее переводе выходили произведения Арагона, Ф. Мориака, Р. Мерля, Ж.-П. Сартра, Симоны де Бовуар, П. Лэне и др.

ний «гибридного жанра» занимает «Зеркало лимба» Андре Мальро.

О том, что сам Мальро отлично сознавал неканоничность своих воспоминаний, свидетельствует вызывающее название, которое он дал первому их тому — «Антимемуары». «Я себе совершенно неинтересен»,— предуведомлял читателя автор «Антимемуаров». И действительно, «Зеркало лимба» не исповедь о «тайном тайных», ориентированная на принцип подлинности, но проповедь об «общем общих», о «человеке присносущем» — от «почти гориллы», которая, ощутив собственную бренность, в смутном порыве увековечила себя на стенах пещеры, до Пабло Пикассо, сознательно дерзающего бросить вызов самой природе, сотворяя свой не-подражаемый мир. Сущность человека для Андре Мальро — в его вечном и непреоборимом сопротивлении своему смертному уделу, своей преходящести. И именно эта «природа» человека занимает и Мальро-романиста, и Мальро-эссеиста, культур-философа и Мальро-мемуариста.

Но если метафизическая основа остается неизменной, самые формы «противостояния», способы вырваться из круга, очерченного человеку Судьбой, осознаются Мальро по-разному на разных этапах его жизни.

В двадцатые годы «присносущий» бунтарь против метафизического удела представлялся Мальро самовольным Авантюристом; в тридцатые — Революционером, познавшим «мужское братство» в общей борьбе за овладение Историей; наконец, после войны — Художником, противополагающим свое творение творению Творца. Но неизменно его влекли «минуты роковые», когда человек — этот «недолгий гость» на земле — вступал в «битву с ангелом». Как равный с равным. Беседуя об «Антимемуарах» с американским литературоведом Фредериком Гровером, Мальро пояснил, что именно он имел в виду, давая название «Битва с Ангелом» задуманному им циклу романов и почему счел нужным включить куски из него в «Зеркало лимба»: «В жизни борешься с противником, тебе известным. В «Антимемуарах» я пытаюсь воссоздать мгновения, когда мне приоткрывалась загадка бытия. Будь то воспоминания или вымысел, вымысел, впрочем вплетшийся в воспоминания, речь неизменно идет о самых глубоких мгновениях моей жизни. Иаков не ведал, с кем сражается, и только после того, как его противник удалился, он понял, что это — ангел».

Формообразующий принцип «Зеркала лимба» вытекает из мировоззренческой установки — не хронология становления собственной личности («Я себе совершенно неинтересен»), а мгновения, когда обнажается «сущность», когда сквозь быт проступает бытие.

Нежелание делиться интимным, конечно, черта характера. Всегда готовый вещать, но, что называется, застегнутый на все пуговицы, когда речь заходит о его личной жизни,— таков портрет Андре Мальро, созданный французской журналисткой Моникой де Сент-Клер еще в конце 40-х годов.

Но главное, разумеется, не в этом. Исповедь-интроспекция, по мысли автора «Антимемуаров», вообще утратила интерес в XX веке. Что нового может она открыть людям после Фрейда? Самые вызывающе-откровенные признания, считает Мальро, «выглядят детскими игрушками рядом с монстрами, которых извлекает на свет психоанализ». Да и сводится ли человек к «жалкой кучке секретов», как то утверждает Мёльберг, один из персонажей последнего романа Мальро «Орешники Альтенбурга» (1943) [1]? Или это только пьедестал, а не сама статуя, и «человек — это то, что он делает»,— как возражает Мёльбергу другой персонаж того же романа Венсан Берже? Мальро — недаром взявший себе кличку полковник Берже, когда он в 1944 году принял командование одной из групп Сопротивления,— склонен присоединиться к последней точке зрения.

Но что значит «делать»? Сапожник тачает сапоги, учитель учит детей, лавочник торгует. Однако отнюдь не эти прозаические дела имеет в виду Мальро. Быт отсутствует в его воспоминаниях, как и в его романах. Под «делом» он подразумевает «деяние», акт, «оставляющий рубец на карте земли», засечку в Истории. Жюльен Грин записал в своем дневнике 27 марта 1930 года слова двадцатидевятилетнего Мальро: «Между восемнадцатью и двадцатью годами жизнь — рынок, где ценности покупаются не на деньги, а на поступки. Большинство людей не покупает ничего». Тех, кто покинул этот торг с пустыми руками, Мальро попросту не замечает. Это «мошки, не испускающие света».

Неприятие фатальности человеческого удела выливается у Мальро в стремление подняться над частным, случайным, преодолеть его. Мысль — трамплин действия, действие — исток мысли. Они для Мальро нераздельны. «Претворить в сознание возможно более широкий опыт» — так мыслит себе «жизнь, прожитую достойно», Гарсия, ученый-этнолог и руководитель республиканской разведки в романе «Надежда». Гарсия — одна из «лобных долей» автора, вступающих между собой в нескончаемый, неразрешимый, но неизменно ведущийся на бытийных высотах спор о том, как «сделать осмысленным существование, лишившееся смысла». Французский философ Э. Мунье дал героям Мальро, «ужаленным этой заботой», меткое определение — они не практики, но «метапрактики», «делать» значит для них, как и для их создателя, действовать внутри метафизической данности и наперекор ей, против нее.

Вспомнить прожитое значит платить дань судьбе, Мальро же бросает ей вызов.

Несклонный копаться в «кучке секретов» сокровенного человека, Мальро нечувствителен и к иссяканию физиологического времени, отпущенного ему самому. «Ощущение, что я постарел,— мне неведомо»,— замечает он на полях посвященной его жизни и творчеству книги Гаэтана Пикона. И не раз, особенно в «Лазаре», той части «Зерка-

[1] «Орешники Альтенбурга» — первая часть трилогии «Битва с Ангелом», вторая и третья так и не были написаны. (*Здесь и далее прим. автора статьи.*)

ла лимба», где автор повествует о своем пребывании в больнице, когда уже далеко не молодого писателя коснулись черные крыла, настаивает на том, что Смерть волнует его лишь в плане метафизическом. Перед собственной кончиной он страха не испытывает. Если антиисповедальность противополагает автора «Зеркала лимба» Руссо, то обостренное, однако головное, задевающее не плоть, но разум восприятие времени, как чего-то не в нем, Мальро, текущего, а «чужеродного», вчуже созерцаемого, подобно «дрейфу туч по небу», делает его «анти-Прустом».

Пруст обретает утраченное время, претворяя в роман пережитое. Подлинное время для него — время искусства, но оно сохраняет у Пруста свою связь с временем биографическим, оплотняя его в ткань романа. «Зеркало лимба» пренебрегает хронологической последовательностью как биографии, так и истории: это чреда озарений, когда вольтова дуга смыкает жизнь и смерть, когда бренный человек с его извечной иррациональной потребностью остановить не подвластный ему ток времени просекает, подобно молнии, тучи, относимые ветром жизни, и бросает на них свой, «человеческий» свет. Поле, обымаемое мыслью Мальро, не пространство индивидуального опыта, но вся история человечества — от каменного века до наших дней. Отсюда и риторическая стилистика «Зеркала лимба» — ораторский пафос, нагромождение примеров-образов, эллипсис и метафора, обеспечивающие мысли и воображению автора полную свободу движения внутри «памяти».

Память Мальро не свидетель, а мифотворец. Ей чуждо все теплое, непосредственное, запахи и плоть житейской жизни. Она не ступает по грешной земле, но парит в стратосфере «вечных вопросов». Она и претендует на то, чтоб быть памятью не индивидуальной, даже не исторической, но легендарной. Вымысел здесь настолько плотно вплетается в быль, прорастает сквозь воспоминанье, что становится реальнее самой реальности. Горе биографу, который попытается восстановить жизнь писателя по «Антимемуарам», горе историку, который примет за чистую монету диалоги автора с великими мира сего,— в «Зеркале лимба» отражается мирозданье Мальро, а не реалии дипломатических бесед господина министра.

От «Антимемуаров» поэтому не приходится ждать воспоминаний о детстве. «Андре — не Мальро» (как Шарль — не де Голль, Оноре — не Бальзак и т. д.), человек — не «жалкая кучка секретов», данная ему от природы, но венец своих деяний.

Заметим, что и в романах Мальро нет детей, за исключением больного ребенка революционера Хеммериха в «Уделе человеческом». Да и то он явлен не как живое существо, а как символ — нескончаемый мучительный плач за стеной, который напоминает Хеммериху об ответственности отца и мешает ему беззаветно отдаться делу. Да и женщины в романах Мальро умозрительны, схематичны, «служебны» — они только дополняют отношения героя мужчины с миром. Для Перкена в «Победителях», для Ферраля в «Уделе человеческом» власть над телом женщины — форма утверждения собственной личности. Эротическому собственничеству Ферраля противопоставлена любовь «равноправных» революционеров Кио Жизора и его жены Мэй, «нежное товарищество». Но для этого чувства Мальро так и не нашел живого слова; даже в предсмертную минуту Кио вспоминает о любимой, философствуя: «Мэй освободила его если не от всякой горечи, то от всякого одиночества». В «Зеркале лимба» женщины, которых любил автор, вообще не видны.

Детство — пора наибольшей зависимости в жизни человека, пора, когда он еще не овладел своей судьбой. Именно с этим связано заявление Мальро: «Почти все писатели, которых я знаю, любят свое детство, я свое — ненавижу». Вместо копания в детских травмах — а у Андре, сына Фернана Мальро, бросившего семью, когда тот был еще ребенком, травмы, безусловно, были и, очевидно, сыграли немалую роль в формировании характера — «Антимемуары» предлагают читателю (как рассказ о *своем* детстве) отрывок из «Орешников Альтенбурга», где «*мой* отец» — Венсан Берже — наделен скорее авантюрной биографией английского резидента полковника Лоуренса, всегда магически притягивавшего автора, нежели прозаическими чертами ничем не примечательного Фернана Мальро, парижского дельца средней руки. «Случайное» — что, как не прихоть случая, дает ребенку тех родителей, а не этих — отброшено, «судьбе претерпеваемой» художник предпочел «судьбу, покоренную» его воображением. Отец реальный, «биологический» подменен художественным вымыслом — «мифом».

Мальро был «мифотворцем» и в жизни. Бытует, например, легенда о Мальро — участнике китайской революции, чуть ли не герое Кантонского восстания 1925 года, а то и шанхайских событий 1927 года. Факты, поддающиеся проверке, эту версию опровергают. Ее возникновению немало способствовал сам Мальро. После выхода в свет романов «Победители» и «Удел человеческий» журналисты допытывались, в какой мере автор воспроизвел в них собственный опыт. Ответы они получали весьма уклончивые, что принималось за понятную дань конспирации. Этим, однако, дело не ограничилось. Перевод «Победителей» на немецкий язык, опубликованный в 1928 году в берлинском журнале «Эропеише ревю», сопровождался биографической справкой: «Родился в Париже. Направлен министерством колоний в Камбоджу и Сиам с археологическим заданием (1923). Член руководящего комитета партии «Молодой Аннам» (1924). Комиссар гоминьдана в Индокитае (1924—1925). Заместитель комиссара по пропаганде Бородина при руководящем комитете национально-освободительного движения в Кантоне (1925)». Даже если эта совершенно фантастическая справка и не была делом рук самого автора (как то утверждает в своей книге «Андре Мальро. Жизнь

в миру» (1973) Жан Лакутюр), никакого опровержения со стороны Мальро, во всяком случае, не последовало. И «биографические данные» из «Эропеише ревю» пошли гулять по свету, кочуя из одной критической работы в другую. На эту удочку попадались даже солидные литературоведы.

Что же стояло в действительности за легендой о героической роли Мальро в китайской революции?

В 1923 году, заручившись липовыми бумагами (их выдал молодому искателю приключений чиновник министерства колоний, не устояв перед его напором и обаянием), Мальро вместе с женой и другом отправился в Индокитай, чтобы вывезти из джунглей барельефы заброшенного кхмерского храма, обнаруженного несколькими годами раньше. Барельефы они добыли, однако тут же оказались под судом как расхитители государственной собственности. Клара Мальро кинулась в Париж — организовывать кампанию протеста: Мальро-де судят не за воровство, а за антиколониалистские выступления. Андре же, присмотревшись к жизни в Индокитае и испытав на собственной шкуре, какова колониальная администрация, действительно занялся подрывной деятельностью. Он сблизился с движением «Молодой Аннам» и, после того как дело против него было прекращено, принял активное участие в создании и выпуске газет «Индошин» (июль—август 1925), а затем «Индошин аншене» (ноябрь 1925—февраль 1926), защищавших права местного населения. Он даже съездил — на один день — в Кантон, чтобы раздобыть шрифты, когда издатель «Индошин» под нажимом властей отказался печатать газету в своей типографии.

В январе 1926 года на пароходе, совершавшем рейсы между Сайгоном и Марселем, Андре Мальро начал писать свою первую книгу, осмыслявшую его азиатский опыт,— эссе «Искушение Запада». Позднее Андре и Клара Мальро совершили путешествие по Китаю.

Если Мальро не вывез из Азии кхмерских сокровищ, он вывез нечто не менее ценное — свои романы «Победители», «Королевская дорога», «Удел человеческий». В героях не без основания видели сходство с автором. Не без основания, потому что Мальро наделил их своим «типом сознания». Совершенно безосновательно, если иметь в виду конкретные факты. Здесь нам важно одно: вымысел оказался сильнее и как бы даже «правдивее» жизни. И именно эта установка на «вымысел, вплетшийся в воспоминание», своего рода художественный волюнтаризм памяти, присваивающей себе право помнить необходимое — пусть и неслучившееся, но более «действительное», чем сама действительность с ее произволом случая, направляет повествование в «Зеркале лимба».

Например, рассказывая в «Антимемуарах» о годах войны, Мальро сливает воедино эпизод, когда он, будучи рядовым танкистом, попал в плен и бежал, с эпизодом ночной атаки, когда танк чудом выбирается из противотанкового рва. Имена членов экипажа, их биографии подлинные: именно с этими людьми служил Андре Мальро. Но патетическая история с танком произошла не с Андре, а с его отцом — Фернаном, не во вторую мировую войну, а в первую. Вместе с тем есть пронзительная достоверность и в описании этих минут соприкосновения со смертью, с судьбой, и в том переполняющем сердце ощущении братства, которое испытывает автор-герой, выйдя вместе с товарищами из страшной переделки. Именно чувство победы над Судьбой «вспоминает» Мальро. Нечто подобное наверняка было им пережито, пусть в какой-то иной ситуации. Но коль скоро для художественной достоверности мгновения, когда ему приоткрылась «загадка жизни», понадобился факт не своей, а чужой биографии, более наглядный, более убедительный, Мальро «вплел» его в «Антимемуары» как своего рода достояние общечеловеческое, следовательно, и ему, Мальро, принадлежащее. (Не так ли он собирался поступить и с кхмерскими сокровищами?)

«Веревка и мыши» (второй том «Зеркала лимба») открывается эпиграфом-притчей, раскрывающей название:

«И тогда Император Непреклонный приговорил Великого Художника к повешению.

Тот должен был устоять на самых кончиках больших пальцев. А когда устанет...

Он устоял на одном пальце. Другим же нарисовал на песке мышей.

Мыши были нарисованы так замечательно, что вскарабкались по его телу и перегрызли веревку.

И поскольку Император Непреклонный сказал, что придет, как только Великий Художник дрогнет, тот не спеша удалился.

Мышей он увел с собой».

В этой притче сформулировано отношение Мальро к искусству, но об этом дальше. Сейчас важно другое: она помогает проследить за тем, как возникают и кристаллизуются метафорические ассоциации в «Зеркале лимба», каков их путь от жизненного случая к «мифеме».

Вспоминая, как он попал в лапы гестаповцев в 1944 году и как они разыграли комедию расстрела, чтобы сломить его, автор «Антимемуаров» сравнивает свое состояние в эти страшные минуты с тем, что, вероятно, испытывал Достоевский, подведенный к виселице[1]. «Эта виселица,— цепляет Мальро звенья ассоциативного ряда,— наводит меня на мысль о другой виселице, неподалеку от Нюрнберга. Там петлю надевали на шею узникам, стоящим на цыпочках, чтобы они удавились, устав. Я сам видел в уже пустом лагере этот каркас из труб, *без мертвецов и без веревок*» (курсив мой.— Л. З.).

В «Лазаре» Мальро снова возвращается к этой виселице. Но обстановка больницы, хрипы агонизирующего соседа, доносящиеся через стену, неопределенность собственного состояния — между жизнью и смертью — напитали воображение, засте-

[1] Мальро тут нужна виселица, и память его услужливо обманывает, выдавая «le poteau» *(франц.)* — столб (3 столба были поставлены на Семеновском плац-параднom месте для «смертной казни расстрелянием» петрашевцев) за «la potence» *(франц.)* — виселицу, «похожую на спортивную трапецию».

вили его увидеть уже не абстрактный каркас, но муки повешенных. И воображение «вплело» в память страшные подробности. (Трудно, впрочем, поручиться, что Мальро на самом деле видел то пыточное сооружение, о котором говорит в «Антимемуарах»,— и оно могло ему привидеться.) «Я вспомнил (навязчивое слово — конвульсии) виселицу в лагере смерти, который мы освободили. Приговоренные,— «вспоминает» он теперь,— со связанными руками и петлей на шее держались лишь на кончиках больших пальцев, подвешенные между собственной слабостью и жизнью. Мы сочли, что это мертвецы, и прошли было мимо, когда они закричали». И наконец, в заключение, выкристаллизовывается притча, где реальные жизненные детали породили символический образ.

Как правило, в «Зеркале лимба» нить наметки, сшивающая биографическую случайность и вылущенный из нее метафизический смысл, выдернута. Эпизоды нижутся на мысль, отбор их мотивирован «пригодностью» или «непригодностью» для подкрепления той или иной авторской идеи, точнее даже, их поставляет наитие, художественная интуиция.

Как в жизни, так и в творчестве Мальро начал с бунта элементарного — с вызова, который бросает буржуазному прозябанию искатель приключений, авантюрист, идущий ва-банк ради самого упоения азартом опасной игры, где на кон поставлена собственная жизнь, а единственный возможный выигрыш — самоутверждение, пусть даже и в смерти. «Как поэт подставляет на место существующих отношений между словами отношения новые, так авантюрист пытается поставить на место существующих отношений между вещами — на место «законов жизни» — свою особую связь»,— определял Мальро «поэтов чистого действия».

О том, насколько силен был для самого Мальро в молодости искус приключения, свидетельствует не только индокитайская авантюра, но и поиски в 1934 году Мареба, развалин столицы легендарного государства царицы Савской. В «Антимемуарах» Мальро рассказывает, как он вместе с пилотом Корнильоном, соблазненным «дружбой, тем, что «Аэропосталь» сочла затею «несерьезной», и самим романтическим характером этого предприятия», вылетел из Джибути на одномоторном самолете с запасом горючего на десять часов. «Военные летчики с тревогой и энтузиазмом пожелали нам успеха, а мы глядели на тучи и небо самозабвенно, как халдейские астрологи, недоверчиво, как пастухи... Тридцать лет тому назад самолет был большим жуком, который слеп, едва терял из виду землю. Надежность европейских авиалиний обеспечивалась радиопередатчиками, но в этих краях передатчиков не было, и на нашем самолете рация отсутствовала. Мы могли определяться только по компасу и скорости... После Харида открылась великая Южная пустыня, владения царицы Савской. Здесь еще не было пологих длинных дюн, как на севере Сахары; пустыня здесь была скалистой и плоской, обнаженной: желтобелый скелет земли, полный тайн и наверняка изобилующий миражами. Ни долины, ни могильников. Пустыня отметала точные формы, будто сражалась с человеческим глазом, незванно вторгнувшимся в ее планетарное одиночество...»

Сент-Экзюпери? Да, конечно. Сходная ситуация, лексика, интонация, даже ритм повествования. Есть и общность ценностей. И когда Мальро вступает в спор с Сент-Эксом («Гуманизм не в том, чтобы сказать: «То, что я сделал, не могло бы сделать ни одно животное», но в том, чтобы сказать самим себе: «Мы намерены обнаружить человеческое начало повсюду, где возникает сопротивление тому, что человека подавляет»), он только подчеркивает значимость для себя не итога, но «сознания усилия», неустанности, неуемности «метапрактиков», которые и прут-то на рожон только ради того, чтобы попрать в себе бренного человека и глянуть в глаза незримому, но вездесущему противнику, самой Судьбе.

Прихоть, возведенная в высший закон существования, вздорность, легковесность, одержимость, мистификаторство и даже фиглярство — все эти качества сливаются в тех, для кого Мальро нашел свое слово «farfelu», пробудив его от четырехсотлетнего летаргического сна и наполнив новым содержанием[1].

«Фарфелю» стоит в ряду ключевых слов Мальро наряду с такими понятиями, как «деяние», «Судьба», «цивилизация», «человеческий удел» и «человеческое достоинство». Сполохи крупных и мелких «фарфелю», мифоманов и авантюристов, действующих наперекор здравому смыслу, навязывая тупой и косной реальности свое обожествленное самоволие, никогда — ни в годы страстной борьбы с фашизмом, ни во времена министерского благоразумия — не утратят для Мальро своего очарования.

Пусть даже как «гримасничающая карикатура» метапрактика, но «фарфелю» занимает свое — немалое — место в пределах «Лимба». Рядом с Александром Македонским, этим, можно сказать, «Фарфелю Ве-

[1] «Словарь новых слов» Пьера Жильбера (1971) указывает: «farfelu», пр. и сущ., слово XVI века (Рабле), возрожденное в 1928 году (Мальро) в новом значении, но распространившееся в этом значении только к 50-м годам». Отмечая, что комментаторы Рабле до сих пор не могут прийти к согласию, означало ли «farfelu», в XVI веке «тучный» или «пугливый», Пьер Жильбер выражает мнение, что смысловое смещение, осуществленное Мальро, оказалось возможным благодаря «внутренней экспрессии звучания» этого слова. Действительно, оно вызывает фонетические ассоциации с «fou» (безумец), «feu follet» (бродячий огонек), «farfadet» (ветрогон), «hurlu derlu» (человек без царя в голове).

«Фарфелю» вобрало в себя все эти оттенки, мерцающие в авантюристах Мальро. Какая, однако, незаурядная интуиция и художественная убедительность нужна, чтобы «переродить» мертвое слово и навязать его не только литературному языку, но и разговорной речи современников!

ликим», возомнившим себя богом, здесь оживает барон де Клаппик, персонаж «Удела человеческого», антиквар и игрок, по вине которого гибнет коммунист Кио Жизор. Реальное он лицо или вымышленное — «вымысел, вплетшийся в воспоминанье», но барону де Клаппику с его сценарием о другом «фарфелю» — бароне де Майрена, забытом историей покорителе племени седанг, который послужил прототипом Перкена в «Королевской дороге», в «Антимемуарах» уделено не меньше внимания, чем Шарлю де Голлю, Мао Цзэдуну или Джавахарлалу Неру.

Свои самые известные романы «Удел человеческий» и «Надежда» Мальро написал в пору, когда стал одним из наиболее активных «попутчиков» компартии. Герои этих романов, как и повести «Годы презрения», утоляли потребность в жизненной цели, сражаясь за революционное переустройство общества. Эта борьба, по мысли тогдашнего Мальро, избавляла человека от гнетущего чувства одиночества и бессмыслицы. «Мужское братство» революционеров, одушевленных высокой целью, несло в себе потенцию противостояния абсурду и «бренности» отдельного существования.

Но даже на пике своего социального бунтарства Мальро не был марксистом. Революция влекла его как переход из царства абсурда, несвободы, несправедливости в царство справедливости, свободы и братства. «Коммунизм возвращает человеку его плодоносность... Человеком быть трудно. Но им легче стать, углубляя свою соборность, чем культивируя свою особость»,— писал он в предисловии к «Годам презрения». С. Великовский приводит в своей книге слова Э. Мунье: «Мальро хочет, чтобы способность человека творить богов была перенесена на человека как такового, чтобы он осознал ее, применил, обожествив самого себя. Революция, следовательно, есть божественная стихия человека»[1].

Не случайно, что, изменив революции, Мальро потерял интерес и к роману[2]. Не потому ли, что роман был для него местом «преображения» человека, изменяющего мир? И коль скоро Мальро утратил надежду на «прямые» результаты в пределах одной жизни, само романное время, возможно, представилось писателю слишком «коротким», чтобы вместить и выразить ту потенцию «антисудьбы», которая всегда оставалась фундаментом мирозданья Мальро.

Нельзя сказать, что в послевоенный период Мальро вовсе отбрасывает Историю как возможное поле сражения с Судьбой, но он переходит на иные единицы измерения — не десятилетия, даже не столетия, а целые цивилизации. Не пульсация крови в жилах бренного человека, но рождение и угасание культур в масштабах всей планеты — теперь предмет его философских раздумий, не укладывающийся в роман.

Осознание кризиса агностической цивилизации современного Запада — первой культуры, нащупывающей свои ценности без опоры на промысел божий,— не приводит Мальро ни к утрате веры в человека, ни к безысходному отчаянию, ни к какой бы то ни было форме пассеизма. Он не взыскует, подобно Сент-Экзюпери, града христианской целостности, сплоченного единой верой, не печалится по рухнувшему собору, превратившемуся в груду разрозненных камней. Констатируя, что энергия Запада не ведает, куда устремиться, что цивилизация, сделавшая ставку на индивидуализм, зашла в тупик, он включает эту изжившую себя форму исторического бытия — «преходящую», «бренную», как были все предшествующие ей цивилизации,— в иную, более всеобъемлющую целостность: историю «человека творящего». Теперь «присносущий человек» Мальро квартирует в музеях. Там собраны свидетельства человеческого достоинства. Парадоксальная обмирщенная «телеология» Мальро, подобно всякой телеологии, пренебрегает теплом и хрупкостью отдельной жизни, как величиной ничтожно малой.

Понятно, что при таком «бытийном», «над личным», метафизически высокомерном угле зрения «просто человек» получает доступ на страницы «Зеркала лимба» только как идеограмма. Индейцы, возлагающие цветы к подножью древних статуй в ультрасовременном музее Мехико,— символ пропасти между сакральным и мирским восприятием творений искусства, между духом религиозной цивилизации и духом цивилизации агностической. Наборщик-камбоджиец, принесший в редакцию «Индошин» горстку типографских значков, украденных с риском для жизни,— символ пробуждающегося Востока. Испанские крестьяне, следующие в траурном кортеже через горы за гробом сбитого фашистами летчика-республиканца,— символ антифашистского братства. Французские крестьянки в черных шалях, безмолвствующие у могил своих близких, как то велит старинный обычай, воздавая, вопреки запрету оккупантов, честь павшим в бою макизарам,— символ исторической преемственности и единства непокоренной Франции. Хозяйка гостиницы «Отель де Франс», которая приносит кофе раненому французскому офицеру — полковнику Берже, схваченному немцами,— демонстративно обходя допрашивающего его офицера вермахта,— другой символ национального Сопротивления. Все это немые свидетели роковых минут, знаки переключения регистра из бытового плана в более высокий — исторический, легендарный, бытийный.

В «Дубах, что срубают» [1], книге, где Мальро рассказывает о своей последней встрече с де Голлем, удалившимся в Коломбе-дез-Эглиз, незримо витает образ Бернара Клервосского, вдохновителя крестовых походов. И сам генерал предстает не политиком, но своего рода Великим Магистром рыцарского ордена. «Нет ничего более таинственного, чем метаморфоза исторической биографии, превращающая ее в легендарное житие»,— пишет Мальро, но сам он предается

[1] С. Великовский. В поисках утраченного смысла. М., 1979, с. 116.

[2] «Битва с Ангелом» не только не была дописана, но и первый опубликованный том трилогии — «Орешники Альтенбурга» — никогда больше не переиздавался.

[1] Название книги взято из поставленных эпиграфом строк Гюго «О, как пугливо шумят те дубы, что срубают на погребальный костер Геркулесу!».

в «Зеркале лимба» именно этой алхимии. И сцена со старой крестьянкой, пробивающейся ко гробу почившего героя,— наглядный пример того, какими именно художественными средствами достигается эта поэтическая канонизация, это преображение преходящего и единичного факта жизни в непреходящий ценностно окрашенный миф.

Серый день, погребальный колокол, «на который,— пишет Мальро, — откликаются все церкви Франции и, в моей памяти, все колокола Освобождения». (Мгновение фокусирует и пространство, и время.) Маленькая, ничем не примечательная церковь, где собрались родные, «приход», «орден»: «так хоронили рыцарей». «В толпе, за спинами морских пехотинцев, взявших на караул, крестьянка в черной шали, как и те, что были в нашем маки в Коррезе, вопит: «Почему меня не пускают! Он сказал — всех! Он сказал — всех!» Я кладу ладонь на плечо моряка: «Вы должны пропустить ее, генералу это было бы приятно». Моряк поворачивается молча, не меняя положения рук, словно берет на караул перед убогой и верной Францией, и женщина, прихрамывая, спешит к церкви, опережая танк, на котором водружен гроб».

Такого рода ключевые сцены-символы, подобно внутренним рифмам, организуют и сплачивают россыпь эпизодов, тем, мыслей «Зеркала лимба». Мальро возвращается к ним неоднократно, то бегло напоминая о случае, рассказанном раньше подробно, то, подчас, просто повторяя его, почти слово в слово. Действительные или вымышленные, нередко взятые из собственных романов, эти моменты возникают в памяти мемуариста в силу своей, как определяет сам Мальро, «навязчивой ценности», «ценности мифической».

В разреженном воздухе лимба, населенного не живыми людьми, а риторическими тенями, де Голль, Мао, Неру тоже не «просто люди» (хотя общавшийся с ними автор и мог, очевидно, сообщить нам какие-то «живые» и «жизненные» детали) — но персонифицированные символы цивилизаций. Де Голль — Запада с его, как убежден в послевоенный период Мальро, переходом от идеи революционного переустройства к идее национального самосознания. Мао — Востока, пробудившегося от векового сна к перманентной революции (увы, уже сегодня страницы о Мао производят совсем не тот эффект, на который рассчитывал автор). Неру — «гуру» и «джентльмен» — попытки синтезировать восточную созерцательность и западный прогресс.

Надменный диалог идей идет поверх голов «покорных представителей рода человеческого, мошек, не излучающих света». Себе Мальро отводит в этом действе роль наперсника. Опасный наперсник. В противоположность персонажу, подвизающемуся в этом амплуа в классической трагедии, он не сообщает нам то, что произошло с героем за пределами сцены, доступной зрителю, и не подает реплик, необходимых, чтобы герой мог излиться, обнажив свои переживания, но навязывает собственные метафизические заботы великим собеседникам, превращая и их из политиков в «метапрактиков», так что порой у читателя «Зеркала лимба» возникает недоумение — кому же из беседующих принадлежит та или иная реплика.

В «Зеркале лимба» отражаются не лица, а лики, выписанные художником с нескрываемо предвзятых позиций. В Мао, уже скованном старческими недугами, он видит «эпический образ» — «не больного, но императора, отлитого из бронзы». Для выполнения этой эпической задачи — создания вечного монумента — автору «Антимемуаров» куда важнее рассказ о Великом походе китайской Красной армии, нежели скрупулезное воспроизведение дипломатической беседы о политических мимолетностях, которой Председатель Мао удостоил французского министра культуры. Есть вещи более важные, поговорим о жизни и смерти,— такой разговор и домысливается на страницах «Антимемуаров».

Поскольку революция оказалась не «божественной стихией», а насквозь посюсторонней борьбой за конкретное социальное переустройство, Мальро, уже не зачарованный «музыкой революции», перешел в послевоенные годы, как политик, на охранительные позиции. А как философ возложил все свои упования на Искусство. Для автора «Зеркала лимба» и единичный человек, и цивилизации, и боги, которым эти цивилизации поклоняются,— «недолгие гости», они промелькнут и угаснут. Но неугасим и неиссякаем творческий потенциал, заключенный в «человеке присносущем».

Самоценность и самоцельность Искусства, по Мальро, возникает именно со «смертью бога», только тогда, когда неизбывная жажда смысла жизни уже не утоляется верой. Человек религиозных цивилизаций творил, чтобы приобщиться к священному, воплощая в своих произведениях потустороннее, поклоняясь ему, ища у него защиты. Произведение было прекрасным потому и в той мере, в какой человек изображал нечто более прекрасное, более целостное и могущественное, нежели он сам. «Богооставленный» человек XX века ощущает в искусстве прошлого материализацию духа, но переводит эту возвышающую его над собственной бренностью сущность из сферы сакрального в сферу собственно искусства. Ацтек высек из обсидиана — черной вулканической лавы — череп, символ Смерти, предмет культа. Конкистадоры-христиане увидели в этом языческом идоле «демона». Прошли века, и имитация мертвой головы стала «шедевром», обрела свое место в пантеоне «воображаемого музея мирового искусства», в святилище, где «мы примиряем не разных богов, но разные формы, в которых человек воплотил свой дух. Формы, не подвластные ограничительным эстетическим нормативам, ибо запечатленный дух не поддается определению в категориях Прекрасного или Безобразного — он прекрасен, как свидетельство неодолимого порыва к одолению человеческого удела».

В эпоху, когда агностическая цивилизация с ее «гадательностью» задает человеку

трагические вопросы, на которые тот в своей «богооставленности» не находит разрешающего ответа, искусство видится Мальро единственной защитой — оно возвышает человека в собственных глазах, оно утверждает человеческое достоинство, оно не позволяет восторжествовать слепым элементарным инстинктам. Ведь наука, на которую ставил век XIX с его «религией прогресса», может дать человеку все, кроме ответа на вопрос: «Зачем?» (Мальро любит приводить слова, якобы сказанные ему Эйнштейном: «Самое странное, что все это, наверно, имеет какой-то смысл»). Искусство также не дает прямого ответа, но косвенно намекает на его возможность самим своим «присутствием» и «дерзанием». Каждый шедевр — своего рода очищение мира, но их общий урок — урок их «присутствия», потому что «победа, одержанная художником над собственным рабством,— частица в гигантской панораме торжества искусства над человеческой судьбой».

Агностицизм — условие метаморфозы, ибо только он обращает предметы разных культов в шедевры единого искусства. Но дух искусства самой агностической цивилизации прежде всего — дерзкий вызов Творению и Творцу, отказ признать высшую гармонию. Поэтому такое важное место отводится в «лимбе» Пабло Пикассо. Пикассо с его настойчивой ломкой всего сущего — в том числе и собственных творений — символ дисгармоничного искусства XX века, неустанного, самоироничного, саморазрушительного движения.

Мальро не знал (во всяком случае, ни разу не упомянул) Пушкина. Но приводимые в «Обсидиановой голове» слова Пикассо «природа должна существовать, чтобы было кого изнасиловать», для нашего слуха звучат как антитеза пушкинского кредо, приятия вечного круговорота смерти и жизни:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

«Заразительность» искусства Пабло Пикассо, считает Мальро, в том мощном заряде протеста, который отвечает трагическому мироощущению сегодняшнего европейца, утратившего веру в Провидение. «Для Ван Гога,— пишет автор «Обсидиановой головы»,— жизнь и смерть лежали в одной плоскости. В искусстве он искал нечто другое, отличное от природы. Интерпретацию, выражение, проникновение — не важно, что именно, другое. Не будь ему так чужд подобный лексикон, он сказал бы — другую сущность, но, противополагая шумам природы гамму, он предощущал, что искусство противополагает художественное творчество Творению, самой жизни. Пикассо отдавал себе в этом отчет яснее, нежели христианин Ван Гог. Он говорил: «Следует не копировать то, что делает жизнь, но работать, как она» — и иногда добавлял: «Чтобы работать против нее».

В преодолении собственной бренности художник XX века, полагает Мальро, сродни художнику сакральных цивилизаций, он тоже «маг», «колдун», служитель некоего высшего начала, только это высшее начало теперь заключено в самом творчестве. «Я тоже чародей»,— говорит Пикассо, посягая на выход за пределы «мирского», вырываясь не только из времени индивидуального, но и из времени исторического, ибо, как убежден Мальро, «Герника», хотя и порожденная историей, ей не принадлежит — гражданская война в Испании *была*, а «Герника» *есть*» (курсив автора.— Л. З.). Современное десакрализованное искусство в глазах Мальро даже выше, чем шедевры религиозных цивилизаций, потому что оно «антисудьба» в чистом виде, неопосредованная служением каким бы то ни было внеположным трансцендентным сущностям,— оно само трансцендентно и поэтому способно вобрать в себя искусство прошлого, обеспечивая его метаморфозу.

Сартр однажды заметил, что для Мальро, как и для Хайдеггера, человек — «бытие-к-смерти». Прочтя это суждение, Мальро возразил: «Не лучше ли заменить «к» на «против»? Это ведь только на первый взгляд равнозначно». И в самом деле, неразрешимая загадка бытия уязвляет его героев — в том числе и автора — героя «Зеркала лимба» — перед лицом смертного удела, но средь сонмища людского, из праха рожденного и обреченного в прах обратиться, Мальро привлекают лишь те, кто выходит победителем из «битвы с ангелом». В «Зеркале лимба» это сражение выигрывает Художник — Человекобог.

Принято считать Мальро предтечей французского агностического экзистенциализма. Это так. Но он во многом антипод Сартра. Герои Мальро — наследники Кириллова, готового умереть, чтобы «доказать» и «стать богом».

Называя романы Достоевского своим «пятым евангелием», Мальро не раз возвращался к тому, что, воплотив в персонажах борение собственной мысли, великий русский романист выразил метафизическую трагедию бытия — жажду бога и бунт против удела, назначенного богом человеку. В «Зеркале лимба» отражается подобное же кристалище: встреченные или вымышленные, все персонажи этих «антимемуаров» — кресала, нужные автору, чтобы высечь огонь и осветить стычку своих «лобных долей», свои вопрощающие раздумья об уделе человеческом.

Само понятие «лимба» приобретает, таким образом, у Мальро метафорическое значение — это символ «промежуточности». Промежуточности «агностической цивилизации» — цивилизации трагических вопросов и «гадательных» ответов, между утраченным раем упований на промысел божий и адом прозябания, не ведающего своего смысла. Промежуточности самого Человека — между конечностью индивидуального существования и непреходящестью того, что человек, вечный искатель, бунтарь и творец, создает, возвышаясь над собственным бренным уделом.

◆

Публицистика

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ

Из выступлений зарубежных гостей VII съезда писателей СССР

Менее двух десятилетий отделяет человечество от порога третьего тысячелетия. Согласно статистике на Земле каждый год рождается более ста миллионов новых жителей. И более 500 миллиардов долларов ежегодно тратится на военные расходы. В этих цифрах отражена дилемма нашей эпохи: мир или война, жизнь или засыпанная ядерным пеплом пустыня, созидательное будущее или грозящие стать явью мрачные пророчества Апокалипсиса.

Все честные, духовно здоровые люди думают о будущем без войн. Однако в наши тревожные дни мало только думать о мире: за него необходимо сражаться каждодневно и ежечасно. Одно из действенных средств в этой борьбе — литература.

В самом сжатом виде так можно было бы представить главное содержание речей зарубежных литераторов — гостей проходившего с 30 июня по 4 июля 1981 года VII съезда писателей СССР.

«Неужели люди трудились, страдали и радовались, жертвовали жизнью в поисках смысла существования, в поисках справедливости, добра, правды только для того, чтобы в преддверии XXI века отдать свою судьбу, своих детей, свое прошлое в руки новых герострат ов?» Это — строки из принятого съездом обращения «Писателям, деятелям культуры мира».

Безумный поступок Герострата, который ради самоутверждения некогда сжег дивный храм Артемиды Эфесской, меркнет перед зловещими замыслами людей, кому не дают покоя его лавры. Находятся же сейчас в империалистическом мире высокопоставленные, весьма влиятельные политические деятели, которые не стесняются заявлять, что «есть более важные вещи, чем мир, и худшие, чем война». Вот почему перед столь ответственным выбором оказывается сегодня писательская совесть: вместе со всем прогрессивным человечеством сказать «да» жизни и миру, «нет» войне и разрушению, или — даже своим молчаливым безразличием — примкнуть к реакционным, ненавидящим человека силам. В вопросе войны и мира теперь просто не может быть равнодушных и нейтральных. «Активные действия миролюбивых государств и народов, общественных сил и движений, выступающих в защиту мира, против угрозы новой войны,— подчеркивается в цитированном выше обращении,— приобрели ныне самое первостепенное значение. И никогда не был здесь так важен голос писателя, деятеля культуры».

Буржуазная пропаганда с помощью мифа о «свободе творчества», о якобы безотчетном праве писателя на капризное своеволие, бесцельное самовыражение пытается нейтрализовать социальную активность литературы, обречь художника на блуждание в дебрях одиночества, анестезировать гражданский нерв писателя. Анализируя некоторые недавние выступления литераторов Запада, ясно видишь, какому тяжелому давлению империалистической пропагандистской машины подвергаются там писатели и деятели культуры. Те из них, кто слабо знаком с марксистской философией, социалистической эстетикой и действительностью общества развитого социализма, кто питает иллюзии насчет «независимости» и аполитичности художника, поддаются натиску буржуазных средств массовой информации, позволяют подчас вовлечь себя в различные провокационные кампании против СССР и стран социалистического содружества. Нередко при этом возникает явный парадокс: в своих лучших художественных созданиях эти писатели искренне, правдиво, убедительно показывают исчерпачность духовных ценностей буржуазной цивилизации, обличают дегуманизацию жизни и культуры, а в иных путаных политико-идеологических декларациях они как бы опровергают собственную гуманистическую творческую программу. Они словно забывают, что буржуазной пропаганде выгодно поддерживать этот хаос идей и спекулировать на изжившем себя мифе о «полной свободе» художника от общества.

В условиях, когда администрация Рейгана вновь заговорила языком «холодной войны», «сбои» в позиции деятелей культуры звучат особенно одиозно. Ни для кого не секрет, что для прикрытия своей наглой агрессивно-авантюристической политики правящие круги США используют интеллигенцию, в том числе и писателей. В начале ны-

нешнего года в Соединенных Штатах был создан международный «Комитет за свободный мир», который запугивает интеллигенцию Запада мифом о «советской угрозе», мечтая о несбыточном — победить в борьбе идей мир социализма, прогресса и подлинного гуманизма.

Выступившие на VII съезде писателей СССР зарубежные гости выразили твердую убежденность, что прогрессивные, демократические силы литературной интеллигенции Запада не поддадутся на велеречивое пение сирен «холодной войны» из «Комитета за свободный мир». Передовые представители мировой литературы хорошо знают, на чьей стороне правда истории и справедливость, кто на деле отстаивает мир и прогресс, борется за гуманизм, взаимопонимание и сотрудничество народов. Все больше честных, демократически настроенных писателей на всех континентах планеты осознают не только свой творческий, но и собственный гражданский долг: бороться за идеалы мира, свободы и прогресса. В прекрасные слова облек эту мысль недавно умерший Джанни Родари: «Мир, свобода и справедливость представляются мне неразделимыми, как корни, ствол и ветви одного дерева». Борьба за мир — не просто одна из тем мировой прогрессивной литературы, это — ее нерв, ее нравственный, гуманистический фундамент, суть ее благородного жизнеутверждающего пафоса.

Зарубежные гости VII съезда писателей СССР решительно поддержали советскую Программу мира. Они разделяют убежденность, выраженную советскими мастерами слова в их обращении «Писателям, деятелям культуры мира»: «Мы уверены, что люди доброй воли всей земли воспринимают умом и сердцем обращение Верховного Совета СССР «К парламентам и народам мира»: «Мир — общее достояние человечества, а в наше время — и первейшее условие его существования. Только совместными усилиями он может и должен быть сохранен и надежно обеспечен». «Ни одна имеющаяся возможность не должна быть упущена. Время не ждет!»

Советские писатели призвали писателей, деятелей культуры нашей планеты — независимо от их воззрений — сделать все возможное для спасения человечества от ядерного самоуничтожения, для утверждения мира, торжества согласия и сотрудничества между народами.

«Офицерами армии, сражающейся за мир», назвал писателей французский романист, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Эрве Базен.

О необходимости и готовности участвовать в этом сражении взволнованно говорили с трибуны писательского съезда наши зарубежные гости. С несколькими из их выступлений мы в сокращенном виде знакомим читателей.

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ (Болгария)

Я выполняю высокую и радостную миссию, выражая вам благодарность и признательность болгарского народа, миллионов наших читателей, которые хорошо знают и любят как золотые страницы классики, так и самые новые произведения советской литературы.

У этой любви — глубокие истоки. В прошлом веке великая русская литература стала знаменосцем революционно-демократических идей человечества. Она — незыблемый фундамент многонациональной полнозвучной советской литературы социалистического реализма. Сильная гордой правдивостью, обновляющим жизнь пафосом и светлым гуманизмом, советская литература завоевала ведущие позиции в мировом литературном процессе современности.

Этим признанием советская литература прежде всего обязана своей страстной коммунистической партийности — одной из сил духовного созидания будущего мира, где жизнь будет твориться по законам красоты.

Для моего родного народа и нас — его солдат пера — исторический, достойный восхищения вклад советской литературы в мировое искусство слова служит замечательной школой. Нерушимое единство и братство наших литератур неотрывны от нерушимого единства и братства наших народов, представляющих собой, по меткому выражению товарища Тодора Живкова, «общую систему кровообращения».

Нынешний год для нас богат событиями исключительной важности. Состоялся XII съезд Болгарской коммунистической партии, на котором были не только подведены итоги достижений нашей страны в строительстве развитого социалистического общества, но и продемонстрирована сплоченность народа Болгарии и его твердая решимость идти по намеченному партией ленинскому пути. Естественно, что XII съезд Болгарской коммунистической партии вдохновлялся решениями XXVI съезда Коммунистической партии Советского Союза. Наш народ выдвинул лозунг: «Два съезда — одна цель».

Для нас успехи социалистической Болгарии — это апофеоз 1300-летней истории нашего народа и болгарского государства. Это — общий праздник, ибо Болгарию нельзя отделить от общеславянской цивилизации, а сегодня, подчеркнем это особо, — от мира реального социализма. Единство внутренней духовной гармонии социалистической личности, политической идейности, сплоченности социалистических наций и священной интернациональной солидарности есть закон, определяемый самим коммунистическим идеалом. В том и состоит магнетическая сила советской литературы — объединять и возвышать души честных людей всего мира. Мы считаем, что этот дух и эта сила торжествуют на VII съезде писателей СССР.

В эти дни, в этот решающий для человечества исторический момент мы все находимся под неизгладимым впечатлением новой убедительной мирной инициативы Советского Союза. Именно сегодня, когда империализм и мировая реакция пытаются вернуть нашу планету к временам «холодной войны», когда контрреволюция пускает в ход все свои зловещие силы, чтобы идеологически и политически дестабилизировать братские, кровно связанные друг с другом страны социалистического содружества, спокойный голос мира, вновь прозвучавший из великой Москвы, вселяет в сердца людей исторический оптимизм. Настоящий писатель живет и творит с ясным сознанием того, что он — истинный представитель народа, депутат пусть невидимого, но существующего и действующего парламента человеческой совести. Вот почему мы воспринимаем принятое Верховным Советом СССР обращение «К парламентам и народам мира» как обращение к каждому из нас. И потому мы призываем: в ответ на это обращение громко и ясно сказать наше писательское «да». Мир надо спасать общими усилиями всех честных людей земли.

ГЕРМАН КАНТ (ГДР)

Совсем недавно исполнилось сорок лет тому, другому, кровавому, черному от дыма пожарищ июню, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз.

Поскольку я немец и каким-то образом был причастен к этим дымным пожарищам, причастен к кровопролитию, то я должен со всей решимостью заявить: подобный июнь не должен повториться никогда и нигде.

Но разве возможно избавиться от прошлого? В лучшем случае можно чувствовать за него бо́льшую ответственность и стать достойным своего настоящего. Писатели Германской Демократической Республики, от имени которых я приветствую VII съезд советских писателей, именно так относятся к прошлому. Они полностью осознают свой долг и ответственность за мир во всем мире.

Когда я произношу эти слова, мне не требуется слишком напрягать фантазию, чтобы представить, что слово «мир» будет на этом съезде употребляться чаще всего. Ведь оно — самое понятное для всех слово, с ним связано самое естественное состояние человечества. Но так как мир подвергается опасности, неудивительно, что он пока еще не воцарился на всей нашей земле. Мирная жизнь — не данность, а цель, к которой надо стремиться. Поэтому писатели отдают свои таланты для ее достижения: наша профессия связана с борьбой за мир, может быть, больше, чем любая другая.

Мы должны во весь голос говорить о том, что из четырех миллиардов живущих на земле людей лишь небольшой группке безразлично, что будет с нашей планетой, наш долг — предупреждать об опасности и необходимости бороться с ней устным и печатным словом.

Писателям свойственно стремление вникать в суть происходящих, казалось бы простых, явлений, желание разглядеть в событиях нечто символическое. Подобные поиски не всегда плодотворны, но когда стоишь на трибуне, с которой несколько дней тому назад прозвучало обращение «К парламентам и народам мира», то невольно хочется сказать, что и ты разделяешь те же самые убеждения. Литература и политика неразрывны, особенно если они основываются на принципах гуманности и разума. Социалистические политика и литература наглядно подтверждают это.

Обращение Верховного Совета СССР «К парламентам и народам мира», которое зачитал в этом самом зале товарищ Л. И. Брежнев, получило горячее одобрение и у нас в стране. И мы, писатели, должны позаботиться, чтобы оно оказывало на всех людей еще бо́льшее воздействие.

Иногда я рисую себе радужные картины: на съезде писателей речь идет только о литературе, о стилях и жанрах, литературных школах и поэтических семинарах, о том, как найти самые точные слова для описания голубизны раскинувшегося над нами неба. Но это всего лишь мечты. Действительность же велит нам уделять на наших встречах внимание другим вопросам, не обходить стороной проблемы современного положения в мире, где так много бессмысленного и абсурдного. Разве можно иначе назвать доктрину, согласно которой следует вооружаться, если хочешь разоружения? С понятием «здравый смысл» порой тоже не все в порядке. Разве не противоречит ему политика, направленная на накопление горючего вещества в целях гарантии от пожара? Все эти вопросы также входят в сферу писательской деятельности.

Вот почему из мечты литераторов о встрече, на которой речь шла бы только о литературе, вряд ли что-нибудь выйдет. Поэтому давайте объединим наши усилия в борьбе за сохранение мира с нашей повседневной литературной работой.

Мир и угроза миру, мир и наша забота о нем стали сегодня главенствующими проблемами. Наша дружба будет только крепче, если мы отдадим все силы совместной борьбе за упрочение мира.

От имени писателей ГДР я хотел бы заверить вас, дорогие советские друзья: «Пока жив наш язык, он будет языком мира!»

АБД АР-РАХМАН АЛЬ ХАМИСИ (Египет)

Есть люди, которые рассматривают реальность лишь под углом зрения настоящего и посему сознательно настаивают на сохранении ее в исконном виде. Однако наиболее передовые мыслители, поэты, писатели и художники всегда

пытаются на современную им действительность взглянуть с точки зрения будущего. Именно поэтому деяния и творчество прогрессивных писателей отмечены благородной устремленностью к борьбе за осуществление идеалов этого прекрасного будущего. Своими книгами они ведут борьбу за свободу и прогресс, добро и красоту. Вот почему неверно говорить, что литература — это всего лишь зеркало времени. Правильнее было бы утверждать, что литература — это зеркало борьбы во имя добра, против всего, в чем сокрыто зло.

Зло в мире существовало всегда, но всегда люди поднимались на борьбу с ним. Однако то зло, которое угрожает человечеству ныне, отличается беспрецедентной способностью разрушать и уничтожать все самое прекрасное.

Защитить мир во всем мире — не значит ли это встать против угрозы новой мировой войны, которая, если она разразится, не оставит на поверхности земного шара ничего живого.

Я не знаю ныне для литературы и литераторов цели более высокой и благородной, чем защита мира ради человека и жизни. Особенно если принять во внимание, что научно-технический прогресс позволяет врагам жизни — этим торговцам смертью — использовать достижения человеческого разума для создания оружия огромной разрушительной силы.

Одна лишь бомба, сброшенная на Хиросиму, как известно, принесла 140 тысяч жертв, помимо огромного числа пострадавших от ядерной радиации, чье потомство до сих пор мучается от расстройств нервной системы, увечий, безумия. А ведь эта бомба — лишь малая часть той губительной силы, которую имеет оружие, производимое империалистами в наши дни. По оценкам и подсчетам самих ученых, она во много раз превосходит мощь бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Наши литературные произведения могут сыграть действенную роль в борьбе против авантюристов, которые угрожают миру новой войной, размещают ракетные установки в странах Западной Европы, строят базы на океанских островах в непосредственной близости от Азии, Африки и Латинской Америки. Совершенно очевидно также, что борьба за мир являет собой другой лик мирового процесса борьбы народов за свободу и независимость.

Мы, поэты и писатели современности, имеем прямое отношение к проблемам избавления человека от страха, расизма и голода. Заявить о своей позиции защитников гуманизма — веление нашей совести.

Статистика утверждает, что голод и плохое питание являются непосредственной причиной роста смертности на земле. Например, известно, что четыре человека из пяти погибают на Филиппинах от недоедания. Данные ООН подтверждают, что смертность среди детей до 5-летнего возраста в странах «третьего мира» в 15 раз выше, чем в других странах.

Какой может быть позиция литераторов по отношению к этим человеческим трагедиям, порождаемым алчностью империалистов, особенно американских? Именно империалистическое разграбление природных богатств народов «третьего мира» является истинной причиной бедствий и страданий народов этих стран.

Мы, писатели, обязаны выступать против империалистов и реакционеров, которые расхищают национальные богатства народов, эксплуатируя за гроши их энергию и способности, их рабочие руки. Мы знаем, что торговцы голодом и смертью не сложат с легкостью своих знамен. Они никогда не откажутся от грабежа, разбоя и агрессий, которые они творят повсюду. Мы знаем, что монополисты признают только свою логику — логику господства и эксплуатации.

Разоблачать подлинную суть их деяний, срывать с их планов все маски, мобилизуя против них общественное мнение всюду, в любой точке планеты,— вот наш долг.

Если бы мы выполнили ту роль, которую предписывает нам наша совесть, то смогли бы подвигнуть народы мобилизовать все свои силы против этих преступников.

Американский империализм, возглавляющий лагерь грабежа, агрессии и разбоя, не ограничивается размещением военных баз. Он развязывает локальные войны и снабжает оружием своих наемников, дабы нанести удар делу национального прогресса, беззастенчиво и бессовестно управляет акциями международного терроризма, а потом поднимает наглый шум, называя движение национального освобождения разновидностью того же международного терроризма.

Окидывая взором период после окончания второй мировой войны, мы видим, что именно американский империализм совершил целый ряд военных вторжений в Корее, Ливане, Доминиканской Республике, Вьетнаме, Кампучии, Лаосе. Он навязал своих военных «советников» всем, кто плетет заговоры против народов Греции, Боливии, Конго, Анголы. Он стоял за спиной реакционных военных переворотов в Чили и других странах, поддерживал вооруженную агрессию, которую и ныне продолжает Израиль против Ливана с целью «закрыть» палестинскую проблему и аннексировать еще большее количество оккупированных арабских земель.

Американский империализм создал в Египте колонию и военную базу, с которой угрожает свободе народов арабского региона, Азии и Африки в непосредственной близости к странам Средиземноморского бассейна.

Выступая не только против других народов, но и против своих собственных, империалисты ведут борьбу против мира, гуманизма и прогресса.

Но не вызывает никакого сомнения, что присутствие в сегодняшнем мире стран социалистического содружества во главе с великим Советским Союзом

обуздывает агрессивность империалистов, дает им почувствовать, что есть в мире такая могучая сила, которая никогда не позволит им воплотить в жизнь их зловещие замыслы.

Проблемы мира, гуманизма и прогресса тесно связаны друг с другом. Защищая мир, мы тем самым отстаиваем гуманность и социальный прогресс, выступаем на стороне движения за национальное освобождение. Ибо не может быть мира там, где совершается насилие над чужой территорией, где грабят национальные богатства народов, где наносится удар за ударом по социальному прогрессу.

Наша миссия писателей — это миссия борцов за прогресс. Самым бессовестным образом империалисты поощряют акции неприкрытого международного бандитизма. Напряженность ситуации в мире становится все более и более опасной, но одновременно нарастает понимание этой опасности и со стороны широких народных масс, все слышнее голоса, осуждающие активность организаторов военных конфликтов.

В подобных условиях велика ответственность всех стран и миролюбивых народов за срыв авантюристических происков, за то, чтобы не совершилось непоправимое, чтобы сохранить мир на земле.

АЛЬДО ДЕ ЯКО (Италия)

Каждый раз, приезжая в Москву из аэропорта Шереметьево, я вижу на шоссе металлические конструкции цвета ржавчины. На этом рубеже были остановлены нацистские полчища, и всякий раз мне кажется, будто я слышу отзвук автоматных очередей.

Мое поколение, наше поколение никогда не сможет забыть, кому оно обязано своим сегодняшним существованием, сколько крови должно было пролиться, чтобы выстоять и победить.

В этом общем для всех нас прошлом следует искать объяснение тому факту, что многие социальные битвы достигли глобальных масштабов, охватив целые общественные системы, что их некоторые аспекты, например борьба за свободу, носят всеобщий характер, но вместе с тем приобретают все более очевидный и ярко выраженный классовый характер. Ибо только интересы рабочего класса тождественны интересам всей нации.

Сегодняшней Европе, ее передовым силам присуще горячее стремление защитить мир, насущные интересы общества в целом. Но в то же время реакционные силы переходят в наступление, прибегая, в частности, к различным формам терроризма, как это происходит в Италии. Имея это в виду, мы заявляем, что борьба за мир неотделима от борьбы за сохранение демократических институтов общества, которые буржуазия, будь на то ее воля, охотно уничтожила бы. Таких попыток было немало, и направлены они были не только против рабочего класса, но и передовой культуры в целом.

В условиях итальянской действительности произведения культуры вынуждены противостоять самым жестким законам капиталистического рынка, что отнюдь не способствует созданию критических по духу книг и развитию глубоких творческих поисков. В наших условиях литература — это товар, который должен отвечать потребностям наиболее выгодного и легкого сбыта. Иными словами, каждое произведение критического реализма вынуждено конкурировать с бесконечным множеством книг, которые ставят своей целью не изменение, а сохранение существующего порядка, и они поощряются именно в силу этой своей направленности. К этому следует добавить, что литературная критика более склонна заниматься чисто формальными аспектами произведения.

Одной из самых страшных опасностей, угрожающих миру сегодня, может стать Вавилонская башня непонимания. Если бы мы пошли не по пути взаимопонимания, осознания проблем, которые имеют всеобщий характер, а по пути дальнейшего разделения языков и культур, это грозило бы глухотой целым народам. Помешать такому развитию, которое могло бы стать прологом или предлогом нового конфликта,— вот задача мировой культуры.

Именно в таком духе литераторы, входящие в Национальный Синдикат писателей Италии, стремятся — разумеется, в пределах своих возможностей — максимально развивать все формы сотрудничества между различными культурами.

И я выражаю надежду, что мы, писатели, скажем свое веское слово в защиту единства и поиска общего языка в борьбе за мир.

(Окончание следует)

◆

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ

СВИДЕТЕЛИ ОБВИНЕНИЯ. ОПИСАНИЕ «БИЛЬД» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Перевод с немецкого Н. ФЕДОРОВОЙ

ШПРИНГЕРОВСКИЕ ТАРЕЛКИ В КОСМОСЕ

Лучше НЛО, чем ООН.
Ганс Хабе

БИЛЬД столь же далека от объективной информации и действительных фактов, как туманность Андромеды от Земли; эта газета являет собой нечто вроде сборника сказок наших дней, только рассказываются тут не рожденные в сердце народа, дарящие бодрость легенды, в которых помимо страхов звучат надежда и обещание грядущих перемен,— тут на голову читателю нахлобучивают душный колпак суррогатных, маниакальных измышлений.

Кровожадные чудовища, канюк-убийца, омерзительные пауки-птицееды, пожирающие людей чайки, неопознанные летающие объекты, взрывающееся Солнце — БИЛЬД всегда припасет для читателей байку пострашнее, так чтоб мороз по коже. Теми, кого снедает страх, легко манипулировать. Запуганному думать некогда. Просвещение для БИЛЬД — враг номер один.

Главное — надо внушить, что появляться вечером на улице куда как рискованно, и если под рукой нет сексуального маньяка или фанатика-террориста, то надо немедля подсунуть читателям этакого циклопа XX века и подать его под тем же соусом, как и все прочие криминальные опусы БИЛЬД, дескать, могло же быть и такое... А все затем, чтобы читатель голову потерял от страха и чтобы реальные опасности — на службе или в политической жизни — показались ему на этом фоне безобидными пустяками.

«Жуткие сцены, совсем как в хичкоковском фильме «Птицы», стали в Голландии явью: по сообщению влиятельной нидерландской газеты «Телеграаф», гигантские чайки искалечили в Зволле более десятка людей. Одна голодная чайка клювом вспорола вену продавщице Марьолейн Фиссер (31 год) — пострадавшая была доставлена в больницу».

Я проверил информацию насчет «вторжения чаек», и, как бывает почти всегда, когда берешь на себя труд докопаться до истоков бильдовского материала, выяснилось: процент истины равен нулю. Грубые фальшивки и откровенный вымысел — обычная история.

Взять хотя бы трюк с введением, где бульварная голландская газетенка «Телеграаф» беззастенчиво объявляется влиятельной. На деле же «Телеграаф» считается в Нидерландах крайне несолидной газетой и пользуется почти столь же скверной репутацией, как БИЛЬД в ФРГ.

Одно можно сказать наверняка: падкие до сенсаций чайки глаз друг другу не выклюют!

Вот эта самая «влиятельность» и дала толчок возникновению байки про чаек. Двадцатипятилетний Елле Стеркен из Зволле решил доказать своим друзьям, что «Телеграаф» тиснет любую досужую выдумку, и заключил пари на пятьдесят гульденов, что газета опубликует его заметку о чайках-убийцах. Пари он выиграл. А «Телеграаф» — по принципу (действующему и в БИЛЬД): без фотографий нет материала — сфабриковала еще и фотомонтаж — раненой Марьолейн Фиссер. БИЛЬД перепечатала заметку вкупе с фотофальшивкой — ибо в Зволле про Марьолейн Фиссер никто слы-

Печатая фрагменты книги Гюнтера Вальрафа «Свидетели обвинения. Описание «Бильд» продолжается» (© Gonter Wallraff. «Zeugen der Anklage. Die «Bild»-Beschreibung wird fortgesetzt». Köln, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1979), мы в № 10—11 завершаем публикацию, начатую в № 6, 1981 г. монтажом по книге «Рождение сенсации. Человек, который п «Бильд» был Гансом Эссером».

хом не слыхал,— да еще присочинила подробностей: тут и «рваные раны на голове Йоханнеса Мюкдера», и «бросившийся наземь Елле Стеркен (17 лет)», и прочее. Жути в немецкой версии прибавилось, вплоть до концовки: «Городские власти разложили повсюду ядовитую приманку и выплачивают по две марки за каждую убитую птицу».

На зволльский магистрат обрушилась целая лавина возмущенных писем и телеграмм. Международный охотничий комитет от имени десяти тысяч своих членов потребовал, чтобы бургомистр Зволле немедленно прекратил «истребление птиц».

В конце концов городской пресс-центр сумел успокоить друзей животных: в городе не было и нет ни Марьолейн Фиссер, ни вообще каких-либо пострадавших. Более того, этой суровой зимой, как вот уже много лет подряд, городские власти выделили шестерых служащих для подкормки и ухода за голодающими птицами.

А БИЛЬД между тем готовит новую атаку на психику читателей: в Харбургских горах под Гамбургом якобы появились кошмарные пауки-птицееды. Они, дескать, выкапывают норы глубиной до пятнадцати сантиметров и нападают на всякую живность, какая дотронется до их ловушек. Откуда они взялись — никому не известно, ну а по-научному их-де именуют «atypus». Почти что правильно: паук, о котором толкует БИЛЬД, и впрямь называется «atypus affinis», но вот с отрядом «therapoidae», к которому принадлежат тропические пауки-птицееды, его роднит разве что история вида, то есть они примерно такие же родичи, как обезьяна и еж. В Харбургских горах паук ниоткуда не появился, он живет там, как и в других частях Центральной Европы, ни много ни мало уже сорок тысяч лет. Длина его отнюдь не три сантиметра, как утверждает БИЛЬД, а максимум 12 миллиметров, и ног не десять, а восемь. Однако, чтобы застращать читателя, БИЛЬД любит слегка преувеличить размеры и добавить пару лишних ног, обращаясь попутно к проверенному методу «актуализации», на сей раз для нее и сорок тысяч лет — пара пустяков.

Вот вам и еще одна паучья история: 5 сентября 1979 года БИЛЬД вышла с такой шапкой на первой полосе: «СТОИТ ЕМУ ПОЕСТЬ ЖИРНОГО — И ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПАУКА».

Но поистине негасимым костром, подогревающим бильдовскую жуть, являются, конечно же, НЛО — «неопознанные летающие объекты» с далеких звезд. Не в пример ГДР, которая для БИЛЬД как бы вовсе не существует, а потому неизменно оснащается кавычками, НЛО для БИЛЬД факт непреложный во всех отношениях. «Научные» подтверждения тому получить нетрудно.

Вот что сообщил Йорн-Ульрих Напп, президент гамбургской народной обсерватории:

«Один из редакторов БИЛЬД спросил у меня по телефону, не могу ли я изложить свою точку зрения на якобы участившиеся случаи наблюдения НЛО. И я крайне необдуманно согласился принять его. Проблему мы обсудили строго по-деловому. Часто публикуемые в печати сообщения о НЛО я назвал выдумками людей, которые стремятся набить себе цену. Потом он меня сфотографировал, а заодно переснял несколько шуточных фотографий «НЛО» из моей коллекции. Долгое время я ничего об этом не слышал, и вдруг заметка: «Мнение ученого: родина НЛО — Млечный Путь». Чрезвычайно ловко составленный текст был, по сути, полной противоположностью тому, что я говорил репортеру. Рядом — фотография НЛО, достоверный фотомонтаж особых облачных образований, и взята она у меня. Подпись с лицемерным намеком: «НЛО, сверкая, мчится сквозь облака. Подлинный ли это снимок, доказать невозможно».

Последствия оказались гораздо серьезнее, чем я предполагал. Со всех сторон посыпались насмешливые замечания, вечерами — бесконечные звонки адептов НЛО, которые домогались от меня подробностей, а вдобавок некий Клуб НЛО предложил мне пост почетного председателя.

Я тотчас потребовал опровержения, однако мои претензии отклонили, мотивируя отказ весьма слабыми доводами. Я обратился за консультацией к юристу и услышал, что затевать тяжбу бессмысленно, так как БИЛЬД имеет обыкновение проводить дело через все инстанции, а значит, процесс будет тянуться крайне долго и судебные издержки станут расти как снежный ком. Вот я и решил не связываться».

Однажды уже привлекавшийся БИЛЬД в качестве «главного свидетеля», запуганный юристами и раздавленный, студент и астроном-любитель Напп вынужден снова и снова играть роль знатока и очевидца бильдовских призраков: его фотография печатается в БИЛЬД рядом с портретами американских астронавтов и президента Картера. А чтобы придать Наппу солидности, его возводят в ранг «ученого-планетолога» и присовокупляют эпитет «знаменитый».

Подпись под снимком: «Все эти знаменитые люди утверждают, что видели НЛО. Насмешки их не трогают... Они твердо верят в то, что видели своими глазами...».

Одна ложь бодро нанизывается на другую. БИЛЬД АМ ЗОННТАГ цитирует астронавта Гордона Купера таким вот манером: «Разумные существа с других планет регулярно посещают нашу Землю, чтобы установить с нами контакт. Во время космических полетов я не раз встречал различные корабли...» Поскольку — видимо, ненароком — астронавт был назван полным именем, а не Гордоном К., журнал «Шпигель» смог навести справки. «Вранье, от первого до последнего слова вранье,— сказал Купер. — Я в жизни такого не говорил. Кто-то высосал весь этот бред из пальца».

Стоит ученым обнаружить где-нибудь в отдаленном уголке галактики физически почти необъяснимый феномен (скажем, умирающая звезда летит по направлению к Земле, потом опять удаляется, оставляя позади огромное облако-шлейф), БИЛЬД тут как тут: «МЕРТВАЯ ЗВЕЗДА МЧИТСЯ К ЗЕМЛЕ!» Рядышком «научный» чертеж с

крохотной Землей и исполинским огненным чудищем, которое уже завтра нас всех... Несколько миллиардов лет, минувших с того момента, когда разыгралась сия «космическая драма», свет которой только теперь достиг Земли, не в счет: люди должны трястись от страха *сейчас, сию минуту*.

Долгое время читателей потчевали кометами, грозящими уничтожить Землю. В разгар вьетнамской войны БИЛЬД писала отнюдь не об американцах, которые намеревались бомбами и напалмом *загнать назад в каменный век* целую страну,— нет, главная опасность опять-таки шла из немыслимой космической дали. Аршинный заголовок: «ГИГАНТСКАЯ КОМЕТА МЧИТСЯ К ЗЕМЛЕ». И тут же рядышком НЛО: «ПЕРВЫЙ НЛО ПОТЕРПЕЛ КРУШЕНИЕ В АМЕРИКЕ? ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ: В АРИЗОНСКОЙ ПУСТЫНЕ НАЙДЕН НЛО, ЭКИПАЖ БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗ».

«ЗЕЛЕНОГЛАЗЫЕ, БЕЗНОСЫЕ — ОНИ ВЫШЛИ ИЗ НЛО И ПОХИТИЛИ МЕНЯ!» — Профессор обследовал очевидцев под гипнозом — это правда. «ПУРПУРНЫЙ НЛО ПРЕПЯТСТВОВАЛ РАДИОСВЯЗИ». «ТРИ НЛО ВЫСЛЕЖИВАЮТ НАС!». Конечно же, НЛО, а не федеральная разведслужба, не Ведомство по охране конституции и не бильдовские соглядатаи.

БИЛЬД СРАЖАЕТСЯ — НО ПРОТИВ ВАС

БИЛЬД СРАЖАЕТСЯ ЗА ВАС!

Дорогие читатели! Вы попали в беду? С вами обошлись несправедливо? Вас донимают заботы, которых в одиночку не одолеть? Пишите нам в раздел «БИЛЬД сражается за вас!». По мере сил мы попробуем как можно скорее вам помочь.

Наш адрес: «БИЛЬД сражается за вас!»
2, Гамбург, 36, аб. п/я 304630

БИЛЬД — «последняя надежда» покинутых и беззащитных, обманутых и униженных, отчаявшихся и оскорбленных. Такими посулами БИЛЬД внушает людям доверие к себе, пробуждает в них теплые чувства и формирует преданную и благодарную читательскую аудиторию. «Храните нам верность!» — призывала газета в 1978 году во время забастовки печатников, словно речь шла ни больше ни меньше как о священных узах брака. А когда после перерыва вышел наконец очередной номер, прочувствованно благодарила: «Спасибо, что остались нам верны».

В одном из бильдовских комментариев «боевой листок» сам себя нахваливает: «Нам есть чем гордиться. Кому только не помогали публикации из «БИЛЬД сражается...»; среди наших клиентов — представители разных слоев общества, люди разного имущественного положения, разных возрастов: это и врачи, у которых не было своего специального журнала, и дети, у которых пропала собака, и семья, которой едва не пришлось вырубить свою маленькую экзотическую рощу...».

Каждую неделю в редакцию обращаются с сотнями просьб о помощи. За последние пять лет их поступило в общей сложности триста восемьдесят тысяч. Как правило, от просителей отделываются шаблонными отписками. Но нередко бывает и так: бильдовцы в самом деле звонят, скажем, в какую-нибудь контору и добиваются устранения крохотной несправедливости — только бы не касаться крупных правонарушений.

Если же некто обращается в БИЛЬД с проблемой по-настоящему серьезной, он должен помнить, что тем самым полностью отдает себя во власть «своих защитников», бильдовских «борцов за вас».

Школьница Д. Ф., постоянная читательница БИЛЬД, прислала в «свою газету» следующее письмо:

«Глубокоуважаемая БИЛЬД!

Мне восемнадцать лет, я училась в реальном училище... После долгих поисков мне удалось договориться с Франкфуртской телефонной станцией, что с сентября 1978 года меня возьмут на работу. Но я пропустила несколько дней занятий, и теперь училище не дает мне свидетельства об окончании. А телефонная станция согласна предоставить место лишь по предъявлении этого документа. Разве можно лишать человека аттестата только за то, что он пропустил несколько уроков? Училище ставит под угрозу все мое будущее. Я в отчаянии, не знаю, что делать. Поэтому обращаюсь

к вам и очень прошу помочь мне получить нужный документ. Заранее благодарю за содействие.

С искренним уважением

Д. Ф.»

Франкфуртская БИЛЬД тотчас учуяла «материал» и отрядила к доверчивой девушке двух ловких репортеров. Те, разумеется, тут же выманили у нее фотографию: «Это нам для архива. Раз уж мы помогаем, надо хотя бы знать, как выглядят наши подопечные».

Несколько дней спустя девушка увидела в газете свой портрет, а рядом заметку с огромным заголовком: «САМАЯ ЛЕНИВАЯ УЧЕНИЦА В СТРАНЕ...»

Вместо выпускного свидетельства — испорченная репутация, вот чего «добилась» БИЛЬД.

Deutschlands faulste Schülerin . . .

. . . schwänzte von 90 Schultagen 54

. . . sitzt lieber mit dem Freund im Café

САМАЯ ЛЕНИВАЯ УЧЕНИЦА В СТРАНЕ...

...из 90 учебных дней прогуляла 54
...лучше посидеть с приятелем в кафе

Франкфурт, 28 июня

подпись под фото справа: Директор училища Ганс Зенклер: «Я упрекаю себя в том, что не уделял ей достаточно внимания».
подпись под фото слева: Прогульщица Дагмар Ф... влюблена в техника-связиста — и ненавидит школу...

Каждое утро школьницу Дагмар Ф. (18 лет) будит подслеповатая бабушка: «Детка, скоро в школу!» Дагмар поворачивается на другой бок. Через полтора часа бабушка заглядывает снова («Детка, ну в самом деле пора!»). Дагмар отвечает: «Бабуля, но я ведь уже была там!»

Дагмар, пожалуй, самая ленивая ученица во Франкфурте: Из 90 учебных дней за этот год она прогуляла 54.

Ей даже плохих оценок не ставят, она попросту не ходит на занятия. Поэтому в ее выпускном свидетельстве за десятый класс по всем предметам выведено: «Аттестовать нельзя».

И никого не волнует, что Дагмар не ходит в школу? Ее классный наставник Ганс Зенклер (39 лет) говорит: «Я не раз беседовал с ее матерью. Но я почти ничего не могу сделать, она ведь совершеннолетняя».

Сама же Дагмар заявляет: «Школа уже давно не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Лучше уж посидеть с приятелем в кафе. Ему двадцать восемь, позже я выйду за него замуж».

«Из-за заметки в газете,— писал Шпрингеру адвокат школьницы,— она не получит даже места неквалифицированной работницы».

Шпрингеровское издательство адвокату Д. Ф.:

«Вы дали гарантию, что иск будет заблаговременно отозван до начала сессии земельного суда во Франкфурте 9.11.78. В конечном счете я исхожу из того, что относительно этой внесудебной мировой сделки как Ваша подопечная, так и мы будем хранить молчание. Соответствующую сумму в пять тысяч марок я распорядился сегодня же перечислить на Ваше имя».

А вскоре юридический отдел концерна смог сообщить бильдовскому шефу Принцу, что «дело, слава богу, улажено»...

О ВЛАСТИ КОНЦЕРНА

«АКТЕР Х. (ХСС): У МОЕЙ ЖЕНЫ СЛИШКОМ ЛЕВЫЕ ВЗГЛЯДЫ — РАЗВОД» «ПОЧЕМУ ТЫ НЕ БОРЕШЬСЯ ПРОТИВ БЕСЧЕЛОВЕЧНОЙ ВЛАСТИ КОНЦЕРНОВ?» — СКАЗАЛА ОНА.

После шести лет брака известный актер Х. разводится со своей женой А. (31 год), потому что у нее «слишком левые политические взгляды». Х. (его партия — ХСС) рассказывает: «Мне только не хватало слушать левацкие бредни собственной жены!» А. работает в Мюнхене учительницей старших классов. «Полгода назад,— продолжает актер,— она завела себе новых друзей — из леваков. И набралась от них прямо-таки невероятных идей. Уже за завтраком от нее можно было услышать: «Почему ты не интересуешься политикой и не борешься против бесчеловечной власти концернов?» — «Что же, мне идти на улицу демонстрировать? — спросил я.— Брось ты эти дурацкие фантазии!..» Когда же она стала превозносить коммунистический Китай и объявила, что-де «капитализм лишает нас свободы», мое терпение лопнуло».

Полгода спустя, после развода, эта заметка вторично появилась на первой полосе БИЛЬД, почти без изменений.

БИЛЬД, разумеется, назвала полные имена актера и его жены да еще опубликовала фотографию. Глубоко же БИЛЬД запускает руки в сферу личных отношений, которая никоим образом ее не касается, пусть даже муж в самом деле такой доносчик,

каким он предстает в бильдовской заметке: этому типу мало развода, он намерен еще и подвести жену — учительницу из Баварии — под запрет на профессию и обращается за помощью к любителям ворошить грязное белье, состоящим на службе у шпрингеровского концерна. В результате этой бильдовской гнусности у госпожи Х. испортились отношения с коллегами, родители учащихся, близкие к ХСС, стали смотреть на нее с недоверием; соседи начали сторониться ее матери — жительницы маленького баварского городка, оскорбляли пожилую женщину по телефону.

Но дело-то в том, что актер Х. вовсе не доносил на свою жену. Вот какое письмо он направил шефу мюнхенского отделения БИЛЬД:

«Уважаемый господин Мроц!

1) 21.03 с. г. в мою мюнхенскую квартиру позвонил Ваш редактор Янбек (так мне запомнилась его фамилия) и почти полчаса допытывался о причинах моего развода. Я сказал, что восемь месяцев назад жена меня оставила из стремления к эмансипации, к своего рода самоутверждению, освобождению от уз брака и что развод обусловлен теми же причинами... Господин Я. в своей статье от 22.03.1979 представил мой развод как некое чисто политическое действо. С моей точки зрения, это самое настоящее искажение фактов!

2) Он именует меня сторонником ХСС... А ведь я объяснял, что придерживаюсь «праволиберальной позиции». Точнее же, я центрист, притом весьма либеральный...

3) Высказывания, которые господин Я. приводит в кавычках, выдавая их за мои слова, частично ложны. Моя жена не говорила: «Почему ты не БОРЕШЬСЯ?...» О борьбе у нас вообще речи не было. Насчет «коммунистического Китая» все полностью выдумано. Ни моя жена, ни я сам ничего подобного не говорили. Писания господина Я. — это клевета, если не сказать политический донос. Больше всего на свете я ненавижу именно такие доносы, которые господин Я. приписывает мне. Позвольте заявить Вам самый решительный протест! (...)»

Поправки со стороны БИЛЬД, разумеется, не последовало. Поэтому я предложил учительнице Х. нанять через Фонд юридической помощи жертвам БИЛЬД адвоката для защиты ее интересов. Адвокат сообщил госпоже Х., что, возбудив иск о компенсации ущерба, связанного со столь явным и основанным на фальсификации ущемлением личных прав, вполне можно рассчитывать на успех. Однако госпожа Х. отказалась подать жалобу: из боязни снова стать мишенью бильдовских истязателей.

— Ущерб и без того достаточно велик,— сказала она.— Деньгами его не возместишь. Не будь я учительницей, иными словами — государственной служащей, я бы, может, и рискнула.

Потому-то госпожа Х. не вступает в борьбу против бесчеловечной власти концерна.

А его владелец, Аксель Шпрингер, заявляет:

— Ныне я прилагаю максимум усилий к тому, чтобы воспрепятствовать распространению коммунизма. В сущности, я только тем и живу.

И чтоб не сократить срок этой жизни:

«КОММУНИСТЫ ОСТАЮТСЯ ЗА ПОРОГОМ

Тридцатилетняя стажерка Нис, член одной из коммунистических организаций, не может быть принята на службу в баварские государственные учреждения — так решил высший административный суд».

(БИЛЬД, 29.11.1977)

Шарлотта Нис — член СДПГ, а эта партия, насколько ей позволяет БИЛЬД, правит страной. Но для запрета на профессию достаточно одного лишь факта, что стажер-юрист является членом Союза юристов-демократов; руководят СЮД социал-демократы, однако сотрудничают в нем и коммунисты. А раз так — готово дело: ты уже враг конституции, уже коммунист.

ТЕРРОРИСТ

4 августа 1977 года БИЛЬД опубликовала огромный фотопортрет (масштаб 1 : 1), сопроводив его таким текстом:

«Госпожа Понто: «Этот молодой человек — соучастник преступления». По словам госпожи Понто, парень с мягкими чертами лица вместе с Сюзанной Альбрехт и Элеонорой Пёнсген явился с букетом алых роз на виллу Понто, чтобы совершить убийство. Вчера вдова банкира опознала его по этой фотографии, которую полиция обнаружила во Франкфурте, в одном из гнезд террористов».

Миролюб Пётрович, югославский рабочий, проживающий в Лангенхорне (Гамбург), пришел в ужас, увидев в газете свою фотографию да с таким текстом. Что же с ним, иностранцем, теперь сделают? Надолго ли посадят в тюрьму? Когда фирма уволит его с работы? Ведь будто и нет ни малейшего сомнения в том, что он убийца,— вдова убитого решительно опознала его, когда полиция предъявила ей фотографию, найденную в некоем «гнезде террористов». Вот как получается.

Однако Миролюб Пётрович скрываться не стал. Он пошел в полицию. Через два дня его отпустили домой. Пётровичу повезло: он сумел доказать, что в день преступления не был во Франкфурте, не убивал, а, как уже много лет по субботам, был в Нордерштедте (Гамбург), работал. И нашлось достаточно свидетелей, которые смогли это подтвердить. Каким образом его фотография попала в квартиру, где полиция произвела обыск (это и есть бильдовское «гнездо террористов»), сам Пётрович тоже не знал. Негатив хранится в одном из белградских фотоателье, одна копия снимка лежит в югославской паспортной службе, еще несколько — дома у Пётровича.

Mordfall Ponto: Nach den Poensgens wurden sogar Straßen benannt

Г-жа Понто: «Этот молодой человек — соучастник преступления».

Скверно уже то, что федеральное управление уголовной полиции (УУП), найдя фотографию у одного из подозреваемых, то есть отнюдь не изобличенных лиц, передало ее прессе с ремаркой, что на снимке изображен «неизвестный молодой человек, чье фото попало в руки полиции во время обыска, связанного с преступлением»,— сообщила шпрингеровская «Ди вельт». А шпрингеровская «Гамбургер абендблат» писала: «Фотографии этого парня и Адельхайд Шульц были предъявлены Инес Понто, вдове банкира. Что сказала по этому поводу госпожа Понто, УУП не сообщает». Так или примерно так писали все газеты, кроме БИЛЬД, которая уже «изобличила» убийцу. Даже уполномоченный УУП по связи с прессой Ганс-Георг Фукс возмутился: «Это жуткая бильдовская утка!» А насчет мнимого заявления госпожи Понто («Этот молодой человек — соучастник преступления») Фукс сказал: «Госпожа Понто ничего подобного никогда не говорила».

5 августа все газеты забили отбой. БИЛЬД тоже внесла «поправку»: рядом с фотографией Пе́тровича — на сей раз величиной с почтовую марку — она поместила заметочку о том, что Пе́трович не имеет отношения к убийству. Одновременно БИЛЬД спихнула всю ответственность на полицию, которая-де ошибочно приняла Пе́тровича за парня, участвовавшего в убийстве Понто. Это, конечно, опять-таки ложь и опять-таки не в пользу Пе́тровича. В действительности полиция никаких подозрений не высказывала, просто хотела установить личность изображенного на снимке человека. Бильдовская же версия запятнала Миролюба Пе́тровича: дескать, полиция подозревала его в убийстве.

И бильдовский розыск убийцы и «опровержение» сделали свое дело: товарищи по работе прозвали Пе́тровича «убийцей», соседи стали чураться его семьи, живущие в Югославии родные, прочитав БИЛЬД — к сожалению, это возможно и там,— пришли в ужас. Понадобились многодневные переговоры по телефону, чтобы хоть как-то унять страсти.

И еще раз Пе́тровичу повезло. Главный редактор маленькой нордерштедтской газетки «Хайматшпигель» рискнул поручить своей сотруднице Хильде Остхаус-Ферман расследовать это дело и написать о нем. Другая газета того же издательства, выходящая в Лангенхорне и Фульсбюттеле (Гамбург) — «Локальанцайгер»,— перепечатала историю Пе́тровича, опозоренного БИЛЬД; таким образом, и товарищи по работе, и соседи все же узнали правду. К несчастью для БИЛЬД, потому что Миролюб Пе́трович воспрянул духом: 24 августа он подал в Гамбургский земельный суд жалобу на издательство Шпрингера с требованием выплатить компенсацию.

24 ноября бильдовский юрист Ганс-Зофус Витт дал ответ: «Тот факт, что газета БИЛЬД особо крупным форматом напечатала фото истца, ничего не доказывает... Кстати, именно помещенная в БИЛЬД фотография способствовала тому, что истец обратил внимание на публикацию и получил возможность обратиться в полицию и внести ясность в это дело». О финансовых притязаниях к Пе́тровичу за услугу, которую оказала ему БИЛЬД, адвокат покуда умолчал.

Что же касается фразы, вложенной в уста госпожи Понто, то «БИЛЬД получила соответствующие данные от федерального управления уголовной полиции». Однако газета не имеет-де возможности назвать имя информанта. Зато все это может засвиде-

тельствовать шеф редакции последних новостей гамбургской БИЛЬД господин Мартин Мирш. Кстати, этот человек то и дело фигурирует в бумагах бильдовских адвокатов. В деле Пёнсген Мирш был упомянут как свидетель того, что из-за раннего подписания номера в печать не удалось включить показания свидетелей защиты, что доставка информации ДПА[1] из телетайпного зала в редакцию БИЛЬД занимает как минимум полчаса, что официальная информация прокуратуры, напечатанная в других газетах, поступила в БИЛЬД «слишком поздно», что главный редактор Гюнтер Принц не редактировал заметку относительно госпожи Пёнсген, и т. д. Мирш засвидетельствует что угодно. Не позавидуешь ему.

Тем не менее для БИЛЬД все кончилось благополучно: выплатив смехотворную подачку в размере 4000 марок, юридический отдел Шпрингера поставил в деле Пётровича точку.

ТЕРРОРИСТКА

3 августа 1977 года бильдовское судилище громогласно оповестило: «Первая террористка схвачена!» Огромная шапка на первой полосе, а ниже текст: «Первый большой успех в розыске убийц банкира Понто: вечером в понедельник во Франкфурте в своей студенческой каморке была арестована двадцатитрехлетняя Элеонора Пёнсген...» На второй странице — история жизни «убийцы», рассказ о ее родных.

А вот о том, что уже объявилось множество свидетелей, клятвенно заверявших, что госпожа Пёнсген имеет твердое алиби — в момент преступления она была на вечеринке,— БИЛЬД покуда словом не обмолвилась.

Лишь неделю спустя редакция БИЛЬД снизошла до факта, что отсутствие госпожи Пёнсген на месте преступления подтверждают пятнадцать свидетелей. Восемь из них даже фигурировали на страницах газеты — фотографии, кое-какие и с адресами...

Казалось бы, кто-кто, а бильдовские деляги должны были смекнуть, что означает тот факт, что федеральная прокуратура вскоре отменила санкцию на арест госпожи Пёнсген и притом не потребовала от нее никаких обязательств. БИЛЬД, однако же, до тех пор продолжала травлю, пока молодая женщина не заболела нервным расстройством, последствия которого ощутимы по сей день. Даже порицание со стороны Федерального совета по печати не образумило бильдовских фанатиков.

Когда 4 сентября 1978 года прокуратура сообщила госпоже Пёнсген: «Дознание против Вас прекращено», все ежедневные газеты, не называвшие Элеонору Пёнсген «убийцей», известили об этом крупными заголовками. Только БИЛЬД, на чьей совести репутация и здоровье Элеоноры Пёнсген, удовольствовалась крохотной информацией: «Дело закрыто».

А вот какие «извинения» БИЛЬД принесла пострадавшей:

— Видите ли, газеты делаются в безумно сжатые сроки. Мы тоже люди, а людям свойственно ошибаться.

Так заявил в телепередаче «Репорт» Ганс Эрих Бильгес, заместитель главного редактора БИЛЬД.

Очень трудно здесь поверить в «человеческие слабости» и уж совсем негоже сваливать всю вину на сжатые сроки и ошибки. Нет таких сжатых сроков, которые не позволяют писать не об убийце, а о подозреваемой в убийстве, никакие сроки не вынуждают называть невинного пособником террористов и растаптывать доброе имя его семьи, сочинять свидетельские показания и превращать свидетелей защиты в возможных соучастников.

Когда Элеонора Пёнсген вчинила издательству Шпрингера и главному редактору БИЛЬД Принцу иск о возмещении убытков и земельный суд в Дюссельдорфе присудил ответчиков к выплате 50 000 марок, ибо БИЛЬД «противозаконно и преступно» ущемляла личные права истицы, тогда как не было «ни малейших улик, подтверждающих ее причастность терроризму»,— Шпрингер и Принц подали апелляцию. Верховный суд земли постановил, что «искаженное представление фактов» в БИЛЬД было «противозаконно и преступно». Однако «в качестве компенсации за значительный ущерб репутации, каковой истица понесла ввиду совершенно неоправданного искажения фактов газетой БИЛЬД, Сенат полагает необходимой и достаточной сумму в 25 000 марок».

Хороша компенсация! Суд отклонил иск Элеоноры Пёнсген против главного редактора Принца и постановил, чтобы издательство Шпрингера выплатило ей лишь половину требуемых 50 000 марок, поэтому Элеоноре Пёнсген пришлось уплатить три четверти судебных издержек, половину внесудебных издержек издательства Шпрингера и все внесудебные издержки главного редактора Принца. Вот как бывает, когда люди делают ошибки, а потом их исправляют.

ДЕЛО ИНГРИД ШТЕНГЕЛЬ

19 октября 1976 года двое молодых людей — Иоахим Мюллер и Андреас Ляйнер — похитили тридцатидвухлетнего Гернота Эгольфа из Хомбурга (Саар). Путем шантажа похитители рассчитывали получить выкуп от семейства Эгольф, которое владеет крупнейшим в Сааре пивоваренным заводом. Чтобы не подвергать жизнь похищенного излишней опасности, полиция наложила вето на распространение информации. Только 26 ноября, когда очередная попытка передать выкуп закончилась неудачей, следственные органы обратились к средствам массовой информации с просьбой объявить о похищении.

[1] ДПА — Телеграфное агентство ФРГ.

Черная Инга наблюдала за агонией.

27 ноября БИЛЬД сообщила: «Похищен наследник саарских пивоваров! Выкуп — два миллиона марок! Убит?»

5 декабря марбургская домохозяйка Ингрид Штенгель позвонила в полицию и назвала имена похитителей. 8 декабря Иоахим Мюллер и Андреас Ляйнер были взяты под стражу. На допросе оба сознались. Похищенный Гернот Эгольф был найден мертвым в разрушенном бункере неподалеку от Хомбурга. Он скончался от голода.

10 декабря Ингрид Штенгель арестовали по подозрению в пособничестве похищению со смертельным исходом и в недонесении о преступном акте. 11 декабря БИЛЬД выходит с огромной шапкой на первой полосе: «ЧЕРНАЯ ИНГА НАБЛЮДАЛА ЗА АГОНИЕЙ». 20 декабря тюремная надзирательница сообщает госпоже Штенгель, что пришел ее адвокат. Госпожа Штенгель приятно удивлена: видимо, муж все-таки не оставил ее в беде.

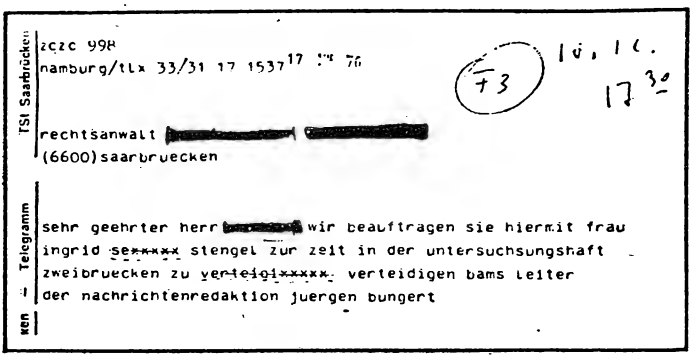
В помещении для свиданий навстречу ей поднялся адвокат Шахер-первый из Саарбрюккена:

— Добрый день, госпожа Штенгель. Если хотите, я буду защищать вас. Или вы предпочитаете, чтобы защитника назначил суд?

Ингрид Штенгель рада, что кто-то захотел наконец ей помочь, но у нее нет денег. Адвоката это, однако же, не волнует:

— Так как, согласны взять меня защитником?

Ингрид Штенгель соглашается. Тогда он показывает ей телеграмму:


TSt Saarbrücken
zczc 998
namburg/tlx 33/31 17 1537 17 [illegible] 76
+3
10.12.
17 30
rechtsanwalt [redacted]
(6600) saarbruecken
Telegramm
sehr geehrter herr [redacted] wir beauftragen sie hiermit frau ingrid se[redacted] stengel zur zeit in der untersuchungshaft zweibruecken zu ver[redacted] verteidigen bams leiter der nachrichtenredaktion juergen bungert
ken

Гамбург/телекс 33/31 17 1537 17.XII.1976
Адвокату
(6600) Саарбрюккен
УВАЖАЕМЫЙ Г-Н СИМ ПОРУЧАЕМ ВАМ ЗАЩИТУ Г-ЖИ ИНГРИД ШТЕНГЕЛЬ НАХОДЯЩЕЙСЯ ДАННЫЙ МОМЕНТ СЛЕДСТВЕННОЙ ТЮРЬМЕ ЦВАЙБРЮККЕН ТЧК ЗАВ РЕДАКЦИЕЙ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ
ЮРГЕН БУНГЕРТ

Адвокат Шахер-первый пишет на телеграмме: «Предложение принято» и велит Ингрид Штенгель расписаться. Кто нанял адвоката и что означает сама телеграмма, она в тот момент не поняла. Лишь позднее ей становится ясно, во что она ввязалась. Шахер объясняет: все полученные от нее сведения будут переданы его нанимателям, которых интересует личная жизнь подзащитной.

Ингрид Штенгель соглашается, у нее нет другого выхода — ведь она беспомощна и одинока. Муж, кадровый военнослужащий бундесвера, отец двоих ее детей, знать ее больше не хочет. В начале октября Ингрид Штенгель, познакомившись в марбургской дискотеке с Иоахимом Мюллером, влюбилась в него. Вплоть до конца ноября Мюллер не раз приезжал в Марбург, а в первых числах ноября Ингрид Штенгель побывала у него в Хомбурге.

Опереться Ингрид Штенгель не на кого, единственная «опора» — адвокат Шахер-первый, который продает ее БИЛЬД. На сделке наживаются БИЛЬД и Шахер, заключившие между собой договор.

ДОГОВОР

Издательство «Аксель Шпрингер и сын», 2. Гамбург, 36. Кайзер-Вильгельм-штрассе, 6. именуемое в дальнейшем «Издательством», и г-н адвокат... Саарбрюккен (его подзащитная г-жа Ингрид Штенгель, находящаяся ныне в следственной тюрьме Цвайбрюккен) заключают нижеследующее соглашение:

1. Предмет соглашения — жизнеописание, показания на следствии и частные фотографии г-жи Ингрид Штенгель (например, жизнеописание — фотографии — разрешение на фотографирование — публикация снимков)... в газете БИЛЬД АМ ЗОННТАГ.
2. Права на публикацию материалов, указанных в п. 1 настоящего договора, принадлежат исключительно Издательству. Ввиду этого г-жа Инга Штенгель (и соответственно г-н адвокат) не будет предлагать или уступать другой газете/журналу или иным органам печати данные или аналогичные права вплоть до истечения четырехнедельного срока с момента окончания ожидаемого судебного процесса.
3. Г-жа Инга Штенгель гарантирует Издательству, что оно/она является единоличным/ой владельцем/владелицей авторских прав и/или прав на использование фотографий, документов и т. п.
4. Предъявление личных прав места не имеет.
5. Г-ну адвокату за права на публикацию материалов, указанных в п. 1 настоящего договора, причитается единовременный гонорар в размере 6000 марок. Условия выплаты: вся сумма (6000 марок) после публикации. Этим гонораром удовлетворяются все претензии, связанные с публикацией в одном из органов издательства.

Гамбург
23.12.1976

Подписи

За шесть тысяч марок личные права Ингрид Штенгель сменили владельца. Отныне она целиком и полностью принадлежит БИЛЬД АМ ЗОННТАГ. Ее адвокат теперь — прежде всего бильдовский репортер. На вопросы подзащитной о подробностях дела он отвечает, что, по-видимому, надо рассчитывать на 5—10 лет тюрьмы. Сколько бы госпожа Штенгель ни уверяла, что сочла рассказы Мюллера о похищении пустым хвастовством, Шахер твердит одно:

— Э-э, бросьте! Я эту песню тысячу раз слышал: все всегда начинают оправдываться. И потом, читатели этого знать не желают.

В «исповеди», сочиненной для БИЛЬД АМ ЗОННТАГ от имени Ингрид Штенгель, он приписывает ей такую фразу: «Разумеется, я примирюсь с наказанием за любую уголовно-правовую провинность».

Когда Ингрид Штенгель отказывается говорить о своей личной жизни, Шахер напоминает ей о договорных обязательствах: придется, мол, выложить кое-какие подробности, ведь надо же чем-то завлечь читателя. А кроме того, рассказывает Ингрид Штенгель, «он то и дело повторял, что, сказавши «а», нужно сказать и «б»; я, дескать, надкусила яблоко и теперь должна его съесть, и нельзя требовать, чтобы снова вычеркнули как раз то, что интересует читателя. Там, правда, упоминалось такое, чего в действительности никогда не было и что мне только вредило. Тогда я сказала, что так не годится — я ведь пока под арестом. «Все это будет опубликовано, когда вы уже будете на свободе,— уверял он. — Им ведь просто нужны ваши фотографии».

На 11 января 1977 года суд назначил проверку обоснованности содержания обвиняемой под стражей. Ингрид Штенгель выпускают из тюрьмы. Когда наутро она покидает Цвайбрюккен, на пороге ее встречает бильдовский репортер. Он старательно внушает молодой женщине, что теперь за ней охотятся другие газеты и что им с коллегой поручено оградить ее от преследований.

Пять дней спустя Ингрид Штенгель впервые видит, во что превратили ее Шахер и БИЛЬД АМ ЗОННТАГ,— «история жизни», рассказанная от первого лица, заголовок серии «Я БЫЛА ЛЮБОВНИЦЕЙ ПОХИТИТЕЛЯ» и подзаголовки типа «От постели к преступлению».

Ингрид Штенгель в ужасе звонит адвокату. И Шахер спокойно объясняет, что раз уж она связалась со Шпрингером, то хочешь не хочешь должна примириться с последствиями.

Через десять дней БИЛЬД наконец выпускает жертву из своих когтей, и впервые с Ингрид Штенгель говорят мало-мальски начистоту — предупреждают, что ей следует по-прежнему скрываться. Бильдовские репортеры прекрасно знают, что натворили: отныне их жертва — «меченая», и покоя ей не видать. Кем бы она ни была в действительности, для окружающих она останется «Черной Ингой», то есть чудовищем, которое наблюдает за агонией, наблюдает «с удовольствием и животным наслаждением».

Муж осыпает Ингрид Штенгель бранью, родители, братья и сестры отрекаются от нее — ведь она преступница, «безвольная шлюха». Неизвестные лица звонят ей по телефону и советуют убраться из Марбурга. Ей угрожают публичным избиением. Муж подает на развод, и брак объявляется расторгнутым.

В довершение всего Ингрид Штенгель лишают родительских прав и даже отказывают в разрешении видеться с детьми. Она снимает комнату, пытается найти работу. И находит, но ее быстро опознают и — увольняют, трижды.

Ингрид Штенгель впадает в апатию, опускается — и физически, и морально. Несколько раз она безуспешно пытается покончить с собой. По ее собственным словам, она «вязнет в трясине», попадает в психиатрическую лечебницу. Время идет — она берет себя в руки, начинает посещать среднюю реальную школу. Но обвинение все так же тяжким грузом давит на плечи. Ингрид Штенгель сидит на лекарствах, у нее открывается язва желудка. Снова и снова она просит адвоката Шахера о помощи. А тот отвечает только одно: «Сказавши «а», надо сказать и «б».

Приближается судебное разбирательство. У Ингрид Штенгель нет больше сил сопротивляться. Она и сама уже поверила, что является преступницей. И ждет приговора как минимум к пяти годам тюрьмы. Еще раз она пытается получить разрешение на свидания с детьми. Однако же власти приобщили к делу статьи из БИЛЬД и БИЛЬД АМ ЗОННТАГ и вновь ответили отказом.

Ингрид Штенгель в полном отчаянии, у нее опускаются руки, и как раз в это время одна из подруг советует ей обратиться в Фонд юридической помощи жертвам БИЛЬД. Получив там консультацию, Ингрид Штенгель едет в Саарбрюккен, чтобы задать адвокату Шахеру-первому несколько вопросов:

— Почему я ни разу не видела всех документов, а БИЛЬД ими располагает?

— Вы обещали уступить мне остаток бильдовского гонорара. Я совсем без денег, а они очень мне сейчас нужны для оплаты гостиницы и проезда. Или вы можете обеспечить меня жильем?

— БИЛЬД уже вынесла мне обвинительный приговор. Почему вы это допустили?

О том, что случилось после этого, Ингрид Штенгель рассказывает так: «*Он молча выслушал меня. Потом вдруг вскочил, отшвырнул кресло, указал мне на дверь, распахнул ее да еще что-то выкрикнул вдогонку*».

За десять дней до начала процесса Ингрид Штенгель отказалась от услуг бильдовского адвоката и пригласила в защитники саарбрюккенского юриста Клауса Йона. Однако Йон тоже оказался бессилен и не сумел уберечь свою подзащитную: пока идет судебное разбирательство, шпрингеровские газеты еще раз обливают ее грязью. БИЛЬД выносит приговор: «Ингрид Штенгель знала о преступлении, но сообщила о нем слишком поздно».

Едва вспыхнувшая в ней воля к сопротивлению начинает вновь угасать. Своему новому адвокату она объясняет, что не видит больше смысла защищаться — все равно посадят лет на пять. Адвокат Клаус Йон предпринимает единственно верный шаг: по его настоянию, суд присяжных выделяет дело Ингрид Штенгель в отдельное производство и отсрочивает разбирательство по нему. Таким образом Йону удается спасти подзащитную из омута сенсационного процесса.

В конце апреля 1979 года в саарбрюккенском суде присяжных начинается слушание дела Ингрид Штенгель, обвиняемой в «пособничестве похищению со смертельным исходом». Процесс тянется больше трех недель. За это время Ингрид Штенгель опять теряет работу. Однако по ходу процесса выясняется, что Ингрид Штенгель даже не подозревала о том, что Гернота Эгольфа держали под замком в бункере и что она никогда не была любовницей похитителя. С Мюллером все для нее было кончено еще тогда, когда она ездила в Хомбург: она убедилась, что он лгал насчет своих денежных обстоятельств. То, что ей инкриминировали как пособничество в смысле уголовного кодекса, по мнению суда присяжных, таковым считать нельзя. Представитель прокуратуры заявляет ходатайство о наказании сроком менее двух лет лишения свободы, защитник Клаус Йон требует оправдания. 22 мая 1979 года саарбрюккенский суд присяжных выносит приговор: несмотря на все бильдовские обвинения, Ингрид Штенгель полностью оправдана, за предварительное заключение ей будет выплачена компенсация. Оправдательный вердикт юридически завершил дело Ингрид Штенгель. Для саарбрюккенского адвоката Клауса Йона это — успех. А для самой Ингрид Штенгель? Она еще раз пробовала добиться разрешения на свидания с детьми. Но покуда постановление суда не вступило в законную силу, власти отвечали ей отказом. Недоверие и антипатия к «Черной Инге» преследуют ее по сей день, и, несмотря на оправдательный приговор, видеться с детьми ей не дозволено. Ингрид Штенгель по-прежнему находится под наблюдением психиатров. С тех пор как закончился процесс, она уже дважды лежала в клинике. Встречая ее на улице, соседи по-прежнему осыпают ее угрозами.

Авторам уничтожающих заголовков из БИЛЬД и БИЛЬД АМ ЗОННТАГ до этого нет дела. Там даже об оправдании не написали. Процесс «не дал результатов, на которые мы рассчитывали». Пусть жертва растоптана, пусть она хоть сдохнет — у бильдовских «ответственных лиц» не дрогнет рука. Им некогда — они уже раздувают следующую историю.

(Окончание следует)

◆

ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ

ДЕЛАТЬ ФИЛЬМ

Перевод с итальянского Ф. М. ДВИН

V

Почему я рисую персонажей своих фильмов? Почему делаю наброски лиц, носов, усов, галстуков, сумочек, ног, так или этак положенных одна на другую, людей, заходящих ко мне в бюро?

Я уже, кажется, говорил, что для меня это способ подступиться к фильму, заглянуть ему в лицо, чтобы узнать, что он собой представляет; попытка что-то зафиксировать, пусть это будет какая-нибудь мелочь, пустяк, но все же имеющий, на мой взгляд, какое-то отношение к картине, хоть намеком говорящий мне о ней; а может, это просто предлог для установления каких-то с ней контактов, уловка, позволяющая ухватиться за идею или, вернее, закрепить ее. По правде говоря, я не умею подводить теоретическую базу под свои причуды, не умею приводить в стройную систему ритуалы, сопровождающие мою работу, поскольку это все и есть сама моя работа; к тому же, все фильмы очень разные, у каждого свой характер, свой темперамент и, следовательно, свой способ устанавливать с тобой отношения: одни прикидываются этакими нерешительными, скромными, но их способность затягивать тебя — штука весьма коварная, поскольку все происходит незаметно; другие норовят захватить тебя врасплох — как утратившие чувство меры приятели, которые шутки ради переодеваются, чтобы ты их не узнал: иные идут на сближение бесцеремонно, обнаруживая яростную, неуемную и заразительную жизнеспособность; но бывают и такие, отношения с которыми с самого начала приобретают характер опасной и выматывающей силы схватки — такие фильмы завладевают тобой без остатка, ибо союз с ними, заключаемый невесть в каких глубинах, не подлежит ни обсуждению, ни контролю.

Есть один фильм, я хочу сказать — идея, чувство, предощущение фильма, — с которым я ношусь уже пятнадцать лет, а он все никак не дается в руки, не удостаивает меня своим доверием, не раскрывает своих намерений. Каждый раз, как только я заканчиваю какую-нибудь работу, он неизменно дает о себе знать, словно желая напомнить, что теперь наступил его черед: какое-то время он держится где-то рядом, выжидая, но в одно прекрасное утро — глядь, а его и нет. И каждый раз, когда это случается, я даже радуюсь: слишком уж он серьезен, ответствен, суров, родства между нами пока нет, а если оно когда-нибудь и возникнет, то еще неизвестно, кто из нас двоих к тому времени изменится. Не помню, чтобы мысль об этом фильме вылилась в какой-нибудь рисунок, в какие-нибудь каракули; ясно, что когда у него самого появится желание со мной сотрудничать, он даст мне об этом знать иным способом.

Порой я даже начинаю подозревать, что это не фильм вовсе, а нечто иное, чего я еще не в состоянии осмыслить, и тогда мне становится немножко не по себе, но как утешение тут же является мысль, что, вероятно, это всего-навсего фильм-лоцман, этакий своеобразный призрак-проводник, чье назначение — подсовывать мне другие истории, другие образы: и действительно, как только он исчезает, вместо него неизменно остается другая, реальная картина, которой я и начинаю заниматься.

Однажды, очень давно, мне приснился сон, возможно как-то связанный с этим фильмом-химерой, а вернее, с моим отношением к нему: он и притягивает меня к себе, и отпугивает, наполняя душу то восторгом, то скепсисом, в общем, с самого начала то влечет, то отталкивает. Те же противоречивые чувства я испытывал к таинственному китайцу, прибывшему глубокой ночью на колоссальном самолете, в котором было множество пассажиров. Я — начальник аэропорта и сижу за своим столом в огромном пустом помещении. Через стеклянные стены видны подсвеченные взлетно-посадочные полосы, усеянное звездами небо и громоздкий силуэт

Продолжение. Начало см. в № 9.

только что приземлившегося самолета. Как начальник аэропорта я возглавляю также иммиграционную службу и, следовательно, должен выдавать въездные визы пассажирам. Я приступаю к делу, но тут мое внимание привлекает один из прибывших, и я оказываюсь всецело в его власти. Он стоит одиноко в сторонке, кутаясь в потрепанное, некогда роскошное кимоно, в котором он похож то ли на жреца, то ли на нищего. Багажа у него нет. Легко и как-то торжественно китаец приближается к моему столу, и вот он уже передо мной — руки спрятаны в широкие рукава, глаза закрыты. Я вглядываюсь в его лицо — лицо восточного человека, не то аристократа, не то парии; волосы у него сальные, грязные, от него дурно пахнет промокшим тряпьем, гнилыми листьями, какой-то гадостью; но вся его фигура дышит благородством, меня оно притягивает и пугает. Человек этот может быть королем или святым, но с таким же успехом — и цыганом, и бродягой, которого долгие годы унижений и нищеты сделали равнодушным к презрению окружающих. Какое-то непонятное чувство тревоги, беспокойства сжимает мне горло, лишает уверенности в себе, заставляет мое сердце биться учащенно. Я знаю, чужеземец ждет моего решения, но он не задает никаких вопросов, ни о чем не просит, вообще молчит. Моей неуверенности, моему все возрастающему беспокойству он безмолвно противопоставляет неоспоримый факт своего прибытия, своего присутствия. Дело теперь уже не в нем, а во мне: от него требовалось лишь прибыть — и вот он здесь. Это мне нужно решать, впустить его или нет, дать ему визу или отказать. Ощущение, что все обстоит именно так, а не иначе, усиливает мою тревогу, мое беспокойство. Я пускаюсь на какие-то лицемерные отговорки и ребяческую ложь; лепечу, что я не настоящий начальник аэропорта, что решение зависит не от меня, я, мол, подчиняюсь другим, более важным и компетентным лицам, которые решают, что нужно делать. А я что, я простой служащий. Стыд, жалость к самому себе заставляют меня опустить голову, я не знаю, что сказать еще, и тут мой растерянный взгляд падает на стоящую на столе маленькую табличку: «Начальник». Наступает гробовое молчание, пассажиры — где-то там, в глубине зала,— сливаются в одну немую бесформенную массу. Я все не осмеливаюсь поднять голову. Мне кажется, что прошло очень много, слишком много времени — целая жизнь. Медленно и старательно я формулирую во сне вот какую мысль: «Чего я больше страшусь? Увидеть, что этот таинственный пришелец с Востока, блестящий и запыленный, близкий и недостижимый, все еще стоит и чего-то от меня ждет или что его уже нет?»

Но вернемся к рисункам. Это почти что бессознательное, непроизвольное выписывание на бумаге всевозможных загогулин, шаржированных изображений, гротескных набросков, выглядывающих изо всех углов физиономий, автоматическое вырисовывание сверхсексуальных женских фигур, дряблых лиц кардиналов, горящих свечек, опять-таки грудей и задов и бесконечного множества не поддающихся расшифровке закорючек среди россыпи телефонных номеров, адресов, бредовых стишков, подсчетов суммы налога вперемешку с расписанием свиданий; в общем, вся эта не поддающаяся обузданию графическая пачкотня (сущая находка для психиатра), быть может, как раз и есть тот самый след, та самая ниточка, на конце которой — павильон, включенные юпитеры и первый день съемок.

Но если отказаться от тщетных попыток как-то осмыслить все это с помощью всяких несерьезных, произвольных допущений, то, пожалуй, надо сказать, что я всегда, сколько себя помню, что-нибудь малевал на любом подвернувшемся под руку листке бумаги. Это своего рода условный рефлекс, чисто автоматическое занятие — вечная моя мания, и не без чувства некоторой неловкости должен признаться; что был в моей жизни момент, когда я намеревался стать художником. Отец носил в своем бумажнике несколько моих рисунков и в поезде [1], завязывая знакомство со своими случайными попутчиками, демонстрировал им эти рисунки с молчаливой, сдержанной гордостью. Еще гимназистом, летом, я, в костюме и при галстуке, с бумагой и коробкой красок под мышкой бродил по пляжу от зонта к зонту, предлагая загоравшим в трусах отдыхающим нарисовать их портретики или шаржи. Карикатуристы, художники, рисовальщики — даже те, что изображают мадонну цветными мелками на асфальте,— всегда производили на меня сильное впечатление и вызывали примерно такое же чувство робкой почтительности, как и актеры (говорю — актеры, хотя следовало бы сказать — актрисы). Я любил заглядывать в студии художников, в их мансарды, целыми днями торчать в неприбранных и продуваемых сквозняками мастерских скульпторов и чувствовал себя там вольготно, как у себя дома. Даже тем обстоятельством, что в свое время мне все-таки удалось получить диплом об окончании лицея в Форли, я обязан одному своему другу-скульптору, научившему меня работать с пластилином: однажды я явился на экзамен (ни разу не заглянув в учебники) с большим чемоданом, в котором у меня, словно в рождественском presepio [2], лежали аккуратно переложенные соломой пластилиновые фи-

[1] Отец Ф. Феллини был коммивояжером.

[2] И presepio — объемное или рисованное изображение библейской сценки рождества Христова (хлев, ясли, фигурка младенца Христа, богородицы, волхвов и так далее).

гурки-шаржи на всех ужасно строгих членов экзаменационной комиссии — во время письменных работ я незаметно наблюдал за ними и делал наброски на черновике сочинения по греческому. В то утро меня перевели в следующий класс с вполне приличными баллами. Более того, хорошее настроение учителей благотворно сказалось и на отметках моих товарищей.

Когда я приехал в Рим, умение более или менее сносно рисовать карикатуры помогло мне продержаться до лучших времен. Поначалу свои рисунки я демонстрировал в ресторанах; поскольку моя ужасная худоба пробуждала, по-видимому, в людях чувство сострадания, каждый, позволявший себя нарисовать, обычно предлагал мне и перекусить с ним за компанию. Одно время я рисовал и рекламные плакаты для витрин магазинов. К этой работе меня привлек художник О. Дж., прозванный «Капоретто»[1] за свою походившую на растерзанный трехцветный флаг бороду — местами красновато-рыжую, местами седую, а под горлом даже зеленоватую. Наше знакомство произошло в закусочной на Виа Урбана, когда мы столкнулись, неся свои тарелки с дымящимся супом к мрачноватого вида громоздкой мраморной стойке. Капоретто выругался, после чего мы представились друг другу, и я получил приглашение в тот же вечер посетить его студию: кто-то заказал ему картину, на которой помимо прочего надо было изобразить молодого Бетховена, а я, по мнению Капоретто, поразительно походил на композитора. Когда я пришел, он повязал мне шею большущим белым шарфом, растрепал мне волосы (тогда их было еще много) и приступил к работе. Рисуя, художник распевал романсы, и было видно, как его здоровенный розовый язык дергается во рту, словно ошпаренный. Внезапно умолкнув, он подолгу всматривался в мое лицо, прищуривая слегка косящие глаза, потом медленно, многозначительно и даже с каким-то отвращением качал головой или же вскидывал брови чуть не до корней волос, и лицо его в этот момент выражало вселенское удивление, словно я внезапно материализовался перед ним, и он не может понять, что мне вообще нужно в его доме. Капоретто широко разевал рот, словно вынутая из воды рыба, потом сжимал губы в этакий розовый бутон, взгляд его туманился, а то и вовсе угасал, на лице появлялось выражение безнадежной тупости. Все эти идиотские гримасы должны были, по-видимому, повторять черты и выражение лица модели, и мне становилось даже обидно. За Бетховена тоже. Так продолжалось три или четыре сеанса. Капоретто смотрел на меня все более свирепо, а однажды утром окунул большую кисть в банку с краской какого-то мерзкого цвета и добрых десять минут яростно водил ею по холсту, пока не замазал всю картину. С портретом молодого Бетховена было покончено, но мы все равно остались друзьями, а спустя много лет даже работали вместе. Было это в первые суматошные дни после освобождения Рима: кинокартин не выпускали, газет не было, радио находилось в руках союзников. С Капоретто и другими старыми друзьями из редакции «Марка Аврелия»[1] мы открыли «мастерскую карикатуры» под вывеской «Funny Face Shop: Profiles, Portraits, Caricatures»[2] и выполняли карикатуры, портреты и рисунки для приезжавших в Рим американских солдат, которые нескончаемым потоком тянулись в нашу лавочку, превратившуюся в какой-то проходной двор. Мы придумали целую серию картинок и трафаретов, например, таких: американский солдат, убивающий льва в Колизее; американский солдат в лодке на фоне Неаполя выуживает сирену; американский солдат подпирает рукой падающую Пизанскую башню... Каждую такую картинку мы воспроизводили в пятидесяти или сотне экземпляров, оставляя пустое место для лица «героя». Все образцы были собраны у нас в большом альбоме, который мы демонстрировали солдатам. Заказчик выбирал себе сюжет по вкусу, и мы, пристроившись тут же за прилавком, пририсовывали к готовой картинке его лицо. Один мой приятель — звукооператор с киностудии «Скалера» изобрел какой-то клейкий состав, которым мы покрывали маленькие металлические диски, после чего на них можно было записать все, что заказчик хотел наговорить или даже напеть за полторы минуты. В мою задачу входило придумывать тексты для каждого сюжета: «Дорогая мама, вчера в Колизее я убил льва»; «Дорогая Мери, вчера в Неаполе я выудил из моря сирену». Мы заводили Джи-Ай в специально оборудованные кабинки, а через какое-то время они выходили от нас с рисунком и с записанным на пластинке пояснительным текстом. Правда, слушать нашу пластинку можно было только один раз: при вторичном прослушивании иголка сдирала клейкий состав и пластиночка становилась похожей на тарелку со спагетти. Наши расчеты строились на том, что обычно американских солдат отпускали в Рим не больше чем на три дня: первый день они посвящали знакомству с городом, во второй — заглядывали к нам, а на третий — уезжали. Но расчеты эти оправдывались не всегда, и время от времени в лавочку врывался какой-нибудь разъяренный тип и, тыча нам в нос красноватое мочало, вопил: «Ублюдки! Фашисты!» И, конечно, требовал, чтобы ему вернули деньги. Мы не заставляли себя упрашивать и выкладывали денежки со словами: «Sorry.

[1] Капоретто — населенный пункт в Италии, в районе которого во время первой мировой войны (октябрь 1917 г.) итальянская армия была разбита германско-австрийскими войсками. Красно-бело-зеленый — итальянский национальный флаг.

[1] «Марк Аврелий» — название юмористического журнала, в котором сотрудничал Феллини.

[2] «Ателье забавных рожиц: силуэты, портреты, карикатуры» *(англ.)*.

Technical trouble, very sorry» [1]. Атмосфера при этом несколько накалялась — почти как в салунах из ковбойских фильмов.

Как-то вечером в ателье было полно народу, я рисовал, пристроившись где-то в уголке, и вдруг среди всех этих одетых в военную форму солдат, летчиков, канадцев, буров, южноафриканцев, англичан я увидел какого-то штатского в широкополой шляпе — с виду эмигранта — с очень бледным лицом и остреньким подбородком. Это был Росселлини. Мы познакомились с ним перед самой войной в кинокомпании Витторио Муссолини АЧИ-фильм, где он работал уже давно. Меня же тогда только-только приняли в группу сценаристов. Кто-то познакомил нас мимоходом, в коридоре, и он даже сказал несколько приятных слов о моих выступлениях на страницах «Марка Аврелия». Было ясно, что он меня с кем-то путает. Но я, то ли не желая его разочаровывать, то ли потому, что комплименты все-таки слушать приятно, не стал его разубеждать. Тем дело и кончилось. Спустя какое-то время я вновь увидел его — уже в одном из павильонов «Скалеры». Я тогда подрабатывал в журнале «Чинемагадзино», и мне нужно было взять интервью у Греты Гонды [2]. Но актрисы в тот день на месте не оказалось, и, побродив немного по студии, я зашел в какой-то пустынный павильон: там, в уголке, над чем-то бесшумно колдовали несколько человек. Среди них был и Росселлини; он стоял на коленях под маленькими рефлекторами. Я на цыпочках приблизился и в небольшом, сооруженном из кусков сетки и веревочек загончике увидел черепаху, двух мышек и трех или четырех черных тараканов. Росселлини снимал научно-популярный фильм о насекомых, делая по одному кадру в день — работа очень сложная, трудоемкая, требующая великого терпения. Съемки шли уже несколько месяцев. Я посидел тогда с ним немного, просто так, за компанию.

Да, так вот, протискиваясь сквозь всю эту солдатню и показывая знаками, что ему нужно со мной поговорить, Росселлини, наконец, подошел и стал у меня за спиной. В этот момент я рисовал какого-то солдата-китайца, и Росселлини, чтобы создать благоприятную атмосферу, начал делать всякие одобрительные знаки, давая солдату понять, что портрет выходит хорошо. Потом, не переставая следить за моей работой и слегка пригнувшись, чтобы я мог лучше расслышать его в этом гаме, спросил, не хочу ли я принять участие в работе над сценарием о жизни дона Морозини [3]. В то время я был очень занят в мастерской карикатуры; американские солдаты просто засыпали наш стол тысячами оккупационных лир, блоками сигарет, обернутыми вощеной бумагой — лоснящейся и мягкой на ощупь, словно кожа красивой женщины, ярко раскрашенными банками «Soup and vegetables», «roast-beef» [1]... Я хочу сказать, что мне и так жилось неплохо; кино казалось чем-то далеким, не имевшим отношения к нам, итальянцам, особенно в тот момент, когда на экраны стали выходить старые ленты с Гарри Купером и Фредом Астером и новые фильмы со всеми этими Кроуфорд и Харлоу... [2] И потому склонившемуся к моему плечу и продолжавшему что-то шептать Росселлини я отвечал односложно, неохотно, правда, тут еще и китаец, увидев, что я макаю кисточку в пузырек с желтой тушью, начал выказывать признаки нервозности. Росселлини между тем говорил, что ему хотелось бы пригласить на роль дона Морозини Альдо Фабрици [3], а поскольку я с ним знаком, почему бы мне не сходить к нему и не уговорить взяться за эту роль? Ответить я не успел. Китаец, словно кот, вскочил на стол и, размахивая оказавшейся у него в руках бритвой, заорал: «Я не желтый! Я не желтый!» Росселлини попытался осторожно приблизиться к нему, приговаривая по-английски «Вы не желтый! Да-да! Вы не желтый!», но китаец тыкал пальцем в рисунок и кричал еще громче: «Он сделал меня желтым!» Росселлини между тем взволнованно говорил: «Да сделай ты его розовым! Что, у тебя нет розовой краски?» К счастью, в этот момент к нам заглянули двое полицейских, которые и обезоружили разъяренного клиента.

Фильм о жизни дона Морозини с участием Альдо Фабрици назывался «Рим — открытый город».

Таковы, собственно, обстоятельства, таков непредсказуемый и естественный ход событий, которые все вроде бы объясняют и все же дают пищу для размышлений. А разве фильм «Пайза» не заявил о себе так же странно и неожиданно?

Росселлини снимал «Рим — открытый город» в маленьком театре Авиньонцев. Однажды какой-то американский солдат, выйдя из находившегося по соседству публичного дома, зацепился за кабель, упал и расшиб себе нос. Вдрызг пьяный, он с трудом поднялся и, шатаясь и проклиная весь белый свет, пошел вдоль кабеля, яростно пиная его ногами. Так, все пиная кабель, он и ввалился в театр. Растерянный, сердитый, размазывая по лицу кровь, солдат удивленно озирался, таращился на юпитеры, на всех нас, на кинокамеру. Кто-то усадил его в уголке, одна из костюмерш стала прикладывать ему к носу лед. А когда солдату объяснили, что здесь идет съемка фильма, он вдруг просиял. Мешая английские слова

[1] Как жаль. Технические неполадки. Очень жаль (*англ.*).

[2] Грета Гонда (род. в 1917 г.) — популярная австрийская киноактриса.

[3] Дон Морозини, Джузеппе (1913—1944) — священник, патриот, один из организаторов движения Сопротивления в Риме. Расстрелян нацистами.

[1] Овощной суп, ростбиф (*англ.*).

[2] Гарри Купер, Фред Астер, Джоан Кроуфорд, Джин Харлоу — голливудские звезды.

[3] Альдо Фабрици (род. в 1905 г.)—итальянский актер театра, кино, эстрады.

с итальянскими, солдат весело, напористо, со свойственной пьяным горячностью стал говорить, что он и сам продюсер, известный американский продюсер. И даже представился: «Меня зовут так-то и так-то, я уже сделал то-то и то-то, и все благодаря собственному нюху, благодаря вот этому большому носу, которым, как видите, господь бог меня не обидел!» Солдат удовлетворенно ухмылялся, покачивая головой, как Джимми Дуранте [1], даже носище, из которого все еще капала кровь, был у него такой же. «Чтоб он у меня отвалился, если здесь не пахнет серьезным успехом. То, что снималось сейчас у меня на глазах, просто потрясающе!» И он стал обнимать Росселлини, Марию Мики [2], осветителей и мальчика, принесшего в этот момент из бара наш заказ. Но солдат хотел угостить нас сам и потому велел притащить еще чего-нибудь и все продолжал восторгаться, сыпать обещаниями, строить грандиозные планы.

Когда мы каким-то чудом этот фильм все-таки закончили, наш носатый симпатяга был в числе первых его зрителей. После просмотра у него блестели глаза. Солдат медленно направился к экрану, но в этот момент свет в зале погас: киномеханики, уходя, выключили рубильник. Но наш приятель не растерялся — в полной темноте прерывающимся от волнения голосом он сказал, что готов отдать все когда-либо сделанные им, опытным продюсером, фильмы за любой кадр картины, которую он только что увидел. Это историческая дата, заявил он, сегодня кинематограф обрел, наконец, зрелость. Когда кому-то из нас удалось все же отыскать дверь и в зал проникло немного света из коридора, мы бросились обниматься и целоваться. Все плакали. Потом наш знакомый уехал и увез с собой наш фильм в Америку. Оказалось, что он никакой не продюсер и никогда им не был. У себя в Америке он пробавлялся тем, что оформлял рекламу в газетах, о чем мы узнали чуть позже, когда благодаря Росселлини — а может быть, в какой-то мере и собственному носу — он действительно сделался известным продюсером. Во всяком случае в Италию он вернулся продюсером нового фильма Росселлини, который мы снимали под условным названием «Пайза».

VI

Вместо разрозненных заметок, которые я тебе обещал, попробую пока вкратце изобразить, как мне все это видится. Значит, так: один человек (писатель? представитель какой-нибудь свободной профессии? театральный импресарио?) из-за не очень серьезной болезни вынужден на какое-то время изменить свой привычный образ жизни. Это, как говорится, первый звонок: что-то в его организме дало сбой, и теперь ему нужно смирненько посидеть две недели в Кьянчано. Я уже много рассказывал тебе об этом курортном городке, так что тут тебе все ясно.

Наш персонаж подзапутался, ситуации, в которые он попадает, порой очень тяготят его, но выхода он не видит. У него есть жена. Есть любовница. И бесконечное множество связей, в которых он бьется, как муха в паутине; но не будь их, он, вероятно, ощутил бы мучительную пустоту, нет у него в жизни, пожалуй, совершенно ничего, за что можно было бы зацепиться. И плывет он по течению, хотя такая жизнь уже и ему самому начинает казаться каким-то страшным бредом, бессмысленным, бесцельным. Но к чему пытаться навести во всем этом порядок? Разве истинный смысл существования не в том, чтобы в меру своей жизнеспособности подключиться к этому своеобразному фантастическому хороводу, заботясь лишь о том, чтобы попасть в нужный ритм?

В Кьянчано наш герой лечится минеральной водой, много спит (и сны видит словно по заказу), как всякий порядочный курортник, прогуливается по улочкам городка (кинотеатр, ночные аукционы, бильярдные, маскарады), изредка разнообразя эту жизнь экскурсией в какой-нибудь из находящихся поблизости древних городков (замки, виллы Медичи, средневековые аббатства, сказочные гроты).

Таким образом, день его проходит как бы в двух планах — в реальном: встречи в отеле и у источников, друзья, приезжающие к нему из Рима, любовница, которую он прячет в другом отеле, жена, явившаяся в один прекрасный день и оставшаяся, чтобы скрасить его одиночество,— и в фантастическом: сны, игра воображения, воспоминания, посещающие его всякий раз, когда нам это нужно.

Таким образом, у нас уже есть:

Реальный план. Врач курортной лечебницы. Этот персонаж появится в начале фильма: врач войдет в комнату нашего героя, когда тот еще спит и ему снится, будто он летает над Амстердамом. Врач очень молод, очень серьезен и очень торопится. Осмотр он производит с профессиональной отстраненностью, без искры человеческого участия. Взглянув на рентгеновские снимки, выслушивает пациента, быстро пишет, сколько, когда и как принимать минеральных ванн и сеансов грязелечения. Из их разговора мы можем почерпнуть некоторые важные сведения о нашем персонаже (имя, фамилия, возраст, семейное положение, профессия); мы узнаем также, кто его отец, мать, какими болезнями он переболел, в общем, все, что знать никогда не мешает. Этого доктора мы, возможно, еще увидим. А может, и нет.

Любовница. Разумеется, это толстозадая белотелая красотка с маленькой головкой. Спокойная, добродушная, ну, не любовница, а просто клад: и не назойливая, и скромница, и покладистая. Она замужем, о своем муже говорит с большой нежностью и мечтает, чтобы наш

[1] Джимми Дуранте — популярный американский киноактер-комик.

[2] Мария Мики (род. в 1921 г.) — итальянская киноактриса.

герой пристроил его на хорошее место. Это типичная итальянская буржуазка, которая все (холодильник, телевизор) покупает в рассрочку, не задумывается о проблемах морали, охотно показывает всем фотографию своей обожаемой дочки. Она с радостью согласилась приехать в Кьянчано, так как надеется хоть три-четыре дня пожить в дорогом отеле, побыть на людях, сходить в кино или в театр с нашим героем, который, однако, уже раскаялся в том, что вызвал ее к себе, но не может собраться с духом и попросить ее уехать. Отношения, связывающие его с кроткой пышкой, строятся на неопределенном чувстве физического благополучия, какое бывает у младенца, который, насосавшись всласть молока своей доброй кормилицы, засыпает, сытый и умиротворенный. Любовница много говорит, но болтовня эта не раздражает, так как голосок у нее приятный, и можно время от времени, даже не вслушиваясь в ее слова, просто улыбаться: она будет вполне довольна. Ест она тоже много, жует медленно, но безостановочно, жеманно выпячивая губки и ерзая на стуле своим обширным задом. Этакий большой, мягкий, пышный ленивый лебедь, по-своему даже привлекательный и загадочный.

Августовским днем, в три часа, наш герой приезжает за любовницей на вокзал в Кьюзи. Голову ее окутывает вуаль — по моде двадцатого года, в поезде она, разумеется, не ела и очень голодна. В четыре часа жалкий обед в дешевом ресторанчике. Затем — объятия в грязном гостиничном номере (снизу, с площади, доносятся паровозные гудки, потому что гостиница находится у самого вокзала) и короткий сон (пока наш герой спит, любовница потихоньку щиплет виноград, стараясь не делать лишних движений, чтобы не разбудить его). А во сне он видит свою маму, которая показывает ему, какая красивая могила у папы. Мама велит подождать: отец скоро придет. «Но разве папа не умер?» — спрашивает он во сне. «Конечно, умер»,— отвечает мама и с печальной улыбкой смотрит куда-то в угол часовни. Там рядом с большой каменной аркой сидит на стуле отец. На голове у него шляпа; он здоровается с сыном несколько рассеянно, так как поглощен разглядыванием стен и потолка часовни. Взгляд у отца неодобрительный, во всяком случае заметно, что его что-то не устраивает, и он, слегка нахмурившись, продолжает вглядываться в темные углы где-то там, под потолком. Но вот наш герой выходит с мамой из часовни, мирно о чем-то болтая, только теперь у мамы почему-то лицо его жены, но это обстоятельство кажется ему естественным.

Любовницу, разумеется, мы тоже еще увидим в фильме. Увидим как-нибудь вечером на прогулке; наш герой, стоя вместе с женой перед какой-то витриной, сделает вид, будто не заметил свою пышку, и она покорно, с незлобивой улыбочкой, повернет в другую сторону и оглянется, лишь отойдя на приличное расстояние, когда ее наверняка уже не заметят. Белотелая пышка появится также в воображаемом доме-гареме. Там она, сидя перед телевизором, будет нанизывать на нитку бусину за бусиной.

Девушка (минеральный источник). Представь себе Клаудиу Кардинале, прекрасную, совсем еще молодую, но духовно зрелую, серьезную девушку — дар самобытности, который наш герой уже не в состоянии принять. Сначала мы видим только ее руку: снизу, от источника, она протягивает ему стакан пузырящейся минеральной воды; потом — глаза, устремленные на него в упор, улыбающиеся. Тут наш герой совершенно четко осознает, что именно она могла бы стать решением всех его проблем. Но девушка, как и ее подружки, уже склонилась к своей работе — там, внизу, царит атмосфера швейной мастерской (смешки, перемигивания, многозначительные взгляды, невинные шуточки с клиентами).

Вечером он поджидает девушку у выхода из парка. По вечерам этот парк совершенно преображается, превращаясь в сырой, безмолвный лес, где не встретишь ни единой живой души, где все огни погашены и слышится только бульканье бьющих из-под земли источников. Девушка рассказывает о том, как живут в этих местах зимой и как ей хотелось бы уехать в другой город... так, идя рядышком, они оказываются у ее дома: это стоящая одиноко будка железнодорожного обходчика, а в ней — папа, мама, сестры. Теплая летняя ночь. В темноте стрекочут кузнечики, на холмах горят большие костры. В углу кухни — дверь ее выходит чуть не на самые рельсы, над которыми роятся светлячки,— стоит телевизор: передают какую-то дурацкую программу. Молодые крестьянские парни приезжают на велосипедах за сестрами девушки и увозят их в темноту по напоенным ароматом цветов тропинкам. В воздухе разлито какое-то любовное томление, оно пьянит, кружит голову. Я считаю, что здесь наша пара должна поцеловаться — очень просто, естественно, потом еще раз и еще...

Но, может, девушка вовсе не из железнодорожной будки, а дочь сторожа местной пинакотеки. Любовная атмосфера, семья остаются прежними, зато девушка может показать нашему герою стоящую в углу убогого зальца и наполовину упакованную прекрасную картину — какой-нибудь портрет итальянской красавицы XVI века. Об этом мы поговорим при встрече, потому что я сам еще не все представляю себе достаточно отчетливо, и не хотелось бы повторять кадры из «Сладкой жизни» — Анук Эме и Мастроянни в замке.

Я не знаю, как окончится история между нашим героем и девушкой, вернее, когда именно он пойдет на попятный. Что-то должно случиться, хотя во-

обще, по-моему, не следует придавать законченный вид всем историям, которые мы намерены рассказать.

И еще в одном я уверен: в фильме должна быть целая россыпь женщин; наш герой ослеплен ими, они нравятся ему все до единой, словно миллиарды разных лиц для него — воплощение единственной женщины. Возможно, этот преследующий его, навязчивый образ порождается просто томлением, обидой и гневом, которые вызывают в нем все красивые женщины вообще — и те, что родились до него, и те, что родятся после. Человек этот безнадежно покорен, очарован женщиной и еще не понял (впрочем, кто в состоянии это понять?), в каких он отношениях с ней, с ее сказочным, волшебным телом, с ее округлыми формами — луной, горами и долинами этой неведомой планеты. Вот-вот, фильм должен также отражать все эти бесконечные разглагольствования о непостижимом и притягательном континенте, зовущемся женщиной. Помимо главных женских образов у нас должно быть еще много других женских лиц; мне кажется, что присутствие этих неясных теней придаст нашей истории особый аромат и все действие будет фокусироваться в одной-единственной проблеме, то есть в упорном стремлении героя с помощью этих волшебных расплывчатых видений разобраться в себе самом. Женщина отражает, возвращает нам наши эмоции, наши запросы, возвращает с дружеским участием и пониманием, придавая им четкую форму, открывая их для нас самих. Герой даже может говорить обо всем этом девушке, хотя его собственные поступки совершенно не согласуются со словами. Он может утверждать, что женщина искреннее мужчины, что она раскрывается, не таит своих чувств и мыслей, отдает себя такой, какая она есть, а не какой хотела бы быть, нет в ней нашего притворства, привычки все сваливать на работу, на занятость, на идеи, чтобы обмануть нас, скрыть правду. «Женщина,— говорит наш герой,— это сама искренность, сама правдивость. Пусть ей свойственно тщеславие — жалкое, мещанское, убогое, ординарное (вспомни пышку) и даже неприятное, зато женщина, в отличие от мужчины, проявляет эти качества смиренно, без притворства, искренне, с убежденностью и ни от чего не отрекаясь. Вопреки расхожему мнению, мне лично кажется, что женщине притворство свойственно в гораздо меньшей степени, чем мужчине, а если ей и приходится лгать, то лжет она только потому, что к этому ее вынуждает мужчина, добиваясь от нее поступков и взглядов, насилующих ее естество; он злоупотребляет ее чувствительностью, ее уступчивостью, ее врожденным стремлением нравиться, угождать, позволять себя «лепить», превращаться в чье-то зеркало». Так говорит наш герой. Можно бы, конечно придумать еще какой-нибудь персонажик, женщину, которая опровергает все это, как, например, одна девчонка, спросившая меня недавно: «Синьор Феллини, вы делаете фильмы только о проститутках? Неужели вам ни разу не встретилась труженица, интеллектуалка, рабочая, в общем, настоящая, нормальная женщина? А, синьор Феллини?» Я немного растерялся, наверное, еще и потому, что девушка была прехорошенькая. Она сказала, что напишет мне письмо. Наверное, попросит какую-нибудь роль.

Но вернемся к фильму. Плохо, что я еще не решил, чем занимается наш герой, какая у него профессия. Я не знаю, кто он, и оттого все выглядит обрывочным, бескровным.

Запутавшийся приятель. Это интеллектуал лет шестидесяти. Можешь вообразить его себе каким угодно. Он образован, хорошо воспитан, остроумен. Может, наш герой встретится с ним в курортном бассейне? Этот его приятель, поддавшись на уговоры и шуточки (прямо скажем, жестокие) группы парней, прыгает с вышки и сильно ударяется животом о воду. Из бассейна он выходит очень бледный, прихрамывая.

В Кьянчано этот человек приехал со своей юной подругой: ради нее он оставил жену, с которой прожил сорок лет. Девица завлекла его всякими интеллектуально-эротическими штучками. Она гримируется так, чтобы походить на мертвеца. Даже кусок обычной пиццы, политой томатным соусом, вызывает у нее нездоровое удивление. «Ах, какие краски! — восклицает она. — Просто умопомрачительно!..» Это законченная дрянь, которой во что бы то ни стало хочется казаться оригинальной, озабоченной серьезными проблемами и к тому же милой шалуньей, в общем — личностью очень интересной. Нужны примеры? Таких девиц сколько угодно в мире кино, да ты и сам их прекрасно знаешь (вот тебе имена двух-трех таких кривляк).

Через пару дней наш герой идет навестить своего погрязшего в грехе приятеля, которого после того неудачного прыжка в воду уложили в постель. В комнате полно всевозможных лекарств и приспособлений для лечебной гимнастики. В разговоре с нашим героем запутавшийся приятель всячески старается подчеркнуть преимущества своего положения. «Я понимаю,— говорит он,— что могу показаться даже смешным. Но главное — мне на все наплевать, я счастлив, я упиваюсь жизнью день за днем, а что до моей подруги — поверь, она совершенно необыкновенная...» Эта «необыкновенная» девица тоже здесь: в легкой пижамке растянулась она на кровати и в то время, как любовник ласково гладит ее по голове, смотрит нашему герою прямо в глаза, стараясь придать своему взгляду искренность — такую же фальшивую, как и все остальное,— и подтверждает: «Да, мы так счастливы...»

Чета телепатов — Морис и Майя.

Ночью курортный городок претерпевает еще одно превращение, становясь огромным и мрачным ночным клубом, в котором можно потанцевать или посмотреть выступление эстрадных артистов.

Однажды вечером наш герой присутствует на сеансе телепатии, который его забавляет и даже волнует. В центре площадки с завязанными глазами, спиной к публике стоит Майя. Она читает мысли своего партнера, громко выкрикивая слова в микрофон. Морис в это время ходит от столика к столику, берет у зрителей то часы (Майя должна угадать, какой они марки), то визитную карточку, записывает номера водительских прав, слушает сказанные ему на ушко фразы, а стоящая на возвышении Майя громко произносит: «Лонжин»! Номер 78 967... Синьор — пуэрториканец, зовут его Хосе Пинто...» — и т. д.

Морис подходит к нашему герою, и Майя сообщает публике его имя, фамилию, возраст и даже то, о чем он сейчас подумал. Выкрикнутая фраза повисает в воздухе, словно некое тревожное откровение.

По окончании сеанса наш герой знакомится с артистами и, побуждаемый любопытством и какой-то детской суеверной надеждой — словно они могут открыть ему некую изначальную истину,— приглашает Мориса и Майю поужинать.

Однако вблизи эта пара выглядит такой убогой: Морис говорит с сильным туринским акцентом, Майя — на какой-то смеси французского с испанским. Жалкая пара комедиантов. И не он, а эти двое чувствуют себя польщенными и даже немного робеют. Неужто в этом вся истина?

Возвращаясь поздно ночью в отель, герой встречает своего запутавшегося приятеля, который говорит с ним наставительным тоном, по-отечески увещевая его быть более последовательным в своих отношениях с женой. То есть советует ему делать прямо противоположное тому, что делает он сам.

Да, есть еще епископ. Но этот персонаж представляется мне еще очень смутно. Прелат может пригодиться для целой серии воспоминаний протагониста. Здесь и первая исповедь — маленькая деревянная дверца; она открывается, а за ней, сквозь дырочки решетки, видно худое, с закрытыми глазами лицо бородатого монаха, который говорит: «Ну, сын мой, исповедуйся в своих прегрешениях»; и еще многое другое — чувство вины, всякие комплексы... и экзамен перед целой комиссией «святых отцов». Мы видим епископа, когда он приезжает на своем «мерседесе» вместе с вспотевшим от волнения монахом, двумя молоденькими священниками и личным секретарем. Все обитатели отеля спешат приложиться к его руке. Потом мы увидим, как в большом зале с накрытыми для обеда столами он, прежде чем приступить к еде, осеняет себя крестным знамением, заставляя тем самым всех присутствующих встать и сотворить коротенькую молитву. Ночью пусть епископ совершит в одиночестве прогулку по дорожкам парка, и гравий будет поскрипывать у него под мокасинами. У епископа астма, он не может спать, вот он и ходит один, куря свои антиастматические сигареты. Потом грязелечебница: он лежит весь облепленный густым илом и похожий на мумию, с колен и локтей которой отваливаются корочки засохшей грязи. Одна из санитарок целует ему руку.

Не исключено, что как-нибудь вечером между епископом и нашим героем завяжется разговор, только вот не знаю о чем. Я даже думал, что епископ явится протагонисту во сне.

Жена. Один из важнейших персонажей фильма. Отношения между супругами мучительны, но по-своему очень нежны. Оба считают, что покой можно обрести лишь в бегстве друг от друга, но стоит им разлучиться, как они тут же начинают ощущать потребность быть вместе. Они говорят, что нужно разойтись, но без внутренней убежденности: так двое заключенных могут обсуждать план побега, хотя он заведомо неосуществим.

Жена приезжает в Кьянчано неожиданно. Она хочет быть с ним. Ночью, в постели, он смотрит на нее, уснувшую, а когда жена открывает глаза, сам притворяется спящим. Увидев ее на улице перед каким-то магазином — жена надевает очки, чтобы получше разглядеть за стеклом витрины какую-то ткань,— он, оставаясь незамеченным, смотрит на нее зачарованно и растерянно. Значит, вот эта женщина — его жена. Но кто она на самом деле? Из обрывков воспоминаний он пытается слепить портрет жены, но все в этом образе настолько противоречиво, что жена начинает казаться ему еще более чужой, хотя сходство и полное.

Порывы искреннего чувства и обиды, смиренное приятие и внутренний бунт продолжают терзать его душу. Может, это его неизбывная неверность не позволяет ему увидеть жену такой, какова она на самом деле, постичь ее суть... но что такое «верность»? Этот вопрос может вызвать в воображении героя ряд фантастических картин, показывающих, какой именно представляется ему верность жены.

Думаю, что тут на него должно внезапно нахлынуть воспоминание об их свадьбе; а может, бродя утром все по тому же Кьянчано, он заглянет в какую-то церквушку, где венчается молодая пара, и он останется там до конца церемонии, поцелует новобрачную, пожмет руку ее мужу.

Много еще чего там будет, мой Брунеллоне[1]; кое о чем я тебе уже рассказывал. Ну, например, будет там один приятель героя — извращенец, путешествующий со своим мрачным любовником. Всей компанией они отправляются в аббатство, где в стеклянном гробу хранятся мощи какой-то святой, жившей тысячу лет назад. Или эта пара приезжает, чтобы ассистировать при постановке

[1] Брунеллоне — дружеское обращение к Брунелло Ронди. Б. Ронди (род. в 1924 г.) — известный итальянский драматург, кинорежиссер и сценарист, один из ближайших сотрудников Ф. Феллини.

спектакля («Аминта», «Буря»? [1]) на паперти средневековой церкви.

По-моему, актеры в гриме императоров, режиссеры, маги и жрецы хорошо впишутся в этот сумбурный рассказ. Извращенца так жестоко отделывает его мрачный дружок, что нашему герою приходится отвести его в аптеку или, еще лучше,— доставить в местную больницу. Ночь. В больнице только дежурные — преклонного возраста медсестра-монахиня и совсем молодой врач. Да три старика, спокойно дожидающихся своей смерти.

И еще эпизод с Сарагиной — страшным и великолепным чудовищем, олицетворяющим в сознании героя первое, нанесшее ему душевную травму знакомство с сексом.

Великанша Сарагина была первой проституткой, которую я увидел в своей жизни. Произошло это на пляже в Фано, где проводили летние каникулы учащиеся колледжа при монастыре братьев-салезианцев. Сарагиной ее прозвали потому, что матросы в уплату за благосклонность давали ей килограмм-другой самой дешевой рыбы, чаще всего сарагины. С нас, мальчишек, она брала и того меньше, довольствуясь несколькими монетками, горстью жареных каштанов, форменными «золотыми» пуговицами или свечами, которые мы воровали в церкви. Жила Сарагина в полуразвалившемся укреплении, которое осталось на берегу после первой мировой войны. Это было самое настоящее логово, пропахшее смолой, трухлявым деревом и рыбой. За два сольди она показывала притихшим мальчикам свой зад, закрывавший собой все небо, за три сольди — слегка покачивала бедрами, а за четыре — поворачивалась к нам лицом. Какой необъятный животище! А что там под ним мохнатое — кошка?

Ты, конечно, скажешь: «Да что же это, Федерико, опять у тебя здоровенная баба, опять великанша...»

Да, верно, в моих фильмах часто встречается образ женщины с пышными формами, большой, могучей... Но Сарагина — это само детское представление о женщине, одно из многих тысяч самых разных проявлений, на какие только способна женщина. Сарагина, щедро наделенная какой-то животной женственностью, огромная, необъятная и в то же время обольстительно-аппетитная... вот какой видит ее подросток, алчущий настоящей жизни, секса, итальянский подросток, закомплексованный и задерганный священниками, церковью, семьей и неправильным воспитанием. Этому подростку в его поиске женщины, в его тяге к ней рисуется такая, чтобы ее «было много». Он как тот бедняк, что, думая о деньгах, предается бредовым мечтаниям не о какой-то там тысяче лир, а о миллионах, миллиардах.

Видится мне еще сценка из детства нашего героя, когда он, открывший для себя Сарагину и потрясенный этим открытием, приходит к ней снова, уже один, в своей школьной форме. Очень яркий солнечный день, спокойное море источает чудесный аромат. Вокруг нет ни души, и в этой зачарованной тишине слышится голос Сарагины: она что-то напевает, как самая обычная девчонка. Напевает и штопает свои носки, сидя на детском стульчике у самой воды. Этакий загадочный и пугающий образ матери. Разве странно, что мальчику она видится именно так, как мать? У нас в стране существует самый настоящий культ матери: мамы, мамищи, всевозможные великие матери занимают господствующее место в этой захватывающей иконографии и на нашем личном, и на общественном небосклоне: мать пресвятая богородица, мать-страстотерпица, мама Рома [1], мать-Волчица [2], Родина-мать, матерь наша Церковь. Но можно ли считать оправданным это избыточное наличие, это изобилие матерей? Хочу попытаться истолковать все по-своему, рискуя навлечь на себя гнев какого-нибудь ученого-психоаналитика. Мне представляется, что весь этот избыток свидетельствует скорее об отсутствии матери. Разве нам вместо матери не подсовывают постоянно всевозможные суррогаты, фетиши? Именно этим занимается индустрия, рынок, сбывающий эротику, как товар, порнография. Так что «доброй, милой матери» нам как раз всегда не хватало, и мы ощущаем эту нехватку и слишком часто чувствуем себя этакими маленькими несмышленышами.

Проститутка — своего рода контрапункт, главная спутница матери по-итальянски. Постичь одну из них, не постигнув другой, немыслимо. И если кормила и одевала нас мать, то так же неизбежно — я имею в виду по крайней мере мое поколение — к половой жизни нас приобщала проститутка. Все мы им обязаны, все мы в долгу перед женщинами, которые сумели на время заменить нам наши желания, наши надежды, наши фантазии, направив их в какое-то определенное русло; часто все это было жалко, убого, но все равно чудесно. Ибо, хотя проститутка и исчадие ада, она все же сохраняет власть и очарование существа, словно вышедшего из какого-то сверхземного мира. Она непостижима и потому выглядит в наших глазах огромной и неуловимой, всеведущей и простодушной. Совсем как наши фантазии, которые она не только отнимает у нас, но и претворяет в жизнь.

Ну, что бы мне еще хотелось вставить в фильм? Да, вот, ангела-хранителя. Фигура ангела-хранителя сопровождает нас в жизни до тринадцатилетнего возраста. В фильме это может быть воспоминание или фантазия протагониста, который пытается представить себе, каким был его ангел, явившийся ему однажды во сне.

Затем будет — теперь уже неизбеж-

[1] «Аминта» — пасторальная драма выдающегося итальянского поэта Торквато Тассо, написана в 1573 г. «Буря» — пьеса В. Шекспира, написана в 1612 г.

[1] По-итальянски Рим — Roma (женск. р.).
[2] Имеется в виду мифическая волчица, вскормившая, как гласит легенда, основателей Рима — Ромула и Рема.

ная — сцена в доме-гареме со всем его женским населением и женой в том числе: одна шьет, другая хлопочет в кухне, две смотрят телевизор. Наш герой приводит свою новую подругу, и все остальные встречают ее очень сердечно. Он — этакий безмятежный патриарх — беседует и ужинает вместе со всеми своими женщинами. Укладывает их спать. Потом, оставшись один, открывает маленькую дверцу в коридоре, за дверцей — винтовая лесенка, ведущая в маленькую комнатку наверху, где при свете свечи отец-иезуит Арпа читает какую-то книгу: он поджидает нашего героя, чтобы по-дружески обсудить с ним вопрос о церемонии посвящения.

И еще цирк со всеми его персонажами.

Вот, пожалуй, и вся моя история. Мне она нравится. Хотя пока я еще не отдаю себе отчета, почему именно. Я только убежден, что фильм надо сделать радостным, праздничным, пронизанным юмором, в изобразительном же плане он должен быть необычайно тонким, светлым. И еще я подумал, что наш герой во время отпуска может заниматься литературным творчеством: пусть себе пишет эссе или статью для энциклопедии о какой-нибудь исторической личности — Мессалине или святом Франциске, здесь уместнее какая-нибудь фигура из языческого мира. Возможно, она даже появится в кадре несколько раз — словно материализованная силой воображения нашего героя.

Я как-то чувствую, что подлинный ключ ко всей этой мешанине — все тот же, о котором я говорил тебе с самого начала: нужен многомерный портрет такого вот персонажа. Причудливый балет, волшебный калейдоскоп... но ведь и эти слова можно истолковать на тысячу ладов.

Думаю, если периодически подстегивать себя, можно все же довести эту историю до конца. Я замечаю, что постоянно размышлять над ней в общем-то ни к чему, все как-то удаляется, расплывается и вообще исчезает. И потому я с нетерпением жду, когда что-нибудь или кто-нибудь заставит меня сделать шаг вперед.

Порой мне хочется все забросить, и я начинаю мечтать о «Декамероне» или о «Неистовом»[1] как об освобождении. Я даже о Казанове подумывал, но как только его читают? Тут, видно, не обойтись без длительного, спокойного и благополучного периода выздоровления после какой-нибудь болезни. Конечно, скажи я Риццоли, что хочу сделать «Казанову», он подарил бы мне целую бумажную фабрику и много чего еще в придачу. На «Казанове» настаивает Флайяно[2], который часто повторяет, что чтение мемуаров Казановы — его настольной книги — для него лучший отдых, развлечение, в общем, он ему очень нравится. И Комиссо[1] тоже за «Казанову». Не могу понять, почему эта занудная толстенная книжица так нравится интеллектуалам? Очевидно, в интеллектуалы я совершенно не гожусь, ибо всякий раз, когда я принимался листать «Мемуары», мне тут же приходилось откладывать их в сторону: даже в горле начинало першить от этой пыльной бумажной пустыни, в которой я чувствовал себя таким одиноким, таким потерянным.

До чего утомительны и опасны эти ожидания! Позавчера вечером я раскрыл «И Цзин»[2] и загадал: «Каково мое положение в настоящий момент?» Ответ следовало искать в гексаграмме, именуемой «Абиссальной»[3]. Выходило, что на дне пропасти я нахожусь еще в какой-то яме, опутан цепями и закован в колодки, а кругом колючки — чтобы я не убежал. Вдобавок выяснилось, что так мне и надо, поскольку я рецидивист. В общем, меня ждут три года сплошных несчастий! Ответ малоприятный, и я даже немного расстроился.

Зато прошлой ночью мне приснился Пикассо. Уже второй раз я вижу его во сне. Первый раз (тогда я тоже переживал период сомнений и неуверенности в себе) мы с ним находились в какой-то кухне. Было ясно, что кухня эта у него дома — огромное такое кухонное помещение, забитое всякой снедью, холстами, красками. Мы проговорили с ним всю ночь. А вот во вчерашнем сне было безбрежное море, каким его можно увидеть из риминского порта: темное, грозовое небо, зеленые, свинцово-тяжелые волны с белыми гребешками, как во время шторма. Впереди меня, мощно выбрасывая руки, плыл какой-то человек, над водой виднелась лишь лысая голова с маленьким пучком седых волос на затылке. Вдруг он оглянулся и посмотрел в мою сторону — это был Пикассо, который знаком звал меня за собой, куда-то, где можно найти превосходную рыбу. Хороший это сон или нет? Думаешь, нехороший?

Что касается названия фильма, то пока мне на ум еще не пришло ничего, на чем бы хотелось остановиться. Флайяно предлагает назвать его «Порядочная путаница». Но мне такое название не по душе.

Не знаю. А пока на папке, в которой я держу заметки и «scaletta»[4], кроме обычных сулящих удачу толстух я изо-

[1] Имеется в виду рыцарская поэма итальянского поэта Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд» (1516).

[2] Флайяно Эннио (род. в 1910 г.) — итальянский писатель-сатирик, соавтор сценариев почти всех фильмов Ф. Феллини.

[1] Комиссо Джованни (род. в 1895 г.) — известный итальянский писатель-публицист, драматург.

[2] «И Цзин» — «Книга перемен» — древнекитайский письменный памятник, вошедший в конфуцианский канон «Пятикнижие». Содержит 64 графические фигуры (так называемые гексаграммы) и поясняющие их афоризмы. Используется при гаданиях.

[3] «Абиссальная» — от итальянского слова «l'abisso» — пропасть, бездна.

[4] «La scaletta» — «лесенка», поэпизодный сценарный план фильма *(итал.)*.

бразил большую цифру $8^1/_2$. Таким по счету будет этот фильм, если я его сделаю.

VII

Я считаю, что в детстве наши отношения с реальной действительностью — это сплошные эмоции, какие-то смутные образы, фантазии. Ребенку все кажется необыкновенным, потому что все незнакомо, не видано, не испытано; мир предстаёт перед его глазами лишенным какого бы то ни было смысла, значения, без взаимосвязи понятий и символических тонкостей: это просто грандиозное зрелище, бесплатное и восхитительное, что-то вроде огромной дышащей амебы — в ее недрах и субъекты и объекты живут, слитые в единый, неудержимый, фантастический, бессознательный, притягивающий и отпугивающий поток, в котором пока еще не обозначился водораздел, не проступили границы сознания.

Пусть это нескромно, но я хочу рассказать, что происходило со мной, когда мне было лет семь-восемь. Четырем углам своей кровати я дал названия четырех риминских кинотеатров: «Фульгор», «Опера Националe Балилла», «Савойя» и... как же назывался четвертый?.. Ах, да, «Султан». Я словно праздника ждал момента, когда меня отправят в постель, и не канючил, чтобы мне позволили посидеть вечером со взрослыми. Все, о чем они говорили между собой за столом, быстро утрачивало для меня всякий интерес, и, едва представлялась возможность, я бежал в свою комнату, нырял под одеяло, иногда даже голову засовывал под подушку и, закрыв глаза, затаив дыхание, с бьющимся сердцем, терпеливо ждал, пока внезапно в полной тишине не начиналось представление. Самое необыкновенное представление на свете. Что это было? Трудно передать словами, описать: это был особый мир — фантасмагория, галактика светящихся точек, шаров, сверкающих колец, звезд, огней, цветных стеклышек, ночной искрящийся космос, сначала вроде бы неподвижный, потом приходящий в движение — все более стремительное, захватывающее, как огромный водоворот, ослепительная спираль. Меня засасывал, ошеломлял этот взрыв видений, даже голова начинала кружиться, но почему-то не укачивало. Сколько времени это длилось, сказать трудно, во всяком случае — не очень долго. Наконец, видение затухало так же постепенно, как и возникало, утрачивая яркость и силу, как пламя гаснущего костра. Подождав несколько минут, я укладывался головой в другой угол, и зрелище повторялось. В третий раз оно бывало уже более бледным, краски словно бы тускнели. В редких случаях ночное представление повторялось четыре раза подряд. Под конец, удовлетворенный, но немного уставший от фейерверка звезд и солнечных искр, я проваливался в сон. Это продолжалось несколько лет, а с первыми признаками отрочества понемногу угасло, уступив место другим, куда более конкретным волнениям. Если бы такие видения продолжались и с приходом зрелости, они, вероятно, заглушили бы всякую способность мыслить и действовать. Дело не в том, чтобы вечно любоваться собственными детскими фантазиями. Главное — сохранить способность вызывать фантастические видения уже сознательно. Ведь это одна из возможностей, которые заложены в самой природе человека, и совершенно ни к чему от нее отказываться.

Годам к тридцати мне случайно довелось прочесть кое-какие специальные книги, познакомиться с некоторыми людьми. Все это было весьма бессистемно, беспорядочно; проследить какую-то последовательность здесь невозможно, просто сказывалось любопытство ко всему запретному. Я знал нескольких человек, наделенных удивительными способностями. Сначала это были факиры, иллюзионисты, всякие шарлатаны. Потом я познакомился с людьми, менее эффектными, но будоражившими воображение значительно сильнее. Я старался бывать на их опытах, наблюдать всякие необычные явления; но мне редко удавалось сделать какой-либо убедительный вывод, важный лично для меня, в общем, уловить какой-то знак, который помог бы мне расшифровать тайную суть увиденного. Жадность к неизведанному, жажда чего-то нового могут стать стимулом, но вовсе не всегда они подводят к более правильному, более плодотворному решению. Слишком часто меня отвлекали лень, старые привычки и даже трусость.

Я знал многих людей, в большей или меньшей степени наделенных такими особенными качествами, имел дело с «медиумами» (если понимать это слово как «посредник»[1]). Власть каких-то непонятных сил, подчинивших их себе, была так велика, что они совершенно утратили способность к сопротивлению. Диалог с такими типами бывал не очень интересным: когда возбуждение проходило, перед тобой оставалось опустошенное существо, одна лишь оболочка человека. А ведь действительно интересно было бы узнать, как некоторым из них все же удается сохранять свою индивидуальность. В этом смысле единственное исключение составляет, по-моему, Рол[2]. То, что делает Рол, настолько поразительно, что кажется даже ненормальным; есть ведь какой-то предел и удивлению. И действительно, проделки Рола (сам он называет их «забавами»), пока ты сам при них присутствуешь, к счастью, не удивляют. Только потом уже, когда вспоминаешь, до тебя начинает доходить, насколько все это потрясающе.

Каков из себя Рол? На кого он похож? Что у него за внешность? Описать его не так-то легко. Я увидел господина с хорошими манерами, подтянутого, эле-

[1] Медиум (от лат. medius — средний) — в представлении лиц суеверных, посредник между людьми и «миром духов».

[2] Один из друзей Ф. Феллини, человек, наделенный незаурядными экстрасенсорными способностями.

гантного; он мог бы быть директором какой-нибудь провинциальной гимназии, из тех, кто умеет порой и пошутить со своими учениками, мило прикидываясь, будто его тоже интересуют фривольные мальчишечьи разговоры. Держится он с учтивой и вежливой сдержанностью, временами сменяющейся самым искренним весельем: тогда в его речи появляются сознательно утрируемые диалектизмы — как у Макарио [1],— и он охотно рассказывает анекдоты. Я думаю, что причина такого поведения (иногда свое хорошее настроение он выражает шумно, как коммивояжер, решивший позабавить случайных попутчиков) — в его постоянном и сознательном стремлении как-то разрядить напряженность, страх, растерянность людей перед смущающими душу чудесами магии, которые он демонстрирует. Но несмотря на всю эту атмосферу непринужденности и дружеской шутки, несмотря на его стремление принизить смысл игры, не придавать ей особого значения, выставить все в смешном свете, чтобы заставить людей, да и себя первого, не думать о том, что все же происходит, в его глаза, глаза Рола, долго смотреть невозможно. Это неподвижные, светящиеся глаза существа с другой планеты, глаза персонажа из хорошего научно-фантастического фильма.

Когда человек способен на такие «забавы», соблазн гордыни и этакого загадочного всемогущества, должно быть, очень велик. А Рол все-таки умеет ему не поддаваться и ежедневно втискивает себя в привычные человеческие мерки. Может, это объясняется тем, что он религиозен и верит в бога. В его попытках — нередко безнадежных — установить непосредственную связь с живущими в нем страшными силами, в попытках создать какую-то понятийную, идеологическую, религиозную конструкцию, которая позволила бы ему, пусть лишь ради частичного, ограниченного перемирия укротить черную магнетическую бурю, которая бушует в нем, искажая и стирая границы его личности, есть что-то патетическое, героическое.

«Забавы» Рола — зрелище приятное, тонизирующее каждого, кто приходит к нему с искренней готовностью отдать себя в его распоряжение, то есть с невинностью ребенка или с какой-то не очень строгой, открытой научной теорией, не вступающей в конфликт с неожиданными для нее формами истины. И это еще прекраснее, еще благороднее. Жизнь может загнать в такие ситуации, столкнуть с такими фактами, перед которыми невольно склонишь голову. И тогда тебе на помощь может прийти некая загадочная сила, нашедшая равновесие в себе самой — просто так, иррационально.

Рол — личность, не укладывающаяся в обычные мерки, с которыми подходят к тем, кто пробует свои силы в области парапсихологии. Паскуалина Пеццола — тоже человек незаурядный, но совсем в ином плане. Эта женщина крестьянского типа живет в своем небольшом особнячке неподалеку от Анконы. Она отличается способностью очень быстро и по собственному желанию впадать в транс: тогда она закрывает глаза, рывком поднимается со стула и идет к тебе. В этот момент лицо ее преображается (под кожей проступают заостренные, аскетические черты, выдвинутый вперед острый подбородок делает ее похожей на монаха), покрывается какой-то святящейся бледностью. Когда же открывает глаза, замечаешь, что они тоже стали светлее; Паскуалина подносит ладонь ко лбу, как бы загораживаясь от ослепительного света; вторую руку она в это время протягивает вперед и водит ею перед посетителем, словно хочет раздвинуть его внутренности и посмотреть, что там за ними. О том, что ей удалось увидеть, она рассказывает на каком-то странном жаргоне, состоящем из диалектных слов, научных терминов, грубых, но точных описаний. Она пользуется главным образом славой хорошего диагноста, и, бывает, даже профессора университета обращаются к ней за советом. Когда я приехал к Паскуалине, вокруг ее дома царила та самая атмосфера свершающегося чуда, которую я постарался передать в фильме «Сладкая жизнь». Подобные явления впечатляют, но не такая уж они редкость в Италии, что подтверждается документально работами Эрнесто Де Мартино [1]. Если поискать, то нетрудно натолкнуться на исконные и прямо-таки дьявольские формы торговли сверхъестественным. В Тоскане я познакомился с одним крестьянином-колдуном, которому местные жители платят деньги за то, чтобы он обходил стороной их усадьбы. Он похож на какое-то страшилище и живет в своей лачуге, как животное. У меня с ним состоялся разговор, если это можно назвать разговором, в присутствии местного молодого священника — заклинателя злых духов, бормотавшего тем временем свои молитвы. Колдун пронзал меня такими взглядами, какие раньше мне доводилось видеть только в мальянской психиатрической лечебнице Тобино [2], где на тюфяках, набитых морской травой, копошились раздетые догола неизлечимые больные. И вонь здесь стояла такая же — просто адская вонища. Внезапно колдун заржал. Он ржал все громче и громче, так что даже мой священник побледнел. В общем, мы сбежали. Когда я вспоминаю эту историю, мне начинает казаться, что мы присутствовали при метаморфозе: этот страшный тип за несколько минут на наших глазах стал превращаться в коня. Ничего удивительного. Есть люди, которые целую жизнь ухлопывают на то, чтобы стать ко-

[1] Макарио Эрманно (род. в 1915 г.) — итальянский писатель, автор многочисленных пьес для радио и телевидения.

[1] Де Мартино Эрнесто — известный итальянский ученый-антрополог.

[2] Тобино Марио — известный итальянский психиатр и писатель.

нем, деревом, камнем, и даже сами того не замечают.

Сознание человека, интеллектуально более развитого, в таких делах обычно бывает своего рода помехой, хотя оно и не служит защитой от психических сил, стремящихся его деформировать. Подобные явления чаще наблюдаются у натур более простых. Быть может, потому, что они живут в тесном общении с природой, с животным миром (все эти бессонные ночи в хлеву, кошки, ночные птицы и бродячие собаки), в общем, со всеми элементами околочеловеческого мира, которыми пронизана окружающая человека атмосфера и которые могут повлиять на него самого.

Участвовал я и в нескольких спиритических сеансах — просто так, из любопытства, как в какой-нибудь игре. Вокруг спиритов почему-то ощущается аромат хризантем, запах пыли прошлого века. Тем, кто вызывает духов, такая атмосфера нравится, они наслаждаются ею. А меня от нее обычно тошнит. Я прекрасно понимаю позицию церкви и науки, которые стараются препятствовать распространению спиритизма. Кто знает, какие беды может натворить подсознание, высвобожденное посредством безответственных ритуальных манипуляций.

Самое же рискованное — это пытаться насаждать подобные вещи, делая упор лишь на эстетический, фантастический, приключенческий их аспект и переключаясь с одного на другое жадно, без должной осторожности, без оглядки. Так можно втянуться в опасную игру; пусть даже полезную для вдохновения художника, но все же опасную.

По счастью, мне в жизни встретился один мудрый и добрый человек, который, не разочаровывая меня в моем стремлении постичь при помощи фантазии красоты этого волшебного мира, сумел изменить мой угол зрения. В результате все это не утратило для меня своего очарования, а просто сделалось менее туманным и тревожным: оказалось, что такие вещи нужно рассматривать не как некий незнакомый мир вне тебя, а как мир внутри тебя самого, то есть не с позиции магии, а с позиции психологии — путем установления внутренней близости с ними. Тот, кто действительно сумел познать и «реализовать» себя, может, не рискуя собственным духовным здоровьем, сделать свою жизнь необыкновенно импульсивной.

Несколько лет тому назад я прочел — правда не полностью — книгу Юнга «Реальность души»; тогда мне показалось, что я не так уж много в ней понял. Позднее мне в руки попала работа Юнга о Пикассо, и я был потрясен: никогда еще мне не доводилось встречать мысль более ясную, гуманную и религиозную — религиозную в новом для меня значении. Все равно как если бы передо мной открылась невиданная панорама, возникла новая перспектива, позволяющая смотреть на жизнь по-иному, появилась возможность смелее, шире использовать собственный опыт, высвободить уйму энергии и уйму материалов, погребенных под руинами всяческих страхов и опрометчивых поступков, под струпьями запущенных ран. Безграничное восхищение вызывает у меня способность Юнга находить точку соприкосновения между наукой и магией, рациональным началом и фантазией, то, что он позволил нам жить, испытывая колдовские чары тайны и в то же время сознавая, что они поддаются проверке разумом. С таким восхищением можно относиться к старшему брату, к тому, кто знает больше тебя и делится с тобой своими знаниями. Меня восхищает, вызывает у меня зависть несокрушимая честность Юнга, честность, которой он никогда не изменял. И все же мне кажется, его не любили и не ценили по достоинству: такой попутчик был у человечества в нашу эпоху, а чем платило оно ему? Чаще всего — тупым недоверием.

Мой интерес к этим проблемам — интерес дилетанта, случайного человека, жаждущего извлечь из всего этого какую-то пользу и для своего дела. Но я знаю, что психоанализ может оказать большую помощь людям нездоровым. Есть формы неврозов, до такой степени изменяющие состояние психики, что, проходя, они даже не оставляют по себе определенных воспоминаний. Как если бы человек, когда-то бывший рыбой, захотел рассказать об этой своей рыбьей жизни человеческим языком. Вот в таких случаях, когда у тебя тяжелое, бредовое состояние, психоанализ может помочь выйти из него; но, думается мне, он не всегда дает средства — притом философски обоснованные — для предупреждения нового приступа. Существует опасность превращения психоанализа в этакую коллективную панацею, которая может все объяснить, но рискует пренебречь индивидом.

Я считаю, однако, что жизнь всегда сама вытаскивает нас из всяких неприятностей. Всегда у нее есть в запасе какой-нибудь сюрприз. Она изменяет человека и может в каждом из нас притупить мучительную тоску по высокой нравственности и необыкновенной порядочности, сожаления об утраченной невинности. Невозможно же жить и работать с неудовлетворенным желанием иметь ангельски чистую совесть.

Однажды, уже после окончания работы над фильмом «8½», я проделал опыт с американским препаратом ЛСД-25 — синтетическим аналогом вещества, содержащегося в некоторых галлюциногенных грибах: их употребляют мексиканские индейцы. Это было что-то вроде опытов Олдоса Хаксли. Я читал, что, по мнению некоторых американских психологов, применение этого наркотика — разумеется, по разработанной ими методике — ускоряет наступление у человека такого эмоционального состояния, какого можно добиться лишь после двадцати и более сеансов психоанализа. Все, конечно, находится еще в стадии эксперимента, и сами специалисты пока далеко не единодушны в этом вопросе. Один мой прия-

тель-ученый, ухватившись за неосторожно оброненную мной фразу: «А интересно было бы попробовать», предложил мне произвести такой опыт на себе. Дело в том, что работа с настоящими больными ни моему другу, ни его сотрудникам не принесла, кажется, сколько-нибудь удовлетворительных результатов, и перспектива заполучить в свои руки художника ему так пришлась по душе, что отвертеться мне не удалось.

Поскольку я уж впутался в эту историю, не хотелось выглядеть трусом; таким образом, как-то в воскресенье, во второй половине дня, я с отчаянно бьющимся сердцем и на голодный желудок явился к одному химику, живущему неподалеку от моего дома. Там меня уже ждали мой друг-психолог, два санитара, кардиолог, целая команда стенографистов и батарея микрофонов. Сделали мне кардиограмму — все в порядке; потом дали принять растворенное в воде ничтожно малое количество препарата. Его действие длится обычно семь-восемь часов, но на меня он почему-то действовал дольше.

Не так уж много могу я рассказать о том, что испытал,— в памяти почти ничего не осталось. Знаю одно: чтобы снять действие препарата, им пришлось ввести мне внутривенно какое-то успокоительное. В десять часов вечера меня доставили домой, и я под наблюдением врача провел довольно спокойную ночь. На следующее утро я проснулся так, словно ничего, или почти ничего, не случилось и даже отказался прослушать записи всего, что я им наговорил: чувство стыда взяло верх над любопытством. Но они сами рассказывали, как я на протяжении целых семи часов говорил не закрывая рта и все время ходил по комнате, ни на минуту не останавливаясь. То, что препарат так возбудил мои моторные центры, было истолковано экспериментаторами как мое подсознательное стремление куда-то бежать, невозможность оставаться на месте. Это может означать что угодно, но прежде всего, что мое естественное состояние — быть в движении, в пути. И действительно, я хорошо себя чувствую в машине, за стеклами которой проносятся, мелькая, разные виды: я даже вообразить себе не могу, как это можно спокойно сидеть на месте во время отпуска.

Когда еще мальчонкой я увидел впервые диапозитивы (виды всяких церквей), которые показывали нам священники, меня поразила не столько техническая сторона дела, сколько способность этих картинок воссоздавать и преображать действительность.

Когда я задумал фильм «Джульетта и духи», единственно разумным ключом мне представлялась необузданная фантазия, этакая легкая игра, позволяющая где-то на что-то намекнуть, где-то что-то недоговорить. Фильм о снах нельзя делать абстрактно, оставляя в стороне личность того, кто эти сны видит. Точно так же я не мог бы сделать в абстрактном плане фильм о мире магии. А мир «Джульетты» — это, конечно же, мир магии, отвечающий некоторым особенностям моего сугубо личного восприятия действительности, всегда, однако, оставляющего достаточно места для юмора. В сказках правда прячется, предстает в туманной, запутанной форме, а то и вовсе куда-то исчезает. Сказка всегда так жестока: стремясь придать некоторым истинам гуманный характер, она прибегает к столь абстрактной, к столь откровенно символической форме, что истины эти больше до тебя не доходят, а если и доходят, то воспринимаются уже как безнадежно банальные.

«Джульетта и духи» — мой первый настоящий цветной фильм. Я бы хотел поговорить немного о цвете. Мне уже однажды пришлось снимать цветной эпизод для картины «Боккаччо-70», но тогда я не очень задумывался над проблемой цвета; речь шла главным образом о внешней стороне дела, о требовании, диктовавшемся фильмом в целом (просто все остальные эпизоды были цветными), и мне пришлось подчиниться необходимости сохранения единства стиля, до которого мне в общем-то дела было мало. Что же касается «Джульетты и духов», то здесь вопрос о цвете впервые обернулся для меня проблемой выразительности; первые же кадры фильма представлялись мне в цвете; сама история, ее структура, пронизывающее ее чувство определяются и живут исключительно благодаря цвету, а потому только цвет и может показать их, раскрыть, выразить.

Во сне цвет — это идея, концепция, чувство, как в настоящей серьезной живописи. Вопрос, который задают многие: «Ты какие сны видишь, черно-белые или цветные?» — лишен смысла; это все равно что спрашивать, есть ли в пении звуки, когда каждому известно, что звук — средство выражения, именно пению и присущее. Во сне человек может увидеть красный луг, зеленого коня, желтое небо, и в этом нет никакого абсурда. Таковы образы, в которых выражено породившее их чувство.

Человеческий глаз видит реальную действительность по-человечески, то есть со всем присущим человеку зарядом эмоций, идей, предрассудков, культуры. Он наделен мгновенной избирательной реакцией, умеет выделять особо поразившие его элементы. В памяти о предметах всегда отпечатывается доминирующий цвет, остальные же исчезают. Если бы понадобилось рассказать другу о какой-нибудь встрече и пришлось бы описать краски комнаты, где эта встреча происходила, то в памяти, скорее всего, всплыли бы только позолота на дверях, прозрачная синева пепельницы, черный тон картины. У объектива кинокамеры нет такой избирательной способности, он выполняет чисто математическую функцию — просто фиксирует то, что столь изменчивый в своем движении луч света

«подставляет» ему мгновение за мгновением. Нельзя надеяться, что в результате мы получим нечто, с абсолютной точностью отражающее наши идеи, чувства, представления и воспоминания о цвете, и что все это нисколько не пострадает, не поблекнет, не будет искажено или умерщвлено под воздействием всяких непредвиденных факторов, связанных с освещением, самим процессом съемки и обработки пленки.

Художник дает своей картине застывшее, постоянное, неизменяемое освещение, при котором цвет раз и навсегда остается таким, каким его изобразили. Некоторые могут подумать, что и кинематографический кадр позволяет с такой же точностью дать какой-то цвет со всеми возможными его оттенками. Это не так. Цвета любого кадра как бы заражаются друг от друга, между ними происходит постоянный обмен флюидами, в результате чего во время просмотра замечаешь, что какие-то светлые участки непонятно почему оказались затемненными, на каких-то других появились неожиданные отсветы, происходит постоянное размывание границ предметов: один цвет перешел в другой. Ты, режиссер, созерцаешь свою живую картину, и тебе кажется, что все в порядке и уже можно приступить к съемке: подчиняясь собственному представлению о стилистических, изобразительных, повествовательных особенностях материала, иными словами, пытаясь раскрыть именно так, как ты находишь нужным, суть сцены в данный момент, ты приближаешься или отходишь, панорамируешь, в общем — двигаешь свою камеру. И сразу же интенсивность света меняется, краски начинают кричать или заметно тускнеют, и вся хроматическая гамма цвета уже не та, что была минуту назад. Зеленый цвет уже не тот зеленый, которым ты любовался с прежнего расстояния: если ты в каком-нибудь метре от него — он густой, плотный, а стоит отойти подальше — он становится более инертным, почти серым.

Режиссера цветного фильма можно уподобить автору, который написал: «комната была зеленой», а придя в типографию, прочитал в гранках, что комната «сероватая».

Снимая эпизод «Доктор Антонио» к фильму «Боккаччо-70», я представлял себе маленького, черного Пеппино Де Филиппо среди белоснежных громад ЭУР[1]. Отсняв сцену, мы отправились в просмотровой зал и, к удивлению своему, обнаружили, что мрамор оказался уже не белым, а голубым. Как же так? Что произошло? Во время съемки никто из нас не обратил внимания на подлинный цвет облицованных мрамором домов, так как все были в плену предвзятого мнения, что мрамор бывает либо белым, либо черным: вот почему мы не заметили, что небо, отражаясь в гладких, отполированных стенах зданий, придает им голубоватый оттенок.

В заключение следовало бы сказать, что раз уж невозможно снимать в цвете так, чтобы в полной мере гарантировать точность художественного выражения, значит, надо делать только черно-белые фильмы. Однако, если отвлечься от всех этих неприятных сюрпризов, от чувства бессилия, которое часто охватывает тебя и заставляет сожалеть о прекрасном, выразительнейшем и любимейшем черно-белом кино, я все же считаю, что цвет обогащает фильм, придает ему новое измерение: это просто драгоценное изобразительное средство, если только попадает оно в руки художника.

Не думаю, что цветное кино полностью заменит черно-белое; во всяком случае, мне хочется верить, что этого не произойдет. Плохому цветному фильму я, конечно же, предпочитаю черно-белый. Тем более что в некоторых случаях так называемые «естественные цвета» обедняют фантазию. Чем больше ты стремишься подражать действительности, тем скорее скатишься к подделке. В этом смысле черно-белая гамма дает более широкий простор фантазии. Я уверен, что, если после просмотра хорошего черно-белого фильма нарочно спросить у зрителей, какое впечатление на них произвели краски, многие, вероятно, ответят, что краски были замечательные,— ибо каждый наделяет увиденные образы цветами, которые носит в себе.

Фильм «Джульетта и духи» был задуман для Джульетты и о Джульетте. Я вынашивал его очень долго, еще со времен «Дороги». Да, мне хотелось сделать еще одну картину с Джульеттой, но главное, я интуитивно понимал, что в моем намерении использовать кино как инструмент, способный взрезать прозрачную оболочку реального, самой лучшей помощницей может быть именно Джульетта. Идея зародилась давным-давно, в процессе поиска темы, которая могла бы показать зрителю какую-то иную действительность еще лучше, чем история Джельсомины. Была у нас идея сделать фильм о молоденькой монахине, дневник которой мы нашли в библиотеке одного монастыря как раз во время съемок «Дороги». Это было святое существо — неопытное, неискушенное, кротчайшее. Но меня удержала боязнь впасть в слащавый мистицизм, создать еще одно «житие святой».

Пытался я также привязать эти мотивы к личности медиума Эйлин Гаррет, с которой был знаком. Какое-то время мне казалось, что ее биография могла бы стать отправным моментом для фильма. Но мы не очень продвинулись в этом направлении — по-видимому, из-за моей неспособности излагать чьи-то биографии; от одной мысли, что, воспроизводя какую-нибудь подлинную историю, нужно сохранять абсолютную верность фактам, у меня пропадает всякое желание ее рассказывать. Потом у нас был другой план, правда выдержанный в том же

[1] ЭУР (EUR — Эспозиционе универсале романа) — Всемирная римская выставка — район, где перед войной намечалось проведение международной выставки. Сейчас он застроен зданиями современной архитектуры.

ключе и все с той же Джульеттой. Я хотел дать ей возможность сыграть множество ролей в одном фильме: жадную и жестокую бабу, варившую мыло из своих жертв, хиромантку, миллиардершу. Все это были старые забракованные планы, но в какой-то момент у меня появилось искушение свести их в один рассказ; я даже придумал сюжетный ход, который должен был связать их воедино, но потом так ничего из этого и не вышло.

После «8½», когда вновь встал вопрос о создании фильма с участием Джульетты, я опять, уже под новым углом зрения, попытался пересмотреть свои старые замыслы. Быть может, на экране вся эта история сместилась, приобрела иное измерение. Работа над фильмом о невидимом мире отложена; в настоящий момент она, вероятно, неосуществима. И все же отправным был для меня психологический поворот, допускающий известную долю отстраненности, иронии, развлечения и оправдывающий не только строгий сознательный выбор, но и самую безудержную фантазию.

Джульетта-актриса всегда почему-то стремится быть противоположностью тому персонажу, который она создает вместе со мной. Всякий раз она упрямится и подчиняется моим требованиям лишь после долгого сопротивления, словно предчувствует, что ей суждено выпустить на волю какие-то темные силы, которые таятся в ней самой и с которыми она не желает мириться. С самого начала ее ужасно раздражают и костюмы, и манера смотреть, и вообще сама маска ее персонажей. Так и кажется, что рядом с Джульеттой-энтузиасткой и трудолюбивой помощницей вдруг вырастает другая Джульетта, у которой на все одна реакция: «Нет». По-моему, именно в персонаже из этого последнего фильма Джульетта раскрылась наиболее полно и убедительно.

Поначалу было довольно трудно — не ей, а мне — избавиться от улыбок, бледности, взгляда потерявшейся собачонки, которые принадлежали Джельсомине и Кабирии — персонажам, рожденным моей фантазией, но уже навсегда сросшимся с Джульеттой; говоря языком кинематографа, мне предстояло все это убрать, но не полностью, сохранив ту малость от Джельсомины и Кабирии, которая присуща Джульетте-женщине. Это стало для меня каким-то наваждением. Был даже момент, когда мне показалось, что я с этой задачей вообще не справлюсь: не зря ведь я все откладывал съемку наиболее значимых и важных сцен. Но в один прекрасный день я сделал открытие: я понял, что сопротивление Джульетты-актрисы гриму, костюму, парику, серьгам, ее самостоятельная позиция, которая прежде казалась мне просто преступлением против персонажа, недопустимым вторжением в фильм ее женской психологии, на этот раз были оправданны. Мне не следовало сердиться, поскольку в этом фильме Джульетта как раз и должна была проявлять такую вот агрессивность. Бунтуя против деталей своего гардероба, Джульетта сотрудничала со мной, приходила мне на помощь. Когда она добивалась чего-то от гримера или ссорилась с Герарди из-за какого-то платья, мне следовало с вниманием и благодарностью прислушиваться к доводам актрисы, потому что именно в них было заключено здравое начало образа.

С Джульеттой я более нервозен, более требователен, чем с другими. Мне хотелось бы, чтобы она все делала хорошо сразу же. Чьи угодно ошибки я готов терпеть, но ошибки Джульетты меня выводят из равновесия. Здесь я глубоко несправедлив. Дело в том, что Джульетта заняла место в моей душе гораздо раньше, чем другие актеры, и поэтому мне кажется, что ошибаться ей не позволено. Иногда мне так и хочется ей сказать: да что же это такое, ведь ты родилась в этой истории раньше всех, а до сих пор не можешь полностью слиться с образом, над которым мы работаем?

Я всегда считал, что моя встреча с Джульеттой мне была предопределена самой судьбой, и не думаю, что все могло бы сложиться как-то иначе. Речь идет об очень давних отношениях, зародившихся, мне кажется, еще до того, как мы познакомились. Это произошло на радио; Джульетта исполняла написанные мною сценки. Таким образом, отношения деловые развивались параллельно отношениям личным — и так было всегда. Но не следует считать, будто я когда-нибудь работал с Джульеттой по необходимости или ради удобства. Вполне естественно, что совместная жизнь открывает возможности для постоянного наблюдения. Джульетта-актриса как нельзя более полно отвечает моим замыслам, требованиям моего вкуса; отвечает всем — и внешностью, и манерой держаться, выражать свои чувства, и характером. Она, как я уже говорил, актриса мимики, интонаций, клоунских повадок. К тому же, пожалуй даже прежде всего, она — загадочное существо, способное вносить в свои отношения со мной жгучую тоску по чистоте, по более высоким нравственным принципам.

Сколько раз, работая над своими фильмами, я испытывал потребность показать вырождение супружеских отношений, карикатуру на них. А ведь они несут в себе много проблем, больше, чем все прочие отношения, и притом глубоко индивидуальны. Их невозможно упорядочить посредством коллективных норм, навязываемых извне мер и всяческих табу. Следовало бы запретить принуждение к браку. Однако очень многие из нас пассивно подчиняются закону природы, выродившемуся в привычный обряд, и позволяют супружеству засосать, поглотить себя, пренебрегая его единствен-

ным, высочайшим назначением — быть попыткой создания подлинного союза двух людей.

Я инстинктивно понимаю, что нужно, пора начать этот разговор. Не знаю только, достанет ли мне ясности мысли, чтобы сделать это честно. Допускаю, что кто-то, посмотрев «Джульетту и духов», вдруг сделает вывод: «В этом фильме говорится о том, что жены не должны морочить голову мужьям». Но такое лицемерное суждение может обернуться своей противоположностью: ведь точно так же можно сказать, что и мужья не должны угнетать своих жен, относиться к ним как к личной собственности, держать их в рабстве и лишать настоящей любви. Я вспоминаю замечание Юнга, что мужчине трудно рассуждать о женщине, и спрашиваю себя, был ли я честен, не тянул ли, как говорится, одеяло на себя, то есть не идеализировал ли я женщину с тем, чтобы «выпихнуть» ее из контекста мужских интересов.

И все же главная задача, главная цель этого фильма — в том, чтобы возвратить женщине подлинную независимость, ее бесспорное и неотъемлемое право на человеческое достоинство. Я хочу сказать, что свободному мужчине не обойтись без свободной женщины.

Быть может, «Джульетта и духи» — еще не тот честный, исчерпывающий, обстоятельный разговор, который надо вести на эту тему. Быть может, в нем недостаточно убедительно раскрыта даже половина истины. Но я пытался это сделать. Независимость женщины — тема грядущих лет.

Женщине не следует добиваться эмансипации из подражания мужчине, она должна открывать для себя иную, свою собственную действительность — отличную от действительности, в которой живет мужчина, но в то же время и дополняющую ее. Это было бы шагом к более счастливой жизни человечества.

Единственная подлинная верность — это верность самому себе и своему предназначению при полнейшем уважении индивидуальности других. Да и как может быть иначе? Я знаю, что наша нынешняя мораль, законы и вообще вся наша повседневная жизнь часто основываются на противоречивых концепциях, но у меня нет никаких сомнений в том, что все должно измениться.

VIII

Кино — литература: сопоставление это рождается обычно в спорах, в суетной погоне за приоритетом, в стремлении установить ложную зависимость. Каждое произведение искусства живет в том измерении, в каком оно задумано и в каком передано автором: перенести, перевести его с языка оригинала на какой-то иной язык — значит зачеркнуть его, отвергнуть. Когда кинематограф обращается к какому-нибудь литературному произведению, результатом всегда и неизменно бывает экранизация, носящая в лучшем случае иллюстративный характер и сохраняющая чисто внешнее сходство с оригиналом: остаются сюжет, ситуации, персонажи — в общем, целый ряд фактов, ассоциаций и положений, которые в значительно более широком наборе и с куда большей щедростью, убедительностью и непосредственностью способны дать человеку умение приглядываться к повседневной действительности и чтение газет.

Экран открывает нам свои миры, рассказывает свои истории, показывает своих персонажей методом изображения. Его изобразительные средства фигуративны, как фигуративны сновидения. Разве не картинами чарует, пугает, восхищает, огорчает, вдохновляет тебя сновидение? По-моему, слова и диалог в кино нужны больше для информации, чтобы можно было сознательно следить за развитием действий, и еще для того, чтобы сделать это действие правдоподобным с точки зрения нашей повседневной действительности. Но именно эта операция, в результате которой образы кино начинают отражать так называемую привычную действительность, лишает их, пусть частично, атмосферы реальности, столь присущей сновидениям, их визуальному языку. Да, немой фильм обладает тем таинственным обаянием и впечатляющей силой, которые делают его более правдивым, чем фильм звуковой, именно потому, что он ближе к образам сновидения, всегда более живым и реальным, нежели все, что мы видим наяву и можем потрогать руками.

Итак, почему я обратился к «Сатирикону»? Почему мне понадобился Петроний?

Чтобы приняться за дело, мне всегда необходим какой-нибудь предлог, а на «Сатириконе» я остановил свой выбор сам не знаю почему. Впервые книгу Петрония я прочитал много лет тому назад, еще лицеистом, в издании для внеклассного чтения с такими ханжески выхолощенными иллюстрациями, что они просто не могли не вызвать всяких эротических ассоциаций. То давнее чтение навсегда оставило по себе удивительно живые воспоминания и интерес, который с течением времени превратился в постоянный и смутный искус. И вот теперь, по прошествии стольких лет, я вновь перечитал «Сатирикон» — пожалуй, не с таким жадным любопытством, но с не меньшим удовольствием, чем тогда, и после этого чтения меня неудержимо потянуло сделать фильм.

«Сатирикон» — произведение загадочное прежде всего потому, что оно фрагментарно. Но фрагментарность эта в известном смысле символична. Она как бы символизирует фрагментарность самой античности, какой она представляется нам сегодня. Именно в этом подлинная привлекательность и произведения, и показанного в нем мира. Он как незнакомый пейзаж за плотной пеленой тумана, которая, временами разрываясь, позволяет хоть что-то увидеть мельком. Гуманистам эпохи Возрождения ссылки на античность нужны были для самооправдания, для самовыражения: они прое-

цировали на античность некое собственное предвзятое представление о ней. Я же проецировать ничего не могу, ибо у меня нет предвзятых представлений. Для меня античный мир — это мир навсегда утраченный, и в силу своего неведения я могу установить с ним лишь отношения, построенные на фантазии, на воображении, на предположениях и впечатлениях, совершенно не связанных с какими бы то ни было историческими знаниями, информацией исторического характера.

Школа — по крайней мере та, в которой учился я,— почти всегда отдаляет от нас, замораживает знания, которые она должна нам дать; навязывая нам свою точку зрения, она обедняет их, превращает в бесконечную цепь абстрактных, бессмысленных сведений, которые в конце концов оказываются соотносимыми лишь с самими собой, иными словами — ни с чем. Открытие языческого мира, сведения о нем, получаемые, например, в школе, носят просто перечислительный, назывательный характер и пробуждают в нас смешанное чувство недоверия, скуки, равнодушия, ну и, в крайнем случае, грязное, солдафонское и даже немного расистское любопытство; такое чувство может вызвать нечто, тебя лично не касающееся и отстраненное (как, скажем, математика или химия) и неприятное, как допризывная подготовка.

Древние развалины? Аппиева дорога? А вернее, фотоснимки древних развалин и Аппиевой дороги в учебниках по истории или на почтовых открытках? Подлакированные призраки, обескровленные образы, кладбищенские виды, навевающие уныние, грусть и словно специально созданные на радость фотографам-любителям, особенно немцам, которые снимают эти развалины на закате, против света, с неизменной парочкой овечек на переднем плане. Фрески Помпеи? Геркуланум? То, что я видел в Капитолийском музее, меня почти не взволновало, ибо чувства, которые могло все это вызвать, были притуплены еще во времена унылых школьных уроков. Величественная неподвижность заполонивших музей археологических находок почему-то воскрешает именно старые школьные знания или случайные личные впечатления. Какой-то мраморный бюст с пустыми глазами вдруг оживил в моей памяти страдальческое и встревоженное личико моей деревенской кузины по имени Йоле: девочка была рыженькая, болезненная, я помню, как она лежала в постели и ей все время давали пить. На мгновение мне почудилось, что между мной и камнем возникла какая-то неуловимая связь, какое-то мимолетное сообщничество. У этого бюста было лицо Йоле, и я погладил его спутанные каменные волосы: «Как знать, может, ты и сумеешь мне немножко помочь... Солонина?» (к шее бюста была прикреплена табличка с этим именем); но только я это подумал, как сопровождавший меня один мой ученый друг заметил, что Солонина была специалисткой по части расправ и распятий на кресте и что самым большим удовольствием для нее было собственными руками вырывать сердце из груди людей, которых приносили в жертву богам.

Психический пласт, хранящий эти воспоминания, лежит очень глубоко, под тысячелетними слоями других мифов, других образов, других историй.

На этот раз даже подбор типажей ставит меня в тупик, приводит в замешательство. Обычно портретная основа любого моего фильма — это самое надежное средство, самый верный ключ, позволяющий постичь его смысл; но на сей раз сюжет фильма прочерчивается с трудом, какой-то он зыбкий, порой даже бессвязный. Нет никаких образцов, никаких эстетических канонов, которым можно было бы следовать, которые отвечали бы, по крайней мере, моим смутным представлениям о том, что я хочу сделать. Все традиционные средства выражения перепутались, опрокинулись, и если я все-таки позволю себе ими увлечься, результат может оказаться совершенно неожиданным или просто катастрофическим. Иногда, случается, я говорю: «Ба, да ведь у этого человека лицо настоящего римлянина», но стоит одеть и загримировать его под римлянина, как он сразу становится похожим на какого-нибудь служащего земельной управы или на трамвайщика. У Мессалины, голову которой я видел на Капитолийском Олимпе, такое же безмятежное и благодушное выражение лица, как у какой-нибудь торговки яйцами.

Вот только прошлой ночью, в Колизее... Это безобразное нагромождение камней, напоминающее лунный пейзаж, этот огромный, источенный временем череп, вросший в землю посреди города, представился мне на мгновение осколком какой-то инопланетной цивилизации, и я даже вздрогнул от сладкого ужаса. Одно лишь мгновение, но я почувствовал — впервые,— что погружаюсь в пульсирующую просветленность сна, что меня лихорадит от предчувствий и игры воображения.

Но покончим с этими безудержными фантазиями и вернемся к фильму. Так вот, мне бы хотелось сделать следующее: придумать такой древнеримский мир, чтобы казалось, будто он вызван к жизни с помощью колдовства. Я надеюсь, что, как археолог из отдельных черепков воссоздает некую, пусть неполную, искрошенную, покалеченную форму, позволяющую, однако, увидеть в ней амфору, или голову мужчины, или женское лицо, так и фильм своими незавершенными эпизодами (одни без начала, другие без конца, третьи без середины) сможет позволить нам угадать, разглядеть границы и приметы исчезнувшего мира, жизнь существ, нравы и обычаи которых нам не понятны, обряды и повседневную действительность континента, канувшего в галактику времени. Верность исторической правде, а следовательно, и книжная документальность, фактологическая сторона какого-нибудь исторического анек-

дота, органичность повествования ни к чему в произведении, автор которого берется «оживить» столь далеких от нас людей, как бы захватить их врасплох, показать со всей естественностью, как они двигаются, дерутся, терзают друг друга, родятся, умирают — словно дикие звери в чащобе джунглей, не чувствуя, что за ними кто-то подглядывает.

Быть может, все это пустые разговоры! Но иногда они нужны мне для того, чтобы подстегнуть, спровоцировать фильм, заставить его выйти из тумана предполагаемых, расплывчатых форм, заставить его показаться, объявиться, дать себя узнать. Хотелось бы, чтобы фильм этот позволил зрителю заглянуть в этот раскопанный мир, показал вещи, как бы еще присыпанные землей. Фильм должен быть неровным, разорванным по своей структуре: длинные, хорошо проработанные куски должны перемежаться эпизодами словно отдаленными, нерезкими, невосстановимыми из-за своей фрагментарности. Это будет не историческая, а научно-фантастическая картина. Рим Асцильта, Энкольпия, Тримальхиона, еще более далекий и невероятный, чем неведомые планеты в комиксах о Флеше Гордоне.

Я спрашиваю себя: а удастся ли вычеркнуть из нашего сознания две тысячи лет истории и христианства, можно ли попытаться представить себе мифы, манеру поведения, обычаи столь далеких наших предков, не превращая их в объект самодовольного морализаторства, не осуждая их, избегая критических оговорок, преодолевая психологические барьеры и предрассудки? Пожалуй, нет. И все-таки я хочу попробовать, хочу выработать у себя ясный, непредвзятый взгляд, позволяющий спокойно проникнуть в иное измерение. Возможно, античного мира никогда и не было, но несомненно, что мы видели его в своих снах. «Сатирикон», как и сны, должен обладать загадочной прозрачностью, непостижимой чистотой. Труднее всего здесь будет произвести одновременно две параллельные и совершенно противоположные операции. В фильме все придумано — лица, жесты, ситуации, вещи, вся окружающая обстановка. Чтобы достичь этого результата, придется довериться своей страсти к фантазии. Но потом эти плоды фантазии надо будет как-то конкретизировать, чтобы можно было рассмотреть их вновь и убедиться, что они остались нетронутыми и в то же время сделались неузнаваемыми. Кстати, со снами ведь происходит то же самое. Их содержание носит глубоко личный характер, но через него мы не выражаем самих себя, ибо с наступлением дня единственно возможная познавательная связь между нами и нашими сновидениями приобретает характер какой-то зауми.

Я мог бы сказать, что Рим периода упадка империи очень схож с нашим современным миром той же слепой жаждой наслаждения жизнью, тем же разгулом насилия, тем же отсутствием принципов, тем же отчаянием, тем же легкомыслием. Я мог бы сказать, что герои «Сатирикона» Энкольпий и Асцильт очень похожи на наших хиппи: они тоже подчиняются только требованиям собственного тела, ищут «новое измерение» в наркотиках, не признают никаких проблем. Да, я мог бы это сказать и, возможно, был бы не так уж далек от истины. Но только все мои более или менее убедительные объяснения, в сущности, мало чего стоят. Главное, что, делая этот фильм, я вновь испытываю чувство удовольствия и радостного возбуждения; а ведь я боялся, что уже утратил его навсегда. Нет, охота делать фильмы у меня, как видно, еще не прошла.

Режиссерские заметки

Я ВАС НЕ ЗНАЮ.
КТО ВЫ?
НАЦИСТЫ — РАСИСТЫ — ИОДЛИ
МИНЕРАЛЬНЫЙ — НЕВРОТИЧЕСКИЙ — ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫЙ — ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ — ВАРВАРСКИЙ — НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
МАРСИАНЕ — ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА.

В воздухе какие-то новые колебания. Помнишь сон: розовые, словно ошпаренные толстяки в комнатушках сумасшедшего дома?
Фибрилляция. ПЕРЕГРЕТАЯ.

Это все равно что пытаться воссоздать древнейшую амфору из черепков, найденных через сотни лет.

Пыль — Темнота (Заклинание).

Куски под конец идут все более изуродованные, искромсанные; фрагменты...
«...старик смеялся, указывая на что-то в отражении...»
«...взмыленный конь...»
«...глаза у него погрустнели...»

ТЕМНОТА — ЧЕРНЫЕ ПРОКЛЕЙКИ — ХРИПЛЫЕ, КЛОКОЧУЩИЕ ГОЛОСА ВЫКРИКИВАЮТ ВСЕ БОЛЕЕ НЕРАЗБОРЧИВЫЕ ФРАЗЫ, СЛОВНО ПЫТАЮТСЯ ЧТО-ТО СКАЗАТЬ УТОПАЮЩИЕ.

НЕ ЗАБЫТЬ:

Мучительную неподвижность барельефов. Пустые глаза. Без зрачков. Бронзовые глаза.

Празднества — Ночь была усеяна веселыми огнями.

Много строящихся домов. Мосты. Рушащиеся здания (землетрясение на Insula Felix, страшный дворец-небоскреб — огромное, темное, кишащее людьми зда-

ние, напоминающее «Вавилонскую башню» Брейгеля).

Фильм о марсианах. Он должен быть таким же притягательно-напряженным и тревожным, какими были для нас первые японские фильмы: никак нельзя было понять, смеются эти люди или плачут; от неожиданных прыжков и хищных криков Тосиро Мифуне замирало сердце — то ли он сейчас тебя по-братски обнимет, то ли разрубит пополам одним ударом своей кривой сабли...

АРИТМИЧНЫЙ — ТОЩИЙ — УКЛОНЧИВЫЙ — НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ.

Убийственная медлительность, микроскопически малая скорость.

ПЛОХОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, с длиннейшими паузами, запинками. Прерывающееся, неуверенное; какое-то обезличенное, асептическое озвучивание; словно читают последние известия по радио. Озвучивание с техническим браком: голоса умолкают прежде, чем перестают шевелиться губы, или наоборот, слышатся после того, как губы сомкнулись. Это доводит до отчаяния звукооператоров, особенно американских: всматриваясь в сцену шторма на море, когда в кадре мельтешит добрая тысяча взбунтовавшихся, разъяренных матросов, они изо всех сил стараются углядеть, совпадают ли выкрикиваемые адмиралом приказы с его артикуляцией.

Грандиозная, впечатляющая и загадочная сказка. Фильм, снятый фиксированной, неподвижной камерой: без наездов и других перемещений. Фильм, каждый кадр которого нужно смотреть так, как смотрят сон; он должен гипнотизировать. Все бессвязно, фрагментарно. И в то же время удивительно однородно. Каждая деталь будет существовать сама по себе — изолированная, раздутая, абсурдная, чудовищная — как в сновидениях. Да и сама атмосфера фильма будет атмосферой сновидения. Много темноты, много ночи, много мрачных, плохо освещенных помещений. Или пейзажей, похожих на круги ада, в дремотном сиянии нереального, бледного солнца. Много коридоров, галерей, комнат, дворов, тупиков, лестниц и еще всяких унылых и тесных переходов. Ничего светлого, белого, чистого. Все одеяния неприятных, тусклых тонов, цвета камня, пыли, грязи. Краски черные, желтые, красные, но словно припорошенные непрестанно падающим пеплом. Что касается изобразительной стороны, то я попытаюсь добиться смешения элементов помпейских с психоделическими, византийского искусства с поп-артом, Мондриана и Клее с искусством варваров... в этаком высвобождении образов из магмы.

НЕ ЗАБЫТЬ:
НЕЛЕПЫЕ ПРОПОРЦИИ.
МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ И ГИГАНТЫ — НА ЗАДНЕМ.

Огромную статую Нерона провозят на колеснице по переулкам Субурры [1].

ЗАГРИМИРОВАТЬ *ЖИВОТНЫХ* (Это я хочу сделать сам!).
ЖИВОТНЫЕ НЕИЗВЕСТНЫХ, ВЫМЕРШИХ ВИДОВ.

ВАЖНО: жесты, перемигивания, гримасы, свидетельствующие о каком-то тайном сговоре. Взгляды — пристальные или лихорадочно блуждающие. (А что, если Джитоне будет изъясняться только знаками, изображая вещи, людей, факты посредством такой же очаровательной и загадочной алгебры, как Гарпо Маркс [2]??)

ПРАЗДНЕСТВА В ЧЕСТЬ БОГА ПАНА.

Статуи Венеры и Марса с магнитами в животах: они с силой притягиваются друг к другу.

...громко: «Ночь кончилась. Ночь кончилась!»

IX

Цирк столько раз вторгался в мои фильмы, что я просто не мог не посвятить ему целую картину.

Как же было дело?

Я вел переписку с одной американской телевизионной компанией. Признаться, мне уже давно хотелось сделать что-нибудь для телевидения — этого своеобразного мостика, соединяющего автора со зрителем какими-то невидимыми, очень интимными, очень личными связями. Хотя сам я почти никогда телепередач не смотрю, присутствие в доме этого сероватого, широко раскрытого глаза, глаза какого-то инопланетного животного, меня всегда завораживало. В общем, хотелось попробовать.

Как и обычно, все началось не потому, что у меня уже был какой-то готовый замысел.

Однажды некий Питер Гольдфард (по-итальянски — Пьетро Колордоро [3]) вытянул из меня обещание — довольно неопределенное — принять участие в цикле его передач «Час свободного эксперимента»: во время этой продолжающейся пятьдесят пять минут передачи какой-нибудь деятель культуры, художник может сколько угодно фантазировать —

[1] Субурра — один из кварталов древнего Рима.
[2] Гарпо Маркс — один из четырех братьев, популярных в 30—40-х годах голливудских комиков-эксцентриков.
[3] Фамилию Колордоро (Colordoro) на русский можно перевести как Златоцвет.

экран предоставляется в его полное распоряжение. Пикассо, предположим, рисует эскизы. Успех грандиозный. Стравинский проводит репетицию концерта, играет сам, балагурит.

Конечно, пока ничего этого не было. Речь шла только о намерениях, которые предстояло осуществить.

Колордоро соблазнял меня как мог:

— Да ты вообще можешь все пятьдесят пять минут сидеть и молчать. Представляешь? Твои глаза — остановившиеся, неподвижные — устремлены на зрителя!

— И вы мне за это заплатите?

— Конечно. Если ты устанешь, мы можем показать вместо тебя твою фотографию.

И я подписал контракт. Потом Колордоро куда-то исчез. Но в контракте были оговорены сроки — весьма определенные.

Началась подготовка к «Сатирикону», а тут является Колордоро: надо выполнять обязательства по контракту.

Я предложил использовать пробы, сделанные для «Сатирикона»,— рассказать о них в интервью. Всей работы на полдня.

Колордоро смотрел на меня ласково, но в то же время властно: «Нет, нам нужно что-нибудь более цельное».

И тогда я сделал «Блокнот режиссера» [1], сделал, говоря по правде, не очень себя утруждая,— как работу, от которой нужно поскорее избавиться. Но эта непринужденность (в хорошем смысле), эта спешка, эта легкость привели меня в прекрасное расположение духа. Мне показалось, что шагать вот так, без чемоданов, легче.

Ведь таким образом можно сколько угодно разглагольствовать, была бы тема. Иными словами, я усмотрел здесь возможность приобрести какой-то новый для себя опыт.

И когда американская телекомпания, убедившись, что наша передача имеет успех у зрителя (в США ее показывали несколько раз на протяжении двух лет), обратилась ко мне еще с одним предложением, я сразу же согласился.

Сам характер воздействия телевидения на зрителя (более интимная связь с ним), а также воспоминание о первом легком успехе привлекали возможностью попытать себя как свидетеля, перестать проецировать на все свою ностальгию, свои предчувствия. Мне казалось, я призван видеть действительность такой, какая она есть, а не стараться делать видимым невидимое. Но все мои благие намерения обернулись грандиозным провалом. Художник, поддаваясь влиянию внешних факторов, неизбежно совершает ошибку. Однако мой белый клоун между тем уже начал подсказывать мне целую серию портретов и образов, как бы накладывавшихся на некоторые важные проблемы современного мира: Мао, какое-нибудь американское предприятие, папа римский, мой город и так далее. Сделаю их — успокаивал я себя — так, как умею это делать я.

Руководители телекомпании, хотя они постоянно менялись (мне, во всяком случае, ни разу не довелось с одним и тем же человеком разговаривать дважды), приняли все эти темы с восторгом.

И я приступил к работе. Поговорил с Антонелло Тромбадори [1], поскольку для начала хотел сделать интервью с Мао. Если бы интервью взять у Мао не удалось, я бы рассказал, почему именно не удалось.

Но не мог же я начать «снимать» сразу. Мне всегда требуется какое-то время, чтобы разобраться в своих эмоциях, взглянуть на все в более верном свете.

И потому я предложил руководителям телекомпании — опять, конечно, новым — следующее: за первый год я делаю вам два репортажа — о Мао и о каком-нибудь тибетском монастыре. Выезжаю я на место с администратором и помощником. Расходы и всякие там самолеты, подводные лодки, дирижабли — короче, все, что может понадобиться для наших репортажей, вы берете на себя. Потом я возвращаюсь и говорю, сумею выполнить такую работу или нет.

Моя предосторожность была продиктована смешанным чувством страха и лени. Я всегда срастаюсь со своей работой. Мне кажется, что я вкладываю в нее себя всего — целиком и полностью. Следовательно, работа для меня — это кусок моей жизни. Я не умею относиться к ней отстраненно, профессионально.

По правде говоря, в тот момент я вряд ли смог бы отправиться в Китай — именно потому, что такая поездка, как я уже сказал, была бы не просто этапом в моей профессиональной деятельности, а настоящим поворотом в жизни.

Кроме того, мое внутреннее сопротивление объяснялось, конечно, и стремлением сохранить верность своим принципам выбора (это типично для любого творческого процесса). Я же по своему принципу выбора — антижурналист, антисвидетель, а при данных обстоятельствах это помеха.

И вот, чтобы окончательно сорвать все дело, я воспользовался как предлогом сомнениями очередных новых руководителей телекомпании, желавших включить в контракт оговорку, которая оставляла за ними право показывать или не показывать мою работу телезрителям. Нет, при таких условиях я работать не могу. Если я не уверен, что разговор со зрителем состоится, я не могу работать.

Тут как раз в дело вмешалось итальянское телевидение: мне только предложили изменить темы, взять что-нибудь из итальянской действительности.

«Давайте сделаем фильм о клоунах — вестниках моего призвания»,— предложил я. Целый воскресный вечер обсуждали мы эту идею с Бернардино Дзаппони у него дома, в Дзагароло. Потом, в поисках — толком даже не знаю чего —

[1] Телевизионный фильм «Блокнот режиссера» («Block-notes di un regista») Феллини снял в 1968 году.

[1] Антонелло Тромбадори (род. в 1918 г.) — итальянский общественный деятель-коммунист, публицист и кинокритик.

съездили в Париж, а возвратившись, за несколько дней написали сценарий. В общем, за дело мы принялись, не очень раздумывая. Сначала я почему-то произнес это слово «клоуны». Потом пришлось делать фильм [1].

Что я могу сказать о своих отношениях с ТВ?

Пока в моем опыте есть лишь один отрадный момент — легкость, непринужденность, с которыми я принялся за это дело. Такое особое состояние, по-моему, благотворно влияет на фантазию, оно — залог душевного здоровья. Воображаемая публика как бы истончается, превращается в одного-единственного зрителя, сидящего перед телеэкраном. И от этого ты становишься более свободным, более откровенным.

Что до остального, то, как я заметил, выражать себя я могу только одним способом — только через изображение. Я не думаю, что ТВ «священно» лишь потому, что оно вообще существует. Специфичность изобразительного языка телевидения — то есть неповторимость мгновения, выхваченного из миллионов ему подобных,— следует использовать только для раскрытия своего внутреннего мира. В противном случае... Ну, взять хотя бы вот этот сад; снятый таким, какой он сейчас, перед нами, сад не выражает моего представления о нем.

К тому же ТВ делает гораздо больший упор на слово, чем на изображение.

Но мне все равно захотелось выполнить эту работу — именно в силу тех личных обстоятельств, о которых я уже говорил. В общем, ТВ для меня — тот канал, по которому я скольжу с особой легкостью. Актерский состав там меньше, работа сама просится, чтобы ее делали левой рукой.

Найти бы продюсеров, которые дали мне возможность делать телефильмы, не ставя под ними своего имени: тогда бы не было ни разочарований, ни обещаний, которые надо выполнять.

По правде говоря, проблемы телевизионной специфики я вообще не признаю. ТВ для меня — всего лишь еще один способ делать фильм: когда Пикассо, например, перестает писать картины, он переключается на керамику. Так вот, ТВ может стать чем-то вроде освежающего глотка чистой целебной воды для того, кому угрожают склероз, рутина, кто склонен отождествлять себя с представлением, которое сложилось о нем у других.

Это все равно что выйти из своего дома и прогуляться немного по тропинкам.

Правда, следовало бы предоставлять в распоряжение режиссера больше денег. И все-таки не могу не признать, что нехватка средств не такая уж беда. Ведь необходимость как-то устраиваться плодотворна для итальянца. Это его родная стихия. В ней складывались основы его психики.

Приступая к этой работе, я руководствовался благим намерением сделать серьезный репортаж. И даже довел ее до конца. Но чувствовал себя как-то неловко. Дело в том, что я не умею задавать вопросы. А если вопрос все-таки получился, то ответ на него меня не интересует. Вот об этом своем затруднении я и рассказывал по ходу фильма.

К тому же во всех этих фильмах-репортажах есть что-то от полицейского вторжения в чужую личную жизнь, которое меня всегда раздражало. Несколько лет тому назад я рассказал об этом в одном из эпизодов в картине «Любовь в городе» [1]. Вот уж о чем действительно свидетельствуют такие репортажи, так это о твоей невоспитанности и неприличном любопытстве.

Потому-то в моем репортаже отчетливо выступает сатирический момент: он и помог мне все это выдержать.

Я повторяю: единственное обоснованное свидетельство, на которое имеет право человек, это свидетельство о себе самом. «Настоящим реалистом может быть только фантазер» — кто это сказал? Ведь фантазер свидетельствует о событиях, являющихся его реальной действительностью, то есть самым реальным из всего, что есть на свете.

Поездка в Париж оказалась весьма полезной: не потому, что работа над репортажем могла открыть какие-то истины, а потому, что я получил возможность сделать пародию на подобные репортажи... Всегда важно составить собственное представление о вещи; потом уж можно позволить себе удовольствие искать какие-то подтверждения извне.

Если вдуматься, выдвинутое против меня несколько лет назад обвинение в том, что я — великий мистификатор, пожалуй, не так уж необоснованно.

Вещи я всегда воспринимаю субъективно, через эмоции.

Если я хожу и оглядываюсь по сторонам, то делаю это лишь затем, чтобы проверить, правильно ли я все напридумывал.

Фильм — это попытка построить какой-то мир, какую-то среду так, чтобы они выглядели убедительно; попытка удержаться в этом измерении, воссоздать чувства, волнение, удивление, связанные именно с ним.

А теперь должен сделать одно щекотливое признание: о цирке я ничего не знаю; мне ли о нем говорить, коль скоро тут нужны знания истории и фактов. Должен добавить, что я видел очень мало цирковых представлений, даже если этим признанием огорчу — словно невольно их предал — множество своих друзей из мира цирка, которые всегда встречают меня объятиями и радостно приветствуют как родного,— какого-ни-

[1] Телевизионный фильм «Клоуны» («I clowns») Феллини снял в 1970 г.

[1] «Любовь в городе» («L'amore in citta») 1953 г. Эпизод «Брачное агентство». Сценарий Ф. Феллини и Т. Пинелли. Остальные эпизоды фильма снимались другими режиссерами по сценариям других авторов.

будь старого наездника или шпагоглотателя. А впрочем, почему бы и нет? Не зная о цирке ничего, я знаю о нем все; о нем и его укромных уголках, огнях, запахах и даже о некоторых самых сокровенных сторонах его жизни. Знаю и знал всегда. С самого первого посещения цирк ранил мою душу, я принял цирк в себя со всем его шумом, с его оглушительной музыкой, с его захватывающими дух номерами, с его смертельной опасностью.

Конечно, какие-то более или менее загадочные, непонятные предпосылки к этому, по-видимому, уже существовали; в противном случае чем объяснить, например, что у какого-то ребенка, впервые приведенного в церковь, душа вместо того, чтобы замереть — как у меня и, наверное, у множества других детей — от холода, тоски и страха, вдруг переполняется каким-то умилением, пьянящей радостью, которые рано или поздно сделают из него священника? Так вот, это упоение, умиление, восторг, это возникшее сразу же чувство, что я у себя дома, охватили меня, едва я впервые ступил под шатер цирка. И было это не во время представления, когда публика переполняет зал, а воздух содрогается от оглушительной музыки; нет, тогда, ранним утром, под золотистым шатром, слегка колыхавшимся, словно огромный, теплый, уютный живот великана, не было ни души. Стояла зачарованная тишина. Лишь издалека доносился голос женщины — она напевала, выколачивая одежду,— и где-то ржала лошадь. У меня захватило дух, я был счастлив — так мог бы чувствовать себя высаженный на Луне астронавт, который вдруг находит свой космический корабль. В тот же вечер я смотрел представление, сидя на коленях у отца, среди ярких огней, рева труб, рыка, воя, ураганных аплодисментов, и был потрясен, словно внезапно узнал что-то знакомое; оно принадлежало мне всегда и в то же время было моим будущим, моей работой, моей жизнью, умопомрачительные, смешные клоуны в огромных башмаках и отрепьях, с их полнейшей иррациональностью, неистовством и чудовищными выходками показались мне пьяными и бредящими провозвестниками призвания, от которого не уйти: это было предсказание, пророчество, «благовещение Федерико». И действительно, разве кино — я имею в виду работу над фильмом, жизнь среди участников съемочной группы — не похоже на жизнь цирка? Артисты с их причудами, атлеты-рабочие, осветители, всякие капризные специалисты, до умопомрачения красивые женщины, портные, парикмахеры — люди, съехавшиеся из разных уголков земного шара и все равно понимающие друг друга в этом языковом вавилоне; и набеги (чем не армия грабителей?) на площади и улицы городов — сутолока, хаос, перекликающиеся голоса, восклицания, вспышки ярости, ссоры и внезапная тишина, наступающая после гневного окрика; а за всем этим видимым беспорядком — нерушимый план, походное предписание, всегда исполняемое с поразительной точностью; ну и, конечно же, удовольствие от того, что все вы вместе, вместе работаете, переезжаете, путешествуете, как одна огромная семья — этакий идеал гармонического сосуществования, утопическое общество, в общем, все удивительные вещи, с которыми сталкиваешься во время съемок фильма... разве это не цирк, не его жизнь?

Да, верно, в моей работе нет грозной атмосферы бойни и сумасшедшего дома, царящей в цирке; в кино вам довольно редко угрожает опасность оказаться в лапах у льва, быть пронзенным ножом, который неудачно метнул партнер, или сорваться вниз с тридцатиметровой высоты. Однако свои опасности есть и у нас: взять хотя бы пакеты с завтраком, которые выдаются всем участникам съемок во время перерыва, стычки с продюсером, переговоры с представителями проката или интервью с иными журналистами. Здесь тоже попахивает животными, чувствуется тяжелый звериный дух, и если ты не умеешь напускать на себя вид еще более устрашающий, чем у них, то рискуешь получить серьезные увечья, стать жертвой ужасной расправы. Это шутка, пожалуй даже несколько натужная, просто я не знаю, что тут еще можно сказать. Ведь о цирке уже сказано все, он обесценен, отработан литературой, однако же, вопреки всему, еще держится, оставаясь некой цельной структурой со своим измерением, со своей неповторимой атмосферой; их не сдашь в архив, их не занесло пылью времени, потому что подобный образ жизни и самовыражения удивительным образом вобрал в себя некоторые устойчивые мифы: приключение, путешествие, риск, опасность, спешку, направленный на тебя свет прожекторов... и еще эту самую унизительную и неизменно повторяющуюся процедуру — выход к публике. Публика приходит посмотреть на тебя, и ты должен перед ней выступать. Какой чудовищный экзамен учиняют тебе люди, имеющие на это биологическое, расистское право; вон они, сидят перед тобой, всем своим видом говоря: «Ну что ж, билет я купил, теперь дело за тобой, рассмеши меня, пощекочи мне нервы, заставь заплакать». Я считаю, что такое зрелище, как цирк, несмотря на то, что оно с явным трудом вписывается в современный мир, должно быть восстановлено в своих правах; нет, цирк еще не устарел, уж если на то пошло, больше устарели мелодрама и эстрада. Я считаю также, что зрелище — в любой своей форме — восходит к цирку, во всяком случае, цирк его предшественник — если не в хронологическом, то в идейном отношении.

Конечно, диспропорция между трудом, затраченным на доставку тридцати цирковых единиц из Милана, скажем, в Катанию, и впечатлением от зрелища, которое там показано, с каждым днем становится все очевиднее и огорчительнее. Ведь своими чудесами цирк еще и сейчас в известной мере обязан экзоти-

ке (звери из Индии или из Африки) и опасности, хотя в наше время искушенная публика может ежедневно наслаждаться любым существующим на свете зрелищем, а с помощью кино или ТВ присутствовать даже при полетах на Луну. Но, несмотря на уже невозможную сегодня попытку удивлять, то, чем потряс нас цирк в детстве (шатер, арена, яркие огни, оркестр), все же могло бы остаться фоном, физической средой для выражения наших мыслей и наших чувств. Я бы с удовольствием поставил что-нибудь в самом цирке. В первой части можно было бы дать наиболее известные отрывки из старых постановок, музыку того времени, воскресить репризы знаменитых клоунов. Во второй части хотелось бы продолжить цирковую традицию (чудеса, фантазия, издевки, нонсенс, отсутствие холодного умствования), но уже в приложении к сегодняшним мифам, личностям, ситуациям. Вот побродить бы так с годик... Орфеи — цирковая семья, с которой я давно дружу и которая владеет четырьмя или пятью огромными «шапито»,— при каждой встрече неизменно напоминают, что для меня у них всегда найдется свободный прицепной вагончик. Мне очень нравится представлять себя в нем. Так и хочется воскликнуть: что за прекрасная жизнь! Что за увлекательный и символичный способ путешествовать по собственной жизни!

Вот передо мной одно из множества определений клоуна, данное моим земляком Альфредо Панцини в «Современном толковом словаре»: «CLOWN — англ. Основное значение: «деревенский, грубый, смешной». Впоследствии клоуном стали называть человека, который своими нелепыми выходками смешит публику. Термин «клоун» равнозначен нашему «паяц».

Но жаль, что даже здесь автор выпячивает иностранное слово, как бы облагораживающее само понятие: «паяц» выступает на ярмарке и вообще под открытым небом, а «клоун» — в цирке или на эстраде. Хороший акробат — это тоже «клоун», то есть почти артист: определение «паяц» он сочтет неточным и для себя оскорбительным. В переносном смысле слово «клоун» тоже предпочтительнее...»

Так вот, клоун воплощает в себе черты фантастического существа, раскрывающего иррациональную сторону человеческой личности, ее инстинктивное начало и ту малую толику бунтарства и протеста против установленного свыше порядка, которая есть в каждом из нас. Клоун — это карикатура на человека, выпячивающая черточки, которые роднят его с животным и ребенком, с тем, кто смеется, и с тем, над кем смеются. Он — зеркало, в котором человек видит свое гротескное, искаженное, нелепое отражение. Он — самая настоящая тень. Он есть и всегда будет. Это все равно что спросить себя: «Тень умерла? А может тень умереть?»

Чтобы покончить с тенью, нужно солнце, стоящее прямо над головой: тогда тень исчезает. Так вот, у человека, во всех отношениях просвещенного, исчезают карикатурные, смешные, уродливые черты. С существом столь совершенным клоуну — этой его кривой тени — делать нечего. Клоун, конечно же, никуда не денется: просто он ассимилируется. Иными словами, все иррациональное, детское, инстинктивное перестанет преломляться в извращенном взгляде, от которого оно и становится уродливым.

Разве святой Франциск не называл себя шутом божьим? А Лао-Цзы[1] говорил: «Если ты произвел на свет мысль, подвергни ее осмеянию».

Когда я говорю: «клоун», то имею в виду рыжего. Ведь существуют два вида клоунов — белый клоун и рыжий. Первый — это само изящество, грация, гармония, ум, трезвость мысли, которые морализаторы выдают за качества идеальные, непревзойденные, безусловно божественные. И вот тут сразу заявляет о себе негативный аспект этого дела, поскольку белый клоун становится, таким образом, олицетворением Мамы, Папы, Учителя, Художника, Прекрасного и вообще всего, что «положено делать». И рыжий, который и попал бы под очарование всех этих совершенств, если бы их так упорно не выставляли напоказ, восстает. Он видит, что paillettes[2] заманчиво сверкают, но высокомерие, с которым их демонстрируют, делает эту вещь для него недоступной.

Рыжий, которого можно сравнить с ребенком, пачкающим под себя, бунтует против подобного совершенства; он напивается, катается по земле и, следовательно, подстрекает к вечному протесту.

Короче, перед нами борьба между надменным культом разума (который тяготеет к эстетизму, навязываемому силой) и инстинктом, свободой инстинкта.

Белый клоун и рыжий — это учительница и ребенок, мать и сын-сорванец или даже ангел с огненным мечом в деснице и грешник.

В общем, они являют собой два психологических состояния человека — тягу к возвышенному и тягу к низменному,— существующие порознь, раздельно.

Фильм кончается так: две человеческие фигуры идут навстречу друг другу, а потом вместе удаляются. Почему так трогает подобная ситуация? Потому что эти две фигуры воплощают в себе миф, живущий в душе каждого из нас: миф о возможном примирении противоположностей, единстве бытия.

---

[1] Лао-Цзы — древнекитайский мыслитель (V в. до н. э.).

[2] Les paillettes — блестки *(франц.)*.

Привкус горечи в постоянной войне между белым клоуном и рыжим возникает не от музыки или чего-то в этом роде, а от сознания того очевидного для нас факта, что мы не в состоянии примирить эти две фигуры. Ведь чем больше ты будешь заставлять рыжего играть на скрипке, тем охотнее он будет дурачиться со своим тромбоном. И еще: белый клоун хочет, чтобы рыжий был элегантным? Что ж, чем более властно он будет этого требовать, тем больше его антипод будет стараться выглядеть оборванным, неуклюжим замарашкой.

Какая прекрасная аллегория воспитания, которое строится на идеализированном, абстрактном представлении о жизни. Разве не о том же говорит Лао-Цзы: «Если ты произвел на свет мысль (белый клоун), подвергни ее осмеянию (рыжий)»?

Здесь было бы уместно привести в пример знаменитые народные китайские символы гармонии инь — ян, то есть стужа — солнце, мужчина — женщина, в общем, все противоположные начала; можно было бы поговорить о Гегеле и диалектике, а также добавить, что рыжий — это, пожалуй, фигура, относящаяся к люмпен-пролетариату, к Двору чудес [1]; рыжие — изможденные, калеки, отверженные, они способны, возможно, на бунт, но не на революцию. Народ всегда относился к ним с доверием, должно быть, потому, что в силу своего бедственного положения давно свыкся со всем ужасным.

Фрателлини ввели в цирковое представление третьего клоуна (так называемого le contre-pitre): он походил на рыжего, но только на рыжего, который заключил союз с хозяином. Это был нищий, ожидающий подачки, бездельник, шпик, доносчик, вольноотпущенник, живущий по принципу «и нашим и вашим», и находящийся где-то на полпути между миром властей и миром жуликов.

На самом деле все белые клоуны (за исключением Франсуа Фрателлини, этакого воздушного, грациозного и утонченного белого клоуна, неспособного на грубую, жестокую выходку по отношению к слабому) были людьми очень суровыми. Говорят, что знаменитый белый клоун Антоне своего рыжего, Беби, вне арены не удостаивал даже словом. Персонаж накладывал свой отпечаток на человека. И наоборот. «Le clown blanc doit être mauvais» [2] — таково правило игры. Белый клоун — это человек, раздающий пощечины.

РЫЖИЙ. Я хочу пить.

БЕЛЫЙ КЛОУН. А деньги у вас есть?

РЫЖИЙ. Нет.

БЕЛЫЙ КЛОУН. Значит, вы не хотите пить.

Белого клоуна отличает еще одна особенность: ему нравится эксплуатировать рыжего, использовать его не только как мишень для своих насмешек, но и как рабочую силу. В этом смысле типична реприза «Тебе ничего не надо делать, все сделаю я сам».

Белый клоун посылает рыжего за стульями, а когда тот хочет сесть, подставляет ему свечу.

Даже по внешнему виду белого клоуна ясно, что он и необыкновенный, и богатый, и могущественный. Лицо у него белое, как у призрака; брови застыли в надменном изломе; рот прорисован прямой черточкой — жесткой, неприятной, отталкивающей, холодной. Белые клоуны всегда соперничают друг с другом, похваляясь самым пышным костюмом (так называемая война костюмов). Огромной известностью пользовался белый клоун Теодор, у которого костюмов было по числу дней в году.

Рыжий же, наоборот, представлен только одним типом, который не меняет, да и не может менять свой наряд — он ведь clochard [1], ребенок, оборванец и т. д.

Буржуазная семья — это союз белых клоунов, ребенку же отводится место рыжего. Мать говорит: «Не делай того, не делай этого...» Вот приглашают соседей и велят ребенку прочитать стишок («Покажи дядям и тетям, что ты умеешь...» — типично цирковая ситуация). Дети боятся белого клоуна, потому что он — воплощение подавляющей силы.

И, наоборот, ребенок сразу же отождествляет себя с рыжим — и тем больше, чем хуже обращаются с этим, похожим на гуся лапчатого или на щенка существом, которое бьет тарелки, катается по полу, выплескивает воду из ведра прямо кому-то в лицо, в общем, проделывает все, что хотелось бы делать ребенку и что белые клоуны — взрослые, мама, тетя — ему делать запрещают.

В цирке, отождествляя себя с рыжим, ребенок мысленно делает вместе с ним то, что самому ему запрещено: переодевается в женское платье, кривляется, кричит в людном месте, говорит вслух все, что думает.

Здесь, в цирке, никто тебя не осуждает за это, наоборот, тебе еще хлопают.

Об этой расковывающей особенности профессии рыжего долго рассказывал, сидя у магнитофона, старый клоун Барио; жаль, что потом, уже больной и робеющий от света юпитеров, он не смог повторить перед объективом кинокамеры всего того, что рассказал нам во время предыдущей встречи.

В сценарии же (впоследствии его пришлось изменить) этот поразительный, страстный, глубоко правдивый монолог Барио выглядел так:

Сцена 43

Арена цирка. Павильон. Ночь.

На нейтральном темном фоне Барио (крупный план) говорит, глядя в объектив кинокамеры.

[1] Двор чудес — городское «дно» средневекового Парижа, место, где обитали нищие и воры.

[2] «Белый клоун должен быть злым» (*франц.*).

[1] Нищий (*франц.*).

БАРИО. Вы хотите знать мое мнение, а я, право, ничего не могу сказать. Да, я перевидал столько клоунов, и почти все они очень смешили публику. Но с тех пор прошло много времени, и я уже не знаю, смеется ли нынешняя публика так, как она смеялась прежде. Я тоже умел посмешить... и я, и мой брат Дарио, и Ром, и еще мои сыновья Нелло и Фредди... была у нас одна реприза с тортом в шляпе... очень, очень комичная. Когда мы выходили на арену, публика покатывалась от смеха. Однажды в Барселоне прямо на меня упала перекладина от трапеции, зрителям было смешно, а я продолжал свой номер со сломанной ключицей. Очень симпатичная публика в Москве. Там во время выступления нам сказали, что из клетки убежал тигр, но зрители не должны об этом узнать, пусть себе развлекаются. И мы тянули свой номер чуть не целый час, пока тигра не поймали... и только после этого ушли с арены. Нет, я не думаю, что все кончено. Дети любят цирк... Сам я родом из Ливорно, и наша настоящая фамилия Мески. Еще несколько лет назад я работал на арене, а потом, что попишешь, старость... И все-таки я, наверное, мог бы еще что-нибудь сделать для цирка. Хотя бы преподавать. Мне кажется, что очень полезно было бы открыть школу клоунов; мир теперь другой, нужны специальные школы, преподаватели. Без этого молодежь никогда не овладеет настоящим мастерством клоунады. Пусть привыкают бегать, карабкаться, делать сальто. В каждом клоуне живет акробат. Если ты не акробат, то не сумеешь хорошо упасть, а умелое падение и сейчас смешит публику. Нет средств, я понимаю, но государство все-таки должно об этом подумать и открыть школу клоунов. Без возрастных ограничений: если у человека есть призвание, он и в сорок лет может посвятить себя... может стать клоуном. К примеру сказать, если есть призвание, то клоуном может сделаться даже инженер. И вообще люди с образованием, врачи, адвокаты. Я знал таких. Работали они замечательно. Что касается грима и прочего... Ну, это целая наука. Всего должно быть не слишком много и не слишком мало. Если переусердствуешь, дети пугаются. Скольких детишек довел до слез Альбер Фрателлини своим тромбоном и ботинками, которые у него то вспыхивали, то гасли, словно светляки. Быть клоуном полезно для здоровья. Полезно, так как человек может, наконец, делать что ему хочется: все крушить, рвать, поджигать, кататься по полу, и при этом никто тебя не одергивает, наоборот, тебе еще и аплодируют... Всем детям хотелось бы делать то же самое: ломать, поджигать, кататься по полу... за это они тебя любят. И нужно их поддерживать, помогать им выйти на этот путь, создать хорошую школу клоунов, в которую принимали бы и детей. Детей в первую очередь. Там они смогут вытворять что душе угодно — и сами будут забавляться, и других забавлять. Хорошая профессия — клоун; если взяться за дело умеючи, сможешь зарабатывать не меньше, чем служащий. Почему родителям надо, чтобы их сын был служащим, а не клоуном? Все это неправильно. Ведь не зря говорят, что смех очищает кровь. Ещё бы! Если ты провел всю свою жизнь среди смеющихся людей, то даже в старости легкие у тебя еще полны кислорода... Самые лучшие клоуны — итальянцы и евреи. И еще испанцы. Вы когда-нибудь видели Руди-Льятта? Да-да, я верю в это дело; верю в новый цирк, особенно в цирковую школу. В школу клоунов. Я бы с удовольствием стал там преподавать, в меру своих возможностей, конечно.

Всяких реприз мы с Дарио придумали десятки... «Пчела», «Тромбоны», «Мнимый врач», «Урок пения», «Дочь полка», «Музыкальный пес» и еще: «Пожар в Риме», «Пьяница», «Жена в шаре»... В общем, порядочно, и я их почти все помню, к тому же многие клоуны их у нас перенимали. Помню, например, одну сценку, которая называлась «Смерть клоуна»... Она смешная была и в то же время немножко грустная — особенно это чувствовали женщины... Мы делали вид, будто один из нас умер: иногда роль умершего играл я, иногда — Дарио или Нелло. Все остальные, конечно, давай плакать... И тогда я принимался его искать... искать умершего... Я оглядывался по сторонам, вот так... и говорил: «Куда же это ты подевался? Ты меня слышишь? Даже если ты умер, должен же ты где-то быть? Эй! Не может же человек взять вдруг и исчезнуть!» А под конец я брал свою трубу... *(Барио берет трубу)* и вот так, будто желая утешиться, начинал играть... Это было что-то вроде прощания с моим умершим товарищем... не знаю, понятно ли я говорю... Да, вот так...

Барио начинает играть на трубе.

Откуда-то сверху, из-под купола, ему отвечает другая труба.

Барио играет снова.

Вторая труба отвечает, но уже с более близкого расстояния. С каждым разом звук второй трубы все приближается. Наконец, мы видим еще одного клоуна — он помоложе, на лице его застыло выражение глуповатого восторга: он играет на трубе и приближается к Барио, словно отвечая на его призыв.

Один играет, второй отвечает, подходя все ближе. И вот оба клоуна на арене. Продолжая играть, они сближаются. Но прежде, чем они сходятся вплотную, свет на арене гаснет, и голоса их труб затихают.

(Окончание следует)

Антирубрика

ТОМАС МИЭН (США)

Перевод с английского АРКАДИЯ ГАВРИЛОВА

Il talento mysterioso

Это случилось, как сейчас помню, в один из душных летних нью-йоркских вечеров ровно два года назад. Именно тогда я впервые заподозрил, что обладаю почти сверхъестественной способностью переводить с иностранных языков на английский. Мы с женой, а также Берт и Элла Эмберстоуны пошли в «Гринвич-театр» на фильм Антониони «L'Avventura», который в свое время пропустили. После кино зашли в ресторанчик на 11-й Западной улице и минут двадцать сидели молча — один крутил в руках солонку, другой постукивал пальцем по столу, третий рассматривал потолок — потому что никто из нас не мог придумать ничего такого, чтобы сказать о только что виденном фильме. Наконец, отчаявшись, я нарушил молчание.

— «L'Avventura»,— сказал я и нервно кашлянул, прочищая горло.— Я думаю, это можно перевести как «Авантюра».

Элла Эмберстоун уставилась на меня с любопытством.

— Ты знаешь итальянский? — спросила она, не скрывая своего изумления.

— Вообще-то нет,— сказал я.— Я не знаю ни слова по-итальянски.

— Это невероятно! — сказала она.— Твой перевод не только передает буквальный смысл, но и одновременно отражает все тончайшие нюансы названия картины.

— Правда? — сказал я и покраснел, будучи не в состоянии скрыть улыбку удовольствия.

Только тогда я вспомнил, что Элла целых три года жила во Флоренции и свободно говорила по-итальянски.

— Да брось ты, наверняка ты изучал итальянский,— сказала она и подмигнула мужу.

Очевидно, она думала, что я разыгрываю ее.

— Да нет, клянусь тебе,— ответил я, и моя улыбка стала еще шире.— Это как-то само пришло мне в голову.

Сначала я подумал, что мой безошибочный перевод слова «L'Avventura» — просто счастливая случайность, но вскоре обнаружил, что могу переводить все что угодно с итальянского на английский. Особенно мне удавались переводы названий фильмов Антониони, и Эмберстоуны рассказывали всем своим друзьям о моем переводе с разговорного итальянского «La Notte» как «Ночь».

Затем я сделал потрясающее открытие, что опять-таки без знания языка могу запросто переводить с французского на английский, и небольшой круг наших знакомых во главе с Эмберстоунами несколько дней только и говорил что о моих переводах «Les Carabiniers» («Карабинеры») и «Procès de Jeanne d'Arc» («Процесс Жанны д'Арк»). В конце концов, начиная уже пугаться самого себя, я обнаружил, что могу переводить с немецкого, еще с одного языка, которого я не знал. Я перевел «Der Rosenkavalier» («Кавалер роз») и «Also sprach Zarathustra» («Так говорил Заратустра»).

— Но как ты это делаешь? — спрашивали мои друзья.

— Я не знаю, это само приходит ко мне,— отвечал я.

— Это какая-то мистика,— говорили они, и я соглашался.

Обстоятельство, которое делало все это особенно таинственным, заключалось в том, что, окончив целый ряд прогрессивных учебных заведений, включая колледж штата Монтана, где я специализировался в пении мадригалов, я никогда не проходил

никаких языковых курсов — даже английского. Моя жена Карен, изучавшая в том же колледже точечную электросварку, разбиралась в языках не больше моего. Ни Карен, ни я никогда не общались с иностранцами и не покидали пределов Соединенных Штатов до того, как два месяца тому назад мы впервые отправились в Европу. Наша поездка была отнюдь не развлекательной, а деловой — это была моя первая заграничная командировка от фирмы, в которую я поступил незадолго перед тем. Мне удалось прихватить с собой Карен, и на самолете «Пан Америкен» мы отправились из Нью-Йорка сначала в Амстердам, а потом в Рим.

Несмотря на мою уже доказанную способность понимать языки, которых я не знал, мы оба волновались, когда самолет приземлился в Амстердаме. Действительно, если бы мы не смогли ни слова сказать по-голландски, как бы мы нашли отель, заказали еду или даже купили пачку «Пел-мел»? А главное, как бы я смог выполнить задание фирмы — получить заказ от правительства Нидерландов на поставку буксировочных тросов для водных лыж? Таким образом, мы поставили буквально все на мой талант к языкам.

— Пока все идет нормально,— сказал я Карен, когда мы, пройдя таможенный досмотр, робко вошли в зал ожидания амстердамского аэровокзала.

— Что теперь мы должны делать? — спросила нервно Карен.

— Позвонить в отель и заказать номер,— сказал я.

— Но как, *как?* — простонала Карен. — Мы ведь не знаем ни слова по-голландски.

Неожиданно мой взгляд остановился на стоявших в ряд застекленных будках, на каждой из которых было написано «Telefoon».

— Посмотри-ка, — сказал я возбужденно Карен, — telefoon. Черт меня побери! Я и не знал, что могу говорить по-голландски.

И я действительно мог. В телефонном справочнике, висевшем в будке, я нашел номер отеля, который нам рекомендовали друзья, и, посмотрев, как рядом маленький мальчик обращается с telefoon, в точности повторил его манипуляции. К сожалению, человек, ответивший мне из отеля, сразу же заговорил по-английски, непонятно как догадавшись, что я иностранец, так что у меня не было шанса испытать на нем мой голландский. Но уже через час, когда мы сидели с Карен в номере «Гранд-отеля», я переводил ей с голландского налево и направо.

— Смотри, — говорил я ей, показывая меню, по которому постояльцы могут заказать еду в номер, — на завтрак ты можешь попросить koffie. Это то, что мы по-английски называем «кофе».

— Потрясающе! — воскликнула Карен.

— Или вот, смотри, эта рукоятка,— продолжал я,— под которой написано «Muziek». Если я не ошибаюсь, это музыка.

И действительно, стоило мне повернуть рукоятку, как наша комната наполнилась звуками арии из «Lucia di Lammermoor» («Лючия ди Ламмермур»). Позже, приняв душ и немного отдохнув, мы вышли побродить по Амстердаму. Время от времени мы останавливались выпить bier, купить sigaretten или postkaart, чтобы послать Эмберстоунам. (Те, кого озадачивают оставленные мною без перевода слова, могут обратиться за помощью в посольство Нидерландов в Вашингтоне.) Был warme вечер, zaterdag, начало weekeinde, и мы приятно проводили время, гуляя по городу. И ни разу, когда я вступал в контакт с голландскими официантами и продавцами, мне не приходилось подыскивать woord, хотя, должен признаться, существенную helpt оказывал тот факт, что каждый житель Амстердама старше четырех лет, как мне показалось, говорил по-английски не хуже сэра Джона Гилгуда.

На обратном пути в отель Карен высмотрела в газетном киоске «Нью-Йорк таймс», но я пренебрег отечественной газетой и купил местную «Telegraaf», или, как я тут же перевел Карен, «Телеграф». Вернувшись в наш номер, я быстро прочел всю газету от строчки до строчки, начиная со статьи на первой полосе об Amerikaanse troepen в Zuid-Vietnam и кончая спортивными nieuws и моим horoscoop на этот день («Maakt plannen voor een lange periode van disharmonie»).

Убедившись в своей способности совершенно свободно понимать по-голландски, я ничуть не волновался, когда после пяти чудесных дней, проведенных в Амстердаме, несколько омраченных лишь тем, что мне не удалось продать ни единого троса для водных лыж, мы вылетели в Рим. Как-никак, успокоил я Карен, итальянский был первым языком, в котором проявился мой сверхъестественный дар. Тем не менее я не мог побороть в себе чувства приподнятости, когда, выйдя из самолета, потащил Карен прямо к стенду с надписью «PASSAPORTO CONTROLLO».

— Паспортный контроль,— прошептал я ей на ухо.

— Откуда ты знаешь? — спросила она.

— Знаю, и все,— ответил я. — Это все мой таинственный дар.

И будь я проклят, если снова не оказался прав.

— Это тебе не Антониони,— сказал я радостно Карен. — Я могу говорить по-итальянски не хуже, чем по-голландски.

И я действительно мог. Фактически уже через сорок пять minuti мы зарегистрировались в отеле «Эксцельсиор» на via Veneto (улица Венето) и входили в ближайший ristorante. На глазах у изумленной Карен я хладнокровно заказал официанту целый обед по-итальянски: zuppa di spinaci, bistecca с asparagi, maccheroni, большую бутылку vino и на десерт frutta, а именно banana.

— Невероятно,— сказала Карен, очищая свой banana.

— Вот так-то, — сказал я, величественно откидываясь на спинку стула и зажигая послеобеденную sigaro.

Позже в отеле, перед тем как лечь спать, я пролистал итальянский журнал, купленный в газетном киоске в вестибюле. Я прочитал любопытную статью о новой dieta,

рассказ, озаглавленный «Un Matrimonio in Crisi», и в конце натолкнулся на свой oroscopo («Prepararsi per un periodo negativo»).

На следующее утро, горя энтузиазмом поскорее заняться делом, я проснулся рано. В Риме мои дела были связаны уже не с буксировочными тросами для водных лыж, а с цветным оконным стеклом — его наряду с тросами для водных лыж, ортопедической обувью и веслами для каноэ производила фирма, которую я представлял. Как бы там ни было, в семь утра я вскочил с кровати, снял трубку telefono, чтоб заказать чашку caffè в номер, и направился в ванную.

— Эй,— крикнул я Карен,— я собираюсь принять хорошенький холодненький, то есть caldo[1], душик!

— Милый, мне не кажется, что caldo означает...— отозвалась Карен, но было уже поздно.

С ошпаренной спиной, вопящего от нестерпимой боли, меня на «скорой помощи» отвезли в l'ospedale, где я пролежал в мучениях и угрюмом silenzio целую неделю.

Мой caldo душ оказался un totale disastro и точно так же, к несчастью, моя деловая поездка в Европу, потому что, как только мы вернулись в Нью-Йорк, меня уволили. Если говорить начистоту, хотя я и продал пару ортопедических ботинок стюардессе в самолете, но, как я уже упоминал, я не продал ни одного троса для водных лыж в Амстердаме, а в Риме мне удалось получить заказ на цветное оконное стекло всего на сумму четырнадцать долларов.

В результате мою территорию, включавшую нижний Манхаттан, Голландию и Италию, передали другому торговому агенту. В настоящее время я фактически все еще без работы, но где-то, может быть, за ближайшим углом, наверняка должна быть горячая и интересная работа для энергичного человека, который может свободно переводить с голландского, немецкого, французского и чей итальянский почти lettera perfetta.

Ничего личного

Обычно Уолли Тримбл всегда был весел, как «жаворонок»[2] (с газоулавливающим фильтром), но как-то в июле он вернулся в среду вечером с работы и обнаружил письмо из редакции журнала «Сатердей ивнинг пост».

«Дорогой подписчик «Пост»,— начиналось письмо из редакции,— с сожалением сообщаю, что мы не в состоянии будем продолжать высылать Вам наш журнал, начиная со следующей недели...».

Письмо было подписано: «Ноубл Экаф[3], зав. отделом распространения».

— Наверно, компьютер ошибся,— предположила жена Тримбла Берил, которая ждала мужа в гостиной их квартиры на 11-й Западной улице с письмом мистера Экафа в руке.

— Должно быть, так,— сказал Тримбл, нервно прочищая горло и перечитывая письмо в третий раз.— Компьютер, вероятно, спутал меня с каким-нибудь другим Тримблом.

Он что-то слышал о том, что «Пост» проводит компьютеризованную кампанию по повышению качества подписчиков путем исключения из их числа людей преклонного возраста и тех, кто живет не в фешенебельных районах, но ему никогда в голову не могло прийти, что он — сорокадвухлетний помощник заведующего отделом сбыта Восточного филиала калифорнийской фирмы, производящей сборные плавательные бассейны,— окажется в числе тех, кого лишат подписки.

— Насколько мне известно,— сказал Тримбл,— «Пост» исключает только тех подписчиков, которые достигли шестидесяти пяти лет, и им подобных, словом, бездельников.

— А тебе ведь нет шестидесяти пяти,— сказала Берил.

— Ничего даже похожего,— сказал Тримбл, шлепая на кухню, чтобы налить себе двойную порцию джина.

Следующие два дня Тримбл чувствовал себя несколько подавленным из-за того, что был исключен из числа подписчиков «Пост», но к концу недели он уже оправился и почти забыл про оскорбление, нанесенное ему мистером Экафом. Вечером в понедельник, однако, когда он, насвистывая, открыл в шесть часов дверь своей квартиры, то обнаружил, что Берил снова поджидает его, на этот раз с целой пачкой писем.

— Что это? — спросил он.

— «Лайф», «Тайм», «Ньюсуик», «Харперс базар», «Лук» и «Органическое садоводство» — все они также исключили тебя,— сказала Берил.

— Но, черт возьми, это же *все* журналы, на которые мы были подписаны! — закричал Тримбл. — Я думал, только «Пост» сокращает число своих подписчиков.

— Я тоже так думала,— сказала Берил. — Но, как видишь, и другие журналы делают то же самое — в некоторых случаях.

— Что ты имеешь в виду под «некоторыми случаями»? — спросил Тримбл. — Почему в *моем* случае? Почему я?

— Я не знаю, Уолли,— сказала Берил. — Я ничего не знаю.

В августе перестали приходить рекламные проспекты. И теперь, после того как столько лет Тримбл, приходя с работы,

[1] Итальянское caldo (горячий) созвучно английскому cold (холодный). *(Здесь и далее прим. перев.).*

[2] Модель автомобиля.

[3] Имя и фамилия могут быть осмыслены как «Честный Удар».

каждый вечер вынимал из забитого до отказа почтового ящика целый ворох бумаг от разных фирм, клубов и обществ и бросал их, не распечатывая, в общую кучу, он по вечерам ничего не обнаруживал в своем почтовом ящике, кроме двух или трех счетов. Ни предложений вступить в элитарный книжный клуб, ни предложений от общества любителей грамзаписей, ни оповещений ресторанов о дегустации каких-то особых блюд из дичи. Когда уязвленный Тримбл позвонил на почту, чтобы выяснить, в чем дело, почтовый служащий по фамилии Манкузо скучающим голосом ответил, что на имя Уоллеса Дж. Тримбла, по адресу 11-я Западная улица, 147, квартира 8-Б, уже несколько дней не поступало никакой корреспонденции.

— На квартиру 8-Б не поступало даже писем, адресованных просто «жильцу»,— сказал Манкузо.

— Но почему? — потребовал ответа Тримбл, чей голос начал дрожать.

— Спросите что-нибудь полегче, мистер,— ответил Манкузо.—Мы только доставляем письма, мы их не посылаем.

По мере приближения Дня труда почта Уолли начала расти, но это были вряд ли приятные новости. Вежливые письма оповещали его о том, что он исключен из клуба садоводов или что Роджерс Пит, Б. Олтман и Е. Дж. Корветт закрыли кредит, которым он у них пользовался, а фирма «Монтгомери Ворд» попросила вернуть посланный ею ранее каталог. Перестала приходить единственная газета, которую он выписывал,— нью-йоркская «Таймс».

— Ничего не понимаю. Что происходит? Что я такого сделал? — спрашивал Тримбл у жены снова и снова, вышагивая взад-вперед по комнате и стуча кулаками по вискам.

— Я не знаю, Уолли,— неизменно отвечала Берил, стоя к нему спиной у окна. — Я ничего не знаю.

Она теперь подолгу простаивала у окна спальной и смотрела на улицу.

В сентябре Тримбл, вернувшись вечером с работы, обнаружил, что у него отключили телефон.

— Я не верю этому! — закричал он, когда Берил сообщила ему, что два каких-то человека из Нью-йоркской телефонной компании пришли после обеда и унесли телефонный аппарат. — Мы всегда вовремя оплачивали счета.

— То же самое им сказала и я, но тем не менее они унесли аппарат,— сказала Берил и ушла одна к Шериданам.

Главная контора телефонной компании ночью не работала. На следующее утро ровно в девять Тримбл позвонил туда из аптеки Уэлана, и его соединили с некой мисс О'Фланаган.

— Да, мистер Тримбл, мы отсоединили ваш номер,— сказала мисс О'Фланаган колючим металлическим голосом.

— Я знаю, что вы отсоединили мой номер! — заорал Тримбл в трубку. — Единственное, что я хочу знать, ПОЧЕМУ?

— В связи с возросшим за последнее время числом заявок на установку телефонов Нью-йоркская телефонная компания, к сожалению, вынуждена была прекратить обслуживание некоторых, выбранных компьютером, абонентов,— произнесла нараспев мисс О'Фланаган.— Однако Нью-йоркская телефонная компания надеется, что будет в состоянии снова предложить вам свои услуги, как только возросший спрос на телефонное обслуживание будет удовлетворен, то есть через три или четыре года.

— Три или четыре года! — повторил Тримбл.

— Может быть, через пять,— сказала мисс О'Фланаган.

Два дня спустя, незадолго до пятнадцатого сентября, Тримбл получил письмо от Службы внутренних доходов, извещавшее его о том, что он освобождается от ежеквартальных выплат подоходного налога.

— Это уже другое дело,— сказал повеселевший Уолли жене. — Я имею в виду, хорошие новости, не правда ли?

Берил, которая смотрела в окно, ничего не ответила.

После этого все пошло по-прежнему. Вечер за вечером Берил молча протягивала ему пришедшие за день письма: его исключили из «Дайнерс клуба», отчислили с курсов скорочтения по методу Эвелин Вуд, Красный Крест и другие благотворительные организации вежливо просили его больше не беспокоиться и не присылать взносов. Однажды в пятницу он заметил, что конверт с еженедельной зарплатой несколько толще обычного, но когда он обратился в бухгалтерию за разъяснениями, ему сказали, что с него перестали взимать отчисления на социальное страхование.

— Но это же противозаконно,— возмутился Тримбл.

Женщина, начислявшая зарплату, миссис Горбаш, сказала:

— Они там, в Вашингтоне, решили, что за последнее время слишком много всего стало. Слишком много разных служб, слишком много людей отрывается от производительного труда, слишком много развелось писанины. С этим как-то надо бороться, и они сократили число лиц, подлежащих социальному страхованию. Сократили выборочно.

— И я... — начал Тримбл.

— И вы подпали под сокращение,— сказала миссис Горбаш.

Дела на работе шли из рук вон плохо. Группа из шести торговых агентов, которую возглавлял Тримбл, за несколько недель не продала ни одного сборного бассейна. Конечно, спрос на плавательные бассейны обычно несколько снижается после Дня труда, но это была первая осень, когда группа Тримбла вообще ничего не продала. Тримбл начал замечать, что его коллеги изменили к нему свое отношение. Стоило ему теперь приблизиться к группе сослуживцев, собравшихся в конце рабочего дня у автомата с газировкой, чтобы поболтать, как они расходились в разные стороны. Тримбл чувствовал себя, как тот

человек в телевизионной пьесе, который просмотрел в «Уолл-стрит джорнэл» анализ состояния дел компании, чьи акции он покупал, и с тех пор печальное, испуганное выражение не сходило с его лица. И вот как-то в один из серых и сырых дней середины октября он столкнулся на Двадцать третьей улице с Чарли Мудисом, с которым во время учебы в колледже жил в одной комнате и который на его свадьбе был шафером, в общем, с лучшим своим другом.

— Чарли, Чарли! — воскликнул Тримбл, хватая его за рукав. — Что я такого сделал? Где я совершил ошибку?

Мудис вырвался, перебежал через улицу и, нервно оглядываясь, скрылся в каком-то здании.

В конце октября Тримбл пришел как-то вечером с работы и обнаружил, что у него отключили электричество. Отопление, похоже, тоже отключили.

— Та-ак,— сказал он.

Он мог слышать шаги Берил по паркету в темной гостиной. На следующее утро Тримбл позвонил из аптеки Уэлана в Городскую электрическую компанию, но это ни к чему не привело.

— В целях обеспечения электроэнергией растущего числа потребителей в Нью-Йорке мы, как это ни прискорбно, вынуждены теперь более строго подходить к выбору наших клиентов,— сказала мисс Ханрахан из Городской электрической компании. — Короче говоря, мистер Тримбл, мы больше не собираемся расходовать электроэнергию на кого попало.

— Но как же электрокамин, холодильник и увлажнитель воздуха? — спросил Тримбл со слезами на глазах. — Не говоря уже об освещении и телевизоре. Я спрашиваю, как нам жить дальше?

— Боюсь, что это ваша проблема, мистер Тримбл, а не наша,— сказала мисс Ханрахан.

— Ну, хорошо, когда вы сможете снова подключить меня? — спросил Тримбл.

— На этот вопрос трудно ответить,— сказала мисс Ханрахан. — Но с определенностью могу сказать, что мы не можем ничего обещать вам раньше чем через пять лет.

— Пять лет! — воскликнул Тримбл.

— Это самое раннее,— сказала мисс Ханрахан.

«Дорогой муж,— так начиналось письмо Берил, которое Тримбл нашел, вернувшись с работы в холодную и темную, как пещера, квартиру слякотным ноябрьским вечером вскоре после Дня благодарения. — Мне очень жаль, но с этого дня я не могу больше продолжать оставаться твоей женой» В письме, которое несчастный Тримбл читал при свете керосиновой лампы дальше сообщалось, что Берил уехала к своей матери в Ист-Оринджа и что вскоре ее адвокат сообщит ему условия развода. Поздно вечером Тримбл позвонил из аптеки в Ист-Оринджа.

— Все это — журналы, телефон, электричество и остальное — не моя вина, Берил,— сказал Тримбл.

— Может, и не твоя,— сказала Берил. — Но неспроста же все это, что-то ты, наверно, сделал не так.

— Но что, что, *что?* — закричал Тримбл в трубку.

В ответ он услышал длинные гудки.

В декабре рухнуло все, что еще оставалось. Уолли Тримбла уволили с работы, вышвырнули из квартиры и отлучили от католической церкви. Он смутно надеялся, что подхватит гонконгский грипп, как и все, но эпидемия обошла его стороной. Магазин, где он покупал быстрозамороженные обеды, которые потом разогревал в своей кухне, держа зажженные спички под тарелками из фольги, и в конце концов съедал полуоттаявшими, отказался его обслуживать. Обеды отпускали тем, кто стоял впереди него в очереди, и тем, кто стоял позади него, но не ему, и Тримбл даже не спрашивал почему.

Будучи уволенным накануне рождества, Тримбл не мог рассчитывать быстро найти работу по специальности — плавательные бассейны зимой пользовались незначительным спросом. Фактически он не мог найти никакой работы. Пару недель тому назад, например, он получил отказ в Городском транспортном управлении, когда попытался наняться уборщиком мусора в метро.

— Извини, парень, ничего личного, но мы не можем взять тебя,— сказал ему человек в отделе кадров транспортного управления. — Понимаешь, мы сейчас вообще больше никого не нанимаем.

А когда Тримбл после этого отказа попытался доехать на метро до дома, человек в разменной кассе отказался продать ему жетон для турникета.

Тримбл живет теперь в общежитии Христианского союза молодых людей, но они предложили ему выметаться в следующее воскресенье, и где он будет жить после воскресенья, он не знает. По условиям развода Берил получила все — содержимое их квартиры, сбережения Тримбла и 600 долларов в месяц алиментов. В настоящий момент у Тримбла осталось 3 доллара 65 центов, и где он раздобудет свой следующий никель[1], ему неизвестно. Журнал «Сатердей ивнинг пост», с которого начались все несчастья Уолли Тримбла, недавно прогорел и прекратил существование, но, поскольку Тримбл не может позволить себе купить газету, он не узнал этой новости. В эти дни можно иногда видеть его, бредущего по Пятой авеню, небритого, дрожащего, с воспаленными глазами, одетого в матросский бушлат, который он получил в ломбарде в обмен на свой модный плащ. Если пройти мимо него на достаточно близком расстоянии, то можно услышать, как он бормочет, повторяя одни и те же два слова:

— Почему я? Почему я? Почему я?

Бедный Уолли. И все же, если это должно было с кем-нибудь случиться, то пусть уж лучше с ним, чем с вами или со мной

[1] Монета в пять центов.

ДОРОТИ ПАРКЕР (США)

Перевод с английского ЕВГЕНИИ ШВАРЦ

Но тот, что справа...

Я так и знала. Так и знала, если пойду на этот обед, мне обязательно навяжут что-нибудь вроде того младенца слева. Они нарочно приберегали его для меня. «Мы обязаны его пригласить — его сестра была так любезна с нами в Лондоне; подсадим его к миссис Паркер — она говорит за двоих». Лучше б мне не приходить. Пришла неизвестно зачем, вопреки всякому здравому смыслу. На моей надгробной плите следует высечь: «Куда бы она ни шла, в том числе и на этот обед, она делала все вопреки здравому смыслу».

Чудный вечерок, самое время подумать о надгробной плите. Уже сказывается влияние моего соседа, и суп почти остыл. Лучше б уж дома пообедала. Приготовила б себе что-нибудь и подала на подносе. Голову Иоанна Крестителя или еще что. Боже, зачем я пришла?

Ну, с супом, кажется, покончено. Еще один шаг к загробному миру. Что ж, теперь, когда суп канул в вечность, можно сказать слов пять моему соседу.

— Не суп, а объеденье, правда? — говорю я.

Ровно пять слов.

— Вам тоже нравится? — Это говорит он.

Ровно три слова. Два ноль в его пользу.

Но как бы то ни было, у нас полная гармония. Воркующие голубки, да и только. Съели по целой тарелке супа—и ни одного бранного слова. Жаль оставить такую тему.— ведь у нас тут полное согласие. Думаю, надо продолжить; спрошу-ка его, правда ли суп был объеденье.

— Вам тоже понравился? — Это он. Заметьте, как он чуток к согласованию времен.

Подали рыбу. Чудо, чудо, чудо — мы едим рыбу. Интересно, он любит рыбу? Да, он любит, он говорит, что любит рыбу. Замечательно! Для мужчины это огромное достоинство. Послушайте, он что-то говорит! Да он просто болтлив, как сорока! Он спрашивает меня, люблю ли я рыбу. Ему и вправду интересно или это только ход? Попробую схитрить. Отвечу так: «Обожаю».

Я обожаю рыбу, поразительная подробность моей биографии, есть над чем поразмыслить. Пусть покорпит над этим в одиночестве. Уйду незаметно в тень, пусть побудет наедине со своими мыслями.

А не попытать ли мне счастья с тем, что справа? Безнадежно. Его соседка вцепилась в него намертво. Мне видно только его плечо. И надо сказать, красивое, очень красивое плечо. Всю жизнь питала слабость к красивым плечам. Что ж, леди, вы увидели его первая. Берите вашего греческого бога, а я вернусь к моему троянскому коню.

Итак, на чем мы остановились? Ах да, он признался мне, что любит рыбу. Интересно, что еще он любит? Вы любите огурцы? Да, любит, он любит огурцы. А картофель? И картофель тоже. Да он, оказывается, профессиональный любитель природы. Я просто обязана была прийти и сесть рядом с этим последователем Торо [1]. Подождите, он что-то говорит! Слова так и льются. Он спрашивает, люблю ли я картофель. Нет, я не люблю картофель. Прямо так и сказала! Тут мы не сошлись. Это наша первая ссора. Он уныло замолчал. Глупыш, я задела тебя за живое? Ты думал, я раскрашенная, набитая опилками кукла? Ну что ты, не расстраивайся. Сейчас я скажу тебе кое-что, и ты снова воспрянешь духом. Я очень люблю огурцы. О, ему уже лучше. Он заговорил. Он говорит, что тоже очень любит огурцы. Отношения вроде налаживаются; ну слава богу. Мы оба любим огурцы. Только он любит их вдвое больше.

Пожалуй, оставлю его ненадолго, пусть поест. Ему надо восстановить силы. Он же наговорился до упаду.

Жаль, что нечем заняться. Терпеть не могу бездельничать. Надо же предупреждать, когда приглашаешь в гости и собираешься посадить с этаким вот типом. «Дорогая миссис Паркер, приходите к нам в следующую среду на обед и не забудьте прихватить вышивание». Надо было взять верхний ящик письменного стола — привела б его здесь в порядок. А может, заняться фотографией — например, снимки на пляже для семейных альбомов; могла бы добиться больших успехов. А может, попросить колоду карт, хозяйке не покажется это странным? А может, у них есть старые номера «Сент Николас»? [2] А может, надо помочь на кухне? А может, кто-нибудь хочет почитать свежие газеты, так я сбегаю за угол, куплю.

Конечно, можно немного выпить, одной, разумеется. И так всегда. О господи, господи, и так всегда. А если мне не хочется пить? У меня же начнется vin triste? [3] Мне становится тоскливо еще до первой рюмки. Интересно, что скажет этот зануда слева, если я объявлю ему, что у меня начинается vin triste? Вы только посмотрите, как он вгрызается в рыбу! Какое ему дело до моей vin triste? Все его мысли только о еде. Физические удовольствия — большего ему не надо. Роет себе зубами могилу. Давай, давай! Рой себе могилу! Поклоняйся собственному желудку! Давай, давай!

Какое ему дело, будет у меня vin triste или нет. Всем все равно. Всем начхать. Ну и отлично. Напьюсь сейчас в стельку на глазах у всех, посмотрим, как им это понравится. Итак, вперед... Боже, это шабли.

---

[1] Генри Торо (1817—1862) — американский писатель, автор знаменитой книги «Уолден, или Жизнь в лесу», ратующий за возврат к природе.

[2] Детский журнал, издававшийся в США до 1946 года.

[3] Грусть во хмелю (*франц.*).

Да еще неурожайного года, когда его делали не из винограда, а из тыквы. Пятьдесят долларов — и берите все, что унесете на плечах. Там, откуда я приехала, этим поили свиней. Сейчас скажу Старому Болтуну слева, что вино отвратительно. Это откроет нам новые перспективы. Он говорит: не знает, что и ответить, он не пьет вина. Что ж, вот и причина для разрыва. А не хочет ли он убраться к черту? Вот так штука! Не пьет вина! Если б он знал, что теряет! Ну и ну!

Все, больше с ним ни слова. Не собираюсь тратить лучшие свои годы на метание бисера перед свиньями. Лучше займусь шабли, хоть шабли и мерзкое. С этой минуты он идет своей дорогой, я — своей. Я лучше всех за этим столом. Ты уверена? Да ты лишена и половины того, что есть у них. Одинокая, молчаливая, никому не нужная, даже со своим новым платьем. Что бы сказала Луиза Буланже, если б увидела, что на ее золотистое lamé[1] никто и внимания не обращает? Но, наверно, такова жизнь. Бедняжки, одеваемся, на что-то рассчитываем, надеемся, а для чего? И что такое, в конце концов, жизнь? Смертный приговор. Длиннейшее расстояние между двумя точками. Пучок сена, привязанный к морде уставшего мула. Или...

Так-так-так, уже принесли антрекоты. Мыши, берегите хвосты, если входят антрекоты... О чем это я? Будь я проклята, если спрошу Старого Болтуна, любит ли он мясо. Во-первых, какое мне до этого дело, а во-вторых, вы только посмотрите на него! Дитя Голода, да и только; весь день, наверно, работал как вол. Ладно, пусть себе живет как знает. Я на голову его выше. И не собираюсь опускаться до его уровня. Он не стоит и пыли под моей колесницей. Да-да, не стоит и пыли! Пока я держусь. Да-да!

Красное вино, очень хорошо. Даже если оно так себе, все равно хорошо. Красное вино придает мне смелости. Красное вино — символ смелости. Мне нужна смелость. Мне здесь так тоскливо. Никто не знает, до чего мне отвратительно. Бесценный вечер, его уже не вернешь, он погиб, погиб — и все из-за этого Страстного Любителя Монологов слева. Но ему не сломить меня. Вечер еще не пропал, нет, и не пропадет. Вы знаете, а вино очень недурно.

Так, а что там с греческим богом справа? Бесполезно. По-прежнему только плечо — красивое, очень красивое плечо. Интересно, как выглядит эта женщина, которая захватила его. Мне ее совсем не видно. Интересно, она хорошенькая? И тоже гречанка? Стоит гречанке столкнуться с невозмутимым мужчиной... но это поправимо, было б только желание. Хватит бездействовать. Не думайте, леди, что я сдалась. Я вижу: он орудует ножом и вилкой. Пока руки над столом, не все еще потеряно.

Но не могу же я обмануть надежды хозяйки, надо хоть что-то сказать этой макаке слева. Но что именно? Вы читали что-либо стоящее в последнее время, часто ходите в театр? Вы когда-нибудь были на Ривьере? Может, рассказать, как я провела лето на Ривьере? Черт, без слайдов это неинтересно. Хотя спорю, если начну рассказывать о той ночи, он будет слушать. Нет, не расскажу, он этого не стоит. Это не для трезвенников. Но тому, что справа, ему бы понравилось. Он-то не трезвенник. Далеко не трезвенник! Только что так лихо опрокинул стаканчик.

Взгляните, наш Златоуст снова ожил! Он упивается сам собой! Трещит просто без умолку. Он спрашивает, люблю ли я салат. Да, люблю, и что из этого? Сколько же можно про салат. Он говорит: салат очень полезен. Господи, спаси меня, еще одно слово о кормах — и я дам ему по физиономии. Сижу здесь в лучшем своем платье, а этот тип говорит только о латуке — неужто я большего не достойна? А между тем справа от меня...

— О, я думала, вы никогда ко мне не повернетесь... Вы не могли?.. Вы хотели? О боже, у меня было не лучше... Из-за нее? Вы бы знали, что я вынесла... Но каким образом?.. Да, это ужасно, но как нам отсюда выбраться?.. Да... Да, конечно... Идея: сразу после обеда скажу, что у меня страшная головная боль, а вы... скажите, что хотите отвезти меня домой на своей машине...

[1] Парчовая ткань для вечерних туалетов *(франц.)*.

◆

Наши гости

Дороти Лайвси

КАНАДА

У Дороти Лайвси тихий голос. И когда она говорит, невольно сдерживаешь дыхание.

В стихах голос Дороти Лайвси крепнет, обретает звучность, внутреннюю мощь:

...я посмотрела на свою руку,
сморщенную руку —
шестьдесят зим сточили ее
до самой кости.

И я крикнула молодым:
Остерегитесь!
Вспомните Йитса,
который не знает покоя в могиле
в Ирландии, кровавой Ирландии,
где поэзия не смеет
пробиться на божий свет![1]

Подобно тому как крупные капли дождя предвещают стремительный ливень, так и эти строки могут послужить вступлением к поэзии Дороти Лайвси, где камерное, глубоко личное неотделимо от остросоциального, где неизменно присутствует дух современности. Это — определяющие элементы творчества Дороти Лайвси, которая признана критикой «лучшим поэтом Канады наших дней».

Автор многочисленных поэтических сборников, литературно-критических эссе, публицистических работ, дважды лауреат «Премии генерал-губернатора», высшей литературной награды страны, видная общественная деятельница, Дороти Лайвси — в гостях у журнала «Иностранная литература». Перед нами — хрупкая женщина. Старейшая поэтесса Канады.

— Я родилась в Виннипеге 12 октября 1909 года. Таким образом, получается, что я почти на десять лет моложе двадцатого века...

Если судить о возрасте по остроте видения, живости мысли, приподнятому состоянию духа, Дороти Лайвси моложе многих молодых. И не случайно она окружена молодежью.

— Я веду курс творческого мастерства в Университете имени Саймона Фрейзера в Ванкувере. Студенты-выпускники занимаются в моем семинаре «Факт, художественная литература и вымысел». Каждый участник семинара ведет дневник, куда заносятся все события дня, вплоть до мелочей, пусть это будет и незначительное происшествие на улице. Студент выбирает потом какую-либо из описанных в своем дневнике ситуаций и пытается написать рассказ. (Замечу, написать хороший рассказ непросто.) Так на опыте познается взаимосвязь вымысла и реальности.

Реальность — вот что лежит в основе поэзии Дороти Лайвси, будь то взволнованный отклик на гибель Федерико Гарсиа Лорки или гневный протест против принудительного выселения безработных в Монреале в 1934 г., призыв к защите животных и птиц родного края — этих «нерожденных детей человека» — или же стихи о буднях рабочего класса.

— Бегство от реальности,— говорит Дороти Лайвси,— приводит к тому, что литература, удаляясь от широких масс на мили и мили, становится своего рода заповедником для интеллектуалов. Между тем любая тема может быть взята на кончик пера. Художник должен стремиться познать все, даже горе и боль. Он должен быть более восприимчивым к явлениям жизни, чем остальные, видеть дальше и больше, правдиво трактовать окружающую действительность, уметь передать в своих произведениях дух времени. Короче, быть реалистом.

Это — художественное кредо Дороти Лайвси. Оно нашло яркое выражение и в одной из ее последних книг — «Правая рука, левая рука»,— которую можно отнести к жанру документальной прозы. Книга переносит читателя в тридцатые годы — период Великой депрессии, охватившей в числе стран монополистического капитала и Канаду. Нас интересует, чем вызвано обращение поэтессы к теме социально-экономической.

— То была целая эпоха в нашей истории, о которой сегодняшняя молодежь не имеет никакого представления: до недавнего времени канадская литература не знала сколько-нибудь значительных произведений о тридцатых... Видели бы вы марши безработных, переполненные поезда, пересекающие страну, миллионы и миллионы людей, неустроенных, голодных,— их лишали возможности выжить, сохранить свое человеческое достоинство! Это была трудная пора, пора отчаяния. И вместе с тем — пора невиданного энтузиазма и борьбы. Мы верили, что

Поднимая наши голоса
Сжимая кулаки
В борьбе...

сможем построить новый мир для рабочих людей!

— У книги «Правая рука, левая рука» «объемное» название. Поистине, оно допускает множество толкований.

— Так оно и есть. Во-первых, вспомним библейское «не ведают, что творят». Правая рука не ведает, что творит левая. Я попыталась показать два класса — две руки общества,— воплощающие противоположные начала... Поскольку книга моя и автобиографическая, я также имела в виду — и постаралась отразить — двойственный характер взаимоотношений между мужчинами и женщинами тридцатых, да и не только тридцатых. Теоретически в кру-

[1] Здесь и далее перевод автора статьи.

ту прогрессивно мыслящих канадцев мы, женщины, считались равноправными. На практике же наша правая рука была привязана к кухонной раковине!

Подавляющее большинство литераторов моего поколения — мужчины. И пока в начале сороковых годов о себе не заявили такие поэтессы, как Энн Уилкинсон, Энн Мэрриотт, Маргарет Эйвисон, Филлис Уэбб и другие, меня не покидало ощущение, будто я в одиночку бьюсь за то, чтобы в канадской литературе прозвучал и был услышан голос женщины-поэта. Помню — я еще была студенткой,— в клубе писателей в Торонто, точнее в мужском клубе писателей, как-то разгорелась яростная дискуссия, могут ли женщины достичь в литературе вершин художественного мастерства.

Равные возможности для женщин. Право на выявление и свободное проявление творческих способностей. Право быть поэтом... Вот уже свыше полувека Дороти Лайвси, как и многие ее единомышленницы на других континентах, борется за равноправие женщин в жизни и искусстве. Сама она называет себя «феминисткой», но сразу оговоримся: это ни в коей мере не воинствующий, порой доходящий до абсурда феминизм, это выражение более гуманного стремления — помочь женщине восстановить, сохранить человеческое достоинство.

Если верить критикам, для женщин-литераторов Канады Дороти Лайвси — «легенда своего времени».

Легенда нашего времени, сказали бы мы: Дороти Лайвси, человек активной жизненной позиции, каждым прожитым днем, каждой страницей своих книг подтверждает высокое звание поэта и гуманиста.

...Дороти Лайвси читает нам стихотворение «Ледяной век» из одноименного сборника. Это «стихотворение-предостережение», где разворачивается картина гибели человечества в результате ядерной катастрофы.

... не будет и тени тени
тени даже резкой самой. Облачный саван
дождь нескончаемый
вечный снег...

У Рэя Брэдбери есть рассказ, который так и называется — «Нескончаемый дождь». Там описывается не живительный, несущий жизнь, но «жестокий нескончаемый дождь... в котором тонули все другие дожди и воспоминания о дождях». Герои Брэдбери, люди, попавшие на Венеру, не выносят пытки вечным дождем. Однако Брэдбери спасает их, возводя так называемый Солнечный Купол.

Ледяной век Дороти Лайвси — это век, где нет места Солнечным Куполам. «Лист, птица, цветок» — все живое подвергнется беспощадному уничтожению в ходе тотальной войны. Критики отмечают, что в стихах, составляющих «Ледяной век», есть что-то пророческое, апокалипсическое. Думается, это не те грозные пророчества Кассандры (кстати, одно из стихотворений сборника названо «Кассандра»), когда слово обретает как бы разрушительную власть, вплоть до способности материализоваться и нести в себе гибель. Это — предостережения мудрого, прожившего долгую жизнь человека. Предостережения поэта, который требует, чтобы люди прислушались к его голосу и задумались над услышанным.

— Свою последнюю книгу (она вышла несколько месяцев назад) я озаглавила «Острые края. Голоса нашего времени». Это поэтическая радиопьеса. Работая над ней, я в буквальном смысле слова собирала голоса разных людей: разговаривала со школьниками, беседовала с учеными — записывала высказывания о мире, о необходимости защиты жизни на земле.

Дороти Лайвси с надеждой смотрит в будущее: «мы рождены, чтобы цвести в лучах яркого солнца», верит, что противостоять злу — в человеческих силах; ведь даже поднятый камень, «согреваясь, мягко ложится в ладонь» и ответно «пульсирует».

Отвергая все, что противоестественно живой природе, она — словно само воплощение природы. В ней много и от спокойной глади канадских озер, и от волнения листвы на высоких кленах. «Мои корни — в родных прериях и смешанных лесах».

О, чтобы выжить,
во что мы должны
верить?
В деревья, мой внук,
В эти корни. В эти листья.

...Разговор заходит о современной канадской литературе. Дороти Лайвси перечисляет талантливых поэтов и прозаиков, в первую очередь, с понятной нам гордостью, женщин: это и упомянутые уже Маргарет Эйвисон и Филлис Уэбб, и Мэвис Галлант, и Маргарет Лоренс, и Габриэль Руа, и Маргарет Этвуд. Дороти Лайвси готова называть новые и новые имена, взволнованно говорит: «Да у нас по меньшей мере десять поэтов такого масштаба, как Тед Хьюз!»

Мы интересуемся литературными процессами, наиболее характерными для современной Канады. По мнению Дороти Лайвси, это бурное развитие драмы, возродившийся интерес к жанру рассказа. В поэзии — отчетливо выраженное «движение протеста» против идущей из Англии пятидесятых годов тенденции писать «ни о чем», против бессюжетной лирики. С радостью отмечает Дороти Лайвси укрепление контактов между писателями.

— Ведь в каждой из десяти провинций Канады своя литературная жизнь. Свои писатели, которые печатаются в местных издательствах, собираются на свои конференции. Но если раньше проблема профессионального общения стояла крайне остро, теперь весьма популярны поездки литераторов по стране, во время которых происходит обмен опытом, что имеет особенно большое значение для творческой молодежи.

И в заключение еще один, очень важный вопрос:

— В чем вы видите свое призвание поэта?

Правда моей жизни
в том, прочтете вы это стихотворение
или нет,
а если да — направит ли это полет
пущенной вами стрелы.

Н. КИЯМОВА

◆

Среди книг

Издано в СССР

ПОД НЕБОМ, ПОЛНЫМ ПТИЦ

Мэри Лэвин. Среди полей. Избранные рассказы. Перевод с английского. Составитель С. Авдеенко. Предисловие А. Саруханян. Москва, «Прогресс», 1980.

А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Н. Заболоцкий

«Когда я задумываюсь о том, что такое юность, я вижу перед собой мальчика, бегущего по пустынным полям под небом, полным птиц. Отец сумел сделать свои воспоминания и моими».

Мэри Лэвин, которой принадлежат эти автобиографические строки, сумела в свою очередь сделать свои воспоминания нашими. Принадлежит отныне и читателю ее книга избранных рассказов, впервые вышедших на русском языке.

Это одно из самых удивительных ощущений от книги: место действия происходит в далекой Ирландии, среди полей, в затерянных под вечно мокрым небом деревушках, маленьких гостиницах, среди рыбаков, крестьян, священников, доживающих свой век потомственных аристократок,— а узнаваемость окрестностей человеческой души огромна.

Вероятно, это ощущение особой близости возникает от того, что Мэри Лэвин, одна из значительных новеллисток современной Ирландии, предпочитает ту форму русского реалистического рассказа, связанную с именами Тургенева и Чехова, которая так прочно утвердилась в сознании читателя за рубежом как форма психологического исследования жизни и характеров. Где познание себя идет как воспоминание того, что мы когда-то знали — от отца, матери, от людей, с которыми свела жизнь, от любимых образов русской литературы (не случайно образ ее Ирландской Акулины навеян воспоминанием о героине тургеневского рассказа «Свидание»).

«Что такое память? Слово, за которым скрываются высохшая любовь и бесплодная тоска»,— говорит автор. А может быть, счастье? Горе. Несбывшиеся надежды. Новые желания. Сила отчаявшегося духа — все то, что прозаически зовется миром простых человеческих чувств.

Если внимательно приглядеться к концовкам рассказов Лэвин, то обнаружишь: их, как правило, венчает яркий поэтический образ, символически освещающий судьбу героев.

«Завещание»: «Ярко-красные искры от паровоза летели мимо вагонного окна, и она начала молиться торопливыми бесформенными словами, которые теснились в ее голове, словно снопы горящих искр».

«Маленький принц»: «На улице их дожидалось такси, и она бросилась туда сломя голову. Ведь сюда к ней сошел ангел и сел возле нее, озаряя все вокруг сиянием любви. Так, может быть, она опять почувствует тут то же самое, ибо и сейчас, как тогда, она свободна от всего меркантильного и сердце ее открыто. Но слишком стар был, слишком уж растрескался этот сосуд, и чувство не держалось в нем, даже самое драгоценное, даже крохотная капля его».

«Ирландская Акулина»: «С тех пор прошло много лет, но я часто думаю о Лине, о том огне, который горел в ее сердце. Скоро ли жизнь этот огонь погасила? Этого мне никогда не узнать».

Собственно, рассказ и есть для Мэри Лэвин своего рода художественный способ узнать, как, почему, в силу каких причин этот огонь так часто гаснет в человеке преждевременно, едва разгоревшись.

Искусство ирландской писательницы, своеобразие ее взгляда заключается в том, что она не подбирает к известной истине «жизнь гасит огонь» различные житейские случаи, не иллюстрирует знакомый тезис, а психологически исследует характеры и ситуации, как бы неожиданно и для нее, автора, и для читателя приводящие к трагической развязке...

До самого последнего момента не ясно, что же все-таки случится с героиней одного из рассказов, Флорой,— маленькой редкостной птичкой, по воле случая зале-

тевшей в мир Беккеров — мир вещей, расчета, чистогана, мир отлаженного веками механического существования.

Внутренняя, духовная жизнь Флоры, задыхающейся в затхлом мире беккеровских традиций и понятий и в конце концов теряющей рассудок, показана в ее перевоплощениях.

Не случайно живущий в ней огонек вызывает резкое недовольство со стороны ее мужа Теобальда — тоже из рода Беккеров: «Он взял жену за руку повыше локтя и довольно сильно встряхнул: «Перестань сейчас же, Флора».

Огонек, что был Флорой, угас, будто на него плеснули холодной водой. На лице Теобальда выразилось нелепейшее облегчение. Он смущенно засмеялся».

Так изобличается тщательно скрываемая от посторонних глаз за респектабельной сдержанностью суть человеческих отношений буржуазной семьи, лишенных тепла, нежности, счастья.

При всей своей внешней непохожести на других Беккеров, выразившейся в экстравагантном выборе — нетипичной жены, Теобальд на самом деле внутренне прочно связан со своим кланом, для которого все живое, яркое, талантливое всегда было и будет чужеродным, непонятным, безумным...

Да, люди не ангелы, но как часто бессердечные поступки прикрываются добрыми намерениями, лицемерной заботой о ближнем, как бы говорит нам Лэвин своими рассказами.

Беделия безжалостно выгоняет из дома своего брата Тома, чтобы он — упаси бог! — не помешал ей устроить свою судьбу, а затем — в продолжение двадцати с лишним лет — вместе с мужем Даниэлом восхищается своей безупречностью, честностью, откладывая деньги на имя «маленького принца», в то время как тот умирает с голоду в далекой Америке. В этом рассказе «Маленький принц», одном из лучших в сборнике, Мэри Лэвин выступает как мастер-психолог тончайших движений человеческой души. Вся беседа Беделии с Томом, принявшей решение об изгнании брата из дома, проходит в темном закутке торговой лавки, где было маленькое оконце — «какая-то поэтическая душа украсила среднюю створку отверстием в виде сердечка». Луч света, проникающий сквозь это сердцевидное отверстие, как бы символизирует ту борьбу жалости и жестокости, которая происходит в душе Беделии. И когда побеждает последнее, то героиня отступает в сторону от луча, в темноту.

Мэри Лэвин покажет последнюю вспышку человечности у Беделии, когда она едет на такси в больницу опознавать своего мертвого брата, но больше этого не повторится. И здесь писательница остается верна искусству реализма психологической правде характера. «...Слишком стар был, слишком уж растрескался этот сосуд, и чувство не держалось в нем, даже самое драгоценное чувство, даже крохотная капля его»,—напишет она. И как тут не вспомнить: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь» (Н. Заболоцкий), трудиться постоянно, всю жизнь чтобы быть способной выдерживать испытания на человечность. Вот почему рассказ кончается жестко, натуралистично: «Ангел не сидел в такси. Там было тесно и душно и сильно пахло ногами».

Под видом добра совершается не меньше зла, но виновато в этом не добро как таковое, а те маски — тщеславия, лицемерия, ханжества,— которыми оно прикрывается в мире чистогана и расчета. Где ради тщеславного расчета, эгоистической прихоти можно оставить без средств к существованию преданное, кроткое, безобидное существо («Завещание»). Или ради любви к единственной племяннице и «святыне» совершить тонко продуманное предательство, как это делает по отношению к жениху Мэри ее дядя-каноник («Святыня»).

Но рядом с бездуховностью, ханжеством, лицемерием в книге Лэвин существуют и подлинные человеческие ценности — любовь, дружба, привязанность. Они, как правило, живут среди простых людей. В спокойном мужестве, с каким они несут свои жизненные тяготы, угадывается тот дух достоинства и справедливости, что неотделим в нашем сознании от современной борющейся Ирландии, самоотверженно отстаивающей свои права на свободу и независимость.

«В сырой ли земле, на дне ли морском...» — прекрасная притча о единственной любви, о верности жены рыбака своему утонувшему мужу. «Она говорит: если он ляжет на дно, я лягу на дно рядом с ним, мои руки обовьют его крепче, чем водоросли, и навсегда свяжут нас вместе». Рассказ строится как легенда: мы не видим юной жены рыбака, хотя и слышим ее голос; ее образ возникает в свидетельствах, разговорах, в воспоминаниях жителей острова, обрастая новыми подробностями,— как символ «женщины с большой земли, которая ничего не знала о море и умела только любить».

Эта притчевость, символика, высвечивающая поэзию в обыденной действительности, роднит Мэри Лэвин с тем стилевым течением советской литературы, которое наиболее ярко представлено произведениями А. Кима, Э. Русакова.

Как верно отмечает автор предисловия к книге А. Саруханян, пристальный интерес писательницы к морально-этическим проблемам — добра, зла совести, правды, счастья, уходит своими «корнями» в богатую традицию реалистического искусства прозы, искусства психологического анализа.

Но, на мой взгляд, ее рассказы, отмеченные высоким профессиональным мастерством (оно сохранено и в переводе), имеют своим истоком и поэзию. Случайно ли, что к каждому из них можно было бы подобрать эпиграф из русской поэзии: к рассказу «В сырой ли земле, на дне морском...» — строку А. Фета: «Тебя любить, обнять и плакать над тобой», к новелле «Среди полей» — «Утро туманное, утро седое» Тургенева, к «Маленькому принцу» — строки Н. Заболоцкого, вынесенные нами в эпиграф к рецензии...

Как бы далеко ни отстояла от русской ирландская литература, подземные ключи,

питающие ее, обнаружат страну русской поэзии. И характер ее, также рожденный «среди полей», «под небом, полным птиц».

И. РОСТОВЦЕВА

КАМОЭНС — ПРИНЦ ПОЭТОВ

Луис де Камоэнс. Лирика. Переводы с португальского. Составление Е. Голубевой и И. Хохловой. Предисловие С. Ереминой. Примечания С. Ереминой и В. Резниченко. Москва, «Художественная литература», 1980.

Без малого двести лет назад состоялось знакомство русского читателя с Луисом де Камоэнсом. Знаменитая его поэма «Лузиады» была тогда издана в прозаическом пересказе А. И. Дмитриева. Почти в то же время в «Журнале российской словесности» появилась краткая биография португальского поэта. Из нее стало известно, что жизнь Камоэнса, полная драматических коллизий, проходила на фоне бурных событий XVI столетия, когда в погоне за золотом каравеллы португальцев бороздили воды всех океанов. Как и многие в ту неспокойную эпоху, Камоэнс был искателем приключений и, как Сервантес и Эрсилья, изведал опасности дальних дорог, был участником экспедиций и сражений. Пути его странствий пролегали через моря и страны. Северная и Восточная Африка, Индия, Юго-Восточная Азия, Китай — таковы маршруты поэта, мореплавателя и воина. Камоэнс стал одним из тех, кто вслед за своим великим соотечественником Васко да Гамой полвека спустя проделал опасный путь от лиссабонской Беленской башни на берегу Тежу до фортов Гоа на Малабарском берегу Индии и рассказал об этом в звучных октавах всемирно известной поэмы «Лузиады».

У нас в России о португальском поэте писал еще М. Ломоносов, о нем упоминают К. Батюшков и А. Бестужев-Марлинский, ему посвятил целую драматическую поэму В. Жуковский. Не однажды его имя возникает в стихах Пушкина: в библиотеке поэта имелись книги Ж.-Ф. Лагарпа и С. Сисмонди, по которым он мог не только познакомиться с творчеством и жизнеописанием первого поэта Лузитании, но и представить, как он выглядел, по портрету, приложенному к восьмому тому сочинений Ж.-Ф. Лагарпа. А. С. Пушкин высоко ценил поэтический дар знаменитого португальца, не случайно он ставил его в один ряд с Данте, Петраркой и Шекспиром.

Впервые Камоэнс представлен у нас так широко и разнообразно. В отличие от небольшого сборника сонетов, изданного тем же издательством «Художественная литература» семнадцать лет назад, нынешний том знакомит с произведениями, написанными в различных жанрах. Здесь, конечно, и сонеты в блестящих переводах В. Левика и молодого поэта В. Резниченко, и редондильи, канцоны и оды, октавы, элегии, эклоги (в переводах А. Косс, М. Квятковской, Е. Витковского).

Теперь нам открылось во всем многообразии творчество португальского поэта. И вслед за А. Пушкиным мы убеждаемся, что в поэзии Камоэнса находили отклик перипетии его судьбы и что в стихотворные строки «скорбну мысль Камоэнс облекал».

Но правомерно ли выводить биографические элементы на основе изучения творчества? Спора нет, часто попытки сопоставления биографии автора с его произведениями грешат прямолинейностью и подчас ведут к упрощениям и ошибкам. Но в случае Камоэнса его творчество — едва ли не единственный путь познания судьбы человека и творца.

Отсутствие сведений о поэте объясняется многими причинами. Почти не сохранилось свидетельств о нем современников, крайне скудна его переписка (известно всего шесть его писем), недостаточно документов, обнаруженных в архивах. До сих пор, например, точно неизвестно место рождения поэта и четыре города — Лиссабон, Коимбра, Аленкер и Сантарен — оспаривают честь называться родиной Камоэнса, как некогда древнегреческие города соперничали за право слыть родиной Гомера. До недавнего времени спорили и о том, когда родился поэт, и только сейчас, кажется, пришли к единому мнению — в 1525 году.

Вот и приходится при отсутствии точных данных биографии поэта многие факты его жизни выводить путем логических заключений и догадок, рассматривать его лирику как дневник, написанный стихами, и, говоря словами А. Блока, расшифровывать, что стоит за страницами этого поэтического дневника. Иными словами, реконструировать биографию поэта по его стихотворному наследию.

В его лирике мы находим отголоски свидетельств очевидца крестовых походов (тогда так называли любую военную экспедицию против «неверных»), видим поэта в Золотом Гоа и в захудалых хижинах факторий — аванпостов проникновения колонизаторов в новые земли.

С другой стороны, отсутствие подлинных документов привело к тому, что биографы расцветили жизненный путь Камоэнса множеством романтических историй. Для некоторых из них, однако, имеются достаточно веские основания.

Одна из загадок Камоэнса — его несчастная любовь. Кто была та, кому поэт посвятил многие строки своих стихов? Кто стала вдохновительницей его лиры?

Некоторые исследователи склонялись к выводу, что адресата любовной лирики Камоэнса невозможно определить, поскольку поэт-де не имел в виду реальную женщину, предмет своей страсти. Поэтому все попытки разгадать адресат его лирики обречены на неудачу, тщетно пытаться идентифицировать нежный образ его «любовных» стихотворений, напрасны биографические и психологические интерпретации. Камоэнс, доказывали сторонники этой точки зрения,— последователь Петрарки и, будучи верен традиции петраркизма, воспевает некий абстрактный, неземной идеал, сверкающий как солнце из-за туч.

Однако лирика Камоэнса — это лирика воспоминания о конкретных чувствах и событиях: «я встарь любовью жил» и «воспевал минувшие года». Как показывает в своем емком и обстоятельном предисловии С. Еремина, петраркистская струя у Камоэнса весьма сильная, но отнюдь не преобладающая. Сам о себе поэт писал, что был человеком «из плоти и ощущений» и воспевал не только Лауру, но и Венеру. Одна — отрицание чувственного, другая — его утверждение. На чужбине поэт-изгнанник живет прошлым, в его воображении возникают картины минувшего земного блаженства, утраченного счастья, его мучает жажда обладания любимой. «В горестях бывает так отрадна воспоминаний беглая чреда».

По словам исследователя творчества португальского поэта Антонио Жозе Сарайвы, «в Камоэнсе сосуществуют, противостоя друг другу, Петрарка и Ронсар». Поэзия Камоэнса, по мнению португальского литературоведа, бесконечно более мощная, богатая и актуальная, чем поэзия Петрарки, «как раз в той мере, в какой она отказывается от чистой лирики и не удовлетворяется традиционным объектом любви», а пытается «включить в поэзию опыт пережитого».

Если это так, то и адресат любовной лирики поэта должен быть конкретным. И в той, кому предназначены пылкие послания Камоэнса, предпочитали видеть своего рода Смуглую леди — таинственную незнакомку шекспировских сонетов. Другие напоминали, что давно уже известны подлинные имена вдохновительниц Катулла и Петрарки, Данте и Ронсара, так неужели вдохновительница музы Камоэнса останется, как и любовь Овидия, безвестной, нерасшифрованной загадкой? И неужели скорбные строки его лирики рождены холодным рассудком сочинителя?

Другие за сокровища и честь
пусть бьются против ветра и огня,
перевернув вверх дном моря и сушу.
Я нищ и слаб, но счастлив тем, что есть,
а есть одно богатство у меня —
твой образ, согревающий мне душу.

(Перевод В. Резниченко)

Разве это, говоря словами самого поэта, не «рассказ правдивый о печальной были»? Нет сомнения, в сонетах Камоэнса и стихах других жанров представленных в томе «Лирики», воспета земная любовь, опалившая их творца. Но любовь, захватившая Камоэнса, принесла поэту одни страдания — он был выслан из Лиссабона, а затем из Португалии, превратился в скитальца, избороздил немало морей. Но и на чужбине его преследует нежный облик любимой, и он посвящает взволнованные строки своей Динамене (одно из имен, которым он называет свою возлюбленную), погибшей в морских волнах.

По общему мнению, это была придворная дама. Таково традиционное утверждение. Еще в прошлом веке Теофилу Брага высказался в пользу некоей Катерины де Атаиде, воспетой поэтом под именем Натерсия, в чем действительно нетрудно обнаружить анаграмму от слова Катерина.

В нашем столетии была выдвинута другая гипотеза. Ее предложил и пытался обосновать Жозе Мария Родригеш. Он утверждал, что Камоэнс был влюблен в инфанту донну Марию, младшую сестру правящего короля Жоана III. И что будто она отвечала поэту взаимностью. Именно запретная любовь к инфанте, особе королевской крови, навлекла на поэта несчастья и беды. Но она же, инфанта, была покровительницей таланта Камоэнса и помогла издать главное его творение — поэму «Лузиады».

В последнее время возникло еще одно предположение, высказанное современным литературоведом Жозе Эрманом Сарайвой. Он убежден, что адресат любовной лирики Камоэнса — совершенно иная женщина, имя ее следует искать в анаграмме Динамене. Расшифровывать ее следует как донна Иоанна Андраде Менезеш — действительно существовавшая девушка, разлученная по воле родителей с поэтом и отправленная ими в Индию, по пути туда погибшая во время кораблекрушения.

Ж. Э. Сарайва отвергает версию, согласно которой имя Динамене следует расшифровывать как искаженное от китайского Ти На Мен — так якобы звали девушку, плывшую вместе с Камоэнсом из Макао и погибшую в устье Меконга во время бури. (Видимо, ее изобразил художник прошлого века Франсиско Метрасс на картине «Камоэнс в гроте Макао».)

Случай этот обернулся красивой легендой. Будто после кораблекрушения поэт плыл, одной рукой рассекая волны, а в другой держал, подняв над головой, рукопись своей знаменитой поэмы. Возможно, легенда эта родилась благодаря самому поэту, рассказавшему в «Лузиадах» о «певце Португалии, который будет искать на берегах Меконга со своими стихами приюта, весь измоченный пенящимися волнами». Легенда эта вдохновляла многих поэтов и художников. И пожалуй, чаще всего Камоэнса изображали в стихах (например, у швейцарского классика К.-Ф. Мейера) и на картинах в момент спасения, на берегу с рукописью в руках — такова гравюра бельгийского художника Э. Слингенейера «Камоэнс после кораблекрушения».

Но кто бы она ни была, любимая Камоэнса, мы ставим ее в один ряд с великими вдохновительницами — Лаурой, Беатриче, Смуглой леди, чьи имена навсегда связаны с созданием бессмертных строк любви, в частности и любовных гимнов Камоэнса, которыми мы сегодня наслаждаемся. (Остается надеяться, что недалек тот день, когда зазвучат по-русски и октавы великой поэмы «Лузиады».)

За годы странствий лирических стихов, в том числе и посвященных возлюбленной, у Камоэнса накопилось на целую книгу. К несчастью, рукопись эту похитили, когда через много лет он вернулся в Лиссабон. Состарившийся раньше времени, измученный многолетними скитаниями, ослабленный малярией, поселившийся, слепой на один глаз, поэт являл собой, как сказал о нем современник, фигуру, словно «сошедшую со страниц Дантова ада».

Испытав после выхода в свет поэмы «Лузиады» недолгий успех, Камоэнс вновь погрузился в безвестность и нищету и умер,

всеми забытый. Легенда эта жила многие годы, побудив А. С. Пушкина написать строки о том, что «Камоэнс с нищими постелю разделяет».

Да и сам поэт признался в одном из сонетов, что всю жизнь был «к столбу позорной бедности прикован».

Слава не спешила согреть его своими лучами при жизни. Лишь пятнадцать лет спустя после его смерти стали появляться в печати пропавшие стихотворения. И вообще творчество Камоэнса в полном объеме стало известно далеко не сразу. И в этом судьба не благоприятствовала ему. Еще на протяжении всего XVII столетия то и дело публиковались вновь обнаруженные стихи и пьесы «португальского Данте», как иногда называют Камоэнса.

Сегодня его по праву считают на родине «принцем поэтов» и, как писала газета «Диарио» в дни четырехсотлетия со дня смерти Камоэнса, «величайшей литературной гордостью Португалии и одной из наиболее крупных фигур мировой литературы».

РОМАН БЕЛОУСОВ

ПРОШЛОЕ И НАДЕЖДЫ

Современная австралийская новелла. Перевод с английского. Составитель А. Петриковская. Предисловие А. Софронова. Москва, «Прогресс», 1980.

Австралию европейцы открывали трижды. Первым был голландский мореплаватель В. Янц, который написал, что в этой «проклятой, богом забытой стране нет ничего хорошего». Потом мало кто из путешественников заплывал сюда, и полтора столетия Австралия была «страной кошмаров» и «страной нищеты». Вторичное открытие Австралии произошло в 1778 году, когда туда были доставлены из Англии семьсот человек, осужденных британским королевским судом за грабежи, убийства, контрабанду и проституцию.

Третье открытие пятого континента началось, когда в мире познакомились с австралийской литературой, в частности с Генри Лоусоном. Вышедший на русском языке сборник австралийской новеллы, пожалуй, можно рассматривать как микроантологию австралийской литературы. Здесь представлены семнадцать современных писателей Австралии. С такими, как, например, Алан Маршалл, Джон Моррисон, Патрик В. М. Уайт, советский читатель уже встречался, другие переведены на русский язык впервые.

Открывается сборник рассказом Д. Моррисона «Пионеры». И такая композиционная заданность справедлива. Герой рассказа — старик, создавший на голой земле Центральной Виктории свою ферму, истинный потомок первых переселенцев. Несмотря на свои семьдесят лет, он энергичен и самоуверен. Он обладатель лучшей фермы в округе, он лучше всех разбирается в хозяйстве, он лучший лошадник и замечательный отец. Вот, правда, дочери не живут с ним и даже не поддерживают никаких отношений с семьей, но это — их вина.

Ведя повествование от первого лица, автор строит его в двух плоскостях. Одна — это кичливый рассказ самого старика, а другая — молчаливое, но при всем этом весьма красноречивое несогласие жены с излияниями мужа. Сравнивая две фотографии — хозяина и его жены в молодости,— автор так характеризует главу семьи и его близких: «Типичные фермеры из глубинки, как на подбор, и притом из породы воителей... Шесть сжатых ртов, шесть железных подбородков, шесть пар холодных глаз... Стоять перед этими молодцами было все равно как под дулами винтовок взвода карателей». А вот фотография жены: «...в очертании упрямого девичьего подбородка безошибочно угадывалась нынешняя Ада. Такую женщину можно убедить, но не принудить; побороть, но полностью подчинить — никогда». Писатель увидел в этих двух одиноких стариках черты, видимо, характерные для сегодняшней Австралии: с одной стороны, алчность, жестокость, стремление к наживе любым путем, а с другой — глубоко спрятанную человечность и любовь к людям.

Грустно заканчивает свой рассказ Д. Моррисон: «Рой и Ада... До сих пор не знаю, чей образ больнее тревожит мне душу». Ведь и того и другого выковали обстоятельства. Но если герой рассказа полностью им подчинился, то героиня — своей человечностью — продолжала всю жизнь противостоять им.

Короткий рассказ Дональда Стюарта «Дорога» напоминает притчу. Молодой австралиец приобрел грузовой автомобиль, получил хороший подряд и смело пустился в путь по бесконечно длинным дорогам Австралии. Пустяковая поломка вынуждает его идти до ближайшего населенного пункта пешком. Но путь ему преграждает бык. Огромное неповоротливое животное превращается для героя рассказа в символ безвыходности и безысходности. Вроде и много дорог, да не пройдешь. Человека сторожит тупая, гигантская сила. «На этой огромной равнине пеший человек — козявка, муравей в чащобе травы, а бык — гора, что стоит горе сокрушить муравью!»

Однако не только природа, столь коварная на этом огромном континенте, противостоит человеку. Справедливые и превозносимые всюду такие австралийские добродетели, как взаимное уважение и взаимная поддержка, разбиваются об утес капиталистических отношений. Стоило местному богачу из рассказа «Домик возле парка» Олафа Руэна пожелать для своих спекуляций землю Джона Дарби, как от героя все моментально отворачиваются, и даже ближайшие друзья рекомендуют ему продать землю. Горько сознавать свою беспомощность перед злой силой, заключенной в богатстве. Но, увы, рядовой австралиец беспомощен перед золотым тельцом. «Не лезь на рожон. Ничего не добьешься. Так и запомни». Этим напутствием полицейского и заканчивается рассказ.

И все же находятся люди, которые «лезут на рожон». Таков Петтерсон из рассказа Уильяма Н. Скотта «Как научиться жить».

Этот человек, остающийся всегда в одиночестве среди обывателей, не принимает расхожей мещанской морали — «не лезь не в свое дело». И поэтому становится борцом за справедливость. Однако чаще перед нами не определенная позиция в борьбе за изменение социальной структуры общества, а лишь смутное ожидание каких-то перемен. Это относится и к рассказу нобелевского лауреата Патрика Уайта «На свалке» (нашим читателям уже известен его роман «Древо человеческое») — о зарождающейся дружбе между сыном мусорщиков и дочерью богатых людей. Ожидание перемен, которое должно принести будущее, ощущается и в рассказе Алана Маршалла «Сынок...», и в рассказе Джуды Уотена «Нет на них управы!».

И еще один аспект австралийской действительности предстает перед нами в этом сборнике. Это жизнь аборигенов и их взаимоотношения с белым населением или, наоборот, отношение белых к аборигенам. Новеллисты, с которыми мы здесь встречаемся, относятся к коренным обитателям континента с сочувствием и остро переживают сложившуюся практику эксплуатации и унижения аборигенов. В сборнике есть рассказ и писателя-аборигена Биримбира Вонгара «Проводник», повествующий о том, как трое белых преследуют чернокожего юношу. Человечность и доброта старого проводника резко противопоставлены тупой алчности белых. «Белые захватили эту землю. Черным пришел конец»,—думает старик-абориген из рассказа Д. Стюарта «Такой же человек». По-иному видит будущее сам автор, верящий в то, что совместная борьба черных и белых должна принести победу над законами «грубых, бессердечных, корыстных, жестоких ненасытных белых людей».

Небольшой по объему сборник австралийской новеллы многое приоткрывает нам в жизни этого далекого материка — и в этом заслуга всех, кто участвовал в его издании.

Б. НИКОЛАЕВ

Издано за рубежом

ЛЕВ ВЫЙДЕТ НА АВТОСТРАДУ

Nadine Gordimer. A Soldier's Embrace. London Jonathan Cape. 1980.

Надин Гордимер. Солдатское объятие. 1980

Надин Гордимер принадлежит к числу тех южноафриканских писателей, чья известность давно вышла за пределы родного континента. В каждой из ее тщательно отшлифованных книг ощутимы «всепоглощающий интерес к людям и их делам, умение сострадать и убежденность» — именно те качества, которые, как некогда заметил Теннесси Уильямс, необходимы всякому подлинному художнику. Неудивительно, что романы и сборники новелл Надин Гордимер, точно фиксирующие приметы времени и сдвиги в общественном сознании одной страны — ЮАР, встречают живой отклик на разных континентах. Творчество писательницы вызывает интерес и в нашей стране — как у читателей, так и у критиков. В частности, обстоятельный разбор ее последнего, не лишенного противоречий романа «Дочь Бургера» (1979) сделан в статье В. Иорданского «Жизнь... как падающая звезда» [1].

Вслед за этим романом вышел новый — седьмой по счету — сборник рассказов Н. Гордимер. Центральное место в сборнике занимает рассказ «Влюбленные пары — городская и деревенская», где Н. Гордимер вновь выступает как убежденная и последовательная противница апартеида. Писательница не прибегает к лобовым приемам его разоблачения — мы нигде не найдем у нее открытой публицистичности, декларативности. По своему обыкновению она стремится дать глубинный анализ психологии расизма, показать, как он калечит человеческие души, деформирует отношения между людьми.

Первая часть этой горестной истории развертывается в Иоганнесбурге. Девушка-продавщица «из цветных» бескорыстно и преданно полюбила белого — крупного ученого-австрийца, приехавшего в Южную Африку работать по контракту. Ночью полиция врывается в квартиру австрийца, устраивает обыск и, обнаружив у него «цветную», отправляет обоих в участок. Они обвиняются в нарушении так называемого «Закона об охране нравственности» — одного из гнусных фашистских декретов, объявляющих любовь между людьми разных рас уголовным преступлением. Подвергнув обоих унизительному осмотру, их выпускают до суда под залог.

Характерно, что в этой критической ситуации молоденькая полуграмотная «цветная» (автор даже не называет ее имени, подчеркивая ее бесправие и приниженность) оказывается морально выше своего белого возлюбленного — маститого ученого, рафинированного эстета, аристократа, всякий раз иронично именуемого в новелле «полным титлом» — «доктор Франц-Йозеф фон Лейнсдорф».

Во второй части дан «деревенский вариант» той же трагедии. Девушка-африканка Тхебеди и сын белого фермера Паулус Эйсендайк сохранили горячую привязанность друг к другу еще со времен детства, когда им разрешалось вместе играть. Привязанность переходит в любовь, и Тхебеди, уже будучи замужем за африканцем, родит светлокожую сероглазую девочку. Обезумевший от испуга Эйсендайк убивает ребенка.

От страха любящие теряют человеческий облик — предают друг друга, губят собственное дитя, и это, как показывает автор,— пагубное следствие расового барьера, превращающего любовь между белыми и черными в позор и преступление.

Самый сильный и горький из рассказов сборника — «Изустное предание». В нем

[1] См. «ИЛ», 1981, № 1.

тонко и психологически достоверно показана моральная деградация вождя племени, живущего в пограничной местности, откуда на территорию ЮАР не раз проникали прогрессивно настроенные эмигранты, чтобы вести партизанскую борьбу против правительственных войск. Вождь этот — один из представителей племенной знати, которую расистское правительство подкупает и развращает, стремясь превратить в свою опору. В сущности, вождь — человек не злой, но он раб тех привилегий, которые получил от белых. Гордясь своим домом — единственным в деревне кирпичным строением под железной крышей,— своей европейской одеждой и даже очками, он упорно цепляется за все, что отличает его от других людей племени, и это постепенно делает его предателем. Несмотря на предостережение матери, он доносит белым о появлении в деревне нескольких партизан, а когда — переночевав в соседнем селении — возвращается домой, то не находит ни одной хижины: белые все сожгли дотла; в пламени погибли мать вождя и его любимая младшая жена. Потрясенный неожиданным для него результатом собственного предательства, вождь сам выносит себе смертный приговор и сам же приводит его в исполнение.

В этом рассказе с особой четкостью виден принцип Н. Гордимер: читатель должен прийти к пониманию авторского замысла самостоятельно. Удачно найденная деталь заменяет пространные разъяснения. Так, в невыносимо душные ночи вождь парится в ботинках и носках, утверждая этим свое превосходство над остальными: ведь он — единственный в деревне обладатель кожаной обуви! Писательница остается верна своей давней теме: едкому (и, бесспорно, самокритичному) анализу умонастроения белых либералов в Африке. Герои новеллы «Солдатское объятие» (давшей название сборнику) — адвокат, смело защищавший черных при колониальном режиме, и его столь же либерально настроенная жена — не могут найти свое место в той же африканской стране после получения ею независимости и эмигрируют.

Гордимер — мастер неожиданных, но очень точных психологических ходов. В этом смысле интересна, в частности, новелла «Гнездо термитов». Сюжет ее, казалось бы, несложен. В 30-х годах в горняцком поселке белая семья нанимает нескольких африканцев, чтобы они нашли гнездо термитов, разрушающих фундамент дома. Дети бурно радуются появлению в доме чужих людей — оно нарушает весь упорядоченный и привычный уклад жизни. Гнездо находят и уничтожают, «царицу» (матку) белых муравьев уносят, и термиты покидают дом... Прошли годы, дети разлетелись из дому; однажды, съехавшись ненадолго под родной кров, они с удивлением осознают, что благополучная семья, в которой они выросли, была, по сути дела, гнездом термитов, где их собственная мать играла роль «царицы» термитов — тиранической властительницы и пленницы.

В новом сборнике писательница подтвердила свою репутацию отличного стилиста. Она свободно владеет всеми регистрами стиля — от возвышенного, поэтического («Лев на автостраде») до нарочито приземленного, иронического («Влюбленные пары — городская и деревенская», «Случай на охоте»); к сожалению, это отточенное мастерство подчас растрачивается на мелкотемье или направлено на высвечивание столь интимных сторон человеческой жизни, что оборачивается откровенным натурализмом. Однако даже рассказы такого плана говорят о пристальном интересе Гордимер к людям и неподдельном сочувствии к ним, будь то неврастеническая изломанная девочка-подросток («Кузены») или стареющая женщина, истерзанная мыслью о том, что возлюбленный вот-вот ее бросит («Время решает за нас»). Хотя талант писательницы по временам и дает сбои, он глубоко человечен.

Надин Гордимер убеждена, что античеловечные теория и практика расизма не вечны, что черные южноафриканцы непременно добьются равноправия. Именно об этом — небольшая новелла-притча «Лев на автостраде»: по ночам из зоопарка доносится рычание рожденного в неволе льва, и сонным горожанам видится — это вышла на автостраду многотысячная толпа африканцев. «Лев сломал прутья клетки, вырвался на свободу и теперь, поводя великолепною головой, удивленно озирает свое же царство, готовый наконец-то объявить себя его властелином». Писательница твердо верит: лев выйдет на автостраду.

С. МИТИНА

ПОСЛЕДНИЙ УРОК ФРАНЦА КИНА

Alfred Andersch. Der Vater eines Mörders. Zürich, Diogenes Verlag, 1980.

Альфред Андерш. Отец убийцы. 1980.

Повесть «Отец убийцы» оказалась последним законченным произведением Альфреда Андерша, умершего в Швейцарии в 1980 году. Издательство «Диогенес», выпустившее эту книгу, в своей сопроводительной аннотации называет ее «литературным, моральным и политическим завещанием большого немецкого прозаика и моралиста, который всегда считал себя политическим писателем».

Между тем рассказывает повесть всего об одном дне, даже об одном часе из жизни четырнадцатилетнего ученика Витгельсбахской гимназии в Мюнхене Франца Кина. В своем большом и очень важном для понимания книги послесловии сам Альфред Андерш определенно заявляет, что Кин — фигура автобиографическая. Реальны и другие персонажи «Отца убийцы», как и само событие, разыгравшееся в один из майских дней 1928 года, когда в класс Франца Кина на урок греческого языка внезапно нагрянул сам директор гимназии, грозная личность по прозвищу Рекс.

Рекс устраивает проверку знаний нескольким ученикам, оттеснив на задний план растерянного и жалкого учителя Кандльбиндера. Но главное для него не сами знания — директор и так на удивление осведомлен и в успеваемости каждого ученика, и даже в их настроениях,— а в том, чтобы свести с некоторыми из них счеты, поставить на место. Так поступает он, например, с Конрадом Грайфом, который гордится своим баронским происхождением и настаивает, чтоб даже учителя, вызывая его, прибавляли к его фамилии дворянскую частицу «фон». В греческом Грайф силен, тут его не поймать, но Рекс делает все, чтобы унизить дерзкого аристократа. Тот, однако, не дает себя в обиду. «Я барон фон Грайф,— заявляет он, восхищая своей смелостью испуганных одноклассников,— а вы для меня просто господин Гиммлер!»

Да, директора Виттельсбахской гимназии зовут Гиммлер, и он не просто однофамилец, а отец Генриха Гиммлера, будущего нацистского преступника. Это обстоятельство сразу придает особое звучание всей истории, выводя ее за рамки «школьной повести», имеющей столь давнюю и богатую традицию в немецкой литературе. Важная черта книги Андерша состоит, однако, в том, что писатель нигде не позволяет себе забежать вперед. Все события увидены исключительно взглядом четырнадцатилетнего мальчика, еще ничего не знающего о будущем.

Что знал Франц Кин о младшем Гиммлере тогда, в мае 1928 года? Что тот давно ушел из дому, примкнул к «людям Гитлера» и с отцом не знается. У Кина это вызывает даже сочувствие: он представляет, что с таким отцом несладко. Отец Франца, бывший фронтовик, теперь тяжело больной инвалид, тоже симпатизирует младшему Гиммлеру, поскольку тот поддерживает солдатские организации.

В повести есть эпизод, когда Рекс замечает у одного из учеников самодельную свастику и велит ее снять. Но не потому, что у него особая неприязнь именно к фашистскому знаку. «Вы же знаете, господин Кандльбиндер,— объясняет он,— я в своей школе не желаю видеть никаких политических значков... А то однажды кто-нибудь заявится в школу с советской звездой, и я не смогу ничего сказать».

Как видим, подходить с однозначными политическими мерками к этой фигуре нельзя. «Франц вообще сомневался, что сын Рекса убежал из дому только потому, что он ходил со свастикой. Может, он потому и нацепил свастику, что со стариком не мог больше выдержать».

Знаток классической филологии, Рекс на этом уроке демонстрирует немалую эрудицию — но одновременно холодную и равнодушную жестокость; он способен восторгаться греческим стихом, античной мудростью, но в его стремлении раздавить и унизить непокорного ученика есть что-то бесчеловечное. Столкновение с Грайфом заканчивается исключением строптивца из гимназии.

А затем наступает черед и самого Франца Кина. С ним дело проще — он в греческом не силен, и Рекс наверняка не случайно вызвал именно его. Франц отнюдь не тупица, но его отталкивает зубрежка, сама система преподавания, неспособная внушить никакой любви к предмету. Выявить его невежество — дело недолгое, но Рексу важно не это. Ему надо унизить Кина, и Франц ясно это чувствует. Особенно издевается он над признанием мальчика, что тот хочет стать писателем. Заканчивается урок, а вместе с ним повесть — исключением Франца из гимназии.

Но остается как бы открытой история, выходящая за рамки сюжета. Мы ведь знаем, что Франц Кин (alter ego Альфреда Андерша) действительно станет писателем. Пожалуй, главное напряжение возникает именно между этим более широким нашим читательским знанием и намеренно ограниченным материалом книги. Ибо нам известно и другое: кем станет сын старого Рекса, и мы не можем не задуматься, существует ли связь между личностью отца и карьерой Гиммлера-младшего.

В уже упомянутом автокомментарии к повести сам Альфред Андерш, хотя и с известной осторожностью, размышляет об этом. Он еще и еще раз подчеркивает, что не считал себя вправе проецировать свое более позднее знание на оценку давних событий. «Такое заглядывание в будущее,— пишет он,— технически вполне возможное, совершенно разрушило бы автобиографический характер воспоминания... Единственная проекция в будущее — это заглавие повести, но оно лишь констатирует непреложный факт, что старый Гиммлер был отцом убийцы. Сказать про Генриха Гиммлера «убийца» — слишком мягко... насколько я знаю, это величайший в истории погубитель человеческих жизней».

И писатель далее задается вопросом, есть ли какая-либо закономерность в том, что именно *такой* человек стал отцом *такого* сына? Можно ли здесь говорить о последствиях воспитания, конфликта характеров? «Было ли старшему Гиммлеру предназначено стать отцом младшего?— пишет Андерш.— Были ли оба, отец и сын, порождены определенной средой, политической ситуацией или, напротив, оказались жертвами судьбы?»

Ответить на этот вопрос нелегко, и автор сам признается, что безусловного ответа не знает. Но именно потому тема и представляется ему такой важной. «Мне интересны... лишь открытые персонажи,— заявляет Андерш,— которые остаются для меня загадкой и после того, как я о них напишу».

Итак, вопросы оставлены читателю, они будят его мысль, и это уже немало. Повесть вызывает на размышления о многом: о последствиях авторитарного воспитания, о взаимоотношениях отцов и детей, о связи между уроками личной жестокости и политическими преступлениями. Ведь и о простой случайности или совпадении говорить тут вряд ли правомерно. Особенно важно — и особенно трудно — распознать возможность зла именно в зародыше, там, где угроза не самоочевидна.

«Стоит задуматься над тем,— замечает между прочим Андерш,— что Генрих Гиммлер... в отличие от человека, гипнозу ко-

торого он поддался, вырос не в среде люмпен-пролетариата, а в бюргерской, утонченной, гуманистически образованной семье».

Можно, конечно, пожалеть, что слишком ограниченный узкой временной перспективой материал повести не содержит достаточно данных для ответа на столь сложный комплекс вопросов. В авторском послесловии, например, упоминается, что «позднее, когда его сын стал вторым человеком в рейхе, Рекс помирился с ним. Почетный караул СС произвел над его гробом салют. Но может, это произошло против его желания? Может, старый Гиммлер на смертном одре проклял своего сына? Неизвестно. Франц Кин не мог бы этого сказать».

Тут, наверное, немало можно бы выяснить с достаточной долей достоверности. Но это уже другая, более обширная задача, достойная исследования. Возможно, Альфред Андерш, все творчество которого было посвящено разоблачению фашизма, просто не успел ее выполнить. Важна, однако, уже постановка проблемы. В этом смысле небольшая повесть «Отец убийцы» действительно может быть названа завещанием писателя-антифашиста.

М. СЕРГЕЕВ

РАЗМЫШЛЯЯ О БУДУЩЕМ

Jamake Highwater. The Sun, He Dies. New York. Lippencott & Crowell, 1980.

Джемейк Хайуотер. Солнце, оно умирает. 1980.

Американский писатель-индеец Джемейк Хайуотер известен у себя на родине как автор исторических романов и этнографических исследований об индейцах, населяющих США и страны Латинской Америки: «Песня с Земли: живопись американских индейцев», «Ритуал ветра: церемонии и танцы североамериканских индейцев» и других.

Основу сюжета романа Дж. Хайуотера «Солнце, оно умирает» составляют исторические факты и предания, связанные с завоеванием Мексики испанским конкистадором Эрнаном Кортесом в XVI веке. События, которые до сих пор продолжают привлекать внимание ученых и писателей, пытающихся объяснить «загадку» Моктесумы, правителя могущественного государства ацтеков, без сопротивления сдавшего свою огромную, в пять раз превосходившую по размерам тогдашний Лондон, укрепленную столицу Теночтитлан, все свое воинственное царство шестистам испанским воинам.

Традиционно принято объяснять поведение Моктесумы религиозным фанатизмом: правитель древней Мексики принял Кортеса за возвратившегося в свои владения бога Кецалькоатля, поскольку момент появления Кортеса в Мексике, его наружность, внешний вид испанцев, их лошадей и собак совпали с предсказаниями ацтекских ритуальных книг и множеством знамений, предшествовавших их появлению и истолкованных жрецами в духе этих пророчеств.

Об актуальности тематики, затронутой в романе Дж. Хайуотера, свидетельствуют, например, созданные сравнительно недавно на основе тех же источников и переведенные на русский язык пьеса К. Фуэнтеса «Все кошки серы» (1970) [1] и «Сказание о Кецалькоатле» (1965) [2], написанное нынешним президентом Мексики Х. Л. Портильо.

В отличие от пьесы К. Фуэнтеса, персонажи которой, словно герои античной трагедии, участвуют в вечной борьбе добра и зла, или философской поэмы Х. Л. Портильо, Дж. Хайуотер придал своему роману индивидуальную окраску, исходя из того, что объективная история воссоздается из бесконечных версий свидетелей, поэтов, исследователей.

Писатель сравнивает себя с современными художниками-индейцами, сочетающими в своем творчестве фольклорную условность сюжета и современную технику исполнения. В духе пережившей недавно в США возрождение устной традиции, живого слова свидетеля, противопоставленного мертвому печатному знаку, он ведет рассказ от лица ацтекского Пимена, образ которого служит ему «иглой», соединяющей разрозненные факты в единую драматическую цепь повествования. Запад узнал этот мир по свидетельствам тех, кто его уничтожил, не дав себе труда задуматься о существе целой цивилизации, стоявшей на пути завоевателей к накопленным ею материальным богатствам. Эти богатства настолько опьянили испанцев, «ужаснувшихся» варварскому обычаю человеческих жертвоприношений, что они забыли о господстве инквизиции у себя на родине и настолько увлеклись своей «миссионерской» деятельностью, что только в одной древней религиозной столице ацтеков Чолуле за два часа перерезали шесть тысяч глоток.

Цель автора — не судить, а, «как в эпосе Гомера», дать почувствовать, «как существенно мы различны и как удивительно похожи». Его повествователь — человек, которому выпал жребий подняться, словно песчинке, взнесенной порывом ветра к вершине великой пирамиды Теночтитлана, из нищего прозябания и бессловесной безвестности к высшим ступеням социальной лестницы ацтекской империи и стать свидетелем ее трагической гибели. Солнцу древней Мексики Моктесуме суждено было умереть на его глазах.

Повествователь начинает свой рассказ, когда воины Кортеса довершают уничтожение мира ацтеков. На развалинах Теночтитлана он обращает свой последний гимн медленно умирающему Солнцу, он поет о смерти и унижении, о бесславной гибели некогда могучей жизни. И о надежде, о вере в приход нового дня, о восходе нового солнца еще неведомого мира, к кото-

[1] Опубликована в «ИЛ», 1972, № 1.
[2] М., «Наука», 1980.

рому он обращает свой голос — голос человека, наделенного смертным телом и душой, способной любить, страдать и верить.

Рассказчик — выходец из враждующего с государством Моктесумы племени воинственных тласкальцев, чаще других служивших покорителям жертвами богу Солнца. Драматична поведанная им история, драматична и его собственная судьба. Ребенком он упал в костер и навсегда остался уродом. За ужасные шрамы, оставленные на его теле огнем, он был издевательски прозван соседскими мальчишками Нанаутцином, по имени бога огня. Миф и реальность неразделимы в сознании древних. И это прозвище словно определило его судьбу. Ацтекский бог огня Нанаутцин пожертвовал своей жизнью, чтобы уберечь мир от гибели — чар Ночи, стоявших на пути восходящего Солнца. Бывший дровосек Нанаутцин посвятил свою жизнь богоподобному Моктесуме, который возвысил его, сделав своим голосом, оракулом. Моктесума преобразил Нанаутцина духовно, не только открыв ему мир культуры ацтеков, но и дав ему возможность познать чувства благодарности и преданности, преклонения перед могуществом человека, величием его духа и свершений. Но, открыв ему мир Теночтитлана, властитель Мексики приобщил Нанаутцина и к миру своей души, раздираемой вечной борьбой противоречивых желаний, корни которых уходят в саму систему мировоззрения ацтеков. Систему, поразительно зрелую в своей диалектической гармонии вечной борьбы противоположностей и требующую от человека духовной зрелости. Он, человек, волен осознанно выбирать путь добра или зла. Все в его жизни — как и в Омейокане, Двойном месте, где, согласно представлениям ацтеков, все живет и умирает, где соединяются противоположности и создается мир, где безмолвие, небытие отступает перед волей слова, разума,— подвижно и зависимо от его мыслей и поступков. Человек подобен легендарному Кецалькоатлю, ожидаемому богу созидания, Пернатому Змею, который говорит о себе: «Рожден Землею, но хочу попасть на небо, я — чешуя, желаю стать крылом». Единственная опора человека в вечной борьбе с самим собой — бескомпромиссная вера в свои этические ценности и верность трудному пути к высокой цели.

Весь роман построен на этом дуализме — противопоставлении образов, высот духа и низменности бытия, красоты жизни и ее жестокости. Двуедины и образы главных богов: кровожадного Солнца, дающего жизнь, но и требующего расплаты жизнью. Причем наиболее желанна жертва добровольная — страдание, соединенное с любовью. Двуедин и добрый бог Кецалькоатль, в образе которого слиты стремление в вечную высь, парение крыла и стланье смертного тела по бренной земле.

По мере познания Нанаутцином жизни и культуры Теночтитлана расширяются и возможности читателя в истолковании слов и поступков, символики и философского содержания открывающейся ему действительности. Подлинная человечность оберегает Нанаутцина от духовной смерти, гибели от мертвящего холода познания и сомнения. Он никогда не утрачивает знания различий между видимостью и сутью. С детства ступив на путь очищения страданием, он особенно остро и глубоко воспринимает красоту и ценность жизни, радуясь уже самой возможности дышать, неосознаваемой другими. В отличие от Моктесумы, он не теряет, а обретает свое «я», постепенно осознавая себя уже не голосом своего повелителя, а голосом страдающего народа. Повествуя о смерти Солнца ацтеков, автор заставляет вспомнить название одного из лучших романов Эрнеста Хемингуэя — «И восходит солнце», которому предпослан эпиграф из Екклесиаста: «Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит...»

Хайуотер создает привлекательный и в то же время отталкивающий образ Моктесумы, переживающего взлеты и падения человеческого достоинства. Тонкий знаток искусств и наук, завороженный книгой судеб — Млечным Путем, он с детства испытывает отвращение к жестокому обряду жертвоприношения и мечтает о возвращении мудрого и благородного бога Кецалькоатля. Но повседневная необходимость поддерживать силой господство своей огромной империи над покоренными соседями ожесточает его сердце, постепенно обретающее вкус к кровавым расправам с противниками и подчиненными.

Интересен образ искалеченного огнем Нанаутцина, чья душевная красота недоступна окружающим его людям, всю жизнь видящим в нем лишь урода и предателя своего племени, изгоя, игрушку в руках судьбы и своего повелителя. В отличие от Моктесумы, Нанаутцин обретает внутреннюю свободу от всех заблуждений — религиозных и эмоциональных: его отталкивает бесчеловечность религиозной догмы, он разочаровывается в Моктесуме, хотя до последних минут жизни покинутого всеми владыки он остается с ним, видя в нем страдающего человека. До своего смертного часа Нанаутцин продолжает верить в торжество добра и света, в конечную победу жизни. Именно благодаря художественной достоверности этих главных персонажей роман позволяет читателю совершить редкое по яркости и драматизму путешествие во времени, окунуться в мир древней Мексики.

Притягательна, своеобразна и личность самого автора романа. Джемейк Хайуотер — редкий пример единства национальной традиции индейской культуры и гуманистической культуры Запада. Наиболее ценной в его романе «Солнце, оно умирает» представляется именно органичность этого сочетания, художественная претворенность его в самой книге.

Философские и эстетические взгляды Дж. Хайуотера находят непосредственное выражение в эпиграфе и в послесловии. Однако роман завершен и без этой оправы. По своей идейной направленности и художественным достоинствам он близок такой, например, стилизации Дж. Гарднера под старосаксонский эпос, как его поэма в прозе «Грендел».

Несмотря на историческую отдаленность

описанных событий, затронутые в книге Дж. Хайуотера идейные и этические проблемы и их решение, стремление автора показать красоту подлинных человеческих ценностей, величие человека, осознавшего себя мыслящим существом, способным критически воспринимать реальность,— она звучит актуальной и убедительной полемикой с массовой американской культурой. Не случайно роман получил высокую оценку таких крупных и разных по своему творческому почерку писателей, как Курт Воннегут и Джон Гарднер.

Воннегут назвал книгу «историческим романом очень высокого класса... поразительным откровением для тех, кто никогда не смотрел на историю этого края глазами коренного жителя Америки». Мир романа «Солнце, оно умирает», естественно, пришелся по душе и знатоку фольклора, талантливому стилизатору и автору книги «О нравственном искусстве» Джону Гарднеру. «Хочется поддаться искушению,— писал Гарднер,— и, расставшись с современным словом «рассказчик», вернуться в древний мир индейцев, мир создателей легенд». Мотивы каждого из них ясны. При всей своей нарочитой ироничности Воннегут, по существу, занят поисками адекватной художественной формы, способной заставить читателя увидеть реальность под непривычным для него углом зрения, выбить его из состояния душевного благополучия. Он не раз высказывал в своих книгах недвусмысленное отношение к роли янки в Новом Свете. Да и сама его творческая манера, приверженность к фантастическому смещению плана повествования делает близкой ему книгу Дж. Хайуотера.

Как все настоящие художники, Джемейк Хайуотер верит, что искусство способно помочь человеку преображать настоящее во имя лучшего будущего. Его исторический роман проникнут сознанием необходимости обращения к корням, поисков связей между прошлым и настоящим на основе подлинных человеческих ценностей.

Т. РОТЕНБЕРГ

◆

Советская литература за рубежом

ПОЛЬША

Повесть Виктора Астафьева «Царь-рыба». Издательство «ПИВ».

Повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Издательство «Наша ксёнгарня».

Сборник стихов Ксении Некрасовой под названием «Мои стихи».
Издательство «Выдавнитство литерацке».

Книга Владимира Шклювского «Эйзенштейн». Издательство «Выдавнитство артыстычне и фильмове».

ТУРЦИЯ

Сборник прозы Чингиза Айтматова под названием «Мать-земля». Издательство «Варлык яинлары».

Повесть Константина Паустовского «Колхида». Издательство «Санат эмеги яинлары».

ФРГ

Пьеса Максима Горького «Дачники». Издательство «Реклам».

Повесть Бориса Можаева «Из жизни Федора Кузькина». Издательство «Зуркамп».

Повесть Юрия Трифонова «Другая жизнь». Издательство «Бертельсман».

ФИНЛЯНДИЯ

Романы Сергея Залыгина «Южноамериканский вариант» и «Комиссия». Издательство «Вейлин и Гёёс».

Книга Константина Паустовского «Золотая роза. Заметки о писательском труде». Издательство «Кансанкульттуури».

ФРАНЦИЯ

Повесть Андрея Платонова «Впрок». Издательство «Л'аж д'ом».

Роман Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Издательство «Деноэль».

Роман Юрия Тынянова «Пушкин». Издательство «Галлимар».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман Бориса Васильева «В списках не значился». Издательство «Лидове накладелстви».

Сборник стихов Андрея Вознесенского. Издательство «Словенски списователь».

«Стихи и сказки» Бориса Заходера. Издательство «Альбатрос».

Сборник рассказов Юрия Нагибина «Переулки моего детства». Издательство «Чехословенски списователь».

ЮГОСЛАВИЯ

Роман «Война» Ивана Стаднюка и роман «Блокада» Александра Чаковского. Издательство «Привредна штампа».

◆

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

Вместе со всем болгарским народом деятели культуры и искусства отмечают в этом году 1300-летие болгарского государства. Этой знаменательной дате посвящают свои произведения писатели, художники, композиторы, кинематографисты. На сценах музыкальных театров страны были показаны три премьеры опер болгарских композиторов, посвященных историческим сюжетам, воссоздающим славные страницы жизни древней Болгарии. Это «Хан Аспарух» А. Райчева — о создателе болгарского государства хане Аспарухе, «Хан Крум-ювиги» А. Иосифова — об эпохе царствования хана Крума и борьбе болгар за утверждение своего государства, «Иоанис Рекс» П. Хаджиева, воскрешающая образ легендарного царя Калояна.
На снимке: сцена из оперы «Хан Крум-ювиги»

(*Еженедельник «Народна култура»*)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПУТЬ К САМОМУ СЕБЕ

Однажды, выступая на радио, Уильям Голдинг заметил, что не видит смысла для писателя создавать книги, тематически перекликающиеся друг с другом. Два последних романа Голдинга, появившиеся с перерывом в несколько месяцев, по мнению английской критики,— яркое тому доказательство. «Трудно представить себе более контрастные произведения, чем «Зримая тьма» и «Верительная грамота»,— пишет Т. Биньон в рецензии, опубликованной в литературном приложении к «Таймс».

В отличие от «Зримой тьмы» (см. «ИЛ» 1980, № 4) роман «Верительная грамота» посвящен событиям, происходившим в начале прошлого века. Они разворачиваются на борту пассажирского парохода, плывущего в Австралию. Эдмунд Тэлбот, юноша из влиятельной семьи, отправляется к островам Антиподов, чтобы занять там пост при губернаторе. По просьбе своего крестного отца он ведет путевые записи, которые по ошибке попадают в руки Роберту Колли, человеку непредприимчивому и слабому. А письмо Колли к сестре, тоже по ошибке, попадает к Тэлботу. Из него Эдмунд узнает об унижениях, каким подвергается Колли на борту парохода.

На психологическом столкновении этих двух натур — эгоистичной, избалованной судьбой и ущербной, несчастной — по существу и строится повествование. «С натяжкой можно назвать этот роман историческим,— пишет другой рецензент, П. Молли.— Как и все книги Голдинга, это притча, парабола, порой труднодоступная для понимания из-за изощренной символики. И все-таки,— отмечает рецензент,— в главном роман перекликается со «Зримой тьмой»: в нем также исследуются корни и проявления зла». «Верительная грамота» насыщена литературными реминисценциями, историческими и литературными фактами, что требует от читателя не только повышенного внимания, но и большой эрудиции. Критика отмечает полифоничность романа, по философскому звучанию ставит его на одну доску со «Шпилем». Тэлбот совершает не просто путешествие к островам Антиподов, но и в глубь себя, к истокам своей нравственности.

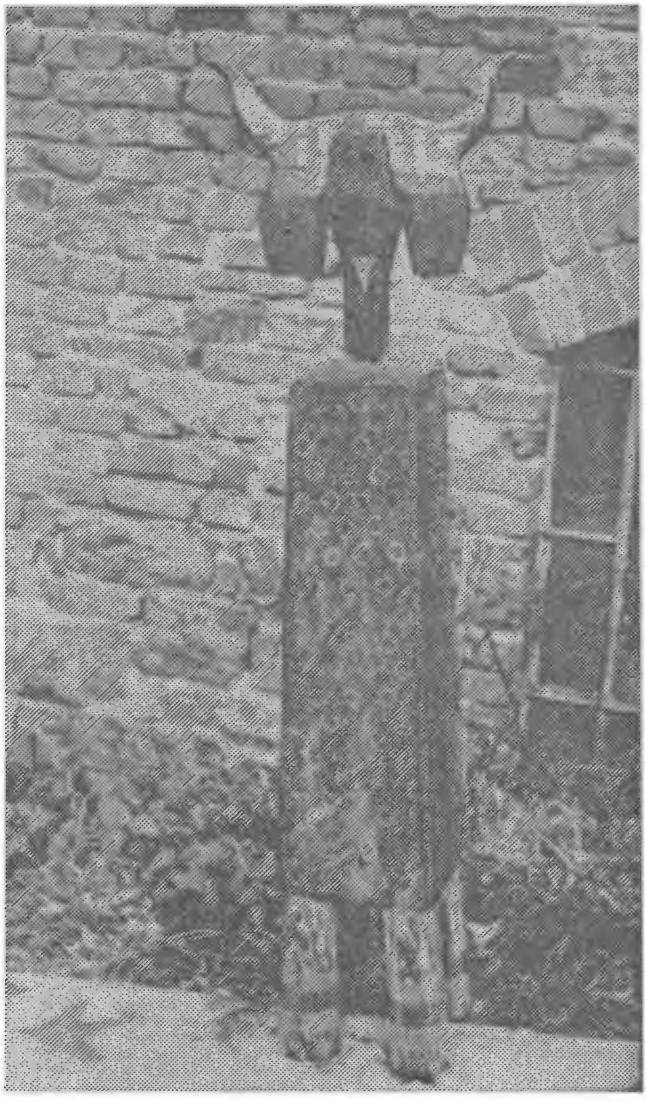
Роман «Верительная грамота» был удостоен крупнейшей литературной премии за прошлый год — «Букер прайз».

БЕЗ НАДЕЖД И ИЛЛЮЗИЙ

«Одиннадцать рассказов — летопись разочарований, крушений надежд и горечи» — так представляет читателю «Британ бук ньюс» рецензент Гордон Паркер новый сборник известного

английского писателя Фрэнсиса Кинга.

«Косвенный метод» — пятый сборник малой прозы Кинга — отличает тематическое разнообразие и высокий профессиональный уровень. Лишь часть рассказов посвящена соотечественникам Кинга, большинство же героев — люди «с материка»: греки, итальянцы, немцы и другие. Действие одного из них разворачивается в Италии времен Муссолини, в нем автор описывает эпизод из практики «обыкновенного фашизма», допрос нацистами еврейской девушки. В сборнике представлены разные слои общества: здесь и люди искусства (балерина, певица), и лондонские буржуа, и ученый. Рецензент отмечает «интернациональность» сборника как один из моментов, помогающих дать писателю некий обобщающий образ современного западного человека, его внутренних коллизий, его мироощущение. Острота фабулы, лаконичность, динамизм помогают писателю как бы с помощью фотовспышки выхватить из жизни — монотонной, бессвязной и будто бы алогичной — точные приметы сегодняшнего мира.



На снимке: одна из работ Гезы Шаму «Дух двурогих».

(Журнал «Мювесет»)

ВЕНГРИЯ

НАРОДНОСТЬ — ОСНОВА ОСНОВ ИСКУССТВА

Венгерский журнал «Мювесет» опубликовал беседу с одним из ведущих современных скульпторов Гезой Шаму.

Шаму относится к поколению художников, творчество которых целиком сформировалось в условиях социалистической Венгрии. Он вырос в деревне и, окончив художественную гимназию в городе Пече, стал пробовать силы в графике, живописи, но в особенности его привлекала скульптура.

«С годами, — рассказывает Шаму, — меня все больше и больше интересовали изделия народных умельцев. Вот, к примеру, сосуд. Когда гончар делает сосуд, он его как бы одушевляет. Вы замечали, что у кувшинов ручки похожи на человеческие уши? Я стал изучать, как представление человека о мире на протяжении тысячелетий находило отражение в предметах быта...

Вещи, сделанные руками умельцев, только в том случае могут называться народным искусством, если они способствуют формированию у человека ассоциативной фантазии. Вот почему для меня главное в работе скульптора — умение создать обобщенный образ, образ-метафору, образ-миф. Современное переосмысление мифа — это выражение своего мироощущения, своей жизненной философии».

ГДР

НОВАЯ КНИГА МАКСА ВАЛЬТЕРА ШУЛЬЦА

Издательство «Миттельдойчер ферлаг» выпустило новую повесть известного писателя Макса Вальтера Шульца «Летчица, или Конец немой легенды». Как и в предыдущей повести «Солдат и женщина» («ИЛ», 1979, № 10), Шульц снова обращается к войне, к сложным отношениям людей, полюбивших друг друга в это страшное время.

Повествование ведется в двух планах: в настоящее вторгается прошлое и оказывается, что оно крепко держит главного героя повести — Бруно Хельригеля. Бывший ефрейтор давно уже стал машинистом локомотива, он, казалось бы, живет совсем другой жизнью, но чувство, которое он пережил в молодости — любовь к советской летчице Любе,— очень глубоко вошло в его жизнь. Долгое время Хельригель не мог даже говорить об этом чувстве, однако его брак с Гиттой распадается именно из-за того, что жена ревнует его к прошлому.

Телеграмма, извещающая Хельригеля о смерти Любы, заставляет его снова пережить все, что было тридцать лет назад...

«Для Хельригеля и Любы война не кончилась,— ска-

Лейпцигский «Келлертеатер» показал премьеру комедии Альберта Вендта «Западня в подвале» (режиссер Карл Георг Кайзер). Несколько молодых людей благодаря стечению нелепых обстоятельств оказываются запертыми в подвале интерната. Они проводят там несколько часов, в течение которых проявляются их характеры, психология, разное отношение к жизни.
На снимке: Берт Францке, Силька Маттиас, Вольф-Дитер Рамлер и Рамона Хеннекке в сцене из спектакля «Западня в подвале».

(*Газета «Берлинер цайтунг»*)

зал Макс Вальтер Шульц в интервью еженедельнику «Зонntаг».— Взаимоотношения с Гиттой потому и не складываются, что она намного моложе, война и антифашистская борьба прошли мимо нее... Я, как и многие другие писатели, все время возвращаюсь к темам, связанным с войной. Мы хотим, чтобы была жива правда о войне. Война активизирует нашу совесть...»

ГРЕЦИЯ

ИНТЕРЕС К РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Греческая литературная общественность проявляет большой интерес к русской и советской литературе. Так, широко было отмечено 100-летие со дня смерти Ф. М. Достоевского. По сообщению газеты греческих коммунистов «Ризоспастис», в Афинах по инициативе Общества греческих писателей был проведен вечер, посвященный великому русскому писателю, который открыл вице-президент общества А. Николаидис. Затем в исполнении актрисы Анны Политиму прозвучали фрагменты из романов Ф. М. Достоевского. С докладом о жизни и творчестве писателя выступил большой знаток русской и советской литературы писатель Мицос Александропулос. (Его перу принадлежит сборник эссе «Пять русских классиков. Пушкин. Гоголь. Белинский. Достоевский. Толстой», трехтомная «История русской литературы», биографические романы о Чехове и Горьком, а также переводы на греческий язык «Слова о полку Игореве» и «Жития протопопа Аввакума».)

Заметным событием в культурной жизни страны явился также организованный Всегреческим культурным движением вечер «Жизнь и творчество Достоевского», который состоялся в афинском Центре культуры и искусств. Своими размышлениями над книгами русского писателя поделился с собравшимися известный прозаик и драматург Теофилос Франгопулос. О работе над переводами романов Достоевского рассказала писательница и переводчица Зои Насюдзик. Это благодаря ее многолетнему труду сегодня греческий читатель имеет возможность читать на родном языке многие произведения Достоевского. Отрывки из произведений писателя прочел актер Василис Диамандопулос. Затем состоялась большая дискуссия, в которой приняли участие писатели, критики, журналисты, студенты.

Пирейское отделение Всегреческого культурного движения провело в Культурном центре города вечер поэзии В. Маяковского. Организаторы вечера, как отмечает газета «Ризоспастис», «поставили перед собой цель познакомить широкие круги греческой общественности с творчеством поэта Революции и, в частности, с его вкладом в мировую поэзию». На вечере прозвучали стихи Маяковского, были исполнены фрагменты из его пьес. Вниманию собравшихся была представлена выставка переведенных на греческий язык книг советского поэта. В вечере принял участие один из переводчиков поэзии В. Маяковского — выдающийся поэт Яннис Рицос, президент Общества греко-советской дружбы, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Стихи Маяковского в переводе Рицоса были включены в программу состоявшегося на стадионе афинского района Каллитеа большого «Концерта мира», который организовало Всегреческое движение сторонников мира.

В Греции переведены и изданы многие произведения русской классической и советской литературы. Только за последнее время вышли «Маленький герой» Ф. М. Достоевского (издательство «Корондзис»), «Рассказы» И. Бунина (издательство «Нефели»), «Город желтого дьявола» М. Горького (издательство «Гларос») и сборник его рассказов под названием «Пламенное сердце Данко» (издательство «Синхрони эпохи»). На сценах греческих театров с успехом идут пьесы А. Чехова, Н. Гоголя, М. Горького, А. Арбузова.

ЕГИПЕТ

НАВАЛЬ АС-САДАВИ УХОДИТ В ОТСТАВКУ

Бюллетень «Ат-Такаддум», издаваемый Национально-прогрессивной юнионистской партией Египта, поместил сообщение о том, что известная египетская писательница и врач-психиатр доктор Наваль ас-Саадави подала в отставку с занимаемого ею поста инспектора в министерстве здравоохранения АРЕ. В заявлении об отставке говорится: «Я не могу работать в условиях режима, который не обеспечивает своим служащим минимума достойного материального и духовного существования и проводит лишь такую политику, которая ставит иностранцев выше египтян и превращает землю Египта, культуру Египта, интересы Египта и достоинство Египта в послушное орудие иностранных интересов».

Научные труды Наваль ас-Саадави широко известны в арабских странах, а

некоторые из них переведены на иностранные языки. В основном они посвящены положению женщины в арабском обществе. В своих книгах и статьях ас-Саадави призывает к свободе и раскрепощению женщины, ратует за то, чтобы она стала равноправным и ответственным членом общества.

На литературном поприще ас-Саадави впервые выступила в начале шестидесятых годов, опубликовав свои рассказы в каирской периодике. В 1965 г. вышел ее первый сборник рассказов «Момент искренности», предисловие к которому написал известный писатель Юсуф Идрис, высоко оценивший писательское мастерство ас-Саадави. С тех пор ею опубликован ряд сборников рассказов, повестей и романов, пользующихся успехом в арабских странах.

Комментируя отставку ас-Саадави, обозреватель Мустафа аль-Мансури пишет в бейрутском еженедельнике «Нидаль аш-шааб», что «позиция доктора ас-Саадави полностью отвечает ее характеру — характеру мыслителя-патриота и демократа».

ИНДИЯ

НОВЫЙ ПЕРЕВОД ШЕКСПИРА

В силу специфики исторического развития Индии первыми иностранными писателями, с творчеством которых познакомился широкий индийский читатель, были писатели английские. На классиках английской литературы воспитывалось не одно поколение индийской интеллигенции. Особым вниманием и уважением в Индии всегда было окружено имя Шекспира, с творчеством которого индийский читатель имел возможность знакомиться как на языке оригинала, так и через многочисленные переводы на индийские языки. В частности, на хинди, являющемся официальным языком Индии, переведены все основные произведения великого английского драматурга, некоторые из них по нескольку раз. Правда, в соответствии с традицией, на индийские языки трагедии Шекспира переводились в основном для чтения, а не для сценического воплощения, однако в последние годы, как пишет критик газеты «Джан юг», положение меняется к лучшему и некоторые из шедевров драматурга увидели наконец свет рампы. Так, трагедию «Макбет» перевел на хинди известный поэт Рагхувир Сахай специально для национального института сценического искусства в Дели.

«Поэтический перевод «Макбета» Р. Сахая,— пишет на страницах газеты «Джан юг» критик и публицист Агнимитра,— является лучшим из всех (теперь уже шести) переводов бессмертной трагедии Шекспира».

ИОРДАНИЯ

«ПЛАЧ НА РАЗВАЛИНАХ»

Бейрутский еженедельник «Аль-Хуррийя» опубликовал рецензию критика Фейсала Дарраджа на новый роман известного иорданского писателя Галиба Халасы «Плач на развалинах».

Как отмечает Ф. Дарраджа, творчество Халасы многогранно. Он пишет романы, рассказы, литературно-критические статьи, заметки, репортажи и философские эссе. Совсем недавно вторым изданием вышел его сборник новелл «Негры, бедуины и феллахи».

Однако, по мнению критика, наиболее ярко и самобытно писательское дарование Халасы проявилось в жанре романа. Это подтверждают четыре романа, опубликованные писателем: «Смех», «Хамсин», «Вопрос» и «Плач на развалинах». Для всех этих произведений характерно подробное, детализированное описание повседневной, обыденной жизни героев, представителей разных слоев современного арабского общества.

Действие романа «Плач на развалинах» происходит во время арабо-израильской войны. В нем нашли отражение настроения подавленности и разочарования, охватившие часть арабской интеллигенции после поражения арабов в этой войне.

ИТАЛИЯ

НЕОБЫЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

«Каждый может написать комедию. Здесь существует определенная техника, которой можно выучиться. И я могу передать эту технику. Но это будет только моя техника, и не нужно имитировать ее. Театр должен следовать за жизнью. А жизнь — постоянное изменение, когда день равен столетию»,— сказал, обращаясь к молодежи, Эдуардо Де Филиппо на открытии драматической школы во Флоренции. Вот уже целый год восьмидесятилетний мастер, один из крупнейших деятелей современного театра, учит молодых итальянцев «искусству комедии». Драматург предложил ученикам тему пьесы, которую, по его признанию, лелеял многие годы, но не написал, ибо идея «не созрела в должной степени». Ученики должны были самостоятельно разобрать эту идею, придав ей драматургическую форму. В течение года они под руководством своего учителя обсуждали различные созданные ими редакции, пока не

На снимке: Эдуардо Де Филиппо.

(*Газета «Паэзе сера»*)

пришли к окончательному варианту комедии, получившей название «Симпатия».

Драматургическая школа стала подлинной театральной мастерской, в основе работы которой лежат импровизационные методы комедии «дель арте», оказавшей, как известно, огромное влияние на развитие всего итальянского театра и, в частности, на творчество Эдуардо Де Филиппо.

Тему, которую развивали в своей комедии начинающие драматурги под руководством Эдуардо де Филиппо корреспондент газеты «Паэзе сера» определяет следующим образом: «Что такое симпатия, что такое антипатия? — эти загадочные и неуловимые эмоции, которые руководят нашими поступками, определяют наш выбор». В комедии-притче «Симпатия» действуют два персонажа, противоположные друг другу и дополняющие друг друга,— Симпатичный и Антипатичный. Оба они работают в ювелирном магазине, причем первый — Симпатичный — своим обаянием привлекает к себе клиентов и сослуживцев, в то время как второй — Антипатичный — отталкивает. Но непредвиденные события резко изменяют ситуацию и переворачивают первоначальные представления о героях. Симпатичный на поверку оказывается пустым, бессодержательным, поверхностным малым, а Антипатичный предстает человеком, глубоко понимающим других, мудрым, чистосердечным, нетерпимым ко всяческой лжи, к взаимоотношениям, построенным на голом интересе.

В этой пьесе, как и во всем творчестве руководителя драматургического коллектива Эдуардо Де Филиппо, замечает корреспондент «Паэзе сера», ощутимо влияние Луиджи Пиранделло. Пока еще рано давать окончательную оценку комедии, созданной учениками Де Филиппо, ибо впереди главное испытание — на зрителе, когда литературный текст выполнит свое основное назначение — станет театральным

действием. Но этот необычный эксперимент, «бесспорно, представляет собой совершенно новое, уникальное, позитивное явление в итальянском театре и в итальянской культуре».

ЛИВАН

НОВЫЕ КНИГИ ЭМИЛИ НАСРУЛЛАХ

По сообщениям ливанской прессы, издательство «Нофаль» опубликовало две книги известной писательницы Эмили Насруллах. В первую из них вошли «Сентябрьские птицы», «Олеандр» и другие романы писательницы, посвященные проблемам современного Ливана, в частности, ливанской деревни.

Вторая книга — «Эти воспоминания» — отражает трагические события гражданской войны и иностранной интервенции в Ливане.

НОРВЕГИЯ

ПЕВЕЦ НОРВЕГИИ ПЕТТЕР ДАСС

Не так давно издательство «Гюльдендаль норск форлаг» выпустило в свет превосходно иллюстрированный трехтомник произведений норвежского поэта Петтера Дасса (1647—1707), рассчитанный на самые широкие круги читателей. В сегодняшней Скандинавии имя Петтера Дасса знакомо далеко не всем. Между тем, упоминая об этом поэте-гуманисте на страницах своей последней книги «Долгий день», известный датский писатель Ханс Шерфиг подчеркнул, как важно исследовать прогрессивные, гуманистические традиции в истории своей культуры.

При жизни Петтера Дасса Норвегия существовала в качестве зависимой от Дании провинции. Дасс был пастором, а в эпоху абсолютизма это означало, что он являлся и должностным лицом. Однако он предпочел поселиться вдали от Копенгагена — средоточия власти, поближе к рыбакам и крестьянам — на севере, «на краю земли». И хотя в обычае поэтов того времени было расточать похвалы сильным мира сего, Петтер Дасс не славил датского короля и его приближенных. Он воспевал любимый север, полное опасностей Норвежское море и своих прихожан — тружеников-норвежцев. Воссоздавая мельчайшие детали их повседневного быта, Дасс развертывает перед читателем яркую картину жизни, где все дышит правдой.

Безыскусная поэзия Петтера Дасса нередко вызывала презрительное недоумение в столице, но была понятна каждому обитателю «края земли». Дасс широко использовал народные пословицы и поговорки, нередко облекал свои жизненные наблюдения в юмористическую форму,— его рифмованные шутки стали неотъемлемой частью народного творчества.

Литературные критики порой недооценивали творчество Петтера Дасса. Теперь же, как отмечает рецензент газеты «Ланд ог фольк», по выходе его поэтического трехтомника, скандинавский читатель сможет составить верное представление об этом поэте, который открыто и ясно смотрел на мир, брал темы, подсказанные ему самой жизнью, и писал стихи на радость людям.

ПОЛЬША

СОДРУЖЕСТВО ДВУХ КУЛЬТУР

Как сообщает журнал «Нове ксёнжки», в Познаньском издательстве вышла книга Гжегожа Вишневского «Польско-советские культурные связи в семидесятые годы», в которой дается широкая панорама культурного обмена между Польшей и СССР в области литературы и искусства.

Интерес к советской и русской культуре, говорится в книге, огромен. Об этом свидетельствует тот факт, что русский язык в Польше изучают около семи миллионов человек. Далее приводятся данные о книгах русских и советских авторов, изданных в Польше с 1971 по 1978 год: польские читатели за это время получили 19 475 тысяч экземпляров.

В Советском Союзе за этот период было издано 21 626 тысяч экземпляров книг польских писателей.

В польских кинотеатрах за эти годы просмотрели советские фильмы 123,3 млн. зрителей.

Многие произведения польских и советских писателей объединяет одна тема, тема борьбы с гитлеровскими захватчиками, о чем свидетельствуют, в частности, произведения Ярослава Ивашкевича, Максима Танка, Максима Рыльского.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АЛЕКСАНДРА ФРЕДРО

В издательстве ПИВ вышел последний том Полного собрания сочинений знаменитого комедиографа, баснописца, рассказчика Александра Фредро. Подготовка этого издания началась двадцать пять лет назад видным литературоведом, исследователем творчества А. Фредро профессором Александром Пигоном, который скончался десять лет назад. Первые десять томов содержат только драматические произведения, в остальные пять включены поэзия, проза и материалы, связанные с общественно-политической деятельностью писателя.

Фредро создал богатейшую галерею образов, ставшую своего рода документом. С большой достоверностью он воспроизвел нравы обитателей дворцов и усадеб, буржуазных салонов и ростовщических контор, язык его персонажей — аристократов и псевдоаристократов, претенциозных нуворишей, торговцев, крестьян, слуг — всегда очень точен и индивидуален. По пьесам Фредро, как отмечает рецензент журнала «Новые польские книги», можно составить словарь польских пословиц. И сегодня его пьесы, такие как «Месть», «Муж и жена», «Дамы и гусары», «Пан Иовельский», «Великий человек на малые дела», не сходят со сцены.

Большой интерес представляет автобиографическая повесть Александра Фредро «С пятого на десятое», которая, по словам рецензента, является ценным человеческим документом.

В работе над пятнадцатым, завершающим, томом принимала участие Крыстына Чайковская, которая является и автором предисловия к этому тому.

РУМЫНИЯ

СЕРИЯ «ГИПЕРИОН»

Издательство «Картя ромыняскэ» продолжает выпуск основанной в 1979 году серии «Гиперион», посвященной молодой румынской поэзии. Герой поэмы «Лучафэр» — центрального произведения классика румынской литературы Михаила Эминеску — Гиперион (второе имя Лучафэра) символизирует поэтическую одаренность и судьбу гения на земле, объединяя книги новой серии, это имя как бы предъявляет к поэтам особенно высокие требования.

Уже вышли в серии книги ведущих представителей молодой поэзии — Мирчи Динеску, Дана Лауренциу, Мариуса Робеску, Мирчи Чобану, Эмиля Брумару и других, включающие все наиболее ценное из их поэтического творчества. Каждый сборник сопровождается критической статьей, написанной ведущими румынскими критиками, и библиографическими данными об авторах.

Как отмечает румынская печать, в том числе и журнал «Румынская литература», поэтов, представленных серией, при всем многообразии их творчества объединяет одно — все они продолжают и развивают лучшие традиции своих предшественников.

«Несомненно, — отмечает Артур Сильвестру в статье, помещенной в журнале «Румынская литература»,— что серия «Гиперион» обогащает

сегодняшнюю румынскую поэзию рядом значительных произведений, которые могли бы ускользнуть от внимания критики и читателя, если бы не эта серия, в которой так широко представлено все лучшее в творчестве наших молодых поэтов».

СИРИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ СИРИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

По сообщению бейрутского еженедельника «Аль-Хурийя», в Дамаске состоялась очередная конференция Союза арабских писателей (сирийское отделение). Выступивший на конференции председатель Союза Али Акля Арсан рассказал об итогах выполнения плана публикаций на 1980 год, который, по его словам, полностью осуществлен. В минувшем году отделением Союза в Сирии опубликовано 60 книг. Выполнены также планы в области социальных и культурных мероприятий и в области международных связей.

Далее Арсан изложил план работы Союза на 1981 год. В текущем году Союз писателей примет участие в разработке закона об охране авторских прав в Сирии и закона о пенсионном обеспечении писателей.

СБОРНИК РАССКАЗОВ МУХАММЕДА ХАЛИДА РАМАДАНА

По сообщениям арабской печати, в Дамаске вышел новый сборник рассказов сирийского писателя-новеллиста и поэта Мухаммеда Халида Рамадана «Огненные отметины на лицах встречных». В сборнике четырнадцать небольших рассказов, посвященных современной теме.

До этого М. Х. Рамаданом были выпущены сборник стихов «Колдовские зовы», сборник народных песен-заджалей «Забаданийят» (от названия сирийского горного селения Забадани), сборник рассказов «Поэт Тааббата Шарран ищет свой хлеб» и литературоведческое исследование «Народные рассказы из Забадани»

Исполнилось пятьдесят лет творческой деятельности выдающейся актрисы Бетт Дэвис, знакомой советскому зрителю по фильмам «Лисички» (в его основу легла пьеса Лилиан Хеллман), «Все о Еве», «Игра в карты по-научному».

На снимке: Бетт Дэвис со своим внуком Эшли Химаном, который тоже собирается стать актером.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

США

«ИСКУССТВО ЖИЗНИ»

Так называется сборник малой прозы известного американского прозаика Джона Гарднера, вышедший в нью-йоркском издательстве «Кнопф». Десять рассказов, составивших эту книгу, по словам рецензента еженедельника «Нью-Йоркс таймс бук ревью», поднимают основную проблему творчества писателя последних лет — проблему «нравственной литературы» Рецензент напоминает читателям еженедельника, что несколько лет назад Гарднер опубликовал книгу литературно-критических очерков, которая называлась «О нравственном искусстве». В ней писатель весьма нелицеприятно отзывался о своих собратьях по перу, которые на его взгляд, забыли о главном назначении художественного творчества — о его воспитательном значении, о том, что оно должно пропагандировать гуманистические, жизнеутверждающие ценности. Писатель, подчеркивал тогда Гарднер, должен постоянно помнить о своей ответственности перед эпохой и противостоять мрачным силам разрушения и хаоса.

Все рассказы в только что вышедшем сборнике излагают в беллетристической форме позиции Гарднера, высказанные им в книге «О нравственном искусстве». Главные герои этих рассказов — художники, музыканты, писатели — люди, без остатка преданные искусству, глубоко сознающие гуманистический смысл творчества, а потому и обладающие знанием «искусства жизни». Так в рассказах-притчах «Нимрэм» и «Воздаяние» повествуется вполне в духе романтической литературной традиции об облагораживающем и несущем духовное здоровье воздействии музыки: дирижер Нимрэм, например, приводит на концерт тяжелобольную девочку, и, посвященная в таинство высокого Искусства, та на некоторое время забывает о своем недуге..

Не все рассказы сборника, считает рецензент, можно безоговорочно назвать творческой удачей писателя. Однако то, что привлекает неизменно в Гарднере: последовательность его идейно-эстетической программы и верность тому пути в искусстве, который он для себя избрал,— в полной мере проявилось в его новой книге.

ПРОДОЛЖЕНИЕ «САГИ О МЕЙФИЛДАХ»

В издательстве «Атеней» вышел новый роман хорошо известного в Советском Союзе американского прозаика Рейнолдса Прайса «Источник света». Эта, десятая по счету, книга Прайса задумана как продолжение романа «Земная оболочка» (1975, русск. перев.: М., «Художественная литература», 1980). По словам Джойс Кэрол Оутс, написавшей для еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» рецензию на эту книгу, новый роман Прайса, в отличие от предыдущего, представляет собой не столько семейно-бытовую сагу, сколько лирическую исповедь в духе романа Дж. Джойса «Портрет художника в юности» («ИЛ», 1976, № 10—12); «Источник света» — это также своего рода «портрет художника в юности». Главный герой книги — двадцатипятилетний поэт Хатчинс Мейфилд, знакомый читателям «Земной оболочки», только начинает свой жизненный путь. Как и предыдущий роман Прайса, отмечает Оутс, эта книга пронизана лиричным, задумчивым спокойствием интонации, которая как нельзя лучше соответствует «центростремительному» сюжету книги, сконцентрированному вокруг Хатчинса. Основная тема этой книги, написанной в традициях «южной школы» (особенно чувствуется влияние У. Фолкнера),— постепенный распад некогда прочной семьи, утрата тех уз, которые скрепляют разные судьбы ее членов. В этой утрате своих «корней» — все содержание переживаемой Хатчинсом психологической драмы.

Тема ухода от семьи — одна из излюбленных в творчестве Прайса. Многие герои Прайса — к ним принадлежит и Хатчинс — испытывают настоятельную внутреннюю потребность совершить «побег» из отчего дома, ибо этот «побег» символизирует поиск независимости, самоутверждения в жизни. И Хатчинс переживает искус «побега». Однако в конце концов он приходит к мысли о том, что его подлинное место — на родине, в стенах родного дома.

«С самого первого романа «Долгая и счастливая жизнь» (1962, русск. перев.: М., «Прогресс», 1971), пишет Оутс в заключение, Рейнолдс Прайс отличается блистательным мастерством в изображении человеческих характеров. «И здесь, в «Источнике света», его персонажам присуща душевная теплота и жизненная умудренность, они смешны и мудры — словом, обладают той полнокровностью и самобытностью, которая и должна быть свойственна действующим лицам первоклассного реалистического повествования».

«СЕСТРА КЕРРИ» БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ

Под таким заголовком американская газета «Интернэшнл геральд трибюн» поместила сообщение о том, что «роман Теодора Драйзера «Сестра Керри», одна из вех литературы США XX века, впервые со времени его написания 80 лет назад публикуется по оригиналу, из которого в предыдущих изданиях было изъято 36 тысяч слов».

По существовавшим в начале века стандартам роман «Сестра Керри» представлялся издателям слишком натуралистичным, написанным «грубым языком» и «пессимистичным». Драйзер показал рукопись романа Фрэнку Норрису — тогда уже известному писателю, одному из младших компаньонов издательства «Даблдей, Пейдж и К°»,— которому очень понравился роман. Однако глава издательства Ф. Даблдей настаивал на редактуре, существенно менявшей роман. Драйзер попытался заставить его выполнить условия договора, предусматривавшие согласие автора на вносимые исправления, но многие поправки были внесены в рукопись без ведома.

Издатели «новой» «Сестры Керри» обнаружили, что основные изменения были сделаны первой женой писателя и А. Генри, его другом, редактором городской газеты «Толедо блейд», который настоял на том, чтобы автор вырезал из романа «излишнее философствование». Не отрекламировав как следует книгу, «Даблдей» попытался похоронить роман. Было продано всего 456 экземпляров. Авторский гонорар Драйзера составил жалкую сумму в 68 долларов и 40 центов. Эпопея с изданием «Сестры Керри» обошлась писателю в два года тяжелой депрессии.

Восстановленный роман «Сестра Керри» вышел в издательстве университета штата Пенсильвания. По мнению американских исследователей, сообщает рецензент «Интернэшнл геральд трибюн», в новом издании романа еще более четко очерчены характеры его главных героев и, как он отмечает, более реалистичен общий тон, а кроме того, восстановлен написанный первоначально автором в гораздо более жесткой манере конец романа.

ФИНЛЯНДИЯ

«ЗЛОДЕЙ В ДОМЕ»

Советскому читателю хорошо известно имя лауреата Андерсеновской премии, замечательной финской детской писательницы Туве Янсон. Ее книги — всегда удачно оформленные ее мужем, художником Пером Улофом Янсоном — с удовольствием читают дети и взрослые всего мира.

И вот совсем недавно на книжных полках Финляндии появилась новая повесть писательницы «Злодей в доме», где мы встречаемся с хорошо известными нам героями — муми-троллями. На этот раз вместо привычных рисунков читатели увидят цветные фотографии всех обитателей этого дома, «построенного» самой Туве Янсон с помощью Пера Улофа Янсона, Тууликки Плетилэ и еще нескольких других художников.

Двери этого сказочного дома всегда открыты для гостей. В нем весело и спокойно, пока муми-тролли не подвергаются своеобразному испытанию. В доме появляется «нечто», оно разбрасывает все вещи, грызет мебель и «плохо пахнет». «Нечто» загоняет насмерть перепуганных обитателей дома под кухонную плиту, заставляет их каждую ночь менять место для ночлега, а самых «храбрых» даже вынуждает к бегству.

В доме муми-троллей все приходит в движение, «злодей» выводит из состояния полнейшего душевного равновесия даже самых старых и мудрых членов «муми-клана». Все муми-тролли от мала до велика наконец решаются собраться на семейный совет и изгнать злодея — им оказывается змея.

Так симпатичным и мужественным героям Туве Янсон все же удается выдержать испытание «на прочность», выгнать злодея из своего дома и восстановить нарушенный в нем было порядок.

«В героях Янсон,— пишет рецензент газеты «Ню тид» Черстин Вессберг,— подкупает их сходство с людьми. Они наделены теми же чертами, что и мы, и ведут себя в созданной писательницей ситуации совсем как иные взрослые. В своей новой повести Туве Янсон удается создать атмосферу спокойствия и душевного тепла, характерную для всех ее предыдущих книг. Но в новой книге к этому добавляется ощущение некоторой напряженности, таинственности, что невольно рождает вопрос: «А для кого же все-таки написана эта книга — для детей или для взрослых?»

Не так давно литературная общественность Финляндии отметила 100-летие со дня рождения известной финской писательницы Марии Йотуни. Этот юбилей был ознаменован целым рядом театральных, радио- и телеспектаклей по ее пьесам и новеллам. С большим успехом прошел на финском телевидении спектакль «Проступок Мартина» по мотивам одного из романов Марии Йотуни, где столкновение героев — представителей трех поколений — отражает крушение семейных устоев в буржуазном обществе кануна первой мировой войны.
На снимке: сцена из телеспектакля. Доктор Мартин — Пер-Олоф Сирéн, Фредрика — Анья Похьола.

(*Газета «Ланд ог фольк»*)

ФРАНЦИЯ

ЧУДЕСНАЯ ГРАММАТИКА

Как известно, знаменитый математик Льюис Кэрролл придумал свою «Алису», чтобы развлечь своих юных слушательниц. Ален Роб-Грийе, французский писатель, один из представителей «нового романа», создал учебник французской грамматики в форме развлекательного детективного романа под названием «Джин». Подобная параллель, по мнению рецензента американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн», вполне правомерна: прежде всего потому, что главные герои его — Джин и Симон Лекёр — «обладают потрясающей способностью фантазировать, которая преображает всякое, самое обыкновенное событие, повседневную жизнь в нескончаемую цепь удивительных романтических приключений».

В 1978 году в Калифорнийском университете, где Роб-Грийе читал курс французской литературы, известная преподавательница французской грамматики Ивон Ленар пожаловалась ему, что тексты в учебниках такие глупые, что студенты смеются над ними. «В идеале нужно было бы, чтобы их составил настоящий писатель»,— сказала она. И Роб-Грийе взялся за эту работу.

Первую главу для удобства начинающих он написал в настоящем времени. Ивон Ленар добавила уроки грамматики, и они отослали все это в издательство «Холт, Райнхарт и Уинстон». Там рукопись понравилась и с авторами подписали контракт на публикацию еще не написанного романа. Издатели испробовали роман на читателях и студентах, и те сказали, что, хотя читать его довольно сложно, так как по мере чтения усложняется и сюжет романа, и система спряжения французских глаголов предстает во всей своей трудности, книгу хочется читать дальше.

— Не знаю, сколько американских преподавателей сочтут мой роман подходящим учебником, но несколько французских лицеев высказали желание использовать его в этом качестве, заявив, что им непонятно, почему американцы должны учить их язык по более увлекательному пособию. В результате «Джин» стал первым французским романом, который вышел одновременно и в США (под названием «Рандеву»), а также, насколько известно, первым литературным произведением, написанным с целью научить грамматике. Сейчас готовятся его переводы в Испании и Японии. Во Франции роман вышел в издательстве «Эдисьон де минюи» без учебника-приложения.

«НОЧНОЕ СОЛНЦЕ» ЖАКА ПРЕВЕРА

Вышел в свет новый сборник произведений Жака Превера, в него включены песни, стихотворения, пословицы, максимы, относящиеся к различным периодам творчества с 1936 по 1977 год. Лишь четвертая часть этих текстов была опубликована в периодических изданиях, остальные хранились в письменном столе поэта. Их собрали для издания Арно Ластер и Жанин Превер.

Ряд текстов — воспоминания и размышления о художниках: Магритте, Миро, Леже, Джакометти. В сборнике опубликовано и то, что Превер писал в последние годы, когда был тяжело и безнадежно болен. «Этот период особенно важен для понимания творчества Превера,— пишет Франсуа Рей в «Магазин литтерер».— У него появляется новая тональность, новая техника, но превероВская музыка звучит так же, как всегда. Он смотрит на вещи с той же нежностью, но с большей проницательностью всматривается в правду жизни... В этом сборнике его творчество, которое мы считали завершенным, раскрывается с новой стороны. Эта книга Превера — его последняя весть из области тени и света, солнца и ночи. Поэтому очень точно найдено название — «Ночное солнце». Как и Деснос, он слушал улицу и ночь, слушал толпу и воссоздал музыку ее говора...»

САМЫЙ ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗЧИК

Издательством «Пресс де ля сите» изданы романы раннего Сименона в двенадцати томах. Эти романы публиковались Сименоном первые десять лет его писательской деятельности, когда он еще не был известен и издавался под разными псевдонимами. Все они были тогда же раскуплены и стали библиографической редкостью. Вот названия некоторых из них: «Мари Тайна», «Любовник без имени», «Невеста дьявола», «Долороза», «Незнакомец». Они отличались простотой языка и композиции, сюжет рассказывался ради самого сюжета. Эти годы были для Сименона периодом ученичества, необходимым для того, чтобы овладеть искусством рассказывать истории.

Одновременно вышел сборник эссе Жоржа Сименона, в который вошли воспоминания и размышления писателя о жанре романа (издательство «Л'Эр», Швейцария).

«Эссе Сименона надо читать внимательно, вдумчиво, ничего не пропуская, так много в них верного и важного»,— пишет об этой книге Ж. Б. Бароньян в «Магазин литтерер». Самый пора-

зительный рассказчик нашего времени высказывает свои авторитетные суждения о повествовательном искусстве. У Сименона свое особое отношение к роману: он убежден в необходимости перенести правила классической трагедии в романную форму». «Я,— пишет сам Сименон,— верю, что роман — это трагедия нашей эпохи».

ФРГ

НОВЫЙ ФИЛЬМ ФОЛЬКЕРА ШЛЁНДОРФФА

Роман «Фальшивка» западногерманского писателя и журналиста Николаса Борна лег в основу одноименного фильма известного западногерманского режиссера Фолькера Шлёндорффа.

После успеха фильма, снятого Шлёндорффом по роману «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса и удостоенного награды Каннского фестиваля и премии «Оскар», Фолькер Шлёндорфф получил несколько предложений от голливудских магнатов, но отклонил их все без исключения. «Заниматься созданием киноиллюзий,— сказал он корреспонденту журнала «Шпигель»,— не моя задача. Голливудская продукция представляет собой смесь цирка, варьете, фабрики снов. Мне же симпатичны на экране совсем другие произведения. В обращении к событиям современности, в критике нашего общества я вижу основное назначение сегодняшнего западногерманского кино, упрочению которого мне хотелось бы всемерно способствовать».

Новый фильм Шлёндорффа, по отзывам прессы, является наглядным подтверждением этой мысли режиссера. Герой фильма, сотрудник крупного буржуазного еженедельника Георг Лашен, по заданию редакции направляется в Бейрут. Годы работы в популярном журнале приучили его к мысли о том, что хорошо покупаются лишь те события, которые препарированы соответствующим образом и могут внести элемент разнообразия в размеренную жизнь пресыщенного бюргера. Фальшь, отчуждение характеризуют как профессиональную, так и личную жизнь Лашена. Его взаимоотношения с женой уже давно рухнули и отмечены обоюдным холодным презрением. Поездке в Бейрут суждено было стать переломным моментом в жизни разочарованного журналиста. Перед лицом страшной реальности, подлинных человеческих страданий он начинает понимать, что его профессиональная деятельность насквозь пронизана фальшью. Встреча с соотечественницей Арианой становится началом новой жизни, наполненной теплом и человеческим взаимопониманием.

Активное участие в создании фильма принимали ливанцы. Как исполнители и технические помощники, они оказали съемочной группе Шлёндорффа неоценимую поддержку, помогли воссоздать драматическую историю разрушения ливанской столицы. Съемки фильма были настолько опасны, что по возвращении в ФРГ Шлёндорфф с облегчением признался: «Я рад, что во время нашей работы в Бейруте никто не погиб».

Работая над фильмом, Шлёндорфф ставил перед собой и другую задачу: «Я попытался оттолкнуться от клише образа классического Востока, который уже не может быть воспринят как идиллия 1001 ночи».

На снимке: Фолькер Шлёндорфф на съемках фильма «Фальшивка».

(Журнал «Шпигель»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВЫЙ РОМАН Я. КОЛАРОВОЙ

Книжное издательство Остравы выпустило в свет новый роман известной чешской писательницы Яромиры Коларовой «Вода!». Советский читатель знаком с ее творчеством. В СССР были переведены некоторые произведения Я. Коларовой — «Дома на зеленом лугу», «О чем не сказала Гедвика» (повесть была опубликована в «ИЛ», 1979, № 2), и роман «Наш маленький, маленький мир», изданный в 1980 году «Прогрессом».

Роман «Вода!» отличается тематически от прежних произведений Я. Коларовой, в которых писательница на первый план выдвигала проблемы семьи и воспитания подрастающего поколения. Он посвящен остравским горнякам. Газета «Руде право», отмечая художественные достоинства книги, называет ее образцом литературы социалистического реализма. «Новая книга,— пишет рецензент,— открывает перед нами внутренний мир современного человека — человека труда... Человека, могущего быть смелым и трусливым, беспомощным и способным на самопожертвование. Это роман о людях нашего сегодня и уже потому, несмотря на трагизм описываемых событий, оптимистичный, глубоко партийный, коммунистический. Роман, в центре которого — жизнь...»

ШВЕЦИЯ

«ПОД ЕЕ ПЕРОМ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ ЗАГОВОРИЛИ ПО-ШВЕДСКИ»

Под таким заголовком вышла статья в «Дагенс нюхетер», посвященная юбилею 85-летней переводчицы Асты Викман. Пятьдесят лет из своей жизни она посвятила переводу на шведский язык произведений русских писателей. Среди них Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. П. Чехов, А. М. Горький... Аста Викман неоднократно награждалась раз-

На голубые экраны Скандинавии вышел новый телевизионный многосерийный художественный фильм «Шарлотта Лёвеншёльд и Анна Сверд», подготовленный телевидением Швеции. В основу фильма легли романы выдающейся шведской писательницы Сельмы Лагерлёф «Шарлотта Лёвеншёльд» и «Анна Сверд», составившие вместе с книгой «Перстень Лёвеншёльдов» трилогию, в которой прослеживается история одной семьи на протяжении пяти поколений.
На снимке: Шарлотта Лёвеншёльд — Ингрид Янбелл, Карл-Артур Экенстедт — Ларс Греен.

(*Газета «Ланд ог фольк»*)

личными премиями и дипломами. В связи с юбилеем она получила почетную в Швеции литературную премию имени Эльзы Тулин.

«Работа доставляет мне огромную радость,— говорит 85-летняя переводчица, которая по-прежнему регулярно встает в 6 утра, чтобы продолжить очередной перевод.— Временами мне кажется, что я живу той жизнью, о которой написано в русских книгах,— говорит Аста Викман.— Я никогда не была в России, но иногда, закончив работу, я оглядываюсь вокруг и говорю себе: где я? Неужели у себя дома... Переводя русские книги, я прожила очень увлекательную, наполненную богатыми событиями жизнь».

ЮГОСЛАВИЯ

НОВОЕ ИЗДАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ДЕСАНКИ МАКСИМОВИЧ

Белградское издательство «НОЛИТ» приступило к изданию «Избранных стихотворений» выдающейся современной югославской писательницы Десанки Максимович в пяти томах. Это самое полное издание поэзии старейшей писательницы. Советским читателям хорошо известно творчество Д. Максимович. Ее стихотворения входили во все поэтические антологии югославской поэзии. Переводы стихов поэтессы часто печатались на страницах «Иностранной литературы».

В аннотациях к новому многотомному изданию стихотворений Д. Максимович приведены высказывания видных югославских критиков и поэтов о ее творчестве. Известный сербский критик и литературовед Драган Еремич, в частности, пишет: «Совсем не случайно, что ее признали великим поэтом не только миллионы читателей, многие известные критики, но и сами поэты... В поэзии Десанки Максимович отражается не только глубокая, сильная и высокоодаренная личность, но часть души нашего народа и нашей земли, а также и гуманистический идеал, к которому все люди могут и должны стремиться».

ЯПОНИЯ

ИНТЕРВЬЮ АРИЁСИ САВАКО

Имя японской писательницы Ариёси Савако очень популярно в Японии. Она — лауреат нескольких литературных премий, ее книги издаются большими тиражами, переводятся на иностранные языки.

По словам романистки, известность к ней пришла не сразу, лишь спустя много лет после того, как начали выходить ее книги. Многие книги Ариёси Савако, в том числе и роман «Каэ», обращены в прошлое. «Мне иногда кажется,— говорит писательница,— что для того, чтобы правильно оценить некоторые явления и события, нужно смотреть на них с определенной дистанции... Так же, как в живописи, нередко лучше глядеть на полотна с расстояния». Действие романа «Каэ» происходит в VIII веке, в центре — фигура знаменитого японского врача-анестезиолога Анаока Айску. «Однако не меньше, чем основной персонаж,— признается А. Савако,— меня интересуют его жена и мать, их взаимоотношения и роль в жизни главного героя».

Ариёси Савако не разделяет получившей распространение концепции об исключительности и замкнутости японской культуры. Она считает, что не существует «чисто» японской культуры. «В течение своей двухтысячелетней истории наша страна с успехом впитывала в себя культуру других стран, в первую очередь древнего Китая. За это время лишь в период правления династии Токугава (1603—1867) культура Японии в связи с политикой самоизоляции была отрезана от внешних влияний... Мы учимся у писателей других стран. Нужно сказать, что японцы не склонны скрывать свои слабости, мы восприимчивы к веяниям извне. Кстати, это относится не только к области культуры... За последние десятилетия Япония стала одним из самых экономически развитых государств. Принято даже упрекать японцев за то, что они «работают как сумасшедшие».

Многие забывают, что в течение всего XX века наша страна прикладывает много сил, чтобы догнать Запад. При этом следует помнить, что у нас, собственно говоря, нет ничего своего. Мы вынуждены ввозить зерно, нефть, металл и многое другое... Хотя дело не только в этом. Когда у японца нет работы, он становится нервным, раздражительным, не умеет располагать свободным временем. Особенно это стало заметно с тех пор, как в Японии под давлением международного общественного мнения субботу сделали нерабочим днем. К сожалению, сегодня в мире все чаще говорят о перевооружении японской армии, о восстановлении военного потенциала страны. К этому нашу страну толкают США и Китай. Они хотят втянуть Японию в единый с ними блок против Советского Союза. Но я уверена, что это им не удастся. Может быть, у стоящих у власти политических сил есть подобные намерения, но мы, японские женщины, сделаем все, чтобы они не осуществились. Наши политические деятели не могут с этим не считаться, ибо их избрание зависит от нас. Мы не хотим посылать наших мужей и сыновей на войну. Многие забыли о Хиросиме и Нагасаки, но мы-то о них хорошо помним. Девятая статья нашей Конституции говорит о том, что Япония отказалась от войны... Навсегда».

◆

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С 1 января 1982 года цена одного экземпляра нашего журнала устанавливается в размере 1 рубль 80 копеек.

Это связано с увеличением стоимости бумаги для печати, затрат на полиграфическое исполнение и доставку журнала читателям.

Стоимость годовой подписки — 21 рубль 60 копеек.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5.08.81. Подписано в печать 17.09.81. А 04810, формат 70×108$^{1}/_{16}$.
Печать высокая, 17 п. л. (23,8) усл. п. л., уч.-изд. л. 30,43

Тираж 525 000 экз. (1-й завод — 1 — 400 000экз.). Зак. 2623.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Автопортрет. 1906 г.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70